КРУГ

(Белая гавань)

Повесть

– Триста тридцать третий!

– Никто не отозвался. Кассир громко повторил: – Триста тридцать три!

Вдруг до Неймата дошло, что, кажется, выкликают его. Он бросил взгляд на белую дощечку – она повисла у него на груди, как передник, – увидел на ней три большие цифры и крикнул, что было сил:

– Это я, Намазов Неймат!..

Голос прозвучал еле слышно.

Стоявшие в очереди глядели на него укоризненно. Они молчали. Они выглядели усталыми, хмурыми. Большинство были знакомы Неймату, но он не мог вспомнить, кто они. Где он видел этих людей, когда?

Неслышными шагами он приблизился к кассе.

– Вам куда?

– В Баку.

– На какой поезд? Кисловодск–Баку или Красноводск–Баку?

– Кисловодск–Баку, – сказал он и подумал: «Да разве мы не в Кисловодске?»

Кассир дядюшка Сафтар рассеянно посмотрел на Неймата из-под очков и строго спросил:

– А разрешение у тебя есть?

– А разве нужно разрешение? Я уже три года, как записан в очередь.

– Это неважно. Сколько билетов?

Неймат начал загибать пальцы:

– Один, два, три, четыре, пять, шесть... Шесть. В купейный.

– Кто едет?

– Моя жена – раз. Я – два. Теща – три. И мои дочки – три девочки.

– Дочери не твои.

Неймат удивился – откуда кассир мог это знать?

– Одна моя, а две старшие...

– Я могу дать билет только одной. Двум другим пусть покупает отец.

Неймат расстроился. Непременно что-нибудь не слава богу. И в самую последнюю минуту. После трех лет ожидания! Вдруг он вспомнил. «Скажу-ка я и об этом, а то потом опять выйдет недоразумение».

– Еще у нас есть кошка, – сказал он. – Кошке тоже брать билет?

– Обязательно.

– Хорошо, тогда дайте пять билетов. – Он снова стал заги­бать пальцы: – Моя жена, я, теща, младшая дочка и кошка.

Кассир начал оформлять билеты. Но тут к нему подошел кто-то из очереди и что-то прошептал на ухо. Кассир внимательно оглядел Неймата.

– Стыдись, – сказал он. – Ты обманул нас. Подумай только, как ты одет!

Неймат посмотрел сначала на свою одежду, а потом на одежду усталых, помятых людей, стоящих в очереди.

Все они были одеты в одинаковые, серые в полоску, пижамы и халаты. И только на Неймате была однотонная голубая пижама.

Люди смотрели на него осуждающе.

Среди этих полосатых людей Неймат казался чужим и странным.

У всех на груди висели небольшие дощечки с черными цифрами.

– Но ведь я записан, – с мольбой протянул Неймат. – Три недели назад... Нет, три месяца... Что я говорю – три года!.. Три года тому назад. Я знал, как трудно с билетами. Мой номер триста тридцать третий!

– Где номер? – выкрикнул мужчина, шептавшийся с касси­ром. Он посмотрел на Неймата в упор. – Нет у тебя номера!

Неймат взглянул на свою дощечку – она действительно была абсолютно белой. Ему захотелось незаметно улизнуть. Кассир дядя Сафтар окликнул его:

– Неймат, возьми свой билет...

– Но ведь...

– Я могу дать тебе один билет. Для кошки. Потому что она полосатая.

Неймат вышел на берег большого голубого моря. «Море в Кисловодске? – удивился он. – Может быть, это не Кисловодск, а Красноводск? Зачем же я тогда покупаю билет на поезд? Можно же и пароходом доехать. Тогда я смогу взять с собой отца и мать, ведь они где-то здесь недалеко».

Он побрел мимо белых ворот кисловодского парка и очутился в зеленой аллее. Тихо шелестели ивы.

«Нет, все-таки они человечные. Место живописное... В хорошее место сослали... Не знаю, как папа, но мама, бедная, так трудно переносит жару». Сколько ни старался, он не мог вспомнить лица матери.

Он вышел на Пятачок и увидел, как сверху по Пятачку к нему идут три женщины. Одна из них – его старшая дочь.

– Папа, купи магнитофон! – крикнула она. Вторая была его мать. Неймат не мог рассмотреть ее лица. Но он знал, что это его мать.

Третья была Сурея – жена Неймата.

– Который час? – громко спросила она издали. Неймат посмотрел на большие уличные часы.

– Ровно три, – сказал он.

Голос жены послышался совсем рядом:

– Неймат, да проснись же! Который теперь час? – Неймат открыл глаза.

– Что?

– Я говорю, который час? Мои стоят.

Неймат посмотрел на свои часы и сказал:

– Без двадцати девять.

– Ради бога, встань, сходи за хлебом. У нас ни крошки хлеба.

– Хорошо, сейчас. Через пять минут.

Он закрыл глаза. Повернулся к стенке.

«Талды-Курган. Алагель. Мананчи».

Около года назад Неймат отдал свой кабинет старшей дочери, а сам перешел в ее комнату. Но над кроватью осталась полити­ческая карта Советского Союза. Южная граница находилась как раз на уровне подушки.

Каждое утро, просыпаясь, Неймат видел эту часть карты. Он уже знал наизусть города, озера, реки Восточного Казахста­на.

Часто его мучила бессонница. В темноте было не разобрать надписи. Но он и с закрытыми глазами мог попасть пальцем точно в Талды-Курган, или Алагель, или Мананчи.

Иногда он пытался представить себе эти города, реки, озера, весь этот край целиком. Безбрежные степи, палатки, высохшие озера, табуны коней на берегах реки... Длинногривые белые кони... И тут его затягивал в свое болото сон...

– Неймат, ну, пожалуйста, встань, сходи за хлебом...

Сон пристал, как смола, не расклеить глаз. Но в голосе Суреи послышались недовольные нотки.

Неймат быстро сбросил одеяло и встал. Два-три раза он дрыгнул руками и ногами – это называлось утренней зарядкой. Умылся, прошел в кухню, потянул носом.

– Что это я слышу? Остались месяц, камыши да горький запах миндаля...

– Пойди, купи хлеб, тогда и миндаль попробуешь.

Очереди в булочной не было. Через десять минут муж с женой чинно пили чай в беленькой, чистой, аккуратной кухоньке.

– Я видел такой нелепый сон, – сказал Неймат. – Будто мы были в Кисловодске. Хочу купить билеты в Баку и стою в очереди в этой вот пижаме. А мне говорят: нет, без полосатой пижамы билетов не дают.

Замяукала кошка. Неймат кинул ей кусок колбасы и улыбнулся.

– Я и кошке покупал билет. Ей дали: говорят, она полосатая.

– И из-за такого умного сна ты и не хотел просыпаться? Я тебя спрашиваю, который час, а ты говоришь – три.

– Так во сне и было три часа.

– Наверное, в этом году Муршуд с семьей поедет в Кисло­водск, – сказала Сурея.

– Как вспомню, что делается с билетами в Кисловодск, так и думать об этом не хочется.

Коричневый галстук был мятый, он повязал зеленый.

– Ладно, пока, – сказал он, – я на работу.

– Ты рано придешь? Сегодня суббота.

...На углу у знакомого лоточника Мусы Неймат купил пачку сигарет с фильтром.

Закурил, подошел к газетному киоску.

– Доброе утро... Есть?

Киоскер Салман прищурился из-под очков и незаметно сделал Неймату знак. Не останавливаясь, он говорил покупате­лям:

– Вот тебе «Известия», «Коммунист». Пожалуйста, «Моло­дежь», «Правды» уже нет, кончилась. «Баку» – конечно, вчераш­няя, с утра вечерней газеты не бывает. «Комсомолку». Пожалуйс­та.

Затем мгновенным движением достал из-под прилавка газеты, протянул Неймату.

Неймат спросил:

– Здесь две, да?

– Что ты спрашиваешь?!

– Спасибо! Вот, возьми.

– Спасибо! До свиданья!

Эта быстрая операция не ускользнула от взгляда стоявшего в очереди парня в цветной рубашке.

– Ты же говорил, что «Футбола» нет. Значит, ты его налево продаешь. Постыдился бы – седой дядя!

Салман взорвался:

– Что ты мелешь! Твой отец налево торгует. Товарищ по подписке получает. Может, я тебе отдам газету подписчика? – Неймат, удаляясь, слышал гневный бас: – Вот почесался бы вовремя и подписался на «Футбол».

– А почему подписчик здесь получает газеты? – парень сделал последнюю слабую попытку. – Подписчикам газеты приносят домой...

– Так ему захотелось, – отрезал Салман. – Тебе-то какое дело?

Он так убежденно доказывал: черное – это белое, что парень капитулировал:

– Ну ладно, чего ты раскипятился? Ну что такого я сказал?

Посмеиваясь, Неймат шел к автобусной остановке. «Нет, кажется, день начался неплохо... Занятный сон. Вкусный завт­рак. Хорошие сигареты. Два номера «Футбола».

Было ясно, солнечно. Редкие белые облака рассеялись по небу. В такой день не может не быть хорошего настроения.

Но для хорошего настроения была и другая, более важная причина: если Дадаш-муаллим[[1]](#footnote-1) не передумает...

Когда они вчера шли с работы, Дадаш вдруг обратился к Неймату:

– А скажи, пожалуйста, почему ты художественного ничего не переводишь? Ей-богу, я и сам поседел на этом деле, да что толку от переводов одной научно-популярной литературы? Не боги горшки обжигают. Ты способный, грамотный. Чувствуешь слово. Переходи помаленьку на художественную литературу.

– Я немного перевожу, Дадаш-муаллим. Иногда, если попадется рассказ или очерк...

– Что толку от этих малых форм! У тебя, слава богу, семья не маленькая.

– Вот и дубляж сделал для киностудии. «Живые и мертвые»... Вы, наверное, видели.

– А-а, по роману Симонова...

– Да.

Замолчали. Неймат ждал, как рыбак, забросивший невод. «Мое дело – намекнуть. Выйдет – выйдет, не выйдет – не надо. Он сам завел разговор».

После долгой паузы Дадаш сказал:

– Очень хорошо, этот роман есть в плане издательства. Справишься?

Неймат испугался, что от сильного волнения скажет что-нибудь не то, и снова помолчал немного. А затем ответил:

– По-моему, справлюсь.

– Ну что ж, и отлично.

Некоторое время они шли, не говоря ни слова.

– Но вы же понимаете, Дадаш-муаллим, – прервал молчание Неймат, – лето подходит. Я бы не хотел брать другую работу, все лето посвятил бы роману.

Дадаш был сметлив. Он на лету улавливал суть дела.

– Напомни мне завтра, – сказал он. – Заключим договор. Чтобы ты мог спокойно работать.

– Большое вам спасибо, Дадаш-муаллим!

«А неплохой в сущности человек этот Дадаш. Тертый калач! Сам говорил, что в издательстве уже сорок лет работает. Столько людей, говорит, здесь перевидал, сколько волос на голове. Начинал с курьера. «Эгей, Дадаш, эгей. А ну-ка, побыстрей. Сбегай, снеси. Туда- сюда». Да так, успевая и здесь и там, стал в один прекрасный день корректором, потом редактором, потом завотделом, потом главным. Как бы там ни было, теперь он второй человек в издательстве, если не первый. Уважают его, считаются с ним уж, во всяком случае, не меньше, чем с директором. И, говоря по совести, он ничуть не задается. Всему знает цену. Его пунктик – футбол. Ну и ну! В таком возрасте – такой пыл! Стоит заговорить о футболе, он прямо загорается! Хорошо, что взял ему второй экземпляр газеты. Пусть сегодня договор со мной подпишет. И все. И деньги будут на лето. А на те, что получу за дубляж, магнитофон куплю. Давно обещал Кармен».

Кармен была старшей дочерью Неймата. Средняя – Джильда. Младшая – Наргиз.

Нет, он не был ни отставным, потерявшим голос певцом, ни рехнувшимся меломаном. Помешан на опере был покойный Асад – отец Кармен и Джильды, первый муж Суреи, который был старше жены на двадцать два года.

Почему-то Неймат никак не мог забыть одну сцену: Асад погрузился в мягкое кожаное кресло. На одном колене у него Кармен, на другом – Джильда. Они слушают долгоиграющие пластинки с оперной музыкой.

Кармен было тогда лет семь-восемь, Джильде – пять-шесть, Неймат как сейчас помнит их одинаковые платьица, розовые, очень коротенькие, плиссированные. В волосах – по большому розовому банту. Прижавшись пунцовыми щечками к лицу отца, они могли слушать музыку часами, Асад сидел, словно в раю, закрыв от наслаждения глаза.

У них еще был оранжевый абажур. Он окрашивал всю комнату в цвет хорошо заваренного чая.

Кармен стала плохо учиться. Асад был профессор, извест­ный хирург, ему некогда было следить за детьми. А если выдава­лась свободная минутка, он слушал музыку.

Короче говоря, через знакомых они нашли Неймата. За 150 рублей (старыми деньгами) Неймат, ученик наборщика в типографии и студент филфака, занимался с Кармен и готовил в школу Джильду.

Юноша быстро освоился в этой семье. Они знали, что ему живется туго, и часто оставляли обедать. «Посмотрим, чем нас сегодня порадует Сурея-ханым»[[2]](#footnote-2), – говорил Асад, приглашая его к столу. Он неизменно называл свою жену «Сурея-ханым». Неймат ни разу не слышал, чтобы он назвал ее просто Суреей. Нет, нет, всегда «Сурея-ханым» да «Сурея-ханым»!

Полы их просторных комнат были устланы коврами, которые погло­щали звуки шагов. В кабинете на стене висел большой портрет отца Асада.

Были у них гости или нет, стол всегда накрывался белой шуршащей скатертью. Ставилась дорогая посуда, серебряные приборы. Вся семья усаживалась за трапезу вместе, разворачи­вая салфетки.

Квартира сверкала чистотой. Неймат никогда не видел, чтобы Сурея или девочки выглядели неопрятно. Платья были отглажены, косы аккуратно заплетены...

После таких обедов Неймат не мог заснуть в своей неуют­ной и тесной каморке в Крепости[[3]](#footnote-3). Глядя на облупленные стены, он тоскливо ворочался с боку на бок всю ночь.

Перед Новруз-байрамом[[4]](#footnote-4) Неймата пригласили в гости. На белой скатерти стояли традиционная зелень, тоненькие разноцветные свечки, крашеные яйца, сласти.

– Хороший, милый праздник, – сказал Асад, – но жаль, что предки дали маху – запретили выпивку... Что за праздник без спиртного!

Неймат улыбнулся. Он знал, что Асад трезвенник.

– А давай выпьем немного коньяку. Кстати, у нас сладкая закуска.

Сурея принесла маленькие хрупкие рюмочки.

– Будем здоровы! Выпьем за Сурею-ханым.

– За ваше здоровье, Сурея-ханым! – сказал Неймат и выпил впервые в жизни...

Когда он уходил, было поздно. Он посмотрел на их четыре окна. Два из них были черные – девочки спали, два других – цве­та хорошо заваренного чая. Не доносилось ни звука. Ковры поглощали шаги, как вода.

Неймат долго смотрел на эти окна, услышал вдруг звон трамвая и понял, что это последний. Помчался, поскользнулся, упал, торопливо встал, снова побежал и с трудом запрыгнул в последний вагон.

Трамвай был пуст. Свет почему-то не горел. В громыхаю­щем по рельсам вагоне были только Неймат и отражающиеся в окнах звезды. В переднем вагоне кондуктор флиртовала с водителем. Они были увлечены, им ни до кого не было дела.

В воздухе стоял запах весны. Запах весенней ночи тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

Вдруг Неймата пронзила острая мысль: он влюблен в Сурею. Это открытие испугало его. Ведь он понимал, знал, что это зрящная, безнадежная любовь.

Трамвай подскакивал на рельсах, в окнах вздрагивали звезды...

В эту ночь он не пошел в свою тесную каморку. До утра шатался по улицам. И до утра с ним была Сурея.

О боже! Как будто все это было вчера. Или тысячу лет назад. Теперь, через десять лет, думая о той неповторимой мартовской ночи, Неймат улыбался.

Жизнь полна неожиданностей. Если бы десять лет назад, в ту весеннюю ночь, Неймату, сыну репрессированных родителей, показали вот этот, сегодняшний день его жизни – 5 июня 1965 года, – он бы не поверил.

Все домашние мелкие детали нынешнего утра: пробужде­ние от голоса Суреи, завтрак с ней, прощание перед уходом – все это десять лет назад показалось бы Неймату несбыточной грёзой.

Так же, как он не может представить себе сегодня, что с ним будет через десять лет. Он перебрал в памяти свои самые завет­ные желания, все, что он прятал в глубине души, в осуществле­ние чего никогда не верил. Вспомнил, улыбнулся, подумал: «Неужели наступит время, когда и это все будет привычным, повседневным? Невозможно! Однако если бы десять лет назад мне рассказали о том, как я буду жить сегодня, разве бы я поверил? Нет! Так, может... Все может случиться. Все, что я гоню от себя, прячу в глубине, все, о чем не решаюсь даже думать, однажды – через пять, десять, пятнадцать лет – может стать реальностью».

Но эта мысль его не обрадовала. Потому что за ней пришло мрачное предположение. Может быть, когда все это станет правдой, реальностью, жизнью, оно превратится в такую же обыденщину, как этот день?

...Однажды, когда Неймат, как обычно, пришел заниматься с девочками, он увидел раскрытую настежь входную дверь. Входи­ли и выходили соседи, родственники, знакомые и незнакомые. В передней он заметил старшую сестру Суреи Алию и обратил внимание на ее одежду – какой-то торопливый траур: на голове черный платок, а платье пестрое. Потом – на ее лицо: глаза распухшие, красные от слез, а губы накрашены...

В этот день Асад умер от разрыва сердца на работе... Семь дней Неймат приходил неизменно. Вечером седьмого дня, когда все разошлись, Сурея обратилась к Неймату:

– Знаете, все это время не до того нам было. Но теперь пора уж браться за дело. Кармен и так еле-еле тянется, а за эти дни, наверное, здорово отстала. Завтра начинайте уроки, и прошу, пожалуйста, требуйте построже.

Через два месяца Неймат робко подошел к Сурее.

– Сурея-ханым... – смущенно начал он. Давно уже хотел он это сказать, но не знал – как. – Вы знаете, Сурея-ханым, я так привык к вам, к вашей семье. Я хотел сказать, что мне, мне... не надо платить. Я буду заниматься просто так.

Сурея улыбнулась:

– Да что вы, Неймат! И не думайте. Я обижусь на вас. Очень.

Летом Сурея никуда не поехала. Отметили годовщину смерти Асада. Однажды осенним вечером речь зашла о новом фильме. Сурея сказала, что уж и не вспомнит, когда в последний раз была в кино. Назавтра Неймат купил четыре билета в кино­театр «Бахар». Кармен и Джильда уговорили Сурею. В фильме молодые влюбленные, преодолевая бесчисленные препятствия и козни родителей, в конце концов, соединяются. Сурея много смеялась. Когда выходили из кино, Неймату показалось, что она помолодела.

Иногда они выбирались в кино, ходили гулять. Как-то совершили морскую прогулку.

Так прошла осень. Однажды ночью выпал первый, мягкий снег.

Неймат не мог больше ходить в рваных туфлях. Купил себе новые, а на пальто денег не хватило. «Ничего, – решил он, – старый друг пиджак выдержит как-нибудь и эту зиму».

Однажды после уроков Сурея протянула ему большой сверток. «Откройте дома», – сказала она. У Неймата не хватило терпения, он развернул его на лестнице. Тотчас возвратился: «Вы меня обижаете. Как вам не совестно». Он и вправду был сильно смущен.

После долгих объяснений и споров Сурея уломала его. Домой Неймат пошел в новом пальто.

В один такой же зимний день, тоже после уроков, Сурея сказала:

– Останьтесь, пообедайте с нами, я сделала долму.

Уйти сразу после обеда было неудобно. Стали разговари­вать. Девочки отправились спать.

Неймат не любил рассказывать о себе. Может быть, и не умел. Но тут незаметно для себя выложил ей все, почти всю свою жизнь.

Вдруг Неймат посмотрел на часы: половина первого. Он никогда не засиживался так поздно. Хотел встать – и тут увидел глаза Суреи. Как он не замечал? Глаза были полны слез. И по щекам текли две слезинки. Неймат совсем растерялся. Он не знал, что делать, как ее успокоить, какими словами утешить. Увидев его волнение, Сурея достала маленький обвязанный крючком платочек, вытерла слезы, попыталась улыбнуться.

– Ничего, – сказала она. – Не обращайте внимания, пройдет.

Она помолчала, и вдруг Неймат услышал неожиданные слова:

– Бог не дал мне сына. А я хотела бы, чтобы у меня был сын и чтобы он хоть немного был похож на вас...

Сердце Неймата бешено колотилось. Он почувствовал, что краснеет, и, почувствовав это, попытался не краснеть. Не смог, и покраснел еще больше.

Сурея глядела на него, она видела все, все понимала. С ласковой улыбкой погладила его голову. Неймат резким движе­нием схватил ее руку, стал покрывать поцелуями. На минуту Неймат утратил ощущение пространства, в голове билась одна мысль: Сурея не отнимает руки. И с внезапной решимостью, со страстью, месяцами, годами подавляемой в сырой каморке, он обнял Сурею, прижал ее к груди, искал губы, ее ускользающие губы, не мог найти и целовал веки, лоб, подбородок, шею.

Неймату было двадцать три года, и он впервые в жизни целовал женщину...

Поздней осенью Неймат и Сурея поженились. Неизвестно, как удалось это Сурее, но и Кармен, и Джильда называли Неймата отцом. Неймат тоже считал их своими детьми.

Через два года у них родилась еще одна дочь. Мать Суреи, тетя Бикя, долгое время гневалась на дочь. Она никак не могла примириться с тем, что Сурея вышла замуж за Неймата. «Осра­мила меня перед людьми. Вдова такого человека – и выходит замуж за мальчишку-голодранца! Во-первых, он моложе тебя. Во-вторых, он же прощелыга. Как он будет семью кормить – тебя, этих малюток!» Но Сурея ее не слушала, и тетушка Бикя замол­чала. Но не появлялась у них.

Когда родился ребенок, они помирились. Бикя пришла в роддом навестить дочь. Поцеловала Неймата и сказала: «Значит, судьба. Да буду я жертвой Аллаха. Чему быть, того не миновать. Сказанного не сотрешь.

Вместе с Нейматом она пришла домой, сготовила, постира­ла. «Порода у нас такая, – сказала она, – не рожаем сыновей. У матери нас две сестры. У меня три дочери. Теперь у Суреи три дочки».

Через два месяца они кое-как уговорили тетю Бикю продать дом и перебраться к ним. Помощь ее была просто необходима. Бедная Сурея совсем измучилась.

По обоюдному желанию отца и матери дочку назвали Наргиз. И только когда выписали метрику и Неймат возвращался домой, ему пришло в голову, что ведь есть опера «Наргиз», – значит, они невольно продолжили традицию бедняги Асада. Сурея ничего на это не сказала.

На остановке послышалось пыхтенье автобуса. Неймат взглянул на номер и поднялся по ступенькам.

Народу было мало. Он сел у окна.

У встречного троллейбуса вылетели штанги. Вышел води­тель и начал налаживать пантографы.

Неймат вдруг подумал: «Троллейбус идет по определенному маршруту и не может изменить его. Если он хоть чуть-чуть отклонится, то пантографы вылетят. Троллейбус остановится. Трамвай гоже движется по неизменному пути. Если он сойдет с рельсов, будет авария. Хорошо, тогда почему же эта обшарпанная арба, именуемая маршрутным автобусом, ежедневно, ежечасно катит по одной и той же дороге, каждый день проходит мимо базара, почты, банка, кино, бани, парикмахерской? Ведь он-то может повернуть на любую улицу! Маршрутный автобус! Его судьба сложнее. Троллейбусу и трамваю мешают изменить маршрут внешние препятствия. Автобус подчиняется препятст­виям невидимым: принятым им же самим правилам, согласован­ному и утвержденному графику движения. Он не может нарушить этот график, эти принятые однажды правила, не может забыться, заблудиться. Если забудется, если заблудится... О, прямо стихи...»

– Жаль, что тебя не было, – сказал Дадаш, – мы тут заспорили.

– Доброе утро, – сказал Неймат. – А о чем?

– Я поспорил с Дадаш-муаллимом, что завтра Хусаинов играть не будет, – тоненьким голоском крикнул сидящий у двери Яхья.

Неймат молча положил на стол Дадаша газету «Футбол».

– Здесь есть состав команд, – сказал он. Моментально все, кто был в комнате, кинулись к столу Дадаша.

– Где?

Дадаш несколько нервозно развернул газету.

– Вот.

– Ага, Кавазашвили, Воронин...

И тут он, толстый мужчина, вспорхнул как птица.

– Пожалуйста! Хусаинов, видишь? Смотри хорошенько! Ну-с, так на что мы спорили? – Он был вне себя от радости. Он ликовал. Его голос, смех заполнили комнату, как эфир мощной радиостанции. – Ты уже докатился до того, что споришь со мной о футболе?

В комнате поднялся такой гвалт, такой переполох – кошмар! Победа Дадаша вылилась в торжество всего отдела. Яхья еще больше съежился и что-то бормотал себе под нос. Голос Дадаша гремел:

– – Я говорю, что уже две игры, как его не выпускают, держат для завтрашней, а он мне – нет, он болен, у него травма. Я же знаю!

Сейчас Неймат дивился тому, что до поступления в изда­тельство не был болельщиком. В детстве он играл в футбол в переулке, но, повзрослев, попадал на стадион совсем редко, а то и вовсе не ходил. В издательстве он заразился футбольным неду­гом. И теперь стал одним из самых пламенных болельщиков.

«Виноват был Маркаров. Банишевского невозможно узнать. Слушай, ты видел, какой мяч они не могли забить! Нет, судья зевнул, надо было дать одиннадцатиметровый. А здорово он ударил угловой...» Такие разговоры велись после каждой игры «Нефтчи». По типу № 1: анализ – заключение – критический разбор. По типу № 2 разговор велся перед очередной игрой: посылка, допущения, прогнозы.

Дадаш знал о футболе все: истории команд, биографии игроков, различные системы игр, технические приемы. В этих вопросах с ним мог тягаться только Неймат. Неймат мог даже заткнуть его за пояс в некоторых деталях, частных сведениях, так что иногда сам Дадаш спрашивал у Неймата состав команд группы «Б» или уточнял таблицу игр дублеров.

И Неймат, чтобы поддержать свое реноме, внимательно и регулярно просматривал всю футбольную прессу. Он и сам теперь не мог понять, как прежде был равнодушен к такой великолепной игре... Ему доставляла удовольствие не только сама игра, но и все связанное ней: приобретение еще задолго до начала игр футбольного абонемента, торжественное открытие сезона, соперничество и солидарность людей, движущихся в дни игры по опустевшим улицам, общая радость победы и общая боль поражения, коллективное наслаждение пивом в компании приятелей, чисто мужской, «холостой» компании... Репортажи из разных городов по радио, а в последнее время по телевизору, последние известия, а в них – результаты игр, от которых зависит положение «Нефтчи»... Нет, футбол – это прекрасно!

«Курбан – бурдюк с ядом – не интересуется ничем, кроме выколачивания денег, да еще и куражится: никакие вы, говорит, не болельщики. Сами себя накрутили – вот и все. И этот ваш пыл, ваши страсти – все, говорит, фальшь. Дурень ты этакий, что же нас заставляет трепать нервы? Что нас заставляет, бросив все дела, мчаться на стадион, сидеть у приемника, с трудом, используя всякие изощрения, доставать газету? Говоришь ему, а он качает головой и бубнит, что один Дадаш настоящий болельщик, а вы все заболели, чтобы к нему подмазаться. Такая мысль только ему и может в голову прийти. Вы, говорит, не знаете, чем заполнить время, вот и стали болельщиками. В вашей жизни есть некий вакуум, и этот вакуум вы заполняете футболом. Футбол для вас – как опиум, как анаша. Он отвлекает вас от повседневной мороки. Да ну его, пусть треплется...»

– Дадаш-муаллим, – спросил Джумшуд, – какой послезавт­ра, по-вашему, будет счет?

Уже неделю издательство жило ожиданием послезавтраш­него матча. Предвкушение это оживляло разговоры на службе и дома, работу и быт. Одним словом, предстоящая игра с Ирландией заполнила всю неделю. На следующей неделе тоже был важный матч – Тбилиси и московское «Торпедо». Следую­щая неделя тоже будет заполнена. Но пока не сыграна после­завтрашняя игра, о следующей никто не говорит. Послезавтраш­ний день, как и вообще все дни большого футбола, ожидался как торжество, как праздник.

– Три – ноль, – сказал Дадаш непререкаемым тоном.

– Подумать только, три – ноль! – удивился Джумшуд. Он так повторил это, как будто предположение Дадаша уже оправдалось, и Ирландия проиграла со счетом ноль – три. – Но у Ирландии тоже была сильная команда, правда? – После высказывания Дадаша, Джумшуд говорил о послезавтрашней игре в прошед­шем времени.

– Никогда, ни за что! Счет будет два – два. Спорим! – сказал Яхья.

– Опять споришь? Мало тебе? – Яхья стоял на своем: – Вот увидите, два – два.

И снова началось. Никто никого не слушал. И невозможно было прекратить этот спор...

Неймат понял, что в этом шуме и гаме нечего и говорить о деле, и молча вышел из комнаты.

В конце коридора у открытого окна разговаривали Заур и Тахмина. Заур что-то шепотом рассказывал. Тахмина смеялась. У нее были белые-белые мелкие, ровные зубы, как зерна кукуру­зы, ровные и мелкие. На ней было весеннее красное платье с короткими рукавами, голос у нее был низкий глуховатый и стран­ный смех. Хха-ха-ха... Как будто на пианино играют гаммы.

Сам Заур не смеялся. Наверное, когда хохотала Тахмина, он вспоминал и готовил новую шутку, перебирал забавные истории. Он не спускал с нее глаз.

Заур работал в нефтяном отделе. Каждый раз, когда Неймат видел его, ему вспоминалось выражение: человек с двумя арбузами. В самом буквальном смысле. Как будто у Заура и справа, и слева под мышками действительно торчало по арбузу и поэтому его мускулистые руки как бы образовывали с туловищем букву «Ф».

В последнее время, когда Неймат видел, как Тахмина болтает с Зауром, ему казалось, что Заур уговаривает Тахмину поехать с ним на пляж. Странная мысль. Почему именно на пляж? Может быть, потому, что у Заура была своя машина, и он часто ездил на пляж? Во всяком случае, пляж был весьма подходящим местом для демонстрации его мускулов.

Неймат подошел к ним.

– Ну, так нельзя, Заур, – покачал он головой, – я скажу Манафу. – Манаф – муж Тахмины. Уже месяц, как он был в коман­дировке в Москве. – Ты штангист, но и он тоже старый борец.

– Мы в разном весе. Я в тяжелом, он – в легком.

– И он действительно легкий, а, Тахмина?

Тахмина засмеялась. Конечно, не так, как до этого. Прос­то слегка улыбнулась. Улыбнулась, чтобы шутка Неймата не повисла в воздухе. Неймат и сам понял, что шутка получилась плоской, как праздничные карикатуры и дружеские шаржи в стенгазете «Полиграфист». Остроты на матримониальные темы были классикой их отдела.

Взгляд Неймата скользнул по платью Тахмины. Две пуговки у ворота были расстегнуты, и виднелось что-то голубое.

Он отвел глаза.

– Я рассказывала Зауру свой сон – сказала Тахмина. – Мне снилась Рига. Самое интересное, что я никогда не была в Риге.

Голубое снова бросилось в глаза Неймату. Он сказал:

– Когда-то я тоже видел во сне города, где никогда не бывал... Лондон, Париж... – Он посмотрел в окно. Окно было заполнено голубым небом. – В общем, это приятная способность. Не выходя из комнаты, не вставая с постели, без денег путешествуешь по всему свету. Не нужно ни билетов, ни визы.

– А что ты видишь сейчас?

– Эх, Тахмина, сейчас в моих снах нет ни капли воображе­ния. Сейчас я вижу не сны, а обрывки, фрагменты жизни. Вижу продолжение дневной белиберды. Если я днем перевел пол­-листа, то во сне перевожу дальше, получаю гонорар или стою в магазине, кто-то хочет пролезть без очереди, я делаю ему внушение или ругаюсь на базаре. Моя самая причудливая греза – покупка билета на поезд Кисловодск–Баку... Или наше почтен­ное учреждение и его сотрудники – дядя Сафтар, Мамед Насир, Дадаш-муаллим, Курбан... – Он хотел добавить «ты», но, взглянув на Заура, осекся.

Заур явно нервничал. Ему ужасно не нравилось, что Неймат вмешался в разговор и отвлек внимание Тахмины.

– Я никогда не вижу снов, ни разу в жизни еще не видел, – сказал он.

– Что ты говоришь? Не может быть! Никогда не поверю! – воскликнула Тахмина.

– Честное слово, Я даже не знаю, что это значит – видеть сон.

Заур был очень молод, совсем мальчишка, и Неймат пони­мал, что этим странным, на все сто процентов выдуманным признанием он хочет вернуть внимание собеседницы.

– У меня был друг, – сказал Неймат, – который говорил, что люди, не видящие снов, похожи на Австрию или Швейцарию.

Тахмина вопросительно на него посмотрела. Снова он заинтересовал ее.

– Почему именно Австрия, Швейцария, а не, допустим, Камбоджа? – чересчур резко спросил Заур.

– Камбоджа? – повторил Неймат и попытался представить себе карту. – Не помню, есть ли у нее морская граница. – Он гово­рил об Австрии и Швейцарии, потому что эти страны не имеют выхода к морю. Он считал, что люди, лишенные способности видеть сны, похожи на страны без моря. Австрия, Швейцария... Какие еще страны не имеют выхода к морю?

– А-а, вот оно что... – протянула Тахмина. Замолчали. Заур достал из кармана расческу и нервозно стал причесываться.

– Ну, хорошо, – сказал Неймат, – извините, я помешал вашей беседе. – «Интересно, она весь день будет ходить так, расстегну­тая?» – подумал он, отошел, затем, не удержавшись, обернулся и снова посмотрел на Тахмину. – Если вдруг случайно во сне попаду в Ригу, непременно тебя там найду.

Мелкие ровные зубы – как зерна кукурузы...

«А все-таки интересно: неужели действительно между Тахминой и Дадашем что-то есть? Дадаш и Тахмина! Ну и ну! Да нет, не верю, болтовня... Но с другой стороны... Дадашу тоже палец в рот не клади. Помню, какие номера он откалывал в прошлом году в Ташкенте на конференции...» Неймат представил себе Дадаша и Тахмину рядом. Толстое брюхо Дадаша, лысую голову, нос шишкой... И длинные ноги Тахмины, обнаженные прекрасные руки... «Не может быть! Да и Тахмина, говорят, не очень-то лестно отзывается о своем начальнике».

Неймат вернулся в отдел. Футбольные страсти утихли. Все работали, опустив головы. Похоже, что Дадаш не собирается продолжать вчерашний разговор.

«Начать самому? Нет. Не годится. Но если я промолчу, он и не вспомнит. Может, намекнуть как-нибудь? Но как? Э, да что я раздумываю?!»

– Дадаш-муаллим, – сказал он, – вы помните, мы вчера говорили о договоре? – И тут же почувствовал, как все в комнате навострили уши.

Дадаш поднял голову:

– Да, да, конечно. Яхья, скажи, пожалуйста, Тахмине, пусть оформит договор.

Вошла Тахмина. Пуговицы были застегнуты. Интересно, ей Заур подсказал? Она достала из ящика бланк и начала заполнять: имя, отчество, адрес...

– По какой ставке?

Неймат вдруг с удивлением отметил, что до сих пор не слышал, чтобы Тахмина обращалась к Дадашу по имени. Ни «Дадаш-муаллим», ни просто «Дадаш». Сколько он ни старался, не мог ничего вспомнить. Кажется, Тахмина всегда говорила с шефом в какой-то безличной форме...

Стало очень тихо. И Курбан, и Яхья, и Джумшуд были заня­ты делом. Но Неймат знал, что они ловят каждый звук.

Неймат думал: «Минимум шестьдесят, максимум сто пять­десят. Интересно, сколько же: восемьдесят, сто или сто двад­цать?»

Дадаш сказал:

– Сто двадцать, работа серьезная.

Тахмина написала.

– Подпиши.

Неймат расписался. Дадаш тоже.

– Почему ты написала сто двадцать? – воскликнул он. – Я же сказал – сто!

Это была традиционная шутка Дадаша. Все рассмеялись.

– Что поделаешь, расписались, – вздохнул Дадаш. – Грех на Тахмине. Что написано пером не вырубишь топором.

Когда Дадаш сказал это, у Неймата, как искра, промелькну­ло воспоминание – слова, сказанные тещей в роддоме.

– Большое спасибо, – сказал Неймат, – очень вам благода­рен, Дадаш-муаллим.

– Напиши заявление на аванс, я дам вместе с договором на подпись директору.

Забрав документы, Дадаш вышел из комнаты. Яхья поднял голову

– Повезло тебе, – сказал он.

– Человек сам кузнец своего счастья, – отметил Джумшуд.

Курбан ничего не сказал. Сидел насупившись. Неймат знал, что на душе у него кошки скребут.

Вернулся Дадаш.

– Ну, теперь иди на поклон к Сафтару. – Дядя Сафтар был главным бухгалтером.

– Нет, нет, денег сейчас нет. Ни копейки.

– А когда будут?

– Через десять дней.

Не было еще такого случая, чтобы Сафтар дал кому-нибудь деньги сразу.

Но если он сказал – через десять дней, то ровно через деся­ть дней можно было спокойно прийти и получить деньги. Он был хозяином своего слова.

– Можешь мне поверить, если б были, я бы тебе не отказал. Только что заходил Дадаш. Послезавтра он едет в Ригу. И ему я сказал то же: нет денег. Вышлю ему туда.

«Значит, Дадаш послезавтра уезжает. Вот так-так!»

Неймат давно проиграл Дадашу в нарды ужин с коньяком. И должен был пригласить его до летнего отпуска. Теперь оставался один завтрашний день. Успеть, конечно, можно. Но получалось как-то неловко. Договор, то-се... Получалось так, будто это благодарность. Паршиво! Нет, конечно. Дадаш его знает. Знает, что он не из таких. Но кто-нибудь из сотрудников непременно так подумает. Тот же Курбан. «Видишь, детка, учись, уметь надо. Не подмажешь – не поедешь», – и прочая народная мудрость!

Как бы там ни было, а Дадаша надо приглашать без свиде­телей, тихо, без шума. Но сперва, – посоветоваться с «премьер- министром». Он позвонил домой из коридора. Все рассказал Сурее.

– Да. Мяса я достану сам. Пораньше встану, куплю все, что нужно. Нет, нет, никого, будет один Дадаш, скажем Муртузу с семьей, Таире... и все.

В коридоре он подстерег Дадаша, пригласил.

– Ну что ты, зачем, пусть останется на осень...

– Нет, ей-богу, мы уже давно собирались. Только вот я не знал, что вы послезавтра уезжаете. Поэтому и говорю так поздно.

– А ребятам сказал? – Неймат замялся.

– Нет, я думал, может быть, посидим одни. Как говорится, в узком кругу. Понимаете... – Он пытался подыскать подходящее объяснение, но Дадаш сразу сориентировался.

– А-а, ну что ж, очень хорошо. Значит, завтра в три...

Неймат уже спускался по лестнице, как вдруг кто-то схватил его за руку. Неймат вздрогнул. Это был Мамед Насир.

– Рад тебя видеть!

– Здравствуй, здравствуй, Мамед Насир.

Тридцать пять лет назад Дадаш, Сафтар и Мамед Насир одновременно поступили сюда на работу. Независимо от возрас­та все сотрудники звали теперь Дадаша Дадаш-муаллим, Сафтара – дядя Сафтар, Мамеда Насира же – просто Мамед Насир.

У Мамеда Насира были две страсти: игра в нарды и порт­вейн.

Это был сутулый, худощавый, среднего роста человек с поредевшими волосами. У него была странная улыбка – жалкая, какая-то вымученная. Казалось, он улыбался без разрешения и знал, что это добром не кончится. Казалось, что он решил двигаться, сидеть, жить вопреки запрету и теперь готов ко всему.

Воротник его рубашки был несвеж. Он был первоклассным корректором, но все, что зарабатывал, пропивал. У него не было ни жены, ни детей. Его любимой присказкой были слова: «Я, Мамед Насир, одинок и сир».

Если б не Дадаш, его давно бы выгнали за пьянство. Первое время они были друзьями. Даже очень близкими. Теперь от этой дружбы ничего не осталось. Но все-таки Дадаш его всегда защищал: «Не трогайте его, это же несчастный человек».

От Мамеда Насира несло дешевым портвейном.

– Знаешь, как Омар Хайям жаловался? Ты по земле, говорит, о Боже, разлил мое вино! Я много пил, говорит, но опьянел почему-то ты. Что мне? Я, Мамед Насир, одинок и сир. Вот слушай. Однажды я, Гусейн Сарраф и Селим Шейда – был поэт такой, автор газелей... Поэт, говорю тебе, не из нынешних рифмачей, настоящий поэт... Смотришь, говорит с тобой, вдруг замолкает. В чем дело? Думает. Пройдет немного времени – раз, готова новая газель! А почему? Пришло вдохновение, вот и все. Как будто изо рта сыплются драгоценные камни. Ты не спрашивай у мудрых о здоровье соловья. Ты спроси о нем у розы, чьи шипы в его крови.

Вот это стихи, я понимаю!.. Да, так что я говорил? Ах, да. Вот этот самый Селим Шейда, я и Сарраф – набожный был мужчина, днем служил моллой, а вечером пел в опере «Асли и Керем»... Да, однажды мы втроем напились вот до сих пор, – Мамед Насир щелкнул по горлу. – Потом, думаем, надо опохмелиться. Ни копейки нету. Вдруг видим, идет по Цициановской Ахмед Фани...

Неймат понял, что этому не будет конца.

– Мамед Насир, – сказал он, – когда мы с тобой поедем в Красноводск?

Мамед Насир умолк, попытался понять смысл слов Неймата. Пугливо оглянулся. Потом вдруг его осенило.

– А-а, в Красноводск? Да, да, конечно. Когда хочешь! Когда вздумаешь. Хоть сейчас. Мамед Насир всегда к твоим услугам.

Когда Неймат только поступил сюда, его поймал однажды Мамед Насир и предложил:

– Давай-ка сядем на пароход и поплывем в Красноводск.

Неймат удивился:

– А что нам делать в Красноводске?

– Да ничего, просто так. Сегодня суббота. Сядем на парохо­дик, поплывем в свое удовольствие. Возьмем вина, будем пить помаленьку. Вокруг море, ветерок дует. Сойдем в Красноводске, найдем укромное местечко. Посидим маленько, выпьем. Потом снова сядем на пароход, будем понемногу выпивать винцо и вернемся. А утром чин чином явимся на работу. Ну как? Идет?

– Нет, – сказал Неймат, – не вижу в этом ни малейшего смысла.

Мамед Насир повесил свои янтарные четки на потертый рукав. Долго и задумчиво смотрел на Неймата.

– Сынок, – сказал он наконец, – если во всем искать смысл, в самой жизни-то не будет смысла...

Потом сотрудники рассказывали Неймату, что Мамед Насир предлагал это всем. Но пока еще никто не согласился.

«Красноводск! Хоть бы живописное местечко какое выбрал. А то Красноводск. Говорят, там ни воды, ни тени».

В усталых, затуманенных глазах Мамеда Насира мелькнула искорка.

– Сегодня суббота. Махнем в Красноводск, – сказал он. – Я уже здорово заложил. Но с тобой раздавил бы еще бутылку.

– В следующую субботу, Мамед Насир. Бог даст, в следую­щую субботу непременно поедем.

– Эх, – махнул рукой Мамед Насир.

Как он ни был пьян, а понимал, что все это одни разгово­ры...

У выхода к Неймату робко обратился длинноносый паре­нек:

– Это издательство?

Неймат впервые видел этого парня. Под мышкой у него бы­ла большая папка.

– А вам кого? – Парень закашлялся.

– Мне, – запинаясь, сказал он, – нужен тот, кто занимается книгами.

– Книгами?

– Да, кто книги печатает.

Неймат подумал: «Господи, начинающий автор».

– Ты написал книгу?

– Да.

– О чем?

– Ну, трудно так сразу... О жизни...

– Что же это – рассказ, роман, поэма?

– Все тут есть. И рассказы, и стихи. Я пишу уже шесть лет. Отнес в журнал, мне сказали, что лучше отдать в издательство: там сразу же выйдет книга. Сказали, что там как раз подойдет.

Мгновенно перед глазами Неймата пронеслись кадры из жизни этого неуклюжего юнца: проглоченные книги, просмот­ренная периодика, жадное желание писать, исписанные ночью страницы. Каменные ворота различных редакций. Прикрытая вежливостью насмешка, издевка, высокомерие. Семьдесят два варианта избавления от графомана. Все это Неймат как будто видел собственными глазами. Вернее, в самом деле видел.

Эта и еще сотни таких же напрасных надежд...

Все это было так хорошо ему знакомо. И хотя сам он не испытал этого, ему казалось, что он прошел сквозь все.

И вдруг Неймату захотелось вернуться, разыскать Мамеда Насира. именно Мамеда Насира и никого другого, взять этого парнишку, найти укромное местечко, посидеть, выпить, поговорить, излить душу, ибо, как говорит Мамед Насир, если не наполнишь желудок, не сможешь опустошить душу. Он прав. Трезвый не сможет раскрыть чужому человеку все, что лежит у него на сердце. А оно лежит, плесневеет, гниет и отравляет тебе

сердце, жизнь.

Неймат вновь взглянул на «автора».

После выпивки Неймат сказал бы этому длинноносому, плохо одетому парню: «Послушай меня, мальчик, поверь мне, еще не поздно. Как говорил мой покойный дядя, да упокоит Аллах его душу и да упокоит Аллах души твоих умерших, если ты не Ильяс Низами, оставь это дело, не связывайся с ним. Найди себе профессию. Лучше всего техническую. Жаль мне тебя. Этому конца нет. Понимаешь, то, что ты написал, пишут сейчас сотни и тысячи таких же молодых. Может быть, точно так, как ты, может быть, по-другому, неважно. Немного лучше или немного хуже, чуть более или чуть менее грамотно, но пишут они то же самое. Еще не поздно. Жизнь у тебя впереди. Оставь это. Конечно, если ты не Ильяс Низами! Однако, может, ты Ильяс Низами? Ну, тогда другое дело. Может быть, ты действи­тельно Ильяс Низами. Кто может знать? И произнес вслух:

– Так, значит, пишешь, писателем хочешь быть? Ну, поднимись на третий этаж, одиннадцатая комната.

Выйдя из издательства, Неймат направился на киностудию. Он должен был получить деньги за дубляж. Давно обещал дочери купить на эти деньги магнитофон. Переходя площадь, увидел, что мальчишки собираются играть в футбол. Он остано­вился, стал наблюдать.

Двое были совсем маленькие. Лет семи-восьми. Их обяза­тельно поставят вратарями. Всегда самых маленьких, самых слабых ставят вратарями.

Один мальчишка положил камешек – штанга! Отсчитал несколько шагов и положил другой камешек. Ворота готовы. Таким же способом установили вторые ворота.

Действительно, маленьких поставили вратарями. Раздели­лись. Трое против трех. Один вышел.

– Ты судья.

– Сам будь судьей. Я играть хочу, – взбунтовался «Судья».

– Ну, хорошо, сейчас побудь судьей. А через три гола я буду судить, а ты будешь играть.

Договорились. Капитан одной команды поднял с земли щепку, зажал в кулаке. Капитан второй команды стукнул по кула­ку. Игра началась.

Неймат вспомнил детство. Сколько он играл в футбол, именно вот так... Традиции, техника, правила уличного футбола не изменились ни на йоту. Так было и двадцать пять лет назад. Штанги – камешки. Маленькие – вратари. Игра не по времени, а по числу забитых мячей. Споры: «Нет, мимо, мимо!» Или: «Выше ворот!» Все, все осталось, как было.

– Тофик, пас сюда! Сам выходи! Держи, Назим!

– Рука! Рука! – закричали все.

Виновник попытался оправдаться, опираясь на мифическое правило уличного футбола. «Рука прижата», – сказал он. Начался спор. Вдруг кто-то вспомнил, что у них есть судья. Судья сказал повелительным тоном: «Пенал!»

Наконец и он на минуту почувствовал себя персоной.

Виновник промолчал. Не говоря ни слова, он начал опре­делять место «пенальти». «Теперь-то он зашагает!» И правда, он шагал так широко, что, того и гляди, разорвется пополам, и на десятом шагу оказался у ворот противника. Он и сам понял, что это слишком. Последний шаг сделал покороче.

– Все, – сказал он, – бейте!

Молчавший до сих пор капитан другой команды сказал:

– Шиш! – и начал считать сам.

«Теперь посмотрим, как он будет считать!»

Этот капитан двигался, как пленник в кандалах. Место пенальти оказалось совсем близко. И снова поднялся шум.

Неймат и сам не знал, почему он, бросив все дела, стоит и наблюдает с таким интересом и не может уйти. Любопытно, что сказали бы издательские болельщики, посмотрев мальчишечью игру. Конечно, Курбан – это бурдюк с ядом. Но, может быть, в том, что он говорит, есть один процент, полпроцента, четверть процента правды. В нашем увлечении футболом, может быть, нет ничего скверного, но, во всяком случае, есть что-то очень печальное. «Заполнение вакуума». Эх, Курбан!

У кассы киностудии было много народу. Неймат простоял в очереди полчаса.

Проходя мимо почты, он сунул руку во внутренний карман. Паспорт был на месте. Вошел. Подошел к окошку «До востребования».

«На что это похоже? Точно на могилу прихожу... Брось, ради бога, что еще за могила! Почему могила?..»

Каждый раз, когда он проходил по этой улице, он заходил на почту и, протянув паспорт, ждал. Его охватывало странное волнение. Девушка аккуратно проверяла конверты, и каждый раз говорила одни и те же слова:

– Вам ничего нет. Пишут, наверное.

Да и откуда бы? Неймат знал, что никто ему не пишет. Он в жизни еще не получал письма «до востребования». Не бывает писем ниоткуда...

Но почему-то всегда, когда он проходил здесь один, он подходил к этому окошечку. И когда при нем не было паспорта, очень досадовал.

– Намазов, ага, есть. Нет, это Намазов Надир. А вы Неймат, да?

– Да, я Неймат.

Перебрав все конверты, она сказала:

– Пока ничего нет. – И вернула ему паспорт через полу­круглое отверстие.

Неймат медленно отошел. Вдруг ему пришло в голову не­ожиданное сравнение. «Это у меня, – подумал он, – как Красно­водск у Мамеда Насира... «Если искать во всем смысл...»

Закурил сигарету и вышел на улицу

ПИСЬМО НАРГИЗ НАМАЗОВОЙ ДЕДУШКЕ ПЕТУХУ[[5]](#footnote-5)

«Здравствуй, Дедушка Петух!

Дедушка Петух, меня зовут Наргиз. Дедушка Петух, мне восемь лет. Дедушка Петух, я пишу в этом письме названия птиц по твоему заданию.

Названия птиц:

голубь, ласточка, воробей, скворец, перепелка, ворона, дятел, сорока, орел, удод, беркут, павлин, турач, сокол, фазан, кулик, галка, журавль, филин, куропатка.

Домашние птицы:

курица, петух, утка, индюшка, гусь.

Двадцать пять птиц.

Дедушка Петух, у меня есть подружка Рахиля. Учительница выбрала ее старостой, потому что она хорошо учится. У них есть магнитофон. Дедушка Петух, они записали туда твой голос. Ты назвал ее имя по радио, и отец Рахили записал тебя на магнитофон. Ты говоришь там: Рахиля Гасанова написала мне письмо. Дедушка Петух, я тоже написала тебе письмо. Дедушка Петух, мой папа тоже купит магнитофон, а ты скажи по радио мое имя. Когда мой папа купит магнитофон, я ему скажу, и он тебя тоже запишет. Магнитофон хотят Кармен и Джильда. Это мои сестры. Папа для них купит. Папа сказал, что, если я буду хорошо учиться, Дедушка Петух назовет мое имя. А Рахиля говорит: Дедушка Петух не назовет твое имя, потому что ты получила тройку по арифметике. Дедушка Петух, я хорошая девочка. Дедушка Петух, я у нас в семье самая маленькая, поэтому меня очень любят мама, папа, бабушка и сестры. Я слушаюсь маму. Я помогаю бабушке. Дедушка Петух, я знаю много сказок, песенок и стихов. Я могу играть на пианино песенку «Кукла». Дедушка Петух, я всегда слушаю тебя по радио. Дедушка Петух, скажи завтра по радио мое имя. И передай для меня по радио песенку «Телефон».

Ваша внучка Намазова Наргиз Неймат гызы».

ДВА-ОДИН

Рок бросил кости. Два – один![[6]](#footnote-6)

И это счет моей судьбы.

Заур знал, что Тахмина, в конце концов, согласится. Такие предложения либо сразу же и с негодованием отвергают, либо рано или поздно принимают.

– Но почему же именно на пляж?

– А помнишь, когда я купил «Москвича», ты сказала: «Вот хорошо, будешь возить нас летом на пляж».

– Но я говорила, поедем всем отделом, не сказала же я – вдвоем...

– Всем отделом? – Заур иронически начал перечислять: – Дадаш, Неймат, Курбан... Тахмина расхохоталась.

– Подумай, Заур, что скажут! Мой муж...

– Да что тут страшного? Если бы твой муж был в Баку! Но ведь сейчас его нет... Поедем, искупаемся и часика через два вернемся.

– Через два? Точно?

«Ну, вот и все! Порядок!»

– Абсолютно! Честное слово!

Тахмина прикусила нижнюю губу, склонила голову набок. Волосы упали на плечо.

– Пойду, выведу машину из гаража и через двадцать минут буду у вашего дома.

Заур поспешил на третий этаж. Он прыгал через пять ступенек, улыбался, напевал. Не было крыльев, а то бы полетел.

На верхней площадке он столкнулся с Мамедом Насиром. В нос ему ударил запах дешевого крепленого вина.

Мамед Насир схватил его за руку...

– Умоляю, – сказал он, – пойдем в нарды сыграем.

– В другой раз с удовольствием, Мамед Насир. Некогда. Ужасно спешу.

Он дернулся, пытаясь освободиться.

– Один тас[[7]](#footnote-7), – сказал Мамед Насир, – я тебя прошу.

– Слушай, я же сказал тебе: тороплюсь!

– Семь раз меняли орфографию, – сказал Мамед Насир. – Но выжить меня не смогли. Каждый раз я переучивался заново. Пусть приходят сюда твои молодые корректоры. Посмотрим, кто кого. Я знаю и арабский алфавит, и латинский, и теперешний.

– Вот и хорошо. Отпусти меня...

– Нет, постой, ты еще молод... Что ты видел? Люди были, понимаешь, люди! Люди, говорю тебе! Люди! Вот на этом самом месте меня остановил Гейдар Махмудов. Говорит: «Что случи­лось, Мамед Насир, ты выглядишь каким-то скучным?» – «Нет, ничего, говорю, все хорошо». Эх, люди были. Львы, барсы!

Заур вырвал руку и ринулся прочь. Мамед Насир посмотрел ему вслед, покачал головой. Бормоча что-то себе под нос, стал спускаться.

Навстречу шли девушки, он поздоровался:

– Здравствуйте, девицы-красавицы, добрый день! – Девушки прыснули. Он продолжал бормотать: – Ну что ж, освобождайте, увольняйте, воля ваша!.. А теперь вот выговор объявляют, говорят: пьешь! А мне что? Я, Мамед Насир, одинок и сир. Раз пью, значит, надо!.. Яхья, голубчик, умоляю, пойдем в нарды сыграем.

– Слушай, ты взрослый человек, занялся бы лучше делом.

– Делу – время, потехе – час. Слышал? Джумшуд, ради Бога, ну что я такого сказал? Разве я сказал что-нибудь неприличное? Сказал: пойдем, сыграем в нардишки.

– Мамед Насир, кажется, ты опять того, – сказал Джумшуд и выразительно щелкнул себя по горлу.

– Ах ты, плутишка! – подмигнул ему Мамед Насир. – Не срами Мамеда Насира при людях.

– Ну как, Мамед Насир, ты сейчас завотделом или директор? – спросил Джумшуд.

– Что? А-а... Нет, пока еще редактор, ха-ха-ха.

Мамед Насир уже тридцать пять лет работал в этом изда­тельстве корректором. Но часто говорил: «После трех рюмок я становлюсь редактором, после пяти – завотделом, после семи – директором. Потом теряю счет. Вдруг обнаруживаю, что я зам­министра. Затем министр. Потом индийский падишах. Потом Бог...»

– Всего лишь редактор? Что ж ты так мало выпил? Сегодня суббота. В самый раз.

– Ай, Джумшуд, сыграем в нардишки, а?

– Завтра, Мамед Насир, завтра.

Яхья с Джумшудом, продолжая прерванную беседу, стали спускаться.

– Да, Неймат наш пошел в гору...

– Когда я вчера увидел, как они с Дадашем перешептывают­ся, сразу понял, что это неспроста.

– Завтра воскресенье! – крикнул им вслед Мамед Насир. Но ответа не последовало. Напевая, он побрел по коридору.

*Сперва любовь ты приняла, и сок пьянящий мне дала,*

*Но стал я пьян – по голове ты винной чашей мне дала...*

– Что, Мамед Насир, опять Хайяма распеваешь? – Он чуть не налетел на машинистку Товуз.

– Это не Хайям, дочка, это Хафиз, – сказал он и добавил: – Рад тебя видеть. Как жизнь молодая?

– Спасибо, твоими молитвами...

– Давно тебя не встречал.

– Я ездила в район. Маму провожать. Ты не был в наших краях? Знаешь, как там хорошо! Так красиво, прямо невозможно наглядеться.

– Лучшее путешествие... – начал было Мамед Насир.

– Знаю, знаю, – прервала его Товуз, – лучшее путешествие – на дно кувшина с вином. Сто раз слышала.

– Вот и молодец! Как пройдешь этот путь, как достигнешь дна сосуда, так попадаешь – куда?.. Правильно, в рай. Смотришь – кругом одни гурии да ангелы. Все врут: в раю никакого сухого закона нет. Выпивки сколько влезет. – Он ребром ладони провел по глотке, словно пилил ее. – И вот часа два-три ты находишься в Райграде. И рядом прекрасная душегубительница... Знаешь, есть душа, есть душегубка, а еще есть прекрасные душегубительницы, вроде тебя, например.

– Ну тебя, – сказала Товуз, махнув на него рукой, – бесстыд­ник какой, смутил ты меня.

– И вот оглядываешься, смотришь туда-сюда, потом тебя укладывают на носилки – на твою кровать, то есть – и марш обрат­но. Очнулся, смотришь, опять ты в своей комнате, все тот же Мамед Насир. Каким был, таким остался.

Товуз отошла от него.

Мамед Насир посмотрел ей вслед.

– Тоже мне! – сказал он. – Наш район, ваш район... Правиль­но говорил старик Мардан, что среди этих бакинцев, гарабахцев, казахцев – не знаю, кого еще? – гянджинцев, гёйчайцев, нахичеванцев быть азербайджанцем не так просто!

Сутулившись, Мамед Насир продолжал свой путь по коридору. «Здравствуй, добрый день, до свиданья, всего хороше­го, всех благ», – вежливо говорил он уходящим домой сотрудни­кам.

Оттого ли он сгорбился, что всегда смотрел вниз, или всегда смотрел вниз оттого, что сутулый?

Он дошел до дверей Дадаша. И так эти двери открывал, словно у них прощения просил за то, что открывает. Открыв дверь, он бочком, на цыпочках, семеня, вошел внутрь. Вошел так, будто там кто-то спал или болел.

Дадаш собирал бумаги в свой большой пухлый портфель. Портфель был такой громадный, что в нем можно было уместить годовалого ребенка.

Тахмина, достав из ящика небольшое зеркальце, красила губы, потом облизнула помаду языком. Курбан, опустив голову, что-то писал.

– Здрасьте, – сказал Мамед Насир.

– Ну что, Мамед Насир, – сказал Дадаш, – ты, кажется, хоче­шь что-то сказать?

Мамед Насир предложил:

– Может, сыграем, а?

– Клянусь, спешу, а то бы, знаешь, с удовольствием. – Он взял в руки свой монументальный портфель, сказал уверенно: – Ну, будьте здоровы.

Широкая спина на минуту заслонила дверь.

Мамед Насир, поклонившись этой спине, сказал:

– Будьте здоровы, всего вам доброго, – дважды кивнул, прощаясь с этой спиной, а его собственная спина еще больше сгорбилась, он согнулся почти пополам. – До свиданья, девица- красавица, и тебе всего хорошего.

Дверь закрылась. Было слышно, как идет Дадаш, казалось, по коридору марширует пара утюгов. К этому стуку добавился дробный стук каблучков Тахмины – будто на пол закапала вода. Звуки удалились, исчезли... Курбан поднял голову.

– Мамед Насир, это правда, что у тебя с Дадашем свои, особые шутки?

– Какие еще шутки?

– Поговаривают, что, когда ты выпьешь вдоволь, – Курбан усмехнулся, – приходишь к нему домой часа в два, три ночи. Звонишь. Его жена просыпается, открывает. Спрашивает, что случилось, что за срочное дело такое, а ты отвечаешь: очень срочное дело! И вот к двери выходит заспанный Дадаш в кальсонах, протирает глаза, спрашивает: что стряслось? А ты, – тут Курбан засмеялся хриплым смехом курильщика, – щелкаешь пальцами и поешь: Тра-та-та-та, тра-та-та, Ля-ля-ля-ля, ля-л я-ля!

Мамед Насир тоже рассмеялся. Во рту у него не было ни одного целого зуба.

– Бывает, бывает, – сказал он. – Да я этого Дадаша знаю, как свои пять пальцев. Сколько лет дружили. Ты тогда еще ребенком был. Первым сюда на работу пришел я. И с тех пор работаю корректором. Семь раз меняли орфографию. И всякий раз я переучивался. И латынь знаю, и арабский, и теперешний. Однажды на углу у Парапета[[8]](#footnote-8) встречаю Мирзу Джалила[[9]](#footnote-9). На нем был такой голубой парусиновый пиджак, знаешь. В руке – трость. Говорит: «Ну, Мамед Насир, мы так не договаривались, брат!..» Эх, Курбан, люди были! Людей видели!

– Дадаш тоже с тех пор работает, – сказал Курбан.

– Нет, первым пришел сюда я. Потом перетащил Сафтар. Теперь он главный бухгалтер. А тогда был помощник кассира. Подай, прими... И Дадаша я сюда устроил. Однажды вот на этом самом месте встречаю Гейдара Махмудова. Говорит: что случилось, Мамед Насир, ты выглядишь каким-то скучным? Ничего, говорю, спасибо, дай бог здоровья. Но у меня, говорю, есть товарищ. Если можно, возьмите его на работу. Что, говорит, за товарищ? Да вот, говорю, Дадаш. А что, говорит, он умеет? Да все, говорю, что скажете. Пусть, говорит, придет, возьму его пока курьером, а там посмотрим. Эх, люди были тогда! Где они теперь? Остались только детки да клетки. Теперь каждый...

– А это правда, что Дадаш накапал в свое время на Гейдара Махмудова?

Мамед Насир пожал плечами:

– Пойдем-ка, сыграем в нарды...

– Так, значит, это ты устроил Дадаша на работу. Смотри, пожалуйста, начал с курьера и как поднялся...

– Да, тогда он был не такой расторопный. То и дело раздавались окрики: «Эй, Дадаш, быстрее двигайся! Шевелись, милый!» Даже стишок сочинили: «Эгей, Дадаш, эгей, а ну-ка побыстрей!» Погляди на него теперь: племянник аллаха.

– Правая рука директора, – сказал Курбан. – Берегись, не по­падайся. Но, сказать по совести, тебя он всегда защищает. Прош­лый раз опять тебе хотели вкатить выговор, и опять он не позволил.

– Дай бог здоровья, – сказал Мамед Насир. – Я-то ничего плохого от него не видел. Ничего, кроме хорошего. Ну, пойдем, сыграем в нарды.

– Нет, мне надо бежать. Если я опоздаю, хоть на пять минут, жена устроит мне разнос. Тебе этого не понять, Мамед Насир. Тебе что, ты холостой!

– Холостяк, когда он пьян, независим, как султан. Я, Мамед Насир, одинок и сир.

Он вышел из комнаты. Издательство совсем опустело. Дядя Сафтар запер железные двери и направился к лестнице. Он раньше всех приходил и позже всех уходил.

– Сафтар, – сказал Мамед Насир, – перекинемся в нардишки, а?

Дядя Сафтар был задумчив и сосредоточен. Заслышав голос, он вздрогнул, поднял голову. Будто сразу и не узнал Мамеда Насира, будто видел его впервые. Снял очки, дохнул на стекла, протер их платком.

– Эх, Мамед Насир, – сказал он, – только нардов мне и не хватало.

Два месяца назад у дяди Сафтара умерла жена.

– Ох, Сафтар, – сказал Мамед Насир, – право, этот мир не самое лучшее место для жизни. Вот никак не могу собраться найти время покончить с собой.

– Не торопись, – сказал Сафтар, – смерть сама тебя разы­щет.

Мамед Насир зашептал:

– Сафтар, говорят, в то время Дадаш накапал на Гейдара, да?

Сафтар махнул платком, как бы отгоняя осу.

– Мамед Насир, ради всего святого, оставь меня в покое. Ты выпил, тебе море по колено...

И ушел, торопливо вышагивая: так-тук, так-тук...

Когда Заур выводил машину из гаража, он вдруг вспомнил, что забыл в ящике стола плавки. Летом он всегда держал их на работе. Смотришь, иногда в конце дня договоришься с ребятами и – на море.

Он подрулил к издательству. Рабочий день закончилась. Люди разошлись. Он постучал.

– Никого нет, – сказал вахтер, – все разошлись.

– Знаю, – сказал Заур и юркнул в дверь.

Он поднялся к себе, открыл ящик, взял завернутые в газету плавки. Посмотрел на часы и вдруг удивленно прислушался. С верхнего этажа пустого учреждения ясно слышался стук костя­шек. «О, Мамед Насир здесь, оказывается! Интересно, кого это он охмурил? Поднимусь-ка, – подумал Заур, – посмотрю, кого он зацепил. Будет тема для разговора с Тахминой. Вообще Тахмина любит поговорить о Мамеде Насире. Еще расскажу ей историю с экзаменами. А потом поведем другие разговоры, перейдем к делу, к сути, дружище Заур. Ах ты, хитрец!»

Он усмехнулся в усы, пригладил волосы и направился к комнате, из которой доносился стук костей.

Открыл дверь – и обомлел.

Мамед Насир играл в нарды один, сам с собой. Он не видел Заура.

–Ходи, Дадаш, – сказал он и бросил кости. – Ага, шесть – шесть. Сыграл.

– А теперь твой покорный слуга Мамед Насир. – Кинул.

– Тьфу! Опять два – один! Уж не везет, так не везет...

Заур тихонько затворил дверь и медленно стал спускаться.

Покачал головой, улыбнулся.

– До свидания, – сказал он вахтеру и сунул ему тридцать копеек. Вышел на улицу и вновь покачал головой.

ПИСЬМО ДАДАША

«Москва, улица Добролюбова, II. кв. 4.

Профессору Гейдару Махмудову.

От души приветствую Вас, многоуважаемый и дорогой профессор! У меня так занята голова нескончаемой текучкой, что давно уже не находил времени написать Вам. Наконец, сегодня, в субботу, я сказал себе: что бы там ни было, я должен выкрутиться и написать хоть несколько слов.

Однако, если я не пишу Вам, это отнюдь не значит, что я ничего не знаю о Вас. Кто бы из знакомых ни приезжал из Моск­вы, я неизменно о Вас расспрашиваю и неизменно радуюсь, услышав, что Вы здоровы и хорошо настроены. Я горжусь, когда вижу в центральной печати Ваше имя. Вероятно, Вы не вполне представляете себе, дорогой профессор, что значит для нашего поколения Ваше имя, творчество, судьба, жизнь. Когда я думаю о подлинно советском ученом, о подлинно кристальном гуманисте, мужественно, с открытым забралом преодолевающем все испытания, все превратности, я вспоминаю о Вас. То, что вы прошли сквозь такие тяжелые годы, облыжно обвиненный, но не сломленный, с несокрушимой верой в будущее, и заняли вновь достойное место среди строителей нашей жизни – все это урок не только для молодого поколения, но и для нас. В самом деле, даже сейчас еще встречаешь людей, которые, столкнувшись с несправедливостью или злоупотреблением, заболевают страш­ным недугом равнодушия, опускают руки, уходят в тень, ни во что не вмешиваются, начинают жить по принципу «плетью обуха не перешибешь», «моя хата с краю». Вы же после всего, что Вам довелось испытать, с прежней энергией, с молодым задором, с юношеской страстностью работаете, творите, живете для нашего народа.

Дорогой Гейдар-муаллим, простите мне громкие слова и поверьте, что слова эти пришли из глубины души и выражают неподдельное, живое чувство.

Дорогой профессор! В прошлом году Вы обещали приехать. И – не приехали. Сдержите слово хоть нынешним летом. Вот закончатся занятия в университете – приезжайте сюда в отпуск. Как говорится, родные пенаты Вас ждут. Поездим по Азербайд­жану. Поднимемся на Гёй-Гёль[[10]](#footnote-10). Сам, собственноручно приго­товлю Вам шашлык – пальчики оближете. Оттуда проедем через Шушу, Лачин в Кельбаджары. Я же помню, Вы любитель таких путешествий. А потом соберемся у нас в Баку, позовем старых друзей, выпьем из армуду[[11]](#footnote-11) хорошего чаю, сыграем в нарды. Вы не забыли эту игру?.. К слову, я в прошлом году посылал Вам с молодым человеком, с Яхьей, нарды. Я специально заказывал их в Нухе. Не знаю, понравились ли они Вам.

У нас здесь все в порядке. У бухгалтера Сафтара умерла жена, Мина-ханым, помните ли Вы ее? Да, профессор, наше поколение понемногу уходит. Смотришь порою, кто остался из старых друзей? Кто остался из людей нашего времени? Из тех, кого Вы принимали на работу, остались я, Сафтар и Мамед Насир. Мамед Насир пьет. Не женили мы его вовремя. Может, семья бы его остепенила. Недавно его чуть не выгнали с работы. Но, слава Богу, до этого не дошло. Я встал и сказал: ну, вот вы выгоните его, а что он будет делать? Легко человека выгнать на улицу. Но давайте сперва посоветуемся, как ему помочь. Он старый работник. Ветеран издательства. Грамотный корректор. Его принимал сюда сам Гейдар Махмудов. И вы, молодые, може­те у него кое-чему поучиться. Вы знаете, профессор, нынешнюю молодежь – они так разговаривают, будто умнее всех. Я говорю: мы уже были в вашем возрасте, а вы до нашего еще не дожили. То, что знаете вы, мы уже давно знаем, что знаем мы, вы еще не знаете. Короче говоря, отстоял я Мамеда Насира. Призвал и Вас на помощь. Говорю: если профессор узнает, он не одобрит этого, уж он так людьми не разбрасывался.

Ну, вот и все новости. Наш Агил окончил в этом году школу с золотой медалью. Мечта его – Москва. Учиться дальше хочет только там. Причем в Вашем университете. Говорю: ты думаешь, легко выдержать конкурс в Москве и попасть? Но он ничего не хочет слушать. Сам еще не знает, в какой области специализиро­ваться. Может быть, дадите ему совет? В общем, это тоже проблема...

Дорогой профессор, с нетерпением жду Вашего ответа. И с еще большим нетерпением – Вашего приезда.

Искренне Ваш Дадаш.

Баку, 5 июня 1965».

ТРЕТИЙ

Он прикуривал сигарету от сигареты. «Если это розыгрыш, то, надо сказать, довольно глупый. А может, она думала, с другой стороны? Но там же нельзя стоять. Сказала – на левой стороне? Ну вот, это и есть левая сторона».

Заур еще раз глянул на автомобильные часы, потом на свои. Она опаздывала уже на 45 минут.

«Жду еще пятнадцать минут. Будет ровно час. Для опозда­ния часа вполне достаточно. Дольше того я не стану ждать даже Бриджит Бардо. Ну, а если это розыгрыш, что ж, переживем. Я ведь тоже парень не промах!»

Прошло еще семь минут.

Он закурил последнюю сигарету. Смял в руке пустую пачку и, прицелившись, кинул ее в урну на тротуаре.

Открыл бардачок в машине, достал новую пачку, остано­вился, поглаживая руль.

У самого уха послышалось:

– Извини, я, кажется, немного опоздала.

Хотя он давно уже ждал этого голоса, но вздрогнул, обер­нулся, увидел белый ряд пуговиц на красном платье.

– Ничего, – сказал он, – переходи на ту сторону. – Он открыл дверцу. Тахмина села, протянула ему две пестрые сумки.

– Погоди, – сказал Заур, – положу их назад. Чего это ты тут набрала?

– Да так, кое-что из еды.

Заур завел машину, они тронулись.

– Из еды? Зачем? Поела бы дома. – Он взглянул на Тахмину, улыбнулся. – Вернемся же часика через два...

Тахмина повернула к себе дорожное зеркало и стала по­правлять волосы.

– Я поела. А потом подумала: может, задержимся. Проголо­даемся...

– А-а, вот как. – Он с интересом оглядел Тахмину.

«Вот какие дела, – подумал он. – Едет па пляж с чужим мужиком. И знает, для чего едет. И при этом не забывает о заготовке кормов. Вот он, двадцатый век, дружище Заур! Время романтики миновало».

– Куда поедем? – спросил он.

– В сторону Пиршагов, – тотчас ответила она. – Там за Пиршагами есть один пляж – славное местечко: тихо, пусто...

«Что значит бывалый товарищ, знающий жизнь! На твою голову, друг Манаф!»

– В детстве у нас была дача в Пиршагах. Когда был жив па­па... Мы всегда ездили туда купаться... Там есть чудные скалы...

Из людных, тесных улиц они выбрались на широкое шоссе. В субботний вечер, казалось, весь город устремился на побе­режье – в машинах, в автобусах. Их задние окна напоминали огород: арбузы, дыни, помидоры...

И тут Заур вспомнил Мамеда Насира.

– Что такое? Чему ты смеешься?

– Да так, вспомнилось. Я на минуту вернулся в издательство – вдруг вижу...

И он подробно рассказал, как Мамед Насир сам с собой играл в нарды. Кажется, до Тахмины не дошел смысл рассказан­ного.

– Да разве можно с самим собой играть в нарды?

– В том-то и дело, что он никого не смог подбить под это дело, вот и стал играть с собой. Что, не понимаешь?

– Я не понимаю, что в этом смешного. Тут плакать надо, а не смеяться, – сказала Тахмина и добавила: – Мамед Насир очень странный человек.

– Да. Прошлым летом его племянница поступала в университет. Он похвастался, что устроит ее, пьян был, навер­ное. А мой дружок как раз работает в университете, так он рассказывал: «Смотрю, говорит, однажды – стоит Мамед Насир около университета, как отбившийся барашек, сутулится. Не пускают его внутрь. Стоит – слегка того. Я говорю вахтеру:

Впусти! Ты знаешь, кто это? Большой человек!» Впустил. Пле­мянница тоже с ним. Как только он вошел, сразу выпрямился, схватил девчонку за руку и – прямо в аудиторию, где идет экзамен. Я, конечно, за ними – посмотреть, что будет. Открыл он дверь, видит – экзамен, ребята сидят. Ну, комиссия, то-се. А в комиссии, значит, только Рагим да еще Джаваншир из старых преподавателей. Ну, Мамед Насир вежливо с ними поздоровался и сказал: «Джаваншир, ты меня знаешь?» – «Знаю». – «Вот и отлично! Ну, а ты, Рагим?» – «Знаю, конечно, Мамед Насир». – «Вот и чудесно! Это моя племянница. Теперь вы и ее знаете, да? Ну и все. И – молчок. Моя племянница, поняли?» – «Поняли, поняли». – «Ну, садись, девочка, не волнуйся. Все ясно. До свиданья!» И пошел, а потом вернулся, сказал: «Извините мое вторжение и вы, молодые люди, извините». Дома, наверное, заверил сестру: ты, мол, не волнуйся, успокойся, считай, что дочь твоя уже сидит на лекциях».

Дорога становилась все безлюднее.

Помолчали. Потом Тахмина спросила:

– Ну, хорошо, а девочку приняли?

– Какое там! Срезали.

– Почему?

– Как почему? Да кто такой Мамед Насир? И кто так устраивает свои дела?

– Да, конечно! – сказала Тахмина. – Этот мир не для Мамеда Насира.

Заур издал неопределенный звук, который можно было принять как за отрицание, так и за подтверждение.

– Ну, ладно. А давно ты купил машину?

– Скоро семь месяцев.

«Хоть бы не спросила, на какие деньги». Ему не хотелось говорить: «На отцовские». Тахмина не спросила. Наверное, как и все, она это знала.

– Хорошо работает... – произнесла она полувопросительно.

– Летит, как газель. Пятьдесят лошадиных сил, не шутка!

– Сколько?

– Пятьдесят.

– У меня был один знакомый. У него была «Волга». Он без конца хвастал, что в ней семьдесят лошадиных сил. Наконец он мне надоел, и я сказала: знаешь что, в машине твоей – сила семидесяти лошадей, а ума у тебя в голове даже на семь не достанет. Обиделся страшно.

– А кто это?

– Много будешь знать, скоро состаришься, – сказала она, но, посмотрев на него, добавила: – Да нет же! Просто один знако­мый...

Заур подумал: спросить или не спрашивать? Потом решил­ся:

– Извини, Тахмина, я задам тебе один вопрос... Только не сердись.

– Хорошо.

– Манаф тебя не ревнует?

Тахмина засмеялась и, протянув руку, взъерошила ему волосы. По телу Заура пробежали мурашки. На мгновение глаза его затуманились, руль заплясал, машина, как пьяная, вильнула.

Тахмина с трудом выпрямилась.

– Ого, какой темперамент!

Заур тут же взял себя в руки. Нервно рассмеялся.

Машина наматывала дорогу на колеса, как нить на клубок. Мимо проносились деревья, телеграфные столбы. Вдалеке блестели миражи, и, блеснув, исчезали.

– Мой тебе совет, – нарушила молчание Тахмина, – если ты в один прекрасный день женишься, непременно ревнуй свою жену. Неважно, чувствуешь ты что-нибудь такое или нет, есть для этого основания или нет. Но если ты хочешь, чтобы жена дорожила тобой, считалась с тобой, обязательно ревнуй. Конечно, не будь мелочным, не отталкивай ее копеечными придирками. Бывают такие мужья, которые ревнуют глупо, бессмысленно. Я не об этом. Но если в меру, если так, чтобы твоя жена знала, что ты ее ужасно ревнуешь, но – сдержанный человек! – этого не показываешь, тогда все будет как надо. Видишь, какой я даю тебе житейский урок! Если спросят, кто тебя научил, скажи, что сам такой умный...

– Спасибо, спасибо. Очень тебе признателен. Ну, а для чего это нужно?

Она глубоко вздохнула и сказала:

– Проще всего было бы объяснить так: жена думает – либо он ко мне равнодушен, не любит, а потому и не ревнует, либо, по его мнению, я такая образина, что никому не приглянусь. Но это было бы слишком просто, не правда ли? – спросила она, внимательно следя за выражением его лица.

– Да, это было бы слишком просто. В чем тут дело, объяс­нить почти невозможно. Словом, как теперь говорят, не выходи из рамок, не теряй чувство меры, но немножечко ревновать необходимо. Иначе – худо. Но бывает и еще хуже. И бывает это тогда, когда жена действительно изменяет мужу и знает, что он это чувствует, но притворяется слепым и глухим, чтоб было тихо. Тогда жена начинает брезговать своим мужем. Злость, ненависть, горе остывают, угасают, проходят, но омерзение остается навсегда. Ты не можешь больше видеть этого человека. Ты избегаешь прикосновения к нему, как прикосновения к жабе, к ящерице. Понял? – Она протянула руку к волосам Заура, но тут же отдернула. – Нет, нет, ради Бога, ты еще опрокинешь машину.

– Все это для меня слишком сложно, – сказал Заур, – поэтому я и не женюсь.

– Ну и правильно... С одной стороны.

Она снова замолчала. Их нагоняли два переполненных такси. Водитель первой машины нажал на сигнал и долго не отпускал его. Заур поглядел в боковое зеркало и прибавил скорость. Задрожали стекла. Теперь машины шли бок о бок. Сидящий рядом с водителем усатый мужчина смотрел на них, улыбался, и два ряда его золотых зубов отражали солнце.

– Что ты делаешь? – сказала Тахмина. – Что за состязание? Пусть обгоняют. Поезжай как человек. Мы же разговариваем.

Заур убавил газ.

Оба такси как пули проскочили мимо, отметив свою победу отрывистыми сигналами.

– Когда я пришла на работу, я долго не могла найти общего языка с сотрудниками, – сказала Тахмина. – Мне казалось, что они страшно тупые. Один Неймат был похож на человека. Но он всегда в хлопотах, как будто на лбу у него написано: «Что делать? Как быть? Как жить дальше?» Мне казалось, что я никогда не смогу привыкнуть. Но, знаешь, время все меняет. – Она опустила стекло. – Посмотри на часы. Видишь, как летит секундная стрелка. А приглядись: заметишь ли движение часовой? Стоит... Но через два-три часа увидишь, что она перешла на другое место. Так и человек. В детстве он быстрее меняется. Как секундная стрелка. А когда вырастает – очень медленно. Прохо­дят часы, дни, жизнь – ты и не чувствуешь, как меняешься каж­дую минуту, каждый час. И через два-три года вдруг посмотришь и не узнаешь себя: неужели это я?

– Ты сама так изменилась, да?

– Иногда я не узнаю себя. Как получилось, что я смогла привыкнуть к этим людям? Даже не привыкла, нет, подружилась, привязалась, сравнялась...

– Ну и что же? Подружилась, и хорошо. Разве это плохо – подружиться?

– Я и не говорю, что плохо. Дело не в том. Я к ним привык­ла! Понимаешь, к их увлечениям, словечкам, шуткам, присказ­кам. Я знаю дни рождения их самих, их жен, детей наизусть. Я знаю их вкусы, их компании, тосты, знаю, кого выберут тамадой и что он скажет, Эх!

– Да разве это плохие люди?

– Ну что ты пристал – плохо, плохие! Ничего ты не понимаешь. Плохой человек! Хороший человек! На свете нет ни хороших, ни плохих людей. Жизнь так длинна, что ни у кого терпения не хватает быть только плохим или только хорошим...

– Ну, не скажи! Все-таки есть разница между людьми. Вот, например, какой человек Дадаш? Их взгляды встретились в зеркале.

– Ах ты какой! – засмеялась Тахмина. – Хочешь выведать у меня что-нибудь?

– Нет, – сказал Заур. – Я не хочу вмешиваться в твои личные дела.

Сначала Тахмина удивилась, потом, как будто поняв, сказа­ла:

– А, вот оно что! – И очень серьезно добавила: – Меня инте­ресует одна вещь: все думают, что... – Она осеклась и после недолгой паузы продолжала: – Ну, что я любовница Дадаша. Бог с ними. А вот что ты думаешь об этом? Ты, Заур Зейналов?

– Зейналлы, – поправил Заур. – Что я думаю? Не знаю. Мне кажется...

– Ты как-то сказал, что я красивая. Очень приятно. Значит, если я захочу, вокруг меня будут крутиться сто таких, как ты, молодых оболтусов.

– Ну и пусть крутятся, – отрезал Заур.

– О, задело! Ну, хорошо, не сто – десять, пять. Ладно, ска­жем, ты один-единственный на свете, вот ты. Я тебе нравлюсь, не правда ли?

– Правда! – сказал Заур и нервным движением нажал на педаль. Мишина рванулась вперед, как с цепи сорванная.

– Ладно, ладно, не волнуйся. Я хочу сказать – для чего мне Дадаш? Старый, лысый, пузатый, на носу бородавка... Зачем он мне, в чем я от него завишу? Он мой начальник, ну и что ж? В самом худшем случае – выгонит меня с работы. Так неужели я не заработаю на кусок хлеба? Дай-ка сигарету...

Она закурила.

– ...Спасибо. Дело в том, что Дадаш сам это понимает. Он не дурак! – Она пускала дым колечками. – Дадаш до меня кончиком пальца не дотронулся. Да он и не... так сказать! Что от него оста­лось? – засмеялась она. – Но тут есть один момент. Дадашу нужен слух, нужна молва, потому что в его годы, с его бородавкой быть любовником молодой красивой женщины очень даже лестно!

На обочине стояли люди. Увидев машину, они подняли руки. «Москвич» проехал мимо, люди что-то прокричали им вслед.

– А мне-то что? Дадашу приятно, и слава Богу. Старый человек! Пусть тешится...

– Ты не права. Я слышал, что Дадаш с пеной у рта отрицает слух.

– Господи, какой ты еще ребенок! Ну, конечно же, отрицает! Но если бы этого слушка не было, он уж постарался бы его пустить. Он сам дал повод для сплетни. Разумеется, осторожно, исподволь. С работы выходил вместе со мной, провожал, трепал­ся, многозначительно заглядывал мне в глаза. В отделе беседовал со мной подчеркнуто официально, а в коридоре – подолгу и шепотом. Играл, как говорят, на публику. Или еще приемчик. Звонит однажды вечером к нам, толкует с Манафом, со мной. Я захворала и говорю, что, может быть, не выйду завтра на работу. И что ты думаешь? На следующий день он не преминул сооб­щить всем: Тахмина неважно себя чувствует, не придет сегодня.

– Брось, ради бога! Ну что тут такого?

– Не понимаешь? Дай-ка спички. Погасла. Ага... Разговоры участились, намеки стали откровенней, тогда – он же умный! – Дадаш начал ругаться, да так яростно, что мертвого разбудить впору. И просветил тех, кто еще не знал: представляете, мол, что за вздор? Она мне в дочери годится, дойдет до мужа, неудобно: хлеб-соль ели за одним столом и так далее. Подумаешь, так нет его честнее! – И ядовито добавила: – Невольник чести. – Замол­чала и снова: – Да, вот так все и получилось. Дурацкое положе­ние. Каждое мое слово, каждый жест истолковывается опреде­ленным образом. Что бы я ни выказала Дадашу, сердечность или пренебрежение, неважно, – все понимается одинаково.

Почему-то Зауру стало жаль Тахмину. Он подумал, что, несмотря на всю ее развязность и бесконечные шуточки, ей, может быть, совсем не сладко.

– Однако, – тряхнула головой Тахмина, – я, если захочу, тоже могу кое-что устроить. Возьму, например, и начну встречаться с кем-нибудь. И Дадаш останется с носом. – Вдруг ее взгляд встретился с беспокойным взглядом Заура, и у нее возникла озорная мысль. – Например, – сказала она, – пущу слух, что ты мой любовник, и все поверят, потому что ты, слава Богу, краси­вый мальчик, прямо загляденье, к тому же холостой. – Она расхо­хоталась. – Послушай, может, ты думаешь, что я согласилась поехать с тобой на пляж для этого, а? Умоляю, скажи правду, ты так думал? Заур отрицательно покачал головой.

– Да! Если б я только захотела, я много чего могла бы натворить веселенького, – вздохнула Тахмина. – Да что-то не хочется. Я ведь вас, мужиков, насквозь вижу, понимаю, кто во что горазд. Дадаш вот горазд на пустозвонство. Ну и черт с ним, пусть тешится. Не убудет меня от этого.

– Как это не убудет? А разве он не порочит твое имя?

– Дорогой мой, – сказала она, – а ты знаешь, кто особенно боится опорочить свое имя? Те людишки, которые по уши увязли в грязи. Единственное, что они пытаются сохранить в чистоте – свое драгоценное имя, не дай бог, и это замараем! Я считаю, что если сам себя не замарал, то, что бы ни болтали люди, – плевать!

– А Манафу? Манафу тоже плевать?

– О, мой муж – это уникум. Другого такого в мире нет. Я, говорит, совершенно спокоен, в жене своей абсолютно уверен, она чиста, как ангел. Вот только красива, бедняжка. А красивым всегда завидуют, о них всегда злословят. Что, разве он не прав?

– Не знаю, может, и прав.

Тахмина насмешливо на него поглядела.

– Ты думаешь, он сам верит в то, что говорит? В глубине души он знает, что я не люблю его, а значит, не могу быть верна. Но он прогоняет от себя эту мысль. Так – спокойненько, тихонько, гладенько – живем не хуже людей. Никаких тебе треволнений. Но там, – она протянула палец к груди Заура, – вот здесь есть у него колодец. И на самом дне его таится утешительная мыслишка: ну и что, я ведь тоже ей изменяю. – Тахмина громко рассмеялась. – Но его любовницы такие уродины, кошмар! Двух я знаю. Одна – в Баку, другая – в Тбилиси. Вот какой красавчик, – междугородный донжуан. Наверное, и в Москве есть кто-нибудь. Во всяком случае, он частенько придумывает повод и смывается в Москву. Вот и нынче – уж месяц, как он в Москве. И, кажется, ему там неплохо. Обратно не торопится.

Безразличным, ленивым движением она опять повернула к себе автомобильное зеркальце и, достав тюбик, начала красить губы очень яркой красной помадой, причем намазывала ее толстым слоем. Закрыла тюбик, положила в сумку...

Заур взглянул па нее. Тахмина подняла удлиненные тушью ресницы. В самой глубине ее глаз как бы открылся абсолютно черный бездонный провал – так в пустыне в песках вдруг просверливается воронка. Бездонный ход в глубь ее души, спуск в пропасть.

– Не надо, – сказал Заур. – Не надо больше. Поговорим о чем-нибудь другом.

– А-а, вот оно что. Такие разговоры терзают твое нежное сердце. А ты же так усиленно демонстрировал, какой ты современный, все в жизни испробовал, прошел огонь, воды и медные трубы. – Она не закрывала глаз, но ход в их глубину исчез, и взгляд снова стал таким, как всегда: спокойным, лукавым, мерцающим. – Значит, не нравится? А ведь это жизнь, мой мальчик, послушал бы!

– Не хочу. Это не жизнь. Это изнанка жизни. Мне никогда не нравились такие разговоры. Да, по-моему, тебе и самой трудно об этом говорить. Оставь, что толку?

– Трудно? Напротив. Мне совершенно не трудно. – Она долго смотрела на дорогу, потом сказала: – Я понимаю Манафа. В молодости ему солоно пришлось. Содержал большую семью. А теперь, как говорится, перед ним широкое поле деятельности. Годы проходят, и он старается наверстать все, что упустил смолоду. Самое скверное в жизни – это алчность, ханжество и вранье.

Она захлебнулась сигаретным дымом, закашлялась и вдруг успокоилась.

Около Забрата они свернули на Пиршагинскую дорогу. Стоявший на автобусной стоянке мужчина, завидев «Москвич», поднял руку.

– Давай возьмем его.

– Еще не хватало!

– Прошу тебя, останови! А то разговоры у нас кончились, говорить больше не о чем. Да останови же, хоть спросим, чего он хочет.

Заур притормозил.

Мужчина был в простой полукрестьянской одежде. Рядом с ним – женщина в чадре. Едва «Москвич» остановился, мужчина схватил свою корзину и подбежал.

– Братец, – сказал он, – довезешь нас до Пиршагов?

– Давай довезем, – сказала Тахмина, – посмотри, какие они усталые.

– Ладно, садитесь, – сказал Заур.

Мужчина помахал женщине. Потом громко крикнул:

– Алимардан, иди!

Из-под навеса вышел высокий парнишка и, хромая, поспешил к машине.

– У нас только два места, – сказал Заур и, обернувшись к Тахмине, добавил по-русски: – Я могу взять только двоих. Встретятся гаишники, неприятностей не оберешься. Сама знаешь... Начнут интересоваться и тобой.

Парень доковылял, наконец, до машины.

– Папаша, – сказал Заур, – у меня всего два места. Только двое из вас могут сесть.

– Как двое, сынок? А что же нам делать с третьим?

– А кто этот третий?

– Третий? Мой сыночек, Алимардан. Единственный сын. Поехал в город, сдал, моя умница, все экзамены на «отлично».

Заур сделал приветственный жест.

– Поздравляю, – сказал он, – но... как быть, у меня только два места.

– Папа, – сказал Алимардан, – смотри, автобус едет...

– Слава тебе господи! А то целый час ждем. Прости, сынок, мы вас задержали.

– Ничего, ничего... «Москвич» двинулся дальше.

– Радио работает? – спросила Тахмина. – Найди что-нибудь.

– Еще рано. Попозже.

Шлагбаум опустился прямо перед носом «Москвича», и он остановился как вкопанный. По ту сторону дороги тоже ждали большие грузовики.

– Не знаю почему, – сказала Тахмина, – но в последнее время я очень часто вижу во сне шлагбаум.

– Скажешь тоже! Разве может присниться шлагбаум?

– Значит, может, раз вижу. Прежде я всегда видела дорогу. Длинную-длинную. Идешь, идешь. И никуда не приходишь. А теперь вижу шлагбаум.

Вдали показался поезд. Приблизился и с шумом прошел. В этом шуме терялись обрывки слов Тахмины:

– То и дело... полосатый...

Дорожный служащий покрутил рукоятку, оплетенную толстой проволокой, шлагбаум поднялся.

Машины, стоявшие по обе стороны, ринулись вперед. Заур осторожно провел «Москвича» через рельсы.

Выехав на прямую пустынную дорогу, он увеличил скорость. В окна врывался ветер.

– Третий! – сказала Тахмина. – Ты обратил внимание, как сказал этот мужчина? Хорошее слово, правда? Я давно об этом думаю. Трудно найти слово лучше этого, а? Сколько в нем всего!

– Что-что?

– Может, смысл жизни именно в этом.

– Смысл жизни! Не надоело тебе философствовать?

– Я ведь философ, ты разве не знал? У меня и диплом есть. С отличием. Окончила философский факультет.

– Да что ты!.. Мне и во сне бы не приснилось.

– Ты же не видишь снов.

– Вижу или не вижу, неважно. Я никогда и представить себе не мог, что ты философ.

– Но почему? Впрочем, философия – и такая легкомыслен­ная особа, как я? Да?

– Нет, я не то хотел сказать. Но, в общем, мне кажется, что философия – не женское дело.

– Нет, милый, именно женское. Ты ведь окончил геофак?

– Да.

– Знаешь, что такое диалектический материализм?

– Знаю, проходил.

– Помнишь, что такое тезис, антитезис, синтез?

– Экзамен мне устраиваешь?

– Нет, ты подумай. Первое – тезис, так? Второе, его противо­положность – антитезис. Третье – синтез этих двух, так?

– Ну и что?

– А вот что: ребенок тоже третье, вернее, третий – синтез. Женщина – тезис. Мужчина – антитезис. Ребенок – синтез. Вот я тезис, ты – антитезис... – Она вдруг умолкла.

«Ну и разговорчики! – подумал Заур. – Никогда бы не поду­мал, что она с такими фокусами. «Ты тезис, я антитезис, ребенок синтез». Только ребенка и не хватало...»

– Ты не замечал, что в основе и религии, и философии, и самых различных концепций лежит идея тройственности, триады? Почему? Да потому, что жизнь и есть эта триада. Третий – это новорожденный, это результат. Исход. Плод. Завершение. Тех, у кого нет детей, называют бесплодными. Бесплодие! Страшное слово, не правда ли?

– Хорошо, ты столько твердишь «ребенок, ребенок», а почему у тебя нет детей?

– У меня? Ха-ха-ха! У меня? Дорогой мой, все, что я говорила сейчас, это рассуждения чисто умозрительные. Я еще с ума не сошла – иметь детей. Жизнь слишком коротка, мой друг, надо жить для себя.

– Манаф тоже так считает?

– Манаф? Нет, Манаф, наверное, хочет. Мужчинам что? Не на них падают тяготы всего этого. Разве не жаль, если я потрачу жизнь на ребячий визг? Нет, дорогой, пестовать детей – это не для меня. Вот у нас есть соседка, Медина. Я вижу, до чего ребенок довел ее. Вздохнуть не дает. И муж ее бросил...

– Бросил?

– Да. В первый же год. Через шесть месяцев после рождения малыша. С одной стороны – это подлость, а с другой – он, бед­няга, просто удрал. Ребенок не давал ни минуты покоя. Плакал двадцать четыре часа в сутки. Снова наступило молчание. Моря еще не было видно, но ощущалась его близость.

...– Когда ребенка не было, муж донимал ее бесконечными разговорами о том, что хочет малыша. Наконец, однажды Медина сказала, что беременна. Он чуть не ополоумел от радости. Медина говорила, что девять месяцев он порхал вокруг нее, как мотылек. Приходил, говорит, прикладывал ухо к животу и слушал – возится ребеночек или нет. Внимательно так слушал, подолгу... Я в кино видела – крестьяне так слушают землю. Геологи тоже иногда прикладывают ухо к земле. Это правда? Ведь ты геолог.

– Правда.

– Послушай, ведь геолог должен ходить по горам, по долам. Почему ты сидишь в издательстве?

– Это длинная история. Расскажу как-нибудь... Значит, муж послушал чрево жены своей и услышал там нечто такое, от чего сбежал?

– Да нет, сбежал он через полгода после рождения ребенка. Я же тебе говорила.

Теперь дыхание моря чувствовалось явственно.

– Знаешь, Медина рассказывала, что во время беременности женщина ощущает внутри тепло ребенка. Гм... Как будто в животе носишь печечку.

– Персональная передвижная печь, запас батареи – девять месяцев.

– Не смейся. Посмотри, какими я обогатила тебя знаниями.

– Особенно по части гинекологии и акушерства. С завтраш­него дня могу спокойно устраиваться в родильный дом.

Он протянул руку, включил радио. Послышались позывные радиопрограммы «Араке». Зазвучал женский голос: «Говорит Баку! Семнадцать часов по местному времени. Передаем последние известия. Нью-Йорк. На утреннем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций...».

...Море было похоже на неоконченный холст. Как будто художник провел всего две линии – берега и горизонта. Ляпнул кляксами скалы. И пользовался только двумя красками: голубой – для неба и моря и желтой – для песков. На этом холсте могло бы появиться еще многое. На небе – разбросанные облака, на море – пенящиеся волны. В воздухе можно было написать чаек, на берегу – разноцветные тенты, вдали – белые паруса, И всюду можно было нарисовать людей. Но ничего не было. Ни волн, ни парусов, ни чаек. Ни людей.

– Вот эта дорога ведет в Пиршаги, но ты сверни в ту сторо­ну. Ага, вот так. Теперь поезжай. И мы приедем на то самое место.

Машина запрыгала по проселочной дороге...

– И долго мы так будем скакать?

– Приехали. Стоп.

Зубчатые скалы отделяли этот пляж от всего побережья. Место было укромное. Уединенное. Проселочная дорога теряла­сь в песках.

Остановив машину, они вышли на песок. Тахмина сняла туфли и взяла их в руки. Ощутив голыми ногами сладкое щекота­ние песка, она словно попала в далекую страну – страну своего детства.

Словно испугавшись воспоминаний, она повернулась к Зауру:

– Ты фотографируешь?

* Редко. Вон аппарат, в машине валяется.
* Возьми, сфотографируй меня.

«Нет уж, милая, – подумал он. – Заур вовсе не такой растяпа, как тебе кажется. Фотография – документ. А мне подобные доку­менты ни к чему».

Они подошли к морю. Заур сунул руку в воду.

Загорелое, медное тело переливалось мускулами при малей­шем движении. Зауру самому нравилось смотреть на эту игру.

* А ты что не раздеваешься?
* Я пока не буду купаться.

– Почему?

– Не хочу

Она сказала это так решительно, что Заур не стал настаи­вать. Он дважды перекувыркнулся, попрыгал, размялся. И побе­жал к морю.

Не отрывая от него глаз, Тахмина, не раздеваясь, вошла в море и брела, пока вода не достигла колен.

Заур нырнул раз, другой. С него слоями сходила усталость от работы, от дороги. Вода, теплая, как сон, на поверхности и прохладная в глубине, ласкала кожу, расслабляла мускулы, успокаивала нервы. Он вспомнил слова бабушки: «Ковер гладят по ворсу». Море как будто гладило его по ворсу.

Он уплыл далеко, берег сжался, машина превратилась в зеленое пятно на желтом фоне. Тахмина исчезла. Было глубоко. Величавая безбрежность моря, его спокойствие, его кружащая голову гармония на минуту испугали Заура. Но он вспомнил о своей многолетней сноровке пловца. Успокоился. И понял, что этот страх – от глубины и еще от тяжелого спокойствия моря. Он развел руки, лег на воду. Увидел небо, в нем – бог весть откуда появившиеся редкие облака.

Подумал о Тахмине. О ее редкостной красоте, накрашенных губах, насурьмленных глазах, длинных ногах. О женственном очаровании ее смеха, голоса, аромата. О причудах, рассеянности.

.Он вспомнил других женщин, о которых приятно было вспоминать, и подумал, что ни одна из них не влекла его так сильно. Он был совершенно уверен, что нравится Тахмине. И если это так, почему они не могут просто принадлежать друг другу? Для чего естественное желание непременно нужно одевать во что-то – во всякие пышные, пустые, ненужные слова? Для чего, ну, для чего нужно говорить столько ничего незначащих слов? Зачем вообще надо что-то объяснять? Если они оба этого хотят, если это должно произойти и непременно произойдет, кому нужны все эти слова, в которые никто – ни он, ни она – не верят? И все-таки эти ни ему, ни ей ненужные слова должны быть сказаны, как будто здесь есть кто-то третий. Ради него, чтобы его обмануть. Как странно. Может быть, это какой- то ритуал?

Он поплыл к берегу, вышел на песок. Огляделся. Тахмины не было видно. Вот еще новости! Громко крикнул:

– Тахмина!

– Я здесь.

Он поднял голову и увидел ее на самой верхушке скалы.

– Осторожно, упадешь!

– Не бойся.

Тахмина, прыгая, как коза, спустилась со скалы. Заур разлегся на песке. Его черно-волосатая грудь мерно подымалась. Он переворачивался с боку на бок.

Тахмина открыла сумку, достала хлеб, зелень, редиску, сыр. Постелила скатерть.

Она проделала это так непринужденно, что Заур поразился:

– Я и не знал, что ты такая хозяйка.

– Ты еще многого не знаешь. Вот, например, ты не догады­ваешься, какой сюрприз я тебе приготовила.

– Что за сюрприз?

Тахмина молча вытащила темную бутылку.

– Привезла из Москвы, – сказала она. – Храню его уже год. Тебе повезло. Это «Камю». Правда, коньяк не пьют под такую закуску, да что поделаешь?

«Вот уж правда, попалась рыбка не простая, а золотая, – подумал Заур и пошутил мысленно: – Смотри, красавчик, как бы тебе самому не попасть в сети».

– Что ты смеешься?

– Ничего. Честное слово, Тахмина, другой такой, как ты, на свете нет!

Потом зашло солнце. Ржавый закат покрыл ржавчиной море. Потом они выпили. Потом опять выпили. Еще. И еще. Потом показалась луна. Потом Заур обнял Тахмину за шею, она сняла его руку, как шарф.

– Подожди, – сказала Тахмина, – подожди. Ты же фотограф, ты должен знать, что любовь, как снимок, проявляется в темноте, – потом сказала: – Давай останемся здесь на ночь.

Заур подумал, что месяц назад он с трудом достал для своего «Москвича» четыре новые ярославские покрышки, заплатил за них двести рублей. Если они заночуют в этом чистом поле, ночью кто-нибудь может запросто раскурочить машину. Конечно, он спортсмен. У него разряд по штанге. Двух-трех он раскидает. Но если их будет больше...

Он налил еще рюмку и сказал:

– Прекрасная мысль, останемся.

Потом Тахмина начала рассказывать о своем детстве.

– Когда я училась в третьем классе, одна подруга рассказала мне об отношениях между мужем и женой, просветила меня насчет того, как рождаются дети. «Дура ты, – сказала я ей, – это твои родители так делают, а мои – никогда». Она нахально по­смотрела на меня, засмеялась: «Сама ты дура! А как же ты появи­лась на свет, а? Как?» Я поссорилась с ней. Но, поразмыслив, решила, что она права. Несколько дней я не могла смотреть на своих родителей. Они все спрашивали: «Что случилось, дочка?» Я не отвечала. А про себя твердила: «Что случилось, что случи­лось? То случилось, что вы мне противны, бесстыдники!»

– Не начинай, Бога ради, снова о мужьях, женах и детях и будь здорова, – сказал Заур.

– И ты будь. Ребенка я не хочу, но от тебя – пожалуй, – сказала Тахмина.

– Нет уж, извини! – А потом добавил: – Жаль, что соли нет. Редиска без соли – сама понимаешь...

Высыпали звезды, и Тах­мина сказала:

– Смотри, небо как будто посолили. Это для тебя: ткни редиску в звезды и ешь.

Заур сказал, что тогда звезды можно сравнить с чем угодно, например с семечками. Тахмина сказала:

– Конечно, можно, давай будем щелкать семечки... – Стало совсем темно, и Заур взялся за пуговицы ее платья. Тахмина отвела его руку и сказала:

– Подожди, я расскажу тебе сказку.

– Не хочу никаких сказок, хочу тебя.

– Сказка как раз обо мне. Ее мне рассказывала бабушка давным-давно. Сказка про Асли и Керема. Говорят, в день свадьбы отец Асли подарил ей платье. Вот такое, как мое, с пуговицами сверху донизу. А платье это было заколдованное! В брачную ночь Керем начал расстегивать пуговицы. Но когда осталась последняя, все пуговицы... то есть петли... застегнулись снова.

Заур сказал, что это глупая сказка, и Керем какой-то болван, и вовсе не обязательно расстегивать все пуговицы до последней.

– Ты сам дуралей, а сказка гениальная. Она прямо обо мне. Многие думают, что расстегнули все мои пуговицы. А осталась одна, последняя, и я снова застегиваюсь до самого подбородка, запираюсь на замок.

– Ничего, и пуговицы расстегнем, и ключ подберем.

– Не смейся так, тебе не идет, когда ты так смеешься, ты становишься похожим на других. Я хочу, чтобы ты ни на кого не был похож. Я хочу, чтобы у меня был от тебя ребенок. Чтобы он был на тебя похож, но ты не будь похож ни на кого.

– Ну, что ты все – ребенок да ребенок. Хочешь ребенка – роди. Слава богу, у тебя есть муж. Или твой муж...

Тахмина вылила коньяк из рюмки ему на голову и тут же пожалела об этом.

– Как жаль, что я вылила коньяк на твою пустую башку, лучше б я выпила его и все забыла. – Потом Тахмина поцеловала его – и сразу же отстранилась. – Все, – сказала она, – не подходи ко мне. – Потом сказала: – Если б я хотела ребенка, он был бы у меня в восемнадцать лет. Это была моя первая любовь. Первая и последняя любовь.

И Тахмина стала рассказывать о своей первой и последней любви. Она встретила того человека, когда ей было шестнадцать.

– Имени его не скажу. Потому что его все знают... Да нет, дурачок, конечно, не Дадаш, что ты привязался к этому Дадашу? Что Дадаш в сравнении с ним? Дерьмо! Дадаш ему в подметки не годится. Он был красавец, я считала его принцем, Иосифом Прекрасным. Для него я была готова на все. Когда я видела его, я теряла голову. Если б он сказал – умри, я бы на смерть пошла. Однажды я почувствовала, что беременна. Глупенькая! Я и боялась, дуреха, и радовалась. Сказала ему, думала, он тоже обрадуется. Я ведь знала, что он любит детей. Он всегда говорил, что скоро получит квартиру, и мы поженимся. А он стал белый как бумага. Упал на колени, стал умолять. «Не губи, говорит, у меня в районе семья, дети». Отвел к врачу. Это было моим первым университетом. Ну и ладно, давай выпьем.

Они выпили, потом Заур спросил:

– А Манаф?

– Ну что Манаф? Не пойму, что он тебя так волнует? Кто такой Манаф? Манаф – тень, нуль, нет его. Вон в Тби­лиси у него жена и ребенок, пусть катится к ним.

– У него и ребенок есть?

– Дочка. Семи лет. В этом году пойдет в школу. Он купил ей портфель, пенал, тетради, все такое, повез. Как будто я не знаю. Прячет от меня. Когда-то Манаф добивался меня. А я его знать не хотела. Он говорил: «Не пойдешь за меня – удавлюсь». Наконец он мне надоел, измором взял, и я ему сказала: «Знаешь что? Имей в виду, до тебя у меня был кое-кто. И мы с ним были близки». Пожалела я его – смолчала про аборт. Он побледнел, как сейчас помню, потом закрыл лицо руками и застыл. Прямо статуя скорби. Ушел, и три дня его не было. Потом явился – щеки ввалились, глаза запали. «Мне ни до чего нет дела, говорит. Я на все согласен. Идем в загс. Сегодня же». Я сказала: «Ну, нет, прежде выслушай мое условие. Ты никогда не будешь спрашивать меня об этом человеке и не будешь пытаться узнать о нем. И никогда не будешь меня попрекать...» – «Что ты, сказал он, конечно!» Больше мы об этом не говорили. И через два дня пошли в загс. Вечером; после свадьбы посмотрела я на него... Жалкое зрелище. Он был как побитый пес. Один глаз смеется, другой плачет. Я сказала: «Ты знаешь, условие условием, но я тебе вот что открою: этот человек был моим женихом. Свадьба должна была состояться через неделю. Но... мы поспешили... Ты знаешь, бывает... ребячество, глупость... За два дня до свадьбы он утонул в море». Ей-богу, Манафу как будто подарили весь мир. Он чуть не плакал у моих ног. Боже, как чудовищно глупы мужчины!

Тахмина говорила, говорила. Заур слышал ее голос, но не разбирал слов. Он лежал на спине, ощущал ночную сырость – пот земли. Он смотрел на далекие звезды, слушал шум моря, голос Тахмины и вспоминал так часто повторяемую Мамедом Насиром фразу: «Самое лучшее в мире путешествие – это путе­шествие на дно сосуда с вином». В это путешествие они и отпра­вились. И уже почти достигли дна. Осталось совсем немного. Теперь они в другом мире: теплом, ласковом, приятном, печаль­ном, как дно сосуда, мире...

Тахмина тоже думала. Говорила и думала. Она думала, что человек никогда не бывает счастлив ни сердцем, ни умом, ни мыслью, ни чувством, а только зыбким ощущением: внезапным, как ветерок, воспоминанием забытого запаха, звука, прикоснове­ния... Летняя ночь, дача в Пиршагах, звездное небо...

...Тахмина совсем маленькая. С вечера заснула вместе с бабушкой. Просыпается от ночных звуков, слышит смешанные голоса, не может определить – чьи, но знает – из города приеха­ли родственники. Значит, утром все пойдут на море. Она рада. И снова засыпает...

...Каждый день ровно в двенадцать на горизонте появ­ляются самолеты. Летят высоко над морем. Роняют парашюты. Белые-белые парашюты раскрываются, как цветы, и сыплются на голубое море. Еще жива бабушка...

...Берег. Резкий северный ветер. Она стоит с отцом на скале. Прижалась к его ноге. Море вздымает волны, как флаги. Море наступает на них, как демонстрация...

...Москва. Ехали с аэродрома в город, все вокруг было одето в красное – готовились к Майским праздникам. Красные флаги, красные транспаранты. Ехали на такси и поминутно останавли­вались перед красным огнем светофора...

А когда уезжали, все зеленело. Деревья, травы... Зеленые отблески светофоров бросались под колеса, как зеленые листья на омытые дождем солнечные улицы. Дождь шел. Летний дождь. Гром гремел. Люди бежали. Дождь перестал. Посветлело.

...Пиршаги. Удаляющийся, исчезающий свист вечерней электрички. Последний день лета, первый день осени. Спокой­ные пески. Обезлюдевшие дачи. Пустой серый берег. Серые телеграфные столбы. Безмолвие...

...Тахмина заплакала, горько всхлипывая.

Заур мягко прикоснулся к ее волосам.

– Ладно, больше не буду, – сказала Тахмина. – Ерунда, прой­дет, не обращай внимания. Не обращай внимания на женские слезы: мы часто и сами не знаем, о чем плачем. Давай лучше выпьем.

Выпили.

– Кончилась наша закуска.

– А вон, видишь, месяц, – сказала Тахмина. – Лучшая закуска к коньяку. Ты откусывай правый кончик, а мне оставь левый.

Выпили. Каждый откусил по кусочку месяца.

Тут Заур поднял голову и не увидел Тахмины. Оглянулся, оглядел скалы, берег, море, небо.

На небо вышел молодой месяц, новые звезды. В лунном свете тени скал удлинились. Желтые пески отливали серебром. Лунная дорожка на море словно усеяна монетами.

Заур встал, стряхнул с себя песок, побежал, заглянул за скалу. Вдруг со стороны моря послышался плеск. Он обернулся. Ему показалось, что он видит сон.

Из моря выходила нагая женщина. Точно статуя из лунного света.

Заур забыл все, что так прочно усвоил: все правила, все запреты, советы, внушения, предостережения...

...В одно мгновение всё – прошлое, настоящее, будущее, машина отца, работа в издательстве по настоянию матери, его прежние приключения, запах женских поцелуев в его красивых усах, ожидания под дождем, тайные телефонные разговоры, слышанные песни, прочитанные книги, улыбающиеся ему глаза и те глаза, в которые он не смел смотреть прямо, детские проказы, отроческие томления, спортивные состязания, инсти­тутская жизнь, прогулки, путешествия, лекции и экзамены, страсть к вождению машины, запавшие в память слова, имена, номера телефонов, марки сигарет, последние дни, нынешний лень, этот вечер, эта ночь, шум моря, месяц, эти звезды, – все, все слилось воедино и стало жаждущим, торопливым, ищущим, полным желания, страсти, неизъяснимого волнения. И это единое должно было слиться с другим – темным, живым. С единственным, собравшим в такой же сгусток другую жизнь: прошлое, настоящее, будущее другого человека, его мысли, душу, тоску, надежду, радость, ложь, тревоги – ему, Зауру, неизвестный и не могущий быть известным чужой мир.

Заур видел лицо Тахмины, ее волосы на фоне песков, слы­шал ее вымученный смех. Тахмина видела лицо Заура на фоне звездного неба.

Тахмина смотрела на Заура, она всем существом, каждой клеткой верила, что эта страсть, ожидание, боль – пролог: они двое создадут Третьего. И этот Третий должен вобрать в себя, объединить их жизни, которые сейчас свели в ослепительный фокус все, что было в них, и не только в них, но и в тех, кто был до них; вобрать смысл существования их предков, повторить, может быть, цвет волос матери Тахмины или, может быть, цвет глаз отца Заура, объединить, преобразить.

Человек, каким бы сложным он ни был, в конце концов, выражает себя очень лаконично, как формула; и эта формула, эта спичка, этот кремень, соприкоснувшись с другой формулой, с серой, с другим кремнем, высекают искру новой жизни.

И у этой жизни будут свои горести, желания, увлечения, понятия, радости, и она снова встретится с кем-то, и снова... На губах Заура смешался вкус ее губ, ее тела, морской воды, ветра, песка

В три часа ночи Заур вел машину по пустым улицам спящего города.

Сияли витрины, и эти яркие окна ободряли, успокаивали, согревали.

– Дай сигарету...

Заур протянул ей пачку.

– Последняя.

– Последняя? Ну пусть останется тебе.

– Возьми, у меня есть дома.

Тахмина взяла сигарету.

Какая-то забытая богом станция передавала поздний кон­церт. Мужской мягкий голос тянул какую-то грустную мелодию; конферансье шутил на чужом языке; люди смеялись, аплодиро­вали.

– А спички?

Заур похлопал по карманам, нашел коробок. Тахмина вынимала спичку за спичкой.

– Да они все сгоревшие, – сказала она и выбросила коробок в окно.

– Других нет.

«Москвич» остановился у дома Тахмины. Она открыла дверцу, взяла сумку и сказала, что, может быть, Заур будет беспокоиться, так пусть он не беспокоится. Она тысячу раз ходила к врачам здесь, в Москву ездила. Показывалась лучшим специалистам. И все совершенно твердо сказали, что детей у нее никогда не будет.

– Вот такие-то дела, дорогой, возьми свою сигарету, все равно нет спичек.

Заур не успел ничего ответить, как Тахмина сунула ему в зубы сигарету.

– Не провожай, не надо, – бросила она, торопливо побежала к воротам, обернулась, еще раз махнула ему рукой, засмеялась. Но не было в этом смехе никаких гамм...

Заур проезжал по безлюдным, бесшумным улицам, мимо холодных светящихся неоном витрин. Радио молчало.

И вдруг ему показалось, что он остался совсем один в целом мире – с этой вот сигаретой в зубах. И нет даже спички...

ПИСЬМО ЗАУРА ТАХМИНЕ

«Тахмина! Я пишу это письмо через час после того, как мы расстались. Что за странная идея писать через час после разлуки, да еще в четыре часа утра – подумаешь ты. А мне это вовсе не кажется странным. Зачем я пишу? Потому что то, что я скажу тебе в письме, я никогда не сумел бы сказать в лицо или по телефону. Да и в письме, не знаю, смогу ли объяснить все, что мне хочется. Наверное, ты считаешь меня мальчишкой, сопляком. Ну что ж, считай. Как бы то ни было, для меня все это очень важно. После прощания с тобой я ехал по пустым улицам и в голову мне приходили разные мысли. Мне захотелось сейчас же дать телеграмму Манафу: хватит врать, Тахмина тебя не любит, она любит меня, мы с ней любим друг друга и поженимся. Возвращайся в Баку, подавайте в суд и разводитесь... Потом мне захотелось поехать в Пиршаги, на то место. Потом – разбить машину об стенку. Потом я решил поехать домой и разбудить родителей. Высказать им все, сказать: большое спасибо, что вы произвели меня на свет; но человек, оказы­вается, должен родиться дважды. Я родился пока только один раз, я такой, каким меня создали вы, и живу так, как вы хотите. Спасибо, дорогие родители, вы меня вырастили, содержали, кормили-поили, дали образование, купили мне машину. Но теперь я должен учиться жить сам. Возьмите этот «Москвич», он ваш. Тахмина, я знаю, ты будешь смеяться. Что, собственно, произошло? Я хотел быть с тобой, и мы были вместе. Самая банальная ситуация... Тахмина, где мне найти слова, чтобы выразить все, что я сейчас испытываю? У меня было немало встреч, но никогда не было такого потрясения.

Я счастлив, что была ты, были звезды, море и песок. Ты, конечно, будешь смеяться: Бог мой, какие красивости, они давно вышли из моды. Как все мы боимся этого! Как боимся своих подлинных чувств! Все, кроме тебя, Тахмина. Ты человек. Такой, каким он и должен быть, – свободный, как ветер. Мы погибаем от ложных обязательств, псевдочувств, условностей, придуманных нами же самими.

Мы боимся быть собой и играем ту роль, которую предназначают для нас глупцы и обыватели. Вот моя роль, мой стереотип: этакий преуспевающий, ни о чем не задумывающий­ся юнец, искатель приключений. Вот мой типаж в массовке. Таким я кажусь всем и таким заставляю становиться себя, чтобы сыграть отведенную мне роль. Я играл ее и перед тобой. Но, господи, ведь я совсем не тот, совсем другой! И мне кажется, ты увидела меня настоящего. Увидела лучше, чем я сам. Увидела не в массовке, а крупным планом, иначе ты и не стала бы моей.

Теперь я не стыжусь ни своей сентиментальности, ни своей старомодности. Спасибо тебе за этот урок. Ты научила меня до­верять себе, а не штампу, быть самим собой, а не иллюстрацией на тему...

Я верю каждому твоему слову. Верю всему, что ты говорила о себе, и что внешне я слушал так безучастно. Как я понимаю твою боль, твою нерастраченную нежность, твою тоску по верности, надежду забыться и право быть иной с какими-то другими прекрасными людьми! И твое горькое, неосуще­ствленное желание быть матерью...

Вот я пишу – и снова боюсь. Боюсь остаться непонятым, боюсь, что ты не пустишь меня к себе, заслонишься своей непроницаемой иронией. Хамом, циником быть не боюсь, а вот выглядеть смешным – больше всего на свете. И поэтому, Тахмина, я не пошлю тебе этого письма, я его порву и выброшу. Нет, лучше сожгу.

Я приду к тебе без слов и объяснений. Разве можно на этом свете что-нибудь кому-то объяснить? Но я буду не таким, каким должен быть по правилам игры, а таким, какой я есть.

Не знаю, будет у нас Третий или нет, но я хочу стать для тебя и Вторым, и Третьим. Я хочу быть для тебя Вторым, Третьим, Четвертым, Пятым, Шестым, не знаю каким! Тахмина, моя дорогая, моя любимая...»

БРЕМЯ ОДИНОЧЕСТВА

Ровно в три часа дня дядя Сафтар начал спускаться по ступенькам. Он спускался и машинально их пересчитывал. Это вошло у него в привычку. От третьего этажа до второго было семнадцать ступенек, от второго до первого – восемнадцать.

«Семнадцать да восемнадцать – тридцать пять, – повторял он про себя, выходя на улицу. – Три тысячи семьсот девятнадцать да тридцать пять. Нет, тридцать пять здесь ни при чем. Три тысячи семьсот девятнадцать – только наметка. Баланс не готов. Должно быть четыре тысячи двенадцать, а не хватает двухсот девяноста трех рублей. Хотел бы я знать, где ошибка. В прошлом квартале ошиблись на сто сорок пять рублей. Сто сорок пять или сто сорок семь? Сто сорок семь, А почему мне почудилось сто сорок пять? А, номер дома! Номер дома – сорок пять. Мирза Фатали, сорок пять... Этот склероз меня доконает. Пора, видно, на пенсию. Или двадцать один месяц. Двадцать один месяц – это сколько же дней? Сколько таких дней? В январе – тридцать один, в феврале – двадцать восемь, в марте...

Хватит, старина, ты уже совсем из ума выжил. – Что ты морочишь себе голову нелепыми подсчетами? Хватит. Но баланс вчерне составил три тысячи семьсот девятнадцать рублей. Недостача!.. Ну и к черту баланс вместе с недостачей! Три часа. Пять минут четвертого. Рабочий день кончился. Сегодня суббота. Завтра воскресенье. До самого понедельника забудь все балансы, планы, приходы, расходы, все цифры. Забудь, что ты бухгалтер.

В девять часов утра в понедельник вернешься к своей бухгалтерии. А теперь довольно. Ни одной цифры! Хорошо? Договорились? В голове будто сложены штабелями цифры. Выбрось все. Посмотри на людей, на город».

Перейдя улицу, он вошел в маленькую тесную столовую, где обедал каждый день. Сел за столик в углу, где сидел каждый день.

Было видно, что из-за стола только что встали: в недоеден­ную котлету на грязной тарелке вдавлен папиросный окурок, на скатерти мокрые пятна от пролитого пива.

Дядя Сафтар взял меню. И тотчас положил: он уже знал, и что будет есть и стоимость блюд. Борщ, котлеты, компот, бутыл­ка «Истису». Борщ – тридцать пять копеек, котлеты с верми­шелью – сорок две копейки, компот – пятнадцать копеек, «Исти­су» – двадцать копеек, хлеб десять копеек. Всего один рубль двадцать две копейки. Разумеется, он должен дать рубль тридцать копеек. Каждый день рубль тридцать!.. Восемь копеек туда, восемь копеек сюда... В месяц...

«Сафтар, – сказал он себе, – снова подсчеты? Хватит, говорю, выбрось цифры из головы».

Официант убрал со стола. Стряхнул скатерть. Перевернул ее на другую сторону. На этой стороне тоже были пятна. Но уже не такие яркие, они впитались, потемнели, засохли.

Дядя Сафтар заказал. Как ни странно, еду принесли быстро. Борщ был вкусный. Немного недосоленный. Впрочем, дядя Сафтар любил солить круто. Котлеты тоже неплохие. Конечно, до обедов Мины далеко, но все-таки...

Дядя Сафтар перевел дух. «Хорошее, свежее мясо, – подумал он. – Для таких, как и я, беззубых стариков».

Он покончил с котлетами.

Когда он вытирал салфеткой губы, что-то со стуком упало на пол. Сафтар посмотрел, сказал: «И эта туда же», – поднял пуговицу, опустил ее в нагрудный карман.

На его белом парусиновом пиджаке было семь пуговиц. Вторая, третья и пятая сверху уже оторвались. Теперь упала и седьмая.

Пуговицы, как зубы, выпадали неравномерно. Одна отсюда, другая оттуда...

Компот он выпить не смог. Компот был противный, мутный. Очевидно, из дряных фруктов.

«Надо пойти вставить зубы. А тот, коренной, удалить. Время от времени он здорово докучает. Непременно надо пойти. Обещаю-обещаю и не иду. День да ночь – сутки прочь. Эх! Разве сыщешь время... И крышу надо залить смолой. Осенью снова начнет протекать. А когда течет крыша, хуже ничего не бывает. По всей комнате расставляешь тазы, ведра, кастрюли, банки. И каждая посудина издает свой, особый звук. У медного таза – один, у ведра – другой, у кастрюли – третий, у миски – четвер­тый...»

В жизни от трех вещей человеку невмоготу: от тесных башмаков, от зубной боли, от протекающей крыши.

Дядя Сафтар с благодарностью посмотрел на свои старые босоножки. Ногам в них было так покойно, удобно. Человек так чувствует себя только в своей постели.

«Да, Сафтар, старина, крыша у тебя течет, зубы у тебя выпали, пуговицы обрываются, пора, старик, хватит, пожил свое. Ты, кажется, слишком долго заставляешь смерть ждать за дверьми. Нет, честное слово, я не бегу от смерти, – подумал он. – И не боюсь, ее. Она унесла людей не хуже меня... Большинство моих сверстников уже там».

Молчавшее радио вдруг заговорило. Долго хрипело, прорывались отдельные слова. Но можно было понять, что передается текст для районных газет: «Повторяю: наши колхозы и совхозы в этом году... государству... сверх предусмотренного планом... Повторяю: наши колхозы и совхозы в этом году продали государству сверх предусмотренного планом вместо 1200 тонн зерна -1897 тонн, вместо 90 тонн коконов -105 тонн, вместо 370 тысяч яиц – 380 тысяч, вместо 222 тонн шерсти – 225 тонн. Повторяю; вместо 1200 тон...»

Дядя Сафтар заплатил рубль тридцать копеек и вышел на улицу.

«Пойду, навещу жену», – подумал он.

Он похоронил ее два месяца назад. Ходил на могилу обычно по четвергам. Был и позавчера.

Но сегодня почему-то вновь почувствовал потребность навестить Мину.

Он дошел до стоянки такси. Стал в очередь.

Впереди стояло три человека. Он посмотрел на уличные часы. Стрелки заснули на цифре «двенадцать».

Подкатило такси 14-17. Потом 27-31, потом 71-18. Подошла очередь дяди Сафтара. Он ждал еще минут пять. Мимо проез­жали переполненные машины. Дядя Сафтар непроизвольно взглядывал на их номера, моментально складывал первую половину номера со второй: 41-18, значит, 59, 22-15, значит, 37.

Из-за угла вынырнуло такси с зеленым огоньком. С номером 27-00. Дядя Сафтар сложил 27-00, получил 27, удивился. Но подумал, что это можно прочесть и как 2700.

– Ваша очередь?

– Да, да.

– Куда вам?

– На кладбище.

Водитель невольно улыбнулся, но тотчас согнал улыбку с лица.

Дядя Сафтар понял, почему он улыбнулся. «У меня действи­тельно такой вид, что хоть прямо в могилу. А в сущности, разве люди со дня рождения не движутся к своей могиле? Как бы ни был долог путь, как бы ни был извилист, с подъемами, со спусками, все равно в конечном итоге он ведет к последнему пристанищу. Как говорил Молла Насреддин, куда б они ни шли, все равно придут сюда».

Цифры на счетчике сменяли одна другую. 10 копеек, 13, 15, 16...

За окном проносились Девичья башня, Приморский буль­вар, Азнефть. Они были как бы пронумерованы показаниями счетчика. Девичья башня -14, площадь Азнефти – 16...

Машина поднималась в верхнюю часть города.

Могила Мины была в глубине кладбища, далеко от шоссе. Дядя Сафтар заплатил шоферу пятьдесят копеек и стал пробираться к последнему пристанищу жены. И, как всегда, читал надписи на могилах.

АСКЕР ТЕЙМУРОВ (1905 -1957)

ТОФИК БАБАЕВ (1927 -1946)

Имена и цифры. Имена и цифры. Как будто так уж важны эти цифры. А почему? Ведь в сущности все эти надписи не имеют никакого отношения к человеку. Имени он себе не выбирал, фамилии тоже, рождение и смерть от него не зависят. Нельзя ли написать что-нибудь, относящееся именно к этому человеку, например: кто он был, что делал в жизни, что оставил после себя, или, например, какой у него был характер, что он сделал хорошего, что дурного? Были ли у него дети, кто у него остался после смерти? А то, что эти бессмысленные цифры: ФАИК МАРДАНОВ (1902 -1959) БАХМАН САЛАХЗАДЕ (1938 -1965) Невольно он стал складывать эти цифры. «1902 + 1959 = 3861. – Потом подумал, что здесь надо не складывать, а вычитать. – 1959 – 1902 = 57. Значит, Фаик Марданов прожил 57 лет. Более или менее прилично! 1965 – 1938 = 27. Ой, бедный Бахман Салахзаде! Жил всего 27 лет. Интересно, от чего он умер?

А, все под Богом ходим! Человек всю жизнь бегает от мелких ловушек, расставленных смертью, чтобы сохранить себя для большого капкана в конце».

Он вспомнил древнюю легенду. Один старый уже странник попадает в чужую страну. Приходит на кладбище. Смотрит, на могилах написаны даты жизни покойников. И всем – 1 год, 2 года, максимум 5 лет. Встретил такого же старика, как он, и спрашивает: «В чем дело, почему ваши люди умирают чуть ли не в младенчестве?» Старик отвечает: «Нет, дело не в этом. Дело в том, что мы здесь отмечаем число прожитых человеком счастли­вых лет. Остальные дни и годы мы не считаем жизнью». Тогда странник сказал: «Я тоже скоро умру и завещаю похоронить меня здесь. А на могиле напишите: этот человек родился мертвым».

Дядя Сафтар дошел до могилы Мины. МИНАВЕР МАДАТ КЫЗЫ (1909-1965) Он дал себе слово, что сегодня будет держать себя в руках и не станет плакать. Но, увидев могилу, вдруг вспомнил, как Мина разговаривала по ночам. Она не просто бормотала что-то невнятное. Она выговаривала слова так ясно и четко, как будто сидит и говорит с тобой.

Он не мог удержаться. Заплакал.

«Что ж ты, жена, не сберегла себя, на кого меня, старика, оставила?»

Он достал из кармана платок, снял очки, вытер глаза. Постоял еще. Потом повернулся и пошел. В город он спустился пешком. Домой идти не хотелось. До ночи было еще далеко. Он боялся в одиночестве ждать приход темноты.

Каждую ночь он видел сны. В его снах было много народу... Масса! Сверстники, приятели, однокашники, друзья детства, юности. Они приходили к нему, хлопали по плечу, пригова­ривали: «Ай, Сафтар, опять на счетах щелкаешь. Подсчитай, когда конец света?» Во сне и женщин было много: его мать, сестры родные, двоюродные... Они пришивали ему пуговицы, стирали, гладили, готовили. Каждую ночь он видел Мину. И каждую ночь к утру Мина или переселялась в другой город, или, оставив его, уходила куда-то. И Сафтар никакими силами не мог ее остановить. Когда часы били семь, он вставал, одевался. «Интересно, где хоронят тех, кто умер в твоем сновидении?»

Постоянно он видел во сне дочь Нармину. Уже два года, как Нармина с мужем уехала в Африку. Они работают в советской больнице в Гвинее. Оба врачи. Дядя Сафтар смотрел на карту. Эта Гвинея на другом конце света. Писали они два-три письма в год. Сафтар еще не сообщил им о смерти Мины. Все время это висело над ним, но он не мог решиться. В чужом краю, никого из родни, кроме мужа...

Во сне Нармина входила и тотчас спрашивала Сафтара про мать. «На базар ушла. Скоро придет». – «Нет, ты скажи мне всю правду. Скажи, что с мамой, где она?»

Каждый раз одно и то же: скажи мне правду, всю правду.

Сафтар и смолоду видел сны. Бывают люди, которые видят один сон в месяц, в год. Сафтар видел сны каждую ночь. И Мина видела сны каждую ночь. Просыпаясь поутру, они рассказывали друг другу свои сны. Точно возвращались из дальних странст­вий. Рассказывали друг другу, что видели в дальних странах, что слышали там, ели-пили.

Он задержался на улице у газетного щита. Четвертая страница была сверху донизу усеяна цифрами. Напечатана таблица розыгрыша.

3... 5... 6... 9... Цифры, цифры, цифры. Выигрыши. Неудачи.

Дядя Сафтар думал: как странно, обыкновенные сухие цифры, но вот если 3 идет после 6, а не после 7, кому-то счастье, а кто-то рвет на себе волосы. Если эти цифры расположить не так, а эдак, у кого-то не хватит одного шанса, а у другого прибавится целых три.

Он посмотрел на часы. Нет, домой еще рано. В будний день он выходит с работы в пять часов. А сегодня короткий день, – значит, и ночь придет на два часа позже.

«Пойду-ка я на вокзал, – подумал он, – вокзал чудесное место. Приезжающие, встречающие. Нигде больше не увидишь столько улыбающихся лиц. В аэропорту разве. Но аэропорт далеко».

Он пошел на перрон. Первая и вторая платформы были пусты. На третьей толпился народ. Некоторые с цветами... На большой доске – расписание. 11.30... 16.45... 19.05... Цифры, цифры...

Из репродуктора послышался глухой голос: «Поезд номер двадцать из Москвы прибывает на третий путь».

Люди на перроне засуетились. Послышалось пыхтение паровоза. Показался его черный нос. Мимо побежали вагоны: 4, 5, 6, 7...

К вагонам подскакивали носильщики. Их нагрудные номера заблестели и подпрыгивали, как колокольчики; 15, 52, 38, 40...

Дядя Сафтар спустился по ступенькам, вышел на при­вокзальную площадь. Медленно пошел многолюдной шумной лицей. Повернул. Проходя мимо знакомого здания банка, он вспомнил часы, проведенные здесь в жаркие рабочие дни, и подумал, что сейчас банк закрыт, не работает и все цифры в здании спят. В облигациях, ассигнациях, различных финансовых документах. Как зерна в земле, тихо, безмятежно спят. А в понедельник они проснутся, поднимут головы, прорастут.

Он посмотрел на уличные часы. Стрелки отвалились и попадали внутрь. Циферблат казался руинами времени.

Ужасно неприятно смотреть на часы без стрелок: пробирает какой-то необъяснимый страх. Все равно как лицо без носа, без глаз.

На часах остались только цифры: I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...

Вдруг Сафтару показалось, что люди на улице тоже похожи на цифры. Вон та толстая женщина, туго перетянувшая талию, похожа на 8, мужчина с большой головой – на 9, беременная женщина – на 6. Парень в кепке похож на 7. А вон два чубатых мальца – 11. Еще один парень с этакой пышкой -10.

Дядя Сафтар посмеялся над собой. «Нет, кажется, я сегодня окончательно рехнулся. Пока не поздно, пойду-ка домой».

Достал ключ. Открыл дверь. Включил свет. Раздвинул занавески на окнах. Наполнил чайник водой. Поставил его на огонь.

Подошел к календарю, внимательно посмотрел на него.

5 июня 1965. Суббота Восход солнца – 3.51

Заход -21.07

«Подумать только, – подумал он, – и солнце включили в график. Высчитали и восход и заход. Все проинвентаризирова­ли: солнце, луну, звезды в небе, абсолютно все. Один рассказы­вал, что где-то подсчитали всех мышей, клопов, блох по городам и занесли в инвентарную опись. Ну и ну!..»

Дядя Сафтар вздрогнул: послышался звонок. Давно он уже у себя не слышал звонка.

В квартире был телефон, но стоял ненужной коробкой где-то в углу. Вернее, лежал, тихо-тихо, как дремлющая ленивая черная кошка. А теперь он звонил, звонил, звонил.

Кто бы это мог быть?

Он поднял трубку.

– Алло?

– Попросите, пожалуйста, Айдына.

– Куда ты звонишь, дочка?

– Это не квартира Агаева?

– Нет, детка, это квартира Атаева.

– Ой, извините.

Повесила трубку. Ду, ду, ду, ду, ду...

Сафтар тоже дал отбой. Но трубку держал в руке. У него вдруг появилось странное желание. Ему захотелось с кем-нибудь поговорить по телефону. Он словно сейчас вспомнил, что у него есть телефон и по этому телефону можно разговаривать.

Кому бы позвонить?

Он положил трубку на место. С треском выдвинул застряв­ший ящик тумбочки под телефоном, извлек оттуда запыленную коричневую алфавитную книжку. Открыл ее.

Увидев на первой же странице почерк Мины, он болезненно сморщился.

На странице А почерком Мины было записано: «Атаев Сафтар». И их номер телефона: 3-50-51. Мина всегда называла их номер прибауткой из детской игры: «Три рубля с полтиной, пятачок да грош».

Он открыл вторую страницу.

На этой странице был записан телефон Баба́. Бедный Баба́. Не вернулся с войны. Не про него ли сказано:

*Такой не даст заснуть во мгле,*

*Что ж сам он спит в сырой земле?*

Какой был хват, какой молодец, бедняга!

На букву В было два имени. Валида. Младшая сестра Ми­ны. Уже два года, как она с мужем переехала в Нуху. И еще Вахидов. Кто такой Вахидов? Сколько ни вспоминал дядя Сафтар, так и не вспомнил, кто такой Вахидов.

Г. На этой странице было густо зачеркнутое имя. «Это Мина зачеркнула. Она, бедная, тени боялась. Конечно, за меня боялась...»

На Д был записан телефон Дадаша. Дядя Сафтар не хотел звонить Дадашу. В молодости они были большие друзья. А потом? В те времена Дадаша каждый день вызывали. «Как сейчас помню, однажды ночью вдруг явился: «Водка есть?» «Какая водка? Ты же знаешь, я не пью». – «Знаю, знаю, сам принес. Мина, дай что-нибудь закусить». Мина подала сыр, хлеб, немного зелени. Он сел и один выпил пол-литра. Без единого слова! А я сижу и смотрю на него. Выпил всю бутылку. «Эх, Сафтар, говорит, что ты знаешь?» Как сейчас помню: «Счастли­вый ты человек!» Надел шапку и был таков. С тех пор, смотрю, косится как-то. И обходить стал. Ну, я ничего... И не спрашиваю, и не намекаю. Здравствуй – здравствуй. И все. Главный редактор – главный бухгалтер».

Страница на Е была пуста.

Буква 3. Зейналов Тахир. «Зейналов Тахир? А, помню. Были соседи. Но уж сколько лет прошло... Встречу на улице, вряд ли узнаю. А он, вероятно, не помнит и имени моего».

И. Идрис. «Молодчина Идрис. На три года старше, а какой огурчик. Вечно по горам, по долам. Теперь, говорят, ищет золото в Закаталах. Для чего ему телефон, не знаю, никогда не бывает в Баку ни его, ни жены. «Я геолог, говорит, что мне киснуть в городе? Мое дело горы». Может, сегодня, на мое счастье, в городе, а? Позвоню!»

Он снял трубку, набрал номер. Долго слушал длинные сигналы. «Где там! Сидит себе в палатке в лесу или в горах».

М. Мамед Насир. «Ох уж этот Мамед Насир. И сейчас, наверное, пьян в стельку. Так и погубил себя этой выпивкой. Сначала еще какую-то меру знал. А теперь вовсе дошел до ручки. Сколько можно говорить, читать мораль? Он же не ребе­нок, пожилой человек, седой уже. Плачет, божится, а через три дня опять за свое. И пьет с кем попало, и болтает, Бог знает что. Правильно говорят ребята: открой Мамеду Насиру бутылку, а он тебе душу откроет...»

Н. Набиев Аскер. «Бедный Аскер, умер в прошлом году. Пришел домой. Снял пиджак. Сказал: «Жена, дай-ка чаю». Сел и умер. Уж конечно, сердце, этакая дрянь!»

Р. Рагим. «Нет уж, извините, Рагим теперь большой человек, вращается в высших сферах. Позвоню – подумает, мне что-то от него нужно. Да и вряд ли это еще его номер. Как только люди получают какой-нибудь важный пост, они первым долгом меняют номер телефона».

С. Сафтар Атаев. 3-50-51. Это он сам написал.

Т. Теюб. В субботу Теюба в городе не найдешь. Сейчас он уже, наверное, в Мардакянах, на даче копается.

У. Улдуз. Всем семейством переехали в новый дом. Телефон еще не провели.

Ф. Фархад. Фархад в Москве,

X. Ч. Ш. Перелистывая эти страницы, Сафтар загрустил. Как будто в единственном коробке остались только сгоревшие спички.

Тетрадь заполнялась по старой орфографии. Там были еще буквы Ю и Я.

Буква Ю была пуста.

Дядя Сафтар помедлил, осторожно открыл последнюю страницу.

На странице с буквой Я было написано «Яшар», и ничего больше. Номера не было. Просто «Яшар», и все.

Он перевернул и эту страницу и вдруг снова увидел почерк Мины.

Мина написала большими печатными буквами:

ПОЖАР 01

МИЛИЦИЯ 02

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03

Дядя Сафтар, улыбаясь, поднял трубку.

Набрал ноль, протянул палец к единице, но вдруг ему пришло в голову, что с пожарными шутить нельзя. Могут быть неприятности. Во всяком случае, телефон уж точно выключат.

Он не хотел, чтобы телефон выключили. Если даже молчит, все равно пусть себе стоит. Всегда стоял, и пусть себе. Как-никак свой.

С 02 тоже шутить не стоило. А также и с 03.

А 04? Интересно, есть телефон 04? Интересно, что это? Может, набрав этот номер, можно просто поговорить? Может, есть такое место, где ни о чем не спросят, а просто поговорят о здоровье, о настроении, ободрят, как умеют...

Дядя Сафтар набрал 04. Никакого отзвука. Ни длинных гудков, ни коротких. Ни звука. Точно это мертвое пространство.

Набрал 05. Ни звука.

– тоже не ответил.

– послышались частые гудки. Было занято. И 08 – тоже.

Дядя Сафтар набрал последний – 09, и в трубке тотчас послышался голос. Он растерялся и сказал:

– Здравствуйте, это Сафтар Атаев говорит.

Сухой женский голос:

– Кто? Скажите внятно фамилию.

– Атаев, Атаев Сафтар.

– Адрес?

– Мирза Фатали, сорок пять.

– Ждите.

До Сафтара дошло. Он понял, что дозвонился в справочное бюро.

Ему стало смешно, но он ждал, что будет дальше. Из трубки послышалось:

– Три пятьдесят, пятьдесят один.

– Точно, – сказал Сафтар. – Три рубля с полтиной, пятачок да грош.

Но женщина его не услышала. Она уже положила трубку.

Сафтар тоже положил трубку. Рассмеялся.

И вдруг подумал: а что будет, если человек по собственному телефону позвонит сам себе? Посмотрим!

Он взял трубку, набрал номер: 3, 5, 0, 5, 1. Ага!

Послышались частые короткие гудки: ду, ду, ду, ду, ду...

– Занято, разговаривают, – сказал дядя Сафтар, засмеялся, потом задумался.

Прислушался. Долго слушал.

Из трубки с раздражающей монотонностью слышались гудки: ду, ду, ду, ду, ду, ду...

Как будто в осенний день в комнате протекала крыша...

ПИСЬМО НАРМИНЫ ОТЦУСАФТАРУ И МАТЕРИ МИНЕ

«Дорогие мои мама и папа. Сердечный привет вам из дале­кой гвинейской земли. Я очень по вам соскучилась. Но прежде всего хочу сообщить вам радостную весть. Поздравляю! Вы стали бабушкой и дедушкой. Я нарочно ничего не писала вам раньше, чтобы мама не волновалась.

Я же знаю, какая она беспокойная. Но теперь уже все хоро­шо, десять дней назад появился на свет ваш маленький внук. Хусу говорит, что он похож на деда, но носик у него точно твой, мама. Мы его еще никак не назвали. Папа, я хочу назвать его твоим именем. Хусу говорит: у нас в Карабахе не называют именами живых родственников. А я говорю: у вас не называют, а у нас называют. Я сказала ему, что у нас даже есть обычай такой – называть первого ребенка именем деда. Не знаю, есть ли на самом деле такой обычай, я сказала это, чтобы его уговорить. Потому что очень хочу дать малышу твое имя, папа. Когда я буду его звать, мне будет казаться, что ты рядом со мной в этой чужой стране. Если б родилась дочка, я назвала бы ее Миной. Мамочка, родная, я очень беспокоюсь о тебе. Каждую ночь вижу тебя во сне. Такие вижу бестолковые сны... Написала бы ты мне письмецо хоть на одной страничке. Посмотри на папу и бери с него пример: он пишет аккуратно. Что до нашей жизни, то мы живем неплохо. Хусу очень уважают. Здесь большая нужда во врачах. Такие есть больные, такие болезни, не дай бог. Народ очень приветливый. Но очень уж бедно живут, просто ужас.

Ага, проснулся маленький Сафтар и начал кричать. Наверное, проголодался. Страшный обжора.

Крепко вас целую, ваша дочь Нармина.

Хусу посылает вам большой привет».

ЕСЛИ Я ЕЩЕ РАЗ УВИЖУ...

Неймат нажал на клавишу.

– Ну, скажите что-нибудь.

Сурея. Записывает?

Неймат. Да, говорите.

Сурея. А что?

Неймат. Ну, что-нибудь.

Сурея. Ага... Значит, я хочу ска... Нет, значит, я хочу... Не вышло. Постой... Да... Итак, кха, кха (кашляет). Итак, я хочу сказать, что... Сегодня пятое июня. Шестьдесят пятого года. Ты купил магнитофон.

Бикя. И почем ты его взял?

Неймат. Сто девяносто рублей. Тетя Бикя, подойдите поближе. Скажите тоже что-нибудь. Вот сюда, в микрофон.

Бикя. У Али тоже есть такой. Только он побольше. Муртуз привез из Москвы. Он говорит, купил за четыре тысячи старыми деньгами.

Неймат. Кармен, Джильда, Наргиз. Идите сюда, скажите что-нибудь.

Шаги...

Кармен. А что?

Неймат. Поди сюда, дочка. Джильда, и ты. Вот сюда. Гово­ри.

Кармен. Что говорить, папочка?

Сурея. Ну, что-нибудь.

Кармен. Хохмачи!.. А что именно?

Сурея. Ну, что-нибудь да скажите. Отец вам купил магнито­фон.

Кармен (Джильде). Купил самый что ни на есть задрипан­ный магник, и повело!..

Джильда. Ой, не могу!

Смеются.

Сурея. Замолчи! «Задрипанный»! Очень хороший магнитофон.

Кармен. Мамахен, как всегда, полностью поддерживает папахена. Морально-политическое единство.

Джильда. Ой, не могу!

Бикя. Муртуз его поставил у окна. Он, по крайней мере, в два раза больше этого.

Кармен. Грандмаман в таком восторге от магнитофона Мурзика, что никак в себя не придет.

Неймат. Наргиз, дочка, иди сюда.

Наргиз. Я пришла.

Сурея. Скажи, доченька, тот стишок. Помнишь, ты его наизусть говорила...

Бикя. Подумать только, четыре тысячи старыми деньгами!

Наргиз. Не хочу.

Сурея. Ну, не хочешь – не надо. Все кривляются. Хватит, Неймат, останови, посмотрим, как он записал.

Неймат. Наргиз, ты опять брала мою ручку?Я тебе говорил, не трогай ее! Если я еще раз увижу, что ты берешь мою ручку, пеняй на себя.

Он нажал на клавишу. Лента остановилась.

– Посмотрим, как он записал, – сказал Неймат и нажал вторую клавишу. Лента перемоталась в обратном порядке. – По­слушаем. – Он нажал третью клавишу. Послышались голоса.

Неймат. «Ну, скажите что-нибудь».

Сурея. «Записывает?»

Кармен и Джильда вскрикнули:

– Мамин голос!

Неймат. «Да, говорите».

Сурея. «А что?»

– Это мой голос? – спросила Сурея. – И ничуть не похож.

Неймат. «Ну, что-нибудь».

Сурея. «Ага... Значит, я хочу ска... Нет, значит, я хочу... Не вышло. Постой...» Все засмеялись.

– «Значит, я хочу ска...» – передразнила Кармен голос матери.

– Дайте же послушать, – сказала Сурея. Из магнитофона послышался ее голос: «Сегодня пятое июня. Шестьдесят пятого года. Ты купил магнитофон».

– Господи, какая торжественность, – сказал Неймат. – «Ты купил магнитофон».

Из магнитофона послышался голос тетушки Бики: «И почем ты его взял?»

– Бабушка, это ты! – пискнула Наргиз.

– А бабурочка иначе не может, – сказала Кармен, – обяза­тельно должна справиться о цене. – Она снова засмеялась.

– У Муртуза тоже записали мой голос, – сказала тетушка Бикя, – у них мой голос был как живой. А здесь вовсе не похож.

Из магнитофона снова донесся ее голос: «У Али тоже есть такой. Только он побольше».

Аля – старшая дочь тетушки Бики, сестра Суреи.

Бикя. «Муртуз привез из Москвы».

– Вот это маг, я понимаю, – сказала Кармен.

Бикя: «Он говорит, купил за четыре тысячи. Старыми деньгами».

Послышался голос Неймата: «Кармен, Джильда, Наргиз. Идите сюда, скажите что-нибудь».

– Донесся звук шагов. Потом голос Кармен; «А что?»

– Это я? – удивленно сказала Кармен.

– А то я, что ли? – сказала Джильда. – Конечно, ты.

Кармен: «Хохмачи!.. А что именно?»

– Хохмачка-трепачка. Ты послушай только, как они разгова­ривают, – сказала Сурея. И тут же из магнитофона послышался ее голос: «Ну, что-нибудь да скажите. Отец вам купил магнитофон».

Кармен. «Купил самый что ни на есть задрипанный магник, и повело!..»

– Клянусь тебе, дочка, мне сказали, что это неплохая марка, – сказал Неймат.

Джильда. «Ой, не могу!»

Из магнитофона послышался смех. Потом раздался голос Суреи: «Замолчи!»

– Видишь, как ты обращаешься с родной дочерью, – сказала Кармен. – И учти, это уже записано. Ты не сможешь взять своих слов обратно. Факт налицо.

Из магнитофона послышался ее голос:

«...Мамахен, как всегда, полностью поддерживает папахена...»

– Ой, не могу, – сказала Джильда, и тут же ее голос повторил из магнитофона: «...Ой, не могу!..»

– Алин больше этого, – начала тетя Бикя, но тут же умолкла, заслышав свой голос: «Он по крайней мере в два раза больше этого...»

Кармен: «Грандмаман в таком восторге от магнитофона Мурзика...»

– Стыд какой! – сказала Сурея. – Что за Мурзик! Если он услышит, насмерть обидится.

– А что особенного, – сказала Кармен, – тетя Аля всегда зовет его Мурзиком.

– Аля – его жена, – сказала тетушка Бикя, – это совсем другое дело.

Из магнитофона послышался голос Наргиз: «...Не хочу».

Сурея: «Ну, не хочешь – не надо. Все кривляются. Хватит, Неймат, останови, посмотрим, как он записал».

Неймат. «Наргиз, ты опять брала мою ручку? Я тебе гово­рил, не трогай ее! Если я еще раз увижу...»

Вдруг наступила тишина. Запись оборвалась. Лента крути­лась беззвучно. Неймат нажал на клавишу.

– Всё, – сказал он.

– Очень интересно, – сказала Сурея. – Все точно так, как мы говорили.

– А ты как думала? – сказала Кармен. – Ты скажешь одно, а там будет другое? – Все засмеялись.

– В каком веке вы живете, люди? – сказала Кармен. – Для всех магнитофон – пройденный этап. А эти только очнулись. Потрясены чудом техники, да?

– Ой, не могу! – сказала Джильда.

– Слушайте, вы же сами просили магнитофон, – сказал Неймат. – Вы из меня кишки вымотали. Вот я и купил.

– И отлично, – сказала Сурея. – Не обращай внимания на этих девчонок. Они глупости болтают.

– Ничего им не нравится, – укоризненно сказала Бикя. – И Алины тоже такие.

– Но правда же замечательная штука, – сказала Сурея. – Я своего голоса не узнала. Как будто совсем посторонний человек.

– Никто не узнает своего голоса, – сказал Неймат, – потому что и в жизни мы не воспринимаем свой голос таким, какой он есть.

– Хочешь, еще раз послушаем, – сказала Сурея.

– Ну уж простите, – сказала Кармен. – Это испытание выше моих сил.

Она и за ней Джильда ушли в другую комнату. Наргиз побежала за ними. Неймат нажал на клавишу. Прошли первые слова, первые фразы.

Из другой комнаты закричала Кармен:

– Значит, я хочу ска...

И в тот же момент из магнитофона послышался голос Суреи: «...Значит, я хочу ска...» Неймат покачал головой. Из другой комнаты послышался голос Кармен:

– Сейчас бабурочка начнет расхваливать магнитофон Мурзика.

И тут же послышался голос тети Бики: «...У Али тоже есть такой. Только он побольше».

В другой комнате захохотали.

Они дослушали до конца. Девочки подавали реплики, и магнитофон повторял их слова, как попугай. Они уже знали запись наизусть.

Да и Неймат тоже знал, что за чем, чей голос за чьим, все оттенки, запинки, придыхания, покашливания, смешки – все застыло в неизменности.

Из магнитофона послышался голос Неймата: «...Если я еще раз увижу...»

И вновь лента начала крутиться беззвучно.

Наргиз прибежала из другой комнаты. Две ее тоненькие косички прыгали по плечам, как мышиные хвостики.

– Папа, – сказала она, – а что ты сделаешь, если еще раз увидишь?

– Ах ты, чертенок, – сказал Неймат, – я остановил ленту слишком рано. Но смотри, если ты еще раз возьмешь мою ручку, я... я не знаю, что я сделаю! Наргиз растерянно на него глядела.

– Если не знаешь, зачем говоришь? – сказала она.

Неймат рассмеялся и поднял ее на руки. Поцеловал в щеку. Поставил на пол.

В дверь постучали.

– Войдите.

Показалась лысая голова Муршуда.

– Стучите, и закроется вам, – сказал Муршуд. – Не плюй в колодец: вылетит – не поймаешь, – такова была его манера острить.

Он вошел, сияя двумя рядами золотых зубов.

– Здравствуйте? Здравствуйте! Как дела? Ничего, спасибо! – Это тоже было из его ассортимента. Сам спрашивал, сам отвечал. – Который час? Половина пятого. Откуда? С работы.

И сам смеялся.

Муршуд был соседом Неймата. Он – зубной врач. Однажды кто-то сказал, что Муршуд – комик, и это решило его участь. Комикование стало его крестом. Где бы он ни был, в любой компании, в любой обстановке, в любую минуту он лез из кожи, чтобы быть смешным.

– Как сказал шейх Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви, цыплят по осени считают, – сказал Муршуд. – Я пришел сегодня, Неймат, моя лапушка, взять реванш. – Вчера Неймат четыре раза подряд обыграл его в шахматы. – Вчера я получил журавля в небе. Жена разбудила меня чуть свет и говорит: «Поди, попроси еще хоть синицу в руки, откроем зоомагазин». Я говорю: «Нет, женушка, ни за что. – Он погладил себя по лысине. – Ты слышала, лысый в гору не пойдет! Журавль дан мне на время. Я взял его у нашего лапушки Неймата в долг. Нынче же снесу обратно. Как говорил Илья Иосифович Низами, долг платежом черен».

– У Низами-муаллима есть еще одно подходящее изречение, – сказал Неймат. – Покойный шейх тонко подметил: куда коня с копытами, там хоть трава не расти.

Он давно освоился с манерой Муршуда.

– Да упокоит Аллах твоих умерших, – сказал Муршуд. – Я сейчас тебе такое покажу, что дух Низами из Гянджи перелетит в Баку. Между прочим, еду я вчера в троллейбусе. Кондуктор объявляет: кинотеатр Низами, улица Низами, музей Низами. Рядом со мной сидит один тип и говорит: «Скажи, приятель, кто такой этот Низами? Куда ни поедешь, всюду его имя». Я говорю: «А ты не слышал, это поэт такой – Низами из Гянджи». – «А-а, говорит, так и скажи. Не иначе, у него кто-то наверху из своих, из гянджинцев...»

– Выиграть у меня в шахматы – дело непростое, – сказал Неймат. – Я прошел хорошую школу. Во время войны по секрету от мамы я с соседским мальчиком играл на маргарин. Я знал, что должен хоть лопнуть, но выиграть. И действительно, ни разу не проиграл.

– Да-а! Кто не любит маргарину, не получит осетрину, – сказал Муршуд.

Через пять минут постучалась жена Муршуда Мензер. Это был такой стиль: сперва приходил муж, а через пять минут являлась жена. Или наоборот.

– Где ты пропадаешь? С утра ищу гуляку, – сказала Мензер. – Здравствуйте, Неймат, голубчик!

– Где я пропадаю? Прячусь между башмаками и шляпой.

Мензер захохотала, прикрыв рот ладонью.

– А соседушка, – сказала она, – кажется, замесила тесто. Внимание, Муршуд, нас ждет пир столбом и дым горой.

– Готовимся с позавчерашнего, – сказал Муршуд. – Я старый грешник – люблю пир столбом.

– Милости просим, – сказала Сурея. – Завтра к трем захо­дите.

– Ну уж нет, – сказал Муршуд, – не кормите нас завтраками. Кто знает, что будет завтра. Я слаб здоровьем. У меня повышенное давление и пониженный тонус. Не знаю, доживу до завтра или отдам концы. Как сказал Низами, завтра, завтра, не сегодня – так редакторы твердят.

– О, соседка, поздравляю! – сказал Мензер. – Вы, кажется, купили новый приемник.

Муршуд шлепнул себя обеими руками но лысине.

– Боже милосердный! Жена, ты меня осрамила. Это же магнитофон, а не приемник! Поздравляю, носите на здоровье! А я-то сижу и не вижу...

– Откуда мне знать, муженек, – сказала Мензер. – Дома у нас сроду такого не бывало, и от соседей не видели...

– Ну, жена, это уж слишком, – сказал Муршуд. – Соседка готовит для тебя пир, и все тебе мало, еще и магнитофон подавай...

Мензер захохотала:

– Ох и язык у тебя, муженек! Это же так говорится...

– «Говорится», – вдоволь насмеявшись, сказал Муршуд. – Неймат, умоляю, что я, не прав? Бей пять! «От соседей не виде­ли»!.. Не «от», а «у» соседей!

– Таким соседям, как вы, все отдать – мало, – сказала тетушка Бикя. – В трудные дни жизни хороший сосед порой ближе кровных родственников.

«Тема добрососедства – минимум на четверть часа», – поду­мал Неймат.

– Тетушка Бикя, родная, у вас с языка мед каплет. При таком языке и зубы должны быть, как сахар. А если что, приходите ко мне хоть завтра – я беспошлинно поставлю вам тридцать два новеньких зуба. Но шутки в сторону, Неймат, бывает и вправду такое соседство...

«Нет, кажется, пришел мой конец, – подумал Неймат, – Его юмор еще как-то можно выдержать, но его пафос...»

– Ну, конечно, Муршуд, – сказал он, – разумеется, соседство – это вещь. – Вдруг его взгляд упал на магнитофон. – Знаете, мы только что записались на пленку. Здорово получилось. Хотите послушать?

– Вот это, как говорил покойный Низами, саг ол[[12]](#footnote-12) Пушкин! Включи-ка, соседушка, послушаем. Отлично сказано, что вино хорошо старое, а магнитофон – новый.

Неймат включил магнитофон. Всякий раз, как звучал новый голос, Мензер вскрикивала:

– Ой, муженек! Клянусь жизнью, это наш Неймат! Вай, муженек, ей-богу, наша Сурея! Ой, тетушка Бикя, клянусь Богом, тетушка Бикя! – как будто из магнитофона должен был послы­шаться по крайней мере голос Моллы Насреддина. Открытия Мензер продолжались.

– Карменчик! Джильдочка! – кричала она.

– Мурзик? – вдруг вскинулся Муршуд. – Это она на Муртуза Балаевича? Ах, проказница!

Из магнитофона послышался голос Неймата: «...Если я еще раз увижу...»

И настала тишина.

– Всё, – сказал Неймат и нажал на клавишу.

– А что ты сделаешь, Неймат, если еще раз увидишь, – сказал Муршуд, – скажи по секрету...

– Да я и сам не знаю.

– Силы небесные, какое это чудо, – сказала Мензер. – Голуб­чик, Неймат, я тебя прошу, давай еще раз послушаем. – Неймат нажал на клавишу. Прослушали еще раз.

– Сурея, родная! Тетушка Бикя! Ах ты, боже мой! – снова вскрикивала Мензер, узнавая голоса.

Снова послышался голос Неймата: «...Если я еще раз увижу...»

И настала тишина.

– Всё, – сказал Неймат и нажал на клавишу. Неймат и Муршуд сели играть в шахматы. У Муршуда и тут была особая манера. Во время игры он беспрерывно что-то напевал и приговаривал.

– В общем, назвался ткачом, Кёроглу[[13]](#footnote-13), пусть несут пряж, а если я, Неймат-муаллим, скажу тебе здесь «шах», куда ты пойдешь? Ага, сюда! Очень хорошо, очень приятно; куплю, говорит, доченька, тебе башмаки, хватит босиком по двору гонять; купи, говорит, папочка, да буду я твоей жертвой! Вот еще раз шах; шах – и серьги в ушах; шел мальчишка на урок, сделал он по льду шажок, поскользнулся, растянулся, рассердился, замахнулся[[14]](#footnote-14), беру, сказал, эту ладью вот этим конем; ты спросишь – зачем, отвечу: так нужно; горы, говорит, мои горы, замки моей печали; не трогай, говорит, меня, не лезь, не до тебя теперь; да... отдали, значит, девушку за лысого, и вот однажды... Однажды видят – шах, еще шах! Значит, вот ты как? Очень мило с твоей стороны! Теперь ты мне говоришь...

Вдруг этот поток слов иссяк. Муршуд запнулся, жалобно посмотрел на Неймата.

– Ой, уже мат? – сказал он. – Как же это случилось, а?

– Ах ты, черт, не заметил я вторую ладью! Чтоб тебя разорва­ло, я ж выигрывал! Так славно тебя прижал... Тьфу, будь я проклят вместе с этой игрой! Ну, давай еще разок. Из передней послышались голоса.

– Милости просим, заходите, – говорила Сурея.

Неймат узнал гостей по голосам. Это была средняя сестра Суреи – Таира – с мужем Джаббаром.

Неймат встал, вышел им навстречу.

Джаббар был тихий, кроткий человечек. Тише воды ниже травы. А Таира – совсем наоборот.

И муж, и жена были химики. Он кандидат, она кандидат. Он писал теперь докторскую.

Джаббар произносил слова чрезвычайно ясно, четко и изъяснялся исключительно литературным языком: «Я и Таира уже около пяти лет состоим в браке. Мы постоянно ежевечерне гуляем в Приморском парке, дышим свежим воздухом... Это стало для нас внутренней необходимостью».

У них был хилый мальчуган. Когда Неймат видел его, серд­це кровью обливалось. Таира донимала сына риторическими вопросами: «Как кушает Алик? Алик кушает плохо. А как кушает Фатик (ребенка звали Фуад)? Фатик кушает хорошо. Что делает Алик со своей бедной мамой? Алик ее мучает. А Фатик? Фатик слушает маму».

Мальчишка выслушивал все это безучастно. Никто не знал, кто он такой, этот злой демон Алик. Неймат понимал, что это исчадье ада было выдумано лишь для того, чтобы оттенить ангелоподобность Фатика.

Неделю назад они получили новую квартиру. Но подготовка к событию шла давно. Уже полгода основной их темой была квартира. А до этого основной темой были поиски горшка для Фатика. «Не осталось места, куда бы мы не заглянули, и нет как нет! Нельзя же покупать что под руку попадется. Бывают импортные – удобные и красивые». Наконец однажды Таира с гордостью сообщила, что нашла-таки именно такой в сураханском[[15]](#footnote-15) универмаге: удобный, красивый, импортный. «Ей-богу, ребенка прямо тянет на горшок. Фатик как садится, так вставать не хочет!..»

Три года назад излюбленной темой было путешествие по Дунаю. Они объездили шесть стран. Неймат думал: «Не знаю, как им, а собеседникам это путешествие дорого обошлось». Где бы кто о чем ни заговорил, Таира моментально прерывала:

– Помнишь, Джабош, когда мы были в Румынии... (У нее вообще была манера перебивать прежде всего мужа, а впрочем, и любого другого, возражать, уточнять, дополнять, переводить разговор на тему, ничего общего с предыдущей не имеющую.) Джаббар важно отвечал:

– Да, Таира, я хорошо это помню.

Таира называла своего мужа Джабошем.

«Что за привычка у этих сестер: и Аля верзилу зовет Мурзиком. Джабош, Мурзик. Хорошо, что Сурея не догадалась прозвать меня как-нибудь в этом роде».

– Посмотри, Джабош, – сказала Таира, – они купили магнитофон.

– Да, я вижу. Поздравляю. На доброе здоровье.

– Спасибо.

– Ты помнишь, Джабош, мы в Австрии видели магнитофон в такой желтой коробке?

«Господи!» – подумал Неймат.

– Ну как ваша новая квартира? – спросил он. Все-таки квартира была относительно более свежей темой.

– Хорошо, – ответил Джаббар. – Два балкона. Высота три метра. Дом построен по старому проекту. Премило. – «Премило» была наиболее употребительная его оценка. – Я опасался, что санитарный узел и ванная будут совмещены. Ведь это характерно для новых зданий. Но нам посчастливилось. Ванная отдельно. Туалет отдельно. Премило.

В комнату вошла Сурея, и он повторил:

– Ванная отдельно, туалет отдельно. Премило. – Он сделал странное движение руками. Как будто обрисовывал форму туалета. – Премило. Белый кафель. И в туалете, и в кухне, и в ванной комнате. Вот только душ немного...

Таира тут же прервала его:

– Не понимаю, что тебе неймется с этим душем. Мы же договорились, что позовем мастера и поменяем.

– Конечно, – сказал Джаббар, – но я...

– В большинстве новостроек нет никакого кафеля, – сказала Таира. – Нужно доставать и делать все самим.

– Ты знаешь, Неймат, необыкновенно чистый, высоко­качественный кафель, – сказал Джаббар. – Клянусь здоровьем Таиры и Суреи, на него невозможно наглядеться.

Он часто клялся здоровьем жены. В разговоре с Нейматом присовокуплял к ней и Сурею, а с Муртузом – Алю.

– Неймат, – сказала Сурея, – включи-ка магнитофон. Пусть послушают.

Неймат нажал на клавишу. «...Ну, скажите что-нибудь».

– Это ты... – сказала Таира.

Неймат кивнул.

Послышался голос Суреи: «...Записывает?..»

– Джаббар, слышишь, это Сурея, – сказала Таира.

– Премило, – сказал Джаббар.

Послышался голос Суреи: «...Значит, я хочу ска...»

Посмеялись.

– Премило, – повторил Джаббар.

Когда Кармен сказала «Мурзик», все снова засмеялись.

– Услышит Муртуз Балаевич, возникнет неловкость, – сказал Муршуд. – Он будет шокирован.

Таира наклонилась к Сурее и что-то зашептала ей на ухо об Алиной семье.

Джаббар слушал внимательно и время от времени повторял:

– Премило.

Послышался голос Неймата: «...Если я еще раз увижу...» Тишина.

Муршуд стал расспрашивать Джаббара о новой квартире. Неймат краем уха слышал:

– Туалет отдельно, ванная отдельно. Премило. Когда прощались, Сурея сказала:

– Приходите завтра в три часа на обед. Просто так. Будут только свои.

Через некоторое время собрались уходить и Муршуд с женой. Сурея повторила приглашение.

– Ногами стучать или руками? – спросил Муршуд. Сурея не поняла.

– Экая ты, лапушка, непонятливая, – сказал Муршуд. – Я спрашиваю, с полными руками приходить?

– Нет, нет, что вы! – сказала Сурея. – Как не стыдно! – ...Она начала убирать со стола.

– Лучше будет, если Але ты сам позвонишь, – сказала она. – Ты же знаешь Муртуза; если позвоню я, еще обидится.

Неймат позвонил.

– Муртуз Балаевич, – сказал он, – очень просим вас пожало­вать к нам завтра вместе с Алией-ханым. К трем часам. Нет, нет, просто так, все свои... Да нет, никакого события! Ей-богу, правда. Клянусь вам. – «Вот горе. Хоть анкету заполняй». – Да нет же, день рождения Кармен в апреле, Джильды – в ноябре, Наргиз – в мае, Суреи – тоже в мае. Мой? Право, не помню. Но не завтра... Так... всего хорошего.

Муртуз был фронтовым товарищем первого мужа Суреи. Может быть, поэтому он никак не мог примириться с Нейматом. Бедный Неймат выказывал ему всяческое почтение. Как-никак тот был намного старше и Неймата и Джаббара. Дородный, солидный, представительный. Седовласый полковник в отставке – Муртуз Муртузов.

Когда он надевал все свои ордена и медали, на груди не оставалось места, чтоб иголку воткнуть. Супруга была ему под стать – видная, красивая дама.

У них было двое детей – дочь Фирангиз и сын Спартак.

– Ладно, я пойду, – сказал Неймат, – завтра рано вставать.

В переднюю заглянула Мензер.

– Вы еще не легли? Ради бога, извините. Мы с Муршудом поспорили. Он говорит: там нет голоса тети Бики. Да буду я тво­ей жертвой, братец Неймат, дай я еще раз послушаю, своими ушами.

Неймат включил магнитофон.

– Когда кончится, нажмите вот здесь, – сказал он. И пошел в другую комнату. Услышал свой голос:

«...Ну, скажите что-нибудь...»

Разделся, лег. Погладил рукой висящую над кроватью карту, угадывая в темноте казахские названия: Каратау, Ахсуат, Аягуз...

Степи, поля, палатки... Он попытался представить себе все это. И задремал потихоньку. Сон затягивал его в теплый омут. В забытьи он услышал из другой комнаты свой голос: «...Если я еще раз увижу...»

Потом тишина и темнота сомкнулись.

Первым пришел Дадаш. Правда, Муршуд с женой пришли еще раньше, но они, соседи, не в счет. Дадаш всюду бывал один. Почему-то он никогда не выводил в свет свою жену.

– У тебя прекрасная квартира, – сказал он. – Особенно этот вид. Чудесная панорама.

Они стояли у окна и смотрели на город. Неймат давал пояс­нения:

– Вон верхушка Девичьей башни. Теперь взгляните направо. Вот гак. Это музей Низами. Нет, кино с той стороны. Смотрите по направлению моего пальца.

– Дадаш Мамедович... – сказал Муршуд. Неймат познакомил его с Дадашем всего десять минут назад, но Муршуд уже успел узнать его отчество. Вообще у Муршуда была поразительная память. Он знал отчества всех мало-мальски видных людей[[16]](#footnote-16).

Дадаш не услышал обращения, и Муршуд повысил голос:

– Дадаш Мамедович, вы слышали, Хосрова Теюбовича перевели в Азпромсовет.

Еще одной особенностью Муршуда была необычайная осведомленность о переменах в официальных кругах.

Дадаш с минуту остолбенело смотрел на него.

– А кто такой Хосров Теюбович? – спросил он. Муршуд был удивлен еще больше:

– Вы не знаете Хосрова Теюбовича? Ну, Годжаев, Хосров Теюбович! Одно время он работал прокурором в Шемахе, потом его перевели исполкомом в Маштаги. Сейчас я объясню вам, вы сразу вспомните. Его брат Аскер Сулейманов работает в Министерстве просвещения, Аскер Теюбович Сулейманов. Они родные братья, но фамилии у них разные. Вспомнили?

– А-а! Братец Черного Аскера?

– Верно, верно, – просиял Муршуд. – Его называют Черным Аскером. Так вот, Хосров Теюбович: – его родной брат. Но они, кажется, не очень дружны.

– Брата я не знаю, – сказал Дадаш, – но Черный Аскер мо­шенник и дурак. Одно время он работал на радио и не пропускал в эфир газель Хагани... Как это... «Если ты не придешь, я всю землю сожгу...» Дескать, не можем мы поощрять такое изуверство. Выгнали его оттуда...

– Ах, – Муршуд снова заулыбался, – как вы правы, как это верно!

Муршуд был довольно рослым мужчиной, но когда судьба сталкивала его с какой-нибудь значительной личностью, он как- то съеживался, становился меньше. Неймат подумал, что подхалимство вообще омерзительно, но богатырски сложенный подхалим – это просто патология.

Послышался звонок.

Пришли Таира и Джаббар.

Когда дверь отворилась, в комнату донеслись кухонные ароматы.

Муршуд возбужденно посмотрел на Дадаша, хихикнул, потер руки.

– Я думаю, может, приступим к плову, – сказал он. – Больше никого не будет?..

Дадаш слабо улыбнулся. Он еще не освоился с юмором Муршуда.

– Ай, старик, ну что заладил «плов, плов», – заворчала Мензер. – Может, тебя не на плов позвали...

Неймат подумал, что получается как-то неудобно. Семейство Муртуза опоздает минимум на час. Так уж повелось. Пригласили всех ради Дадаша, а ждут Муртуза.

Дадаш и вправду заскучал. Кажется, его не очень занимала беседа с Муршудом о переменах в административных кругах. А может быть, он подобные сведения получал «из более автори­тетных источников, обсуждая их с людьми, которых считал равными себе по положению...

– Дадаш-муаллим, – объявил Неймат, – я купил магнитофон, и мы записали наши голоса. Не хотите ли послушать?

– Отчего же?

– Неймат нажал на клавишу: «...Ну скажите что-нибудь».

Знакомые слова, фразы, смех заскользили, как давно при­мелькавшиеся картины привычной дороги.

«...Значит, я хочу ска...»

«...У Али тоже есть такой...»

«...Хохмачи...»

«...Если я еще раз увижу...»

– Занятно, – усмехнулся Дадаш, – очень занятно. – В дверь постучали. Прибыли Аля и Муртуз.

– Сейчас подаю, – сказала тетя Бикя, – проходите, дорогие гости, усаживайтесь.

Познакомили Муртуза с Дадашем.

– Купили магнитофон? – спросил Муртуз.

– Они записали такие интересные слова, – кокетливо протя­нула Мензер, – включи, а, Неймат? Пусть они тоже послушают.

«Господи, помилуй меня!» – взмолился Неймат.

– Сейчас, – сказал он...

Послышался его голос, голос Суреи. Вдруг он вспомнил, то на ленте есть слово «Мурзик». Остановить уже нельзя.

Поздно. Он попытался вспомнить это место. Значит, тетя Бикя хвалит магнитофон Муртуза и где-то тут Кармен говорит: «Мурзик». Ах, но ведь Бикя же не в одном месте хвалит, она повторяет это как заведенная.

И тут послышался голос Кармен: «...Грандмаман в таком восторге...»

– Муртуз Балаевич, – вскрикнул Неймат изо всех сил, – завтра смотрим футбол, а?! Как вы думаете? Сурея удивленно подняла брови:

– Что ты так кричишь?

Неймат подумал: «Если б ты знала, закричала бы еще гром­че...» Послышался его голос из магнитофона: «...Наргиз, доченька...»

Он облегченно вздохнул. Кажется, пронесло. Никто ничего не услышал, не учуял, не понял.

– А как же! – сказал Муртуз. – Обязательно!

Аля и Таира о чем-то шептались. До Неймата доходили обрывки Алиных фраз: «Господи, она так выпендривается... Извела парня совсем».

Неймат не знал, о ком идет речь, но догадался, что Алия-ханым говорит об очередном романе своего сына Спартака. Двадцатичетырехлетний Спартак был рубахой-парнем, не дураком выпить и погулять. С помощью папиных звонков он в прошлом году кое-как окончил мединститут. Надо было пожалеть тех, кому суждено у него лечиться. Девчонок он менял еженедельно. Ежедневно. Муртуз не без гордости взирал на сыновние победы. «Яблоко от яблони недалеко падает; мне и самому смолоду девки проходу не давали».

Аля делала вид, будто куда как недовольна приключениями Спартака. Она не отвечала на бесконечные телефонные звонки, рывком вешала трубку. Но Неймат знал, что в глубине души ей приятна мужская слава Спартака так же, как положение Муртуза, как непорочность и отличная учеба Фирангиз.

Ее высказывания также были противоречивы: то она твердила об авторитете Муртуза, об уважении к нему в высших сферах, о семейном счастье, то вдруг из-за какой-нибудь чепухи начинала жаловаться на судьбу: «Эх, Сурея, ей-богу, я иногда думаю: зачем мне эта красота, этот ум, эта фигура, лучше б вместо этого бог дал мне немного счастья».

В другом углу комнаты Муршуд крепко взялся за Муртуза. Беседа с Дадашем не получилась, но зато теперь собеседники упивались друг другом.

– Вы, Муртуз Балаевич, конечно, знаете, что Махмуда Исрафиловича только что назначили замминистра.

– Да что ты? А кого же на его место?

– Тураба Курбановича.

– Да что ты?! А на место Тураба?

– На место Тураба Курбановича – Закира Зульфугаровича. А на место Закира Зульфугаровича как раз вот и пришел Махмуд Исрафилович.

– Шило на мыло.

– В самом деле, – рассмеялся Муршуд. – Вы абсолютно пра­вы. Произошла небольшая перестановка. Так сказать, перемена мест слагаемых.

Административные катаклизмы Муртуз переживал так же бурно, как Муршуд. Однако он всегда оставался недоволен пере­менами. «Сняли такого-то. Назначили такого-то. Подумать толь­ко! Куда мы идем? В мое время этого не было. Понятно, почему никто никого не слушает».

– Прошу за стол, – сказала Сурея.

Неймат ломал голову. «Как быть? Я устроил это для Дадаша. Он у нас впервые. Но если я попробую поднять первый бокал не за Муртуза, а за Дадаша, Муртуз Балаевич тут же обидится, Аля надуется, Сурея расстроится, и – прощай спокойная жизнь. Вместе с тем...»

И вдруг он нашел выход. Гениальный выход! Как говорит Джабош, «премило»!

Он встал.

– Я предлагаю, – сказал он, – выпить первый бокал за здоро­вье тамады – Муртуза Балаевича. За здоровье его семьи. Попро­сим его руководить нашей маленькой компанией как истинного полководца, полковника.

Удалившийся было куда-то голос Муршуда снова прибли­зился:

– Итак, я давно знаю Дадаша Мамедовича, хоть он меня и не знал. Мы люди маленькие, лекаришки, как говорится. Но, Дадаш Мамедович, вы знаете, есть поговорка: «Свой своему поневоле брат». Больной врачу брат поневоле. И еще есть поговорка: «Если надоела жена, разведись...» Жена, ты не слушай, – общий смех, – если болит зуб, вырви. Дорогой Дадаш Мамедович! Если, не дай бог, у вас теперь заболит зуб, ваш покорный слуга всегда готов, когда хотите, сколько зубов понадобится, утром, вечером, ночью, весной, летом, осенью, зимой...

Неймат подумал: «Это самая свежая и оригинальная форма подхалимства – если разболится зуб, приходи, вырву с преве­ликим удовольствием».

Муршуд протянул рюмку к Дадашу.

– Будьте здоровы, Дадаш Мамедович, за ваше здоровье!

– Спасибо, милый, будьте здоровы. Все будьте здоровы. – Потом слова попросил Дадаш.

– В Ленинграде, – сказал он, – есть улица. Главная улица го­рода. Знаменитый Невский проспект. Ровная-ровная. Не помню, кто из русских писателей сказал, что путь истории – не Невский проспект. Не такова и жизнь человеческая. Это не торная дорог а. Есть и рытвины, и ухабы, и зигзаги. Сворачиваешь, петляешь, возвращаешься, отстаешь, выходишь вперед. Вот я, самый старший по возрасту из всех здесь сидящих...

– Ну нет, Дадаш Мамедович, так дело не пойдет, – как ужа­ленный вскочил Муршуд. – Не прибедняйтесь! Муртуз Балаевич самого Ноя видел в колыбели! – Он засмеялся, но, заметив, что Муртуз не смеется и вообще шутка не имеет успеха, торопливо добавил: – Если есть в этой компании действительно молодые люди, так это вы и Муртуз Балаевич. О дамах я, конечно, не говорю...

Дадаш стоял с рюмкой в руке. Сдержанно, но несколько нетерпеливо выслушал он лирическое отступление Муршуда и, подняв руку, остановил его.

– Во всяком случае, я на годик-другой тебя постарше. – Он мягко усмехнулся. – А старших перебивать не принято. Так вот, дело в том, что я повидал много людей, пережил разные времена. Из всего пережитого я вынес одно: надо работать. И цена человека, и совесть его, и честь, и душа – все это его работа. После человека остается только то, что он сделал. Никто и не вспомнит, каким ты был: лжецом или правдолюбом, храбрецом или трусом. Будут вспоминать только об одном: что он сделал? Что оставил после себя? Вот и я тоже... Что греха таить: в моей жизни были такие дни, сейчас я очень хотел бы, чтобы их не было. Но что было, то было: я и говорил, и делал немного такого, о чем теперь жалею. Большая часть моей жизни позади, осталось не так уж много... – Он пресек готовые разразиться протесты и продолжал: – И сейчас, когда пришло время итогов, не скрою: глядя на свою жизнь, я доволен! Поймите меня правильно: это не самодовольство. Но по зрелом размышлении я отдаю себе отчет: как я ни ошибался, как ни оступался, все-таки, положа руку на сердце, я кое-что сделал. И, может быть, то, что сделал я, не сделал бы никто другой. И это останется!

Дадаш говорил, а Неймату казалось, что он отвечает кому-то, спорит с кем-то, хочет кого-то переубедить.

– Да, в жизни есть две категории людей. Одна работает, ошибается спотыкается, падает, поднимается и вновь берется за работу. Другая – стоит в стороне, наблюдает. Не спотыкается, не падает, не ошибается. Конечно, если ничего не делать, то и не ошибешься. Но мне кажется, что это самая страшная из ошибок – стоять в стороне от других и судить тех, кто идет. Разумеется, этот судья, этот арбитр гордится: я чист как стеклышко, я никогда не сделал и шагу, о котором пришлось бы пожалеть. Правда, не сделал. Но кому нужна эта незапятнанность, если она достается ценой ухода от борьбы, от работы, от жизни?

Неймат никогда не слышал от Дадаша таких слов. Таких слов и сказанных таким тоном. Видимо, все это было не только очень серьезно, но и шло из глубины души. И Неймат, кажется, нашел того, с кем спорил Дадаш – с самим собой. Вдруг Неймату стало жаль его. С мгновенной решимостью он встал.

– Прошу прощения, Дадаш-муаллим, – сказал он. – Одно только слово. – Он оглядел всех. – На днях утвердили наш новый план. Я хочу сказать, что этот план, и утверждение этого плана, и осуществление этого плана – серьезное, большое дело. Я не преувеличу, если скажу, что это вклад в нашу культуру и что тут трудно переоценить роль Дадаш-муаллима.

– Да брось ты, Бога ради, – с трудом удерживая блаженную улыбку, запротестовал Дадаш. – Сбил ты меня... Что я хотел еще сказать? В общем... Я хотел сказать, что, конечно, жизненная закалка – великая вещь, жизненные испытания – вещь полезная. И все же не дай бог вам и тем, кто придет после вас, пройти через те испытания, которые достались нам. Потому что... Потому что... есть такие испытания, что... – он оборвал себя на полусло­ве, мучительно сморщился, махнул левой рукой, залпом опроки­нул рюмку и только после этого сказал; – Будьте здоровы, за ваше здоровье.

Потом по очереди выпили за здоровье Джаббара, Муршуда, Неймата, их жен и детей. Отдельно выпили за здоровье тетушки Бики, сказали, что угощение на славу.

Потом встал Неймат:

– Я предлагаю тост за здоровье тамады!

Он говорил длинно. Бог знает, что он нес. Помнил только, что надо говорить как можно более трескуче. «Глубокая человеч­ность, размах, природная одаренность, неисчерпаемая энергия, острый ум, воинская доблесть...» Он хотел еще добавить «твор­ческая деятельность», но не рискнул.

– Хватит, Неймат, побойся бога, – сказала Аля. – Это уж прямо культ личности.

Муртуз был порядком пьян. Услышав эти слова, он вскочил.

Неймат тут много чего говорил, – сказал он. – Много красивых, сладких слов. Я, конечно, таких слов не знаю. Я не умею так красиво выражаться. Что делать, культуры не хватает, – он поглядел на Алю, и Аля ответила ему понимающим взглядом. Смысл этих многозначительных взоров состоял в том, что сказанное Муртузом следовало понимать наоборот: дай бог другим столько культуры, но мы не хвастаем и предоставляем судить вам самим. – Одним словом, спасибо за ласку. Меня тут хвалили, вероятно, больше, чем следует. – Это был тот же прием. – Да, я, как мог, служил народу. Когда мы проливали кровь, мы думали о вас, о молодых, о ваших нынешних светлых днях, чтобы вы вот так сидели за праздничным столом, ели, пили, ни в чем не нуждались. Но и ваш долг – чтить людей, проливавших за вас свою кровь. Каждый должен знать свое место! Иначе ничего путного не выйдет. А что касается культа личности, то была личность, и был ее культ. А сейчас ни личности, ни культа.

Гости поднялись из-за стола, Дадаш снова подошел к окну. Неймат встал рядом с ним.

– Вон новое здание академии, – сказал он. – Старого не видно. Вон мельница. Банк.

Потом кто-то предложил включить магнитофон.

Неймат нажал на клавишу.

«...Ну, скажите что-нибудь...»

И через несколько минут, после всех голосов:

«...Если я еще раз увижу...»

Гости попрощались и разошлись.

Он лег и тут же заснул. Уж очень устал сегодня. И перевол­новался.

Девочки тоже заснули. И тетя Бикя. И Сурея. Квартира оку­нулась в тишину. Не спали только большие стенные часы. Они продолжали свою бессонную работу, шаг за шагом одолевая тропу времени.

Среди ночи Неймата будто кто-то разбудил. Он открыл глаза. Почувствовал, что совершенно трезв. И что совершенно не хочет спать. По опыту человека, привыкшего к бессоннице, он понял, что уже не заснет.

Хотелось пить. Он встал, выпил воды. Снова лег. Хотелось ни о чем не думать... Повернулся к стене. Провел рукой по карте: Ахчатау, Сасыкгель, Ахчал...

Но мысли вернулись. Он разогнал их. Они опять вернулись и как будто выстроились для парада.

Сначала он подумал об отце. Мама говорила, что отца очень уважали в Самухе[[17]](#footnote-17) . Он строил дома, провел дорогу. Потом Неймат подумал, что Самух теперь на дне Мингечаурского моря. И дома, и дороги, все...

А как же люди, которые жили в Самухе? Для которых его отец так много сделал? Разошлись в разные стороны? Но, может быть, каждый из них унес с собой образ отца, как фотографию, подаренную на память? Может быть...

Потом он почему-то начал думать о панораме, открываю­щейся из его окна. Девичья башня. Новое здание академии. Банк. Мельница.

Потом зазвучали, цепляясь друг за друга, бог весть откуда взявшиеся рифмы: если забудется, если заблудится... Потом возникла магнитофонная запись: «Если я еще раз увижу...» Эта фраза застучала в голове, как пульс. Часы в другой комнате пробили три, и вдруг Неймат понял все.

Понял, что, как ни была красива панорама за его окном, он, Неймат, ненавидит ее. Ненавидит потому, что приговорен к ней. Пожизненно. Никогда это окно не сдвинется, как окно поезда. Ничего за ним не изменится. Прибили это окно к его жизни, как ковер, четырьмя гвоздями. Всю жизнь он будет взирать на вер­хушку Девичьей башни, новое здание академии, банк, мельницу.

Человек не может бросить жизнь, как женщину. Человек должен прожить жизнь до конца. До конца – до конца...

Неймат с ужасом подумал, что в его жизни больше никогда ничего не будет. Ни тревог, ни возникающего робкого чувства, ни ожиданий, ни надежд, ни обманов, ни звезд весенней ночи, вздрагивающих в окнах последнего трамвая.

Он должен донести свою жизнь до последнего выхода, как актер, играющий ежедневно одну и ту же роль, как паровоз, что тащит свой поезд по неизменному маршруту... До последней темноты, до той тишины, где замирает последний звук...

Он пленник самых честных правил. Правил, законов, запретов и норм. Он не может нарушить их.

Не может нарушить, не может разрушить. Ага, вот откуда эти рифмы: маршрутный автобус – бедняга, трудяга...

*Если забудется, если заблудится...*

*Сказанного не сотрешь.*

Кто это сказал сегодня? Не сегодня, вчера. Дадаш сказал. И Кармен что-то в этом роде сказала. И еще, помнится, в свое время тетушка Бикя...

Сказанного не сотрешь.

«...Ну, скажите что-нибудь...»

«...Значит, я хочу ска...»

Ни одно слово, ни один звук не изменится. Застыли.

«...Если я еще раз увижу...»

И никто не знает, что он сделает, если еще раз увидит.

Завтра они снова захотят послушать эту запись. Или после­завтра. Или через неделю. Снова и снова. Все то же. И сами, и соседи, и родственники, Муршуд, Мензер, Таира, Джабош, Аля, Муртуз.

Но завтра – это уже точно! Так и знай. Да и послезавтра. И послепослезавтра.

Каждый день тетушка Бикя будет повторять, что Алин магнитофон в два раза больше. Каждый день Кармен будет по­смеиваться, что Неймат купил «задрипанный магник». Каждый день Сурея будет на нее сердиться, и каждый день Неймат, угрожая кому-то: «Если я еще раз увижу...» – будет обрывать себя и умолкать до следующего раза.

И никто никогда не узнает, что будет, если Неймат еще раз увидит... Что будет? Ничего не будет.

Завтра, послезавтра, послепослезавтра. Пройдет месяц, пройдет год...

Ничто не изменится, господи! Ничто! Ничто...

Лег через двадцать – тридцать Неймат состарится и умрет. Но уже до самой смерти ничего не изменится. Жена. Дочери. Родственники. Сотрудники. Соседи. Те же разговоры, шутки, заботы, возня. Та же компания, те же гости...

То же окно. Тот же автобус. Та же запись... «Если я еще раз увижу...»

Не сотрешь... Все. Конец. Точка.

Точка? А может, запятая с точкой? Вернее, точка с запятой? Может, все-таки будет продолжение?..

«...Если я еще раз увижу...» Что увидишь, несчастный? Что ты видел? И что сделаешь, если увидишь? Ничего.

Сказанного не сотрешь. Так-то.

«Ну, хватит, спи, Неймат. Завтра с утра тебе на работу. Посчитай до ста – и заснешь. Или закрой глаза и представь, что идешь по дороге. Идешь, идешь... И вдруг поймешь, что уже спишь. Главное – это сон. Во сне исчезает время. Засыпаешь, и сон тебя переносит в утро. И все. Ладно, будем спать. Один, два, три, четыре, пять, шесть...

Тахмина! Почему Тахмина? Почему она? Откуда она взялась? Почему маячит перед глазами? Стройная, длинноногая. Волосы спадают на плечи как водопад. Зубы ровные-ровные – кукурузные зерна. Глаза... Какого цвета глаза у Тахмины? Черные, серые, карие? Какие же? Как получилось, что я до сих пор не разглядел? Действительно, странно. Ну ладно, спи, Неймат, завтра посмотришь... Нет, странно. Какие же они все- таки: черные, карие, серые? Вот втемяшилось! Как ты узнаешь это ночью? А любопытно, кто может это знать? Дадаш? Вот бы позвонить и спросить у Дадаша. – Неймату стало весело. – Позво­нить в три часа ночи, разбудить Дадаша, ради бога извините. Дадаш-муаллим, у меня к вам один вопрос – какого цвета глаза у Тахмины? Представляю себе его физиономию. Дадаш в ночной пижаме, разбуженный звонком, дает информацию редактор) художественного отдела Неймату Намазову о цвете глаз Тах­мины Алиевой. Ну и сцена! Многое можно дать за такую сценку А правда, что, если сейчас позвонить Дадашу?..

«...Ну что ты дурака валяешь? Разве ты осмелишься?»

«А почему бы и нет?»

«Да ну, полно!»

«Ей-богу, гак и подмывает. Встану и позвоню!»

«Позвонишь, как же! Спи-ка лучше...»

«Ага, миленький, я же говорил, что ты не из тех, кто поддается эмоциям. Ты живешь по законам и правилам. Вот и не дергайся. И все будет хорошо».

«Ах, так? Ну, посмотрим».

Неймат встал. Надел пижаму, шлепанцы, вышел в перед­нюю. Поднял трубку. В такой поздний час зуммер появился мгновенно. С неожиданной для себя легкостью Неймат набрал номер Дадаша. «Подожду пять гудков и, если не ответят, дам отбой». После четвертого гудка послышался голос:

– Алло!

Голос не был сонным. Был таким же, как всегда, спокойным и уверенным.

Неймат помолчал с минуту и выпалил:

– Это я, Неймат. – Путь к отступлению отрезан.

– Да, пожалуйста.

– Извините, Дадаш-муаллим, я разбудил вас.

– Нет, нет, я не спал, я работал.

Вдруг Неймат почувствовал себя беспомощным и жалким. Разбудить в три часа ночи спящего шефа, чтобы задать идиотс­кий вопрос, – это мальчишество, дерзость. Но отрывать человека ночью от работы да еще бравировать подобной глупостью – это же просто хамство. Стыдно. Срочно надо что-нибудь придумать...

– Дадаш-муаллим, я хочу вас кое-что спросить. – Он сказал то, чтобы выиграть время.

– Пожалуйста.

«Ага, эврика!»

– Дадаш-муаллим, я, как бы поточнее выразиться, ну, мнительный, что ли... Не могу заснуть. До утра буду вертеться. Успокойте меня. Вы не сердитесь на этот «пир столбом»? Муршуд был развязен... Муртуз Балаевич груб... Я думаю, может, вы...

Дадаш прервал его:

– Нет, нет, что ты, Неймат! Не морочь себе голову. Все было отлично. На что сердиться! Люди как люди. У каждого свое. Если б все были одинаковы, жизнь стала бы пресной. Успокойся, пожалуйста, и иди спать. Спокойной ночи! – И, не дождавшись ответа, он положил трубку.

«Вот и все, Неймат-муаллим. Вот и весь твой мятеж. Вот твой вызов. Получился не вызов, а зов на помощь. Не мятеж, а бунт на коленях. Иди спать, мой мальчик. Ты же слышал, Дадаш-муаллим разрешает. Спокойной ночи».

Неймат вошел в комнату, нащупал в темноте пиджак, выудил из кармана сигарету, жадно закурил и вернулся в перед­нюю. Поднял трубку, набрал номер.

– Слушаю. – Голос был все так же спокоен и серьезен.

– Это я, Неймат.

– Слушаю.

– Дадаш-муаллим, я хочу спросить у вас одну вещь: какого цвета глаза у Тахмины? – на одном дыхании выпалил он.

Трубка замолчала. «Ага, муаллим, кажется, и у тебя слова поперек горла встали. Проглоти-ка. И ответь. Своим внушитель­ным, спокойным, серьезным голосом в половине четвертого утра ответь, какие у Тахмины глаза».

– Неймат, – голос был спокоен, как прежде, – ты, кажется, втихомолку нахлестался после нашего ухода?

Неймат понял причину невозмутимости Дадаша. Подобная ситуация вовсе не была скандальной! У него раздавались такие звоночки среди ночи, что странный вопрос Неймата показался невинной шалостью! Ну, выпил человек! Мамед Насир и не к тому его приучил...

– Иди спать, Неймат, – сказал Дадаш серьезно и холодно. – Уже поздно. Хорошенько умойся и ложись.

– Дадаш-муаллим, если вы думаете, что я пьян, то вы глубоко заблуждаетесь. Если вы считаете меня начинающим Мамедом Насиром, тем более. Я совершенно трезв. И вечером я выпил немного и после вас не пил. Просто мне необходимо узнать, какие глаза у Тахмины.

– На что ты намекаешь? – спросил Дадаш резко и жестко.

– Ни на что. Я просто хочу узнать цвет глаз Тахмины.

– Почему ты спрашиваешь об этом меня? – Голос стал нервным и неприязненным.

«Ага, наконец ты выходишь из себя. Твое сверхдостоинство поколеблено. Если ты мужчина, ответь мне по-настоящему! А я так тебе выдам, что ты до смерти не забудешь. Плевал я на твой договор, на твой аванс. Не такого отца я сын. Слишком много чести. Ну скажи же, скажи что-нибудь!..»

Дадаш молчал. И вдруг засмеялся. Весело хохотал. Может быть, чувство юмора в нем победило или он просто взял себя в руки, подавил злость и растерянность и решил обратить в шутку тот дикий, идиотский разговор.

– Знаешь, голубчик, – сказал он, – позвони Тахмине и спроси у нее самой. Чего проще?

«Этот человек как мокрый обмылок. Его невозможно схватить. Выскальзывает из рук».

– Я не знаю ее номера.

Дадаш по-прежнему спокойно и серьезно продиктовал ему телефон Тахмины.

– Большое спасибо. Извините, что побеспокоил.

– Пустяки. – И после минутной паузы Дадаш добавил: – Я поздно ложусь. Если тебе понадобится узнать что-нибудь о цвете глаз или форме носа еще кого-нибудь из сотрудников, не стесняйся, звони. До свидания.

Оба положили трубки одновременно. «Один – ноль в пользу Дадаша», – сказал себе Неймат.

Телефон Тахмины долго не отвечал. Неймат слушал длин­ные басовитые гудки, понимал, что Тахмина спит, но отбоя не давал. «Не дам, даже если придется ждать до утра».

– Алло, – голос Тахмины был сонным и глухим, как в тумане.

– Здравствуй, Тахмина, это Неймат.

– Кто? Неймат? А... Что случилось?

– Ничего страшного, не тревожься. Я тебя разбудил, да?

– Ну, во всяком случае, в это время большая часть прогрессивного человечества спит. А ты почему не спишь, Неймат? Ты не пьян?..

– Любопытно, почему всем приходит в голову одно и то же: пьян…

– Кому это всем? Ты и до меня многим звонил?

– Нет. Я звонил только Дадашу. Я спросил, какого цвета у тебя глаза. Он не ответил, но дал твой номер телефона. Говорит: позвони и узнай у нее самой.

Тахмина засмеялась.

– Ты откуда говоришь?

– Из дома.

– Твои спят?

– Да, все спят. Весь город. Только ты не спишь да я. И еще Дадаш. Он работает.

– Вот видишь, настоящий труженик должен быть таким, как Дадаш.

– Тахмина, ты знаешь, что сказал Физули?

– А что он сказал?

– Он сказал:

*О Физули, надежды нет, что кончится разлуки ночь,*

*Хоть, утешая, говорят, что нет, не запоздает утро.*

Поняла?

– Пожалуй.

– Я не променяю одно это «говорят» на всю мировую поэзию. Понимаешь, «говорят»! Сам он не убежден. «Говорят», еще одно утро будет! Последнее утешение...

– Дорогой мой, если ты думаешь, что половина четвертого ночи – наиболее подходящее время для разбора газелей Физули...

– Подожди, Тахмина. Ради бога. Не смейся. Я хочу погово­рить с тобой. Серьезно поговорить. Начистоту.

– Неймат, заклинаю! Если и ты скажешь, что с первого взгляда влюблен в меня, мне придется бежать отсюда.

– Нет, что ты, будь спокойна, все что угодно, только не признание в любви.

– И на том спасибо.

– Да ты послушай! Я хочу посоветоваться. Я понял сегодня, что не смогу больше жить так, как жил до сих пор.

– А как ты жил до сих пор?

– Не знаю, Тахмина, как назвать мою прежнюю жизнь. Застой, инерция, болото, обывательщина.

– Скажи на милость!

– Не смейся. Так жить дальше невозможно. Служба, квартира, семья, получка, гонорар, мебель, телевизор, магнитофон... Я задыхаюсь, Тахмина...

– Неймат, дорогой, и гонорар, и телевизор, и магнитофон совсем неплохие вещи. Если, конечно, они для тебя, а не ты для них.

– Это так. Вот я смотрел нынче из окна своей квартиры. Вид замечательный! Весь город виден. Верхушка Девичьей башни, новое здание академии. Но я подумал, что приговорен к этому окну. Приговорен пожизненно. Никогда это проклятое окно не сдвинется, вид в нем не изменится, как меняется в окне поезда. Это окно прибито к моей жизни, как ковер, четырьмя гвоздями. Десять лет я вижу из этого окна верхушку Девичьей башни, новое здание академии, банк, мельницу. И всю жизнь буду видеть только это. Ко...

– Погоди, угомонись. Переведи дух. Ну и речь! Точно монолог провинциального актера.

– Ну, если ты хочешь поиздеваться надо мной...

– И не думаю. А ты сразу в бутылку! Скажите, какой обидчивый! Ты же кругом не прав. Окно поезда, то-се, все это ужасно красиво, но это липа.

– Да почему же липа?

– Почему? Сейчас скажу. Вот ты говоришь, что десять лет видишь из окна новое здание академии. Ерунда! Не десять, а даже три года назад это здание еще не было построено. Ты говоришь, что до конца жизни будешь видеть эту картину. И это фраза. Потому что через год-другой будет готово новое здание цирка, увидишь и его. Еще что-нибудь построят. Мало ли что. Окно твое, конечно, не сдвинется, но вид... Все зависит от того, как смотреть. Вот вчера передавали по радио сказку, притчу, что ли. Мне она как-то запомнилась, запала в душу. Жили-были вместе с людьми окна, двери и зеркала. Некоторые люди отказались от окон и дверей и заменили их зеркалами: куда ни глядят: всюду видят себя. Другие так полюбили окна, что день ночь смотрят, что происходит за окном. А третьи предпочли двери. Входят, выходят, живут. Я тоже сторонница дверей. – Немного помолчав, она рассмеялась и добавила: – Конечно, это не значит, что я не ношу в сумке зеркальца...

По улице проехала машина. Ночное молчание разомкнулось и сомкнулось снова.

– Ты знаешь, Тахмина, все, что ты сейчас сказала, наверное, правильно. Но беда в том, что мне нужен конкретный ответ. Я не знаю, что для меня значит – выйти в дверь. В какую именно дверь? Куда выйти? Что мне надо сделать, чтобы почувствовать себя живым? Магнитофон куплен. Что на очереди? Машина? Кооперативная квартира? Почетный мир и равенство с Муртузом Балаевичем? Фавор у Дадаша? Заискивания Муршуда?

– А кто же это такие – Муршуд, Муртуз Балаевич?

– Ты их не знаешь? Считай, что тебе повезло. Это мое общество, мой круг, моя родня даже.

– Что, скверные люди?

– А черт их знает! Скверные, хорошие... Разве можно узнать, кто плохой, а кто хороший?

– Господи, Неймат! Да я сама вчера слово в слово говорила это одному человеку. Но нет, ей-богу, это не так. Все-таки хоро­ший человек – это хороший человек.

– Скажи тогда: я плохой человек или хороший?

– Я тебя так мало знаю, Неймат...

– Спасибо, Тахмина. Спасибо за такой ответ. Если бы ты сказала, что хороший, я бы все равно не поверил. Но ты не соврала. Чтобы сказать, каков человек, надо его знать. А я, Тахмина, ничего не знаю. Ничего. И ни о ком.

И вдруг она спросила:

– Неймат, а сколько у тебя детей?

– Одна дочка. – Первый раз в жизни он ответил так на этот вопрос.

– Одна?

– Одна, – решительно повторил он. – Дочка. Наргиз... – И, помолчав, добавил: – Две старшие девочки – дети моей жены от первого брака.

– Дай бог здоровья всем трем.

– Вчера моя маленькая написала письмо Дедушке Петуху. Задание было такое: назвать всех знакомых птиц. А откуда ей, бедному городскому ребенку, знать всех птиц. Ну, сидели мы целый вечер, читали про птиц, и вот сегодня с утра она не отходила от приемника, ждала, когда Дедушка Петух назовет ее имя. Доченька, говорю, ты письмо написала только вчера, его еще не прочли... Какое там! Прослушала передачу от начала до конца, ее не назвали, смотрю, надула губы, глаза на мокром месте. Доченька, говорю, не плачь, на той неделе непременно скажут и про тебя. А сам боюсь: вдруг не скажут?

Тахмина слушала молча. Неймату показалось, что она заснула.

– Тахмина... – сказал он.

– Да... – голос ее точно вернулся из другого, далекого мира. – Эх, Неймат, имеешь такую дочку и ищешь смысла жизни!..

– Знаешь, я и сам об этом думал. Может, они будут счастливей нас, может, наша цель – быть мостом? А? Молчишь? Наверное, я ужасно тебя утомил? Хочешь спать?

– Нет.

– Ты знаешь, я так тебе благодарен. У меня было так тяжело на сердце. Вот поговорили – и стало легче. Я вчера магнитофон купил. Записали голоса. И как начали прокручивать! Пять раз, десять, сто. Те же слова, фразы, смех. Это было похоже на бред, на кошмар. И знаешь, мне померещилось, что это и есть моя жизнь. Неизменная, остановившаяся. Застывшая на веки вечные. И теперь я места себе не нахожу, ведь завтра снова начнут. Прямо хоть беги куда глаза глядят.

– Зачем бежать? Лучше сотри запись.

– Стереть?

– Ну да! Тебе это в голову не приходило?

– Поверишь ли, нет! Сказанного не сотрешь... – Оба засмея­лись.

– Нет, дорогой мой, магнитофонную запись стереть можно в два счета! Какой марки у тебя магнитофон?

– «Яуза».

– И у меня тоже. Нажми четвертую клавишу, и все...

– Спасибо тебе, огромное спасибо. Значит, четвертая клави­ша?

– И тебе спасибо, – она зевнула. – Пока.

– Подожди, подожди. Ведь мы главное забыли.

– А что?

– Цвет твоих глаз.

Она засмеялась.

– Ну, у меня глаза такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это надо видеть. Завтра на работе посмотришь.

– Не завтра, сегодня... Слышишь, уже трамваи пошли...

– На нашей улице нет трамваев. Ой, Господи, – она опять зевнула, – правда, уже утро. Светает. А Физули-то верно говорил: не запоздает утро. Пойду сосну часочек, а то вы меня испугаетесь.

– Да брось ты! Хочешь, чтоб я тебе комплимент сделал?

– Ага, Очень хочу. С какой стати мне отказываться от комплимента? Да еще под утро...

– Ну, скажу... Ты такая красивая, прекрасная! И хорошая. Ну вот. Теперь и ты на прощанье скажи что-нибудь такое, чтоб я увидел хороший сон.

– Давай я расскажу тебе мой сон, и ты его тоже увидишь. Я даю его тебе напрокат на одну ночь, хорошо?

– Давай.

– Я часто вижу этот сон. Один и тот же. Когда ты позвонил, я тоже его видела. Снится мне, что я на берегу моря. Ясный, светлый день. Берег совершенно пустой. Я одна. Одна-одинешенька. Море голубое-голубое. И далеко, очень далеко, на самой линии горизонта, виднеется белая гавань. И в этой гавани стоят красные-красные корабли! Вот все!

– Чудный сон. Спасибо. Спокойной ночи. То есть доброго утра. Прости меня.

– До свидания. Четвертая клавиша, не забывай.

Он положил трубку. Закурил. Немного посидел у телефона, потом уловил какой-то шепоток и вошел в комнату. В слабом свете раннего утра черты маленькой Наргиз казались еще более чистыми. Это был ее шепот. Наргиз говорила во сне: турач, голубь, куропатка... Неймат немного постоял у ее изголовья. Допытался представить себе ее сон. Огромное небо, зеленые ветки, летящие птицы. И снова: курица, петух, голубь, ласточ­ка...

Неймат быстро прошел в другую комнату. Подошел к магнитофону. Четвертая клавиша. И все. Ничего не останется: ни того, что Алин магнитофон в два раза больше, ни путаных фраз Суреи, ни словечек Кармен.

Ни «Если я еще раз увижу...».

«Все спят. Если хочешь стереть, то стирай сейчас. А то не дадут. И я не смогу им объяснить. Если я не мог себе это объяс­нить как следует, то как объясню им?»

Он включил магнитофон. Дал ему прогреться. Нажал на четвертую клавишу.

– Вот и все, – сказал он. – Ничего мудреного, оказывается.

Перекрутил ленту и начал прослушивать. Прослушал тишину. Насладился. Так наслаждается кондуктор бойкого трамвайного маршрута в прохладе безлюдного рейса ночью, после долгого летнего дня.

– И все, – повторил он. – Конец. Точка.

По улице прогромыхал трамвай. Донёсся далекий свисток идущего со стороны острова Нарген парохода.

Неймат выключил магнитофон и вернулся к себе. Разделся, лег. Заснул. И увидел сон.

Он увидел себя на берегу огромного моря. Берег совершен­но пуст. Море расстилается далеко-далеко.

Берег желтый-желтый. Песчаный.

Море голубое-голубое. Спокойное.

Но вдруг он разглядел, что далеко-далеко в море виднеется что-то белое – белая гавань.

Белая... Белая...

Белая-белая.

И в этой белой гавани – красные корабли.

Красные... Красные...

Красные-красные.

**1965 г. Кисловодск**

**Авторизованный перевод Владимира Портнова**

## ШЕСТОЙ ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА

## *Роман*

Внезапно наступила тишина, и хотя он так и не проснул­ся, но и сквозь неплотную завесу сна ощутил удивле­ние, что вместе с далеким невнятным говором – чужим, много­язычным, непонятным, вместе с приглушенными и все-таки явственными звуками саксофона, рояля, ударных, доносившихся откуда-то снизу, вместе с бесшумным, но угадываемым движе­нием лифта, вместе со всеми слышными и предполагаемыми шумами большого отеля умолк и гул океана, словно поздний час и негласные законы времени, более или менее одинаковые во всем мире, отключили – на равных правах с людьми, машинами и инструментами – также и океан.

«Или, может быть, просто», – подумал он, выбираясь из липкого и вязкого, как здешний воздух, полусонного состояния к яви, Фирангиз закрыла окно, и непроницаемая звукоизоляция, неотделимая от современного комфорта, исключила для его полубодрствующего-полуспящего слуха все звуки, шумы, голоса и шорохи заоконного мира.

Так и есть – вслед за физически ощутимой гулкой тишиной наступил и успокоительный мрак. Фирангиз выключила свет в ванной, а затем и ночник в комнате, и он сквозь закрытые веки ощутил не только наступление полной темноты, но даже посте­пенные этапы его – через полусвет-полумрак. Сперва исчезла полоса света из открытой двери ванной – свет очерчивал квадрат в левой половине комнаты; а потом – круглый и яркий на тум­бочке и мягко растворявшийся по всей комнате, подобно еле уловимому запаху, – свет ночника.

И тогда он медленно и с усилием раскрыл глаза и в непроглядной тьме на миг перестал понимать, где он и что с ним. Но только на миг. В следующее мгновение, еще не различая ни единого предмета, он уже знал, что эта комната – номер в отеле и ночь в окне завершает длинный дневной цикл, из которого он выпал в недолгий, но тяжелый сон. Впрочем, о каком дневном цикле могла идти речь, когда одиннадцатичасовой перелет из Москвы в Африку – над Европой, Средиземным морем, Сахарой – смешал все понятия о времени и прибавил к их жизни три дополнительных часа. Если учесть еще тот час, те 60 минут, которые они приобрели три дня назад, прилетев из Баку в Москву, то у них в запасе было целых четыре часа – как подарок или, если угодно, довесок к их жизни. Подарок, который, увы, придется вернуть – правда, сперва частично – в Москве, а затем и полностью – в Баку.

И все перемещения и впечатления трех последних дней показались ему и реальными, просто и элементарно объяснимы­ми, и нереальными – невероятными одновременно. Нереальны­ми казались ему вот эти самые москитные сетки над кроватью – до сих пор ему о них приходилось лишь читать в книгах. Нереальным и ни на что не похожим был этот запах – запах Африки, как они с женой окрестили его – вкусо-запах. Здесь им было пропитано буквально все: они чувствовали его и в идеально чистом номере, в белоснежной ванной и в уютном лифте, в просторном холле и на террасе, в автобусе, на берегу океана; и они ощущали его привкус, что бы ни ели на завтрак, обед или ужин. Был ли это запах экзотического растительного масла, арахиса, маниоки или каких-то даров океана – рыб, моллюсков, водорослей, морской капусты, салата? Исходил ли он от казавшихся им декоративными, а на самом деле вполне обычных деревьев, кустов, трав? Но он был всеобъемлющим, растворенным в воздухе, который, впрочем, казался таким плотным, что вряд ли в нем могло хоть что-нибудь растворить­ся...

Невероятным было ощущение преодоленного пространства и не только как расстояния. Разум понимал и объяснял все, но какая-то – биологическая, что ли, логика кожи не могла смириться с ощущением таких перемен в столь короткий срок. Окна автобуса, три дня назад, ранним мартовским утром, увозящего их от площади Свердлова в Шереметьево, были облеплены снегом и инеем. И всего через одиннадцать часов, выйдя из самолета в Дакарском аэропорту, они спустя две минуты изнемогали от жары.

Невероятными были впечатления этих трех дней. И то первое ощущение на аэродроме, когда они увидели людей – служащих авиакомпаний и пассажиров, которые вели себя гак же и держались так же, как все работники воздушных линий и все пассажиры на земле, но были иссиня-черными. Негры Сенегала – самые черные в Африке, объяснили им позже, но им не нужны были объяснения, они все понимали. Понимали, что попали в африканскую страну и что жители этой страны, естественно, африканцы... И все-таки ощущение нереальности и невероятности не исчезало.

Порой вводил в заблуждение пейзаж. Особенно в сумерки он казался таким знакомым, таким апшеронским – и прибрежный песок, и скалы, и стрекот кузнечиков, и волны, плещущие о берег, и дорога, петляющая среди невысоких кустарников! Все узнаваемо – и вдруг навстречу идет женщина в длинном африканском одеянии, с огромным тюрбаном на голове, из-под которого торчат заплетенные в маленькие косички жесткие, короткие курчавые волосы. За спиной у нее привязан ребенок. Необычное на фоне более или менее узнаваемого становится совсем странным...

И еще было поразительно, когда, получив ключи с огромной деревянной грушей (дабы по рассеянности не унесли их в кармане), они вошли в свою комнату, открыли окно и глянули вниз: там яркими разноцветными пятнами лепились к земле красные, желтые, темно-синие тенты, столики и шезлонги, дальше шли белые ступени, затем пески, затем... Атлантический океан. Они вышли побродить по парку, – хотелось сказать – по джунглям, хотя никакими это джунглями не было: прямо к отелю подступал лес, который превратили в аккуратный парк, сохра­нив, однако, в нем необходимую долю жутковатой экзотики, которая так привлекает туристов, слегка щекоча нервы и не грозя ничем опасным. Есть своеобразная пикантность в том, что ожидаешь нападения неведомого хищника в тщательно декорированных зарослях, имея твердую гарантию приятного и безопасного времяпрепровождения. А вот и бунгало-коттеджи, стилизованные под африканскую деревню, но с кондиционе­рами, телевизорами, барами и голосом Элвиса Пресли.

Побережье у отеля производило странное впечатление: в темноте оно издали напоминало солдатское кладбище – на равном расстоянии друг от друга торчали кресты. Кто же здесь похоронен? Неужели те, кто погиб в океане, утонул? Но это были участки пляжа, закрепленные за номерами отеля, кресты обозначали их границы, что казалось совсем уж непристойным здесь, в таком близком соседстве с ничейной бескрайностью и свободой океана.

«Мама все же молодец, – подумал Заур, растянувшись под москитной сеткой на семнадцатом этаже гостиницы «Нгор». – Настояла, чтобы мы поехали. Потом пойдут дети, и будет не до путешествий».

Он почувствовал легкий укол при воспоминании об этих словах матери, но, конечно же, мать была права: такое путешест­вие бывает раз в жизни, и оно никогда не забудется. А ведь Зауру, откровенно говоря, не то чтобы не хотелось ехать, но и особого желания не было. Он не противился путешествию, однако и не стремился, к нему, испытывая ко всей этой затее лишь равнодушие, как, впрочем, и ко всему остальному в последнее время. «Но, – рассуждал он намеренно цинично, – ведь за что же, если не за такие вот удовольствия, я заплатил, круто изменив течение своей жизни в один ноябрьский вечер, и почему бы не воспользоваться всем тем приятным, что дает мне жизнь, если даже я и не могу забыть, чего мне все это стоило».

Горький опыт последнего времени научил его остерегаться опасной границы, к которой он минуту назад в своих размышле­ниях подступил, и он знал, как быстро и наверняка уйти от нее туда, где ждало его ставшее уже привычным существование без боли, тревог, потрясений, без неожиданных перемен настроения, без необоснованных надежд и разочарований.

– Фирок, ты спишь? – спросил он, уверенный, что ответа не последует. Он точно знал, когда она спит – по ее спокойному, мерному дыханию. «Фирангиз никогда не храпит», – было одним из первых счастливых открытий их медового месяца. Да и трудно было представить ее храпящей. Такая прозрачность была во всем ее облике, что нельзя было и вообразить, будто из этого тонкого и хрупкого сосуда могут исходить грубые, немузыкаль­ные звуки. И в самом деле, она никогда не храпела, не сопела, и в минуты, когда на него находил циничный юмор, он думал, что она вообще не отправляет никаких естественных надобностей. «Бережность» – вот, пожалуй, самое точное определение его отношения к этой девушке, которая уже несколько месяцев была его женой, которую он сделал женщиной, но о которой он по-прежнему думал как о ребенке. Ведь помимо всего прочего она была моложе его почти на шесть лет. И ее смущение, когда при посторонних кто-нибудь шутливо подчеркивал ее немногослов­ность, и краска, которая при этом так естественно заливала гладкую кожу ее красивого овального лица, – все то, что не так давно раздражало Заура, да и сейчас раздражает, когда он воспринимает Фирангиз вкупе с ее семьей – родителями, братом, и что про себя, да и не только про себя, но и в неоднократных упрямых и трудных разговорах с собственной матерью он определял как ханжество, ощущалось совсем иначе, когда он воспринимал Фирангиз отдельно от всей ее и своей родни, от всего предшествующего их супружеству, когда она была далека от этого не только духовно, но и физически, вот как сейчас, например, на другом конце света, в десятках тысячах километров от их общего двора, в котором они соседями прожили много лет. Временами в его чувстве к Фирангиз, если это можно было назвать чувством, проявлялось нечто большее, чем бережность; что-то близкое к нежности с долей жалости – жалости к ее невинности в сочетании с его собственной неспособностью стать другим: стать другим не внешне, не в обращении с ней, – это он уже освоил, – а внутренней своей сущностью.

Он пытался представить себе свою предстоящую жизнь только в радужных красках, но, странно, никакого удовлетво­рения от этого не испытал. Тогда он решил взглянуть на свою жизнь глазами других людей и удивился тому, сколько поводов для зависти может дать его судьба. Хорошая семья, молодая жена-красавица, квартира, машина, спокойная работа, деньги, путешествия, – он перечислил все по самому элементарному реестру, на уровне тех, кто действительно мог бы ему зави­довать, и подумал о том, что ведь и в самом деле все это для множества людей – предел мечтаний. Если и не окончательный предел (ведь нет пределов для мечтаний), то, по крайней мере, почти недостижимый во всем перечисленном сразу. «А вот у Заура все это есть. Счастливчик!» Все-таки хорошо быть счаст­ливчиком, хотя бы на чужой взгляд.

Он не знал, о чем еще подумать и надо ли думать вообще или можно как-то иначе заполнить ту пугающую пустоту ноч­ного безвременья, когда не встанешь и не заснешь. Его спасло чувство юмора: он решил подумать о своей диссертационной теме, тут уж, наверное, через пять минут его одолеет сон. Он так и сделал, не отвлекаясь ни на какие сопутствующие моменты – обстановку защиты, речи, поздравления, цветы, банкет, подумал только о самой работе, ее структуре, материале, выводах и прочее. И в самом деле заснул.

\* \* \*

Он ощутил запах и, не просыпаясь, понял, что чувствует его во сне. И во сне же узнал его – неповторимый, единственный в мире запах, необычный, как запах Африки. Но это не было запахом Африки. Все еще не просыпаясь, он подумал о том, ка­ким образом этот запах оказался здесь, в Дакаре, в его номере на семнадцатом этаже. Жуткое оцепенение сна и невозможность проснуться сковывали его, и он знал, чего боялся. Он знал, чей это запах и чему он предшествует. Он спал, но ничего не видел и ничего не ощущал во сне, кроме этого запаха – неповторимого сочетания французских духов, – запаха Тахмины.

Тахмины...

«Можно достать любые духи, даже самые изысканные французские. Но если они существуют, продаются, значит, еще кто-то может их купить и надушиться. А я не хочу, чтобы меня с кем-то спутали. Вот я и мешаю разные духи, в разных пропор­циях, и секрет смеси знаю только я».

И во сне без сновидений, как перед потухшим экраном, он с тревогой ожидал, что вот сейчас экран вспыхнет и появится она сама; что ей стоило переброситься через моря и океаны, если едва уловимый и такой эфемерный запах ее настиг Заура здесь, на другом конце света. И с бестолковой, но по-своему несокру­шимой логикой сна он подумал, как же ей удалось очутиться здесь, каким рейсом она прилетела, если самолет из Москвы будет только через четыре дня, потому что рейс Москва – Дакар раз в неделю? Обо всем этом он вспомнил во сне и во сне же стал лихорадочно искать возможность спасения; это сон, думал он, и надо мне проснуться, думал он, протянуть руку к ночнику и зажечь свет, думал он, и протягивал руку, и нажимал выключа­тель, но свет не зажигался, и он понимал, что не проснулся и не протянул руки, что все это происходит во сне, в котором вот-вот должна появиться она, и тогда он увидит ее впервые после того самого дня, который не был сном, а был прожит в действительности, но после которого он не видел ее, нет, видел однажды по телевизору и несколько раз во сне, но уже три месяца она ему не снилась ни в Баку, ни в Москве. А теперь вот, здравствуйте, пожалуйста, появилась здесь, в Западной Африке, в городе Дакаре, столице республики Сенегал, обретшей независимость в 1960 году, основная статья экспорта арахис, три миллиона насе­ления, с преобладанием... А как ей удалось так быстро оформить загранпоездку, и медсправку получить, и характеристику с тремя подписями, заверенную в райкоме после вдумчивой и строгой беседы с советом ветеранов, и визу так молниеносно приоб­рести, и приехать сюда за ним, нет – за ними, чтобы снова начать все то, что кончилось, кончилось бесповоротно и навсегда? Но ведь это сон, думал он, и ничего страшного, успокаивал он себя, хотя и знал, что это самое страшное – ее ласки, и нежность, и невысказанные упреки, и ресницы, которые она поднимает, как тяжелую страницу старинной книги, ресницы, от которых тень в пол-лица и о которых он когда-то – под градусом – сказал: «Когда ты поднимаешь ресницы – это целая эпоха в истории человечест­ва».

И теперь, во сне, лишенный воли и железных доводов единственно верного мужского поведения, он вновь окажется во власти темной игры ее желаний, которые были и его желаниями до того, как он безжалостно и навсегда отсек их от себя. Но у сна своя реальность и свои законы, вернее, своя свобода от всех законов, а он сейчас готов был к чему угодно, только не к свободе.

Ему надо проснуться, непременно проснуться. Он сделал неимоверное усилие и, как ему показалось, раскрыл глаза, но это тоже был сон, и, когда понял это, он сделал еще одно усилие и наконец-то проснулся в самом деле. Миг, всего миг после действительного пробуждения он ощущал в этом пропитанном действительно африканским вкусо-запахом номере тот самый аромат Тахмины, и его наполнили восторг и умиление, хотя во сне их не было. И он понял, что ему надо сейчас же встать и одеться и тогда лишь он избавится от наваждения.

Когда он в темноте искал туфли, шаря под кроватью, проснулась Фирангиз. Он почувствовал это по изменившемуся ритму ее дыхания.

– Что-то не спится мне, – сказал Заур. – Хочу немного прой­тись.

Она молча кивнула, зная, что в темноте он не увидит ее кив­ка, и, тем не менее, не решаясь выразить свое одобрение вслух. «С тем же успехом я мог бы сказать, что хочу пойти и утопиться в океане, – подумал Заур. – Реакция была бы та же». Иногда он сомневался, есть ли у нее голос. Когда посторонние говорили, что не слышали ее голоса, Зауру надо было сосредоточиться, чтобы вспомнить, когда же он сам слышал его в последний раз.

Заур наспех сунул в карманы две маленькие коньячные бутылки марки «Гёй-Гёль» – бакинские сувениры. Он знал, что его повезет вниз услужливый лифтер и что бой бросится открывать ему дверь, и не хотелось расплачиваться столь дефи­цитной в этом вояже иностранной валютой, а отблагодарить за абсолютно ненужные услуги надо. Он увидел открытую дверь грузового лифта, улыбнулся лифтеру и вошел. Лифт был набит остатками дневной жизни отеля – батареей пустых бутылок, грудой скомканных пакетов, грязной посудой, использованными салфетками, и запасами следующего дня – ящиками пива, фрук­тами и почему-то рулонами бумаги. Когда опустились в холл, Заур отдал одну из бутылочек лифтеру и услышал взрыв непо­нятных, но ясных по смыслу слов благодарности. Боя не было, и второй флакончик остался у Заура в кармане.

Он вышел к совершенно безлюдной в этот час набережной океана и подумал, что и море и океан с берега кажутся одинаково безграничными, но знание, что это океан, а не море, создает особое ощущение беспредельного пространства.

Океан, освещенный огнями отеля и пляжа, уходил в изначальный мрак, в котором расстояния были и абстракцией и реальным измерением водной массы с ее бесчисленными живыми и мертвыми добавлениями, и там, в необозримой дали, был все же его предел – берега Америки.

«Когда-нибудь поеду и в Америку, может быть даже с Фирангиз», – подумал Заур с удовольствием и внезапно осознал, какая все это чепуха и бред собачий – и его желание поехать в Америку, и то, что он сейчас здесь, в Африке, на берегу океана, в поисках забвения. Ведь ни один самолет, ни один пароход, ничто на свете не может увезти человека от него самого, от его прошлого, и выражение «искать счастья» никоим образом не означает поисков этого самого счастья где-то в пространстве. Счастье или несчастье в тебе самом, и ты можешь возить их с собой, как багаж, куда угодно, хоть на край света, но от этого их не убудет и не прибудет.

И, притронувшись ладонью к холодному прибрежному песку, к валуну, он сознательно вызвал ощущение – через кончики пальцев, через кожу рук, через плечи, грудь и все свое тело – то самое ощущение – ощущение счастья, подлинного счастья, которое он испытал много месяцев назад на таком же песчаном берегу. Не океана – моря...

**2**

Тот долгий берег тянулся и тянулся, петляя по линии прибоя, ощерившихся скал, гладкого пляжа, то вбирая море в небольшие лагуны, то выступая в море крошечными мысами, робко пытающимися отстоять свою зыбкую песчаную независимость от волн – порой ленивых, порой беснующихся от ветра, готового часами гладить и перебирать золотые песчинки на узкой кромке, чтобы в один миг рассеять и разнести их по всему свету. Этот долгий берег – от маяка в Пиршагах до трубы ГРЭС в Мардакянах, тянущийся мимо прибрежных поселков – Бузовны Загульба, Бильгя – и уходящий все дальше – через Нардаран, Сараи, Джорат к Сумгаиту – и дальше на север; берег, с его восходом на дальнем морском горизонте и исполинским закатом на Загульбинских высотах, казался Зауру самым неповторимым и прекрасным уголком земли. Он пытался определить, что отличает эти места от всего остального Каспийского побережья. Может быть, своеобразие заката: солнце, пройдя за день над всей обозримой гладью моря, садилось к вечеру за холмами и, прежде чем окончательно уйти в ночь, еще долго окрашивало – само уже невидимое – весь этот берег; и море покрывалось ржавыми пятнами, соприкасающими­ся на неверно дрожащей воде с длинными тенями причудливых скал, и дома с горящими в закатный час окнами выглядели печальней и меньше. Покой и умиротворение воцарялись на берегу в эти часы, в последние минуты перед ночной жизнью моря; редкие купальщики, две-три поздние машины у скал, мужчина, выжимающий плавки, воровато озираясь – нет ли кого, кто видит его? И машина, бесшумно скользящая по пляжу в сгустившихся сумерках. И голоса последних купальщиков, уже невидимых в наступившей темноте, их невнятный веселый говор и девичий смех. И свет задних фар удалившейся машины, две красные ленты, тянущиеся за ее задними колесами по влажному песку...

\* \* \*

Ветер, внезапно налетевший с моря, сорвал тенты, опроки­нул указатель запретной для купания зоны, засыпал песком скамейки на берегу. Вой ветра заглушил скрежет жестяных раздевалок, скрип дверей павильона, где продавали воду и пиво. Волны вбежали далеко на пляж.

Ветер у моря звучал иначе, чем в городе, иначе, чем в лесу, чем в поле. В городе он играл на трубах, железных кровлях, ставнях, дверях, гудел в проводах, шуршал обрывками газет и афиш, пустыми папиросными и спичечными коробками. В лесу он шумел листвой деревьев, скрипел ветвями, готовыми вот-вот обломиться, но упорно держащимися. В поле чистом он был без инструментов и выл себе, пел, пел без аккомпанемента. Разные моря звучат по-разному. Каспий на этом берегу скулил в ветреные ночи тоскливо и протяжно.

И однажды, так же внезапно, ветер утих. Море вернулось к себе, успокоились пески, в зыбком колебании притихли тенты, замолчали двери, окна, жестяные стены раздевалок.

И была уже осень. Лишь мусор на пляже – арбузные корки, пустые бутылки, ящики из-под пива, клочки лопнувшего волейбольного мяча, брошенная в стороне волейбольная сетка – косноязычно напоминал о прошедшем летнем сезоне, шумном и веселом.

Опустели дачи, и дома стояли с заколоченными окнами и дверьми. Где-то далеко-далеко, гулко и ритмично отбивая дробь, стучали колеса быстро мчащейся электрички, и ее протяжный гудок долго, медленно, как белый дым высокой трубы, растекал­ся над побережьем, над приглаженными легким ветерком песками.

На самом краю пустынного берега рыбаки спускали в море лодку, крестьянки – жительницы прибрежных поселков – стирали у линии прибоя красивые пестрые ковры, натирая их гилабы[[18]](#footnote-18) и мылом, а затем смывая пену голыми ногами. Голые ноги топтали в каменных чашах виноград, заготавливая его для дошаба и ирчала – сладкого виноградного варенья.

Маленький пастушонок купал у моря своего барашка. И где-то совсем далеко проскакала белая лошадь. Как она сюда попала?

– Холодновато, – сказала Тахмина, обтираясь большим махровым полотенцем, которое протянул ей из машины Заур. Она только что вышла из моря, и вслед за ней прямо до машины тянулась цепочка морских капель, и, войдя в машину, она внесла в нее мокрый песок, осыпающийся с ног. – Больше купаться нельзя. Это в последний раз.

– Да, – сказал Заур, затягиваясь сигаретой и недовольно морщась: ведь можно же стряхнуть песок, не входя в машину, как делал всегда он сам. «Но ведь и, правда, последний раз в этом году мы приезжаем купаться», – подумал он и сдержал упрек. Вслух он сказал только: – Да, скоро осень.

Одетая и причесанная, она уже сидела на влажном заднем сиденье, и вдруг Заур услышал:

*Скоро осень, за окнами август,*

*от дождя потемнели кусты.*

*И я знаю, что я тебе нравлюсь,*

*как когда-то мне нравился ты,*

тихо напевала она.

У нее был низкий и довольно приятный голос, и пела она всерьез – не мурлыча, не комкая слова, а с каким-то особенным потаенным смыслом.

– Хорошая песня, правда? – сказала она.

– Хороший голос, – ответил Заур, и она улыбнулась, отбросив волосы со лба.

– Сделай это еще раз, – попросил он.

– Что?

– Вот так же отбрось волосы.

Она улыбнулась, повторила жест, который нравился Зауру, и опять запела:

*Отчего же тоска тебя гложет,*

*отчего ты так грустен со мной?*

*Или в августе сбыться не может,*

*что сбывается ранней весной?*

– Отчего, а? Отчего? – сказала она вдруг, резко оборвав песню, взъерошила ему волосы и рассмеялась. – Отчего ты такой грустный со мной, а, Зауричек?

– Разве? – спросил Заур для того, чтобы как-то откликнуться. – Наверное, потому, что скоро осень, и мы сюда больше не приедем.

– А помнишь, как мы приехали в первый раз?

– Конечно, помню, это же была наша первая ночь, – с ирони­ческой важностью сказал он. – Но это было не здесь, а вон там, за тем холмом, за скалами.

– Я знаю. И было это совсем недавно, а будто прошла целая вечность.

– Да, это было в начале лета. А теперь вот и лето кончается.

– Наше лето. Наше медовое лето. Можно так сказать? Медо­вое лето – как медовый месяц? Можно?

– Можно, наверное. Поехали?

– Поехали.

Он стал заводить мотор, а мотор что-то не заводился, и тогда она сказала:

– А знаешь, я ухожу с работы.

– Что?

– Ухожу с работы. Вернее, перехожу на другую.

Он даже заводить перестал.

– Уходишь? Куда, на какую другую?

– На телевидение. Можешь себе представить – диктором. Один мой друг устроил. Вернее, он как-то, много лет назад посоветовал мне пойти туда, но тогда я почему-то пропустила это мимо ушей, а теперь вот вспомнила и позвонила ему... Он там работает, но я честно, благородно, без всяких хлопот с его стороны, – торопливо добавила она. – Меня даже экзаменовали, дали текст, я прочла и по-азербайджански и по-русски. И внешне, – она улыбнулась, – вполне подошла. И даже один из главных там комплимент мне сделал: «И красива, и скромна, и, главное, телегенична, а это редкость».

Мотор наконец завелся, и они медленно поехали по песчаной дороге к шоссе. Заур думал о новости с недоумением и не мог понять, радует его это сообщение или огорчает. Он не знал причин ее решения, но предполагал, что оно так или иначе связано с их отношениями, сложившимися этим летом, и, следовательно, с ним самим. Это слегка тревожило, ибо решения, тем более столь кардинальные, накладывают долю ответственности на того, с кем они в той или иной степени связаны.

– Что же это ты вдруг решила?

Он знал, что ответ будет точным и определенным, без всяких попыток уйти от сути, и не ошибся.

– Из-за тебя, – сказала она.

– Из-за меня?

– Конечно. Мне было бы трудно видеть тебя каждый день, зная, что ты уже не мой.

«А разве я когда-нибудь был твой?» – чуть не брякнул он, но проглотил готовую было вырваться фразу и сказал то же самое по-другому:

– А что изменилось в наших отношениях?

Она беззвучно засмеялась, и Заур затылком почувствовал ее смех, а затем увидел и в зеркале, прежде чем Тахмина успела стереть его с лица.

– Неужели ты ничего не понимаешь, Зауричек? – сказала она. – Неужели не понимаешь, что это наша последняя встреча? Ну, скажем иначе, не последняя встреча, потому что мы, наверное, будем иногда сталкиваться – мир тесен, наш город тем более, а последнее, ну... – она опять усмехнулась и произнесла с ироническим пафосом: – ...последнее свидание.

«Почему?» – хотелось спросить ему, но он смолчал, пытаясь найти ответ сам, – ведь так часто она упрекала его в том, что он не тонок и не понимает настроений, связывающих мужчину и женщину или, наоборот, разлучающих. К тому же не очень он и огорчен был угрозой разрыва. Тогда он не понимал, что его равнодушие вызвано слишком частыми встречами и особенно опустошенностью после недавних ласк. И что не будь последней бурной недели, прошедшей под знаком необратимого конца пляжного сезона, или если бы она сказала ему все это на три- четыре часа раньше, когда они ехали сюда, до их объятий, реакция его была бы другой. Но теперь несколько часов, а может, дней, до исступленного желания снова быть с Тахминой, он мог спокойно думать о том, что никогда уже не будет с ней. «Как хорошо, – подумал Заур, – что я не послал ей того несуразного мальчишеского письма, которое написал спьяну после нашей первой близости. Как наивно и смешно оно выглядело бы теперь, когда я точно знаю, что никакой такой любви между нами нет, да и вообще... связывает – желание, разлучает – пресыщен­ность, а все прочее – чепуха...»

– А знаешь, чья эта дача? – спросила Тахмина.

Впереди за высоким забором, выложенным из неровных серых камней, высился двухэтажный дом с широким косым балконом, выкрашенным в мутно-зеленый цвет.

– Нет.

– Ваших соседей, Муртузовых.

– Муртуза Балаевича? – удивился Заур. – А ты откуда его знаешь?

– Я знаю сына.

– Спартака... – сказал Заур, и внутри у него екнуло. Он хоро­шо знал Спартака. Его знакомство с Тахминой было неприятно. Он вспомнил повадки Спартака, его нрав, развязный и циничный язык, его отношение к женщинам. Заур знал, что означает для Спартака красивая женщина, и знал, что Спартак своего не упустит. Даже если у него ничего не получилось, оставалась возможность почесать языком.

– Откуда ты знаешь Спартака? – с напускным равнодушием спросил Заур.

– А он дружит с одной моей приятельницей, – сказала Тах­мина, и Заура передернуло от слова «дружит». Он догадывался, как Спартак «дружит» с женщинами.

– Останови, – сказала Тахмина, и Заур резко затормозил у больших зеленых ворот с маленькой, наглухо закрытой калит­кой.

– Что такое?

– Давай зайдем. Посмотришь, какой прекрасный вид с балкона...

– Еще чего не хватало! Что нам делать на чужой даче? Тем более на Муртузовской...

– Да не упрямься, прошу тебя. Зайдем на минуточку. – Он нехотя повиновался.

– А ты, я вижу, любовалась этим видом, – буркнул он, откры­вая ей дверцу машины.

– Молодец, я все же кое-чему тебя научила: открываешь дверь даме.

«Впрочем, – подумал он, – какая мне разница? Что она мне, жена? Спартак так Спартак».

– Век живи – век учись, – сказал Заур, – А я и не предполагал, что ты ходишь в гости... – в последнюю секунду он сделал паузу и сказал «к Муртузовым» вместо «к Спартаку». – Ты что, и в Баку к ним ходишь? В таком случае у нас есть шанс встретиться не только вообще в тесном мире, но и конкретно в нашем тесном дворе.

– Да нет, что ты, я даже не знаю, где они живут в Баку. Просто он как-то раз собрал здесь, на даче, большую компанию, и я случайно попала.

– Он – это кто? Спартак или Муртуз Балаевич?

– Отец, что ли? Да я его и не знаю. Спартак встречался с одной моей подружкой. («Встречался» – это уж, пожалуй, ближе, а то – «дружил»!») И вот была какая-то собируха, кажется, день его рождения, и подруга уговорила меня приехать.

– Без мужа?

– Ох ты, господи, при чем здесь муж?! Манафа, кажется, и в Баку не было.

– Был в командировке в Тбилиси, – съязвил он и пожалел.

Она как-то сразу погасла. Ведь не могла она не помнить, что сама рассказала Зауру об амурных делах своего мужа, которые тот называл «командировкой в Тбилиси». И он воспользовался в общем-то запрещенным приемом...

Тахмина грустно покачала головой.

– Как знаешь, – сказала она. – Я хотела показать тебе краси­вый вид, а ты за что-то взъелся на меня. Непонятно, почему?

– Но как же мы пройдем на балкон? Ворота-то заперты, – сказал он, пытаясь дружелюбным тоном смягчить бестактность. И, как ни странно, подействовало.

– А это уж твоя забота, – озорно сказала Тахмина.

– Ты что, в детстве ни разу не лазил на чужие дачи воровать виноград? К тому же ты спортсмен...

Он ухватился за этот полушутливый тон и, ощущая почти физическую потребность в какой-нибудь разрядке, перепрыгнул во двор, изнутри открыл калитку жестом хорошо обученного па­жа, и Тахмина, имитируя повадку королевы, переступила порог.

С косого балкона они полюбовались видом, потом отошли и наткнулись на кучу стоптанной летней обуви.

– Ой, посмотри, какие босоножки, – сказала Тахмина.

– Ты знаешь сестру Спартака?

– Фиру? Конечно, она же наша соседка. А что?

– Ничего. Я слышала, красивая девушка.

– Не знаю, не приглядывался, – буркнул Заур, но вспомнил, что к Фире-то он относился скорее с симпатией, чем с неприяз­нью, а вернее всего, никак не относился, в отличие от других членов семейки (он про себя всегда так и называл их – «семей­ка»), и добавил, что Фирангиз как раз единственное нормальное существо в этом зверинце. Во всяком-случае хоть молчит, рта не раскрывает.

– А ты их, кажется, не любишь? Ах, да, я и забыла, соседи ведь. Принципиальные разногласия коммунальной кухни: кто насыпал соль в наш суп?

– Кстати, и у нас, и у них не коммунальные кухни, а изоли­рованные.

– Ну, тогда, конечно, другой уровень принципиальных разногласий: Муртузовы купили шведский гарнитур, а у нас, у Зейналлы, все еще арабская мебель.

– И долго ты будешь упражняться?

– Ну, не обижайся, миленький! – Она полной грудью вдохну­ла предвечерний воздух. – Как хорошо!

Заур закурил.

– Дай мне тоже. Впрочем, нет, не надо, подышу лучше. И ты брось, не отравляй легкие.

Он придавил огонек и вложил сигарету обратно в пачку.

Эх, Зауричек, Зауричек, хороший ты мальчик!

– Но ты так и не сказала, почему это наша последняя встреча и почему мы должны расстаться.

– Почему? – переспросила она и пожала плечами. – Долго объяснять. Хотя бы потому, что мы можем влюбиться друг в друга. По крайней мере я. А уж это было бы ни к чему. Ни тебе, ни мне. И вообще... Зачем осложнять себе жизнь?

«Все точно, – подумал Заур. – Зачем ее осложнять?»

– Но ведь, – сказал он, – как выяснилось, ты застрахована от любви. Мы не первый день встречаемся, и все слава богу. Ты не влюбилась. Значит, с тем же успехом можно встречаться еще... много лет...

– А ты?

– Что я?

– Ты влюбился?

– Ну, конечно. Я же с самого начала признался тебе в любви.

– Признаваться в любви и любить в самом деле – вещи раз­ные. И потом, это было в начале, ну... до того, как мы сблизились. Тогда ты объяснился в любви, чтобы покорить меня. Но теперь, когда ты... ну, достиг своего, ты способен хотя бы на словах уверять, что любишь меня?

– Ну конечно же! Ты моя любовь, жизнь...

Он говорил, чувствуя, что произносит совершенно полые слова, их не спасал даже иронический тон, и она перебила его:

– Не надо, Заур. Перестань. Тошно как-то. Хватит трепаться. Поговорили и – хватит.

Он коснулся рукой ее лица. Она задержала его руку, при­жала к глазам, потом отстранила и посмотрела на ладонь Заура так, будто видела ее впервые.

– Какие у тебя большие руки, Зауричек, – сказала она.

Откуда-то издалека донесся гудок электрички и долго таял в тишине и покое.

Указательным пальцем провела она по тыльной стороне его ладони – мягким, кошачьим движением, слегка царапая, и неожиданно сказала:

– Хочешь, я тебе погадаю?

– А ты умеешь?

– Конечно. Давай сюда руку.

Заур раскрыл ладони. Тахмина взяла его руки в свои.

– Правая рука – это прошлое и настоящее. Она действует. Левая бездейственна – это то, что еще будет, то, что заложено, запрограммировано, как сейчас говорят. Линии означают счастье, ожидание, талант, печаль, одиночество, способность к неожиданным поступкам. Посмотрим, что там у тебя. Ну вот, у тебя есть линия славы, она берет начало от линии луны, то есть сулит больше воображаемого, чем реального. Но она сливается с реальностью. Так. Вот постоянная линия. Ого. Двое, даже трое детей, причем два мальчика.

– Ты и это можешь отгадать?

– Конечно. Видишь вот эту линию? Так, посмотрим дальше. У тебя есть способность переключать чувства на работу. Склероз тебе не угрожает, вот четкая линия ума с маленьким, совсем-совсем крошечным уклоном в фантазию. Будешь любить жизнь до глубокой старости. Будешь покровительствовать другим в неблагоприятных для них обстоятельствах. Богатства нет, но если и будет, ничем тебе не угрожает. Переезда в другую страну нет. Линия борьбы есть, но за что эта борьба – неизвестно. Вот пояс Венеры: способность любить – способность обманываться. Здесь уйма линий, ты в меру испорчен для любви во всех ее проявлениях.

– Ну уж скажешь!

– Слушай дальше. Самое сильное испытание тебя ждет в среднем возрасте. У тебя будет раздвоение – очевидно, во взглядах. Это вот – то, что остается сбоку, – двойная линия судьбы, линия жизни; а это – линия луны – фантазия. Ты станешь мягче, чем был, однако более властным. Ну, вот и все. Вот ты какой, оказывается.

– А теперь погадай себе.

– Что ты, я никогда этого не делаю. Боюсь.

– Ну хорошо, расскажи о правой руке, о том, что уже было – расскажи о себе.

– Ну вот, видишь? – она раскрыла правую ладонь. – Совер­шенно четкая линия судьбы. Видишь эту линию? Это значит, что я цельная натура, что на меня можно положиться, что я больше жена, чем любовница. У меня есть артистическая струнка, кото­рая, однако, ни денег, ни славы не принесет. А это вот... нет, не скажу.

– А все-таки?

– Нет, нет, я это давно знаю. А тебе, может быть, будет неприятно.

– Ну, не интригуй меня. Скажи.

– Нет, нет.

– Как хочешь.

Как обычно, когда он перестал настаивать, она сама уступила.

– Ну хорошо, скажу, только ты никому не говори, ладно? Об этом будем знать только мы с тобой. Видишь вот эту линию, которая так резко обрывается?

– Да...

– Это смерть. Ранняя смерть. Хотя бы для того, чтобы дока­зать, какая я правдивая гадалка, я должна умереть.

– Перестань чушь молоть.

– А знаешь, Зауричек, иногда я думаю: вдруг я умру, причем это будет смерть не от болезни, а так – утону, разобьюсь в самолете, в машине, ну, на улице упадет кирпич на голову, мало ли от чего можно умереть. Так вот, когда я думаю об этом, я так жалею себя, что прямо плакать хочется. И не из-за смерти, а из- за того, что эта смерть никакого значения ни для кого иметь не будет. Кто станет печалиться обо мне? Ну, муж, допустим, недельку от силы. Потом утешится. Ну, соседка Медина примерно столько же. А может, еще и ты, чуть подольше... А может, и меньше, кто знает?

– Ты перестанешь глупости говорить? Что это на тебя нашло? То мы расстанемся, то о смерти. Иди ко мне...

Рядом с грубыми летними матрасами были мешки с цементом, ящики с гвоздями, какие-то кастрюли и плетеные корзины и большие бутыли с уксусом, и Тахмииа сказала, что она нарочно затащила его, Заура, сюда, на эту дачу: не затем, – вернее, не только затем, – чтобы полюбоваться видом с балкона, а чтобы еще раз... в последний раз.

Но Заур уже знал, что никакой это не последний раз и что она уже не может жить без него, не может не видеть его, и единственное, что он должен сделать, это согласиться с ней – да, это наша последняя встреча – и потом ждать; ни в коем случае не проявляя инициативы, выжидать, и тогда она сама снова придет к нему.

– Но есть еще одна причина, почему я затащила тебя на эту дачу, – сказала она уже в машине, – о ней ты никогда не узнаешь.

Она оказалась права, он так и не узнал об этой, еще одной – третьей причине, если она в самом деле существовала. Но его раздражала ее манера постоянно интриговать его, и со злости он не стал допытываться об этой – третьей причине.

У дома она быстро поцеловала его и бросила, выходя из машины:

– Прощай.

«До свидания. Пока. Прощай». Заур знал, что слова ничего не стоят, и все же дома, когда он стоял под душем и смывал с тела песчинки, ему показалось, что мощная струя смывает с него все поцелуи, ласки, прикосновения Тахмины, ее слова, ее запах – навсегда. И он никогда больше не увидит, как она отбрасывает волосы со лба. Никогда. «Ждать. Выжидать. И только», – твердо сказал он себе.

**3**

Заур любил своих родителей, причем с годами все больше и больше. Вернее, в зрелом возрасте он любил их так же, как в детстве, – естественной и бескорыстной любовью, и не так, как в определенный период отрочества и ранней молодости. В этот же период, длившийся примерно пять-шесть лет, – он охватывал последние классы средней школы и почти все годы студенчества, – Заур, конечно, тоже любил отца и мать, но это была какая-то иная любовь – с некоторой долей неприязни к их образу мыслей и образу жизни и с очень большой долей потребительского к родителям отношения. Это был период увлечения спортом, джа­зом, танцами и вечеринками, девочками и шмотками, модными фильмами и рассуждениями о сексуальной свободе. Родители с их кондовыми моральными принципами и консервативными вкусами, с их приверженностью к обычаям и традициям, казав­шимися ему нелепыми, представлялись Зауру воплощением всего косного, «мусульманского», как определял он их пристрастие к совершенно разным вещам – индийским фильмам и восточной музыке (отец все свободное от работы время мог крутить транзистор, прислонив его к самому уху, и часами слушать заунывные арабские и иранские мелодии, порой закрывая глаза и причмокивая от удовольствия), к хрусталю, заполнившему коричневый массивный сервант в их гостиной, к скучнейшим приемам с длинными бестолковыми тостами и лихорадочной озабоченностью – как бы кого не забыть и не нарушить ранжир: в каком порядке за кого пить, кого где посадить, что превращало все эти так называемые торжества в мучительную повинность, усугубленную вымученным юмором штатного тамады. Были еще и бесконечные родственники и необходимость поддерживать с ними разговоры на неинтерес­ные темы, была и старая массивная мебель (эта мебель через несколько лет снова вошла в моду, но в те годы казалась символом мещанского благополучия), были и бесконечные пересуды о чьей-то карьере и о сомнительных путях ее достижения, и долгие беседы о том, кто чей земляк и у кого где рука, и перемывание косточек знаменитостей, а то и просто соседей, знакомых, и был прямо-таки религиозный культ научных степеней и так далее и тому подобное. Все это казалось Зауру другим миром – глубоко ему чуждым и ненавистным, и были минуты, когда он еле терпел родителей, не только причастных к этому чуждому для него миру, но и олицетворяю­щих собой его основные принципы и понятия. Его юношеское неприятие этого мира и порождало беззаботно-потребительское отношение к родителям. «Ничего с вами не станется, если раскошелитесь на новый костюм (пальто, туфли, поездку и прочее) для единственного сына», – в таком тоне предъявлял он свои требования родителям, вернее, маме, потому что с отцом у него были более сдержанные отношения, хотя, в конечном счете расплачиваться приходилось отцу. И легкость, с которой удов­летворялись все его большие или малые прихоти, не смягчала его досадливо-высокомерного отношения к родителям, а, наоборот, усугубляла это отношение. Даже ничем не ограничен­ная щедрость родителей к единственному чаду вызывала в нем скорее ироническую усмешку, чем благодарность. «Что ж, я не пьяница, не картежник, не бездельник и не лентяй», – думал он о себе, искренне полагая, что отсутствие этих пороков уже есть огромное достоинство и чуть ли не милость родителям. И так же искренне он не считал себя избалованным профессорским сынком, а лишь мимоходом признавал, что просто ему повезло чуть больше, чем многим его друзьям и сверстникам. Особенно когда отец, правда, после нескольких настойчивых просьб, обращенных лично к нему (и, конечно, не без ходатайства мамы), купил Зауру, только что окончившему институт, «Москвич» – мечту всей его юношеской поры.

В те годы Заур встречался с похожей на русалку девушкой Таней, чемпионкой республики по парусному спорту. Мать, которая непостижимым образом всегда все знала о его увлече­ниях, относилась к этой связи хотя и не вполне одобрительно, но довольно-таки терпимо. Причем она всегда почему-то говорила о Тане не в единственном числе: «Опять твои Таньки-Маньки звонили».

«Таньки-Маньки» – это и была Таня, которая вдруг неожи­данно уехала во Львов и навсегда ушла из жизни Заура. Он вспоминал о ней редко, но всегда с легким, весенним чувством, и как только всплывал в памяти ее образ, синие глаза и длинные распущенные волосы, тотчас в сознании возникали большие белые паруса, несущиеся наперегонки по синим волнам.

\* \* \*

Все, чего достиг отец Заура, профессор геологии Меджид Зейналлы, он достиг сам, в трудной и долгой жизненной борьбе. Приехав в тридцатые годы из глухой деревушки, с тремя рублями в кармане единственных брюк, Меджид побывал и разнорабочим на нефтяных промыслах, и грузчиком в порту, даже помощником повара в столовой, одновременно занимаясь на вечернем рабфаке. Не обладая особыми дарованиями, с помощью одной лишь настырности и фантастического упорства, он через семь лет окончил университет и уехал в Ленинград в аспирантуру. Вернувшись в тридцать шестом году в Баку кандидатом наук, он женился на машинистке института, в котором стал работать, коренной бакинке, переселился к жене, в собственный, доставшийся еще от деда дом в нагорной части города. Дом был двухэтажный, верхний этаж сдавался жильцам, а в двух комнатах на первом этаже Меджид с женой Зивяр-ханым, тещей и свояченицами прожил почти полгода, пока через год не получил одну из освободившихся квартир в центре, в которой они и жили до сегодняшнего дня.

Потом была война, и Меджид Зейналлы, лейтенант артил­лерии, провел почти год на фронте, после двух ранений был доставлен в Баку (незадолго до того родился Заур), а после выздоровления с группой специалистов-геологов командирован в Иран, где и прослужил до окончания войны. Из Ирана он привез лакированные туфли и шоколад (что запомнилось Зауру больше, чем все остальное из привезенного отцом). После войны Меджид Зейналлы защитил докторскую диссертацию, стал заведующим кафедрой в крупном вузе и получил орден.

В гадании Тахмины одно было правдой: с годами Заур становился мягче. Он стал добрее к родителям, в его отношении к ним оставалось все меньше корысти. И хотя время от времени он бросал матери фразы, вроде: «Ничего, ваших профессорских сбережений не убудет, подкиньте пару кусков», – теперь он это делал даже не без некоторой неловкости и смущения, и, получая зарплату, правда весьма и весьма мало соответствующую его потребностям, он каждый раз брал деньги у родителей как бы в долг, хотя обе стороны знали, что этот все растущий долг никогда не будет возвращен.

Он стал артачиться, когда узнал, что отец внес крупную сумму на строительство кооперативной квартиры для него. Хотя Заура радовала перспектива иметь отдельную и изолированную квартиру, ту самую «хату», которая так часто бывала позарез нужна, он, как человек, живущий сегодняшним днем, представ­лял ее где-то в очень уж далеком далеке, и потому подобная трата вызывала у него острое сожаление. Во всяком случае, ему каза­лось, что даже малая часть суммы, внесенной за трехкомнатную квартиру с видом на море, могла бы доставить ему массу прият­ных часов в настоящем вместо ожидаемого комфорта в столь неопределенном будущем. Он так и сказал матери, но однажды на эту тему с ним заговорил сам отец. Меджид завел разговор в отсутствие матери, и Заура поразила его откровенность.

– Нам, конечно, хотелось бы всю жизнь прожить с тобой вместе, – сказал отец, – Но какой смысл скрывать? У твоей матери тяжелый характер. Она никогда не уживется с твоей будущей женой, будь твоя жена хоть самим ангелом. А тебе уже пора думать о собственной семье. Во всяком случае – к тому времени, когда будет готов дом: скорее всего через год, полтора. Ну, и защитишься ты к тому времени.

Заура поразила не только откровенность, с которой говорил с ним отец, редко говоривший на эти, да и вообще на любые темы, но и то, с какой точностью он распланировал всю его. Заура, жизнь, точно так же, как много лет назад распланировал свою собственную жизнь и расчертил ее точный график: учеба, диссертация, женитьба, квартира, ребенок, диссертация. Правда, вот беда, иногда бывают непредвиденные обстоятельства, как, например, вторая мировая война. Но даже и она, два ранения не могли сбить отца с намеченного раз и навсегда пути движения от одной цели к другой, того самого движения, которое теперь должно быть продолжено его сыном, а потом, даст бог дожить, и внуками.

\* \* \*

После ужина, когда отец ушел в свой кабинет, а Заур собрался почитать, Зивяр-ханым вдруг сказала:

– Послушай, до меня дошли кое-какие слухи.

– Какие же? – равнодушно спросил Заур, просматривая «Неделю».

– Тебя часто видят с одной особой.

– Какой особой? – спросил он, отложив газету и желая оттянуть время.

– Такой – по имени Нармина, Тахмина, ну, работает в вашем издательстве.

Он почувствовал, что краснеет, и оттого, что он это чувст­вовал, краснел еще больше, стал пунцовым, у него загорелись уши.

– Ну и что? – все-таки выдавил он.

– Хорошо, что ты еще краснеть не разучился. А ну посмотри мне в глаза.

Он неловко улыбнулся и посмотрел матери в глаза.

– Так это правда, что ты возишь ее в своей машине по всему Апшерону?

«Какие подробности! – подумал он. – Боже мой, что за город!»

– Ты что, не знаешь, что от людских глаз ничего не скроется? А она ведь замужняя женщина, ты об этом подумал? Это не твои Таньки-Маньки.

– Кто это сплетничает тебе? Что, своих дел не хватает?

– Послушай, ты уже не маленький. Ты взрослый мужчина, и я никогда в твои дела не лезла. Но теперь предупреждаю: пока отец не узнал, прекрати немедленно и окончательно.

Сама постановка вопроса возмутила его, но он промолчал. Наверно, Зивяр-ханым тоже надо было кончить на этом. Тогда, может быть, все пошло бы иначе. Но Зивяр-ханым была слишком рьяной хранительницей раз и навсегда установленных правил, слишком бакинкой, наконец, чтобы сдержаться и не добавить те самые слова, которые оказались решающими.

– Теперь за тебя взялась? – с нескрываемым отвращением сказала Зивяр-ханым. – Со всем издательством перекрутила, теперь и до тебя очередь дошла?!

Он вспыхнул и встал.

– Хватит, – сказал он. – У меня ничего с ней нет, а тебе нечего повторять бабские сплетни.

Наверное, он сказал это очень резко, слишком взволнован­но, мать насторожилась и поняла то, чего он и сам еще не созна­вал и, может быть, даже еще и не чувствовал. Каким-то мате­ринским и женским чутьем она уловила серьезность их отноше­ний, когда они еще и не были сколько-нибудь серьезными и что- то важное для него означающими.

– Сплетни! – с издевкой произнесла она. – Хороши сплетни! Только такого зеленого дурачка она может убедить в том, что все – только сплетни. Весь город знает о ее похождениях.

– Весь город? Что, в вечерней газете, что ли, было напеча­тано? Так там всякое печатают. Однажды даже про дерево- людоеда написали, – натужно сострил он, злясь на собственную глупость и на то, что ничего более существенного и твердого не смог ответить.

– В газете не в газете, но все знают о ее поведении. Да она и не особенно разборчива. Этот, как его... ну, главным работает у вас, старик, как его, ну, с бородавкой на носу...

Заур знал, кого она имеет в виду, но и под страхом смерти он не произнес бы имени Дадаша.

– Дадаш-муаллим, – вспомнила мать сама. – Стыд какой! Молодая, муж молодой. И бабенка смазливая, – это было первым и единственным комплиментом, которым мать когда-либо удостоила Тахмину, – а поди же, с кем путается, со стариком уродливым...

– Значит, не то плохо, что путается, а го плохо, с кем, – попы­тался еще раз сострить Заур.

– Ты мне зубы не заговаривай. С кем она путается, это дело ее и ее мужа-дурака – пепел ему на голову, что такую жену держит. А вот тебя пусть не трогает, а то я ей такое устрою, что не рада будет. Глаза ей выцарапаю, – серьезно и спокойно добавила Зивяр-ханым, и Заур, зная нрав матери, подумал, что это не пустые угрозы.

Он решил прекратить разговор и сказал:

– Да брось, мама, ради бога. У нас чисто дружеские отноше­ния. Ну, пару раз подвозил на машине. Что в этом такого? Мы же вместе работаем. А если ты так волнуешься, обещаю, что больше сажать ее в машину не буду. Пускай добирается на обществен­ном транспорте. – И хотя Заур говорил в обычной своей полуиронической манере, сводя все к шутке, он ощутил какую- то неловкость за эти слова, какую-то вину перед Тахминой и, пытаясь как-то компенсировать свое маленькое предательство и тем самым хоть немного оправдаться перед собственной совестью, добавил: – А что касается Дадаша, клянусь тебе, все это чистое вранье. Ничего между ними никогда не было. Я точно знаю.

– Откуда ты-то знаешь? Сама, что ли, сказала?

– Нет, просто я работаю там же и кое-что знаю. Это чистей­шая ложь.

Но Зивяр-ханым не желала сдавать позиций:

– Да только ли Дадаш? Вот и наш сосед крутил с ней года два назад.

– Какой сосед? – спросил Заур, и все в нем похолодело.

– Да сын Алии, Спартак. Алия мне рассказывала. Говорит, прохода парню не давала. От телефонных звонков покоя не было. Ночью, рано утром! И откуда звонит-то? Из дому, что ли? При муже... Эх...

Заур чувствовал, как все в нем немеет, наливается какой-то мертвенной тяжестью, и единственным его желанием становится сейчас же увидеть Тахмину и либо опровергнуть слух, либо, подтвердив его, положить – тогда уже совершенно бесповоротно – конец их отношениям. И он уже не слышал слов матери, которая все говорила и говорила о том, как, наконец вмешалась Алия, но, в отличие от нее, Зивяр-ханым, не с сыном решила этот вопрос (он у них тоже не сахар, шалопай порядочный), нет, Алия имела дело с самой стервой: позвонила ей и пообещала вырвать все волосы до единого. Тем более что у нее, говорят, и волосы-го не свои, а парик...

И Заур, будто издали слыша это и воспринимая нелепые слова и угрозы не фигурально, а в самом прямом смысле, представлял Тахмину с вырванными Алией-ханым (и Зивяр-ханым) глазами и волосами, о которых он доподлинно знал, что они у нее свои...

– Я выйду, пройдусь немного, – только и сказал он. Из первого же автомата он позвонил Тахмине.

– Слушаю, – ответил бархатный баритон Манафа, мужа Тахмины.

Заур повесил трубку.

Был уже поздний вечер. Он бродил по городу и еще два раза звонил и каждый раз бросал трубку, услышав голос Манафа. Конечно, он мог поздороваться, назвать себя и попросить к телефону Тахмину: в конце концов они работали вместе и знали друг друга не первый месяц. Но ему было крайне неприятно говорить с Манафом, просить его позвать Тахмину, потом, зная, что Манаф рядом, выяснять с Тахминой отношения.

И он все бродил и бродил по городу, нервничая и успокаивая себя, и часа через полтора пришел к утешительной мысли: «Хорошо, допустим, Спартак. И даже Дадаш. Мне-то какое дело? Во-первых, все это было до меня. Во-вторых, я что? Блюститель ее чести, что ли? А в-третьих, ведь и я был с ней. Вот если бы не было нашей близости и она строила из себя недотрогу, а потом я узнал, что она была с другим или с другими, был бы повод для волнений. А так – чего я раскипятился? Нам было хорошо вместе? Факт. Она красивая, очень красивая женщина! Тоже факт. Что страшного в том, что она нравится мужчинам, а они, если не добиваются успеха, и скорее именно поэтому, начинают трепаться?»

Из всех его мыслей последняя была самой приятной. Конечно, Тахмина не была скромницей в минуты их близости, и это его настораживало, но ведь в конце концов она была замужем не первый год, а женщина больше всех учится этому у мужа или совместно с мужем. «Конечно, мне все равно, с кем она была и была ли с кем-нибудь до меня, – думал Заур. – И все же... только не Спартак!» Слишком неприятен был он Зауру еще со времени детских игр и драк, когда Спартак постоянно дрейфил, ябед­ничал и предавал их. «Ну, конечно, – думал Заур, – Алия-ханым просто врет. Как могла Тахмина, королева, умница, звонить и навязываться этому подонку Спартаку? И конечно же сам Спартак бегал за ней и, ничего не добившись, распустил язык, что, как известно, на более солидном и высоком уровне делал и Дадаш». Она же объясняла ему, и он поверил ее словам, убежденный не только логикой рассудка, но по-своему еще более верной логикой их близости. Ему хотелось, чтобы она так же ясно и определенно рассказала ему о Спартаке, рассеяла и эти его сомнения. В последний раз он позвонил в двенадцать ночи и, вновь услыхав уже полусонный голос Манафа, бросил трубку.

Возвращаясь домой более или менее успокоенный, он думал о том, как действительно все странно: вот сейчас он слы­шал сонный голос ее мужа. Наступила ночь. И у них, наверное, уже темно. Они под одной крышей – Манаф и Тахмина, а может быть, и под одним одеялом. Вот сейчас они, может быть, зани­маются любовью и Тахмина так же закрывает глаза, как с ним, Зауром, но это его, Заура, мучает гораздо меньше (хотя и мучает все же), чем ее предполагаемая связь в прошлом со Спартаком.

Накрапывал дождь, и Заур, направляясь домой, принял неожиданное решение: узнать у Дадаша телефон Тахмины на ее новой работе. Он вспомнил смешную и странную историю, которую рассказывали ему и Дадаш и Тахмина и которая стала почти легендарной в издательстве: как однажды глубокой ночью к Дадашу позвонил Неймат и спросил у него, какого цвета глаза у Тахмины.

«Нет, я не буду звонить Дадашу ночью, чтобы не повторять Неймата, – решил Заур. – Спрошу завтра утром, на работе».

\* \* \*

На следующий день он долго не мог подойти к Дадашу – у того все время торчал народ. Когда он зашел в первый раз, он увидел за бывшим столом Тахмины смуглую девушку с волосатыми ногами и понял, почему все мужчины в отделе ходят с похоронными физиономиями, небритые и в несвежих рубаш­ках.

Перекинувшись несколькими словами с Нейматом, он ушел. Заглядывал еще два раза. И только в обеденный перерыв застал Дадаша одного. Тот, расстелив на столе лист белой бумаги, ел курицу. Стояла еще довольно жаркая погода. Капли пота на его лице смешивались с каплями жира, стекающего с курицы...

– А, Заур, заходи, угощайся, – сказал он.

– Нет, спасибо, я ел, – ответил Заур, переведя глаза с Дадаша, на его пухлый раскрытый портфель, и уселся за соседний стол.

– Ты ко мне? – еле выговорил Дадаш набитым ртом.

– Да, – сказал Заур, – вы случайно не знаете телефона Тахми­ны на новом месте?

– Знаю, – сказал Дадаш, вытащил засаленную записную книжку, полистал и сказал номер телефона. Заур не стал записы­вать, он запомнил его на всю жизнь так же, как номер ее домаш­него телефона.

Разговор был исчерпан, он узнал то, за чем пришел, узнал без свидетелей, а значит, и кривотолков, и теперь можно было уходить. Но Заур замешкался и, чтобы как-то оправдать задержку, неожиданно для самого себя спросил:

– А почему она ушла отсюда?

Дадаш долго прожевывал кусок, пока оказался в состоянии говорить. Но и прожевав и проглотив его, прежде чем ответить, долго и укоризненно качал головой.

– Эх, беда с этой девкой! И всю жизнь она вот так будет мо­таться. Искать то ли себя, то ли... нового любовника, – с неожи­данной резкостью заключил Дадаш и уже спокойнее добавил: – Старая любовь, наверно...

– Какая любовь? – ошеломленно спросил Заур.

– А этот самый, как его там, Магеррамов Мухтар. Режиссер на телевидении. Я не знаю, что там у них было и когда, но это он ее туда сманил. Диктором, говорит, будешь. Ей-то, с ее универ­ситетским дипломом! Философ как-никак и вдруг – в дикторы. Чего ради, спрашивается? Чем ей здесь плохо было? И зарплата хорошая, и гонорар подбрасывали. Приходила когда хотела, уходила когда хотела...

Заур чувствовал затаенную, но крепкую обиду в словах Дадаша. Неужели он в самом деле любил Тахмину и не может простить ей вероломства? Что в нем говорит – злость, ревность или просто старческая обида, брюзжание на непутевую девчон­ку, отцовское недовольство шалостями избалованной капризни­цы? А может, все вместе? И кто такой Магеррамов? Это еще что за явление? Старая любовь! Не о нем ли говорила Тахмина, когда упомянула, что ее пригласил на телевидение старый приятель? Приятель! Везде у нее приятели. Ну и женщина!

Дадаш закончил есть и заворачивал остатки курицы в бумагу, когда Заур, вставая, чтобы уйти, вдруг услышал:

– Заур, сынок, я хорошо знаю и уважаю твоего отца. И ты мне как сын. Не обижайся на меня, но я по-отечески хочу посоветовать тебе. Ну, как дядя твой. Не связывайся с этой женщи­ной.

От неожиданности Заур растерялся: «Ах вот даже как! Значит, слухи уже распространились! Права мать, ничего в этом городе не скроешь».

Тогда, выходит, Дадаш говорил ему о Магеррамове, о ее старой любви, уже зная... Тогда, может быть, это сознательный дар, месть удачливому сопернику?

– Тахмина – опасная женщина, – продолжал Дадаш. – Поверь мне. Я понимаю все: она красива, обаятельна, а ты парень молодой. Но она – хищница! Учти, она съест тебя с потрохами.

– А я думал, вы к ней хорошо относитесь. – Заур влил в эту фразу все ехидство, на какое был способен.

Дадаш вспыхнул, но, как всегда, сразу взял себя в руки и ответил спокойно:

– Да я и сейчас к ней неплохо отношусь. Мне просто жаль ее. В ней много хорошего. И человек она способный. Но сама себя погубит – своей необузданностью, пренебрежением к любым нормам и принципам.

«А когда ты, старый хрыч, и к тому же женатый, лез к ней – что это было, проявлением твоих норм и принципов? Да к тому же она была твоей подчиненной!» – подумал Заур, но смолчал.

– Она абсолютно неразборчива в связях, – говорил Дадаш. – С кем только она не путалась: с заведующими базами, с дирек­торами магазинов, со следователями, прокурорами, цеховиками, фарцовщиками и бог еще знает с кем! И все ради какой-нибудь тряпки, кольца или шубы...

Заур чувствовал полную беспомощность перед этим мутным потоком обвинений, но ничем, кроме голых эмоций, ни одним фактом, ни одним доводом не мог опровергнуть Дадаша, опирающегося на какие-то >ему, Дадашу, хорошо известные основания. Всплеск негодования только выдал бы наивность и идеализм Заура, его неравнодушие к Тахмине, а ему не хотелось выглядеть в глазах этого обожравшегося курицей и служебными успехами многоопытного деляги желторотым юнцом, рыцарски защищающим честь своей дамы. Кроме всего прочего, он не был до конца уверен, что Дадаш лжет. Память подсказывала ему бесконечные упоминания Тахминой самых разных имен, ее манеру говорить о людях: «Как, ты не знаешь его? Да это же лучший дамский парикмахер в Баку!» И обшиваться она должна была только у лучшего портного в городе, и снимал ее только фотограф экстра-класса, с дипломами международных конкур­сов... Она, конечно, любила пошиковать, и ее страсть к роскоши – не такая уж выдумка. А с роскошью были связаны и лица, преимущественно мужского пола, которые ей эту роскошь обеспечивали, и, надо полагать, небескорыстно. Второй раз за сутки он слышал о Тахмине такое, и оно отдавалось в нем непонятной ему самому глухой болью. Ведь и до их близости он слышал о ней всякие пересуды, и, откровенно говоря, сплетни о ее доступности и были одной из причин его, Заура, желания с ней сблизиться. Но тогда они никак не трогали его, а теперь боль не проходила даже от мысли, что между ними, наверное, все кончено, и как хорошо, что он узнал о ней столько плохого именно сейчас, когда все уже в прошлом...

\* \* \*

Человек за рулем обживает город точно так же, как свой дом, квартиру, комнату. Человек за рулем живет жизнью городских улиц, как квартиросъемщик – нуждами своею жилья. Здесь вчера перекрыли дорогу; здесь с прошлой недели – объезд; здесь у нового забора появился знак левостороннего движения; здесь наконец-то поставили светофор; а этот вот люк все еще не закрыт; осторожно, здесь за поворотом ухабы... Все это такая же реальность существования автомобилиста, как испорченный кран, отключенный газ, неисправный телефон, протекающая крыша – для жителя городских домов. И подобно тому как человек, привыкший к своей комнате, ориентируется в ней впотьмах, знает, где что, так Заур знал город, вернее, его автомо­бильное пространство, на ощупь, мог ехать с закрытыми глазами и попасть куда угодно. Конечно, он ездил не с закрытыми глазами, а следя за светофорами, движением пешеходов и транс­порта, но, зная город, он мог ехать, думая за рулем о чем угодно, только не о маршруте.

А думать он мог сейчас только о Дадаше, о дневном разго­воре с ним. «Ах, ты подонок, стукач поганый! Заведующие базами, цеховики, директора магазинов», – как пульс, билось в его мозгу, и самое скверное, не было никакой уверенности в том, что Дадаш лжет. Заур уже начал привыкать к тому, что Тахмина существует как бы в двух реальностях – в знакомой и незнакомой ему. И какая из этих реальностей более достоверна – более легальна, что ли, – он не знал. «А может, – думал он, – в одной реальностисуществует подлинная Тахмина, а в другой – та, которая создана воображением других? И этот воображаемый облик ее существует только в их словах, сплетнях и пересудах, к чему она не имеет отношения и за что не несет ответственности, – ну, разве, может быть, только тем, что некоторыми внешними проявлениями своего нрава дает повод для создания этого во­ображаемого другими людьми облика. А люди эти – влюбленные, обиженные, завистливые, подлые, глупые, какие угодно, но, в любом случае, небеспристрастные...»

И, думая об этом, Заур с каждым часом, с каждой минутой чувствовал, как исчезает желание звонить Тахмине и выяснять отношения. Если вчера это еще имело какой-то смысл, то сегодня, после беседы с Дадашем, все стало совершенно нелепым. Ну, о ком теперь, после беседы с Дадашем, он, Заур, будет допытываться правды? О Спартаке? Или о всплывшей сегодня фигуре режиссера телевидения? А заведующие базами, фарцовщики, цеховики (кстати, и сам Спартак был цеховиком), директора магазинов? И каким же должен был быть ее ответ? Признать всех, даже безымянных фарцовщиков и завскладами? Признать себя в таком случае чуть ли не... Или все отрицать? Или признать не всех, а некоторых, Спартака, например?

Выход был один, и Заур пришел к нему на втором часу езды по городу, по дороге домой: ждать. Это самое верное – ждать и по возможности избегать разговоров о ней с кем бы то ни было. И когда она объявится (а в том, что она позвонит и объявится, он не сомневался), пользуясь выигрышной позицией (ведь не он же, а она нашла его), окончательно выяснить отношения.

Но проходили дни, а она не звонила.

\* \* \*

Однажды вечером Зивяр-ханым как бы невзначай завела разговор о том, что кооперативная квартира Заура будет готова буквально месяца через полтора. Заур отлично понимал подоплеку начатого разговора, который всегда с перспектив строительства переходил на самостоятельную семейную жизнь Заура. «Ведь станет же с моей женой, кем бы она ни была, грызться, ругаться, будет полно неприятностей – ревность, обиды, оскорбления, шпильки, а вот поди же, торопит!»

Шли долгие увещевания, что ему уже достаточно лет, чтобы подумать о собственной семье, что пора перестать мотаться и стать солидным человеком. Тут вплетался и другой заветный мотив Зивяр-ханым – защита диссертации (тему которой, опять- таки по настоянию матери, он утвердил несколько лет назад, но которой до сих пор не касался), и помимо всего прочего, ишемия у отца, а у нее самой, у Зивяр-ханым, сердечная астма, и вряд ли они долго протянут, а он их единственный сын, для которого они ничего не жалеют, и так мало радостей было в их трудной молодости, что им хотелось бы компенсировать это счастьем своего ребенка и приобщиться к этому счастью на склоне лет, пережить и праздник сыновней свадьбы, и радость появления внуков, и сладкую муку забот о внуке, внучке, внуках и внучатах, и пошло, пошло...

Заур всегда со стоической улыбкой выслушивал речи матери, но на сей раз, в последний момент Зивяр-ханым внесла в обычные пассажи нечто неожиданное. Она назвала кандидатуру будущей жены Заура.

– Кто? – переспросил Заур.

– Какая Фирангиз?

– Да вот, соседка наша, дочь Алии.

От неожиданности Заур даже растерялся:

– Но ведь она еще ребенок!

– Какой ребенок, уже девятнадцать лет, в институт поступила. Всего-то на пять лет моложе тебя. А между мужем и женой должна быть разница. Муж должен быть старше, даже намного старше жены. – Она явно имела в виду разницу в летах между собой и Меджидом – десять лет. – И родителям ее ты по душе, я чувствую такие вещи. Алия не раз намекала. «С сыном все просто, говорит, а вот с дочкой волнуюсь. Она же у меня как нераскрытый бутон. Куда попадет, в какой дом, к каким людям, что ей судьбой уготовано? Какое счастье, когда еще до брака знаешь семью, в которую выдаешь дочь!» Я же понимаю, что все это она в расчете на меня, вернее, на тебя, говорит.

– Что же она так беспокоится, что дочь засиделась, если ей всего-то девятнадцать лет?

– Да говорю же я тебе, дело не в том, что засиделась, дело в том, куда, в какой дом попадет!

– А ты чего так беспокоишься о ее судьбе? Красивая девушка, найдет себе жениха.

– Я не о ней беспокоюсь, я о тебе беспокоюсь. Она-то найдет себе жениха, но вот ты-то найдешь ли такую невесту? И красива, и скромна, и из хорошей семьи. Сама как родничок: ни соринки, ни пылинки. Женишься на такой – всю жизнь будешь спокоен, ни перед кем глаз не придется опускать. Ты, кажется, до сих пор ничего не понимаешь.

Но Заур уже не слушал ее. Он думал о том, как справиться с вдруг вспыхнувшим необоримым желанием позвонить Тахмине. Но он знал, что должен выдержать, должен выиграть эту маленькую психологическую битву и не звонить, пока Тахмина сама не позвонит.

– Они обещали прийти на день твоего рождения, – сказала Зивяр-ханым.

– Кто они? – спросил Заур.

– Как кто? О ком же я битый час толкую? Муртузовы. И Фирангиз будет.

Счастливая мысль осенила Заура. Как удачно надоумила мать! Ведь действительно скоро день его рождения, и Тахмина специально запоминала и даже записывала дату. Вот чего она ждет! Выдержит характер, но в то же время дата, а значит, повод позвонить и – увидеться и, может быть, восстановить отношения.

И впервые после многих лет он подумал о дне своего рождения не как о скучнейшем сборище постылых родствен­ников, а как о действительно светлом и радостном празднике. Как в детстве.

\* \* \*

Она позвонила не в день рождения, а накануне. Вернее, календарно это был уже день его рождения, ибо она позвонила в половине второго ночи. Он был в постели, хоть и не спал. Обычно он не мог заснуть до тех пор, пока в квартире не гас свет во всех комнатах и не замирало все. Он всегда засыпал последним. А в эту ночь из кухни доносились сладкие, приторно пряные запахи. Зивяр-ханым пекла какие-то изысканные пирог и, мастерила торт «День и ночь» и пирожные «Птишу», готовила шекербуру и пахлаву[[19]](#footnote-19). Она была непревзойденной кулинаркой, и секреты, известные лишь ей одной, делали ее яства, особенно печеное, предметом бесконечных гурманских разговоров как за столом, так и после. Лежа в постели, Заур слышал запахи запекшейся муки, жженого сахара, ванили и прочих специй и негромкие голоса двух женщин – Зивяр-ханым и помогающей ей соседки Ситары. Женщины говорили вполголоса, оберегая покой Заура и профессора, в отличие от сына ложившегося и встававшего всегда очень рано. Даже не прислушиваясь, Заур знал, о чем они говорят: о том, как сделать, чтобы тесто в духовке поднялось должным образом, чтобы не переварился крем, сколько куда и чего добавить, как и где сохранить до завтрашнего вечера блюда и когда и в какой форме все это подать на стол. Затем разговор незаметно переходил к завтрашнему ужину, к гостям, к их вкусам, к тому, кто что любит и кто из мужчин – сладкоежка, и кто из женщин особенно привередлива, и кто хорошая хозяйка, хотя в прошлый раз у нее и пригорел пирог. Говорили, какие все это хлопоты и сколько волнений, но тут же соглашались, что так приятно, когда гости довольны и угощения достаточно, и что удовольствие, которое получаешь, доставив удовольствие другим, искупает все труды и волнения, и когда же матери не потрудиться, как в радостный день рождения единственного сына, и такого замечательного сына. И какой вообще Заур отличный парень – добрый, щедрый, доверчивый, и жаль, что он такой доверчивый, ибо этой доверчивостью пользуются, а Заур такой чистый и наивный, и она, Зивяр-ханым. очень боится, что он может попасть в лапы какой-нибудь мерзавки...

Раздался телефонный звонок. Заур сразу вскочил. Он знал, что в такой час могут звонить только ему. Но кто? Перед тем как взять трубку, он успел с удивлением подумать, что за последние два-три месяца, то есть с начала его связи с Тахминой, он совер­шенно отдалился от своих бесчисленных старых приятелей и приятельниц. Правда, они иногда названивали друг другу или даже случайно встречались, но, то ли из-за летнего сезона – поры отпусков, то ли из-за чего другого, но за это время связи его с друзьями настолько ослабли, что он не мог вообразить, кто же звонит ему в столь поздний час.

– Алло, – сказал он вполголоса, подняв трубку.

Послышался шум и невнятный говор какого-то людного и гулкого пространства, а затем далекий, еле слышный голос, но Заур сразу узнал его и замер.

– Это я, Зауричек, – сказала Тахмина. – Извини, что я так поздно. Ты можешь говорить?

– Да, конечно, – сказал он, с трудом унимая волнение.

– Я весь день моталась и не смогла позвонить тебе... – Голос прерывался, отдельные слова терялись в раздражающем сцеплении и скрежете проводов, но он четко улавливал смысл. – Звоню из аэропорта. Через полчаса улетаю. Только вот сейчас удалось позвонить тебе. – Он молча слушал, не отвечая. – Ты слышишь меня, Заур? Я поздравляю тебя. Я ведь помню – завтра день твоего рождения. Я даже подарок тебе купила. Завтра тебе передадут, – Она говорила торопливо, как бы боясь, что вот-вот связь прервется и она не сможет сказать самого главного, – Это очень скромный подарок, но он всегда будет с тобой, чтобы ты всегда помнил обо мне. Завтра передадут, – еще раз добавила она, – Медина, моя соседка, занесет тебе на работу...

Как будто все это было так важно.

– Спасибо, – сказал Заур. – А куда ты летишь и зачем? – наконец заговорил он, отметив, что голоса на кухне смолкли и там прислушиваются к его словам.

– В Москву, – весело ответила Тахмина. – Завтра из Москвы будут передавать программу нашего телевидения. Буду вести я. Если, конечно, долечу и не разобьюсь.

– Ну-ну, – сказал Заур и хотел добавить еще что-то, но она быстро перебила:

– Завтра обязательно посмотри в половине десятого. Увидишь меня! – Потом торопливо добавила: – Ну, есть, Зауричек, уже объявили посадку и наши машут мне рукой...

Он хотел представить себе тех, кого она называла «нашими» – дикторы, актеры, режиссеры, – и представил, как все они веселой толпой, не обремененные ничем, кроме легких чемоданов, идут, остря и смеясь, к выходу на летное поле, усеянное разноцветными сигнальными огнями, к большому ночному лайнеру, у трапа которого аккуратненькая стюардесса, включив ручной фонарик, проверяет билеты и паспорта, и представил, что вот и Тахмина через минуту присоединится к ним и переключится на другой ритм и другие заботы, на другое течение чувств и мыслей – полет, Москва, передача – и забудет, что завтра, нет, уже сегодня, день его рождения. Ему было чуть больно от этого, хотя и приятно, что в последний момент она вспомнила-таки о нем. Впрочем, может быть, она сделала это для кого-то другого, чтобы возбудить в нем, в этом другом, ревность, и расставляет этому другому сети, и он, Заур, лишь разменная монета в ее игре, и ласковые слова, сказанные ему, Зауру, на самом деле связаны с иной целью, предназначены для ушей другого... Но он быстро отогнал это подозрение, потому что слишком сильно было ощущение радости, ворвавшееся в него с ее голосом, звонком, за которым слышались все голоса ночного аэропорта и стояло ощущение полета в ясном звездном небе и ощущение свежей прохладной Москвы.

– Пока, Зауричек, много-много тебе счастья.

– И тебе счастливого полета, – ответил Заур, мрачно констатируя, что каждая его фраза, содержащая информацию, фиксируется на кухне и там будут сделаны соответствующие выводы. – А на сколько дней ты летишь? – тем не менее спросил он.

– На три дня, – четко ответила она и уже после паузы, во время которой она, очевидно, решала, стоит ли произносить эти слова, и наконец решив, добавила быстрым полушепотом: – Прилетай в Москву, Зауричек... Ну, я пошла, наши ждут.

Потом были долгие гудки в трубке, и Заур стоял, пораженный этой фразой, которая так не вязалась ни с их разговором сейчас по телефону, ни с их последним разговором десять дней назад, когда они решили, что расстаются. Да и теперь, когда все еще отдавалось эхо слов «наши ждут» и когда, в связи с этими словами, у него возникал целый поток представ­лений: шумная компания телевизионщиков, шутки, ухаживания, совместный полет и работа в Москве – в общем, весь тот мир, в который она, видимо, с головой окунулась, уйдя от них. От них – это не только от него, Заура, или от Дадаша, под чьим началом работала, но и от всего, неторопливого мирка их издательства. И теперь вот эта поездка в Москву, и окно центрального экрана, и многомиллионная аудитория, и новые знакомства, лица, люди, новые ощущения. И зачем ей во всем этом Заур?

И все-таки она сказала, или ему показалось, что сказала: «Прилетай в Москву, Зауричек».

– Кто это был? – крикнула из кухни Зивяр-ханым.

– Один приятель, – ответил Заур.

**4**

По весьма приблизительным и неполным подсчетам Заура, у них было около семидесяти семи родственников, проживаю­щих как в Баку, так и в других городах, поселках городского типа и селах Азербайджанской ССР. Подсчетам отца и матери верить нельзя было. Когда, подтрунивая друг над другом, они начинали перебирать родственников, то цифры получались разные. По подсчетам матери получалось, что больше родственников у отца; по отцу – наоборот, у матери. Мать отказывалась признать своей родственницей троюродную сестру мужа внучатой племянницы своего дяди, в то же время считая близкой родней отца шурина сына мужа его же двоюродной сестры. «Во всяком случае я помню, как во время вступительных экзаменов в вуз он обратился к тебе как к близкому родственнику и ты ему помог, – говорила она профессору и не без злорадства добавляла: – Правда, ни до, ни после мы его и в глаза не видели».

И верно, помимо родственников со стороны матери и отца, были и «сезонные» родственники, неизвестно чьи, но весьма настырно и как дважды два доказывающие нерушимые родст­венные связи, берущие начало неизвестно в каком колене и по этой причине требующие гостеприимства, помощи, поддержки, содействия, звонка, покровительства и так далее. Приезжие бойко цитировали при этом образцы народной мудрости и изречения восточных философов, сводящиеся к неоспоримой мысли, что человек человеку – опора, по крайней мере, в труд­ный день, и кто же, как не близкий (или дальний) родственник, должен протянуть руку в час испытаний (прежде всего экзаме­национных).

Отец окрестил этих родственников «сезонными», ибо такое обилие фольклорной и книжной мудрости звучало в их доме обычно в пору летних вступительных экзаменов в вузы, хотя и в другие времена года отцу приходилось выслушивать различные просьбы: помочь с жильем, с лечением, с устройством на работу, с научной карьерой. Меджид Зейналлы был по натуре добрым человеком и в меру своих сил, возможностей и связей старался помочь, если это не было обусловлено какими-то очень уж сложным и заранее обреченными хлопотами, хотя порой, когда облагодетельствованный проситель, получив свое, навсегда исчезал с горизонта, отец тоже вспоминал фольклор и под единственную мелодию, которую он знал, под мелодию мугама «Сегях» напевал вполголоса слова народной песни «Багда эрик вар иди – салам-мелик вар иди. Багда эрик гуртарды – салам-мелик гуртарды»[[20]](#footnote-20). Но пел он, скорее всего, для собственного удовольствия и не претендовал на то, чтобы это было принято как философский вывод о людской неблагодарности. И все же, помимо этого изменчивого и неопределенного списка «сезон­ных» родственников, был и довольно твердый и определенный костяк действительно близких родственников – родных и двоюродных сестер Зивяр-ханым, ее тетушек и дядюшек и единственного близкого родственника отца, проживающего в Баку, его двоюродного брата – тоже профессора – Бахрама Зейналлы.

Обычно они собирались в связи с каким-либо событием. И сегодня, в день рождения Заура, их набралось человек пять-шесгь. Но ведь были еще и подруги матери, и сослуживцы, если не сказать приятели отца, и в их числе ассистент его по кафедре Шахин, с которым Заур когда-то вместе учился и который был незаменимым человеком для семьи Зейналлы: доставал дефи­цитные товары, брал на себя устройство такого рода угощений... С соседями они особо близких отношений не поддерживали. Пришли, как и предсказывала Зивяр-ханым, лишь Муртузовы – глава семьи, полковник в отставке Муртуз Балаевич, как всегда в подобных случаях увешанный наградами, его жена – Алия-ханым и дочь Фирангиз, которой и устроили смотрины обе семьи по молчаливой договоренности. Однако с Муртузовыми пришла еще одна пара, что было уже сверх программы и, вероятно, свидетельствовало о серьезности положения.

Алия-ханым, не то объясняя, не то извиняясь, сказала:

– Вот Джаббар с Таирой нагрянули, и мы решили их тоже затащить.

Таира была младшей, вернее, средней сестрой Алии, ибо была еще и младшая – Сурея, жена Неймата, который работал переводчиком в том же издательстве, что Заур, и которого Заур считал абсолютно серой и заурядной личностью. Таиру же и ее мужа Джаббара он видел впервые.

Зауру был понятен смысл и этого неожиданного визита – смотрины устраивали не только Фирангиз, но и ему, Зауру, во всяком случае ближайшие родственники (а Таира, видимо, была не только сестрой, но и ближайшей советчицей Алии) должны были увидеть и Заура, и его семью, и их круг, и родню, да и квартирные условия, обстановку, атмосферу, возможности, словом, все то, что в будущем могло бы составить семейное счастье «дорогой Фирочки». Зауру была смешна вся эта возня и отчасти противна. Но он старался погасить в себе неприязнь и быть приветливым со всеми, и вдруг ему самому непонятная волна любви и умиления ко всем этим людям, совершенно ему безразличным, охватила его, и он удивился своему настроению, не понимая его причины. Обычно в дни рождения он испытывал совсем другие чувства: некоторое раздражение и нетерпеливое желание, чтобы день этот с его зряшной суетой наконец кончился. Но нынче весь день, а впрочем, и всю предыдущую ночь, начиная со звонка, он чувствовал себя переполненным каким-то непонятным и незнакомым никогда прежде чувством любви ко всему человечеству и конкретно к каждому человеку, встреченному им на работе, на улице, а теперь вот и дома. Он в сотый раз дотрагивался до зажигалки «Ронсон» в кармане пиджака, которую сегодня занесла ему на работу Медина – соседка Тахмины – вместе с цветами и поздравлением. И сейчас, то и дело щелкая зажигалкой, он был так переполнен своим тайным счастьем, что не совсем ясно воспринимал все то, что говорили ему и говорили вообще, и пытался обворожительной улыбкой и одними лишь «да» и «нет» поддерживать беседу, которую завел с ним Джаббар, муж Таиры. Слова Джаббара доходили до него откуда-то издалека, обрывками, хотя они и сидели рядом на диване и Джаббар степенно и солидно говорил, кажется, о нем самом, о Зауре.

– Я понимаю, – доносился откуда-то голос Джаббара, – вам трудно будет защититься в том институте, где работает ваш отец. Злые языки будут болтать всякое, но вот в нашем институте я могу поговорить, чтобы вы защитились, не теряя драгоценного времени...

Заур пытался сосредоточиться и понять, о чем толковал Джаббар, что, собственно, ему надо, но мысли его путались, ибо наравне с голосом Джаббара до него долетали и другие голоса – отца, матери, Муртуза, Алии, Таиры, других гостей. И лишь Фирангиз молчала. Но он слышал и ее молчание, наполненное, как ему казалось, мыслями, внушенными ей Алией-ханым. Голоса сливались в общий гул, и, не прислушиваясь ни к чему, он тем не менее слышал обрывки фраз и мог безошибочно определить, кому они принадлежат.

– Он был у меня замполитом, замухрышка этакий, а теперь вот встречаю на улице – еле здоровается. Помню, под Можайс­ком я вызвал его к себе, была распутица, артиллерия застряла... – это говорил Муртуз.

– Взял меня в склад: мама, выбирай, что душе твоей угодно. Знаете, Зивяр-ханым, я глазам своим не поверила – ну, все, что можно себе представить!.. А он говорит: мама, что же ты мне раньше не сказала, да это же пара пустяков... – говорила Алия-ханым, гордая влиятельностью своего сына Спартака. Эту историю Заур непосредственно из ее уст или в пересказе Зивяр-ханым слышал по крайней мере раз пять. Спартак был любимой темой Алии-ханым, хотя и не единственной: заслуги мужа и скромность дочери были второй и третьей темами Алии.

– Для начала я могу поговорить с ученым секретарем, он меня очень уважает. Можно защититься очень быстро. Как вы на это смотрите?

Заур сосредоточился на голосе Джаббара: вопрос был обращен к нему.

– Да, это мысль, – ответил Заур самой длинной фразой за весь вечер и услышал голос своей матери:

– Заур, включи-ка телевизор, а то гости скучают.

Заур включил телевизор, и через некоторое время к живым голосам гостей добавился голос с экрана – выступал спортивный комментатор: «Наши волейболисты продемонстрировали чет­кую, целеустремленную игру и добились заслуженного успе­ха...»

– А сейчас он стал шишкой какой-то и еле здоровается. Я его поймал, говорю, слушай, негодяй ты этакий...

– Когда хочешь, мама, в любой момент этот склад к твоим услугам. Я взяла только вот это платье для Фиры, французские сапожки – тоже для нее, для меня были малы, несколько кофточек для себя, два покрывала – это уже ее приданое, право, даже не знала, что взять, глаза разбегаются...

Мне ничего не стоит, я могу и замдиректора по научной части, он тоже меня очень уважает, лишь бы не упустить драгоценного времени...

– Да нет, говорит, я вас просто не узнал... Как же, помню, все помню, все добро ваше помню, как можно забыть? То-то, гово­рю...

– И дубленка была отличная, расшитая, ну, как у Спартака, но дамская, хотела взять Фире, да думаю...

«Оживленно проходили и сражения на ледяном поле...»

– Прошу, прошу за стол!

За столом Заур оказался между Джаббаром и Таирой напротив Алии и Фирангиз.

– Шахин, наполни, пожалуйста, бокалы.

– Давайте выпьем за тамаду, Муртуза Балаевича, – сказал отец Заура.

Зивяр-ханым вместе с Шахином разнесли пироги, торты, пирожное, пахлаву и шекербуру, разлили чай. Зивяр-ханым села рядом с Алией-ханым.

– Я и представить не могла, что в Баку можно все это достать за свою цену. А Спартак смеется надо мной: эх, мама, говорит, вы своего сына мало цените.

– А где Спартак, почему он не явился? – спросил Меджид.

– А кто его знает, где он сейчас болтается, – сказал Муртуз Балаевич, – за какой юбкой увивается, – не без тайной гордости добавил он и подмигнул Алии.

Алия укоризненно, но тоже не без тайного удовольствия покачала головой, а Фирангиз зарделась.

Муртуз Балаевич поднялся, несколько раз кашлянул и сказал:

– Ну что ж, так уж положено – за именинника, что ли?! Ну, будь здоров, богатырь.

Заур отпил коньяк и почувствовал, что даже Муртуз Балае­вич не раздражает его сегодня, как обычно, и что он испытывает даже нечто вроде симпатии к этому бравому вояке.

– И директор со мной считается, могу и с ним поговорить, – сказал Джаббар.

– Таира, положить тебе торт?

– Спасибо, – коротко ответила Таира. – За мной молодой человек поухаживает.

– Ах, извините, – опомнился Заур и положил ей пирожное, кусочек торта. И в этот момент услышал знакомый голос. Он вздрогнул и повернулся к телевизору. На экране улыбалась Тахмина.

«Добрый вечер, уважаемые телезрители, – сказала она. – Начинаем программу азербайджанского телевидения. Мы привезли вам из нашего солнечного Баку...»

Она говорила еще какие-то заученные слова, но Заур ничего не слышал, охваченный никогда ранее не испытанным чувством нервного и счастливого потрясения. И уже наперебой говорили гости, и Заур не определял, кому какая реплика принадлежит:

– Смотрите, смотрите, это Москва передает! Наша, бакинская программа!

– Да было же объявлено в газете.

– А это кто, новый диктор, что ли?

– Да это же, как ее, ну...

– Тахмина, – сухо сказала Алия-ханым. – Теперь она дикто­ром стала.

– А, это же та самая, – сказал Муртуз. – Ну, эта, наша...

– Да, да, – прервала его Алия за миг до того, как с уст Муртуза должно было сорваться имя, и Заур знал, что это было бы имя Спартака.

Тахмина продолжала говорить и улыбаться точно так же, как улыбалась на работе, в машине, на пляже, улыбаться миллио­нам зрителей. Она о чем-то говорила, кою-то представляла, и все в этой комнате, далеко от нее, обсуждали ее наряд, прическу, образ жизни. Мужчины многозначительно посмеивались, женщины громко критиковали ее платье и украшения («Выря­дилась, пообвесилась, как елка»), прическу, косметику, манеру держаться, дикцию, в общем, все, и шепотом добавляли друг другу на ухо все новые и новые подробности, и каждый раз та, что подставляла ухо и слышала нечто новое, картинно удивля­лась и укоризненно качала головой. А Заур – он был уже слегка пьян – в этот момент понял окончательно, что любит Тахмину гак, как никогда не любил и не полюбит. А впрочем, неважно, называть ли его чувство к ней любовью, или увлечением, или влечением, – правда заключается не в словах, а в том, что он не может жить без нее и она дороже, ближе ему всех в этой комнате, даже матери и отца. И уже никакого значения не имело то, что зашел Спартак не затем, чтобы поздравить его, а просто за ключами («Пришел – и в дом не могу попасть»), увидел «Ронсон» в руках у Заура, как-то многозначительно и с особым смыслом попросил показать, повертел, покрутил, вернул и хотел уже было уйти, но, только сейчас заметив Тахмину на экране, ухмыльнул­ся и сказал: «Ого, Тахмуша делает успехи». Но теперь все это не имело для Заура значения, он так же любил бы Тахмину, будь она трижды любовницей Спартака или хоть самого Муртуза Балаевича.

Потом Спартак ушел, и все замолчали, слушая концертные номера, а в паузах между номерами Муртуз говорил, что никто из нынешних певцов ему не нравится, то ли дело старые ханенде[[21]](#footnote-21), да и вообще артисты, писатели, художники сидят на шее у народа и зажрались на государственных харчах, потому и пьянствуют.

– В парткоме я могу переговорить завтра же, – сказал Джаббар. – Думаю, что это запросто можно устроить и не позже чем через год вы защититесь.

– Видел я таких артистов: как на передовую, так все больны – у одного колит, у другого катар, а звания да гонорары получать, отбою от них нет, – сказал Муртуз.

– Ешьте, пожалуйста, птишу, – сказала Зивяр-ханым.

– Не могу, у меня диабет, – сказал Муртуз Балаевич.

– Я помню, как Спартак... – начала Алия-ханым.

«Спасибо за внимание, дорогие телезрители, – сказала Тах­мина, замешкалась на секунду и, заметно волнуясь, все же реши­лась и прерывающимся голосом добавила: – В заключение мне хочется поздравить тех телезрителей, у которых сегодня день рождения».

Заур замер на мгновение, а потом почему-то сразу посмот­рел на мать. Они быстро переглянулись, из всех в этой, комнате мать одна все поняла.

Заур подумал о том, что эта фраза, безусловно самовольная и не предусмотренная текстом, может дорого обойтись Тахмине, но он знал, что только она и могла на такое решиться, чем бы ей это ни грозило, и решилась она именно из-за него. Чтобы он знал, что даже сейчас, в эту заполненную другой ее жизнью минуту, она помнит его и думает о нем.

Сейчас ее слушают и видят миллионы, и, наверное, среди них наберется сотня, у которых сегодня день рождения, но имела-то в виду она именно его, Заура, его одного. Впрочем, может быть, это чистое совпадение? Однако прежде чем покинуть экран, Тахмина сделала ему еще один подарок – откинула прядь волос со лба движением, которое он гак любил. Слова – любые – могут обмануть, но движение... На всем белом свете оно предназначалось лишь одному – Зауру.

– Я завтра же переговорю в месткоме, – сказал Джаббар.

\* \* \*

Всю ночь он не сомкнул глаз. Утром первым пришел на работу и, не находя себе места от нетерпения, стал дожидаться старого бухгалтера дядю Сафтара, который всегда приходил на работу первым, а сегодня оказался вторым.

– Дядя Сафтар, сегодня будете зарплату выдавать?

– Конечно, после обеда.

– Я дежурил на праздники, и у меня три дня отгула. Я могу их взять?

– Это уж тебе с замом надо поговорить.

Он поговорил с замом, зам удивился, но резолюцию наложил. В час дня Заур расписался в ведомости и получил 52 рубля 30 копеек. Теперь у него в кармане было ровно 95 рублей. Заехал в кассу Аэрофлота, взял билет, зашел на почту и дал телеграмму: «Москва. Центральное телевидение. Ведущему азербайджанской программы Тахмине Алиевой. Лечу тебе прямом и переносном смысле слова. 27 буду Москве рейс 853. Целую Заур».

\* \* \*

– Я знаю, зачем ты летишь! Это она вчера тебе глазки строила из Москвы! Никуда ты не поедешь! Ничего я не знаю! Все ты врешь: никакой такой срочной командировки у тебя нет. Все ты придумал. Вот придет отец, он с тобой поговорит. Как, ты даже отца не подождешь? Какой билет? Слушай, изорву я твой билет на мелкие кусочки. Да какое совещание? Слушай, я что, маленькая, не понимаю? Сейчас вот позвоню вашему директору! Ах, так, значит, тебе наплевать на нас, значит, тебе эта девка дороже отца с матерью? Так получается! И это за все наши заботы, за все труды и муки и материнские слезы! Вот как тебя окрутила эта стерва! А кто же она! И назову, и еще хуже назову! Вот позвоню ее мужу, своднику паршивому, ты меня еще плохо знаешь! И не жаль тебе меня, старуху! И отца не жаль, больного человека! Ну, хорошо же, поезжай, голодранец, ни копейки тебе не дам, поезжай куда хочешь, посмотрим, на что ты поедешь! Это уж не те времена, когда отец деньги тебе в карман совал в каждую твою поездку, и вот благодарность! Едешь – езжай и больше не возвращайся. Нет у меня сына!.. Ты куда собрался, Заур? Тебе что, меня совсем не жалко, сынок, родной мой, единственный, свет очей моих, да буду я твоей жертвой! Да как же мне не беспокоиться? Я же знаю, к кому ты едешь, опутала она тебя, что же дальше-то будет? О нет, я не переживу этого! Вернешься – найдешь меня мертвой. Ну куда ты, ну возьми шарф, там же сейчас дождь, холод. Ох, горе мое, горе! Умереть бы мне, чем видеть такое! За что мне это наказание? Слушай, дай хоть телеграмму, что долетел. До чего я дожила! А ведь я так мечтала о твоей свадьбе, и Алия, бедняжка, вчера такая радостная сидела. Тебя околдовали, точно околдовали, да отсохнет рука и язык у той, что тебя околдовала. Подожди же, я плесну вслед тебе водой. Боже, за что же мне такое?..

**5**

«А теперь выслушайте некоторые сведения о нашем полете. Наш маршрут пролегает над Дагестаном, Калмыцкими степями, над Поволжьем и средней полосой России. В полете мы будем находиться три часа сорок пять минут с момента взлета. В Москву наш самолет прибывает в шестнадцать сорок пять. Время московское».

– Это же вздор, – сказал человек в очках, с худым длинным лицом. Он сидел рядом с Зауром и углубился в книгу, как только опустился в кресло. Он читал все время – пока самолет взлетал, набирал высоту; не отрываясь от книги, застегнул ремни и отказался от взлетных конфет, разносимых предупредительной стюардессой. Табло погасло, все расстегнули ремни, курили и свободно передвигались по самолету, кто в туалет, кто к знакомым в другом салоне, кто перекинуться шуткой с хорошенькими молодыми стюардессами, и лишь сосед Заура, не отвлекаясь ни на минуту, читал и читал свою книгу, аккуратно обернутую газетой, и вот на втором часу полета резко захлопнул ее, обратился к Зауру настолько уверенно, как будто они были давно знакомы, яростно о чем-то спорили и настал момент поставить точку над «и».

– Это чистейший вздор, – еще резче повторил сосед Зауру.

– Что именно? – с недоумением и не без робости спросил Заур.

– Ну, вот это самое, – брезгливо указал сосед на книгу, – Аббат Берни получил кардинальскую шапку отнюдь не за франко- австрийский договор, а чуть ли не десять лет спустя, когда находился в почетной ссылке. Сан кардинала, собственно, был позолоченной пилюлей. А в начале пятидесятых годов это был «юный министр», как назвал его Казанова. Юный министр, известный до тех пор только своим остроумием.

И Заур выслушал страстную речь соседа, рассказавшего ему подлинную историю французского королевского двора при Людовике XV и доказавшего постыдную некомпетентность авторов книги.

– Сен-Жермен наверняка был шпионом, – говорил сосед с таким видом, словно речь шла о современниках, а может быть, и людях, которых он знал лично. И Заур гадал, с кем он имеет дело – с маньяком, страдающим навязчивой идеей, с чудаком, помешанным на французской истории XVIII века, или с ученым, углубившимся в суть проблемы. В любом случае это был искренне взволнованный и глубоко возмущенный человек.

– Да вы не переживайте! Не принимайте все это так близко к сердцу, – только и смог вставить Заур, не понимая, сострил он или проявил нешуточное участие.

– Да как же не переживать? Ведь достаточно заглянуть хоть в фонвизинские «Письма из Франции», чтобы понять, что Сен-Жермен – не столько шарлатан, сколько шпион. Да вспомните вы, как он предлагал Фонвизину золотые горы только за то, чтобы тот отписал в Петербург о его проектах. А Казанова? Зачем далеко ходить? Откройте вторую главу седьмого тома! Уж он-то хорошо знал Сен-Жермена... Но бог с ним, с Сен-Жерменом. Мерзавка Помпадур...

И последовала длинная история королевских фавориток, дворцовых интриг, сокрушительного провала аббата Берни, проблем европейской и собственно французской политики, и Заур вдруг почувствовал, как, загипнотизированный темпера­ментом собеседника, впадает в какую-то иную историческую реальность и для него становится действительно важным – был ли граф де Сен-Жермен только гипнотизером и гадальщиком или к тому же шпионом и заговорщиком, и увидел, что для этого тщедушного человека, судя по его горящим глазам и срываю­щемуся от волнения голосу, это не менее важно, чем та реальная и сегодняшняя причина, которая заставляет его лететь в Москву. Уж не едет ли он восстанавливать честь аббата Берни в Москве в самых высоких инстанциях! Может быть, во французском посольстве?

– А какая у вас специальность?

– Я преподаю историю в средней школе, – ответил сосед и снова заговорил о хронологических неувязках пребывания Берни в Париже, Венеции и Риме.

– Вы преподаете в Баку?

– За городом. В Кишлах. Я точно сверил даты по французс­ким первоисточникам.

– А в Москву – в командировку?

– Да, на курсы усовершенствования. Я утверждаю, что, если бы король один раз не послушал маркизу де Помпадур, государственным языком Америки теперь был бы французский.

«Наш самолет пошел на снижение, – раздался из динамика голос стюардессы, – Прошу застегнуть ремни и воздержаться от курения».

И Заур больше не слышал ни доводов своего соседа, ни других голосов и думал лишь о том, получила ли Тахмина его телеграмму.

\* \* \*

Уже на верхней ступеньке трапа он ощутил освежающую чистоту московского воздуха после недавно прошедшего дождя. И синева омытого дождем неба нависла над летным полем, по которому они шли к стеклянной галерее аэровокзала, а там, в конце стеклянной галереи, где проходила граница между встречающими и провожающими – с одной стороны, и улетаю­щими и прилетающими – с другой, стояла она – Тахмина, и Заур сразу ее увидел и помахал рукой. Тахмина тоже увидела его, рванулась, но девушка в синем форменном костюме с улыбкой преградила ей путь. Тогда побежал Заур. Он не знал, как добежал эти семь-восемь метров, но уже через несколько секунд Тахмина повисла у него на шее.

– Зауричек, какой ты молодчина, что прилетел, – сказала она.

(И много-много лет спустя, до глубокой старости, вспоми­ная счастливые и печальные периоды своей жизни, он всегда помнил, что если у него и были счастливые годы, месяцы, неде­ли, дни, часы и мгновения, то самым счастливым, самым-самым счастливым было вот это мгновение в стеклянной галерее Домо­дедовского аэродрома: он увидел ее издали среди встречающих и помахал рукой, и она увидела его среди прилетевших и хотела рвануться к нему, но ее не пустили, и тогда он побежал к ней, и она бросилась ему на шею и сказала самые простые слова: «Какой ты молодчина, что прилетел»).

\* \* \*

– Багаж? – сказал он. – Ты смеешься, что ли? Я гол как сокол. Поехали.

– Нет, – сказала она. – Пока я тут тебя дожидалась, прошлась по лесу, тут рядом с шоссе удивительный лес. Я хочу там прой­тись вместе с тобой.

Они сошли с асфальта и углубились в лес, и он хотел поце­ловать ее, но Тахмина сказала:

– Подожди, послушай. Слышишь?

Это было почти неправдоподобно, но он действительно услышал. Здесь, по соседству с крупным современным аэродро­мом, рядом с бесконечным гулом садящихся и взлетающих самолетов, со свистом мчащихся по шоссе автомобилей – в лесу пели птицы.

– Невероятно, правда? – сказала она. – Невероятно! Поют как ни в чем не бывало. И они поют для нас с тобой, Зауричек – Она обвила руками его шею. – Зауричек, слушай! – Она теперь говорила шепотом. – Наверное, я этого не должна говорить по всем правилам игры или жизни, но я люблю тебя. Больше того, я без ума от тебя. Больше того, я не могу жить без тебя. Никто мне не нужен, кроме тебя. Правда, я всего этого не должна говорить: теперь ты загордишься и задерешь нос. Но это так.

– Тахмина, – тоже шепотом сказал Заур, – и я, наверное, тебе этого не должен говорить, но клянусь тебе – это правда: я без ума от тебя. Я не могу жить без тебя ни дня, ни часа. Я могу сейчас вот умереть от счастья. Или, если ты скажешь, я сейчас выскочу на шоссе и брошусь под машину.

– Глупый, зачем под машину? Слышишь птиц?

– Ага.

– Слышишь, их две. Одна мудрая такая, старая. Она не верит нашей любви. Она знает, что все кончится, и смеется над нами.

А вот другая, слышишь, еще юна и проста. Она верит. Верит, что мы с тобой докажем всем – можно еще любить и быть счастли­выми. Ведь можно, Зауричек?

Он рассказал ей о дне рождения, гостях, соседях, даже о том, что ему хотят сосватать Фирангиз. Он был настолько опья­нен счастьем и верой, что чувство, переполнившее и его и ее, страхует их от всех болей и досад, что не мог представить себе, как это сообщение могло бы огорчить Тахмину. И действитель­но, только легкая тень пробежала по лицу Тахмины, она по- прежнему счастливо улыбалась и вместе с ним потешалась над его предполагаемой женитьбой, и целовала его, и рассказывала о своей новой работе, и о приезде в Москву, и о вчерашней передаче, и о том, как ее здесь расхвалили. Они вышли из лесу и шли по шоссе к Москве, им хотелось дойти до нее пешком, хотя они и знали, что до Москвы не менее семидесяти километров.

И Заур, уверенный в прочности их счастья, теперь, когда им обоим все стало окончательно ясно и известно и понятно про то, что их связывает, – а это самая настоящая любовь, и здесь никаких сомнений быть не может, – теперь мог расспрашивать ее о чем и о ком угодно, не опасаясь, что ее ответы или умолчания могут причинить ему боль. И он спросил о Спартаке, вернее, он рассказал, какие муки испытал из-за сплетен о ее связи со Спартаком и как он ходил по улицам и звонил ей из автоматов.

– Глупый, – сказала она, – нашел тоже, к кому ревновать. Спартак – это же дубина. Хоть и умеет делать деньги. Что у меня могло быть с ним? С ума ты сошел, что ли? Просто он встречался с моей подругой, я же тебе говорила, и я несколько раз по ее просьбе действительно звонила к ним. Его мать, очевидно, потом узнала, что это была я, но никаких объяснений у меня с ней не было, тем более – ничего скандального. Да что ты! Стала бы я еще объясняться с ней! Невысоко же ты меня ставишь.

Ему хотелось спросить Тахмину и про других – заведующих складами, цеховщиков, директоров магазинов, о которых гово­рил Дадаш, но он не знал, как к этому подступиться и стоит ли осквернять такой вечер, и, как бы угадав его мысли, она сама сказала:

– Зауричек, обо мне говорят многое, а теперь именно тебе будут говорить и еще больше. Если догадаются, что мы по- настоящему счастливы, нам этого никогда не простят. И тебе всякое будут говорить. Я хочу, чтобы ты, Зауричек, запомнил: я не святая, пусть на этот счет у тебя не будет иллюзий. Но и то правда, что никого я еще не любила, как тебя, и никому не говорила этого. И потом, если нам сейчас хорошо, Зауричек, разве это не самая главная правда? Есть правда этого дня, когда я увидела тебя на галерее и ты побежал ко мне, правда этой нашей встречи, этого леса с птицами, ведь их не придумаешь нарочно, они есть. Есть вот эта дорога, по которой мы идем к Москве, этот вечер и мы. И нам хорошо как никогда. Это и есть правда. Подлинная, настоящая и единственная. Клянусь тебе, Зауричек.

\* \* \*

Они долго шли по шоссе, и машины на бешеной скорости мчались мимо, потом, почувствовав усталость, они сели в приго­родный автобус и поехали в Москву вместе с людьми, возвра­щавшимися с работы, прогулки, рыбалки и ничего не знавшими о том, какая счастливая пара едет с ними.

Они вышли на площади Ногина, спустились к реке и побре­ли по набережной.

– А вот и моя резиденция, – сказала Тахмина, указывая на освещенную громаду гостиницы «Россия», – живу на западной стороне.

Они миновали гостиницу, Кремлевские стены, прошли под Большим Каменным мостом, мимо бассейна «Москва», добра­лись до Крымского моста, пересекли двор дома с рекламой Аэрофлота на крыше и вышли на Садовое кольцо.

Они шли под руку и в обнимку, шалея от счастья быть вместе и ощущения свободы в большом городе, где их никто не знал и им незачем было прятаться в машине или уезжать на дальние пляжи. Они сбросили с себя груз забот, среды, услов­ностей, чувствовали себя восемнадцатилетними озорниками, ребячились, здороваясь с незнакомыми прохожими, покупая друг другу цветы и затем даря их первой встречной паре, звони­ли из автоматов по бакинским номерам и, радуясь столь остроум­ной выдумке, набрали даже номер Дадаша, и московский абонент долго переспрашивал незнакомое кавказское имя. Они спорили, совпадают ли голоса обладателей одних и тех же телефонных номеров в разных городах. В холле гостиницы они поспорили на деньги – какой из лифтов придет первым. Лифт, на который поставила Тахмина, пришел первым, и Заур отдал ей рубль. Они выстояли очередь в киоск справочного бюро, чтобы узнать адрес самых счастливых людей в Москве, и в ответ на недоумение и раздражение девушки-«справочницы» назвали себя. Они вошли в тир, Заур стрелял и выиграл духи «Быть может», которые подарил Тахмине. Они передали привет продавщице мороженого от ее знакомого – дяди Миши, дважды перешли улицу в неположенном месте и на третий раз попались. Милиционер оштрафовал их и, когда Заур покорно заплатил рубль, выписал квитанцию, и это поразило их, не привыкших к такому в своем городе, а когда Тахмина, дважды перечитав кви­танцию, обнаружила там, помимо подписи старшины Трофимо­ва, еще и дату – 27 октября, она аккуратно положила квитанцию в сумку.

– Вот и квитанция нашего самого счастливого дня, – сказала она. – Дата подтверждена подписью самого старшины Трофимо­ва. Мы сохраним эту квитанцию на всю жизнь как документ единственной нашей вины на свете – неправильного перехода Кутузовского проспекта.

– Договорились, – сказал Заур.

– Пойдем ко мне.

– К тебе?

– Да. Я в номере одна. Где же ты будешь ночевать? Ведь устроиться в гостинице не так-то просто.

– Но ведь меня не пустят к тебе.

– Пустят, – сказала она. – Мы с дежурной уже успели подру­житься. Она вчера тоже видела меня по телевизору.

Заур подумал о том, что, хотя они давно уже не были вместе, мысль о близости не приходила ему в голову все это время и лаже в лесу, когда они были совершенно одни, но вот теперь, когда она позвала его в свой номер, само это предложение возбудило в нем желание, и все же где-то в глубине души его покоробила ее умелость: и ничего-то ей не стоит договориться с дежурной и пустить к себе мужика. Заглушаемое им, но не погашенное подозрение, что она это делала и до него и без него, могло отравить и весь вечер, и все счастье предстоящей ночи. И опять безошибочным чутьем угадав его мысли, Тахмина сказала:

– Ради бога, только не думай, что я уже практиковалась в этом. Просто я сегодня днем показала ей твою телеграмму и рассказала все как есть, и она меня поняла.

\* \* \*

– Подожди, не так, ну, подожди, глупый, я сама сниму, осторожно, порвешь... Ну иди сюда, я так соскучилась по тебе... не туши света... пусть останется... Вот так, мой хороший... люби­мый... красавец мой, единственный мой, боже мой... с ума сой­ду... как хорошо, боже мой... Какой ты великолепный, Зауричек, и как ты мог без меня... я не могу без тебя, Зауричек, мой хоро­ший, любимый... ты мое счастье, мой муж... мой хороший...

Она говорила ему самые нежные слова ночи, и самые жгу­чие, и самые стыдные, а из невыключенного репродуктора зву­чала тихая музыка и женский голос устало и грустно напевал, а потом, когда они спокойно лежали и курили, Тахмина сказала:

– Заур, а ты знаешь, что это за музыка?

– Нет.

– Это старинная грузинская песня. Мы любим друг друга под грузинскую музыку.

Ему показалось, что это прозвучало претенциозно, и он сказал:

– А что касается маркизы де Помпадур...

И впервые за весь этот день и эту ночь она сказала печально и твердо:

– Вот когда меня не станет и ты ненароком услышишь эту музыку, ты сразу вспомнишь сегодняшнюю ночь и нашу любовь.

– «Когда меня не станет», – передразнил он. – Опять ты за старое. Мы же договорились, что всегда будем вместе.

– Да, конечно. Но, знаешь, все может быть. У тебя могут быть, да и будут, если все-таки смотреть правде в глаза, другие женщины. Но ни с кем, Заур, не будет так. Ну, не может быть, чтобы все точно так повторилось с другой. И чтобы грузинская песня была. Так не бывает. И потому я спокойна.

(Она оказалась права.)

– А теперь спи, – сказала Тахмина.

\* \* \*

В десять утра он купил билет на бакинский самолет в переходе станции метро «Маяковская». Внизу на перроне они расстались. Тахмина уехала на телестудию. У нее была репети­ция днем и передача вечером.

– Встречаемся сразу же после передачи, ровно в девять, у входа на Шаболовке, – сказала она и долго махала рукой из окна вагона метро.

Он не спеша поднялся по эскалатору и вышел на площадь Маяковского. У входа в Концертный зал Чайковского висели большие афиши Греческого театра, вечера устных рассказов Ираклия Андроникова, скрипача Леонида Когана, французской органной музыки и квартета Комитаса.

Заур пошел по правой стороне улицы Горького по направ­лению к Центральному телеграфу. Он провел бессонную ночь, не завтракал, но не чувствовал ни голода, ни усталости. Он шел по мокрому после утреннего дождя тротуару и в эти часы без нее был так же переполнен ею, ее ночными словами, шепотом, прикосновениями, как и десять минут, час, семь, восемь часов назад. И в шуме проезжающих машин, в говоре прохожих, в выкриках продавца книжных новинок ему слышался голос Тахмины. Он вздрагивал от сходства проходящих женщин с Тахминой. Все красивые женщины осенней московской улицы казались ему чем-то похожими на Тахмину, но ни одна из них не могла идти в сравнение с ней. Он прошел весь маршрут их вчерашнего пути, пытаясь оживить в памяти вчерашние разговоры, и впервые за двадцатипятилетнюю жизнь был полон таким неомраченным, всепоглощающим счастьем. Он впервые узнал, что можно быть счастливым от одних лишь мыслей о любимой женщине, которая только что была рядом и уехала, махая рукой из вагона метро, и они непременно и точно встре­тятся через несколько часов, и ни с чем не сравнимой радостью станет просто самый факт их встречи. Он будет ждать ее у незнакомых дверей таинственного для него учреждения в чужом городе, и она выйдет к нему после работы, улыбнется ему одному, так же, как она улыбалась с экрана, но теперь она улыбнется не всем и не по обязанности, а только ему, Зауру. И возьмет его за руку, и одно это прикосновение будет полно нежности и счастья. Он почувствует это счастье, ощутив на своем плече ее склоненную голову, легкое щекотанье ее длинных волос, брошенных на лицо ему ветром, ее пальцы, скользящие по его руке... И будет счастье пронзительного ощущения, когда она случайно, а может быть, и не совсем случайно, прижмется к нему в давке метро, в уличной толпе. И в нем звучал ее голос, ее смех, то нервно-напряженный, то спокойно-удовлетворенный, то тихий и нежный. В нем звучали ее слова, откровенные, бесстыдные, и робкие, грустные, и ее любовное мурлыканье, и долгие разговоры, и минуты покоя в теплой ночной тишине. Сколько она наговорила ему и о себе, и о нем самом, Зауре, и о разных людях, знакомых и незнакомых, в эту долгую московс­кую ночь – больше чем за время всех их летних встреч.

Больше всего она говорила о себе, о своем детстве. Перед глазами Заура вставала апшеронская дача, разноцветные пионерские линейки в последний день лагерного сезона, прощание с летними каникулами и воскресные мугамные концерты в четырнадцать ноль-ноль, когда медлительное и знойное пение растекалось над всем погрузившимся в полдневную летнюю спячку селением и побережьем, и все очарование тихих и печальных дачных вечеров с далеким стрекотанием цикад и одинокими гулкими гудками электричек.

Обо всем этом – о своем детстве, прошедшем на дачах, – она говорила как о далекой потерянной стране. Она рассказывала о сыпучих песках, раскаленных днем – ногой не ступишь, и холод­ных – в лунные ночи, когда она перепрыгивала между кустами винограда и боялась наступить на притаившуюся змею, серебристую под серебряным сиянием луны и слившуюся с серебристыми песками. Сколько легенд о змеях, влюбленных и преследующих жертву своей любви, наслышалась она от соседских детей! К ним она и ходила по вечерам на соседнюю дачу, к своим друзьям – девочкам и мальчикам, и они весь вечер играли в домино, в лото, в названия городов или рассказывали друг другу страшные истории, а потом, уже поздним вечером, возвращаясь к себе, она сладко замирала от страха – боялась причудливых теней летней ночи, которые и пугали, и завора­живали. И на цыпочках пробиралась к своей постели под большим пологом от комаров и, стараясь не разбудить спящего отца и бабушку, еще долго лежала с открытыми глазами и смотрела на небо, усеянное крупным звездами, а издали, из Дома отдыха нефтяников, еще доносились звуки музыки и всегда напоследок заводилось танго «Уходящее солнце нежно с морем прощалось». Танго, которое именно из-за этих вот детских воспоминаний она и сейчас не может слушать спокойно... А там танцевали взрослые парни и девушки, старше ее, может быть, всего на десять – двенадцать лет, но тогда эта разница (как и сейчас, но в обратном измерении) казалась ей бездной. Это был таинственный, манящий и прекрасный мир взрослых – мир вальсов и танго, прогулок под луной парами в сторону моря, мир любви, встреч и расставаний, и ей было сладко от мысли, что для нее он еще впереди. И хотя никто из ее сверстников ей не нравился, она представляла себя танцующей в обнимку с неким красивым и высоким парнем, голубоглазым и непременно одетым в рубашку «апаш». Причем именно под музыку этого танго. Она представляла себе и этот танец во всех подробностях, и долгую прогулку по берегу, а потом и на парусной лодке по морю. Тахмина не помнила свою мать, но в эти летние ночи она порой и ее воображала по старым, выцветшим карточкам, хотя уже и не верила, как в раннем детстве, что произойдет чудо и окажется – мать ее не умерла, а жива и явится к ней.

Повзрослев, Тахмина поняла бесповоротность смерти матери и все же любила представлять ее живой, но уже не в будущем, а в прошлом. И ей представлялось, как мама, когда была совсем еще юной, и отец – тоже юный, только что позна­комились, и танцевали на берегу это самое танго, и так же серебрилась в море лунная дорожка. И Тахмина воображала, как им должно было быть хорошо и счастливо вместе в летние звездные ночи, и сердце ее сжималось не своей, а чужой тоской, и она не умом и логикой, а ранней догадкой сердца понимала горе отца, который так рано потерял любимую жену. Об этом маленькая Тахмина никогда особенно не задумывалась, она ско­рее чувствовала печаль, вызванную тем, что они сами – танцую­щие – сознавали обреченность этого танго, этой летней ночи, обреченность в быстропреходящем времени.

Она, конечно, тогда не понимала и не могла бы объяснить свои ощущения, но в этой чужой тоске, гложущей ее, была своя сладкая истома – ожидание собственного счастья, и бег времени, неумолимо отсчитывающий для других быстротечность их счастья, для нее означал влекущую даль будущего.

«У меня, в общем, всегда была дурацкая, как я сейчас понимаю, способность переживать ощущения других людей, – говорила Тахмина. – Пойми меня правильно, я не говорю о понимании чувств других людей, не о чуткости к другим, а именно о том, что в меня как бы вселялись их чувства и ощущения. И это сохранилось до сих пор. Я, например, могу видеть сны других людей. Не других людей во сне, а сны других людей. И я, представь себе, оказывается, способна отдавать свои сны другим. Об этой своей способности я узнала совсем недавно. Мне часто снятся белый лиман и красные корабли, и я как-то рассказала этот свой сон одному человеку, и, представь себе, на следующее утро он мне говорит, что видел точно такой же. Ну, я бы не поверила, но он слово в слово описал именно то, что вижу я». – «Это, конечно, был мужчина?» – спросил Заур. «Ты опять за свое? При чем тут мужчина или женщина? Ты что, теперь меня и к снам будешь ревновать?»

Потом она говорила о Манафе, стараясь подчеркнуть в нем какие-то привлекательные черты, стараясь чем-то оправдать и объяснить его, и все же в каждой ее фразе чувствовались неприязнь и презрение. «Слишком много связывает нас, чтобы все так легко можно было бы порвать», – сказала она, и Заур с бо­лью понимал, что через несколько дней она опять будет с Манафом под одной крышей, но боль от этой мысли перехлестывало ощущение счастья: зато сейчас, в эти минуты, они с Тахминой вместе, совсем одни и совсем рядом, и есть еще завтрашний день и завтрашняя ночь.

Тахмина говорила о своей соседке Медине, и Заур ревновал к другой ее жизни, неизвестной ему, к ее общению с соседями, с незнакомым ему кругом людей, к тому, что у нее есть близкий человек – Медина, о которой она говорит с таким теплом, с кото­рой она делится самым сокровенным, не опасаясь, что та может «предать меня, как множество других женщин, да и мужчин», которые лишь прикидываются друзьями, а норовят нанести удар в спину. Он ревновал ее даже к Медине, которую видел лишь раз, в день своего рождения, когда она принесла ему подарок Тахмины, но и это мгновенное чувство захлестывалось ощуще­нием счастья, оттого что даже близкая подруга, способная заменить ей всех друзей, не может заменить Заура и что он, Заур, знает о Тахмине больше, чем знает даже такая близкая подруга.

Разговор переходил на сослуживцев по издательству и по телевидению, говорили о Дадаше, о том, какой это все-таки неприятный и скользкий человек, о Неймате, который всегда казался таким тихим и безликим, но однажды чуть не в четыре часа утра позвонил ей, Тахмине, – нет, нет, отнюдь не для объяснения в любви, а чтобы излить душу, – нет, нет, он не был пьян, просто накипело у человека, и вообще никогда не следует судить о людях по внешним, поверхностным впечатлениям.

Говорили и о Спартаке. О том, что Спартак, конечно, прикрывается именем, авторитетом, заслугами отца, чтобы выходить сухим из воды, но обделывает свои делишки сам и в результате настолько богат, что может содержать и отца, и мать, и даже сестрицу-красавицу с ее будущим мужем и детьми. «Кстати, у тебя есть шанс, женившись на его сестрице, безбедно прожить всю свою будущую жизнь. Ну, хорошо, хорошо, не злись, я пошутила. Во всяком случае приданое он за ней даст что надо, а в будущем станет одаривать своих племянников и племянниц по-царски. А кто у него будет – племянник или племянница? Кого ты хочешь – мальчика, девочку? Ну, хорошо, хорошо, молчу, больше ни слова. Ты-то ревнуешь меня ко всем, а я не могу раз в жизни поревновать к твоей нареченной, к твоей будущей семье, детям. Хорошо, все, все, ни слова, молчу, молчу... А Спартак, он так обнахалился, что открыто сорт деньгами направо и налево. Когда он приезжает в Москву, то занимает в гостинице обязательно «люкс» и однажды очень разозлился, когда узнал, что никак не может остановиться в своем любимом пятикомнатном «люксе» с двумя ванными, так как в это время там проживал архиепископ Макариос». – «А откуда ты все это знаешь?» – «Сам рассказывал. Конечно, он ужасный брехун и все преувеличивает, но нет дыма без огня. Ты вот, например, можешь без командировки, без блата, без знакомств получить номер в московской гостинице? Нет! А он может! А все отчего? Деньги, милый мой, деньги!» – «А откуда у него столько денег?» – «Я же тебе говорила: он цеховик», – «Ну, знаешь ли, все они плохо кончают». – «Верно, он тоже попадется рано или поздно. Но у него и на этот счет есть своя философия. Да, да, представь себе, философия: пока я молод, надо жить, веселиться, иметь побольше денег, костюмов и баб, а там – хоть потоп». – «Не слиш­ком свежая мысль». – «А я разве говорю, что свежая? Все это старо, как мир, и потому, наверное, как мир, долговечно. И еще он говорит – это уж его собственный афоризм, – что у мужчины должны быть две заботы: как завести новую любовницу и как избавиться от старой...» – «А ты, я вижу, довольно подробно осведомлена о его образе жизни и образе мыслей», – «Зауричек, – сказала она удивленно, – ну неужели ты настолько глуп, что можешь ревновать меня к нему?» – «Нет, я просто не могу поверить, что в отношении к такой красивой женщине, как ты, он не проявил одну из этих двух своих забот». – «Спасибо. Ты даже допускаешь, что он заботился о том, как избавиться от меня?» – «Нет, надеюсь, в отношении к тебе у него была иная забота. Не могу поверить, что он не бегал за тобой». – «Ну конечно же бегал, да еще как. Чего только не обещал! Но какой он ни есть, а скоро понял, что я – не тот случай и меня всем этим не возьмешь. Кольца, серьги, шубы – разумеется, все это обещалось – не произвели на меня впечатления. Тогда... О боже мой, – она расхохоталась, – он вздумал читать мне стихи. Спартак – и стихи... Вот умора! Но это было, конечно, незабываемое впечатление...» – «Ну, и?» – «Что, ну и...? Результат был тот же. И когда он понял, что ничего не выходит, он стал просто волочиться за мной везде и всюду. Старается почаще попадаться на глаза и ждет своего часа. Не знаю, каким образом, он узнает, когда Манаф в отъезде. Подкатывает к нашему дому и оставляет свою машину прямо у парадного. И машина стоит там иногда до поздней ночи, иногда – до утра. А сам уходит неизвестно куда. Может, домой, спать. Знаешь, как в известном анекдоте о гареме: владелец гарема каждой из своих сорока жен говорит, что он у другой, а сам уходит к себе и спокойно ложится спать в одиночестве», – «А зачем?» – «Что зачем? Зачем владелец гарема это делает?» – «Нет, зачем Спартак оставляет машину у твоего дома?» – «А очень просто, он же довольно-таки известная личность в городе, и машину его знают. И меня знают. Знают, где я живу. Вот, пожалуйста, его машину видят у моего подъезда, да к тому же когда мужа нет. Пусть думают кто что хочет, он ни при чем, не он распускает слухи!» – «А почему ты не прекратишь это, не скажешь ему?» – «Я тебе уже говорила, Зауричек, мне наплевать на все, что обо мне болтают. Я считаю, что у человека должна быть своя мораль и ответственность перед ней. А он просто дурачок. Тешится, ну и пусть...» – «И ты, несмотря на это, поддерживаешь с ним отношения?» – «Ну, какие отношения, просто иногда он бывает полезен: достанет что-нибудь... Например, эту твою зажигалку достал он».

Заур вспомнил, как на дне рождения Спартак глядел на зажигалку, и лишь теперь понял, в чем было дело. Его передернуло.

«Если бы я знал...» – «Только, пожалуйста, без благородного негодования! Он достал, а я заплатила за нее свои кровные деньги. Хотя он и не хотел брать денег. Вообще справедливости ради надо сказать, что он не скуп». «Еще бы, – подумал Заур, – когда имеешь столько дурных денег, можно не скупиться, особенно для хорошенькой женщины». Все-таки его раздражало и их знакомство, и то, что о нем, о его дурных деньгах и широте замашек она говорила без возмущения. Заур знал, что никогда не сможет, да и не захочет быть таким, но ему хотелось тоже быть богатым и щедрым и делать дорогие подарки Тахмине. Он думал и о том, что, в отличие от Спартака, всецело зависит от роди­телей и не сможет противопоставить его эффектным жестам ничего, кроме постылых трюизмов о честности, порядочности... И при этом он был счастлив, что ни вся эта мишура, ни возмож­ность удовлетворить любую прихоть женщины, ни «люкс» архиепископа Макариоса, ни шуба, ни кольца, ни даже стихи не принесли Спартаку успеха у Тахмины и Тахмина любит его, Заура, ничем не примечательного и такого заурядного. И он мысленно отметил, что даже имя его присутствует в слове «заурядность».

Об этом своем открытии он хотел сказать Тахмине, но она уже говорила о Мухтаре Магеррамове, режиссере телевидения, замечательном человеке и настоящем друге, и, в ответ на скептические реплики Заура, требовала, чтобы, ради бога, он не ревновал к нему, потому что тут действительно ничего нет, хотя и там, со Спартаком, ничего нет и не могло быть, но там, по крайней мере, были поползновения с его, Спартака, стороны, а Мухтар никогда даже намеком не выказывал ей каких-либо чувств, кроме чисто дружеских, а впрочем, чужая душа потемки, и, может, он втайне и влюблен в нее. Во всяком случае, Мухтар – большая умница и очень одаренный человек, и она Заура обязательно с ним познакомит, кстати, ведь он сейчас здесь, в Москве. Это настоящий друг и в беде, и в радости. Друг, который по первому зову примчится в любой час дня и ночи, на любое расстояние, чтобы помочь. У него, правда, и свои проблемы: он не смог вполне проявить себя, хотя и довольно известен. Вот даже здесь, в Москве, она видела, как к нему относятся, знают его, уважают, зовут на настоящую работу. Удивительно способный человек.

Заур думал о том, что вот его, Заура, никто, кроме друзей, соседей, родственников, сослуживцев и парикмахера Самсона, не знает ни в Баку, ни тем более, здесь, в Москве. И не талантлив он решительно ни в чем, не только в искусстве, но даже и в своей профессии, и как это, в сущности, обидно: вот ведь с каким восхищением Тахмина говорит об этом Мухтаре Магеррамове... И все-таки он, Заур, несмотря на бездарность, счастливее Мухтара Магеррамова, потому что именно его, Заура, а не Мухтара Магеррамова с его тайной молчаливой любовью и не какую- либо другую знаменитость полюбила Тахмина.

А Тахмина все щебетала; она говорила о людях, всем из­вестных, малоизвестных и вовсе неизвестных, но заслуживаю­щих известности, о талантливых и умных, упорных и трудолю­бивых, занимающих большие посты, и ловких и умелых, она говорила о людях, добившихся всего самостоятельно и неза­висимых во всем, а Заур не принадлежал ни к одной из этих категорий, и каждый пример был уколом его самолюбию, – и все- таки он был счастлив, когда после всех этих разговоров Тахмина закрывала глаза и шептала ему:

«Ты мой любимый... милый... ты лучше всех... ты самый хороший...»

И ему хотелось сейчас, после пяти часов бесцельного хождения по Москве с постоянным ощущением в себе Тахмины, ее голоса, рук, неповторимого запаха, рассказать кому-нибудь о своем счастье, о своей любви, о ней, Тахмине. Ему остро хотело­сь поделиться своим ощущением счастья. Ему казалось, что после того, как он узнал силу своей любви, он может рассказать о ней даже матери и отцу, и они его поймут, ибо чувство такого накала не может не найти отклика. Они поймут, что он счастлив, а это самое главное, и мешать этому грех. Ему даже хотелось (правда, он подумал об этом не без иронии) поделиться своей радостью с семьей Муртузовых – с Алией-ханым, с самим Муртузом Балаевичем – и рассеять, как ему казалось, искреннее заблуждение Алии-ханым о Тахмине и ее отношениях со Спарта­ком. Даже о Спартаке сейчас он думал снисходительно-добро­душно: черт с ним, пусть у него было и будет сколько угодно денег и баб, только не Тахмина. Заур с нежностью думал и о Фирангиз, о том, какая она в сущности славная девушка, и он даже женился бы на ней, хотя бы для того, чтобы доставить удовольствие ее семье, а может быть, и ей самой, но так уж получилось, что он любит другую, которая старше и Фирангиз, и его самого, и, быть может, не так чиста, но только с ней одной он может быть счастлив...

**6**

В девять вечера он был на Шаболовке и прохаживался у телестудии, куда беспрестанно входили и откуда лишь изредка выходили люди. Все они спешили, суетились и о чем-то оживленно спорили. Прождав минут пятнадцать, Заур вошел в здание. В обширном фойе тоже сновали люди, но пройти они могли, лишь предъявив удостоверение. Зауру оставалось только ждать и тоскливо вглядываться в проход, откуда должна была появиться Тахмина. В фойе было страшно накурено, а в углу даже висела табличка «Место для курения». Под табличкой на полу стояла круглая цинковая коробка из-под пленок, полная окурков. Время от времени к этой коробке подходили судорожно и торопливо затягивающиеся курильщики. Погасив сигарету о стенку, отчего стена была испещрена черно-серыми круглыми пятнами, они бросали окурки в направлении цинкового круга и так же быстро куда-то исчезали.

– Старик, тракт отменяется, главный перенес все на завтра, на десять утра, начальство изъявило желание смотреть, – говорил высокий молодой парень с длинными свисающими усами другому такому же высокому парню с такими же свисающими усами.

Худая девушка, в черном свитере и узких серых брюках, в наброшенной на плечи шубке, выскочила на улицу, кого-то окликнула и вернулась обратно. Другая девушка, в зеленом пальто и в очках, пыталась кому-то дозвониться по установлен­ному здесь телефону.

– Пожалуйста, молодежную редакцию, будьте любезны.

Видимо, в молодежной редакции никто не ответил, потому что, прождав довольно долго, девушка в очках удрученно опустила трубку.

– Вот, пожалуйста, заявка на актеров, – сказала девушка в черном свитере хрипловатым голосом заядлого курильщика, оставляя пропуск у дежурного, – Сейчас подойдут четверо, пусть поднимутся на второй этаж в третью студию.

– Жень, – окликнули девушку в черном свитере из дальнего конца длинного коридора, – срочно в репетиционную!

Девушка в очках снова набрала номер, вновь в фойе выбежал парень с длинными усами и обрадовано бросился к только что вошедшему молодому человеку в меховой куртке:

– Привет, старина, дай сигарету. Какие у тебя?

– «БТ», – ответил молодой человек, протянув пачку, и спросил: – Ну, как тебе?

– Что?

– Феллини.

– Старик, грандиозно. Я очумел, старик. Сцена в туннеле – блистательно по режиссуре.

– Да, конечно, старик, класс. Но все же, знаешь, на мой взгляд, Феллини от барокко пришел к рококо, – сказал молодой человек в меховой куртке, и Зауру от этой последней фразы стало почему-то безумно смешно.

Девушка в очках наконец дозвонилась до молодежной редакции:

– Ир, это я, Юлька! Битый час я здесь торчу, не могу доз­вониться до тебя!

И тут он увидел Тахмину. Она шла по длинному коридору, в длинном вечернем платье, в сопровождении грех мужчин и белокурой девушки, которая показалась Зауру удивительно знакомой. Чуть позже он вспомнил, что знает ее по экрану: она была диктором Центрального телевидения. Из мужчин двое, по-видимому, были москвичами, а о третьем, смуглом человеке в коричневой замшевой куртке, он догадался, хотя ни разу не видел его, что это вне всякого сомнения и есть Мухтар Магеррамов.

В вечернем длинном платье Тахмина была ослепительно хороша. Она увидела Заура и ласково, хотя, как ему показалось, несколько сдержанно и даже чуть смущенно помахала ему. Все пятеро остановились у прохода и довольно долго и оживленно болтали. Один из москвичей, видимо, острил, и все громко смеялись его шуткам – Тахмина и девушка-дикгор буквально заливались, смеялся и другой москвич, а Мухтар Магеррамов лишь слегка улыбался. Ревниво и пытливо вглядываясь в Мухтара, Заур еще издали увидел в его умных глазах усталость и печаль. Мухтар был довольно молод, хотя и с сильной проседью в волосах и с абсолютно седыми висками. Его плотная фигура была несколько мешковатой. Может, из-за его одежды, чуть ли не намеренно небрежной и неаккуратной: брюки, обвисшие на коленях, замшевая куртка с засаленными рукавами и воротником, кое-как повязанный и съехавший набок галстук.

Лицо у Мухтара было выразительным, даже красивым, но каким-то изможденным. Это не было усталостью одного пере­насыщенного работой дня, скорее печатью частых и привычных разочарований. Разочарований не столько острых, сколько неизбежных.

Мухтар Магеррамов, очевидно, принадлежал к тому типу людей, которых ничем не удивишь, – и если, к сожалению, ничем не обрадуешь, то, к счастью, ничем по-настоящему не огорчишь. Люди седеют по-разному: бывает седина как первый снег, бывает и как плесень. Седина Мухтара была пепельной, и, казалось, пепел покрывал не только его волосы, но и лицо с темными кругами под глазами, с глубокими морщинами на лбу и у рта. У него была тонкая линия темных усов, которые очень шли к его белозубой улыбке – получались две параллельно-контрастные линии белого и черного.

Тахмина еще раз, а потом еще раз бегло взглянула в сторону Заура и даже ухитрилась улыбнуться ему, но продолжала стоять в той группе, будто и не думая прощаться. В фойе входили люди, сразу начинавшие протирать запотевшие стекла очков, вносившие на шапках и пальто тонкую пелену холода – морозное дыхание осенней улицы. Они показывали удостоверения и проходили туда, где стояла Тахмина и ее компания и куда не имел доступа Заур. «Тракт, монитор, ПТС, Феллини, Хуциев, Хессин, Главный», – то и дело слышал Заур и терпеливо ждал, когда Тахмина отделится от этого чужого ему мира, который так быстро освоила, подойдет к нему, и они опять пойдут по улицам Москвы, по первому снегу, вместе со своим огромным чувством, принадлежащим только им двоим и недоступным никому другому, какие бы удостоверения кто ни предъявлял.

Наконец Тахмина, видимо, решилась. Она стала прощаться, и мужчины поцеловали ей руку, потом обнялась и расцеловалась с белокурой дикторшей и, помахав им, пошла к выходу. Вместе с ней, попрощавшись с москвичами, шел Мухтар.

Они шли к нему, и Заур растерялся от этого непредви­денного и неизбежного знакомства.

– Познакомьтесь, – сказала Тахмина, – Заур, Мухтар. Я каждому из вас столько наговорила друг о друге, что особенно представлять вас, по-моему, не стоит.

– Очень рад, – сдержанно сказал Мухтар, протягивая руку Зауру.

– Я тоже рад, – учтиво ответил Заур.

– Пойдем, – сказала Тахмина и, когда они вышли на площадь, оказалась между ними и обоих взяла под руки.

– Ну, какие у нас планы, куда путь держим? – Неизвестно, кому из двоих предназначался вопрос, но первым ответил Мухтар:

– Куда пожелаешь.

– Заур, – сказала Тахмина, и Заур мысленно отметил, что она назвала его полным именем, а не ласкательным, как обычно, – Мухтар приглашает нас на ужин. Ты против этого похвального намерения ничего не имеешь?

Заур что-то буркнул, с трудом скрывая раздражение. Ему так хотелось повторить вчерашний вечер – пошататься по Москве вдвоем. Но это, по-видимому, исключалось, и последний вечер в Москве он должен терпеть присутствие человека, скорее неприятного ему, чем безразличного, да к тому же Тахмина от его имени приглашает Заура ужинать, хотя он сам и молчит об этом. Впрочем, Мухтар сразу же отозвался:

– Да, если у вас никаких дел нет, Заур, давайте посидим где-нибудь.

Что за странная постановка вопроса «если у вас нет никаких дел»?! Какие у него могут быть здесь дела, кроме Тахмины? Неужели Мухтар не знает и не догадывается об их с Тахминой отношениях? Неужели Тахмина ему ничем не намекнула, когда говорила с ним о Зауре? А может, и он, Заур, не знает и не догадывается об их – Мухтара и Тахмины – истинных отношениях?

Но при этом Заур злился не на Мухтара, а на Тахмину, и у него возникло желание сослаться на занятость и уйти. Но смутный страх, что Тахмина может запросто отпустить его, чтобы проучить либо самоутвердиться в глазах Мухтара, сковал его, и он ответил:

– Нет, я не занят.

– Прекрасно, – сказал Мухтар. – Тогда поедем в Дом кино.

Они сели в такси: Мухтар рядом с водителем, а Тахмина и Заур сзади.

В машине он молчал. Говорили Тахмина и Мухтар. Говорили о только что прошедшей передаче, которая прошла, по их словам, весьма успешно, и вообще их программа получила здесь отличную оценку. И Заур с завистью думал о том, что связывало этих двоих дело, которое они вместе готовили и вместе осуществили, а теперь вот едут отмечать свой успех. И в какой-то миг Заур почувствовал себя совершенно лишним, но голова Тахмины лежала на его плече, и ее волосы щекотали его лицо, и ее неповторимый запах обволакивал и дурманил, и Заур знал, что не сможет остаться без нее, каких бы унижений это ему ни стоило.

Но Зауру снова стало неприятно, когда Мухтар распла­чивался с водителем, хотя он и понимал, что сейчас ему, Зауру, лезть с платой за такси просто смешно. А расплатиться за ужин, даже скромный, у него не было никакой возможности.

Мухтар показал в дверях свой членский билет и добавил: «Мои гости», – и они втроем вошли в Дом кино.

Уже на лестнице Мухтар встретил каких-то знакомых. Он обнимался, целовался и о чем-то долго болтал с ними, не пред­ставив Тахмину и Заура. Тахмина прошла к большому зеркалу и поправляла волосы, а Заур не знал, куда себя деть, и боялся закурить, ибо не знал, можно ли курить именно здесь, в фойе, а вдруг нет, ему не хотелось попасть впросак, и он переминался с ноги на ногу.

О нем как будто забыли: Мухтар – в беседе еще с какими-то знакомыми, которые шумно подошли к нему, а Тахмина – сосредоточенно прихорашиваясь перед зеркалом.

Странно, Заур всех проходящих по фойе людей видел впервые, и в то же время многие из них казались ему знакомыми. Он знал их по экрану, но оттого, что это были не самые извест­ные киноартисты, а актеры и актрисы менее известные, но все же снявшиеся во многих фильмах, он теперь узнавал их, но не маг припомнить, где же их видел, однако угадывал, что вот эту модно одетую женщину он видел в облике простой русской крестьянки, а вон того парня в клетчатом пиджаке – в мундире немецкого офицера.

– Ты что, Зауричек, скучаешь? – сказала, подойдя к нему, Тахмина, и Заур отметил, что в отсутствие Мухтара она снова назвала его ласкательно. – Или разглядываешь кинозвезд?

– Извините, друзья, – сказал Мухтар, подходя, но тут же увидел еще кого-то, спешащего к нему с распростертыми объятиями. – Привет, старина, сколько лет, сколько зим? – И, снова извинившись, он отошел.

– Удивительный человек, – сказала Тахмина, – Вот и на телевидении то же самое. Все его просто обожают. Ты что такой мрачный, Зауричек?

– Ничего, – сказал Заур и с внезапным страхом, чувствуя себя заброшенным и несчастным, спросил; – Ты меня не разлюбила?

Она улыбнулась.

– Нет, нет, не разлюбила. Я скучала по тебе целый день, – тихо сказала она. – А ты что делал?

Заур не успел ответить, вернулся Мухтар, и Тахмина обратилась уже к нему:

– Мухтар, а кто вон та женщина с веером? – Мухтар назвал.

– А это ее муж рядом?

– Бывший муж. А тот, который подходит к ним с чашечкой кофе, ее теперешний муж. Ну что, пошли ужинать?

Они вошли в ресторан, который, к удивлению Заура, был почти пуст. Судя по оживленному фойе, он думал, что и в ресторане не найдется свободного места, но в большом зале было занято всего три-четыре столика. Они сели в углу, у окна: Тахмина и Заур рядом, а Мухтар напротив, и тут же к ним подо­шел официант с красочно и забавно оформленным меню. Он раскрыл меню перед Тахминой; Заур краем глаза пробежал наз­вания блюд, и ему показалось, что меню вкусно пахнет. Только тут он сообразил, что почти ничего не ел последние двое суток.

– Понятия не имею, – сказала Тахмина, передавая меню Мухтару. – Выбирай сам.

Официант, записав заказ, удалился.

Прежде чем наступило бы тягостное молчание, Мухтар сказал:

– Вы обратили внимание, какие у него печальные глаза? У официанта...

Заур удивился его словам, потому что сам только что подумал так о глазах Мухтара.

– Я заметил, – продолжал Мухтар, – что у многих официантов печальные глаза. Печальные и мудрые. Видимо, это что-то сугубо профессиональное. Они печальны и мудры, как бог, – улыбнулся он.

– А ты видел бога, что уверен, будто он печален и мудр? – сказала Тахмина. – Ну, мудр – еще бог с ним, с богом, а вот почему он должен быть печален?

– А потому же, почему и официанты печальны. Они – и бог, и официанты – слишком хорошо знают людей, вернее, слабости людские.

– Во многой мудрости много печали, – улыбнулась Тахмина. – Так сказано в Библии?

Зауру тоже хотелось сказать что-нибудь подобное и при этом непременно возразить Мухтару, но он не знал, что сказать, как возразить, чтобы это было и умно, и весело, и занимательно, и чтобы Тахмина оценила его находчивость...

Он был странным образом парализован и никак не мог попасть в тон разговору, и от этого смущался еще больше и чувствовал, как весь наливается свинцовой тяжестью и даже его движения становятся неестественными: он боялся что-нибудь уронить, опрокинуть, не знал, куда и как положить салфетку, куда деть руки. Ему казалось, что эту его неловкость чувствуют и Тахмина, и Мухтар, особенно Мухтар, который пытливо, хотя и неназойливо приглядывался к нему, оценивал и видел насквозь. И, видя его, Заура, насквозь, он, Мухтар, относился к нему если и не высокомерно, то не без легкой иронии.

Официант принес закуску, разлил по рюмкам коньяк. И Мухтар, прежде чем приступить к еде, не провозглашая никаких тостов, не чокаясь, пригубил коньяк. Потом он некоторое время согревал рюмку в ладонях и вновь пил маленькими глотками. Зауру тоже хотелось выпить, но он не знал, как поступить: выпить ли молча, подражая Мухтару, или что-нибудь сказать. Он не привык пить без тостов в компании.

– Положи, пожалуйста, мне немножко салата, – сказала Тахмина.

Заур с неприятным ощущением положил ей закуску, которая будет оплачена не им. Потом он поднял рюмку и сказал:

– За тебя, Тахмина, будь здорова.

– Спасибо, дорогой, – сказала Тахмина и сделала глоток.

Мухтар улыбнулся Тахмине глазами, тоже сделал глоток и произнес:

– Коньяк, надо сказать, отменный.

– Да, – подтвердил Заур.

– А чем вы занимаетесь? – неожиданно обратился Мухтар к Зауру.

– Я геолог, – ответил Заур после некоторого замешательства. – Но сейчас работаю в издательстве. Вот с Тахминой вместе рабо­тали, пока она не ушла к вам.

– Ах да, конечно, Тахмина же говорила. Геолог. Да, это романтическая профессия. Конечно, если работаешь по спе­циальности.

Заур вспыхнул – это было его больное место. Он стыдился, что из всего выпуска он один работает не по специальности. В издательство он пошел по настоянию матери, чтобы иметь стаж, необходимый для поступления в аспирантуру. И хотя в аспиран­туру он гак и не поступил, став (опять-таки по настоянию мате­ри) соискателем, то есть самостоятельно работая над диссерта­ционной темой, в издательстве он торчал уже третий год. И он не знал, нарочно ли Мухтар спросил об этом или нечаянно, но Тахмине-то была известна эта его слабость! Однако она никак не реагировала на слова Мухтара, и Заур обратился к нему с некоторым вызовом:

– А у вас какая профессия?

Мухтар усмехнулся, тщательно прожевал маслины и ответил:

– Я режиссер телевидения, но тоже работаю не по специаль­ности. По образованию я кинорежиссер. В свое время окончил ВГИК. Но это – долгая история.

Тон, каким это было сказано, означал, что Заур попал в какую-то уязвимую точку, и они как бы сравнялись. И тут вмеша­лась Тахмина.

– У нас в Баку разве умеют ценить людей? – сказала она, – Мухтара же оставляли после ВГИКа здесь, на «Мосфильме». И напрасно ты не остался. Давно бы уже снял несколько полно­метражных картин.

– Не в метраже дело, Тахмина, милая, – сказал Мухтар. – Все и сложнее, и проще. Есть в жизни какой-то незримый рубеж. Вам – тебе и Зауру, – до него еще далеко, поэтому я могу говорить смело. Так вот, я его уже перешел. До этого рубежа – все впереди, а после него будь ты хоть долгожителем – как этот наш, как его? Ширали-баба! – все позади, все только сожаления о неосу­ществленном и несбывшемся...

Он выпил и доверительно обратился уже к одному Зауру.

– Понимаете, Заур, пленка – великое дело. Пленка – она остается. Неважно, полный метраж, короткий, но если отснято хорошо – грамотно, по крайней мере, – она останется: кинофильм ли, телефильм ли, неважно... А у меня вот – печальное занятие: режиссер телевизионных игровых передач. Сделал передачу, прошла она в эфир и – все, фьють – и нет ее. Будто ничего и не было. Будто ничего и не сделано. Понимаете?

Вместо Заура ответила Тахмина:

– Как я. Ушла с экрана, и все: нет меня.

– Да, – сказал Мухтар, – действительно грустно. Сколько усилий, нервов, стараний, ну, таланта, если он есть или был, черт его побери, ну, не таланта – каких-то способностей, ну, пусть умения, сноровки, – о таланте он говорил с бесконечными ого­ворками, – ну опыта, наконец. Что-то важное для тебя, свое, кровное вкладываешь во все... А прошло это в эфир, и – как одуванчик сдунуло, будто ничего и не было. Печальная профессия.

– Как профессия официанта? – вспомнил Заур.

– Но и Бога, – парировала Тахмина.

– Без их мудрости, – улыбнулся Мухтар.

– Мухтарчик, давай-ка сделаем с тобой кино. Давай вообще хоть раз в жизни что-нибудь вместе с тобой сделаем, – не без двусмысленности, как показалось Зауру, сказала Тахмина.

– Я давно тебе это предлагаю, – уже явно двусмысленно ответил Мухтар.

Тахмина заметила тень, пробежавшую по лицу Заура. и добавила:

– Серьезно, ты не можешь добиться, чтобы тебе дали поста­новку фильма? У тебя ведь есть и формальное право, и вообще... Ну, почему ты этого не добиваешься? Ну, ради меня хотя бы. Я снимусь у тебя в главной роли.

– Поздно менять жизнь, – сказал Мухтар. – Да и тебе поздно. Ты уже обвисла вся как-то.

– Бессовестный, – сказала Тахмина. – И как у тебя язык повернулся сказать мне такое! А я умираю, так хочу сняться в фильме. Пусть хоть что-нибудь от меня останется, когда я умру. И хочу, чтобы это было сейчас, а не потом, когда я и в самом деле обвисну, как ты изящно выразился. Это, наверное, стыдно – да? – так говорить, но я хотела бы, чтобы сверкали юпитеры, вспы­хивали лампочки, суетились фотографы, снимая меня в разных ракурсах, чтобы меня интервьюировали.

– Душа хотела б быть звездой! – продекламировал Мухтар.

А она начала говорить, гримасничая:

– Любимый мой цвет – голубой, любимые композиторы – Бах и Стравинский, мое хобби... А какое у меня, в самом деле, хобби?

– Менять наряды, – сказал Мухтар.

– И ни черта вы не понимаете, – вдруг разочарованно сказала Тахмина. – Вы не понимаете, что красивая женщина – такая же ценность, как хотя бы полезные ископаемые. Как редкие дере­вья, живописные пейзажи, как целебные источники или памят­ники старины. Это валюта, понимаете? Надо снимать красавицу в кино, писать с нее портреты, фотографировать ее на рекламные проспекты и выносить на мировой рынок.

– Ах, вот какие у тебя замашки! – сказал Мухтар. – Да ты бизнесменка!

– Бизнесменка-неудачница, – сказала она, вдруг сникнув. – Неудавшаяся актриса, неудавшаяся красавица. Такой и умру, наверное.

– Во всяком случае, не от скромности.

– Что?

– От скромности, говорю, не умрешь, это уж точно, – скачал Мухтар. – Извини, пожалуйста, за маленькое уточнение: ты была красивой. И очень. Но – была. Учти это.

– Вот хам! – сказала Тахмина и шутливо погрозила ему паль­цем. – А я-то клялась-божилась, что ты джентльмен. Зауричек, будь рыцарем, защити меня от этого зарвавшегося мужлана.

Но прежде чем Заур открыл рот, Мухтар сказал:

– Это тебе за твою коммерцию и валюту.

– Ну, неужели ты перестал понимать шутки, Мухтар?

– А ты? – сказал Мухтар, – Неужели ты могла подумать, что я всерьез стану говорить о твоей красоте в прошедшем времени?

Заур чувствовал, что за шутливой пикировкой Мухтара и Тахмины кроется понятная им одним система условностей, долгое и, наверное, сложное общее прошлое, весь тот неведомый ему мир их чувств, о котором – теперь он в этом был убежден – Тахмина если и не солгала ему, то и не сказала всей правды, лишь обрисовала его внешние и поэтому ничего не значащие приметы.

Официант принес горячее, они пили еще и еще, без тостов и «несинхронно», как определил Заур, прибегнув к словечку, которое слышал сегодня несчетное число раз. И по мере того как коньяк растворял подозрительность и настороженность, он убеждался в том, что Мухтар очень дорог Тахмине, и в том, что между ними никогда не было и не будет того, чего он так боялся. И если это последнее успокаивало его, то первое будоражило, и он пытался понять, чем же ей так дорог этот человек, к которому она относилась явно с большей бережностью, чем к Зауру, с которым была так близка, как только могут быть близки мужчина и женщина. Напрашивалось сравнение, и Заур глазами Тахмины смотрел на обоих – на себя и Мухтара, отмечая все преимущества Мухтара: его тонкость, артистичность и даже легкую, изыскан­ную печаль. В сравнении с ним Заур казался себе неотесанным, тяжеловесным, неповоротливым, и даже спортивность, которой он всегда гордился, теперь коробила его, и он думал, что, наверное, и в глазах Тахмины он всего лишь воплощение грубой мужской силы, и не это ли (вернее, не только ли это?) привлекало к нему Тахмину?

А Мухтар все говорил и говорил. Коньяк, погрузивший Заура в мрачную меланхолию, развязал язык Мухтару, как бы освободив от обычной его сдержанности, и он говорил. Говорил с упоением о своей профессии, о том, что он не променял бы ее ни на какую другую. Говорил о том, что это же чудо – мысль, возникшая в чьей-то голове в часы ночной тишины и одино­чества, сперва переносится на бумагу, потом становится сценой, наглядно зримым кусочком жизни, и эта чужая, вымышленная жизнь, созданная трудом, мастерством разных людей, делается достоянием сотен тысяч, миллионов, входит в дома, в семьи, заселяет города... – и все это, в общем-то, организует, творит и держит в кулаке он, режиссер. Ну и что, если это потом исчезнет, как сон, и назавтра забудется. А что вечно? Впечатление от прекрасного сна, в котором мы испытали восторг, не менее истинно и ценно, чем любое другое – и материально выраженное – воздействие.

Потом он говорил о своих замыслах, о том, какие фильмы ему хотелось бы снять, причем он говорил не о цельном сюжете, не о теме фильма, а о каких-то обрывках, сценках, видениях, о том, что из всего неосуществленного больше всего он жалеет об одном эпизоду.

– Я хотел бы закончить фильм этим эпизодом. Плоские крыши бакинской Крепости – вы ведь помните, какие они? – громоздятся друг на друге, и рядом друг с другом на разных уровнях, а дальше виден краешек моря. Так вот, я снял бы кадр – эти крыши, а на одной из крыш девушка – тонкая, стройная, высокая и самое главное, с чистым-чистым юным лицом – ну, скажем, какой была Тахмина когда-то, – он тут же наклонился и с улыбкой поцеловал руку Тахмины, – шучу, шучу... Так вот, она развешивает белье. Белоснежные простыни. Я много раз видел все это в детстве, и на всю жизнь мне это запомнилось. Танец девушки в черном платье, движение белых простыней на крыше на фоне синего летнего неба. И легкий ветер. А вдали море, синее небо, и, когда ветер вздувает простыню, она выглядит как парус. И крыша – это палуба, и дома Крепости словно плывут в море... То есть, понимаете, это образ чисто пластический, я его вижу, стоит закрыть глаза. Но он для меня и многозначен: порой мы паруса делаем простынями, а я хочу показать, как простыни становятся парусами! Помню, я даже стихи когда-то написал – давно, в молодости:

*Что снится простыням,*

*Грязным, залежалым простыням?*

*Что они паруса в далеком южном море.*

«Тени южных морей» – был такой фильм. Прекрасное название...

– Давай выпьем за тебя, Мухтар, – вдруг прервала его моно­лог Тахмина. – Хоть мы и пьем без тостов, я все же хочу выпить за тебя. Я много говорила о тебе Зауру. Заур тоже для меня близкий и родной человек. («Тоже», – отметил про себя Заур.) Так вот, Зауричек... («Зауричек»?!) Мухтар – это такой человек, который и в трудный час твоей жизни придет тебе на помощь, придет бескорыстно, ничего не требуя взамен, никак не подчеркивая своего благородства...

– Ну, хватит, перестань, – сказал Мухтар. – Что за елей! Еще неизвестно, насколько я бескорыстен. Давайте-ка лучше выпьем.

– Нет, – сказала Тахмина с хмельной настойчивостью. – Я хочу еще два слова сказать, и не перебивай меня, пожалуйста. Бывают друзья – они рядом только в хорошие твои дни – грош им цена. Бывают друзья, которые познаются в беде, – это настоящие друзья, бесценные друзья. Но если друг познается только в беде, а в радости его не видать, по-моему, это тоже какая-то однобокая, хмурая дружба. Истинный друг гот, кто не оставит тебя в беде, но и в радости твоей он не посторонний, а тем более – не завистник. Нет, он способен разделить твою радость, он радуется за тебя и с тобой. Если это и не его личная радость, а твоя радость его радует, ты – его радость. Его радость – это... Что- то я запуталась. Видимо, перебрала. Словом, за тебя, Мухтарчик.

Потом Мухтар куда-то вышел, и Тахмина сказала:

– Ну, ты сегодня на себя не похож – грустный, не в духе что- то. Чем ты удручен, Зауричек?

– Странно, – сказал Заур, – И ты, и я выпили и не очень-то контролируем свои слова. Но ты железно контролируешь себя в одном: при Мухтаре называешь меня Зауром, а как он на минутку отлучается, так опять «Зауричек».

– Ой, боже мой, Зауричек, – расхохоталась Тахмина, – как ты глуп!

– Да уж я не мудр, как боги, официанты и рассуждающие режиссеры.

– О, сколько яду! Глупёныш, ты опять меня ревнуешь. Ну, неужели к Мухтару? Ну хочешь, я при нем поцелую тебя, брошусь тебе на шею и буду называть тебя не только Зауричек, но и Заурченок и еще как тебе угодно.

– Хочу, – сказал Заур. – Давай уйдем отсюда.

– Знакомьтесь, – раздался голос прямо над ними, – это Саша, это Лена, а это мои друзья Тахмина и Заур. Впрочем, вряд ли стоит представлять Сашу и Лену, – добавил он.

Это и вправду были очень известные киноактеры – муж и жена. Они уже где-то выпили.

– Очень рад, мадам, – обратился Саша к Тахмине, – вы не возражаете, если я сяду рядом с вами?

– Нет, конечно, прошу вас.

– А вы тоже актриса?

– Нет, я диктор телевидения.

– Ах да, я же видела вас вчера, – сказала Лена. – Нет, кажется, это было позавчера.

– А почему вы не актриса? – спросил Саша.

– Не знаю, – сказала Тахмина. – Об этом надо у режиссера спросить, у Мухтара, в частности.

– Позволь сперва мне спросить, – сказал Мухтар, – Что вы будете пить?

– Да теперь все один хрен, – сказал Саша. – Ну, давай водки.

Принесли водку, Мухтар разлил.

– Вы пьете коньяк, мы водку. Какая-то анархия получается у нас за столом, – сказал Саша.

– У нас за столом монархия, – сказал Мухтар, – поскольку есть королева. Даже две королевы.

– О, что значит восточная галантность! – сказала Лена.

– Ну, за знакомство! – сказал Саша, – И за прекрасных женщин Востока в лице моей очаровательной соседки. За прекрасных женщин Востока, сбросивших паранджу и пьющих коньяк. – Он выпил. – Вы носили паранджу?- обратился он затем к Тахмине.

– У нас вообще никогда и никто не носил паранджу, – ответила Тахмина.

– У нас это называется чадрой, это немного другое, – пояснил Мухтар.

– А я знаю, – сказала Лена. – Паранджа – это Узбекистан. Я была в Ташкенте. Там готовят изумительный плов.

– Наш плов лучше, – сказал Заур для того, чтобы его молчаливость не привлекла внимания, но Саша тем не менее уловил этот маневр:

– Ого, сфинкс заговорил. Вы молчали долго и загадочно и наконец раскрыли уста, чтобы защитить честь национальной кухни. Браво! Ну, хорошо. Вздрогнули! – сказал он и опрокинул рюмку, – А вы все-таки не сказали, почему вы такая красавица и не снимаетесь в кино? И куда только смотрят азербайджанские режиссеры?

– Пригласите к себе, сниматься здесь, – сказала Тахмина.

– С удовольствием, только нам надо обменяться адресами и телефонами, – и он, пошарив в карманах, протянул ей визитную карточку.

«Даст Тахмина адрес и телефон?» – думал Заур беспокойно, хоть и понимал, что этот пьяный разговор живущих в разных городах людей ничего не значит.

– Меня можно найти через Мухтара.

– Он что, ваш любовник, этот чертов персюк? – спросил Саша.

– Нет, – сказала Тахмина сухо.

– А кто же ваш любовник?

– У меня нет любовника, – сказала Тахмина. – У меня есть муж.

– А кто же ваш муж?

Секунду поколебавшись, Тахмина указала на Заура:

– Вот он.

Потом Заур и Тахмина долго спорили: у кого лицо вытянулось длиннее – у Саши, у Мухтара или у самого Заура? Потом она объяснила Зауру, что сказала так, чтобы Саша не приставал. В тот момент Заур готов был убить кого-нибудь из-за Тахмины или умереть самому. И, видимо почувствовав его состояние, Саша сказал Зауру почти трезвым голосом:

– Бога ради, только не вздумайте ломать мне ребра, я догадываюсь, что вы в состоянии сделать это блестяще. Я же просто так, от чистого сердца. – И, меняя тему, повернулся к Мухтару: – Старикан, а давненько мы с гобой не пили. Помнишь Пал Палыча-то, нашего декана?

– Ну конечно.

– Помер же.

– Я знаю, давал телеграмму.

– А я даже телеграмму не мог дать, я был в Каннах, пони­маешь, представлял нашу последнюю картину, а приехал – мне сказали...

– И как им понравилось в Каннах? – спросила Тахмина.

– Ээ... Надоело все – приемы, коктейли, а выпить толком невозможно. Ну, посмотрел там новую картину Феллини, ее еще у нас в Союзе нет... Ну, старик, – обратился он к Мухтару, – это обалдеть можно.

– А по-моему, – сказал Заур, – Феллини от барокко пришел к рококо.

Это заявление было столь неожиданным, что некоторое время все ошалело смотрели друг на друга, и наконец Саша сказал:

– Ну, ты выдаешь, старик!

А Тахмина расхохоталась и сказала:

– Молодец, Зауричек!

Заур залпом выпил еще рюмку и заявил, что единственная картина, которая на него по-настоящему подействовала, это «Тарзан». Ему хотелось, чтобы они посмеялись над его примитивностью, дремучей отсталостью, но неожиданно Лена сказала:

–Совершенно верно, я тоже так считаю. Тарзан – по крайней мере мужчина, а не... – она не договорила.

– А вы тоже – режиссер? – спросил Саша у Заура.

– Нет, – сказал Заур, – я тунеядец, маменькин сынок, сижу на шее у родителей.

– Тоже дело, – мирно сказал Саша. – Тоже большое искусство – сидеть на шее у родителей, да еще и жену туда усадить.

– Ну, зачем ты так, Зауричек? – укоризненно сказала Тахмина.

– А мне надоели ваши разговоры: Феллини, Канны, талан­ты, звезды, паруса, пленки и прочая мура. Я самый обыкновен­ный, простой человек.

– Ну, это уже скучно, – сказала Лена. – Демагогия какая-то пошла. Давайте-ка лучше выпьем.

– А между прочим, – сказал Саша Зауру, – представитель простого народа, где вы достали такие шикарные туфли? Я вот их даже в Париже не мог найти.

– Нравятся? – спросил Заур.

– Весьма. Посмотри-ка, Лен.

Все посмотрели на ноги Заура, Заур подумал и сказал:

– И совершенно новые. Толкаю.

– За сколько?

– За сорок. Сам купил за шестьдесят.

– А какой у вас размер?

– Сорок два.

– Мой размер. Надо же!

– Хотите? – сказал Заур.

– За сорок, говорите?

– Да, только с условием, что вы свои туфли даете мне, я свои даю вам, и вы платите мне тут же, сейчас. – Саша подумал и сказал:

– Договорились.

Мухтар, Тахмина и даже Лена не успели опомниться, как Заур и Саша обменялись туфлями, и Саша сказал:

– Лен, дай ему сорок рублей.

– Да не чуди ты...

– Дай, говорю. Туфли – блеск, это он по пьянке отдает. Протрезвеет, передумает.

Лена дала ему сорок рублей, и Мухтар сказал:

– Ну что ж, раз вы такие коммерсанты, давайте выпьем за новые туфли Саши.

– И Заура, – добавила Тахмина.

Заур, извинившись, встал, незаметно прошел к официанту, рассчитался за ужин и вернулся.

– Ну, пора, – сказал Саша. – Все выпито, все съедено, и коммерческая операция успешно завершена, время и по домам.

– Вы идите, – сказал Мухтар, – я вас догоню.

Заур, выходя из зала, с наслаждением следил, как Мухтар подзывает официанта.

Они вышли на улицу. Из одной машины водитель, разог­ревавший мотор, крикнул:

– Саш, Лен, вы домой, что ли?

– Ага.

– Ну, давайте залезайте.

Саша и Лена, извинившись, сказали, что их подзывает сосед, и все равно им ехать в разных направлениях, попросили передать привет Мухтару и вообще чтобы звонили, заходили, когда в следующий раз окажутся в Москве, а завтра они вылетают в Киев, а то можно было бы увидеться. Они сели в машину, помахали, и машина, развернувшись, поехала к площади Восстания. И в это время вышел Мухтар.

– Как вам не стыдно, Заур? – сказал он беззлобно. – Ведь это я пригласил вас на ужин.

– Что? – сказала Тахмина. – Так вот почему... Дурачок ты!

Она бросилась ему на шею и повисла, визжа.

Зауру не хотелось выпускать ее из объятий, хоть он и чувствовал тяжелое присутствие Мухтара.

– Вы в метро? – спросил Мухтар.

– Нет, – сказал Заур, – мы пройдемся пешком.

Мухтар попрощался и торопливо зашагал к станции «Краснопресненская», и Заур, задержавшись взглядом на ссутулившейся усталой спине и мешковатой фигуре режиссера, подумал о Мухтаре его же словами: измятая простыня, которой уже никогда не быть парусом и которой парус может только сниться в одиноком номере гостиницы в чужом городе.

**7**

Холодный, пронзительный бакинский ветер бил в стекло будки телефона-автомата, в которой Заур окоченевшими пальца­ми вращал ледяной циферблат.

– Алло.

– Это я.

– Ага, – сказала она, и в голосе ее не было ни радости, ни огорчения – серый бесцветный голос, серый бесцветный тон, серый бесцветный день.

– Когда мы встретимся?

– Я сама тебе позвоню.

– Когда?

– Не знаю.

– Сегодня?

– Нет, нет, не сегодня, и не завтра, и не послезавтра. Через несколько дней.

– Но почему?

– Потом, Заур. Мне надо решить один важный вопрос. Потом ты узнаешь. Прошу тебя, только очень прошу, ты мне пока не звони, хорошо? Несколько дней, неделю, может быть. Так надо. Хорошо?

– Ну хорошо, – сказал он без особого энтузиазма.

– Слово мужчины? Я сама тебе позвоню. Ну, пока.

– А ты меня любишь?

– Люблю, люблю, – поспешно и как-то машинально сказала она, и в этих словах было больше желания поскорее закончить разговор, чем вложенного в них смысла.

– Ну хорошо, до свидания, – сказал он.

– Пока, – сказала она и сразу же повесила трубку. Он некоторое время слушал короткие, назойливо монотонные гудки – ду, ду, ду...

**\* \* \***

Проходили дни, и он вздрагивал от каждого телефонного звонка на работе и дома, но Тахмина не звонила. И мать, чувствуя его состояние, нервное и раздраженное, по-своему толковала его, вернее, имела несколько толкований, каждое из которых, тревожило ее.

После решимости, проявленной Зауром с поездкой в Москву, Зивяр-ханым поняла, что на этой стадии радикальные меры могут дать лишь обратный эффект, и избрала другой путь: ежедневно малыми дозами, намеками или открыто, резко или мягко, но методично и неустанно изливала по каплям, по крупи­цам собранную информацию о «непорядочности» Тахмины, о ее прошлых и недавних похождениях, и всякий раз, до того как Заур пресекал эти разговоры или просто уходил из комнаты, из дому, она успевала посеять в нем зернышко отчуждения и сомнения, уязвить его самолюбие.

– Я слышала, – говорила Зивяр-ханым, – что не ты один был в Москве? – Заур, не чувствуя подвоха, прислушивался к следующей фразе. – По тому же поводу, что и ты, и в то же самое время там был и Мухтар Магеррамов, – заканчивала она, зная, что Заур, может быть, уже и не услышит продолжения. – Как же вы ее делили-то?

В другой раз.

– Вчера смотрела телепередачу. Режиссер – Магеррамов. Вы же с ним почти родственники...

Заур выбегал из комнаты, не зная, как ему быть; все требования не вмешиваться в его дела и все ссылки на то, что он уже взрослый, приводили к тому, что разговор откладывался на несколько часов или, в лучшем случае, на сутки. Оставался единственный выход – уйти из дома, и он внутренне был готов к этому, даже не задумываясь особенно, куда и к кому пойдет.

Проблема была в другом: он готов был порвать с семьей из- за Тахмины, но любила ли его Тахмина – он не знал, несмотря на все, что было. И, быть может, это незнание, эти сомнения и были ростками тех самых семян, которые сеяла Зивяр-ханым.

– Ты только очередной экспонат в богатой коллекции, – говорила мать, – У нее к тебе чисто спортивный интерес. Жаль, что ты мне сын и между матерью и сыном должна быть какая-то завеса. А то я живо объяснила бы тебе, чего нужно от тебя такой женщине, как она. У нее же все мужчины распределены заранее: муж для ширмы, Спартак для содержания, Дадаш для карьеры, Мухтар для славы, ну а ты, дурачок, для развлечения.

Зивяр-ханым приводила и другие соображения: «Я знаю, на что она рассчитывает: думает, что мы умрем – я и твой отец – и наша квартира, все наше добро, все сбережения останутся ей».

Эта версия была уж вовсе невероятной, и Заур из чистого любопытства спрашивал:

– Не понимаю, каким образом она может рассчитывать на вашу квартиру и добро.

– Очень просто. Она думает, мы скоро умрем, и она женит тебя на себе. Это она в гробу увидит, – взвинчивала себя Зивяр-ханым.

– Так у нее ж есть муж! – пытался Заур как-то привести этот бред в систему.

– Да что стоит такой разойтись с мужем?

– Значит, дело обстоит следующим образом: у нее есть муж и квартира. Она разводится, остается без мужа и без квартиры для того, чтобы заполучить нового мужа и квартиру, когда лет через сто родители этого нового мужа умрут. Так, что ли?

Ему было и смешно, и грустно от фантастических предпо­ложений матери, они даже немного успокаивали его своей явной нелепостью. Значит, и другие слова, сведения, разговоры матери были такой же нелепостью. Ну, конечно же, все, что она пере­сказывала с чужих слов об отношениях Тахмины с Мухтаром, об их московской поездке (а ведь все там было на глазах у Заура), – такая же неправда. Да, но разве он, Заур, знает все детали даже этой ее московской поездки? А что было в дни до его приезда?

– Они даже в Баку приехали в одном купе, – говорила Зивяр-ханым, и это было правдой. Но когда мать добавила: «в двух­местном купе», Заур знал, что это ложь, они приехали в четырех­местном купе, и он даже видел их попутчиков – пожилую супру­жескую пару. А с другой стороны, разве он может быть до конца уверен, что знает все об отношениях Тахмины с Мухтаром? Так же, как и о ее отношениях со Спартаком, с Дадашем? Он знал об этом только от нее самой, да вот еще от матери, которая суммировала, сгущала и передавала ему мнение «всего города». Так где же была правда? В том, что говорила Тахмина? Или в том, что твердил «весь город»? Когда они бывали вместе, его сомнения исчезали сами собой, то ли от искренности и любви, которые она излучала, то ли от счастья, которое он испытывал от одного ее присутствия. А что, если не было ни любви, ни искренности – была лишь искусная игра? Тогда, значит, счастье тоже было мнимым и ложным? И он вспоминал почему-то ее слова, сказанные в домодедовском лесу, чуть позже, когда они шли по шоссе к Москве: «Если мы сейчас испытываем счастье, это и есть правда, единственная и самая настоящая».

– Помяни мое слово, – говорила мать, – Она разойдется с мужем. У нее свои планы. Вот и Алая говорит, что она перешла на телевидение, чтобы подцепить этого самого Мухтара. Ради бога, пусть цепляет, кого хочет, лишь бы от тебя отцепилась.

«Может, так оно и есть», – думал Заур. Может, был выбор: Мухтар и он, Заур. И выбор сделан, и не в пользу Заура. Победу одержала солидность, более прочное, более самостоятельное и независимое положение в жизни, шанс на артистическую карьеру. Поэтому она и не звонит.

Прошло десять дней, а она не звонила, и лишь однажды он увидел ее – случайно, мельком – на экране телевизора.

И много позже, когда все уже было окончательно решено, она рассказала ему о том дне, о нескольких часах, изменивших русло ее жизни.

\* \* \*

Да, Тахмина наконец решилась и набрала номер.

– Да, да, – ответил низкий женский голос. – Я слушаю, – повторил он три секунды спустя.

Тахмина протянула руку, чтобы повесить трубку, но остано­вилась, перевела дыхание и сказала, зная, что этими словами решается все:

– Попросите Манафа.

Теперь на другом конце провода наступило молчание, выз­ванное замешательством, и тогда Тахмина сказала фразу, которую репетировала целый день:

– Раз уж я позвонила по этому номеру, значит, я знаю, что он у вас. Так попросите, пожалуйста, его к телефону.

Видимо, они совещались – телефон молчал. Потом послы­шались шаги, а затем и голос Манафа – испуганный и нереши­тельный голос человека, готового отказаться от самого себя, готового утверждать, что он это вовсе не он, а кто-то другой.

– Да.

– Это я, Манаф, Тахмина, – сказала она и на миг испугалась, что с ним может случиться обморок, но пути назад уже не было. – Теперь, надеюсь, тебе ясно, что я знаю обо всем, знаю, что ты не в командировке, не в Тбилиси, а в Баку у Раи. – Ей хотелось назвать и фамилию, и адрес, но это было бы уж лишним. – Причем я знаю об этом уже давно...

Так вот, я никогда не устраивала тебе сцен и сейчас не собираюсь. Но я хочу, чтобы ты приехал на полчаса сюда, ко мне, и мы с тобой решим один важный вопрос. Мы должны развес­тись.

Ни единого слова, ни единого звука не издал Манаф, и лишь когда Тахмина спросила: – Ну что, сможешь ты приехать? – Он еле выговорил одно-единственное слово:

– Хорошо.

Он приехал минут через двадцать бледный как смерть. Ей стало бы даже жаль его, если бы он не был ей так отвратителен.

– Мы должны развестись, Манаф, – сказала она. – И немед­ленно. Дальше так продолжаться не может. У меня есть знако­мый судья, и формальности будут исполнены быстро.

Он не проронил ни слова, ошеломленный неожиданно свалившейся напастью. Ломался весь уклад его тщательно налаженной и столь же тщательно, как ему казалось, законспи­рированной двойной жизни.

– Твои связи с Раей или с любой другой женщиной – я не буду называть имен, хотя, поверь, их знаю, – здесь ни при чем. Ты мне давно изменяешь, и, как видишь, я много лет терпела это, потому что не люблю тебя. Я не хочу сказать, что когда-то любила, а потом разлюбила. Я тебя никогда не любила. Это обидно, но это так. Мы совсем разные люди, и наш брак был ошибкой, давай признаем это. Единственная моя просьба к тебе – переехать к Рае или к кому тебе угодно, до того как мы обменяем эту квартиру на две.

Квартира была Тахмины, она досталась ей от отца, по Манаф не возражал против размена, поскольку был в ней прописан.

– Ну, ты согласен исполнить эту мою просьбу? – спросила Тахмина.

И только тут Манаф понял, что произошло: они действи­тельно разойдутся, и все, что связано с понятием семья, хотя бы их совместной жизни в одной квартире, больше не будет. Тах­мина станет ему совершенно чужим человеком не только духов­но, как было почти всегда, но и чисто физически, террито­риально, и никогда они больше не будут сидеть на одном диване, есть за одним столом, смотреть один телевизор, открывать друг другу двери и звать друг друга к телефону.

И медленный страх сковал Манафа, страх, что он никогда теперь не увидит Тахмину выходящей из ванной в голубом банном халате, расчесывающей перед зеркалом мокрые волосы. И он с ужасом осознавал, что и сейчас Тахмина нравилась ему больше других женщин и что она несравненно красивее, женственнее, умнее всех его любовниц и он никогда ею по- настоящему не обладал, что ему и любовницы-то были нужны из-за ее холодности. Правда, в глубине души он понимал и знал, что другие женщины нужны были ему, прежде всего, для самоутверждения. И не потому ли он гнался за количеством, что ему вновь и вновь хотелось убеждаться, что кто-то нуждается и в нем, хотя он не забывал о подарках, вернее, подачках, и обо всех меркантильных сторонах своих связей.

И ему нестерпимо захотелось еще хоть раз побыть с Тахминой, в последний раз почувствовать свою, пусть и недолгую, обманчивую власть над ней, но тут же он осознал, что этому уже не бывать никогда и что сейчас нет для него на целом свете женщины более недоступной, чем его собственная жена – пока еще жена. Осознавая это ясно и четко, он, тем не менее, не хотел этому верить, как не хочется верить в неожиданную смерть близкого человека.

И уже как-то чисто механически он отмечал и видел по-новому детали комнаты, в которой жил вместе с Тахминой – ее огромные фотографии на стенах, тонкий узор обоев, старинные стенные часы – наследство отца Тахмины, который был часовщиком, многоцветный надувной шар – она привезла его из Болгарии, крохотное инжировое дерево – оно росло где-то высоко в горах, в четырех тысячах метрах над уровнем моря, и его подарили им общие друзья-альпинисты. Это случилось в первые годы их супружества, когда у них еще были общие друзья. Потом все распалось, и каждый из них зажил своей жизнью. «Но что же стало последней каплей, переполнившей чашу? – думал Манаф, пересчитывая пуговицы на халате Тахмины. – Что же заставило Тахмину принять окончательное решение?»

Старинные стенные часы пробили одиннадцать...

\* \* \*

– Что я говорила? – Зивяр-ханым, радостно-возбужденная, бросилась к Зауру уже в передней. – Я не знаю лишь дня своей смерти. Говорила я тебе – она разведется с мужем!

– Кто?

– Кто же еще? Твоя краля! Ах, ты даже не знаешь? Заходила Алия. У нее такое же горе, как у меня. Не знаем, куда уж обрати­ться: в ЦК, в «Правду», может, написать?..

– Скажи толком, что случилось?

– Да эта женщина разобьет все порядочные семьи. Алия говорит: она опять повадилась звонить Спартаку. Несколько месяцев, говорит, уши наши в покое были. Она в кого-то вцепилась и оставила Спартака в покое. Это она мне нарочно так говорит. Знаю же я, что она все знает про твои с ней шашни. Даже про то, что вы в Москве были, намекала! Так вот, говорит, как приехала из Москвы, так опять Спартаку покоя не дает. А тут и разводится, значит. Наверное, моего мальчика решила заарканить, говорит Алия, польстилась на его деньги. Да и в порядочную семью хочет влезть. Не тут-то было! А я, – продол­жала Зивяр-ханым, – с одной стороны и рада, что хоть от тебя отстанет, а с другой – и Алию жалко: как-никак соседи...

Но Заур уже не слушал. Он подошел к телефону и впервые прямо из дому, при матери набрал номер Тахмины. Он долго ждал – телефон не отвечал.

– Да не дозвонишься ты, – злорадно сказала Зивяр-ханым. – Видела я, как Спартак выводил из гаража машину. Что ж, видимо, она предпочла его «Волгу» твоему «Москвичу». – Внезапно Зивяр-ханым умолкла, пристально посмотрела на сына и уже совершенно иначе, тихо и мягко, сказала: – Сыночек, милый, да не расстраивайся ты, не твоего она поля ягода. Ну, иди, поешь, я твою любимую долму приготовила, сейчас накрою на стол. С работы пришел, голодный, ну, иди, на тебе лица нет.

Он оделся и вышел, лишь бы не слышать ее голоса, ее слов не только о Тахмине, о Спартаке, но и о чем угодно – о еде, усталости, работе, сказанных грубо или мягко, зло или ласково.

Только пройдя два квартала, он понял, что не взял машину. Он ходил и думал: «Что за чертовщина, опять это бабьи сплетни или действительно она звонила Спартаку? Может, опять из-за подруги? Но она же говорила, что там все кончено, у подруги с ним. И почему она не звонит мне, и что за новая тема – развод? Не в этом ли было дело, когда она просила меня не звонить, пока не решится некий важный вопрос? Тогда при чем Спартак? А не связан ли этот развод с Мухтаром? И где она сейчас, в девять вечера, сама, черт ее дери?» Он звонил ей еще и еще, а телефон все молчал. И в половине одиннадцатого Заур понял, что, если сегодня же не объяснится с ней, он не уснет и вообще не сможет жить.

Он знал ее дом и знал ее окна, они светились. Он вошел в будку автомата напротив этих окон, звонил и ждал – три, четыре, пять минут, и опять, и опять звонил: телефон не отвечал. Заур вышел из будки и вдруг сразу увидел ее – сверкающую бордовую «Волгу» Спартака прямо у подъезда Тахмины, под ее окнами. И ему показалось, что сейчас, наконец, он понял все, но, чтобы поставить все точки над «и», он должен все выяснить точно. Увидеть их своими глазами. Они не берут трубку – он уже думал об абоненте не отвечающего номера как о Тахмине и Спартаке, которые, вне сомнения, сейчас вместе за этими интимно полуосвещенными окнами. Что ж он поднимется прямо к ним, не думая о последствиях. Они не откроют ему так же, как не отвечают на его звонки, что ж – он взломает дверь. Заур вошел в подъезд, поднялся на третий этаж и нажал на звонок. Ответом была тишина, он нажал еще и услышал чьи-то торопливые шаги, а потом голос Тахмины, чуть, удивленный:

– Кто там?

– Я, – сказал он, – Заур.

Дверь открылась, и изумленная Тахмина переспросила:

– Ты?

**8**

– Да, я, – сказал Заур с вызовом.

– Заходи, чего ж ты стоишь?

Он вошел в переднюю. Из комнаты доносились звуки приглушенной музыки, а из кухни – запах жареных каштанов.

– Каким образом ты очутился здесь?

– Я звоню тебе, почему ты не берешь трубку?

– Так у меня же телефон не работает. Со вчерашнего дня. Отключили. Наверное, не уплатила вовремя. Да что мы здесь стоим, заходи в комнату.

Сколько раз он мысленно представлял себе ее квартиру, и все же она – стандартная маленькая квартира в типовом доме – каким-то особым расположением предметов, декоративными деталями (большими фотографиями Тахмины на стенах, пестрым надувным шаром в углу, старинными стенными часами, странным сухим деревцем в деревянном бочонке) поразила его своей похожестью на хозяйку. Может, дело было даже не во вкусе, а в каком-то психологическом шифре, который мог разгадать лишь человек, близко знающий Тахмину, ее душевный настрой, несбывшиеся желания, ностальгию по чему-то неуловимому и, увы, уже неосуществимому. Она, например, любила коллекционировать бирки от багажа различных аэрорейсов, и друзья, знакомые с этой ее причудой, привозили ей бирки из зарубежных поездок. Разноцветные эмблемы разных компаний, названия городов, номера рейсов, нанизанные один на другой, были привязаны к дверной ручке. У случайного человека могло создаться впечатление, что Тахмина объездила весь мир, в то время как она существовала лишь в мире воображаемых экзотических путешествий...

Под торшером, на маленьком журнальном столике стояли два стакана чая; конфеты, варенье и три рюмки. Две из них были пусты, а одна – полная. «Кто третий?» – ударила кровь в голову Заура.

– Садись где понравится, – сказала Тахмина.

– У тебя гости?

– Да какие гости, соседка Медина.

– Это ты с ней пьешь коньяк?

– Да, сейчас и тебя угощу, – сказала Тахмина и вынула из буфета початую бутылку коньяка.

– Здравствуйте, – сказала Медина, входя в комнату. В руках она держала большую тарелку с горячими каштанами.

Заур сдержанно поздоровался.

– Ах да, вы же знакомы, – сказала Тахмина, и Заур сразу вспомнил, как Медина принесла ему на работу ее подарок – зажи­галку «Ронсон».

– Видишь, Медина, – сказала Тахмина, – Заур почувствовал, что ты решила жарить каштаны, и пришел; он ведь до них большой охотник.

Она помнила, как он порой покупал жареные каштаны еще когда они работали в издательстве, и угощал также и ее, и он был благодарен ей, что она помнит это, хотя каштаны-то они жарили не для него.

– Ну, садись, Медина. Вот и Зауричек составит нам ком­панию.

Она налила себе и Медине, а перед Зауром поставила ту самую наполненную рюмку.

– Знаешь, по какому случаю мы сегодня пьем?

– Нет, – сказал Заур.

– Мы отмечаем одно событие, – сказала Тахмина. Заур не понимал причин ее возбуждения: то ли его неожиданный визит, то ли выпитое, то ли что еще.

– Обычно люди торжественно отмечают свадьбу, – сказала Тахмина с нервным смешком, – А мы вот с Мединой отмечаем развод. Мой развод, – добавила она.

– В нашем полку прибыло, – сказала Медина.

Заур вспомнил, что Медина развелась с мужем несколько лет назад и что у нее сынишка – о нем часто рассказывала Тахмина.

Наступило молчание. Потом Тахмина сказала уже серьезно:

– Сегодня состоялся суд, Заур. Я разошлась с мужем.

Он не знал, что сказать: вопросы «зачем?», «почему?» были бы так же неуместны, как и попытки выразить сочувствие, или удивление, или огорчение, или удовлетворение.

«Медина, чтобы снять напряжение; попробовала было угощать Заура каштанами. Тахмина уставилась в свою рюмку. Молчание стало тягостным. И тут Заур увидел в ее глазах слезы.

– Ну, будет, – сказала Медина, встала и обняла ее за плечи. Тахмина всхлипнула. Заур впервые видел ее плачущей. Она быстро вытерла глаза, улыбнулась.

– Да, да, я просто так. Простите, – она подняла рюмку и сказала: – Ну, давайте выпьем. За нас.

Они выпили, и Заур спросил:

– Почему ты не звонила?

– Да вот собиралась все. Может, завтра и позвонила бы. – Опять губы ее дрогнули, но она сразу же взяла себя в руки и снова улыбнулась... – Нервы совсем расшатались. Я все эти дни как в лихорадке. Хорошо, что ты пришел, Зауричек.

Медина отпила глоток и сказала:

– Я пойду, уже поздно.

– Да нет, посиди. Столько трудилась, каштаны жарила. Отлично пожарено, да, Заур?

– Ага.

– Ну хоть поешь. Ешь, Медина, ешь на здоровье! – Она по­вернулась к Зауру: – Это она мне купила каштаны. Для успо­коения души.

– А я тревожился, – сказал Заур и добавил: – Я сегодня тоже слышал о твоем разводе. Звоню – телефон не отвечает.

– Я так и знала, что Спартак разболтает, – сказала Тахмина скорее Медину, чем Зауру. – Вернее, его мать. – Медина кивнула.

– Дело в том, что судья нашего района, – теперь Тахмина обращалась к Зауру, – близкий приятель Спартака, ну, просто водой не разольешь. Я позвонила Спартаку, чтобы он помог, поговорил с судьей, чтобы душу не тянули, не уговаривали, не наставляли на путь истинный там, на суде. А то знаешь всякие их штучки: «Может, еще подумаете, взвесите?» – месяцами тянут. А тут что уж думать – все решено. И правда Спартак здорово помог. Но вот уж не сболтнуть он не может.

Кончилась пластинка, Тахмина встала и выключила проигрыватель.

– Ну, я все-таки пойду, уже поздно, – сказала Медина, и на этот раз Тахмина не стала ее удерживать, проводила до дверей, о чем-то они там долго шептались. Заур, не зная, что и думать, бессмысленно разглядывал стены с нежными обоями – белые цветы на голубом фоне.

Тахмина вернулась. Заур соображал, стоит ли задавать вопросы, которые он хотел задать до прихода сюда, или все разъяснилось и не о чем говорить. Но кто пил из третьей рюмки?

– Что ты разглядываешь стены? – сказала Тахмина.

– У тебя красивые обои, – сказал он. – Цветы...

– Это они сейчас расцвели, – неожиданно пылко сказала Тах­мина. – Потому что ты пришел ко мне, Зауричек, в мой дом. Ты первый раз у меня, видишь, даже обои расцвели.

И он опять ни черта не мог понять; любит она его или насмехается?

– Как хорошо, что ты пришел, Зауричек! Тебя просто бог послал именно в этот день. Мне было так плохо, так одиноко. Я с ужасом думала; вот Медина уйдет, и я, наверное, умру.

– А почему ты не звонила мне, почему я был в стороне от всей этой истории? Хоть я и незнаком с судьей, но, может быть, тоже в чем-то помог бы...

– Спасибо, Зауричек. Но есть вещи, которые человек должен делать сам, один, не впутывая в них никого другого. И я не звонила тебе, потому что вся была в этом разводе. Мне хотелось поскорее покончить с этим кошмаром и освободиться от всего, что так долго меня мучило, унижало, заставляло презирать себя. А сегодня напряжение сказалось, я с утра хотела выпить, до суда, но подумала, еще придерутся, скажут: вы в нетрезвом состоянии, суд откладывается. ...Пришла, позвала Медину, мы выпили, третью рюмку налили тебе...

Заур улыбнулся ей, улыбнулся впервые за этот день – спокойно и счастливо. И она увидела эту улыбку, которая пусть на какое-то время, но снимала его тревоги и сулила покой и умиротворение, а следовательно, и счастье.

– Ну, Зауричек, – сказала она мягко. – Ну, почему ты все время пытаешься меня как-то уличить, почему не веришь мне, а веришь всем тем глупостям, которые обо мне болтают? – Она положила голову ему на колени и, повернув лицо к нему продолжала шепотом: – Зауричек, милый, пойми наконец: я люблю тебя и только тебя. Я не хочу губить твою жизнь. Я не могу претендовать на нее. Но я не могу и без тебя. Все эти дни я сходила с ума без тебя. Я сто раз проходила мимо вашего дома, мимо издательства и говорила: «Здравствуй, Зауричек».

– Но почему, почему ты не звонила?

– Я не могла, Заур. Может, я и завтра бы не позвонила. Я не имею на тебя никаких прав. Не знаю, что мне делать, я заблуди­лась, Зауричек, заблудилась сама в себе.

Он не хотел этого говорить, но вырвалось как-то вдруг и само по себе.

– А я думал, у тебя Спартак, простодушно сказал он. – Его машина у твоего подъезда.

– Она там? – сказала Тахмина. – Вот негодяй! С одной стороны, он мне действительно очень помог, а с другой... вот такой он и есть – фанфарон и бахвал. Поставил машину, зная, что всем уже известно о моем разводе. – Она пристально посмотрела на Заура и сказала, поджав губы: – Ну, Зауричек, не смотри на меня так. Потуши свои глаза. Они у тебя прямо полыхают. Когда ты пришел, и я открыла дверь, ты так на меня смотрел, что я думала, сейчас вспыхну. Ну, потуши свои глаза, – с хмельным упрямством повторила она, – Ну, скажи мне, Зауричек, что мне делать?

– Я сейчас приду, – сказал Заур и, осторожно сняв с колен ее голову, встал.

– Куда ты?

– Мне надо позвонить. Я позвоню из автомата и сейчас под­нимусь.

Он поспешно вышел и, перепрыгивая через ступеньки, бегом спустился вниз. Бордовая «Волга» сияла у самого подъез­да. Она стояла наискось – левые колеса на тротуаре, правые на мостовой, – как бы притязая и на улицу, и на тротуар, и на вход в подъезд.

Заур вынул карманный нож и проколол шину заднего колеса. Потом не спеша повернулся и медленно поднялся на третий этаж.

У окна стояла Тахмина и смеялась.

**\* \* \***

Они встретились со Спартаком утром во дворе. Заур шел к своему «Москвичу», а Спартак, в джинсах и кожаной куртке, поливал свою «Волгу» из шланга. Зауру всегда казалось, что эта бордовая «Волга», в отличие от всех машин той же марки, излучает самодовольство. Может, потому, что Спартак всегда ставил ее во дворе носом вверх и в этом проявлялся гонор хозяина.

– Послушай, Спартак, – сказал Заур, – как ты вчера ночью доехал до дому?

– А что?

– С проколотой шиной как доехал, спрашиваю?

– А ты откуда знаешь? – насторожился Спартак.

– Знаю, потому что сам проколол ее.

– Зачем? – искренне удивился Спартак.

– Чтобы ты больше не ставил свою машину там, где не следует.

Спартак мгновенно все понял и с вызовом ответил:

– Машина моя, и я буду ставить ее где мне вздумается.

– Твое дело, – спокойно сказал Заур. – Но я тебя предупредил: проколол тебе одну шину. Если в следующий раз увижу там твою машину, проколю все четыре шины, разобью передние стекла, поломаю задний мост, и вообще ты ее не узнаешь. Я понимаю, у тебя много денег и ты машину отремонтируешь, но я вдобавок, и тебя самого так разукрашу, что тут уж никакие деньги не помогут.

– Много на себя берешь. Подумаешь, испугал, – сказал. Спартак, хотя Заур увидел по его глазам, что он все же озадачен, помня нрав Заура по давним детским дракам.

И все же когда Заур сел в свою машину и выехал со двора, его вдруг осенило: в сдержанности Спартака, помимо опасения, была еще одна причина. Видимо, он был в курсе планов своей семьи и допускал, что в будущем они с Зауром могут оказаться родственниками, а значит, не хотел идти на обострение.

\* \* \*

– Уже не я буду с гобой говорить, – скачала Зивяр-ханым, – с тобой отец будет говорить. И не стыдно тебе приходить к утру? Для этого она развелась, да? Ну, ничего, теперь уж и отец твой все знает. Он поговорит с тобой как следует.

Вечером отец позвал его в свой кабинет и говорил долго, монотонно, но твердо и мучительно стыдно для Заура. И Заур снова убедился, что самую большую боль способны причинить самые близкие люди. Конечно, у отца и тон и лексика были иными, нежели у матери, но смысл был тог же. И еще Заур впервые заметил, что отец его говорит без знаков препинания нескончаемо длинной, без пауз и акцентов фразой.

Все в этом сплошном и ровном потоке слов сводилось к простой и ясной мысли, что Заур сам по себе ничего не стоит, и никто бы не мог увлечься им, если б за ним не стояли богатые родители. После того как этот мотив был исчерпан, последовала вторая часть монолога, ибо это был чистый монолог, без малейшего допущения, даже намека на диалог. Говорил только Меджид, а Заур слушал, но порой не слышал, до него доходили лишь какие-то обрывки мыслей, слов...

– Ты взрослый... ты можешь и встречаться... жениться... развелась... учти... как бы ты дорог нам... единственный сын... будем считать... сын... умер... больно... лучше, чем бесчестье... как вы будете жить... на какие деньги... мне говорила твоя мать... если ты не сможешь ей всего этого обеспечить... бросит тебя сама... станет роскошествовать за счет других мужчин... ни одному мужчине в Баку не сможешь посмотреть в глаза... – Это были речи Зивяр-ханым, произнесенные мужским голосом и без знаков препинания, – ...и не только потому... в прошлом у него была связь с твоей женой («женой» он произнес с явной издевкой, единственной живой интонацией за всю речь, и Заур воспринял всю мысль – целиком) ...но и потому что может быть и сейчас когда ты на ней «женат» ее содержит тог же другой мужчина... – Тут отец впервые остановился, выдержал многозначительную паузу и продолжал: – Но ты не женишься на ней... у вас временная связь... подумай о ней (Заур удивился словам отца, такого поворота он не предполагал) ...возможно она тебя в самом деле любит... временная связь кончится... все оборвется, женщины стареют раньше... ей трудно перенести разрыв в таком возрасте (...Неужели отец способен на такое понимание, сочувствие?» – с удивлением подумал Заур.) ...Послушай меня, сынок, – отец говорил уже почти ласково и даже со знаками препинания, – я не знаю, что из того, что о ней говорят, сплетни, а что правда. Но для меня ясно одно – она из другого, не из нашего мира. Она – богема! – Он тщательно, со значением произнес это явно заимствованное у кого-то слово, ибо Заур знал лексический фонд отца, – Да, именно богема. – И дальше потекла знакомая речь, и Заур внимал ей вполуха. – Не такая женщина тебе нужна, не о такой невесте мы мечтали, живем только ради тебя... хотим, чтобы ты был счастлив... для счастья у человека должен быть четкий план действия... – Голос отца как бы удалялся, слова отторгались друг от друга. – ...упорная работа... прочная семья… безупречной репутации жена... воспитанные дети... дела... деятельность... понимаю молодость... нагулялся... серьезно... о будущем... кандидатской диссертации... отодвигается докторская... научная карьера... все... вовремя... кооперативная квартира... молодой женой... Все, что было сказано отцом, можно было бы как-то выдержать, проглотить и потом постараться забыть и не страдать от мучительных воспоминаний об этом разговоре, но отец добавил еще одну фразу, и она решила все. Не должен был он ее произносить.

– ...Мне обещали «Волгу», – сказал отец, – Я хочу подарить ее тебе ко дню твоей свадьбы. Свадьбы с чистой девушкой из порядочной солидной семьи. Надеюсь, это случится скоро.

Не должен был отец этого говорить. Ведь он знал, как мечтал Заур о «Волге». Не должен был отец предлагать Зауру взятку за отказ от Тахмины.

– Все, отец? – спросил Заур.

– Что все?

– Ты все сказал?

– Да, – настороженно ответил Меджид.

– Я тебя внимательно выслушал. Я очень люблю и тебя и маму. Спасибо вам за все – за то, что вы воспитали меня, вырастили. Но ничего не поделаешь. Я должен уйти от вас. Мне совершенно безразлично, кто что скажет об этом. – И уже в дверях он добавил: – Спасибо за «Волгу», но я возвращаю вам «Москвича». Вот ключи. Я возьму только то, что на мне, зубную щетку и бритвенный прибор.

– Ну и убирайся к своей шлюхе! – в ярости крикнул отец.

Заур ушел, не попрощавшись с матерью.

**9**

Подобно траве, долго и трудно пробивающейся к свету, Заур пробивался сквозь плотную и теплую материю сна к утру с косыми лучами солнца, проникающими сквозь тюлевые занавес­ки, к утру с аппетитными запахами из кухни, с невнятными голо­сами, и, еще не осознавая ни календарного наименования насту­пившего дня, ни своего точного местонахождения, ни характера запахов, он, тем не менее, с каким-то сладостным узнаванием угадал: в кухне с кем-то беседовала Тахмина. Они говорили о нем, и в голосе Тахмины звучала нескрываемая радость.

– Заур такой лентяй, – говорила она. – По утрам будить его – мучение, никак не проснется. Вставай, Зауричек, – громко сказала она, входя в комнату.

Он, все еще пребывая в сладостной истоме, прислушался. Ее голос опять звучал в кухне, и обращалась она к Медине:

– Обязательно надо будить его, иначе он встает прямо впритык, чтобы успеть на работу. Даже зубы не успевает почистить. Ну прямо большой ребенок. За ним вообще надо следить, как за ребенком. А то он может днями ничего не есть, – Голос снова стал приближаться, и она, войдя в комнату, сказала: – Вставайте, принц, яичница готова, а кофе куда прикажете – в постель?

Заур раскрыл глаза, потянулся.

– Ну, что мне с ним делать? – это она обращалась к Медине, которая зашла за заваркой и улыбаясь выслушивала счастливые Тахминины жалобы. – Ну можно ли быть таким лентяем?

В начале их союза, после сладостно-опустошительных свиданий у Заура возникала потребность встретиться с друзьями, посидеть в чисто мужской компании. Ему была противна манера некоторых мужчин похваляться и бравировать своими амурными победами. Он терпеть не мог этого вообще, а в отношении Тахмины и вовсе никогда не позволил бы себе никакого трёпа с кем бы то ни было. Но само ощущение мужской компании, в которой он был в своей тарелке, в которой он непринужденно шутил, острил, пил и в то же время нес в себе не доступную другим счастливую тайну только что пережитого, было волнующим и ни с чем не сравнимым удовольствием. Он поддерживал с друзьями разговор на им одним доступном жаргоне, на им одним понятные темы, смеялся, дурачился, шутил, отшучивался, и все время в нем бурлило его собственное, недавно пережитое, и ему было приятно от мысли, что сейчас, когда он с приятелями, Тахмина в его отсутствие думает о нем так же, как и он, переживая воспоминание о счастливых минутах, И только теперь он понимал, что подобное чувствовала и Тахмина, общаясь с Мединой после их с Зауром свиданий. И ей, оказывается, было необходимо это общение с близким человеком, ей, как и ему, было важно поделиться с кем-то не подробностями, а самим ощущением счастья, даже, может быть, и не упоминая о его причинах. В извечном эгоизме влюбленных им казалось, что их счастье способно осчастливить и других, заразить их своей полнотой, и они не понимали, что чужая радость чаще оставляет нас равнодушными, если и не доставляет смутного огорчения. Любовь – дело двоих – часто нуждается в третьем, не в том третьем, который лишний, а в наперснике. Наперснике счастья. Наперснике, в которого им необходимо всматриваться, как в зеркало, чтобы увидеть в нем отражение своего счастья. И таким наперсником теперь стала Медина. Медина не только заходила к ним то и дело – по утрам, поздно вечером, а в субботу и в воскресенье днем; они часто бывали вместе в кино, в парках, на бульваре, иногда до поздней ночи втроем шатались по улицам уснувшего города.

Случайный прохожий, встреченный ими в поздний час, становился героем общих воспоминаний: «А помнишь, как мы встретили у кинотеатра «Азербайджан» того хромого адвоката шел и разговаривал сам с собой», «А помнишь, старуху с собачкой, как они были похожи друг на друга»...

Однажды, возвращаясь около полуночи, они на пустынной улице встретили человека, который подходил к стенам домов, отпирал железные коробки и выключал световые рекламы – сберкасс, страхования, кино, минеральных вод, предупреждений от уличных происшествий и предостережений от пожаров («Не давайте детям играть со спичками!»). И они с удивлением обна­ружили, что есть такая странная профессия – тушить и зажигать рекламные огни, и каждый вечер этот человек проходит по улицам города и выключает никем уже не читаемые в столь поздний час призывы к благоразумию, посулы, советы и предостережения, точно так же как глава семьи гасит в своей квартире лампочки, убедившись, что они уже не нужны его спящим чадам и домочадцам. И они долго обсуждали эту странную и удивительную профессию. И Тахмина сказала, что знает одного человека, у которого тоже очень своеобразное занятие: он включает и выключает фонтаны на Приморском бульваре. А в те дни, когда он заболевает и не выходит на работу, фонтаны бездействуют.

– А самая романтическая профессия, – сказала Тахмина, – это, по-моему, профессия метеоролога. Я когда-то хотела стать метеорологом. Представляете, каждый день иметь дело с грозами, дождями, ветрами и молниями!

Иногда, гуляя втроем, они встречали знакомых Заура, Тахмины или Медины. Те разглядывали их пристально и пытливо. И те же самые любители новостей, которые снабжали Зивяр-ханым сведениями об образе жизни Тахмины, теперь со злорадным упоением сообщали ей о каждой прогулке этого трио, с мнимым сочувствием подчеркивая, как нагло афишируют свою связь Тахмина и Заур и какую гнусную роль – роль сводницы – играет при них Медина. Эти разговоры еще более распаляли Зивяр-ханым, и она звонила Тахмине, чтобы обругать ее послед­ними словами.

О звонках Заур узнал не сразу. Он заметил, как однажды Тахмина подошла к телефону, ответила:

– Да, это я. – Потом вспыхнула и, молча подержав трубку, положила ее.

– Кто это? – спросил Заур.

– Не туда попали, – сказала она и, сколько Заур ни добивался, ничего больше не сказала.

Заур и подумать не мог, что звонила мать, и мысли его нача­ли работать в ином направлении: снова его охватили сомнения, снова почудилось, что она что-то скрывает, чего-то не догова­ривает... Мелкие уколы ревности были чувствительны еще и потому, что Тахмине звонили часто и разные люди, преиму­щественно мужского пола. Она говорила с ними дружески и тепло, а ему потом непринужденно объясняла: «Да чудной ты, Зауричек, это же ассистент режиссера, мы с ним договаривались о времени передач, он составляет график и позвонил, чтоб я ему назвала удобное для меня время. Потому-то я так подробно и рассказала ему, когда я свободна», «Ну что ты, Заур, честное слово! Это же портной, я отдала переделать пальто. Вечером должна пойти на примерку», «О чем ты говоришь, Зауричек, это же зубной врач! Позвонил, предупредил, чтобы я зашла на той неделе».

И был второй случай, когда она ничего не говорила, молча слушала, потом положила трубку и стала сама не своя.

– Опять не туда попали?

– Да, – только и был ответ, и она сразу ушла в ванную. Зауру показалось, что он слышит всхлипывания, но через полчаса она вышла из ванной, лицо у нее было свежее, чистое, и она весело улыбалась.

Но когда через несколько дней Тахмина взяла трубку, и по тому, как сказала «Да?» и сразу вся поникла, Заур догадался, что звонит тот же человек. Он крадучись подошел к ней сзади и, неожиданно выхватив трубку, услышал кипящий ненавистью и злобой женский голос: «Шлюха ты трехрублевая, ты что думаешь, мы допустим, чтобы ты так мальчика и охмурила?»

Он сразу положил трубку. Он не мог спутать этот голос ни с каким другим в мире – голос его матери.

– Ну что? – печально улыбнулась Тахмина, – успокоился?

Ему было нестерпимо стыдно, он не знал, что сказать, и с трудом выдавил из себя:

– И в те разы была она?

Тахмина задумчиво кивнула, потом тихо сказала:

– Она звонит каждый день. Как ты переехал ко мне.

Вот уже около месяца он жил у Тахмины. Заур помнил тот хмурый ноябрьский вечер – ветер гонял обрывки афиш, газет, бумаг по пустым улицам, когда он после разговора с отцом пришел к Тахмине и рассказал ей все и она сказала сразу и просто:

– Зауричек, по идее я должна была бы, наверное, сказать тебе: нет, дорогой, не надо такой жертвы, пожалей отца и мать. Это было бы так благородно с моей стороны. Но я не стану врать. Мне хочется, чтобы ты остался со мной... Наверное, я жуткая эгоистка и дрянь...

\* \* \*

Только поселившись у Тахмины, он понял, что значила для нее ночь, какой страшной пыткой было для нее ночное одиночество и как она боялась этого, как ей, страдающей бессонницей, мучительно трудно дотягивать до утра. Она говорила честно и прямо о том, какое для нее счастье, просыпаясь, чувствовать рядом с собой живого и теплого человека и что у нее никогда не было такого ощущения, когда она жила с мужем...

– Вставайте, вставайте, принц, кофе подан.

Она принесла ему в постель поднос с кофе и колотым сахаром. Еще вчера вечером у них не было колотого сахара, и стоило Зауру лишь вскользь сказать о том, что он не любит пиленого сахара, и Тахмина рано утром спустилась в магазин и купила к завтраку тот, который он любит. Она взглянула на его довольное лицо и рассмеялась:

– Ах, боже мой, ты еще совершенный ребенок! Достаточно запомнить пустяковое желание и исполнить его, как ты уже счастлив. Чисто мужское качество. Потому-то вы, мужчины, и попадаетесь, принимая мелкие уловки за великую преданность и любовь.

– А что, разве ты меня не любишь? – спросил Заур, но она, не отвечая ему, сновала между кухней и комнатой и напевала прозрачную и легкую, как летнее облачко, песенку. Эта песенка привязалась к ней вчера, после кино – в ней была погожесть летнего дня, и солнечные зайчики на стенах, и мыльные пузыри, и бумажные змеи, и все ощущения солнечного детства. Сейчас, в это декабрьское утро, в окна падали косые лучи солнца, играя бликами на цветных обоях, и действительно казалось, что они расцветают. Она приносила ему из кухни яичницу, красную редиску, зеленый лук, свежий хлеб, салфетку и все напевала и напевала...

И все это было ответом на его вопрос.

**\* \* \***

Часто по утрам, завтракая в чистой, аккуратной кухне Тахмины, он вспоминал родительский дом. В кухне Тахмины, где все было четко квадратным – и сама кухня, и окна, и плита, и холодильник, и стол, и табуреты, и кафель на стенах, и линолеум на полу, и плетеные вьетнамские салфетки на столе, и даже солнечный свет из окон падал квадратами – и где каждый квадрат блистал опрятностью, Заур вспоминал кухню своей матери с жирными тарелками, накладывающимися друг на друга в течение многих дней (они мылись только, когда пирамида грозила вот-вот развалиться), и понимал, почему у него дома часто не было желания завтракать или обедать. И уж совсем пропадал аппетит, когда он рядом со своей тарелкой или хлебницей обнаруживал большой гребень матери с комком волос (неизвестно было, каким образом гребень оказывался на кухонном столе, да еще во время завтрака). Конечно, когда у них бывали гости, все вычищалось, отмывалось и убиралось, но ведь гости-то бывали не каждый день.

Он с удивлением наблюдал, сколько времени тратит Тахмина на то, чтобы содержать в чистоте и опрятности свою квартиру. Она следила за ней точно так же, как за собой и за своей одеждой. «Дома должна быть чистота, и хороший тон, и хорошее настроение. Все взаимосвязано, – говорила она. – И об этом должны заботиться и родители и дети».

Это вообще была ее любимая тема – дети. Она могла часами говорить о том, как воспитывала бы своих детей, как развивала бы сына – с раннего детства отдала бы его учиться плаванию и потом всю жизнь заставляла бы заниматься спортом; а если бы у нее была дочка, Тахмина ее нежила бы и холила, одевала как куколку, тоже с самого раннего детства отдала в балетную школу, чтобы привить ей хорошую осанку. И ее дети были бы самыми красивыми, чистыми и учтивыми детьми на свете.

Но порой она говорила иное. Она говорила о том, как бы ей хотелось иметь много детей, причем самых обыкновенных, замурзанных, и чтобы они, пока научатся проситься на горшок, марали свои штанишки и вообще испачкали всю квартиру, а она ходила бы за ними, подмывала бы их, убирала за ними, и чтобы они были детьми Заура, чтобы их любовь прошла и через такое испытание – испытание бытом, со всей его изнанкой, грязью, усталостью, отупляющими тяготами – и с детьми, которые были бы не открыточными ангелочками, а марали бы платья Тахмины и брюки Заура, чтобы надо было много раз в день стирать их пеленки, и вообще мучиться с ними, падать с ног от усталости, пока наконец уложишь их спать, и все же любить после этого друг друга, и пока не подрастет один ребенок, уже создавать нового, и так до старости. Только о любви, прошедшей через подобные испытания, можно сказать, подлинная она или мнимая.

– А ты знаешь, – как-то сказала она Зауру, – что дети во чреве матери видят сны? Многое бы я дала, чтобы узнать, что же они видят. А засыпают они там, оказывается, под стук материнского сердца. Он для них звучит, наверное, как тиканье часов. А знаешь, где-то проделали такой эксперимент – записали на магнитофон стук сердца матери и уже рожденный ребенок сразу засыпал под этот звук. Эх, Зауричек, обидно все-таки, что я неспособна родить. Родила бы от тебя... – И, заметив его настороженный взгляд, добавила: – Да ты не беспокойся. У меня никаких претензий к тебе не было бы. Даже не знали бы, что это твой ребенок. Но мы-то вдвоем знали бы. А вообще не беспокойся, все это пустые разговоры. Ты же знаешь – я не могу.

– А почему бы тебе не взять ребенка? «Тебе, а не нам», – почти одновременно подумали об этом и сам Заур, и Тахмина. Она ответила не сразу:

– Я думала об этом, знаешь ли. Много думала. И решила этого не делать. Понимаешь, Заур, я бы привязалась к нему, полюбила бы по-настоящему – и все время знала бы, что это не мой ребенок. Умирала бы от страха, что вдруг объявится настоящие его родители и узнают его, ну, прямо как в сказках, по какой-нибудь родинке у пупка. Я боялась бы, что он и сам когда-нибудь узнает правду, даже если и родители не объявятся: узнает, что я ему не настоящая мать. Кто-нибудь же непременно удружит и скажет из одной злобы ко мне, как, например, твоя мама, – Заур покраснел, но ничего не сказал. Тахмина закурила и продолжала: – Но даже без этих страхов я все время помнила бы, что он не мой. А я хочу иметь что-то свое-свое. Совсем свое. Я же ужасная собственница. Собственница, у которой никакой собственности никогда не будет... Нет, – сказала она решительно. – Чужой ребенок – это чужой ребенок. Чужая кровь, чужие гены. Он не мой, – И вдруг неожиданно добавила: – Как и ты, Зауричек. Ведь и тебя я потеряю рано или поздно. Я же знаю.

Этот разговор состоялся у них в самые первые дни их совместной жизни в доме Тахмины, и Заур поразился, как ясно и твердо она сказала о том, о чем смутно догадывался и он сам: о недолговечности и обреченности их любви. И хотя он всегда скептически посмеивался, когда она несколько вычурно подчеркивала это – ставила третью рюмку: «Это твоя, это моя, а это нашей разлуки – ведь и она тоже всегда с нами», – он и сам ощущал ее постоянное присутствие, присутствие их разлуки. Хотя ни о сроках, ни о причинах ее он ничего не знал.

**\* \* \***

Как-то она завела разговор об аристократизме. «Подлинный аристократизм, – сказала она, – не в происхождении, не в семье и роде, не в генеалогическом древе. Подлинный аристократизм – это чувство собственного достоинства. Подлинного аристократа и интеллигента я могу определить по звуку его шагов. Вообще в зависимости от того, как человек ходит, можно многое опре­делить в его облике и сущности. Вот Мухтар, например, аристократ и интеллигент до мозга костей. Но надо его очень хорошо знать, чтобы разглядеть в нем это под всеми внешними наслоениями...

Разговоры о Мухтаре были самой большой неприятностью их медового месяца. Разговоры о Мухтаре и телефонные звонки. Впрочем, и звонил чаще других Мухтар.

– Разве вы мало общаетесь на работе? – с удивлением спрашивал Заур. – Приходишь с работы домой и опять полчаса висишь на телефоне с Мухтаром.

– Как ты не понимаешь, Зауричек? – беспечно отвечала она. – Там мы именно на работе, а так, по телефону, сплетничаем обо всем. И об этой самой работе, и о делах, и о событиях дня, и о своих коллегах. Ведь и Мухтар любит посудачить. Что ни говори, а мужчины куда более ярые сплетники, чем женщины. Почти все мои друзья...

– Друзья, друзья, – резко прервал он. – Слишком много у тебя друзей. Учти, когда хочешь иметь слишком много друзей, в конце концов не имеешь ни одного.

– Это что? – сказала Тахмина. – Намек? Угроза? Предупреж­дение?

– Как тебе будет угодно, – сухо ответил он, и это было их первой размолвкой.

Она молча оделась и ушла, вопреки обыкновению не сказав ему о своем расписании. Но ему нетрудно было узнать о нем по телепрограмме, и он поехал за ней к концу вечерних передач – часам к одиннадцати. Он часто приезжал за ней к концу передач.

– По звукам, доносившимся из окон жилого дома, он определил, что она объявила об окончании программы и пожелала всем спокойной ночи. Он подождал еще минут пятнадцать и увидел ее, торопливо идущую к автобусной остановке. Она заметила его и улыбнулась.

И ему было удивительно тепло оттого, что она только что распрощалась со всем городом и теперь спешит к нему одному. И почти безлюдный ночной автобус, довез их до дома – до их дома.

– Ты не должен меня ни к кому ревновать, Зауричек, – говорила она шепотом в темноте. – Ревновать – значит признавать свою слабость. А ни к кому не ревновать, никому не завидовать – значит быть первым. Будь первым, Зауричек, будь уверен в себе, – И добавила: – И во мне. Я тебе верна. И не изменю, пока мы вместе.

**\* \* \***

По вечерам они часто слушали музыку. У нее была большая коллекция записей, и в подборе их не было ни системы, ни каких-то особых пристрастий. Он, этот подбор, отражал только вкус Тахмины и причуды ее настроений. В одном душевном состоянии она любила слушать только классику или оперу «Лейли и Меджнун». Почти каждый вечерей хотелось танцевать. Она ставила джазовую музыку, и они с Зауром скользили под ритм грустных блюзов по маленькой комнате. Она закрывала глаза, обнимала Заура и перебрасывала свои длинные волосы через его плечо ему на спину, и от нее исходил чудесный аромат ее смешанных французских духов. Часто ей хотелось слушать азербайджанскую музыку – мугамы, народные песни. С каждой из песен у нее были связаны какие-то ассоциации, мысли, ощущения. Она придавала музыке культовое значение, говорила, что музыка – ее последнее прибежище и спасет ее, когда они с Зауром расстанутся. «Иначе я умру или сопьюсь», – говорила она и могла часами слушать народные песни: «Полила я улицы водой», «Нет, не быть тебе моим возлюбленным», «Пощади, охотник», «Из окон камни летят», «В сад любимой я вошел», «Папироса твоя тлеет и горит», «Черные виноградины», «Лачин»... В слова этих песен она вкладывала личный смысл, отражение своих собственных настроений и чувств, то глубокое и полное воплощение ее душевного настроя, которое она сама не могла и не умела иначе выразить. Повторяя вечные слова о любви, грусти, разлуке, сожалении, подпевая незатейливым и бессмертным мелодиям, она выплескивала свое самое сокровенное.

– Ты только послушай, Зауричек, как просто и хорошо: «Полила я улицы водой, чтобы милому ноги не запылить!» Чем была любовь, Зауричек, и что мы с ней сделали? Ты вот, к примеру, стал бы поливать улицы, по которым я должна пройти, чтобы не было пыли?

– В Баку это невозможно, – сказал он. – Пока я полью конец улицы, норд засыплет песком ее начало.

– Эх ты, – говорила она, – нет в тебе романтики, ее вытравляли из тебя по каплям.

Но уже звучала другая песня: «Пусть меня убьют ради одной голубоглазой девушки», и Тахмина задавала другой вопрос:

– Заур, а ты согласишься – нет, не на то, чтобы убили, а, скажем, на некоторые неудобства ради одной голубоглазой девушки?

– Я уже согласился на некоторые неудобства, как ты выражаешься, ради одной черноглазой девушки, – отвечал он.

– Нет, это не то. А вот так: «Пусть меня убьют...» – какая широта, а? Еще послушай: «Дому, в котором нет такой красавицы, зачем такому дому стоять, пусть обрушится». Слышишь, Зауричек? В этих словах больше сказано о душе народа, чем в сотнях ученых трактатов.

«Нет, не быть тебе моим возлюбленным», – пелось в песне, и Тахмина повторяла это, глядя прямо в глаза Зауру, и Заур сам удивлялся тому, как слова старинных песен, которые и ему нравились, хотя никогда особенно его не увлекали и о которых он никогда не задумывался, могут так точно и конкретно относиться к их с Тахминой любви. «Если бы тебя дали мне, это даже богу было бы приятно», – пелось в песне, и Тахмина озорно повторяла эти слова и добавляла:

– И богу было бы приятно, Зауричек, да вот не дадут мне тебя, ни за что не отдадут.

«Папироса твоя тлеет и горит, и душа моя тлеет и горит. Вот брошу тебя и уйду, тогда и ты будешь тлеть и гореть», – пелось с печальной и шутливой угрозой, и в самой шутке была горечь.

Ну неужели люди, сочинившие все эти песни и жившие в далекие времена – до магнитофонов, блюзов, зарубежных филь­мов, женщин в модных платьях, до альпинистов, фарцовщиков, телевизионных режиссеров, до холодильников и автомобилей, – могли чувствовать то же самое, что чувствуют теперь, сейчас они с Тахминой, и выражать их чувства такими простыми и западающими прямо в душу словами? Он поражался универ­сальности человеческого душевного опыта, поражался тому, что кто-то задолго до них пережил то же самое и пришел к тем же самым радостям и горестям, обещаниям и сомнениям, надеждам и разочарованиям. «Нет, не быть тебе моим возлюбленным» – в этом было и лукавство – неверие в то, что и в самом деле «не быть», и мужество отказа, и упоение печалью, и дерзкий намек: кому же, как не тебе, быть моим возлюбленным и как же ты мог бы быть без меня...

Тахмина не могла спокойно слушать «Лачин». Эта песня затрагивала какие-то самые потаенные струны ее сердца, и, слушая ее, она всегда расстраивалась, по щекам ее текли слезы. Заур так и не понял, отчего она могла плакать при словах «мой возлюбленный, у которого сгнили все сваты и он сам себе сват».

**10**

Получив впервые после переезда к Тахмине зарплату, он пошел на базар. Почти половину своей получки он оставил там: купил фрукты; очищенные орехи, кишмиш, цветы и даже мясо. Он испытывал неведомое до сих пор чувство домовитости, поднимаясь по ступенькам лестницы, и был жестоко оскорблен, когда Тахмина, рассмотрев и так и эдак два килограмма мяса, прямо-таки накинулась на него с упреками:

– Ну кто такое мясо покупает, одно тряпье! Ну, что из этого мяса можно приготовить? И зачем тебе вздумалось вдруг делать покупки? Сказал бы мне, я бы тебе объяснила, что мясо можно покупать только у Фазиля. Это мой знакомый, и он всегда оставляет мне хорошие куски. Сразу чувствуется, что дома тебя баловали, ничего-то ты не умеешь!

– Да уж, у меня нет знакомых мясников на базаре.

– То-то и видно, что нет, и вообще ты, по-моему, до сих пор на поводке ходил.

Он ничего не ответил, надулся и молчал до самого вечера. А к вечеру – была пятница – подъезд дома неожиданно заполнился звуками зурны, и Тахмина радостно вскочила:

– Так это же за нашей соседкой Солмаз пришли. Я совсем забыла, сегодня же ее свадьба!

Она подошла к окну и долго смотрела, как из подъезда выходят гости, а затем и невеста в длинном белом платье, под руку с женихом в темном костюме, и перед ней держат зеркало и зажженные свечи, а музыканты дуют в зурну, раздувая щеки. Тахмина говорила, каких усилий стоило семье Солмаз – людям весьма скромного достатка – сколотить приданое для дочери, чтобы было не хуже, чем у других: спальный гарнитур, и пиа­нино, и сервизы – обеденный и чайный, и что теперь они до смер­ти будут расплачиваться с долгами, и какие все же у нас нелепые обычаи – свадьбы, поминки – сплошное разорение, люди выпендриваются друг перед другом. И вообще, сколько пошлости в этих обрядах: чинное сватовство, когда родители и родичи решают вопросы, которые сами молодые уже давно решили, и обручение – нишан, и кольцо, и свадьба, и приданое, и все такое прочее – ее корчит от этой пошлятины.

Потом они смотрели по телевизору московскую передачу «Голубой огонек», поужинали бутылкой «Кямширина», сыром и колбасой, поговорили об общих знакомых, и неожиданно Тахмина сказала:

– Зауричек, а знаешь, как бы мне хотелось так же выйти замуж. Чтобы было сватовство, и нишан, и свадьба, и свечи, и зеркало, и музыка, и такое же длинное белое платье... – Она внимательно посмотрела в глаза Зауру, и когда заговорила вновь, Заур поразился тому, как она умеет читать в его душе и угадывать его мысли, даже такие, которые он сам до конца не додумал, – У тебя-то все это будет, Зауричек, тебе все это предстоит. Но вот убей меня Бог, никак не могу представить тебя родственником Спартака. Мужем его сестры – представляю, и даже очень хорошо, но вот зятем Спартака – непостижимо!

Заур, жуя хлеб с колбасой, сделал протестующий жест.

– Ну, знаешь, хватит. Не отбрыкивайся. И вообще, скажу я тебе, довольно вам, мужчинам, козырять: женюсь – не женюсь, и думать, что предложением вы осчастливили нас, а отказом от женитьбы обрекли на смерть. Подумаешь! Чем плохая девушка? Я сама, например, крепко подумала бы, если б ты предложил мне выйти за тебя.

Они уже сидели в комнате и, попивая кофе, смотрели телевизор. Заур вынул из кармана сигареты, чиркнул спичкой.

– Ой, что ты наделал! – горестно вскрикнула Тахмина, и он понял, что за звук раздался: огнем сигареты он ненароком коснулся воздушного шара в углу, и шар лопнул.

**\* \* \***

Потом он никак не мог определить: когда же это началось? После очередного звонка «знакомого», с которым Тахмина говорила необычайно долго и, как казалось ему, игриво, а он курил на кухне и злился? Или когда она, перебирая его покупки (в тот день она чувствовала себя плохо и на базар послала его), высмеивала бездарные продукты и несуразные цены: сразу, мол, видно, что он не приучен к хозяйству и вообще маменькин сынок? Она шутила. Но, зная, что эти шутки Зауру неприятны, она тем не менее шутила.

Иногда ему казалось, что она нарочно играет на его чувст­вительных струнках, что это доставляет ей какое-то болезненное удовольствие. Стоило ему оглянуться на улице на новенький «Москвич», она сразу же замечала: «Ах, мальчик вспомнил про свою любимую игрушку! Родители наказали шалунишку, отняли у бедного игрушечку». И то, что она говорила «шалунишка», «игрушечка», сюсюкала, злило его несказанно. И хотя все это говорилось ласково-вкрадчивым тоном. Заур чувствовал ее неподдельное раздражение, и это злило его, и он порой срывал­ся.

А может, это случилось в тот вечер, когда Тахмина, уже при Медине, завела речь о том, что мать Заура не дает ей покоя и теперь звонит не только домой, но и на работу? Медина сказала, что пусть, мол, однажды Тахмина передаст ей, Медине, трубку и она выдаст той по первое число. Заур с трудом сдержался и смолчал, чувствуя, как волна злобы и раздражения поднимается в нем и он готов обругать самыми оскорбительными словами не только Медину, но и Тахмину. Ведь речь шла как-никак о его матери, которая хоть и вела себя возмутительно, но уж во всяком случае не Медине, чужому человеку, да еще таким образом, лезть в их дела. Правда, Медина не сказала ничего лишнего и вообще больше об этом не говорила, но Заур готов был взор­ваться и взорвался бы, скажи она еще хотя бы слово.

Что было причиной дремлющего в нем подспудного раздражения и тревоги, он точно не мог определить, но однажды во время завтрака в чистой и аккуратной кухне Тахмины ему нестерпимо захотелось оказаться дома, в кухне своей матери, с неубранной посудой, с прижившимися мухами, которые, однако, непостижимым образом исчезали при гостях – знали свое место, за столом, на котором со стаканом чая соседствовала гребенка. И, чувствуя перемену в его настроении, Тахмина почему-то не приходила к нему на помощь. Наоборот, она будто нарочно старалась сделать все, чтобы укрепить в нем это настроение и оттолкнуть его.

– Ну, что замечтался? – сказала она, – «Москвич» вспомнил?

Нарочно, что ли, хотела она его тоску по дому свести к сожалениям об утерянном комфорте, спокойной, удобной и пресной жизни и особенно о его машине? Зауру казалось, что если Тахмина и способна ревновать его, то разве только к «Москвичу». Ему было странно, что он, гак остро и мучительно ревнуя Тахмину, ни разу не заметил в ней ничего подобного по отношению к себе, хотя неожиданно для него оказалось, что она достаточно подробно осведомлена о его прошлых увлечениях и связях и даже знала о юношеском романе с чемпионкой по парусному спорту. И, конечно, она понимала, что, довольно много бывая без нее, он не огражден и от новых знакомств. И, тем не менее, он не замечал в ней и тени ревности, хотя порой даже старался вызвать ее. Что было причиной? Иногда он объяснял это особенностями ее характера либо характером их отношений. Порой же ему казалось, что она не любит его или недостаточно любит. Иногда – что она выше чувства ревности, знает свою силу, и оно кажется ей унизительным.

– Есть порода опасных женщин, – говорила она Зауру в порыве шутливо-циничной откровенности, и Заур знал, что она имеет в виду себя, после связи и разрыва с ними ни один мужик уже никогда и ни с кем не может быть по-настоящему счастлив.

«Наверное, она права», – думал Заур.

Бывали дни и минуты, когда об их предстоящей неизбежной разлуке она говорила с пугающей определенностью.

Однажды, когда он опять придирчиво допрашивал ее после очередного телефонного разговора со «старым другом, который работает в системе профсоюзов и обещал устроить заграничную поездку», Тахмина сказала:

– Хватит, Заур, ты надоел мне своими подозрениями. Что тебе, в сущности, от меня надо? Все тебе мало. Сперва тебе нужна была только постель, потом любовь, потом верность, потом преданность, теперь покорность, потом еще черт знает что, – может, ты захочешь запереть меня дома, запретишь выходить на улицу и отключишь телефон? А что ты мне дал взамен? Что ты, мне ребенка дал, женился на мне или хоть шубу купил? И не кичись, пожалуйста, своей жертвой: «Ах, он, видите ли, ушел от родителей, от машины, видите ли, отказался!» Ты еще вернешься, и машину тебе вернут, и женят тебя на твоей «честной девушке».

Она говорила мрачно и злобно, никогда он такой ее не видел и теперь тихо и безропотно слушал. Вдруг она оборвала на самой высокой ноге, обмякла как-то и устало закончила: – Ничего-то от тебя у меня не останется!

Он сидел ошеломленный, не зная, что сказать – обругать ее, попросить прощения или встать и уйти.

**11**

– Вы, член бюро комсомольской организации, вместо того чтобы быть примером для других, ведете себя неподобающим образом. Не только комсомольцы, но и ряд весьма авторитетных сотрудников нашего издательства крайне недовольны вашим поведением. («Дадаш», – сразу подумал Заур.) Они считают, что такие поступки дискредитируют коллектив, оказывают разлагающее влияние на молодежь. Наш моральный кодекс...

– Я могу написать заявление и уйти.

– Ну, не кипятитесь. Я не могу не считаться с мнением коллектива. А вы ведь очень молоды. Вы только начинаете свою карьеру, и, может быть, вас ожидает большое будущее. Не надо портить себе жизнь в самом начале. Если это дойдет до...

Заур встал и вышел.

**\* \* \***

Он открыл дверь своим ключом и остановился, все еще обдумывая каждое слово поданного им заявления об уходе. Куда же он пойдет работать? Он перебирал в памяти знакомых, кото­рые могли бы на первых порах помочь ему. Захотелось податься в геологическую экспедицию, и он вспомнил о Марданове, который был на два курса старше его в университете, но с которым они в те годы очень дружили. Теперь Марданов – в большой поисковой партии в районе Филиз-чая. Подспудно Заур понимал и то, что, в случае удачи, новая работа должна стать поворотным пунктом в его отношениях с Тахминой, ибо с каждым днем ему все тягостней было жить в ее квартире – что ни говори, бывшей квартире Манафа. Знал ли Манаф о том, что Заур живет в его квартире, надевает его тапочки? Наверняка знал, хотя ни разу ни лично, ни через кого-то не пытался напомнить Тахмине о необходимости разменять квартиру на две отдельные, согласно их уговору и решению суда. И Тахмина, ценя эту деликатность, лихорадочно искала наилучший вариант обмена. Из всех предлагаемых ни один не удовлетворял ее. И это был еще один повод для огромной серии телефонных разговоров, долгих отлучек, во время которых, как она объясняла Зауру, осматривались разные квартиры. Был случай, приведший Заура в бешенство, когда осматривать какую-то квартиру ее повел Спартак. Причем об этом он узнал от нее самой.

Раздался звонок, Заур поднял трубку.

– Алло, Заур? Здравствуйте, это Мухтар.

– Я узнал, – сказал Заур.

– Тахмины нет дома.

– А когда она придет?

– Не знаю.

– Извините.

Он лежал на тахте, курил и разглядывал потолок. Где могла быть Тахмина в этот час, если ее нет на работе? Какой смысл гадать? Она всегда найдет, что сказать: в парикмахерской, у портнихи, у сапожника, у врача, у подруги, осматривала квар­тиру – сто вариантов, ни один из которых он не мог и не стал бы проверять и ни в одном из которых он не мог быть уверен.

Раздался телефонный звонок. Заур поднял трубку:

– Да.

Трубку сразу бросили: ду, ду, ду...

Заур подумал, что снова будут звонить, а ему лень было каждый раз вставать и подходить к тумбочке, и он чуть придвинул тахту к тумбочке и чуть – тумбочку к тахте, теперь до телефона можно было дотянуться, не вставая с места.

Прошло еще полчаса, и снова позвонили, Заур дотянулся и поднял трубку, думая, что снова повесят, но раздался голос Мухтара:

– Извините, бога ради, Заур. Тахмина еще не пришла?

– Нет.

– Где она может быть?

– Понятия не имею.

– Пожалуйста, как только придет, пусть позвонит мне. Важное дело. Я и сам буду названивать.

Заур ничего не ответил.

Он уставился на карликовое инжировое деревце – Тахмина рассказывала о нем, вернее, пересказывала слова альпинистов, ее друзей, которые обнаружили его высоко в горах в Нахичевани, там же рядом были обнаружены наскальные изображения, и это место называлось Геми-гая – Скала-корабль. По преданию, где- то в том районе затонул Ноев ковчег.

Раздался звонок.

– Алло.

И снова отбой: ду, ду, ду...

Заур ничего не ел с утра, но ему не хотелось вставать, идти на кухню разогревать обед, ничего ему не хотелось, кроме од­ного: вот так лежать, курить и ни о чем не думать, даже о поис­ковой партии, которая почему-то уже казалась ему нереальной, и он даже усомнился, существует ли она вообще. А потом он усомнился – существует ли вообще какая-то другая возможность жить. Какая-то третья возможность, которая изменила бы его теперешнюю жизнь, но не возвращала бы к прежней, и ему показалось, что этой возможности тоже нет и все уже для него кончено.

И снова раздался звонок, и он усмехнулся точно установленному графику этих звонков – звонили ровно каждые 30-35 минут.

– Алло.

Отбой.

К десяти он начал беспокоиться: знал, что Тахмина сегодня не работает, а в нерабочие дни она никогда не задерживалась так поздно. Может, переменили расписание и она сегодня замещает другого диктора. Это легко было узнать, включив телевизор, но ему неохота было подниматься и идти в другой угол комнаты. Кроме того, звонил Мухтар, и, следовательно, она не на работе. Медины не было дома.

К одиннадцати часам он забеспокоился всерьез, и в этом беспокойстве не было ни ревности, ни подозрений, он просто боялся, что с ней что-нибудь случилось. Ровно в одиннадцать позвонили и снова бросили трубку. Мухтар больше не звонил, если только человеком, бросающим трубку, был не он. И если не он, а скорее всего не он (не в его это манере), и если он больше не звонит по столь «важному» делу, то, может, они уже нашли друг друга и Заур может не беспокоиться по крайней мере о том, не случилось ли с ней чего-нибудь.

Она пришла к двенадцати часам, и, пока снимала пальто, в коридоре снова зазвонил телефон.

– Подойди к телефону, – сказал Заур.

– Подойди ты, – сказала она.

– Когда поднимаю трубку я, сразу дают отбой, – сказал он.

– Я знаю, – устало сказала Тахмина. Она выглядела утомленной.

А телефон все звонил.

– Мухтар звонил, – вспомнил Заур, – сказал, что по важному делу.

Только после этого Тахмина медленно подошла к телефону, сняла трубку, сразу же положила обратно, тяжело опустилась на стул.

Заур внимательно наблюдал за ней.

– Где ты была? – спросил он.

– Спасалась от твоей матери, – сказала она и закрыла лицо руками.

– Что с тобой? – сказал он, подошел к ней и взял ее за плечи.

– Я больше не могу, Заур, не могу, не могу. Весь день она звонила и обливала меня грязью. Я что, виновата, что ты написал заявление об уходе? Я даже не знала об этом, а она грозила мне милицией, судом, КГБ, не знаю чем еще. Ну, что мне делать, что? Ради бога, возвращайся к ней, и оставьте меня в покое – и ты, и твоя мать. Я не могу больше, не могу, не могу...

Она убежала в ванную.

Заур разглядывал обои, которые, как сказала ему Тахмина, расцвели в тот день, когда он пришел к ней, и думал о том, что сейчас, в неверном свете торшера они выглядят совсем иначе, чем при дневном свете. Он курил и думал обо всем: о своей работе, о Тахмине, о матери, о...

Раздался телефонный звонок, Заур бросился к трубке и сказал, не дожидаясь отбоя:

– Мама, ну зачем ты так, зачем ты...

В трубке раздался громкий мужской хохот, затем чье-то хихиканье.

Тахмина в голубом халате вышла из ванной, и, как всегда после ванны, у нее было другое лицо – успокоенное, ожившее, сбросившее усталость, тревоги, заботы...

Заур ничего не сказал Тахмине. Да и какой смысл что-нибудь ей говорить? «Откуда я знаю, кто это, – скорее всего ответила бы она, – я что, отвечаю за всех телефонных хулиганов города?»

Кроме того, Заур после всех обид, ссор и уколов последних дней впервые видел ее такой успокоенной и умиротворенной. И такой прелестной. От нее пахло шампунем, ландышем, лесной свежестью, и он обнял ее, целовал и ласкал нежно и долго, как в самые счастливые дни их любви, и роковое предчувствие неизбежности конца их отношений делало их ласки еще более жгучими и исступленными.

**\* \* \***

– Сакина, ты передала мое заявление? – спросил он у секретарши директора.

– Нет, его забрал Дадаш-муаллим.

– Дадаш? А при чем здесь Дадаш?

– Он сказал, что говорил с директором, и просил, чтобы ты обязательно зашел к нему. То есть к Дадаш-муаллиму.

**\* \* \***

– Успокойся, пожалуйста, – сказал Дадаш и покосился на сидящего в углу Курбана, – твое заявление у меня, вот оно.

– Но я писал его не вам.

– Знаю, знаю, сейчас мы с тобой поговорим, – и он еще раз выразительно посмотрел на Курбана, но тот делал вид, что ничего не замечает. – Вот твое заявление, ты в любой момент можешь отнести его директору. Но могу я попросить тебя об одном? Мне надо с тобой поговорить, а потом – пожалуйста, директор никуда не убежит, он будет здесь до конца работы. – И Дадаш уже прямо обратился к Курбану: – Курбан, извини, у нас с Зауром конфиденциальный разговор.

Курбан молча, с нескрываемым неудовольствием, встал, долго собирал свои бумаги, укладывал их в ящик, возился с замком и ключом и наконец вышел из комнаты.

– Заур, я знаю, что ты меня недолюбливаешь. Догадываюсь и о причинах, – начал Дадаш, – Но поверь, я желаю тебе только добра, и со временем ты в этом убедишься.

И взял я твое заявление по просьбе твоей матери. Она случайно узнала о нем и позвонила мне. Дело в том, что твой отец болен.

Заур встрепенулся.

– Нет, нет, ничего серьезного, не беспокойся. Давление подскочило, но я говорил с врачом, ничего опасного. Нервы. Нет, я не упрекаю тебя, просто хочу попросить, чтобы ты повременил с этим заявлением, ну хотя бы три-четыре дня. Отец узнает, и это будет для него еще одной травмой. Пусть поправится – и тогда пожалуйста.

– А он лежит? – спросил Заур.

– Нет, Зивяр-ханым говорит, что дома ходит, но на работу врачи пока не пускают. Я навещу его завтра. Оставь пока заявление. Ну, хотя бы до понедельника. Я уже говорил с начальством, ты вчера немного погорячился, но и наш милый зам, как ты знаешь, несколько... м-м-м... партизанистый. Он и вообще-то не умеет разговаривать с людьми, а тем более с молодым человеком, когда надо все учитывать: и возраст, и характер...

– А при чем здесь возраст? – спросил Заур.

– Ну, я и говорю, что нельзя так, с бухты-барахты лезть в чужую душу. И вообще я не понимаю, как сугубо личное дело можно решить методами грубого административного давления.

Круглые слова, заученно доверительный гон – что-то в этом человеке было глубоко неприятное. «Какие у него короткие руки, – впервые заметил Заур, – просто удивительно!»

– Хорошо, – сказал он и поднялся, – Я подожду до поне­дельника.

– Садись, – сказал Дадаш. – Еще несколько слов. Только выслушай, пожалуйста, меня до конца. Я вчера говорил с Тахминой, – выложил он на одном дыхании, как бы боясь, что Заур все-таки встанет и уйдет и разговор не состоится. – Мы вчера весь вечер провели вместе. Только не подумай, ради бога, ничего дурного. (Заур думал о его руках – о его коротких руках: «Неужели такими руками можно обнимать Тахмину?») Ну, тебе, собственно, известны наши с ней отношения, – продолжал Дадаш, – истинно дружеские, потому что я, несмотря ни на что, ценю ее. В ней много хорошего, и она, конечно, человек незаурядный. («Странные руки. Прямо как ненастоящие!») Так вот, я вчера caм позвонил ей, мы встретились и долго говорили. Заур, поверь мне, между вами все уже кончилось. Она это поняла, и ты скоро поймешь, но, может быть, ты поймешь это чуть позже, будешь мучиться сам и мучить других: и ее, и своих родителей. Только, ради бога, выслушай меня до конца. Все может быть в жизни. Ну, встретились, ну, потянулись друг к другу, привязались, ну не знаю: хотите называть это любовью – называйте, страстью – вам виднее. Вы оба молоды, красивы, полны сил и жизни. Я знаю, вы были вместе в Москве и сейчас вот вместе в Баку. Но все иссякает, даже самая пылкая страсть, и, когда она иссякнет, если людей ничто другое не связывает – семья, дети, долг, какие-то общие интересы, – отношения превращаются в такую пытку, ты даже сам не представляешь.

Заур понимал, что вся эта наигранная сердечность служит одному – сломать его, добиться того, что не удалось никому другому. Но страшно было го, что в глубине души Заур знал, что все – правда. Не знал он одного – догадка ли это самого Дадаша или действительно ему об этом сказала Тахмина, потому что в самом факте их вчерашней встречи он не сомневался.

– Не надо излишне драматизировать, – сказал Дадаш. – Надо все это воспринимать не как конец жизни, а как один из ее эпизодов. Ведь жизнь – она такая длинная. И поверь, лучше расстаться добрыми друзьями и с добрыми воспоминаниями, чем осточертеть и возненавидеть друг друга. Лучше недоесть, чем переесть, – улыбнулся Дадаш, и Заур отчетливо вспомнил, как тот ел курицу в жаркую погоду и жир стекал куда-то за воротник.

И когда он понял, что разговор окончен, и, не сказав ни единого слова, встал и направился к двери, Дадаш сказал ему вслед:

– Навести отца. Сегодня или завтра. Это сразу поставит его на ноги.

Выйдя из издательства, он медленно брел по улицам. Ему не хотелось идти домой. «Домой, – с иронией подумал Заур . – Куда домой? Домой», – повторил он про себя и еще несколько раз повторил с расстановкой: «Домой... домой», – и удивился тому, что получилось новое сочетание – «дом-мой», причем словно нарочно дразнящее его, нарочито издевательское по отношению к его теперешнему положению. «Дом мой, мой дом» – бывшая квартира Манафа.

Он попытался думать о чем-то другом и обнаружил, что очень голоден. Зауру тут же представилась кухня Тахмины и то, как она станет разогревать ему обед, если, конечно, она дома, и как они станут молча есть, потому что каждое слово будет подразумевать еще неначатое объяснение. А объяснение – он знал наверняка – может иметь теперь единственный финал: разрыв.

Он не сел в троллейбус, свернул к бульвару. Бульвар был безлюден, хотя стояла довольно теплая погода, и если бы не оголенные деревья и не ранние сумерки, можно было бы подумать, что это вечер ранней осени.

Заур шел по бульвару, где уже горели огни шашлычных, кутабных, рыбных ресторанов, кафе, чайных. В этих прозрач­ных, как аквариумы, павильонах сидели посетители, не столь многочисленные, как в разгар летнего сезона, но зато склонные дольше сидеть в тепле стеклянного уюта. В них было нечто манящее – ощущение присутствия людей и вместе с тем свободы от них. В них создавалась возможность не чувствовать себя оди­ноким, заброшенным и одновременно не тяготиться необхо­димостью поддерживать разговор, улыбаться, отвечать на вопро­сы.

Из трубы шашлычной поднималась белая струйка дыма и вкусно пахло поджариваемым на углях мясом. Заур свернул вправо и вошел в шашлычную.

Посетителей было немного. Четверо подвыпивших мужчин громко доказывали друг другу, что Ахмедов, конечно, негодяй, но Агаев еще хуже.

Заур сел в стороне, спиной к дверям. За стойкой бара буфет­чик настраивал приемник и наконец поймал какую-то станцию, которая передавала концерт. Заур просидел достаточно долго, прежде чем к нему лениво подошел один из официантов, заказал шашлык и водки. Через некоторое время официант принес зелень, сыр, бутылку минеральной воды, хлеб с зернышками мака и водку в небольшом грушевидном графинчике.

Водка, выпитая на голодный желудок, подействовала сразу – уют маленькой, хорошо освещенной и хорошо согретой электрокамином шашлычной, отгороженной стеклом от ночного моря, показался Зауру необыкновенно приятным, и его охватило какое-то умильное чувство. Он уставился на стенку рядом с буфетом, сплошь заклеенную репродукциями из «Огонька», фотооткрытками Зейнаб Ханларовой, Муслима Магомаева, большим групповым снимком команды «Нефтчи». Была еще фотография актрисы, которую Заур помнил по итальянским фильмам, но забыл ее имя. Он всматривался в нее, и вдруг услышал над головой:

– Вот так встреча! – И Заур увидел рядом улыбающегося Мухтара Магеррамова. – А я как раз собирался звонить вам, – сказал Мухтар.

– То есть Тахмине, – уточнил Заур.

Мухтар слегка улыбнулся:

– Нет, именно вам. Я говорил с Тахминой по телефону, и она сказала, что вы еще не пришли с работы, но вот-вот должны появиться.

«Как она уверена, что я вот-вот должен появиться», – подумал Заур.

– А вы, оказывается, прожигаете жизнь в шашлычной, – сказал Мухтар, кивнув в сторону графинчика с водкой.

Заур усмехнулся и налил водки себе и Мухтару.

– Да ничего, – сказал Мухтар, – я сейчас тоже закажу. – Ариф, – позвал он официанта, – Надир здесь?

Официант кивнул, и тотчас в дверях кухни появился чело­век низенького роста с огромным пузом. Человек этот радостно улыбнулся, обнаружив сплошной ряд золотых зубов, и подка­тился к ним.

– О, Мухтар-муаллим, добро пожаловать! Давно не видно вас.

– Познакомься, – сказал Мухтар. – Это Заур, мой друг. Он работает в издательстве.

Надир довольно кивнул, распространяя на Заура свою заботу хозяина шашлычной.

– Ну, что нового, Мухтар-муаллим? – начал беседу Надир. – Следим за вашей работой, следим. Гордимся и завидуем.

– Чем гордиться и чему завидовать? – спросил Мухтар.

– А это я сейчас объясню, – сказал Надир и, не поворачивая толстой шеи, протянул правую руку назад, через плечо, и дважды щелкнул пальцами. Тотчас подошел официант Ариф, уже неся им ич-говурму и графинчик с водкой. Краем глаза посмотрев на говурму, Надир спросил Арифа: – Из того самого мяса?

– А как же, Надир-муаллим, стыдно спрашивать, – сказал Ариф, – я же знаю Мухтар-муаллима, – в его голосе послышались нотки обиды: как, мол, можно было усомниться в его сообра­зительности, в том, что он отлично знает, кому из гостей из какого мяса надо готовить.

Надир подмигнул Мухтару, потом посмотрел на графинчик и сказал:

– А это что такое?

– Да мне на работу, – не слишком уверенно сказал Мухтар.

– Обижаешь, – сказал Надир и, повернувшись к Арифу, брезгливо добавил: – Убери эту мензурку. Давай из вчерашней партии. Пока бутылку. Из холодильника. Еще одну поставь в морозильник. И пиво там же возьмешь, сам знаешь какое.

Ариф бросился исполнять поручение, а Надир, прищурясь, оглядел посетителей.

– Нет, это уже не годится, – сказал Мухтар, когда Ариф принес пять бутылок чешского пива «Сенатор». – Старых друзей забываешь.

– Клянусь тебе, нет! – сказал Надир. – Только вчера получили, как раз сегодня хотел позвонить тебе. Твой ящик отложил отдельно. Хоть сейчас забирай.

– Да нет, сейчас мне на работу, завтра зайду.

– Не надо беспокоиться, пришлю домой.

Ариф откупорил бутылку водки с красной наклейкой «Extra», Надир разлил водку и сказал:

– Так говоришь, чем гордиться и чему завидовать? Сейчас объясню.

Мухтар уже забыл, к чему это он, но Надир принялся рассуждать неторопливо и степенно:

– Гордимся мы вами, Мухтар-муаллим, потому что вы наша гордость. Вы, работники искусства, услаждаете наш вкус, и поэтому народ вас любит и всегда готов уважение к вам проявить, потому что вы наша гордость. А что касается, почему завидую, Мухтар-муаллим, это уже небольшой секрет. Я вот часто смотрю телевизор – у меня дома их три. Дети, сволочи, больше московскую программу смотрят, они у меня все грамотные, папа, говорят, ты по-русски неправильно говоришь, смеются, негодяи, – так вот, пусть смотрят там разные московские джазы-мазы, а я наши бакинские передачи люблю смотреть. Ну, а жена, она весь день на кухне возится, так я купил еще один телевизор, поставил на кухне, пускай себе тоже тешится. Да, так о чем я говорю? Я, значит, люблю смотреть телевизор и заметил, как только режиссер передачи Мухтар Магеррамов, так обязательно будет какая-нибудь новая красотка. Это уж точно, – он опять подмигнул и расхохотался, – то актриса новая, то певица, то дикторша. Ну и сладкоежка наш Мухтар-муаллим, думаю. Мы вон из кожи лезем, чтобы заполучить какую-нибудь красотку, а к нему прямо косяком сами в руки идут. Ну как тут не позавидовать? – Надир протянул ладонь Мухтару, – Бей сюда, мен олюм![[22]](#footnote-22)

Мухтар слегка дотронулся до его ладони.

– Ну вот за тебя и выпьем, – сказал Надир, – чтобы бог до конца тебе такую жизнь давал. Но должен сказать, ты в этом смысле большой эгоист: друзей забываешь. Ну что тебе стоит и нас с парой таких красоток познакомить, а?

– Что я тебе, сводник, что ли? – ответил Мухтар шутливо, но и достаточно твердо.

– Ну уж скажешь! Просто – друзья мы или нет? Я вот когда получаю чешское пиво, первым делом друзей своих вспоминаю и тебя никогда не забываю. Ну, а тебе что стоит зайти сюда как-нибудь с парой красоток? Пообедать культурно, чистенько, все честь честью. Ну, и я тут вертеться буду, познакомишь. Ну, хорошо, шучу, шучу, давайте, выпили.

Выпив, Надир, видимо, вдруг подумал, что Заур может не так понять все эти разговоры и счел необходимым разъяснить:

– Вы может, не знаете, мы с Мухтар-муаллимом старые друзья. Это шутки у нас такие. Я сам не знаю, куда от женщин деваться. Как мухи наседают, ей-богу.

– В нашем с тобой возрасте, – сказал Мухтар, – надо пользоваться каждой возможностью, чтобы уберечься от женщин.

– На днях приходят сюда двое парней и девушка, – продолжал Надир, как бы не слыша, – Ну, вижу, явно не наши, не бакинцы. Причем парни такие неважнецкие – один лысоватый, в очках, другой гоже, такой маленький, щупленький. Ну, а девушка – красавица, пальчики оближешь. Высокая, белая. Ноги чуть не от плеч начинаются. Ну, я сразу ее приметил. Ариф, значит, обслуживает их, а я смотрю, вижу, девица стреляет глазами. Ну, я же знаю, повидал жизнь. Знаю, что ни один из этих парней ей не пара, а те, конечно, умирают по ней, но вряд ли чего-нибудь добились. Вижу, и денег у них не густо. Заказали всего две порции шашлыка и бутылку сухого вина. Ариф им апельсины предложил, они долго спорили, что-то подсчитывали и в конце концов отказались. Ну, думаю, надо действовать. А дело, значит, в ноябре. Послал я на их стол парниковые помидоры, огурцы, представляешь, в конце ноября, бутылку коньяка, думал даже две послать, если не проймет их, а потом подумал, что нечего разоряться, и одной достаточно. Ну, а в конце послал большой букет красных роз, сказал: передайте, что директор шашлычной угощает. Они гости, а это такой народный обычай в нашем городе. Ну, вижу, глаза у них на лоб полезли, а девица прямо загорелась. Еще напьется, думаю, стерва, и не поймет толком, что к чему, и не разберется. Но у меня есть особый такой ликер французский, – он подмигнул Мухтару, – ну, ты его знаешь. Женщина выпьет две рюмки – и бросается на мужчину. Ха, ха, ха! Так вот, я послал его и передал, что дама пусть пьет только это, потому что это тоже наш народный обычай. Ну, она передает через Арифа: где, мол, сам директор, где прячется этот добрый человек, мы хотим его видеть. Э, нет, говорю, пока рано: увидит мою харю – еще испугается. Пока тебе надо хорошенько выпить, но не напиться, а ликер как раз такой и есть. Ох и шельмецы эти французы, все знают, как, что и когда... А я, значит, наблюдаю украдкой за ними, вижу, парни уже косеют. Говорю Арифу: узнай, откуда они и где остановились. Скажи: хозяин хотел бы нанести им визит и преподнести сувениры нашего города. Ну, Ариф узнает, что они из Прибалтики, живут в гостинице «Баку», естественно, парни отдельно, а девушка с какими-то другими девушками. Это я на всякий случай узнавал. А все случилось гораздо проще. Парни совсем окосели. Ну, я и посадил их всех в свою машину, у меня же «Волга» всегда наготове. Ну, подвез их к гостинице, культурно так проводил парней до самого их номера, а девушке говорю: жаль, что ваши парни так быстро вышли из строя, но вы, я вижу, молодчина. Но одной вечером вам по городу гулять нельзя. Если желаете, я могу повезти вас, показать наш город. «О, конечно!» – говорит она. Тут уж ей не до моей морды, важно, что она одна, а у меня машина и все пока так культурно. А кому охота вечером в чужом городе сидеть в гостинице с двумя чужими бабами? И вот все пошло как по маслу. Поехали мы по городу. Нагорный парк и так далее. А хотите, говорю, к морю поедем, там у меня дача на берегу, в Бильгя. («Там, где дача Муртузовых», – подумал Заур.) Ну, поехали мы на дачу. Отлично все сошло.

Заур отметил про себя, что, смакуя предыдущее, Надир завершил историю очень скупо. Видимо, история завершилась отнюдь не так, как было задумано.

Они выпили, и Надир стал рассказывать о другой женщине, которая ему очень нравилась и к которой он никак не мог подступиться, пока наконец не нашел одного приятеля и не передал через него, что хочет с ней познакомиться. И решил для первого знакомства подарить ей отрез кримплена: друг Надира, на складе, предложил ему новую, только что полученную партию кримплена – серого, зеленого и голубого. «Ну, теперь не знаю, какой цвет выбрать, какой ей больше понравится. Хотел все три послать – пусть выбирает, потом подумал; а вдруг, мерзавка, захочет все три? Нет, думаю, жирно будет. Сам выбрал голубой. Ну, послал ей и сказал, что вечером зайду – она живет одна, недалеко от Монолита[[23]](#footnote-23). Адрес я давно знал, вечером мне здесь небольшой пакет сделали: цыпленка табака, шашлык, икру, апельсины. Все как полагается. Свежие огурцы, помидоры. Причем дело было в ноябре».

Заур заметил, что все «дела» у него почему-то в ноябре, а свежие огурцы и помидоры в это время – предмет особой гордости. Он кого-то удивительно напоминал Зауру, но Заур никак не мог вспомнить – кого, хотя и чувствовал, что этот, кто- то очень знакомый, недавно виденный даже.

Эта история, как и первая, как-то незаметно сошла на нет, и уже начиналась третья, о том, как одна его любовница, с которой он всего два раза ездил на теплоходе, взяв отдельную каюту, в Красноводск и обратно, так как у нее дома не было никакой возможности встречаться, а для дачи было очень уж холодно, трижды заставляла его покупать для нее одно и то же золотое кольцо. «Мне принесли кольцо, не знаю, брать или нет», – сказала она в первый раз, и он ответил: «Конечно, бери!», – оплатил, и они впервые поехали в Красноводск. Через полгода, думая, что он забыл, она вторично показала ему это кольцо и сказала: «Не знаю, брать или нет?», а он, наверное, и впрямь забыл и к тому же был в подпитии (как он понял позже, она нарочно выбрала момент), заплатил вторично, и они во второй раз поехали в Красноводск. И лишь когда спустя три месяца, и снова выпив, он услыхал от нее те же слова и увидел то же кольцо, он взорвался. «Ах ты, подлюга, – сказал он, – да я могу тебе купить на каждый палец по пять колец и в десять раз дороже этого. Но зачем меня дурачить, за одно и то же кольцо драть с меня в третий раз?!»

Заур мучительно пытался вспомнить, кого же напоминает ему этот человек внешностью своей, какой-то неуловимой манерой говорить и даже жестами рук, таких коротких... Подожди, подожди, что-то стало проясняться... Но Надир сказал:

– Ну, давайте выпьем. – И повернулся к Зауру: – Вот за вас я хочу выпить. Мы все гордимся работниками наших издательств. Потому что издательства выпускают книги, а без книг сейчас нельзя. Вот как-нибудь, даст бог, побываете у меня – все стены уставлены полками. У меня самые дефицитные книги. Отец мой покойный очень хотел, чтобы я учился, человеком стал. И дядя – все время меня попрекает: позоришь, говорит, нашу семью, неуч ты, а не человек. Что делать, глупый был, в свое время не выу­чился, теперь приходится кое-как себе на хлеб зарабатывать. А у нас в семье все ученые. Да все что-то приходят у меня деньги за­нимать. – Он расхохотался. – А дядя у меня образованный... Кстати, – вдруг его осенило, – ведь он тоже в издательстве работает – Дадаш-муаллим.

«Конечно же, Дадаш, – пронеслось в мозгу у Заура, хотя он все еще не верил такому совпадению. – Конечно же, как я мог не понять сразу: эти короткие руки, слишком короткие».

– Джаббаров Дадаш, – скорее утвердительно, чем вопро­сительно сказал Заур.

– А вы его знаете, наверное?

– Так мы же вместе работаем, – сказал Заур и подумал: «Вот и замкнулся круг. Все сходится. Следующая история – и выяс­нится, что Надир близко знаком с Тахминой».

– Вот так совпадение, – сказал Надир. – Нет, это дело мы должны хорошенько обмыть. Ариф, – позвал он, но Мухтар перебил его:

– Нет-нет, извини, пожалуйста, я никак не могу. Спешу. Как-нибудь в другой раз. Или хотите – вы с Зауром оставайтесь, а я пойду.

– Нет, – сказал Заур, – я тоже тороплюсь. Мухтар незаметно встал из-за стола, вышел и спустя немного вернулся.

– Ну что, Заур, пошли? – сказал он.

– Ага, – Заур встал и полез в карман, – Сколько с нас?

– Все, – сказал Мухтар.

– Как? – Надир вскочил, – Ариф! – зарычал он. – Я что тебе говорил?

Ариф спал оправдываться:

– Ну что мне делать, Надир-муаллим? Мухтар-муаллим говорит, что иначе больше не придет.

– Обижаешь, Мухтар-муаллим, – сказал Надир, – Я заказы­вал, я и должен.

– Мы не девицы, – с улыбкой ответил Мухтар. – И потом, – он подмигнул Зауру, – я действую методом Заура. Он меня однажды так угостил в Москве, и я был в долгу. Спасибо, Надир, за компанию. Значит, пиво жду!

**\* \* \***

Они шли по бульвару. Мухтар первым нарушил молчание:

– Вас, наверное, удивляет, а может, и смущает мое знаком­ство с такого рода людьми. У меня просто мания знакомиться с самыми разными людьми. Я хочу понять всех.

– А зачем? – спросил Заур.

– Не знаю, – сказал Мухтар и повторил: – Не знаю. С годами я все меньше и меньше понимаю и себя, и все остальное. И мне кажется, что в жизни вопросов гораздо больше, чем ответов.

– Зачем вы мне звонили? – спросил Заур.

– Ах да, – сказал Мухтар. – Дело в том, что... а вот и такси... Алло!

Машина, резко затормозив, остановилась.

– Извините, пожалуйста, – сказал Мухтар, садясь в машину, – я безбожно опаздываю. Я позвоню вам завтра вечером. Мы непременно увидимся и поговорим. Хорошо?

Машина тронулась. Заур, чувствуя, как тяжелый хмель туманит его сознание, медленно пошел к дому. К дому Тахмины.

**12**

Никогда он не поднимался по лестницам этого дома так медленно и тяжело. Долго возился у дверей, не попадая ключом в скважину.

Наконец он вошел. Тахмина была дома. Он долго и тща­тельно мыл руки. Потом прошел в комнату и сел в кресло. Она сидела в кресле напротив и курила.

– Есть будешь? – спросила она.

– Нет, я ел, – ответил он и тоже закурил. Они молча курили, и никому не хотелось первым начинать разговор, хотя оба понимали его неизбежность. Наконец Заур решился:

– Ты вчера была с Дадашем? – спросил он. Она кивнула:

– Да, он приходил ко мне парламентером от твоих родителей. Ультиматум предъявлен: я возвращаю им тебя, и они оставляют меня в покое.

– Так, – сказал Заур. – А я неодушевленный предмет, судьбу которого решают другие.

– Это уж от тебя самого зависит, Заур, – сказала она. – Во всяком случае, я тебя насильно держать не собираюсь. Ты при­шел ко мне по своей воле и можешь так же уйти в любое время.

– Иссякла страсть? – язвительно процитировал он Дадаша: интересно, узнает ли она эти слова.

– При чем тут страсть? – сказала Тахмина с некоторым раздражением. – Не на одной страсти держится мир. Должно быть что-то и другое.

Это уже почти дословно совпадало с проповедью Дадаша.

– Непонятно одно: почему ты наши отношения должна обсуждать с Дадашем? Он что, твой душеприказчик, дядя, отец?

– У меня нет отца, – сказала Тахмина. – Ни отца, ни матери. Это у тебя и отец и мать.

Он запустил руки в волосы, долго мял лицо, щеки, протирал глаза.

– Но почему ты обо всем этом говорила с Дадашем?

– Я уже сказала тебе: это инициатива твоей матери. Да и не только Дадаш. Они и до Мухтара добрались через каких-то знакомых. Он вчера потому и искал меня.

Об этом Заур догадался, когда Мухтар сказал, что хочет поговорить с ним: ведь он почти наверняка знал, о чем может говорить с ним Мухтар.

– И даже Медине они звонили...

– Медине?

– Да, – сказала Тахмина и с нехорошей усмешкой добавила: – Ну, конечно, Медина быстро с ней разделалась. Не на ту напала. Медина ей выдала...

– Как смеет Медина выдавать моей матери? – Заур чувствовал, что его трясет и что это передается Тахмине. Или, может быть, наоборот? Ее взвинченность – ему?

– А как твоя мать смеет называть Медину бандершей? – сказала Тахмина. – Мерзость какая! Только потому, что у Медины нет мужа и она простая машинистка, – кстати, коллега твоей матери, – но не сумела так тепло устроиться?

– Замолчи, – сказал Заур. – Не смей так говорить о моей матери! – Он сорвался на крик.

А как твоя мать смеет оскорблять других? Называть Медину бандершей?

– А твоя Медина и есть бандерша, – сказал Заур. Он никогда не видел Тахмину такой. Ее лицо исказилось от гнева, и она процедила сквозь зубы:

– Ах так, значит, она бандерша, а я ее кадр, выходит.

– Я этого не говорил, – сказал Заур.

– Но ты все время об этом думал. С первого дня. Ты всегда думал обо мне как о шлюхе. Потому и полез ко мне. Почему бы не воспользоваться тем, что плохо лежит? А в самом деле, все оказалось таким доступным. И потом, даже когда ты по- настоящему увлекся, даже в самые счастливые дни наши ты всегда подозревал меня в обмане, в измене. В глубине души ты всегда считал меня шлюхой. Это гложет тебя даже сейчас. И все потому, что ты сопляк и маменькин сынок. Ты не мужчина. Мужчина не тот, который из королевы делает шлюху, а тот, который из шлюхи делает королеву.

– Да, мне это действительно не удалось, – сказал Заур со всей злостью, на какую был способен.

Она побледнела как полотно и сказала:

– Тогда можешь убираться. Беги к своей мамочке, к своему «Москвичу». Ничтожество!

Он не знал, как это получилось, но он ударил Тахмину. Она обхватила лицо руками и выбежала из комнаты. Заур встал и медленно пошел к двери и уже в дверях полез в карман, вернулся обратно в комнату и оставил ключ на тумбочке. Проходя по коридору, он невольно обернулся в сторону кухни. Тахмина сидела за кухонным столом, закрыв лицо руками.

Он хлопнул дверью.

**\* \* \***

Нельзя забывать, нельзя забывать, нельзя забывать, что это только игра. Ведь помнил же он об этом все свои молодые годы, вступив в мир, связанный с женщинами, помнил постоянно во всех своих знакомствах, привязанностях, более или менее долгих, в своих мимолетных или продолжительных связях. И как же он позволил себе забыть этот важный урок и опыт жизни взрослого мужчины? Как мог он допустить, чтобы все это так захлестнуло его и принесло ему такую нестерпимую боль? Нельзя было забывать, нельзя было забывать. Он забыл и поплатился. Как же он мог так обмануться? Обмануться, приняв это за любовь? Ты думал, что с тобой одним произошло чудо. Ты думал, а это мечта, это возможно лишь в книгах, в кино. Как же ты так обманулся в свои двадцать четыре года? Как же ты забыл горькие, но жизненно необходимые уроки своего возраста и попался на удочку? Как же ты так попался?

Долгие блуждания по улицам привели его на окраину города, в глухие темные переулки. «Здесь кончались дома и начинался пустырь.

**\* \* \***

Его мучили кошмары. Но кто-то наконец включил полный свет, и он проснулся.

В дверях в полосатой пижаме стоял Азер Марданов.

– Ты что кричишь? – спросил он сонным, но довольно бодрым голосом.

– Я кричал? – переспросил Заур.

– Да. Я через комнату услышал. Что, плохой сон приснился?

Над изголовьем кровати Заура было окно, по стеклу размеренно постукивали капли дождя.

– Да нет, – сказал Заур и потянулся за сигаретами.

Азер потушил свет и ушел к себе, а Заур закурил.

Сами ноги привели его вчера сюда в дом его старого университетского товарища Азера Марданова, который по счастливой случайности оказался в этот вечер дома, а не в экспедиции, как обычно. Он ничего не знал об истории Заура, она прошла мимо него, хотя и была притчей во языцех всего города, и Заур ни словом не обмолвился о ней. Он сказал только, что хотел бы остаться хотя бы на несколько дней.

– Пожалуйста, – сказал Азер, – хоть на год. Я все равно через три дня уезжаю.

Может, Заур пришел сюда, помня о холостяцком образе жизни Азера и о широте его натуры, а может, в Зауре все-таки крепко засела мысль о переходе в экспедицию, о чем они болтали до поздней ночи за бутылкой сухого вина.

– Я поговорю с Идрисом, – сказал Азер. Идрис был их общим учителем в университете, крупным геологом-теоретиком и практиком и шефствовал над экспедицией, в которой работал Азер. – Думаю, что он тебя помнит и поможет. Я завтра же поговорю с ним.

Они болтали о работе Заура в издательстве и о работе Азера в экспедиции, об общих знакомых, старых друзьях, препода­вателях, о мировом чемпионате по футболу, о жизни, о женщи­нах, о необходимости завести семью, о детях – обо всем, и Заур ни словом, ни намеком не коснулся последних месяцев своей жизни. Будто их и не было. Визит к Азеру Марданову казался теперь Зауру единственной возможностью обрести самого себя, и он думал, что не нужны ему ни Тахмина со всеми огорчениями, которые она ему причиняет, ни родители со всеми своими пресными назиданиями... Он геолог, черт возьми, у него есть профессия, прекрасная профессия, если ей отдаться по- настоящему, и зачем ему все эти душевные драмы, когда есть работа, горы, друзья...

**\* \* \***

– Я выполнил вашу просьбу, – сказал Заур, забирая у Дадаша свое заявление, – Подождал ровно четыре дня и вот сегодня, в понедельник, хочу вручить заявление начальству.

– Все же решил уйти? – сказал Дадаш – Но куда? Ты об этом подумал?

– Не беспокойтесь, – сказал Заур, – подумал. Я уже договорился, и меня берут в геологическую партию на Филиз-чай.

Дадаш испытующе смотрел на него.

– Ну, а что мне сказать твоему отцу?

– А вам ничего не надо ему говорить, – сказал Заур. – Я сегодня зайду к нему и все скажу сам.

\* \* \*

Заур был абсолютно спокоен, проходя по двору, когда даже дети, играющие в футбол, остановились и глазели на него, а самый шустрый побежал сообщить потрясающую новость своим домашним. И уже глазели на него соседи, высунув головы из окон, мелькнула даже лысина Муртуза Балаевича. Заур совершенно спокойно подошел к дверям квартиры с табличкой «Профессор М. Зейналлы» и был спокоен, когда нажал звонок и услышал шаги за дверью. Он узнал шаги матери и одновременно услышал стук собственного сердца.

Дверь открылась, и в тот же миг, как он увидел мать, он понял, что его приход не был для нее неожиданностью. «Дадаш успел предупредить», – догадался он и сказал:

– Здравствуй, мама.

– Здравствуй, – спокойно сказала мать и добавила: – Ну, заходи, – И только одна эта фраза была признаком того, что вернулся после почти месячного отсутствия блудный сын, ибо так не приглашают в дом человека, который живет в нем постоянно. Он вошел в коридор и, раздеваясь, удивился неожиданному для него такту матери: ни ахов и охов, ни слез, упреков, восторгов, поцелуев. Просто и обычно, будто ничего и не произошло.

– Как отец? – спросил он.

– Сейчас лучше, – сказала мать, – но мы так испугались, когда первый приступ был и давление подскочило.

Заур вошел в комнату отца. Отец, сидя за своим письменным столом, что-то писал. Он поднялся, увидел Заура и протянул ему руку.

Потом они оба сели, и мать ушла готовить чай.

– Ну, как ты? – первым нарушил молчание Заур.

Отец долго и подробно рассказывал о своей болезни, о консилиуме, о назначениях, лекарствах и их действии, пытаясь, как понимал Заур, этими разговорами на нейтральные темы заполнить время, которое было необходимо для того, чтобы восстановить нарушенное месяц назад статус кво.

Вернулась Зивяр-ханым, у нее были красные глаза, но она улыбалась. Зивяр-ханым принесла чай, они пили маленьким глотками из стаканов армуду и уже втроем обсуждали болезнь отца. Зивяр-ханым краткими репликами как бы невзначай сообщала Зауру о мелких семейных событиях, происшедших за это время, о том, кто из знакомых был у них в гостях, от кого из родственников получили письмо, кто из друзей звонил и спрашивал Заура, и даже упомянула о том, что вселение в кооперативный дом, в котором был записан Заур, ожидается в конце месяца. Ордера уже выписаны, ей сказал человек, который видел их собственными глазами.

Отца, видимо, уже утомили эти разговоры, и он красно­речиво уткнулся в свои записи. Заур встал и, не прощаясь с отцом, прошел в другую комнату. Мать последовала за ним, и только в этот момент Заур уловил в ее глазах страх, который она не могла скрыть, – страх, вызванный зыбкостью и неопределен­ностью его визита. Она не знала, как он пришел, на час или навсегда, навестить больного отца или остаться, порвал с Тахминой окончательно или временно отпросился у нее для встречи с несчастными родителями. И теперь Зивяр-ханым следила за его передвижениями: куда он пойдет – к выходу, к своей комнате или останется здесь, сядет на стул и, может быть, попросит поесть. Заур оглядывал стены, как бы видя их впервые.

И, не выдержав томительного ожидания, Зивяр-ханым спросила:

– Я тебе постель поменяла. Будешь купаться?

Заур ответил не только на этот вопрос, но и на тот, невысказанный, который подразумевался:

– Да.

**\* \* \***

Как приятно было после энергичного растирания мочалкой, ароматного шампуня и душа растянуться в мягкой и чистой постели, в снежной белизне простыни, пододеяльника, наволоч­ки и глядеть на стены своего детства, знакомые каждой трещи­ной, каждой клеточкой обоев, электрическим и телефонным проводом, на книги, на магнитофонные записи, фотографии, которые он снимал когда-то сам и сам расклеивал по стенам. А под рукой – тумбочка с пепельницей, сигаретами, спичками, транзисторным приемником, японским магнитофоном, телефо­ном, ночником. Все так близко, удобно, уютно, привычно и знакомо. Как он любил возиться с аппаратурой – фотогра­фической, звукозаписывающей. Потом любовь к автомобилю вытеснила эти его увлечения, и любимым занятием стала возня с мотором. В углу стояли гантели, эспандер-спорт он тоже совсем забросил. Нельзя терять форму, в его возрасте это особен­но опасно – так незаметно и пузо отрастишь.

Раздался звонок, и, инстинктивно испугавшись его, Заур тут же осознал, что сейчас и здесь ему бояться нечего, никакими душевными тревогами звонок этот ему грозить не может: ни отбоя, ни чужого мужского голоса, ни угроз матери, адресован­ных Тахмине.

Он поднял трубку.

– Заур?

– Да, – он сразу узнал голос Медины.

– Я уже три дня вас ищу, не могла найти на работе, да и дома вас нет.

– А что такое?

– Заур, не знаю... – она заметно волновалась, – можно ли об этом говорить по телефону... Понимаете, Тахмине очень плохо.

– А что с ней?

– Она сама не своя. Она, конечно, ничего не знает о моем звонке... Как вы ушли – она прямо как сумасшедшая. Я даже боюсь, как бы она чего с собой не сделала.

– Да ну? – спросил Заур чуть насмешливее, чем ему хоте­лось.

– Вчера я проснулась ночью – три или половина четвертого было, – вижу, свет у нее горит и музыка играет. Пошла к ней – вижу, сидит на диване, обхватив руками колени, слушает музыку и пьет. Целую бутылку коньяка одна выпила.

– Ну, это еще не очень страшно. Приятное времяпрепровож­дение, – сказал Заур.

– Ой, Заур, – с досадой сказала Медина. – Как же вы не понимаете – ей очень плохо. Она мне сказала, что хотела бы уме­реть.

Заур молчал.

– Ну, как вы не понимаете, ведь любит она вас единствен­ного из всех.

– Из всех, – с усмешкой повторил Заур. – В том-то и дело, что из всех.

Медина промолчала.

– Да ведь и с мужем она рассталась из-за вас...

– Ну уж, – сказал Заур. Конечно же, Медина паникует. И ему, Зауру, в первые дни было очень трудно, но вот прошла почти неделя – ничего, все постепенно образуется и успокоится.

– Заходите завтра вечером ко мне, – сказала Медина. – Ко мне, не к ней. Поговорим подробно обо всем. Тут какое-то недоразу­мение. Жаль мне ее!

– Хорошо, – сказал Заур. – Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. Только не говорите ей, что я звонила.

Вот, пожалуйста, – первая ночь после его возвращения, первая спокойная ночь, и опять его выбили из колеи, надо же! Конечно, он завтра не пойдет к Медине. Он закурил и попытался думать о чем-то другом, но снова и снова возвращался мыслями к Тахмине, которая, может быть, лежит сейчас пластом на диване или сидит, обхватив руками колени, как говорила Медина, или лицо, как сам он помнит ее в последний раз, пьет, слушает музыку, тихо плачет. А что, если позвонить ей? Позвонить и •оговорить?! Или позвонить и дать отбой. А если ее нет? Но сегодня же пятница, она не на работе. А где же? Дома, наверное. А если телефон не ответит? Он опять будет нервничать, он это знал, и его удивляло, что даже сейчас ему небезразлично, дома она или нет. Так что лучше не звонить, чтобы ничего не знать и не нервничать в случае, если ее нет.

Лучше завтра позвонить. Днем. Или утром. Нет, утром она работает. По субботам она почти всегда уходит на целый день – до позднего вечера. Но на экране в субботу ее не было. «По субботам у нас репетиции, тракт», – говорила она.

Заур позвонит ей завтра вечером. И внезапно ему стало необычайно радостно и легко от возможности снова позвонить ей: ведь все эти дни он думал о ней, как о человеке, с которым все окончательно порвано. А почему, собственно, кончено? Почему просто не позвонить ей, как-то полуизвиниться за пощечину? Очевидно, можно будет и повидаться: за неделю острота обиды, наверное, прошла, и если Медина не врет и Тахмина серьезно переживает их разрыв, то она не будет артачиться, они наверняка встретятся. Они вообще будут встречаться, почему бы нет, но уже совершенно на других началах: Заур уже не позволит себе попасться в капкан, да и родителям не нужно доставлять лишние огорчения, не в том они возрасте, не то здоровье. Он, Заур, все будет делать теперь с ясной головой. На первом месте теперь – его работа. Но время от времени... Для отдыха, так сказать, для того, чтобы немного отвлечься, развлечься, увлечься. Стоп. Слова-то близкие, но между ними опасная грань – только «не увлечься». Ни в коем случае. Они будут встречаться, иногда, не так часто и, конечно, не давая пищи для лишних разговоров и вместе с тем сохраняя все самое приятное и хорошее, что было в их отношениях. Без ненужных потрясений, переживаний, сохраняя полную свободу, и ему уже не будет никакого дела до ее личной жизни: важно, что она будет с ним, а все остальное не будет, не должно быть для него важно. В общем, он пришел к тому, с чего, собственно, и начинались их отношения. Ему теперь не нужны были ни ее верность, ни ее любовь, а только ее готовность временами быть с ним. И ничего больше. И на этом счастливом и казавшемся ему единственно верным решении он заснул.

\* \* \*

Он проснулся рано, умылся и прошел на кухню. Разливая чай, Зивяр-ханым сказала:

– А знаешь, отец сделал тебе подарок. Он дал зарок отдать его в тот день, когда ты вернешься, но теперь, кажется, смущается. Попросил, чтобы сказала я.

Она протянула Зауру ключи:

– Пойди-ка посмотри, что в гараже.

И Заур, спускаясь к гаражу, знал, что там, и сердце его сладко замирало. Он не ошибся: открыв гараж, Заур на месте своего старого «Москвича» увидел новую сверкающую «Волгу».

За обедом они с отцом выпили немного вина (отец лишь пригубил, да и Заур пил маленькими глотками). Выпили без тоста, молча чокнулись, но оба поняли, что пьют в честь возвращения Заура. Потом они выпили за новую «Волгу», за выздоровление отца, за Зивяр-ханым, которая приготовила такой вкусный плов, и даже... за кооперативную квартиру.

Потом отец ушел к себе, а Заур сказал, что хочет немного обкатать новую машину.

– Ты же выпил! – с беспокойством сказала Зивяр-ханым.

– Да что я выпил? – улыбнулся Заур, – Стакан сухого вина. – Это называется выпить? Я скоро вернусь...

Подобно тому как человек, за короткое время резко похудевший, ощущает непомерную ширину своего старого костюма, так Заур почувствовал габариты новой машины, когда, выводя ее из гаража, старался выдержать непривычную для него дистанцию правого борта «Волги», чтобы не задеть тесные воротца. Как всегда, со стороны руля, слева, он не глядел на расстояние – его он мог контролировать чутьем, а справа оставалось больше пространства.

Заур ехал по улицам города, ощущая неожиданное волнение от власти над большой и сильной машиной, которая теми же рычагами и педалями, что и на «Москвиче», приводилась в куда более мощное и быстрое движение, как бы переливая свое могущество и в водителя, ею управляющего.

Улицы, такие привычные, когда он был за рулем «Москви­ча», стали вдруг узкими, и Заур не знал, возьмет ли этот поворот его «Волга», не задев газетного киоска справа и дерева слева. И как бы инстинктивно пытаясь прорвать эту паутину городских улиц и переулков, закупоренных к тому же другими машинами, нерасторопными и беспечными пешеходами, пытаясь освободи­ться от власти красных светофоров, запретительных знаков и предупреждении, Заур выехал на Московское шоссе и теперь упивался скоростью, которую так щедро и легко давала ему эта машина, чувствуя, как все больше и больше подчиняется она его воле и настроению. Он обгонял машины, идущие в направлении к аэропорту, и незаметно для себя стал приближаться к противоположному – северному побережью Апшерона.

Великолепное бетонированное шоссе было почти пусто, лишь изредка попадались встречные грузовики, и, освобожден­ный от необходимости быть внимательным, он, как обычно за рулем, отдавался во власть размышлений и воспоминаний и вдруг осознал, что давно уже не ездил по этому маршруту – по пути их с Тахминой летних путешествий.

Впервые за последнюю неделю он подумал о Тахмине абсолютно спокойно, обстоятельно, без эмоций. Он думал о своем вчерашнем разумном решении – не порывать с ней окончательно, обрубив, однако, все чрезмерное в их отношениях. Так, собственно, и начиналась их связь – для него, по крайней мере, – и все было так спокойно и хорошо до того, как он по глупости вбил себе в голову, что это нечто большее, чем просто связь. Как все было отлично до ее появления на экране телевизора в тень его рождения, когда она поздравила его на весь Союз, и до московской их встречи – до тех дней, которые создали у него иллюзию счастья и страх потерять его. Лучше жить без особого счастья, но зато и без сомнений в нем и страха за него.

Он въехал в поселок, и знакомые места – дома с парными, как двугорбый верблюд, дымоходами и ветряными мельницами на крышах, с низкими заборами, выложенными из неровных камней, со стелющимися по пескам виноградниками – навевали воспоминания о былых днях, счастливых своим ничем не потревоженным покоен. Без страстей, без потерь, без обвалов.

Он увидел вдали косой балкон дачи Муртузовых, куда однажды затащила его Тахмина и где они любили друг друга на брошенных на пол матрасах...

Заур свернул к даче и резко затормозил – у самых ворот стояла машина. Через секунду он увидел, что это «Волга», что она бордового цвета, что ее номер читается одинаково справа – налево и слева – направо, и еще через секунду сообразил, что эта машина Спартака. Заур медленно и осторожно объехал ее, стараясь не задеть, – дорога здесь была довольно узкой.

Уже благополучно проехав, он подумал: что же в такое время года понадобилось Спартаку на даче, – и тотчас догадался; наверняка он с какой-нибудь цыпочкой. Заур не хотел, чтобы Спартак заметил его, и быстро поехал по направлению к морю. Хотя день был погожий, совершенно пустой декабрьский берег неуловимо навевал ощущение зимы; море в такую погоду было бы приятным лишь в окне жарко натопленной рыбацкой хижины. Заур медленно ехал по долгому берегу и, не встретив ни души, минут через сорок выбрался на шоссе. Ему не хотелось снова проезжать мимо дачи Спартака – он еще мог быть там. И он выехал на автостраду по другой, песчаной улице поселка. И после вязкого песка снова ощутил спокойную жесткость бетонированного шоссе. Он с наслаждением набавлял и набавлял скорость. Дорога была совершенно пустынной. Дорож­ные указатели, призывы, плакаты, адресованные проезжим, выглядели бессмысленно. Вглядываясь в даль, Заур заметил машину, мчащуюся навстречу ему. Она быстро приближалась, и с какого-то мгновения все происходящее стало представляться ему как во сне или как в фильме с замедленной съемкой: начался какой-то другой отсчет времени, иное восприятие действитель­ности. Навстречу Зауру неслась бордовая «Волга» Спартака. За рулем сидел сам Спартак, а рядом с ним была женщина, и, когда они промчались мимо него и дальше, Заур понял, кто была эта женщина. Он еще мчался по инерции в своем направлении с колотящимся сердцем, не до конца осознав случившееся и еще не зная, как быть. И только метров через триста резко затор­мозил, повернул и помчался обратно.

Бордовая «Волга» маячила уже где-то у железнодорожного переезда, и Заур понял, что Спартак прибавил скорость. Он догнал бы их через минуту, но увидел, как они пронеслись под опускающимся шлагбаумом, а ему, Зауру, пришлось переждать длинный состав. Но теперь Заур уже все ясно и четко понимал, – и почему «Волга» Спартака стояла у ворот дачи, и почему они, заметив его и увидев, как он повернул за ними, прибавили скорость и промчались прямо под опускающимся шлагбаумом – лишь бы выиграть время, дистанцию и вообще все. Выиграть у него по всем статьям. По всем статьям жизни. Выиграть и обсмеять его – наивного дурачка, который так долго верил бас­ням распутной бабы, верил, что у нее действительно по субботам репетиции, тракты, и терпеливо ждал ее в комнате с обоями, которые «расцвели в тот день, когда он пришел к ней». А все это, оказывается, была ложь, самая бессовестная и наглая из всех самых бессовестных и наглых. В дни «репетиций» она, оказывается, приезжала на эту самую дачу и отдавалась Спар­таку, как и ему, Зауру, на тех же самых матрасах, брошенных на пол. Представляя все это, Заур чувствовал, как готов броситься с машиной на мчащийся поезд, разбиться, разлететься, но ему не хотелось потрафить тем двоим. Он смотрел на освещенные окна пробегающих вагонов и мучительно зримо, подробно видел Тахмину со Спартаком в дачной комнате, набитой барахлом, и ему не терпелось, чтобы этот проклятый состав наконец кончился и он догнал бы их, уверенных в своей безнаказанности, в своем превосходстве, в своем праве дурачить тех, кто еще способен верить. Злоба его была направлена прежде всего на Тахмину; о Спартаке, как ни странно, он думал с меньшим озлоблением, просто как о человеке более ловком и менее глупом, чем он сам, Заур, достаточно умном, чтобы не попа­даться на такие вот удочки. Уж Спартак точно посмеялся бы над уловками Тахмины и всеми ее ласковыми словами, кошачьими нежностями, вкрадчивым голосом, за которым, как теперь Зауру было абсолютно ясно, стояли лишь отработанные приемы опытной жрицы любви. И теперь он готов был каждый ее жест, каждую отлучку, каждое знакомство считать признаком ее глубокой развращенности, и память услужливо подсовывала ему все новые и новые тому доказательства.

Наконец этот проклятый поезд прошел. Коренастая жен­щина в черном ватнике медленно прокрутила колесо с натянутым канатом, и шлагбаум стал подниматься. Заур завел машину и проехал под еще поднимающимся шлагбаумом. Стрелка на спидометре дрожала между 130 и 135 километрами. Он увидел их вдали, у поворота на аэродром, и теперь уже знал, что догонит, чего бы это ему ни стоило, но, к его удивлению, расстояние между ними, резко сократившись, как бы застыло на одной дистанции, если слово «застыло» подходит к движению на такой скорости. Они заметили его и явно убегали, и, очевидно, стрелка на спидометре Спартака показывала то же, что у Заура. Заур сделал еще один рывок, и они ехали теперь почти впритык, и Заур успел подумать, что, если он сейчас врежется в бордовую «Волгу», наверняка погибнут все трое, и это будет естественным завершением всей трагикомедии.

Но этого не произошло, сдали нервы Спартака, он сбавил скорость, и Заур обошел их, проехал примерно метров двести, тоже резко сбавляя скорость, потом, затормозил и, развернув­шись, поставил свою машину поперек дороги. Спартак гак же резко затормозил, и его «Волга», проскользнув на лазах, почти доползла до Заура.

Заур вышел из машины и пошел к ним. Спартак тоже вышел из машины, но не двигался, а стоял, облокотившись о крыло своей «Волги». Он был без пальто, в костюме и рубахе с открыгым воротом. В заходящих лучах солнца Заур заметил только золото, которое блестело на Спартаке – золотые часы, золотой перстень, золотая цепочка, свисавшая с шеи на распахнутую волосатую грудь, и два передних золотых зуба.

Спартак улыбался, хоть и был бледен. Заур заметил еще, как он вынул золотой портсигар, взял сигарету и чиркнул зажигалкой «Ронсон», тоже, наверное, подарок Тахмины, подумал Заур и сам удивился, как это он сейчас фиксирует не имеющие никакого значения мелочи, даже то, например, что Спартак, как бы в дополнение ко всему своему золоту, закурил сигарету «Золотое руно» – Заур почувствовал это по приторному аромату. Он не смотрел в сторону Тахмины, хотя и заметил боковым зрением ее окаменевшую на переднем сиденье фигуру.

Спартак зажал сигарету между языком и верхними зубами, рот его был приоткрыт, и сквозь золотые зубы и дым сигареты с тревожной, хоть по-прежнему нагловатой ухмылкой он сказал:

– Ну что, испытал машину на скорость? Отличная машина. Поздравляю.

Мерзостная ирония почудилась Зауру в этой фразе, и он ударил Спартака в подбородок. Спартак пошатнулся, но не упал, и зубы его, состукнувшись, откусили кончик сигареты; тлеющий окурок упал ему за открытый ворот рубахи, он смешно подергался, засунув руку за пазуху, долго там рылся, наконец выудил окурок и бросил наземь. Улыбка сошла с его лица, он быстро открыл дверцу машины и сунул руку в карман пальто, переброшенного через спинку сиденья. В тот же момент хлопнула вторая дверца, и Тахмина, выскочив из машины, подбежала к Зауру. Заур не смотрел на нее, он смотрел на Спартака, который, выхватив из кармана пальто нож, уже шел прямо на него, и лицо его показалось Зауру незнакомым, полным какой-то мрачной ярости. Нож был финский, с рукояткой из козьей ножки, острый и с одной стороны пилообразный. Заур думал о том, как выбить нож из рук Спартака до того, как тот попытается нанести удар, если он вообще намерен это сделать, – лучше всего правой ногой, – и вдруг он обнаружил между собой и Спартаком голубое платье Тахмины – то самое, в котором она была в Москве, в ресторане Дома кино, и которое так нравилось Зауру.

Тахмина намертво обняла Спартака.

– Умоляю, Спартак, умоляю! – прерывисто говорила она и отталкивала его к машине.

Конечно, при сильном желании он мог бы отбросить ее и вырваться, но, похоже, он этого не очень хотел, хотя и делал вид, что рвется к Зауру. Первоначальная ярость быстро гасла. Правой рукой все еще держа за запястье его правую руку с ножом, Тахмина левой открыла дверь машины. Потом левой же рукой она обняла его и, как показалось Зауру, гладя его волосы, что-то торопливо говорила. Словами, руками, всем охраняющим его гибким телом ей удалось втолкнуть Спартака в машину и закрыть за ним дверь. Молча, с опущенной головой, не поднимая глаз, она прошла мимо Заура к своей двери, открыла ее и села. Они еще о чем-то говорили там, в машине, а Заур все стоял, не двигаясь, ждал: ему не хотелось уходить первым. Наконец Спартак завел мотор, развернулся и поехал назад – к морю, к берегу, а может быть, к даче с косым балконом.

**\* \* \***

«Какой дурак! Какой я был дурак! – думал Заур, подъезжая к городу. – Из-за такой шлюхи я мог столько переживать, так мучиться. Зачем она нужна мне? И как только я мог подумать, что люблю ее? Со всеми ее словечками, приемчиками – вся, вся насквозь фальшива. Со Спартаком! Подумать только – со Спартаком! И какие только фокусы она не придумывала – «нарочно оставляет машину у моих дверей!» Ах ты стерва! Ничего, я ей это так не оставлю. Как бы только сделать, чтобы ей было побольнее. А как она обнимала его, меня, понимаете ли, спасала от ножа. Плевал я на его нож. Спартаку я здорово врезал. А как сигарета ему за пазуху упала – просто умора. Ну и Тахмине я врезал тогда у нее тоже неплохо. Мало ей, подлюге! Ну, ничего. Смеются сейчас, наверное, там, на даче, и это их возбуждает, распаляет. Пусть смеются. Посмотрим, кто последним посмеется. Обмануть меня? Ну хорошо, я их всех так обману!»

Он представил, как в далеком будущем он случайно встретит Тахмину и она ему грустно скажет: «Зауричек, кто бы мог подумать – ты оказался хитрее нас всех, ты всех нас обманул и обкрутил». А он, Заур, лишь снисходительно улыбнется. Но это – будущем, а вот как сейчас ей сделать больно-больно?

Он уже ехал по улицам вечернего города.

**\* \* \***

Зивяр-ханым не могла поверить.

– Ты это всерьез?

– Абсолютно, – сказал Заур, – Я о многом подумал за это вре­мя. Пора браться за ум. И кооператив готов. Так что действуйте!

– Хороню, – сказала Зивяр-ханым – Мы завтра же пошлем к ним сватов. Ну, а ты не передумаешь? – спросила она с опаской.

– Я не мальчишка. И такими вещами не шутят, – сказал Заур с расстановкой.

Мать прошла в кухню, потом обратно. Она суетливо искала, сама не зная что, и все это было от растерянности, от неожиданного решения сына, заставшего ее врасплох. Наконец она подошла к нему, долго и внимательно смотрела ему в глаза и сказала:

– Ты умница, – и поцеловала его. – Да буду я твоей жертвой. И отец обрадуется. Я уж не говорю об их семье. Алия всю жизнь об этом мечтала.

Заур удобно устроился у телевизора в предвкушении хоккейного матча. «Как я это удачно придумал, – размышлял он, – жизнь, что ни говори, прекрасная штука. Как хорошо быть молодым, сильным, здоровым, а главное, свободным...» Ну, о чем еще мечтать: машина, кооперативная квартира – он обставит ее по своему вкусу, соберет причудливые корни деревьев, ветки, куски коры, шишки, уникальные камни... запишет на магни­тофон голоса птиц, звуки леса, ветра, моря. Он будет путешест­вовать по разным странам и привозить африканские маски, японские куклы, индийские деревянные фигурки. Он объездит весь Союз, а дома будет ждать его красивая молодая и верная жена и красивые чистые дети. Все у него будет, все – и семья, и духовная пища, и достаток. Все. Назло Тахмине.

\* \* \*

К семи стали собираться. Пришел двоюродный брат Меджида – Бахрам, дядя Зивяр-ханым и один из сослуживцев отца. Неожиданным для Заура было появление Дадаша. Но Зивяр-ханым вызвала Заура в кухню и сказала:

– Ты только, ради Бога, не злись, что мы и Дадашу сказали. Дело в том, что с их стороны будет свояк Муртуза – Неймат, а Дадаш его начальник. Это даже удачно: начальник с нашей стороны, подчиненный – с их. Вообще говорить будет он: не станет же отец или дядя тебя хвалить. А Дадаш работает с тобой и вроде бы посторонний человек...

– А зачем меня надо хвалить? Они меня что, не знают?

– Они-то знают, но ведь у них тоже будут свои люди, те тебя не знают, и тебя надо представить, и надо, чтобы какой-нибудь солидный человек, и посторонний, представлял тебя, так что ты не косись на Дадаша.

– А что мне коситься, – сказал Заур устало, – Дадаш так Дадаш, не все ли равно?

К восьми сваты пошли к Муртузовым, а Заур стал решать кроссворд и никак не мог вспомнить название города в Африке из десяти букв на К. Женщины-родственницы и жена отцова сослуживца болтали на кухне с мамой, и Заур знал, о чем они говорят, то понижая голос, чтобы он их ни в коем случае не услышал, то возвращая голосу нормальное звучание, демонстративно обсуждая нейтральные темы.

\* \* \*

– Собственно, особо представлять Заура незачем, – говорил Дадаш, попивая чай и хрустя сахаром, – он вырос у вас на глазах. И семью его вы прекрасно знаете: это одна из самых уважаемых семей в городе, Меджид-муаллим – наш крупнейший ученый, прекрасный семьянин, а как у нас говорится, трава на своем корню растет. Так что, имея такие корни, и Заур не мог вырасти другим. Мы с ним два года работали вместе – он большим уважением пользуется в коллективе: скромный, честный, ну, немножко, может быть, наивный, простодушный, – думаю, это даже красит его: ведь он еще очень молод, не знает без хитростей и козней, искренне верит людям. Я думаю, что он перспективный и, главное, порядочный молодой человек, у него блестящее будущее. Уж мы бы за недостойного человека и не пришли сватать. Вот и наш Неймат может подтвердить – мы ведь все коллеги.

Неймат промямлил в ответ что-то неопределенное, но благожелательное, что должно было означать согласие. Муртуз сидел насупившись и сопел. Бравый вояка был немного растерян: как-никак это для него тоже было дебютом – впервые выдавал замуж дочь, впервые принимал сватов. Зато другой его свояк – юркий Джаббар вел себя довольно активно. Переглянув­шись с Муртузом и получив согласие, он быстро-быстро затара­торил:

– Для нас честь, что такие видные люди пришли к нам. И Заура мы знаем как хорошо воспитанного и перспективного молодого человека. Ну, и вы знаете семью Муртузовых. Муртуза Балаевича вы, конечно, прекрасно знаете – он один из наших уважаемых ветеранов, крупный военачальник. Фирангиз выросла на наших глазах, но мы пока ее голоса даже не слышали: она удивительно застенчива и скромна, не в пример некоторым нынешним молодым девицам. Я думаю, что этот брак будет счастливым. Аллах хейир версии[[24]](#footnote-24).

Сваты заулыбались. И через минуту Алия, Таира и Сурея принесли на подносах чай в стаканах армуду, уже сладкий, как и полагается по обычаю, после того как согласие дано. И Дадаш, а за ним и другие сваты, согласно опять-таки обычаю, начали громко мешать ложечками сахар, стучать ложками о бока стакана, и все заулыбались.

Все поздравили Меджида, Муртуза, Алию, других родст­венников, а Дадаш с Нейматом заговорили о делах издательства.

К девяти часам сияющие сваты вернулись, и первым Заура поздравил Дадаш. Он даже не прочь был, по-видимому, облобызать Заура, но Заур непроизвольно отстранился.

И почему-то в этот момент он вспомнил название города в Африке из десяти букв: Касабланка. Конечно же, Касабланка.

\* \* \*

На следующий день встретились женщины.

Зивяр-ханым спустилась к Алие, они обговорили всю про­грамму предстоящих действий. Заур уже работал в геологи­ческом управлении и через месяц должен был отправиться в экспедицию. Да и по другим, конечно, не высказанным ни Зивяр-ханым, ни Алией-ханым, но подразумеваемым как той, так и другой причинам особенно тянуть не стоило – вдруг передумает. Так что решили в течение ближайших двух недель сделать и нишан, и свадьбу. Тем более что и с той и с другой стороны все было готово. Алия чуть ли ни со дня рождения дочери собирала ей приданое – отрезы, покрывала, сервизы, золото и серебро, все необходимое для жизни – от пианино до солонки. Правда, круп­ные вещи – мебель, например, еще не были куплены. Но это обещал в кратчайший срок устроить Спартак, который к тому же взялся и уплатить за три мебельных гарнитура – арабскую столовую из двенадцати предметов, румынскую спальню из семи предметов и белоснежную финскую кухню, состоящую из стола, стульев, шкафа и моек. Холодильник марки «ЗИЛ» купили Джаббар и Таира, хрустальные люстры Неймат и Сурея.

И у Зейналлы тоже были давно приготовлены подарки для невесты и ее родичей (в том числе отрез на костюм для Спартака) и припасены деньги на большую свадьбу в шикарном ресторане – человек на семьдесят. Нишан, по обычаю, должны были устроить родители невесты, а свадьбу – родители жениха.

Разговор Алии и Зивяр-ханым прошел мирно и при полном взаимопонимании, а в конце беседы Алия пригласила их семью – ее, Меджида и Заура – завтра на обед в узком семейном кругу, 1ак сказать, «аяг ачды» – визит жениха к невесте.

\* \* \*

Заур ехал с работы. Дул холодный пронзительный норд. Стал моросить дождь; он вышел из машины, надел на переднее стекло «дворник» и увидел Медину, ждущую на стоянке автобуса.

– Медина, – позвал Заур, – садитесь, подвезу.

В руках у нее была большая и, видимо, тяжелая сумка, – с работы, как обычно, она зашла на рынок. Медина села в машину и сказала:

– Сам бог вас послал, Заур, я прямо ног под собой не чувствую.

– Домой? – спросил Заур с улыбкой.

– Конечно! Я уж и не знала, доберусь ли с этой сумкой когда-нибудь до дому.

– Ну, как вы поживаете? – спросил Заур.

– Спасибо, ничего, вот сын приболел немножко.

– А что с ним?

– Грипп, видимо, Кашляет.

– Сейчас весь город гриппует.

– Да, – сказала она.

– У вас новая машина? Поздравляю.

– Спасибо, – сказал Заур.

Медина замолчала, не зная, сказать или нет, потом, посмотрев па него искоса, решилась:

– Да, поздравляю вас, говорят, вы женитесь.

– Спасибо, – сказал Заур и закурил. Теперь и он мог спро­сить:

– А как ваша соседка поживает?

– Тахмина? – переспросила Медина, как будто он мог инте­ресоваться какой-нибудь другой соседкой. – Тоже болеет, бедняжка.

– Да? А с ней что, тоже грипп?

– Нет, у нее печень. Участились приступы. Я говорила ей: нельзя тебе пить совершенно. – Она замолчала, потом добавила: – Разве вы не заметили, она и по телевизору почти не выступает...

– А я не смотрю телевизор, – сказал Заур.

– И правильно делаете, – живо откликнулась Медина. – Та­кую ерунду передают. Одна передача хуже другой.

Медина ругала передачи, а ему хотелось, чтобы она сказала еще что-нибудь про Тахмину. Интересно, рассказала ли Тахмина ей о встрече на дороге, когда они возвращались с дачи Спартака? Но Медина все ругала и ругала телепередачи.

– Ну, что за фильм вчера показывали? Разве так в жизни бывает?

– А что, Тахмина лежит в постели? – спросил он.

– У нее печень больная, а она пьет каждую ночь, – совсем другим тоном, горько сказала Медина. – Пьет и слушает музыку. Ночью, когда ни проснусь, у нее свет.

Заур усмехнулся. Они уже подъезжали к той улице. Они миновали тот самый сквер, у которого когда-то в начале июня – нет, он может сказать точно: пятого июня – он впервые ждал ее и прождал час, а потом она появилась в красном платье с белыми пуговицами, и они отправились к морю, и с этого началась их связь. Он подъехал к подъезду и остановился там, где ставил свою машину Спартак до того, как он, Заур, проткнул ей шину. Медина вдруг сказала:

– Только с вами она и была счастлива, поверьте мне, Зауричек, – и он удивился не столько ее словам, сколько тому, что Медина впервые назвала его так, как называла только Тахмина.

Он пожал плечами.

– Большое вам спасибо, – сказала Медина, выходя из машины. – Вы просто спасли меня. Спасибо.

– Да что вы, не стоит, – сказал Заур и медленно поехал.

\* \* \*

– Завтра приходи с работы вовремя, – сказала Зивяр-ханым. – нас приглашает Алия.

Заур кивнул.

– Я сегодня была у нее, обсудила все вопросы.

– Встреча в верхах, – сказал Заур.

– Решили не откладывать свадьбу, – сказала мать. – Шахин завтра договорится с рестораном на двадцатое. Я смотрела по календарю – двадцатого суббота.

Заур кивнул.

– А ты с Фирангиз виделся?

Заур удивился:

– Нет, а зачем?

– Как зачем? Она же твоя невеста. Встретились бы, пригла­сил бы ее в кино, в театр, на концерт.

– Но мы же пока официально не помолвлены, – сказал Заур. – И если нас увидят вместе до официальной помолвки... это будет нехорошо.

– Да, конечно, – согласилась мать, то ли не поняв иронии, то ли слишком хорошо ее поняв. – Завтра вместе пойдем к ним, так сказать, «аяг ачды». А потом ты сможешь заходить к ним, она сможет заходить к нам, а тут и нишан подоспеет, – и в глазах матери он увидел умиление. – Ну, спокойной ночи.

Мать пошла спать, а он включил телевизор. Шли последние кадры фильма, а потом на экране появилась Тахмина – он видел ее впервые после той встречи на дороге и поразился, как она осунулась и какой была грустной-грустной, хотя и улыбалась профессионально.

Она объявила завтрашнюю программу и сказала: «Спокойной ночи, дорогие телезрители».

И Заур знал, что у нее самой спокойной ночи не будет. Он вспомнил, что она говорила о своих ночных муках: «Как дотя­нуть до утра, боже мой, как дотянуть!» Хотя, может, это была ее очередная фальшивка, выдумка, чтобы казаться загадочнее, сложнее. Кто знает? Он попытался заглянуть в глубину ее глаз, где, возможно, скрывалась правда, но она исчезла. Перед Зауром остался лишь пустой мерцающий бело-голубой экран, потом одна светящаяся точка, а потом исчезла и она.

Зауру пришла в голову мысль взять машину, подъехать к телестудии и встретить ее. Она обрадуется – он знал, и даже если ее радость будет лживой, все равно ему будет хорошо, как всегда было хорошо, когда он видел ее счастливой и сам становился счастлив ее счастьем, подлинным ли, мнимым ли, кто знает, но, во всяком случае, счастьем, которое он доставлял ей. Вот сейчас сесть в машину, поехать и сказать: «Здравствуй, Тахмина!» Это же так просто.

Но Заур знал, что это невозможно. Просто и – невозможно. Он выключил телевизор.

**13**

– Прошу тебя, помирись со Спартаком, ведь вы теперь родственники, – сказала Зивяр-ханым, когда они подошли к дверям Муртузовых с огромным тортом. Его испекла ночью Зивяр-ханым и теперь держал в руках Заур. Большой букет роз нес сам профессор. Не дождавшись ответа, она добавила: – Мне Алия рассказала, что у вас какая-то стычка была.

Зивяр-ханым нажала на звонок.

– Никакой стычки, просто я врезал ему, – не мог не похвалиться Заур.

– Что было, то было. Теперь вы родственники, и...

Дверь открыли.

– Добро пожаловать, добро пожаловать, – сказала Алия-ханым.

Они прошли в переднюю. Заур положил торт на тумбочку у вешалки, и они с отцом направились в комнату, а Зивяр-ханым – на кухню, к женщинам. В комнате рядом с накрытым столом Муртуз Балаевич, в белой рубашке с серыми подтяжками, играл в нарды. Его полковничий китель висел на спинке стула. Со всеми регалиями и орденами. Муртуз Балаевич играл в нарды с Джаббаром. Неймат наблюдал за их игрой. Все трое, увидев гостей, встали, поздоровались за руку, а Муртуз хлопнул Заура по плечу.

– Ну, герой, – сказал он.

– Присаживайтесь, профессор, – сказал Джаббар.

– Я сейчас быстро с ним разделаюсь, – сказал Муртуз, кивнув на Джаббара, а Неймат заговорил с Зауром о его новой работе.

Стол был накрыт на славу. Неожиданные в это время года помидоры и огурцы, которыми так гордился директор шашлычной Надир, всевозможные салаты были разложены по тарелкам из старинных немецких сервизов, а разноцветная выпивка поблескивала в массивных хрустальных графинах.

Во главе стола сели Муртуз и Меджид, слева от них Зивяр-ханым, Джаббар и Неймат. Справа сел Заур, и рядом с ним оставили свободный стул. Вскоре Алия ввела в комнату Фирангиз. Белое платье оттеняло ее румянец и черные волосы, заплетенные в толстую косу. Не поднимая глаз, она поздоро­валась со всеми. Заур поднялся и усадил ее рядом с собой. Сурея, Таира и Алия, три девочки и мальчик – как догадался Заур, доче­ри Суреи и сын Таиры – сели в другом конце стола. Вошла Бикя-хала – мать Алии, Суреи и Таиры, поцеловала Заура и Фирангиз, сказала, что это счастливый день в ее жизни, и, извинившись, ушла на кухню: она готовила плов.

– А где же Спартак? – спросил Муртуз, и Алия сказала, что сейчас придет.

Выпили за молодых – Заура и Фирангиз, за родство, за родителей жениха и невесты. Заур заметил, как в комнату вошел Спартак, и уловил в его взгляде беспокойство. Но Заур улыб­нулся ему, и мгновенно беспокойство в глазах Спартака сме­нилось обычным нагловатым выражением, он подошел и протя­нул руку Зауру.

Муртуз был уже слегка навеселе и поднялся, чтобы произнести очередной тост. Все тосты, кроме госта Меджида, провозглашенного за семью Муртузовых, были сказаны самим полковником.

– Сегодня за этим прекрасным и обильным столом собра­лись самые близкие родственники и по такому значительному поводу, – сказал Муртуз Балаевич. – Спартак, а ну налей себе. Смотри только у меня, не перепивай, а то я знаю тебя, шалопая. Надо знать меру, когда пьешь.

– Ну, папа, – ответил Спартак, – это ты лучше себе скажи.

Все засмеялись, а Алия-ханым укоризненно взглянула на Муртуза.

– И в самом деле, – сказала она, – ты не очень-то увлекайся, про сердце свое помни.

– Я все помню – Муртуз был в блаженном настроении и замечания жены и сына воспринял без обычной обидчивости. – Я все помню, – уже с хмельной многозначительностью повторил он. – Послушайте, что я скажу. Вот мы выпили за наших моло­дых, за их будущую чистую, хорошую семью. Но я хочу сказать, – он повернулся к Зауру, – все, что бывает до брака, мужчина дол­жен оставить на пороге своего дома. Все, что было, то было, а уж если ты женился – семья должна быть прочной и нерушимой.

Всем стало как-то неловко: слишком прозрачным был намек полковника. Наступило напряженное молчание, лишь профессор слегка покашливал.

Полное равнодушие к происходящему – чувство, которое в течение последних дней было его единственным состоянием, – оберегало Заура от отрицательных эмоций, и он воспринимал слова Муртуза с тайной усмешкой и с почтительным выраже­нием лица. Он понимал, что с самого начала вечера, а вернее, с начала сватовства, мысли Муртуза так или иначе были нацелены на эту тему, и теперь изрядная доля ереванского коньяка лишь выплеснула из уст его то, что лежало на душе. И чем больше Муртуз пил, тем определеннее становилось направление его мыслей.

– Да, с кем в молодости не бывает! Молодому человеку это нужно, даже необходимо для опыта, – он подмигнул Меджиду, который от этого подмигивания совсем растерялся, – да и нам, старикам, не мешает. Ха-ха-ха! – Расхохотались лишь они вдвоем со Спартаком. – Пусть женщины заткнут себе уши, – сказал Мур­туз. – Это для мужчины необходимо. Для разрядки, для отклю­чения, так» сказать, да и элементарно для здоровья. Но главное – это всегда помнить свой долг перед семьей, перед обществом. – И уже шепотом он говорил одному Меджиду, хотя Заур и слышал все отчетливо: – Помню, была у меня одна Зойка, – только подальше от ушей Алии! – ну, прямо огонь баба. Я по молодости да по глупости даже жениться хотел. Но вовремя одумался. Эх, с кем не бывает! Вот Спартак наш, например, так он же больше меня знает по этой части.

Потом его мысль забуксовала почему-то на отношениях Спартака и Заура, и он долго пытался уяснить, что между ними произошло.

– Да ничего же, – в один голос говорили и Спартак, и Заур.

– Ну, а коли так, встаньте и поцелуйтесь, – сказал Муртуз.

Заур понял, что он должен пройти и через это, чтобы доказать самому себе твердость своего решения покончить с прошлым и стать другим человеком. И он, вытерев салфеткой жирные от плова губы, поцеловался со Спартаком, от которого так же, как в тот раз, несло приторным ароматом «Золотого руна».

Потом принесли десерт, чай, всевозможные торты, пирож­ные. Теперь Муртуз говорил о своих военных подвигах, и внезапно Заур засек устремленный на него пытливый и, как ему показалось, тоскливый взгляд Неймата. Они встретились глазами, и Заур сразу понял, что из всех присутствующих один Неймат видит все в истинном свете. Все, все. И его, Заура, состояние, и его, Заура, решение, и все, что предшествовало этому решению, и все, что предстоит ему, Зауру, в будущем, в результате этого решения...

– До свидания, до свидания...

– Заходите, ради бога, запросто...

– Да, далеко живем, через лестничную клетку и этаж.

– Не говорите!

– Ой, оказывается, дождь идет...

– Ну, вас Заур довезет.

– Да, Спартак много выпил.

– Да ничего я не выпил, сейчас будем развозить гостей с Зауром наперегонки.

– Заур, сынок, заходи к нам завтра.

– Обязательно, тетя Алия.

– Профессор, партия нардов за мной!

– Ну, до свидания, заходите в комнату, холодно, простудитесь. Пока, пока.

– Ой, как темно, зажгите спички!

– Я сейчас выведу машину.

– И я. Сейчас, подождите.

– Заур, возвращайся скорее.

– Спартак, не задерживайся.

\* \* \*

Он вздрогнул и проснулся, машинально посмотрел на часы – было ровно 6 часов утра. Заур засомневался – не ослышался ли он, но звонок повторился, он протянул руку к телефону, стоящему рядом с кроватью, и поднял трубку.

– Алло, – сонным голосом сказал Заур.

В трубке молчали, и он хотел было положить ее, когда услышал музыку. Сперва она звучала издали, но потом, видимо, трубку на том конце провода приблизили к источнику звуков – радио? магнитофону? проигрывателю? – и Заур отчетливо услышал песню «Кучелере су сепмишем». Он слушал, просы­паясь и удивляясь этому необычному раннему концерту, и внезапно догадался.

–Алло, кто это? – спросил он, но песня кончилась, и трубку сразу повесили.

И тогда он понял все. Понял, кто звонит, понял, что она звонит после бессонной ночи, заполненной музыкой, коньяком и воспоминаниями о нем, Зауре.

Теперь он сам набрал номер, чтобы убедиться в истинности своей догадки. Трубку подняли моментально, но ответа не было, молчал и он. Потом в трубке зазвучала другая песня: «Ах бери бах, бери бах». И в ней пелось о том, что из окон бросают камни, а из глаз льются слезы, но если бы тебя дали мне, то и богу это было б угодно.

Кончилась песня, и она дала отбой. Заур закурил сигарету и ощутил такую острую тоску, что ему захотелось завыть: он ясно представил себе, какую ночь она провела. Снова раздался звонок. Он поднял трубку и начал слушать песню:

*Всю жизнь я камни таскал,*

*И не наполнил свой корабль.*

*С юных лет полюбил девушку,*

*И она не стала моей.*

«Тахмина, – хотел он сказать, – ну, как ты могла, как ты могла со Спартаком? – хотел он сказать, но ничего не сказал. – Тахмина, ведь я любил тебя, по-настоящему любил, и счастлив был по- настоящему, – хотел сказать он, но ничего не сказал. – Неужели все это было ложью, Тахмина, неужели ты меня не любила, а если любила, то как же ты могла так изранить меня? – хотел сказать он и ничего не сказал. – Я ведь больше никогда не буду счастлив. Я же мертв», – хотел сказать он, но ничего не сказал. Песня кончилась, и она повесила трубку. Прошло несколько минут, и он думал, что все уже кончилось, но вновь раздался звонок, он поднял трубку и услышал песню:

*И сваты все его сгнили,*

*И сам себе он сват*.

«Лачин». Песня, которую Тахмина не могла слушать без слез. Он и сам сейчас плакал, плакал впервые во взрослой своей жизни, впервые после далеких детских слез. Он плакал беззвучно, не стирая слез, которые катились по щекам. Он плакал, ибо знал, что это их последнее и окончательное прощание и лишь одна женщина на свете могла придумать такое прощание. Кончалась песня «Лачин». Звучал ее последний куплет. И Заур знал, что это последняя песня в бобине, и сейчас, накануне его свадьбы, о дате которой Тахмина, несомненно, знала, она навсегда уходит из его жизни...

*Пусть меня убьют из-за голубоглазой девушки...*

Песня кончилась. В трубке звучали гудки отбоя...

**14**

...В Дакаре, когда Заур сидел в холле отеля и ждал Фирангиз, он вдруг почему-то поднял трубку телефона и набрал номер бакинского телефона Тахмины. Линия не связалась – в Дакаре были пятизначные телефонные номера, а не шестизначные, как в Баку...

**15**

Уже на аэродроме Заур заметил что-то неладное, хотя и не смог понять, в чем дело. Встречающие – Зивяр-ханым, мать и отец Фирангиз, Спартак и товарищ Спартака, которого Заур знал в лицо, но не помнил по имени, весело махали им из-за барьера, в толпе других встречающих, и они с Фирой, шагая к барьеру, также махали, но Заур уже издали заметил, что его мать стоит в стороне от семьи Муртузовых, и не расстояние даже, разделив­шее их, а какая-то обособленность в ее позе насторожила Заура. Когда же он, расцеловавшись по очереди с родными Фиры (они стояли ближе), подошел к матери, он уловил в ее глазах что-то необычное и, как ему показалось, недоброе. Зивяр-ханым без обычной горячности расцеловалась с ним и еще более прохладно – со своей невесткой.

– Отец не смог прийти, – сказала она и добавила: – Пере­гнали и твою машину, я сяду в нее. Ты сам ее поведешь? – И в ответ на утвердительный взгляд Заура закончила; – Возьми багаж и приходи.

Она прошла и села на переднее сиденье «Волги» Заура.

Заур догадался, что машину его пригнал товарищ Спартака, и конечно же, догадался, что за месяц их отсутствия что-то произошло между двумя семьями и сейчас отношения более чем натянутые.

Алия-ханым расспрашивала Фирангиз об Африке, о путешествии, Муртуз Балаевич гордо оглядывался, а Спартак с товарищем как-то суетливо и настороженно улыбались то Зауру, то Фире, то Зивяр-ханым.

Алия-ханым и зардевшаяся Фирангиз, отдалившись, о чем-то шептались, и Заур понял, что жена сообщает о своей беременности. Это было самой важной новостью месяца, а по тому, как довольно улыбалась Алия, Заур понимал, что для нее это весьма приятное и своевременное известие. Свою же мать Заур не спешил обрадовать этой новостью. «Ничего, скоро узнает», – подумал он.

Принесли багаж, и Спартак с товарищем помогли Зауру перетащить пять чемоданов в две машины.

– Фира с нами, – не то утвердительно, не то вопросительно сказал Спартак, и все они двинулись к бордовой «Волге».

Заур кивнул и сел в свою машину. Некоторое время он согревал мотор, потом двинулся вслед за «Волгой» Спартака по той же самой дороге, по которой несколько месяцев начал догонял ее на бешеной скорости. Но он не успел подумать о превратностях судьбы, потому что Зивяр-ханым сразу же начала выплескивать накопившуюся обиду.

Заур почти не реагировал на высказываемые ею страсти, хотя ему было ясно, что со всем этим ему придется прожить всю свою жизнь. Но он все так и представлял себе, знал, что именно так и будет, и потому ничему не удивлялся и ничем не возмущался. Конечно, вполне в духе Зивяр-ханым испортить первые же минуты его возвращения домой после месячного отсутствия. Но разве таким уж радостным было само это возвращение, такой уж желанной была встреча с родней! Он заметил новые щиты и плакаты с левой стороны дороги – их соорудили за последний месяц. Улыбающаяся девушка приветствовала гостей в солнечном Баку.

– А с чего все началось? – равнодушно спросил Заур, не из любопытства, а из вежливости, чтобы проявить хоть какой-то интерес к бурным излияниям Зивяр-ханым.

– Да ни с чего, – начала мать, и Заур бездумно смотрел на дорогу, вполуха слушая возбужденные речи матери.

Заур понимал всю подоплеку ее рассказа, понимал и тот страх, и неуверенность, которые были в глазах у матери. Он понимал, что мать опасается, что Заур если и не станет на сторону Муртузовых, то не будет активно сражаться и на стороне матери. И он думал, какие же баталии разгорятся, когда мать узнает о подарках и сувенирах, о том, что родителям Фирангиз они купили точно такие же туфли и рубашку, как Меджиду и Зивяр-ханым. Тем более что был еще и Спартак, которому Заур сам подобрал галстук с карманным платочком, так что, как ни крути, той семье достанется больше, чем этой.

Они уже ехали по городу, и Заур заметил, что бордовая «Волга» свернула направо, – значит, родители Фирангиз сойдут у своего дома. «Может, и Фирангиз пойдет к ним, может, вообще мы с Фирой больше не встретимся и разойдемся, – с некоторым сарказмом подумал он, – если Алия-ханым с такой же яростью придерживается своей версии, которая – Заур не сомневался в этом, – в корне отличается от версии Зивяр-ханым, и уже успела накрутить свою дочь. В том, что примерно такой же разговор, но с противоположных позиций, происходит в другой машине, он не сомневался, но все же надеялся, что там тон чуть сдержаннее, учитывая присутствие мужчин и особенно чужого их семьям приятеля Спартака. Впрочем, кто их знает? Судя по ярости Зивяр-ханым, отношения действительно обострены до предела. И Алия смотрела на Заура довольно-таки неприязненно. Неужели она поломает их брак? «Да нет, куда там, – подумал Заур, – ведь Алия-ханым наверняка уже знает или, в крайнем случае, вскоре узнает о беременности Фирангиз. Может, из элементарной бережности к состоянию дочери она не будет будоражить ее подобными разговорами?» Впрочем, Заур не был уверен в том, что какие-либо разговоры и страсти могут вообще взбудоражить его жену.

Пока они выгружали у дома чемоданы, подъехала машина Спартака – в ней была Фирангиз. Зауру было приятно, что она приехала. Спартак помог поднять чемоданы на девятый этаж. Зивяр-ханым открыла двери, и они все вчетвером вошли в квартиру, обставленную мебелью, подаренной Спартаком. Зивяр-ханым не отказала себе в удовольствии повелительно сказать Спартаку, как, впрочем, и Зауру, куда ставить чемоданы. Она чувствовала себя хозяйкой в доме своего сына и еще больше хотела, чтобы это чувствовали другие.

– Я пойду, – сказал Спартак. Он был каким-то тихим, присмиревшим и даже, что было удивительнее всего, печальным.

Заур проводил его до дверей и вышел на лестничную площадку. Он чувствовал, что Спартак хочет о чем-то сказать ему, и почти наверняка знал – о чем: Спартак, несомненно, тоже втянут в отношения взаимной вражды и теперь должен, может помимо своей воли, передать Зауру какие-то условия или угрозы – в общем, какие-то слова своих родителей. И Заур догадывался, как ему не хочется этого делать, если даже в его вечно ухмыляющихся нагловатых глазах застыла печаль. Стоя рядом с ним в ожидании лифта, Заур разглядел ее совершенно отчетливо. Лифт наконец поднялся, раскрылись двери, и Спартак, решившись, сказал прерывающимся голосом:

– Я хотел тебе сказать... Тахмина... умерла... – Он уже вошел в лифт и добавил: – Цирроз печени. Сгорела за двадцать дней...

**16**

Он никогда не думал, что улицы, дома могут причинять такую боль. Улицы, дома, машины.

Он свернул к скверу, и направо от сквера в том самом месте, где он ждал Тахмину в июньский день – в день их первого свидания, – стоял «Москвич» точно такого же цвета, как и старая машина Заура, и острая боль снова пронзила его. Он вспомнил все – и то, как ждал ее здесь, барабаня пальцами по рулю, и вкус сигарет, которые курил в тот день, и голос Тахмины, когда она наконец появилась в красном платье с белыми пуговицами и с сумкой, в которой был коньяк «Камю», специально для него. И точно такую же боль, как эта машина, причинил ему тротуар, на котором когда-то ночью стояла «Волга» Спартака, а он проткнул шину. И эта телефонная будка, откуда он звонил Тахмине впер­вые, глядя на ее полуосвещенные окна, и телефон не отвечал, а он мучился, но потом оказалось, что телефон отключен, она не заплатила вовремя. А вот и остановка, где они садились в восьмой троллейбус и добирались до его и ее работы: сперва выходил он и махал ей с тротуара, а она отвечала ему из окна троллейбуса, посылая воздушные поцелуи и отбрасывая его любимым жестом волосы со лба...

После того, как Спартак сообщил ему о смерти Тахмины и, переминаясь с ноги на ногу, несколько минут постоял в молчанки, потому что не было слов, кончились все слова и у Спартака и у него, Заура, и когда наконец Спартак нажал кнопку лифт а, двери закрылись и лифт стал спускаться вниз, Заур вошел в квартиру, почему-то переставил чемоданы из спальни в переднюю, а из передней в столовую, а потом ничего не сказав ни матери, ни жене, вышел и спустился по лестнице, не на лифте, купил в киоске на углу сигареты, спички в магазине и долго шел по улице до дома Тахмины. И вошел в подъезд ее дома, и стал подниматься по таким знакомым лестницам, и только тут до конца осознал, что Тахмины больше нет, и он ее никогда больше не увидит...

И почему-то не выходил у него из головы Спартак, и Заур подумал о том, что только сейчас наконец раскроется тайна, и он узнает наверняка, что никогда у нее ничего со Спартаком и не было и все просто его, Заура, фантазия. И почему-то он вдруг вспомнил, как она затащила его на дачу Спартака и сказала, что есть причина, которую он, Заур, никогда не узнает и которая привела их на эту дачу. И, возможно, эту причину он узнает именно сейчас, когда все уже непоправимо поздно, и выяснится, что его подозрения лишь нелепое недоразумение, и в результате он окажется виноватым и узнает, что она ни в чем не повинна, и будет всю жизнь мучиться своей виной, и в этом будет его горестное счастье.

Лестница на втором этаже оказалась запруженной людьми, которые, пыхтя и кряхтя, поднимали заколоченный в ящик массивный шкаф, человек в пальто с меховым воротником – видимо, хозяин шкафа – давал им указания:

– Направо поворачивайте, так не пройдет, говорю я вам, направо, берите направо! – Потом он обратился к Зауру: – Вы хотите пройти? – Потом снова к носильщикам; – Дайте дорогу, пусть человек пройдет.

Заур протиснулся между шкафом и человеком в пальто, который снова стал командовать, поднялся на третий этаж – двери Тахмины были открыты настежь, и на дверях блестела табличка: «Заслуженный рационализатор Г.Керимов». В дверном проеме стояла взлохмаченная женщина в халате, по всей видимости, жена заслуженного рационализатора, и с волнением ожидала шкаф и человека с меховым воротником, который, очевидно, и был Г.Керимовым, Заур невольно глянул в глубину квартиры, и сердце его защемило: виднелась комната Тахмины – почти пустая, без ее фотографий, без старинных стенных часов, без карликового инжирового дерева – подарка альпинистов, но с теми же самыми обоями. Заур резко повернулся к дверям напротив – собственно, сюда он и пришел – и нажал на кнопку звонка.

Послышался детский голос, сердитый окрик женщины, обращенный к ребенку, затем Медина открыла дверь.

– Заур... – сказала Медина, подбородок ее задрожал. – Заур, – повторила она и заплакала.

Откуда-то из глубины к самому горлу Заура подкатил комок и застрял. Он молча стоял перед Мединой, не в состоянии ни плакать, ни говорить. Из открытой двери комнаты Медины виднелся экран телевизора, и он также пронзил Заура острой болью, и Заур подумал, что, прожив почти месяц в соседстве с Мединой, ни разу не был у нее, как, оказывается, ни разу не видел ее мальчика, который стоял в дверях комнаты и, глядя на мать, громко заревел.

– Заходи, – сказала Медина, вытирая глаза и всхлипывая.

Заур вошел. Медина суетливо увела мальчика в ванную.

Послышалось журчание воды из крана, успокаивающие слова Медины. Заур тупо смотрел на непроницаемый экран старень­кого телевизора, на жалкий уют небольшой комнаты – жилища человека, еле сводящего концы с концами. Мальчик успокоился, и Медина, вытирая мокрые руки, вошла в комнату, села напротив Заура. Заур закурил.

– Когда ты приехал? – спросила она. Она обращалась теперь к Зауру на «ты», как будто общее горе сблизило их, сделало близкими людьми.

– Сегодня, – ответил Заур, – полчаса назад.

– Мама, когда мы пойдем? – спросил мальчик.

– Пойдем, пойдем, видишь, дядя в гости к нам пришел, – сказала Медина и добавила, обращаясь к Зауру: – С утра ноет. Обещала его в кино сводить. Да разве настроение у меня для кино?

– Когда мы пойдем? – канючил мальчик.

– Скоро, скоро, – сказала Медина, – иди поиграй в коридоре с мячиком. Иди, я сейчас приду.

Мальчик неохотно вышел, и Медина сказала:

– Вот так, Зауричек. Нет больше нашей Тахмины, – и снова заплакала.

– Мне сообщил Спартак, – сказал он, пытаясь проглотить комок, стоявший в горле, и подумал, что вот сейчас, когда он упомянул о Спартаке, Медина раскроет тайну, которую из всех живых теперь, может быть, знает она одна. И тогда все выяс­нится, и ему будет в сто раз хуже от того, что он так ошибся. При этом он хорошо знал, что Медина ничего ему не скажет и, возможно, никакой тайны не знает, ибо, наверное, ее и нет, тайны, и никакого недоразумения нет, ничего нет, и все было так, как было, только вот нет Тахмины.

– Цирроз печени, сгорела за двадцать дней, – слово в слово повторила Медина Спартака и начала рассказывать. Она рассказывала о ее болезни со всеми подробностями, ничего не скрывая, точно и жестко, и о ее физических муках, и о катетерах, и об отеках, и о том, как Тахмина не хотела умирать. До болезни она не раз говорила, что хотела бы умереть, но это были просто слова, а когда болезнь скрутила ее по-настоящему и когда она, уже в больнице, поняла, что умирает, ей так отчаянно хотелось жить... И она до конца держалась мужественно.

– Мама, когда мы пойдем в кино? – снова затянул мальчик.

– Сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас мы пойдем.

До последнего дня ее навещал Мухтар, и Манаф приходил. Какой он, оказывается, хороший человек, Манаф, все расходы по похоронам взял на себя. И поминки устроил на третий и седьмой день. Вот только сороковой день негде устроить – квартиру-то сменяли. Инженер какой-то переехал с женой, и у них куча детей.

– Мама, ну пойдем!

– Сейчас, сейчас, сыночек, вот я немножко с дядей говорю, и мы пойдем.

Заур встал, и они говорили уже стоя.

– Ты бы ее не узнал, Зауричек, так она похудела. Ей было очень больно, но она все старалась шутить. «Зато никто не увидит меня старой и некрасивой», – говорила. Лечил ее такой симпатичный врач, совсем молодой парень. За день до смерти она сказала: «Жаль, что появлюсь перед таким симпатичным парнем мертвой». Все шутила: «Голой мне еще приходилось появляться перед мужиком, а вот мертвой – в первый раз».

– Садись, Заур, – сказала Медина. – Кажется, он там нашел себе занятие. Я сейчас тебе чаю налью.

– Не хочу чаю. Расскажи еще о ней, – он тоже стал обраща­ться к ней на «ты», и она была ему теперь очень и очень близким и родным человеком.

– А что рассказывать? Был человек – и нет его. Как будто и не было. И ничего от нее не осталось. А хорошей она была, Зауричек, очень доброй. И тебя она любила. По-настоящему любила. Как она переживала, когда ты ушел!

– Я знаю, – сказал Заур, – не надо об этом.

– Я понимаю, тебе тоже больно. Но ничего, ты молодой еще, и жизнь у тебя вся впереди. Все забудется.

– Да... – сказал Заур.

Медина задумалась, потом тихо проговорила как бы сама с собой:

– И напрасно ее мучили.

– Кто?

Она помялась, но потом сказала:

– Да не знаю, кто-то из твоей родни, наверное. Ты только не обижайся. Уже после вашего с женой отъезда ей постоянно звонила какая-то женщина и говорила: «Ну что, пустобрюхая, ни с чем осталась? А у Заура скоро ребенок будет». – Она посмотрела в лицо Зауру и сказала: – Нет, не мать твоя была. Тахмина знала ее голос, это кто-то другой.

«Неужели Алия? – думал Заур. – Но ведь тогда она не знала, что у нас будет ребенок. Зачем же так злобно лгать?»

– А действительно у тебя ожидается? – уже с любопытством спросила Медина.

Заур покраснел, и на миг ему показалось, что Тахмина и была его женой, и он изменил ей с Фирангиз, завел внебрачного ребенка.

– Она и в больнице часто вспоминала тебя. До самого последнего дня.

– Что она говорила обо мне? – спросил Заур.

Медина усмехнулась.

– Она говорила, что ты предал ее им.

– Кому им?

Медина пожала плечами:

– Не знаю. Так и сказала: им.

– Мамочка, ну когда же мы пойдем?

– Сейчас, сейчас, мой хороший. – Они вышли в переднюю.

– А Спартак все же молодец, – сказала Медина. – Все лекарства доставал, любых врачей на своей машине привозил и увозил.

– Когда она умерла? – спросил Заур.

– Четырнадцатого апреля, – сказала Медина. «Где мы были в этот день?» – попытался вспомнить Заур и не вспомнил.

– Спасибо тебе, Медина, – сказал он уже в дверях.

– За что спасибо?

– Ну что, мамочка, мы пойдем или нет?

– Да, да, – сказала Медина и вдруг спохватилась: – Да, чуть не забыла, она же записку просила тебе передать.

– Записку? – сердце Заура бешено заколотилось; может, в записке есть наконец разгадка тайны и объяснение всему. Меди­на прошла в комнату и вернулась с маленьким измятым листоч­ком.

– За два дня до смерти она записала здесь секрет своих духов. Просила отдать только тебе. «Отдай Зауру, сказала, пусть его жена так душится, и он будет вспоминать меня».

Заур просмотрел записку – она была написана карандашом, вложил в карман, попрощался с Мединой и стал спускаться по лестнице. Теперь по ней поднимали пианино, и заслуженный рационализатор опять давал инструкции.

Заур еще раз оглянулся на дверь Тахмины, она была полуоткрыта, и стал спускаться по лестнице, по которой – он это знал – никогда уже больше не будет подниматься.

И не знал он...

ЭПИЛОГ

...не знал, что еще раз увидит Тахмину. Однажды вечером он вздрогнет, услышав знакомый голос, бросится к телевизору и увидит ее: будут передавать видеозапись той самой бакинской программы из Москвы, в которой она поздравила его с днем рождения. И хотя ее поздравление вырезали, и она лишь объявляла концертные номера, но жест ее – она отбрасывала волосы со лба так, как нравилось ему, и специально для него, – жест этот остался. Он был мгновенным, этот жест, но его не могли вытравить из записи, и Заур вспомнил строки из чьих-то стихов, которые часто повторяла Тахмина: «У нас было так мало времени, чтобы родиться в это мгновение».

В тот вечер – первый вечер в Баку, когда он узнал о смерти Тахмины, Заур пообещал себе, что, если у него родится дочь, он назовет ее Тахминой. Он знал, что будут пересуды и недо­вольство в семье, и, по мере того как проходили дни и недели, он все больше пугался своего намерения и не знал, как выйти из положения, чтобы в своих же глазах не выглядеть трусом, но, к счастью, родился мальчик, а так как за два месяца до его рождения умер отец Фирангиз, мальчику дали имя Муртуз. Муртуз-старший умер от инфаркта, ибо в последнее время тяжело переживал арест Спартака, который был замешан в каких-то валютных делах. Спартаку дали пять лет, и вся семья Муртузовых, включая Алию, как-то сразу сникла, к немалому, впрочем, удовольствию Зивяр-ханым.

Заур редко виделся с родителями и еще реже бывал у Муртузовых, хотя Алия и помогала дочери ухаживать за малышом. Почти год провел Заур в геологической экспедиции, но потом все же вернулся в Баку и по протекции отца попал в аппарат министерства. Заур уже твердо знал, что никогда не напишет научную работу, и потому охотно согласился на должность референта министра. Это ввело его в новый круг людей и отношений, и ему казалось теперь странным, что когда- то подобная должность представлялась ему унизительной и он иронизировал над одним из своих бывших сокурсников, который занимался аналогичной работой в другом министерстве и который часто говорил: «Завтра я выезжаю в Москву с шефом». Это, неизвестно отчего, всегда ассоциировалось у Заура с ношением чемоданов. Он предполагал, что его однокурсник но­сит не только чемоданы шефа, но и бохчу – банные принад­лежности – его жены. Почему ему так представлялось, неизвест­но: ведь, разумеется, и шеф и его жена, имея облицованную чешским кафелем ванную, наверняка ни в какие бани не ходили. Может быть, эта ассоциация возникла оттого, что Заур однажды видел своего сокурсника на базаре – он делал покупки для семьи шефа по случаю именин его дочери. Заур же, конечно, никаких чемоданов не носил и никаких покупок не делал, хотя ему и случалось сопровождать своего шефа в Москву, и шеф – уже пожилой человек – в очень тактичной и вежливой форме просил его иногда достать заварку у дежурной по этажу в гостинице или же купить кое-какие подарки для домашних, пока он сам заседает в Госплане, и давал какие-то другие мелкие поручения личного характера.

И жена шефа, очень интеллигентная и тактичная особа, весьма уважительно относящаяся к Зауру, раза два просила ею послать или привести мастеров для ремонта колонки в ванной, кстати, тоже облицованной черным чешским кафелем. Заур впервые увидел эту ванную, когда в первый раз привел мастеров: жена шефа долго извинялась перед Зауром за беспокойство, но он должен понять ее – ведь муж так занят, ему не до домашних дел. Заур все понимал, хотя у него самого дел было предостаточно. Готовил различные справки, документы для министра, составлял списки записавшихся на прием, объяснялся с теми посетителями, которых министр по тем или иным причинам не мог или не хотел принять, – разбирал почту и готовил письма за подписью министра. Иногда они с шефом выезжали в районы республики, и министр в этих редких случаях позволял себе выпить лишнюю рюмку, и тогда сразу исчезала обычная сдержанность и холодная учтивость, и он уже обращался к Зауру на «ты» и говорил, что ценит его исполнительность и оперативность, и пусть только Заур не торопится, он еще молод, пусть еще поработает несколько лет, а потом он, министр, выведет его, как птенца из гнезда, и он уверен, что если Заур сохранит все эти свои качества, а главное, скромность, деловитость и честность, то он непременно сделает карьеру. Министр говорил, что он уже рекомендовал Заура в высоких инстанциях.

Но в один злосчастный день прямо на заседании коллегии министра хватил паралич, и он лишился дара речи. Месяцев шесть пролежал он в больнице Четвертого управления. Постепенно речь к нему вернулась, но он уже не мог работать, и его с почетом проводили на пенсию. Новый министр – относительно молодой человек – стал постепенно менять ближайших сотрудников своего предшественника, и однажды Зауру тоже было предложено положить заявление на стол. К этому времени умер отец Заура, и ему не без труда и не без помощи Дадаша удалось устроиться в издательство – вернуться на старое место. У Заура родился еще один ребенок, так как Алия-ханым очень хотела внучку, но и на этот раз родился мальчик, а еще через два года – еще один. И так как Зивяр-ханым тоже хотела внучку, и это было единственное, в чем желания обеих бабушек совпадали, на этот раз наконец-то родилась дочь. Но, не дождавшись внучки, умерла Зивяр-ханым, а еще через тридцать лет из старшего поколения их круга не осталось в живых Дадаша, дяди Сафтара. Таиры, Джаббара, а также Мухтара, у которого в год смерти Тахмины были какие-то неурядицы на службе и который переселился в Москву, добился там успеха, но потом почему-то снова вернулся в Баку и погиб здесь в автомобильной катастрофе.

К концу Двадцатого века все еще живые представители их круга – Неймат, Сурея, Заур, Фирангиз, Спартак, который после тюрьмы (он просидел в ней четыре года вместо пяти и вышел по амнистии) стал совершенно другим человеком, – собрались, чтобы отметить какое-то событие, кажется, день рождения Муртуза – сына Заура.

(Если к тому времени родители еще будут отмечать дни рождения своих детей и все еще будут отмечаться дни рождения, чего не знает и автор, так же как не знает он про то, будут ли к этому времени читать книги, любить и умирать, или люди изобретут бессмертие и не будут знать, что с ним делать.)

Так вот, в тот день все они после сытного обеда играли в нарды (сытные обеды и нарды конечно же будут и тогда), и за нардами кто-то и почему-то вспомнил вдруг Тахмину. Вспомнил, кажется, Неймат, и сказал, что видел во сне – кого бы вы думали? – Тахмину, причем она была такой же молодой, какой все мы помним ее по тем годам. И Спартак сказал, что удивительное дело, он на днях встретил на улице молодую женщину, точь-в-точь Тахмина, и, если бы он, Спартак, не знал наверняка, что у Тахмины не было детей, он абсолютно был бы убежден, что это ее дочь. Ну не может один человек быть похожим на другого до такой степени, и самое удивительное то, что эта молодая женщина была одета не по последней моде, а точно так, как одевались во времена Тахмины, чуть ли не в одно из ее платьев, хотя Спартак, конечно, теперь не мог вспомнить ее платья. И Неймат сказал, что, наверное, люди, умирая, не умирают окончательно, а окончательно они умирают лишь тогда, когда умирает последний из знавших их живыми людей и помнящий их голоса, лицо, облик. И мы, наверное, уже последние люди, помнящие Тахмину…

Эти слова поразили Заура, но вскоре он забыл о них, проиграв подряд две партии Спартаку. И Заур не знал…

\* \* \*

…не знал, что пройдет еще несколько лет и однажды, в дождливый осенний вечер, уже совсем пожилой и сгорбившийся человек выйдет из автобуса. Под мышкой у него будет изрядно потрепанный старый портфель, набитый бумагами, дневными служебными заботами, остатками завтрака, в руках сетка с хлебом, колбасой, сметаной и сыром. Может быть, он остано­вится у киоска и купит вечерние газеты. Может, вспомнит, что у него кончились сигареты и спички, и протянет продавцу деньги (если, конечно, в то время еще будут деньги), и, не пересчитав, положит сдачу в карман. Потом он понуро и медленно двинется к своему дому. Он будет думать о вечерней программе теле­визора или голлографа (как он там тогда будет называться, кто знает), о завтрашних делах, о том, что надо купить в дом и семье, что обновить, а что почистить, о том, что надо починить умывальник и отложить деньги (если, конечно, в то время еще будут деньги) на лето, и что с новым начальством у него никак не налаживаются отношения, о том, что погода отвратительная, и о том, что в общем-то жизнь прожита не так.

И вдруг он вздрогнет; ему покажется, что на той стороне улицы за угол свернула молодая женщина. Еле уловимый и такой знакомый силуэт скользнет по его душе, как давно забытый запах, и в нем пробудится самое неистребимое из того, чем богата жизнь: надежда. И надежда возвратит ему на мгновение все сладкие горести его давно ушедшей молодости, и ему вспомнится женщина, которую он когда-то любил. Ему захочется догнать мелькнувший силуэт, но он сразу же отгонит эту мысль и неторопливо пойдет своей дорогой, своей обычной дорогой. На углу он остановится, чтобы отдышаться и перевести дыхание и запретить себе думать о чем-либо, кроме сегодняшних вечерних теле- или голлопередач, погоды и своей подагры. И мимо него, обрызгав его водой из дождевой лужи, промчится на мото пара – девушка, крепко обнявшая мотоциклиста. И свет светофора, навсегда красный для него, переключится для них на зеленый.

**\* \* \***

И пройдет еще сколько-то дней, а может быть, и лет, и он снова увидит ту женщину, и на этот раз невозможны будут никакие сомнения, потому что они встретятся лицом к лицу – он, Заур, и она, Тахмина. И Тахмина улыбнется ему. Она будет в том самом красном платье с белыми пуговицами, как и много лет назад, и окажется, что время совершенно не тронуло ее. Она улыбнется ему, и когда он заплетающимся языком и дрожащими губами произнесет ее имя, она повернется и, смешавшись с людьми, исчезнет в вестибюле метро. Он бросится вслед за ней и будет беспомощно озираться, но все же увидит ее в самом конце эскалатора. Он побежит по ступеням и сойдет у перрона, и она снова улыбнется ему из-за закрытых стеклянных дверей отходящего поезда. Он поедет следующим поездом, смутно надеясь догнать ее, сойдет на следующей остановке, обшарит весь перрон, поднимется на площадь станции, будет долго оглядываться по сторонам и опять увидит ее входящей в двери гостиницы. Он бросится туда и еще раз заметит ее в гот момент, когда двери лифта за ней закроются и на световом табло начнут загораться цифры. Он проследит за этими цифрами. Лифт безостановочно дойдет до шестого этажа и остановится, а потом по его вызову, с открытой дверью, медленно и торжественно, как гроб, спустится к нему на первый этаж.

Заур войдет в лифт и протянет палец к кнопке шестого этажа, и тут выяснится, что шестого этажа нет, потому что дом пятиэтажный и на световом табло нет цифры «шесть», он ему просто померещился, хотя Заур и мог поклясться, что отчетливо видел именно эту цифру. Он поднимется на пятый – последний этаж, и в ответ на расспросы дежурная скажет, что никто здесь из лифта не выходил. Заур обыщет весь этаж, а потом по пожарной лестнице поднимется на крышу. А на крыше будет прекрасный месяц май, небо, полное звезд, простор и ветер с моря, влюбленные кошки, но больше там никого и ничего не будет.

И это будет самым невероятным случаем в его, в общем-то, вполне нормальной и трезвой жизни: работа, семья, дети, друзья, знакомые и незнакомые люди, которые рождаются и умирают, и кладбище, где скромная могила с надписью «Тахмина Алиева 1941-1966)», которую после смерти Манафа, Медины и Мухтара никто уже больше не посещает.

И он никому не рискнет об этом рассказать, и уже начнет забывать, когда...

\* \* \*

...когда встретит Мамеда Насира.

Они сойдутся в семь утра в закусочной железнодорожного вокзала, будут пить сладкое вино, закусывая вчерашним хлебом и голландским сыром, и Мамед Насир выслушает его терпеливо и молча, потом переспросит:

– На какой этаж, ты говоришь, она поехала?

– На шестой, – ответит Заур, – я точно помню. Своими глаза­ми видел. Но ведь дом-то пятиэтажный!

Мамеду Насиру будет почти сто лет, но он, пережив своих ровесников, будет держаться молодцом и почти каждое утро пропускать стаканчик-другой портвейна «Три семерки». Правда, пить он теперь будет гораздо меньше, чем прежде, но все же пить регулярно. За минувшие годы разница в возрасте Мамеда Насира и Заура почти потеряет значение, и теперь два старика за стаканом вина будут вспоминать далекие дни совместной работы в издательстве.

– Дом-то пятиэтажный, – повторит Заур. Мамед Насир долго и задумчиво посмотрит куда-то вдаль, как бы сквозь стены, потом скажет:

– Вот если бы люди поняли, что в пятиэтажном доме может быть и шестой этаж, наверное, они на многое посмотрели бы по-другому...

1974 г., Баку-Геокчай

Авторизованный перевод Владимира Портнова

# *ЮБИЛЕЙ ДАНТЕ*

# Повесть

*Юсифу Самед-оглу*

Вот ночь... Вот старик... Вот огонь... – Вот ночь, вот старик, вот огонь.

– Вот ночь, вот старик, вот огонь!

– Нет, нет, нет!

В зрительном зале темно и пусто. В центре двое – режиссер и художник; художник сидит позади, вытянув шею, смотрит через плечо режиссера на сцену.

Перед режиссером, в проходе, маленький стол, неярко осве­щенный лампой с железным колпаком. На столе в беспорядке – листы бумаги, карандаши; тут же пепельница, черный внутрен­ний телефон без диска, бутылка «Бадамлы», стакан.

Идет репетиция.

Режиссер вскочил с места и бросился к сцене, освещенной левым прожектором, на которой стояли два актера без грима, в обычных костюмах; в два прыжка преодолев ступеньки, поднялся на сцену, подошел к стоящему впереди пожилому смуглолицему мужчине.

– Фейзулла, милый, дорогой. – Он старался говорить спокойно, сдержанно. – Себя не жалко – пожалей нас. Я здесь с девяти утра, во рту еще не было ни крошки. Имей совесть, мы ведь тоже люди... у тебя три слова во всей пьесе, и ты их не можешь произнести правильно. Удивительно, что здесь труд­ного? Вот ночь. Вот старик. Бот огонь. Все!

Фейзулла достал грязный платок, начал суетливо вытирать потное лицо, шею.

– Сейчас, сейчас... – приговаривал он. – Сию минуту... Погоди... Сейчас скажу... Не волнуйся...

Режиссер постучал мундштуком папиросы по коробке «Казбека», дунул в мундштук, вложил папиросу в рог. Однако не закурил.

– Ну говори.

– Сейчас, сейчас...

Режиссер, чиркнув спичкой, прикурил и, не оборачиваясь, сказал стоящему позади актеру:

– Аликрам, реплику!

Тот спросил, обращаясь к Фейзулле:

– Так где же?

Фейзулла сделал неопределенный жест.

– Вот ночь, вот старик, вот огонь.

– Тьфу, черт! – взорвался режиссер.

Спрыгнул со сцены, вернулся на свое место. Ткнул папи­росу в пепельницу, загасил ее. Вынул из нагрудного кармана склянку с таблетками, одну положил в рот, налил воды в стакан, запил. Опустился в кресло.

На лице Фейзуллы было отчаяние.

– Пожалуйста, не нервничай, – попросил он. – Подожди, сейчас скажу. Не знаю, что со мной сегодня, никак не могу сосредоточиться...

Режиссер обернулся к художнику, сказал вполголоса:

– Можно подумать, в другие дни он сдвигает горы.

Фейзулла спросил:

– Можно?

Режиссер ничего не сказал, лишь кивнул головой.

Фейзулла прокричал:

– Вот ночь! Вот старик! Вот огонь!

Умолк, устремив взгляд на режиссера. Лицо того ничего не выразило. Он бессмысленно смотрел в сторону сцены, в одну точку, словно окаменел. Фейзулла протянул, изменив интона­цию.

– Вот ночь... вот старик... вот огонь...

Режиссер продолжал сидеть в оцепенении. Фейзулла снова повторил:

– Вот ночь, вот старик, вот огонь...

Режиссер вскочил как ужаленный:

– Эй, послушай!.. Как тебя?! Товарищ, гражданин, мусуль­манин, армянин, огнепоклонник!.. Ты человек или нет?!.. Эх!..

Он вдруг зажал рот ладонью и застонал.

Все актеры хорошо знали этот жест; зажимая рот, режиссер сдерживал ругательства.

Художник положил руку на плечо режиссера:

– Сиявуш, Сиявуш... Возьми себя в руки.

Тот схватил со столика бутылку «Бадамлы» и начал пить прямо из горлышка. Затем обернулся к художнику:

– Ну, ты видишь, ты видишь, как мне приходится?!

– А ты говоришь: Брехт, Мейерхольд!.. Какой может быть Брехт вот с такими? Какой Мейерхольд вот с такими? Бьюсь с утра – не могу заставить его сказать по-человечески три слова! И я еще, глупец, мечтаю создать большое искусство с такими, как этот Фейзулла Кябирлинский! – Заметно дрожащими пальцами достал из коробки папиросу, закурил, жадно затянулся, повернул голову к Фейзулле. – Дорогой мой, запомни, из тебя выйдет хороший сапожник, чайханщик, повар... не знаю, кто еще... скажем, банщик или мюрдашир в мечети, который омывает покойников, но только не актер. Только не актер, дорогой мой! Театр – это искусство! Вы слышите, эй, люди?! Откройте свои уши! Искусство! Творчество! Здесь нужен талант. Нужен темперамент! Температура! Жар! С температурой тридцать шесть и шесть искусства не создать. Ты должен кипеть, гореть, созидать, творить. А, надрывая голос, ты ничего не сделаешь, дорогой мой. Криком образа не создашь. Если у тебя зычный голос, браво, ступай в мечеть, будь муэдзином!

Фейзулла стоял на сцене в безмолвии. Сконфуженный, красный как рак. Лицо его исходило потом. Сорок лет он работал на сцене. За сорок лет немало слышал подобных попреков, бранных выражений от разных режиссеров и актеров, но еще никто никогда, как этот Сиявуш, не говорил ему таких слов – муэдзин, мюрдашир, мечеть...

В театре все, в том числе Сиявуш и Аликрам, знали, что Фейзулла – из семьи священнослужителя. Отец его был муфтием. Этого, возможно, не знал один лишь молодой художник: он совсем недавно пришел в театр.

Художник зашептал:

– Уймись, Сиявуш. Что ты хочешь от этого бедняги? Иначе он не может.

– А что мне, дураку, делать?! – вскипел Сиявуш. – С какой стати я должен гробить свои молодые годы среди этих людей?! В чем я провинился! Человек двух слов не может связать, а тоже – вылез на сцену!

– Постыдись, Сиявуш, он тебе в отцы годится, – перебил художник.

– В отцы... – поморщился режиссер. – Мой отец давно отправился па тот свет с приветом к ангелам. А вот такой – словно каменная глыба. Будь спокоен, похоронит и тебя и меня. Проживет сто лет. Почему ему не жить?.. Какие у него заботы? Какое у него горе?.. Орешь на него, а он, как овца, только клонит голову к земле и молчит. Да еще, наверное, посмеивается надо мной в душе: вот, мол, дурак, надрывается, нервы себе портит. Взгляни на него, даже бровью не поведет. В самом деле, о каком искусстве, о каком театре может быть речь?! Сорок лет он произносит на сцене всего три слова, получает свою зарплату, выходит из театра и идет есть свой бозбаш. И еще сорок лет будет жить точно так же. А мы, дураки, лезем вон из кожи: искусство, новаторство, прогресс!.. Кому все это нужно, а, Зейнал?.. Нет, нет, мир принадлежит таким, как Фейзулла!

Отведя так душу, режиссер немного успокоился. Снова закурил, сделал несколько жадных затяжек, взглянул на сцену.

Фейзулла стоял в застывшей позе – олицетворение смирен­ности. Он так жалобно, так покорно смотрел на режиссера, что тот не выдержал, рассмеялся, вначале лишь дрогнули губы, затем он широко улыбнулся и, наконец совсем избавившись от внутреннего напряжения, захохотал:

– Прошу тебя, Кябирлинскнй, скажи нам еще раз свою реплику, так, ради хохмы.

Актерам театра был известен блажной нрав Сиявуша.

Фейзулла в ответ на его смех натужно улыбнулся, даже хохотнул, однако что делать дальше, он не знал. Как расценить предложение режиссера – всерьез или в шутку? Продолжает Сиявуш репетицию или просто балагурит? Кябирлинский не знал, как ему произнести реплику: так ли, как он произнес ее в начале репетиции, но тогда режиссеру не понравилось, он потре­бовал сказать по-другому, или так, как режиссер просил еще раньше; или так, как он велел после?.. Или же произнести репли­ку совсем в иной манере?.. Или, может быть, сказать шутливо?..

«Нет уж, пусть сам шутит... Еще пошучу на свою голову... Кто знает, как ему угодить?..»

Мобилизовав все свои духовные силы и опыт, он произнес торжественно:

– Ног ночь!.. Вот старик!.. Вот огонь!..

И вздрогнул от гомерического хохота режиссера:

– Браво, Кябирлинский! Молодец! У мужчины слово едино. В итоге три часа репетиции – коту под хвост!

Сиявуш оборвал свой смех, стал серьезным, и тут все вдруг увидели, какой он усталый.

Можно подумать, недавние страстные тирады, пламенные слова, призывы, едкие замечания, несколько неестественная самоуверенность – все это держало его в напряжении, наполняло его, как тело человека наполняет собой одежда, – но вот одежда снята, отброшена в сторону и лежит скомканная, бесформенная, жалкая. Он вяло сказал:

– Хорошо, идите, репетиция окончена.

Из театра Фейзулла и Аликрам вышли вместе.

– Как сегодня разорался наш красавец, а? – усмехнулся Аликрам. – Будто мы не видели до него режиссеров, а? Будто мы не спровадили из нашего театра столько таких, как этот Сиявуш, сколько у нас волос на голове, а?..

– Можно подумать, Аликрам, ты облысел не в молодости, – пошутил Фейзулла.

Однако ни он сам, ни Аликрам не посмеялись этой шутке. Некоторое время они шагали молча. Затем Аликрам спросил:

– Ты не идешь на базар?

Фейзулла мотнул головой:

– Нет.

– Что так?..

– Дело у меня.

– Какое дело?

«Аллах всемогущий! Вот дернул меня черт за язык!..» – подумал Фейзулла.

Ему не хотелось говорить Аликраму, что сегодня у него дубляж на киностудии. Знал: Аликрам, услышав об этом, будет завидовать. Однако солгать, сочинить какую-нибудь легенду он не мог. Ему вообще всегда было трудно лгать, изворачиваться. Подводила фантазия. Старые актеры знали эту особенность Фейзуллы и мгновенно выводили его на чистую воду, разоблача­ли как ребенка.

– Ну, так что у тебя за дело? – допытывался Аликрам.

– Да так, – отмахнулся Фейзулла. Однако Аликрам пристал как смола:

– Нет, ты скажи мне, какое дело?

– Еду на киностудию, дубляж у меня, – признался Фейзулла.

Аликрам покачал головой:

– Послушай, куда ты деваешь столько денег? Где хранишь? Наверно, ни один сундук не вместит.

– Брось шутить, Аликрам. Хорошо, пока. Вот мой автобус.

Автобус остановился так, что задняя дверца оказалась как раз перед ними. Но не открылась. Ибо из передней двери еще сыпались люди, которым водитель автобуса при выходе продавал билеты.

Автобус работал без кондуктора.

Когда пассажиры вышли, распахнулась задняя дверь, и Фейзулла кое-как протиснулся в переполненный автобус.

– Лучше я буду сидеть голодным, но на дубляж не пойду! – сказал ему вслед Аликрам, – Для настоящего актера дубляж – халтура.

Однако Фейзулла не услышал его слов.

Скорее всего Аликрам говорил это для себя. Его давно уже не приглашали на дубляж.

В автобусе не было свободных мест. Ноги Фейзуллы ныли. С утра, на репетиции, он ни разу не присел. К тому же у него от рождения было плоскостопие.

Здесь царил характерный для городского транспорта запах: искусственной кожи, нагретого мотора, человеческого пота и еще чего-то неуловимого.

Запах в автобусе заставил Фейзуллу вспомнить военные го­ды. Его не взяли на фронт по причине вышеупомянутого плоско­стопия. Многие работники театра, в том числе и он, были сокра­щены.

Наконец Фейзулла понял, почему этот запах пробудил в нем память о тех далеких днях. Во время войны он ровно три года проработал кондуктором трамвая. После окончания войны снова вернулся в театр.

По мере того как автобус приближался к киностудии, пасса­жиров становилось все меньше, Фейзулла сел. Одну остановку проехал блаженствуя.

В киностудии, войдя в лифт, Фейзулла нажал кнопку с цифрой «4». Покатил наверх. Когда миновал третий этаж, его заметил с лестницы режиссер сегодняшнего дубляжа Ага Мехти.

– Эй, Кябирлинский, Кябирлинский! – замахал он рукой.

Кябирлинский, выйдя из лифта на четвергом этаже, спустился по лестнице вниз до третьего.

Рядом с Ага Мехти стояла молодая симпатичная русская женщина, которую Фейзулла видел впервые. Он уловил запах тонких духов. Подумал: «Наверное, та самая артистка, которая приехала из Москвы...»

– Напрасно трудился, Кябирлинский, – начал Ага Мехти. – Мы перенесли дубляж на завтра. Джавад не может сегодня прийти, занят. – Обернувшись к своей миловидной спутнице, закончил по-русски: – Вот один из тех самых экземпляров, о которых мы только что говорили.

Актриса улыбнулась. У нее была прелестная улыбка, шлифованная, усовершенствованная за время долгих репетиций.

– Очень приятно, – сказала она низким голосом, протягивая Кябирлинскому руку: – Лена.

Фейзулла растерялся. Пожав кончики ее пальцев, резко отдернул руку, сунул ее в карман, достал платок, утер лицо.

Ага Мехти усмехнулся:

– Не платок – музейная редкость. Надумаешь продавать его, дай нам знать.

Ага Мехти был в отличном расположении духа. Кажется, актриса поняла, о чем идет речь, скосила глазки на платок Фейзуллы, хмыкнула.

Ага Мехти подмигнул ей:

– Платок Дездемоны.

Они засмеялись.

Кябирлинский еще больше сконфузился, поспешно спрятал платок в карман, пробормотал:

– Значит, дубляж перенесен на завтра?

– Да, – подтвердил Ага Мехти, – на два часа. Сможешь?

– В два?

Фейзулла достал записную книжку, заглянул в нее.

В последние годы он не полагался на память. У него была маленькая потрепанная черная записная книжка, куда он ста­рыми арабскими буквами записывал, что ему предстоит сделать и в какое время.

Ага Мехти, взяв актрису под руку, повел ее вниз по лест­нице. Обернулся, сказал Кябирлинскому:

– Если не сможешь прийти – ничего. Я найду кого-нибудь и запишу твой текст. Не утруждай себя.

Кябирлинский, закрыв записную книжку, крикнул вслед режиссеру:

– Нет, нет, смогу! Я свободен!

– Ну и чудесно, – бросил через плечо Ага Мехти. – Сможешь – так приходи.

Он шепнул что-то актрисе и захохотал. Та тоже засмеялась.

Фейзулла отчетливо услышал ее слова:

– А вы ищите типаж. Вот вам, пожалуйста, отличный типаж. Прекрасная тупая морда.

– Да, но, кроме морды, нужен еще хотя бы минимальный талант, – ответил Ага Мехти.

Кябирлинский медленно спускался по лестнице, проклиная в душе телефоны киностудии. Сюда можно звонить, «сев на телефон», в течение трех дней подряд – все равно не дозвонишь­ся. Будь иначе, он позвонил бы после репетиции из города, и тогда ему не пришлось бы ехать напрасно в такую даль.

«Не везет мне сегодня, – подумал он. – Поеду на радио, посмотрим, что будет там...»

Ему надлежало быть в радиостудии в три.

Фейзулла посмотрел на часы: половина второго. Значит, домой он уже не успеет. Да и лучше, если домой он поедет после радио. Кажется, жена собиралась приготовить на обед бозбаш.

Бозбаш – пища богов! Есть ли что на свете вкуснее бозбаша?!

Нет, бозбаш не годится есть в спешке, на ходу. Ты должен фундаментально устроиться за столом. Сначала не спеша крошишь в тарелку чурек, выливаешь туда бульон; затем выкладываешь на тарелку гущу, ложкой хорошенько разминаешь картофель и мясо, посыпаешь сверху толченым барбарисом и начинаешь есть вприкуску с репчатым луком... Пах-пах-пах, пальчики оближешь!..

От таких мечтаний у Фейзуллы засосало под ложечкой. Он завернул в буфет киностудии, купил бутерброд с колбасой и заморил червячка.

Сойдя с «дизеля» на остановке «Парковая», он поднялся вверх по улице и вошел в здание Комитета по радиовещанию и телевидению. Преодолев половину лестницы, остановился перевести дух, утер потное лицо.

Уже много лет, каждую неделю, в этот день, в этот час, Фейзулла приходил в радиостудию на запись. Он был неизмен­ным исполнителем роли лиса в воскресных передачах для детей.

Войдя в редакцию, поздоровался:

– Салам, милые девушки! Салам, джигиты! – Это было его традиционное приветствие. Стоящий у окна Меджид, низко­рослый, толстый рыжий парень, ответил:

– Привет, братец Лис. А где же кот Васька?

– Придет, придет, – сказал Фейзулла. – Не волнуйся. Ведь у Джавада машина, успеет, где бы он ни был сейчас...

Молодой актер Джавад Джаббаров, исполнитель роли кота, был звездой, недавно засверкавшей на театральном небосклоне. На сцене он играл Гамлета, Эльхана, Отелло, но на радио не гнушался незначительной роли кота, столь любимого малень­кими радиослушателями. Каждую педелю аккуратно приходил на запись, нисколько не обижался, когда работники радио назы­вали его котом Васькой, напротив, это ему даже нравилось.

Редактор передачи Сафура при виде Фейзуллы несколько смутилась.

Меджид ухмыльнулся:

– Братец Лис, Сафура ханым хочет сказать тебе что-то, но стесняется.

– Чего стесняться? Разве я чужой?

Сафура встала из-за стола.

– Не слушайте его, Фейзулла-даи. Я сама все скажу. Дело в том, что... – Она запнулась. – Не знаю, как объяснить вам...

Сердце Фейзуллы екнуло: «Нет, сегодня мне определенно не везет. Что за напасть?!.. Не везет – и все. Интересно, кому там еще не понравился мой голос?»

– В чем дело, дочь моя? Говори, не стесняйся.

– Понимаете, Фейзулла-даи, текст этой передачи писал случайный автор, который не в курсе наших дел. Он написал роль лиса для женщины, и невозможно ничего изменить, так как на этом строится весь сюжет.

У Фейзуллы похолодело под ложечкой.

– Как же так?.. Значит, лисом теперь будет женщина? – спросил он растерянно.

– Нет-нет-нет, – поспешила успокоить его Сафура. – Никогда этого не будет. Разве мы допустим?.. Только сегодня, единствен­ный раз... Со следующей передачи вы опять будете в своей роли.

Меджид фыркнул:

– На сей раз лисичка оказалась женщиной, через неделю ее опять превратят в мужчину.

Сафура метнула на Меджида порицающий взгляд, покачала головой.

Фейзулла вздохнул:

– Да, ничего не поделаешь... – Опустился на стул. – Дайте присесть, отдышаться. Этот подъем к вам может доконать чело­века.

Опять губы Меджида растянулись в ухмылке.

– Братец Лис, дорогой, хвост всегда держи трубой! – пропел он.

Сафура вернулась к своему столу. С ее плеч будто упал тяжелый груз.

Фейзулла сидел на стуле и громко дышал. Лоб и верхняя губа его были покрыты капельками пота. Он достал платок, утер лицо.

Из коридора донесся раскатистый баритон:

– Салам, мой дорогой, салам! Как дела, красавица? Рад ви­деть тебя, симпатяга-парень! Как ты там?.. Желаю здоровья на тысячу лет!

Глаза Сафуры заблестели.

– Пришел, пришел! – воскликнула она радостно.

Дверь распахнулась, в комнату вошел высокий, статный молодой человек.

Его волосы, сросшиеся на переносице брови и тонкие усики были цвета воронова крыла, а глаза – светло-серые. Этот контраст придавал его симпатичному лицу странное выражение: он казался одновременно и надменным и благодушным, и многоопытным и наивным. Одет был франтовато: замшевая куртка кирпичного цвета, белоснежная рубашка, модный галстук с серебряной искрой. Блестящие волосы были, как всегда, зачесаны назад. На пальце – золотой перстень с крупным камнем.

– Пламенные приветы всей компании! – бросил Джавад. – Особый – Сафуре-ханым. Привет, Кябирлинский! Меджид, салют!

Меджид осклабился:

– Привет, кот Васька.

Сафура заулыбалась.

– Наконец-то!.. А мы его ждем, а мы его ждем... Терпение у всех лопнуло.

Джавад обернулся в ее сторону:

– Клянусь твоей жизнью, Сафура, я так гнал машину!.. На спидометре была сотня. Сидел в одной приятной компании, да не быть ей приятнее вашей, все бросил и поднялся. Меня начали умолять: «Не уходи» – и так далее. Я ответил: «Нет, сейчас с вами сидел Джавад Джаббаров, но каждую неделю, в этот день, в этот час, он превращается в кота Ваську. Пусть сюда придет сам министр культуры, и тот не удержит меня. Можете запереть дверь – я выпрыгну в окно. Все равно убегу. Говорю вам, я должен мчаться на радио».

Все засмеялись.

– Кот Васька, – сказал Меджид, – тебя давно не было, и в нашей комнате завелась мышка.

Джавад изобразил неподдельное удивление:

– Вот как? Почему же ты, рыжий филин, не поймал ее и не слопал?

Все опять засмеялись.

Джавад оборвал общее веселье:

– Хорошо, Сафурочка, в моем распоряжении только полчаса. Клянусь своим сыном, у меня сегодня был дубляж на киностудии. Исключительно ради тебя я перенес его на завтра.

Кябирлинский подтвердил:

– Он правду говорит, Сафура-ханым. Клянусь Аллахом, я – свидетель.

Джавад приветливо покосился на Кябирлинского.

– Вот видишь, Сафурочка? Как говорится, лгун всегда при свидетелях. Хорошо, друзья, давайте быстренько записываться. Мне еще мчаться в школу, я приглашен на встречу.

– Сейчас будем вас записывать, – сказала Сафура. – Через десять минут студия ваша. А пока на вот тебе текст, познакомься.

Джавад взял текст, пробежал глазами первую страницу, перевернул, затем вторую, третью.

Сафура тихо сказала ему:

– Послушай, Джавад, тут болтают всякое... Он поднял на нее глаза.

– Болтают?.. Что?

– Тебе лучше знать. Говорят, будто ты с Зарифой...

– О Аллах всевидящий! – вздохнул Джавад, откладывая листочки в сторону. – Это черт знает что такое!.. Человек из дома своего не вылазит, а о нем распускают всякие сплетни. Клянусь тебе, все – враки. Что я, дурак – бросить жену с ребенком?.. Клянусь твоей жизнью, Сафура, – он еще больше понизил голос, – вчера вечером сижу дома, смотрю телевизор – раздается звонок. Жена подходит к телефону, и вдруг я вижу, у нее начинают трястись губы. Спрашиваю: «Милая, что с тобой?» Говорит: «Возьми трубку, послушай сам». Беру трубку, слышу женский голос. Короче говоря, какая-то особа звонит и дразнит жену: мол, имей в виду, твой муженек сейчас со мной, мы мило проводим время, кейфуем, развлекаемся, а тебя он, дурочку, оставил дома. Я сказал жене: «Ну, видишь?.. Теперь убедилась сама, как люди могут врать?.. Видишь, какую напраслину возводят на невинного человека?.. Я здесь, дома, а она что врет?.. Имей в виду, – говорю, – точно так же рождаются и другие сплетни». Но разве женщину переубедишь в чем-либо? Жена заладила одно: «Если ничего нет, люди зря не скажут». Говорит; «Нет дыма без огня. Если бы ты, – говорит, – был у меня косой, рябой, хромой, тогда бы моя душа была спокойна. Зачем, – говорит, – мне такой Жан Марэ, если моя жизнь похожа на ад?..» Так-то, дорогая Сафура...

Джавад опять взял в руки листочки. – Хорошо, пошли запи­сываться, познакомился с текстом, каждый раз одно и то же.

Сафура поднялась.

– Можно двигаться.

Когда они шли по коридору, Джавад спросил:

– А где Кябирлинский?

Сафура объяснила ему, что и как. Он остановился:

– Нет, нехорошо получается, Сафурочка. Он и без того обижен богом, а вы еще так поступаете... Пожилой человек проделал такую дорогу, явился сюда...

– Но что я могу поделать, Джавад? Он сегодня без роли.

Они прошли еще несколько шагов. Джавад снова остановился. Обернулся, позвал:

– Кябирлинский! Кябирлинский!

Фейзулла выглянул в коридор.

– Да, в чем дело?

– Пошли с нами, – распорядился Джавад.

Кябирлинский заспешил в их сторону.

Сафура сказала, обеспокоенная:

– Я же объяснила тебе, Джавад, у него нет роли.

Джавад, приложив листы с текстом к стене и придерживая их левой рукой, правой достал из кармана авторучку.

– Иди сюда, Кябирлинский, смотри! Сейчас я сделаю для тебя один фокус. Будешь не лисом, будешь шакалом, какая раз­ница? Лишь бы шли одиннадцать рублей, а, хитрец? Какая у тебя ставка?

– Семь рублей.

– Семь? Ничего. Семь рублей – тоже деньги. Как ты смотри­шь на шакала?

– На какого шакала?

– Слушай, ты всегда был лисом, один день побудешь шака­лом! – Джавад расхохотался – Ну, по рукам, плутишка?

Кябирлинский тоже улыбнулся, пробормотал:

– Да, но ведь...

– Ничего, ничего, не тушуйся, – говорил Джавад, делая какие-то исправления в тексте. – Смотри, пусть в этом месте лиса говорит: «О шакал, оказывается, и ты здесь?!» Так... а шакал отвечает ей: «Да, да, лисичка-сестричка, я тоже здесь, да, да...»

Джавад издал странный звук, подражая завыванию шакала.

Сафура смотрела на него с укоризной:

– Джавад, а вдруг автор скажет что-нибудь?

– Бюрократ твой автор, – сказал Джавад. – Я беру на себя всю ответственность, пусть автор попробует пикнуть. Передайте ему, что я, Джавад Джаббаров, считаю нужным добавить в это произведение образ шакала. Все, точка! Ясно вам?.. Так... Где это место? Ага... вот... Лиса: «Пошли, шакал... – Джавад несколько раз встряхнул ручку, как термометр, и начал писать. – Значит, гак... Шакал: «Вы уходите?.. Я тоже с вами...» Так... И вот здесь еще в самом конце... «До свидания, до свидания». Кроме того, время от времени ты присоединяешься к нам: да, нет, угу и гак далее. Главное, чтобы слышался твой голос. Ну как получилось? Хорошо? А, шельмец?.. Ой-ой, опаздываю!.. Пошли скорее! Видишь, Кябирлинский. я, можно сказать, из воздуха сделал для тебя семь рублей, а ты не ценишь меня. Тебе бы следовало на эти семь рублей угостить меня как следует в «Дружбе». Ха-ха-ха!.. Ай, чертяка!

Они вошли в студию.

Сафура, улучив момент, шепнула Меджиду:

– Джавад есть Джавад... Любит пошутить, но сердце мягкое, воск, добряк.

Меджид ухмыльнулся.

– Пойду, порадую Эльдара, с него причитается. Сколько лет его отец был лисом – стал шакалом.

Эльдар работал в радиостудии помощником режиссера.

В те дни, когда у Фейзуллы была запись, он не показывался на глаза. Все знали причину. Знали, что Эльдар стыдится своего отца, вернее, тex ролей, которые тот исполняет, звуков, которые отцу приходилось издавать по роли.

Эльдару было девятнадцать лет. Днем он работал, вечером занимался в театральном техникуме. Стройный, видный, приго­жий юноша. Вот только немного прихрамывал, чуть волочил левую ногу.

Все, что зарабатывал, тратил на то, чтобы хорошо одеться. Случалось, у него не было денег пригласить знакомую девушку в кино, но одет он был всегда, как говорится, с иголочки, не отставал ни от кого.

Лицо строгое, серьезное, даже угрюмое. Это никак не вяза­лось с его возрастом. Те, кто знал его отца, говорили: «Можно подумать, он сын Насреддин-шаха, а не Кябирлинского. Эх, губит гонор человека!»

Однако Эльдар не был зазнайкой. Просто болезненно само­любивый юноша. Ни с кем не сближался, ни с кем не откровен­ничал. На работе у него был единственный друг – Айдын. В коллективе держал себя так, словно ждал от каждого насмешек, издевок.

Конечно, главной причиной этого был отец – его живая рана.

Те, кто знал больное место Эльдара, остряки, циники, такие, как Меджид, постоянно подкалывали его.

«Послушай, Эльдар, твой отец – Кябирлинский, почему ты – Алескеров?»

«Не твое дело», – огрызался Эльдар.

«Зачем обижаешься? Спросить нельзя, что ли?» – кривлялся шутник.

Вот и сейчас. Меджид, войдя в комнату, где сидел Эльдар, воскликнул:

– Эльдар, поздравляю! С тебя магарыч!

Юноша, почуяв подвох, натянулся как струна. Спросил хмуро:

– В чем дело?

Всегда при виде рыжей физиономии Меджида у Эльдара мгновенно портилось настроение.

Я пришел сообщить тебе приятную новость, твоего отца повысили. Человек по-настоящему растет, прогрессирует. Был лисом – стал шакалом.

Эльдар, сорвавшись с места, бросился к двери, однако Мед­жид оказался проворнее, успел удрать.

Девушки в комнате прыснули, но, увидев лицо Эльдара, тотчас примолкли.

Айдын сказал:

– Да плюнь ты на этого ублюдка! Что тебе его болтовня? Разве он человек?.. Видит, ты выходишь из себя, вот и старается. Не обращай внимания.

Эльдар закусил губу:

– Ничего, я с ним сочтусь.

Взял себя в руки. Успокоился.

После записи Фейзулла поставил свою подпись в явочном листе и вышел из студии в коридор.

К нему подскочил Меджид:

– Послушай, Кябирлинский, приструни своего сына!

– А что он сделал тебе?

– Терроризирует меня. Сам видишь, я парень хилый, слабый, дунешь – упаду. А твой сын, слава Аллаху, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, верзила каких мало. Верно говорят: велика фигура – да дура.

– Наверное, ты сам виноват. Распускаешь язык, а теперь жалуешься.

– Да что я сказал ему? Что я сделал? Я спрашиваю: почему у твоего отца фамилия одна, а у тебя другая? Разве за это бьют человека?

Фейзулла на миг смутился, затем начал объяснять обстоя­тельно, сдержанно:

– Видишь ли, сынок, у нас с Эльдаром одна фамилия – Алескеров. Кябирлинский – это мой псевдоним.

– Вот спасибо, теперь все ясно! Смотри, ты объяснил по- человечески, и я все понял. Зачем драться, зачем ругаться?

В этот момент в коридоре появился Эльдар, приблизился к ним.

– Меджид поспешил спрятаться за спину Фейзуллы.

– Ну скажи ему, чтобы не приставал ко мне. Не то, смотри, пойду прямо к председателю комитета.

– Эльдар, сынок, – сказал Фейзулла, – что тебе надо от него?

Эльдар не ответил. Он с ненавистью смотрел на Меджида, однако не решался тронуть его при отце.

– Ничего, я с тобой рассчитаюсь, – процедил он сквозь зубы.

– Ну видишь! – воскликнул Меджид. – Опять угрожает. Смот­ри, Эльдар, я спросил у твоего отца, он объяснил мне. А ты сразу обижаешься, выходишь из себя... Фейзулла-муаллим. – В присутствии Эльдара он всегда говорил старику «Фейзулла-муаллим»; однако в этом обращении скрывалась ирония. – Фейзулла-муаллим, не обижайтесь, пожалуйста, но меня очень удивляет, что это за мода – артисты берут себе всякие псевдонимы: Араблинский[[25]](#footnote-25), Кябирлинский...

Он говорил абсолютно серьезно, даже на губах его не было усмешки, только в глубине глаз светился бесовский огонек.

Эльдар понимал: Меджид издевается. Как ему было ненавистно его лицо, весь его облик – эта рыжая челка, рыжие брови, круглые рыбьи глаза без ресниц, эти редкие золотистые волосики на обвислых щеках (у Меджида даже горчащие из носа волосы были рыжие), эти три золотых зуба спереди, эти просвечивающие оттопыренные уши, эти пухлые руки с короткими толстыми пальцами. Эльдар видел грязь на его белом воротничке.

Фейзулла ответил простодушно:

– Когда-то было принято: каждый брал себе какой-нибудь псевдоним.

Бегающие глазки Меджида иногда встречались с глазами Эльдара. Каждый хорошо понимал, что думает, что чувствует другой. Эльдар кипел от негодования. Что касается Меджида, он давно не получал такого удовольствия: здорово он дурачит Кябирлинского прямо в присутствии его сына! Вернее, Кябир­линский в своем простодушии сам выставлял себя в глазах Эльдара и его недруга.

Бессильный что-либо сделать, Эльдар от стыда готов был провалиться сквозь землю.

А Фейзулла продолжал объяснять, ни о чем не догадываясь: Да, каждый взял себе какой-нибудь псевдоним – Араблинский, Агдамский, Сарабский...[[26]](#footnote-26)

Меджид подсказал тихо:

– Кябирлинский.

– Подлец!.. Негодяй!.. – взорвался Эльдар. – Я тебе дам сей­час!

Фейзулла изумленно смотрел на сына:

– Что с тобой, Эльдар? Ты что кричишь? Что он сказал осо­бенного?

– Как что? Или ты с Луны свалился?.. С Марса?! Неужели не понимаешь?

– Нет!

– Впрочем, лучше тебе не понимать!

Эльдар махнул рукой и пошел прочь.

Из студии вышел Джавад.

– Хорошо, будьте здоровы, я побежал.

– Джавад, дорогой, тебе в какую сторону? – спросил Кябирлинский. – Может, меня захватишь?

Джавад на миг задержался.

– Клянусь, спешу. А то бы с удовольствием... – Он сделал еще несколько шагов, повернул голову. – Хорошо, пошли, подброшу до Баксовета.

– Вот спасибо!.. Оттуда я сам поеду... Когда они, спустив­шись вниз, проходили по вестибюлю, кто-то позвал:

– Кябирлинский! Кябирлинский!

Фейзулла обернулся. К ним бежал помощник режиссера из телестудии – Мамед. Поздоровался с Джавадом, схватил Фейзуллу за руку:

– Сам Аллах послал тебя мне, Кябирлинский! Ты свободен вечером?

– Нет, а что?

– У тебя спектакль?

– Спектакля нет, но я занят...

Мамед перебил его:

– Значит, так... В приказном порядке! Дело свое перенесешь на завтра. У нас вечером спектакль. Садык заболел. Надо заме­нить его.

– Не могу... У меня...

– Могу, не могу – ничего не знаю. Пойми, мне же голову оторвут.

– Мамед, ты знаешь, как я тебя уважаю. Но у меня вечером кружок.

– Во сколько?

– В семь.

– Значит, так... В восемь я тебя отпускаю. Перенеси свой кружок на один час. Соберетесь позже. Что особенного?

Джавад был уже у выхода. Спросил:

– Кябирлинский, ты едешь? Имей в виду, ждать не буду. Я спешу.

– Еду, еду! – откликнулся Фейзулла, сказал Мамеду: Хорошо, Мамед, не могу отказать тебе. Но ведь мне надо подготовиться. Роль большая?

– Слушай, э, какая там роль?! Одна-единственная фраза. Значит, так... Ты почтальон, входишь в квартиру, говоришь: «Принес вам письмо». Вот и все. К чему здесь готовиться? Слава Аллаху, ты сорок лет в артистах. Только прошу тебя, Кябир­линский, смотри не подведи, иначе мне голову оторвут... Значит, так... В шесть ты будешь здесь.

– Хорошо, не беспокойся, Мамед. Раз дал слово – приду.

– Браво, молодец! Живи сто лет! Ты у нас единственный. Была бы пара – запрягли бы в арбу. Ха-ха-ха! Не обижайся, Кябирлинский, это шутка. Я ведь люблю тебя, ценю. Ты моя честь!

– Спасибо на добром слове.

Мамед был уже на пути к лестнице, обернулся, крикнул, прижав ладонь к голове по-военному:

– Моя честь – это вот что!

Он снова расхохотался и исчез.

Фейзулла кинулся бегом из здания.

Джавад успел завести мотор и разворачивал машину.

Кябирлинский замахал ему рукой:

– Подожди, я еду!..

Подбежал, сел рядом с Джавадом. Тот сказал:

– Кябирлинский, да ты нарасхват. Преуспеваешь: днем – радио, вечером – телевизор.

– Ай, Джавад... Тебе ли завидовать, как мы побираемся?

– Он подмигнул Джаваду, довольно улыбнулся.

Молодой человек повернул голову, посмотрел на Кябирлинского. Большие темные очки скрывали выражение его глаз.

Коротко посигналив, он обогнал троллейбус и погнал машину вниз по улице.

– Джавад, – нарушил молчание Фейзулла, – ты мне как сын... Хочу сказать тебе одну вещь.

– Говори.

– Ты близок с Сиявуш-муаллимом. Скажи ему, чтобы он лучше обращался со мной при людях. Позорит... Ведь я не мальчишка. Поседел на сцене.

– Что же он говорит тебе?

– Да всякое кричит, обзывает. К тому же при всех. Сегодня, например, в зале сидел художник. Молодой парень, у нас с ним хорошие, уважительные отношения. А Сиявуш начал прямо при нем, ты такой, ты сякой... Будь мы одни – черт с ним, пусть бы говорил что угодно. Но зачем при посторонних? Ведь я ему в отцы гожусь.

– А все-таки, что он сказал?

– Да всякую ерунду... Вспомнил мечеть, муэдзина, азан... При чем здесь я, если мой отец был муфтием?

– Кем, кем был твой отец?

– Муфтием. Разве ты не знал?

– Нет, откуда?

– А я думал, знаешь. Все знают об этом. Мой отец был муфтий. Когда я стал артистом, он выгнал меня из дому. До последних своих дней не разговаривал со мной. С той поры мы с ним ни разу не виделись. Даже в завещании распорядился, чтобы я не присутствовал на его похоронах. Очень переживал... Мать после говорила: это ты свел отца в могилу.

– Скажи, чего тебя понесло в артисты, а, Кябирлинский?

– Не знаю... Очень хотелось... Ты не смотри, что я сейчас такой... Было время, я играл в нашем районном театре Октая, Айдына, Шейх-Санана...

– Иди ты!

– Клянусь своей жизнью, Джавад. Я был единственный сын отца, он мечтал сделать и меня муллой, хорошо обучил меня персидскому языку, арабскому.

– Напрасно ты не стал муллой, Кябирлинский. Знаешь, сколько они зарабатывают? Читал бы себе сейчас заупокойные молитвы по умершим и жил бы лучше, чем народный артист.

Фейзулла улыбнулся, покачал головой, предаваясь каким-то воспоминаниям.

Затем сказал:

– Я до сих пор хорошо помню молитвы из Корана.

– В самом деле? Тогда почему ты не станешь муллой?

Фейзулла удивленно посмотрел на собеседника.

– О чем ты говоришь, Джавад? Какой из меня мулла?

– Почему бы нет?

– Как у тебя язык поворачивается говорить такое? Я – и вдруг мулла?

– А что?.. Отец твой был муфтием, лицо у тебя благообраз­ное, к тому же наизусть знаешь Коран. Что еще нужно для муллы?

– Странно ты рассуждаешь... – Этот неожиданный разговор смешал мысли Фейзуллы; он призадумался, наконец сказал: – Как же я стану муллой, если не верю в Аллаха?

– Чудак! Да зачем тебе верить? Или думаешь, сами муллы верят? Ты лучше послушай меня. От театра толку не будет. Стань муллой, живи себе как министр, что тебе до Аллаха? Веришь – верь, не веришь – не верь. Знай я Коран, я бы дня не остался в театре. Нет более дурацкой профессии, чем наша – драматичес­кого артиста. Запомни: надо быть или таристом, или певцом-ханэндэ, без которых не обходятся свадьбы, или ашугом, или же муллой. Знаешь, как зарабатывают на свадьбах, на поминках! Ну вот, Кябирлинский, мы приехали – Баксовет.

– Большое спасибо, Джавад. Отниму у тебя еще одну минуту, не обижайся.

– Хорошо, говори!

– Так ты скажи Сиявушу. Он тебя послушает. Скажи ему, чтобы не обижал меня.

– Скажу.

– Ты понимаешь, Сиявуш преподает в театральном учили­ще, где мой сын. На днях пришел и говорит студентам: на зем­ном шаре еще не рождался более бездарный артист, чем Кябир­линский. Конечно, мой парень готов был провалиться сквозь землю. В аудитории его ровесники – есть друзья, есть враги.

– Глупости болтает Сиявуш. Скажу ему.

– И еще, Джавад...

– Ну?

– Есть еще одно дело.

– Что такое?.. Говори быстрее, ты меня режешь без ножа, опаздываю!

– Честное слово, другому не сказал бы... А тебе откроюсь... Только не подумай, Джавад... Ты знаешь, я не придаю значения таким вещам... Но у каждого есть не только друзья, но и враги... Да и жена без конца пилит меня...

– Не тяни, Кябирлинский, заклинаю тебя прахом твоего отца! Выкладывай суть дела! Ну?

– Суть дела в том, что в нынешнем году мне исполнится ровно шестьдесят. Я, конечно, не Араблинский, не Аббас Мирза, тем не менее, я внес лепту, так сказать... Думаю, может, и мне там... какое-нибудь звание или еще что... Не подумай только... Я на такие вещи не падок, сам знаешь... Но смотришь: вчерашние мальчишки становятся заслуженными артистами... Нет, ты не подумай, я ничего не говорю... Дай им бог удачи... Но ведь и мы тоже... Сколько лет трудимся не покладая рук... Так пусть хотя бы немного...

– Понимаешь, Кябирлинский, – перебил его Джавад, – звание – это немного сложно. Но я поговорю с Сиявушем, добьюсь для тебя грамоты от месткома или еще что-нибудь. Ну, извини, я уже опоздал...

– Спасибо, большое спасибо, да будет твоя жизнь долгой, – говорил Фейзулла, выбираясь из машины.

Он зашагал по улице, продолжая бормотать слова благодар­ности. А машина Джавада была уже далеко.

Фейзулла вошел в телефонную будку, позвонил на кара­мельную фабрику, где он был руководителем драмкружка.

– Передай ребятам, – наказывал он кому-то, – чтобы собра­лись не в семь, а в восемь. Или, скажем, в пятнадцать минут девятого...

Фейзулла направился домой.

Он жил в старом доме на втором этаже. Двор – маленький, узкий, темный. Зеленый скользкий камень под краном, из которого вечно сочилась вода, походил на огромную лягушку. Во дворе, кроме крана, были еще уборная с замком на двери, боль­шой мусорный ящик и пирамида картонных коробок – собствен­ность продовольственного магазина.

На второй и третий этажи вела железная лестница. Если по ее ступенькам ступали неосторожно, она громыхала так, что казалось, будто по ней шагает армия закованных в броню солдат.

Застекленные галереи второго и третьего этажей смотрели во двор.

Семья жила в квартире, состоящей из одной комнаты и подобия прихожей, которая служила также и кухней, здесь стояла маленькая газовая плита с двумя конфорками. Дальняя часть прихожей была отгорожена занавеской. Там стояла раскладушка, на которой спал Эльдар.

Юноша прибил к стене над изголовьем две книжные полки. На них стояли книги, журналы о театре и кино. Противополож­ная стена была оклеена сверху донизу портретами кинозвезд, это были главным образом фотографии киноактрис, вырезанные из польских журналов «Фильм» и «Экран». На полу у кровати стоял магнитофон, рядом – гора кассет с лентами. Здесь было царство Эльдара, его мир в четыре квадратных метра, полный голово­кружительных грез и кухонного запаха.

В комнате, довольно большой, был всегда полумрак: единственное окно давало слишком мало света. Стояли впритык одна к другой две кровати, массивный угрюмый комод кофей­ного цвета, стол и четыре стула.

С комода углом свисал кружевной, ручной вязки, накомодник. Кровати были застланы плюшевым покрывалом с изобра­жением двух всадников, похищающих красавицу. На столе, наискось поверх клеенки, лежала кружевная дорожка – родная сестра накомодника. Занавеска на окне и салфетка, прикрываю­щая крошечный экран допотопного телевизора «Луч» в углу комнаты, обшиты точно такими же кружевами.

Палас на полу был местами протерт, сквозь него то здесь, то там проглядывали красноватые половицы.

На стене висел в позолоченной рамке портрет Фейзуллы в какой-то роли и с десяток фотокарточек: жена Фейзуллы Хаджар-ханым в молодости, Эльдар. Эти фотокарточки были маленькие. Над ними висел большой фотопортрет мужчины. Это был покойный свояк Фейзуллы, муж жениной сестры Гамар, Искендер Мурадалиев...

Много лет назад Искендер и Гамар погибли в автомо­бильной катастрофе.

Когда Фейзулла появился на пороге прихожей-кухни, Хаджар беседовала с заглянувшей к ней соседкой Ана-ханым.

В квартире – и в прихожей, и в комнате – царил смешанный запах плесени, сырости, грязной посуды, постного масла и хозяйственного мыла.

Ана-ханым при виде Фейзуллы сказала:

– Удачи вам во всем, – затем обернулась к Хаджар: – Хорошо, баджи[[27]](#footnote-27), я пошла.

Фейзулла, пройдя в комнату, снял пиджак, аккуратно пове­сил его на спинку стула, вернулся в кухню, вымыл под умываль­ником руки и лицо.

– Я что-то не улавливаю запаха бозбаша, жена! – заметил он шутливо.

Хаджар промолчала.

Фейзулла уже не ждал, что его удостоят ответа, как жена вдруг заговорила:

– Бозбаш!.. Может, плова с цыплятами желаешь?.. Бозбаша, видите ли, ему захотелось... А мяса ты удосужился купить?.. Или я сварю тебе бозбаш из колбасы?!

– Но зачем кричать, скандалить?.. Я думал, ты купила мясо.

– На какие деньги, интересно знать? Забыл, почем на базаре мясо?! Или думаешь, тех грошей, что ты приносишь, может хватить на мясо?! Вон, осталось немного вчерашней долмы, разогрей и ешь!

– Ну что же, долма – тоже неплохо.

Он подошел к плите, поставил на огонь кастрюльку со вчерашней долмой, точнее – с той, что была приготовлена женой третьего дня.

Тишина в квартире царила недолго. Вскоре Хаджар снова заворчала:

– Бозбаш!.. Ему нужен бозбаш!.. Говорят, по одежке протя­гивай ножки!.. Нет, вы полюбуйтесь на него!.. И он еще считает себя мужчиной!..

Фейзулла перестал жевать.

– Скажи, что тебе надо от меня? Дай спокойно поесть.

– Ешь, ешь! Хоть бы ты подавился... Все выходят замуж, обретают счастье, а я!.. Эх, да какой ты муж?!

Фейзулла медленно, устало поднял глаза от тарелки.

– Что произошло все-таки?

– Спрашиваешь, что произошло? Только что была Ана-ханым, ты видел... Говорила про мужа, про свой дом, про их житье-бытье. Муж, можно сказать, на руках ее носит. Вот и выходит, что дочь Хромого Сафтара живет лучше, чем дочь Дурсунбека!

Фейзулла сделал попытку обратить разговор в шутку:

– Но я-то здесь при чем, жена? Не ты ли первая влюбилась в меня и согласилась бежать из дома?..

– Чтоб мне ногу сломать в тот день, когда я решила бежать с тобой. Чтоб мне ослепнуть в тот день, когда я впервые увидела тебя! Пепел на мою глупую голову! Ведь я была совсем ребен­ком... Что я понимала?.. Ты с театром приехал в деревню, и у меня, дурехи, затмило рассудок... Ведь я была в сто раз красивее моей сестры Гамар. Ей посчастливилось, вышла замуж за Искендера Мурадалиева, а вот я – за тебя...

Фейзулла унес на кухню пустую тарелку с вилкой. Оттуда донесся его голос:

– Тебе не стыдно?.. Хоть бы не произносила имени бедной Гамар!

– Чем же она бедная?

– А разве не бедная? Погибла такой ужасной смертью... И она, и ее муж. Оба они несчастные. Лет-то им сколько было? Кто умирает в такие годы?

Хаджар вздохнула, примолкла, затем, будто отвечая своим мыслям, продолжала:

– Зато она познала счастье. Умерла, зато до конца своих дней жила по-человечески. У нее не было только птичьего молока. Рано ушла из жизни, но хоть пожила в свое удовольствие. А мне придется завтра умирать... Что я скажу? Что я видела в жизни? Только твою постную физиономию да вот эту вонючую лачугу. Больше ничего. Люди живут весело, красиво... Эх... – Она сдела­ла короткую паузу, закончила; – Впрочем, тебе что говори, что нет... Все одно...

Фейзулла налил себе чаю в маленький, грушевидной формы стаканчик, вернулся в комнату, пил частыми глотками.

– Хаджар, – сказал он, – я вижу, ты сегодня не в духе. А тут еще пришла Ана-ханым, подзавела тебя.

– Меня заводить не надо. Или я слепая? Сама не вижу, как люди живут и как мы живем?

Фейзулла, напившись чаю, унес стакан, сполоснул его под рукомойником, снова вошел в комнату.

Хаджар сказала:

– Вчера Эльдар вернулся домой такой расстроенный. У них на занятиях какой-то преподаватель смешал тебя с грязью.

– Знаю, – отозвался Фейзулла, – Айдын мне сказал, приятель Эльдара.

– Знаешь, а что с того?.. Что толку?.. Можно подумать, ты пойдешь и рассчитаешься с обидчиком!.. Ведь тебя никто в грош не ставит!..

Фейзулла спокойно внимал.

Если ты ежедневно слышишь даже очень обидные, очень оскорбительные слова, они теряют свою остроту, свою силу, делаются привычными, не обижают, не причиняют боли. Может, лишь немного утомляют, только и всего.

Но Хаджар была неутомима:

– Эльдар говорит: «Мамочка, почему мой отец такой никудышный?» Говорит: «Из-за него на меня все смотрят свысока. Если бы у меня, – говорит, – не было отца, я бы по крайней мере знал, что я сирота, и тогда никто не посмел бы меня оскорбить. Но ведь он жив, все его видят, знают, все смеются над ним, издеваются, подшучивают, а мне остается только смотреть на это да кусать себе локти!»

– Эльдар никогда не скажет такого.

– Будь я проклята, если лгу! – Хаджар, протянув руку, взяла со стола крошку хлеба, покатала ее пальцем. – Клянусь вот этим хлебом, ребенок говорил, а мое сердце обливалось кровью. «Мама, – говорит, – чем я хуже других? Ах, – говорит, – если бы я был сыном какого-нибудь большого человека! Я, – говорит, – молод, красив, работаю над собой, учусь, ночами не сплю, при­умножаю свои знания, свою культуру. Вот, – говорит, – например, представь: я где-нибудь в гостях, в компании, все девушки поглядывают на меня. И мне, – говорит, – нравится одна из девушек. Мы знакомимся, разговариваем, – о книгах, о театре, о кино... О чем бы она ни заговорила, я всегда поддержу разговор, не ударю лицом в грязь. Потом, – говорит, – смотришь, приходит какой-то болван, невежда, который ничего не знает, и на внеш­ность невзрачный, и сложен отвратительно, но он сын большого «шишки» или же у него богатый отец, с машиной, с деньгами. И вот, – говорит, – он предлагает той девушке: «Садись в машину, покатаю тебя». И девушка, – говорит, – уже с ним, а не со мной...»

Фейзулла перебил жену:

– Не нужна Эльдару такая! Чего стоит девушка, которая продает свое сердце за деньги, за машину?

Хаджар, умолкнув, некоторое время недоуменно смотрела на Фейзуллу, затем протянула к нему руку с растопыренными пальцами, махнула.

– Э-э-э, пепел на твою голову! Долго ты думал, чтобы ска­зать такое?! Ты всю жизнь был вот таким никудышным! Неудач­ником! У тебя потому и нет ничего!

В конце концов Фейзулла вышел из себя:

– Вот что я скажу тебе, жена: хватит! Ты говорила – я мол­чал, но ты уже перешла всякие границы! Я тоже человек! У меня есть самолюбие.

Хаджар передразнила:

– Самолюбие!.. Самолюбие!.. Держи при себе свое само­любие. Меня бесит, когда я разговариваю с тобой.

Фейзулла, сняв туфли, лег на кровать.

Хаджар вышла на кухню. Оттуда доносились стук тарелок, звон ножей, вилок.

Фейзулла закрыл глаза, задремал.

Хаджар вернулась в комнату, вытирая кухонным полотен­цем мокрые руки.

– Вот Ана-ханым спрашивает: почему всем артистам дают звание, а твоего мужа забывают?

Фейзулла ничего не ответил. Возможно, он спал, а может, притворялся.

Хаджар ворчала:

– Ты спи, спи, тебе что? Насытил живот коркой хлеба – и думаешь, что в раю!

Она вышла, но вскоре опять вернулась.

– Эльдар говорит: «Хоть бы раз о моем отце написали доб­рое слово в газете! А то – говорит, – или совсем ничего не пишут, или пишут всего одну фразу: «Кябирлинский опять не справился со своей ролью».

Фейзулла открыл глаза, долго смотрел на жену; наконец спросил:

– Хаджар, может, скажем Эльдару правду?

С женщиной произошло мгновенное превращение: измени­лась в лице, побледнела, съежилась, словно сделалась меньше ростом, разом постарела. Ответила глухо:

– С ума ты сошел!.. Подумай, что говоришь... Прошу тебя, выбрось это из головы.

На глаза ее навернулись слезы, она достала платок, утерла их, вышла на кухню.

До самого ухода мужа она не сказала ни слова.

Ровно в шесть Фейзулла был в телестудии. Постепенно по­дошли и другие актеры. Ждали режиссера.

В студии ярко горели прожекторы, было жарко, как в бане. Над головами артистов, словно груши на ветках, висели микро­фоны.

Тщедушный, низкорослый, подвижный Мамед носился туда-сюда, выбегал из одной двери, исчезал в другой, давал – указания, распоряжения. То и дело слышалось его: «Значит, так... Значит, так...»

– Значит, так, – говорил он, – ты стоишь здесь, а ты выходишь отсюда. Ага... значит, так... Третья камера, слушай меня! Ты делаешь наезд отсюда. Крупный план! Ясно? Затем ты, вторая камера, берешь слева... Эй, Шамиль!.. Значит, так, как только я дам знак, включай музыку... Значит, так, все здесь, все на своих местах. А вот и Сиявуш-муаллим.

У Фейзуллы оборвалось сердце.

Откуда он мог знать, что сегодня на передачу приглашен их режиссер. Сиявуш нечасто бывает в телестудии. Знай Фейзулла, кто режиссер постановки, он бы непременно отказался от учас­тия.

Сиявуш тотчас увидел его.

– Кябирлинский, дорогой, я бегу от тебя, а ты – за мной, пре­следуешь по пятам. Безжалостный человек. Передохнуть от себя не даешь!

Все засмеялись. Актеры и сам Сиявуш были в хорошем настроении. Сиявуш спросил у Мамеда тихо:

– Откуда взялся этот дубина?

– Значит, так... Садык звонит сегодня: болен... Думаю, что делать? Попался на глаза этот Кябирлинский. Я пригласил его. У него всего три слова.

– Выбрось.

– Что?

– Слова Кябирлинского. Что он говорит?

– Да почти ничего. Приносит письма, говорит. Постой, сейчас посмотрю, что он говорит... – Мамед полистал текст. – Значит, так, он говорит «Вот ваши письма».

– Вычеркни. Пусть войдет, молча отдаст письма и уйдет. Все! Когда я слышу его голос, меня переворачивает.

Мамед хохотнул и вычеркнул фразу. Подошел к Кябирлинскому:

–Значит, так, Фейзулла, мы сократили твои слова, молча войдешь... Вот смотри, отсюда войдешь, отдашь письма и уйдешь. Все. Понял?

– Даже не здороваться?

– Нет, нет, ради бога!.. Значит, так, положил письма и ушел. Понял?

– Понял, понял. Сделаю. – Мамед хлопнул в ладоши: – Значит, так, все проходят на свои места! Через пять минут мы в эфире.

Каждый занял свое место и замер. Камеры, словно ружей­ные стволы, нацелились на актеров.

Сиявуш, Мамед и звукорежиссер прошли за пульт, где на экранах мониторов появилась сцена, охваченная несколькими камерами с различных точек.

Время в телестудии будто стало ощутимым, материальным. Оно как бы обрело форму, границы, русло и приближалось к семи часам с неотвратимостью текущей к морю реки. Когда до семи осталось пятнадцать секунд, Сиявуш сказал в рабочий микрофон:

– Внимание! Мы в эфире! – и нажал кнопку. Звукорежиссер включил музыку. Первая камера давала титры. Передача началась.

Спустя сорок минут Сиявуш закурил папиросу, поднялся с места. Передача закончилась. Актеры выходили из студии... Кябирлинский, взяв Мамеда под руку, отвел в сторону:

– Мамед, дорогой, скажи, я внесен в денежную ведомость?

– Разумеется, Кябирлинский. Неужели не веришь?.. Стыдно. Не даром же ты работаешь? Мы еще не при коммунизме. У нас пока социализм – переходная стадия к коммунизму.

– Нет, ты понимаешь, почему я спрашиваю? Говорят, обжегся на молоке – дует на воду. Как-то я тоже выступал у вас без слов, так же, как сегодня, немая роль, так в бухгалтерии вычеркнули мою фамилию.

Мамед перебил его:

– Не беспокойся, я сам прослежу.

– Спасибо большое, Мамед. А то этот бухгалтер такой тип... Старик, гораздо старше меня и совсем слепой. Говорят, нацепит очки, сядет перед экраном и считает, загибая пальцы. Сколько человек занято в передаче, кто сколько слов сказал, а затем начинает скандалить, мол, я не могу пускать на ветер государст­венные деньги...

– Словом, готов сэкономить на каждой твоей копейке, а?

– Вот видишь, сам говоришь.

– Нет, Кябирлинский, будь спокоен.

– Очень тебе благодарен.

Фейзулла обоими руками пожал руку Мамеду, попрощался с остальными.

Выйдя из проходной телецентра, увидел: к остановке подходит троллейбус. Побежал, едва успел сесть.

У Азнефти он вышел из троллейбуса и пересел в автобус. В десять минут девятого добрался до карамельной фабрики.

Три года Фейзулла руководил фабричным драмкружком. В кружке было всего шесть человек: четверо мужчин и две женщи­ны.

Одним из членов этого маленького коллектива был пожилой фабричный сторож Салман-киши. Жил он бобылем, домой его не тянуло, вот и записался в драмкружок.

Был еще в кружке Мухтар, который втянулся в самодеятель­ность из-за своей жены Розы.

Роза была армянка, неплохо знала азербайджанский язык, однако говорила с акцентом. Очень хотела научиться говорить правильно. В этом ей усердно помогала ее подруга Бехиджа. Именно по настоянию Бехиджи Роза записалась в драмкружок.

Бехиджа, сорокалетняя женщина, была вдовой. По мнению Кябирлинского, она обладала истинным актерским дарованием.

В течение трех лет Кябирлинский готовил к постановке пьесу Джафара Джабарлы «Октай Эль-оглы». Роль Октая Кябир­линский взял себе. Остальные мужские роли он отдал Мухтару, Салману-киши, табельщику Баширу и шоферу Давуду. Так как кружок был пока малочисленный, все, кроме Кябирлинского, имели по две-три роли. Роза исполняла и роль Нади, и роль актрисы Тамары, Бехиджа играла и Френгиз, и сестру Октая Север.

Занятия кружка проводились раз в неделю в красном уголке фабрики – комнате, стены которой были увешаны различными лозунгами, таблицами, плакатами, портретами. На красном полотнище через всю стену было написано: «Искусство принад­лежит народу». Один из плакатов – сплошь разноцветные квадратики, треугольники, кружочки, столбики и цифры – наглядно рассказывал о годовом плане фабрики, объяснял, в какие города отправляется ее продукция. На стенде с позолоченной рамкой золотыми буквами по красному плющу было написано: «Передовики производства»; ниже – двадцать фотокарточек, в том числе фото шофера Давуда. Над стендом еще давно Кябирлинский приколол кнопочками два портрета – Джафара Джабарлы и Станиславского. Занавесок на окнах не было, их заменяли пожелтевшие газетные листы. Стены комнаты попахивали известью, недавно здесь был ремонт.

Когда Кябирлинский вошел в красный уголок, все члены кружка были в сборе. Роза и Бехиджа шептались. Давуд с Баширом курили. Мухтар объяснял сторожу Салману-киши проис­хождение и смысл некоторых слов.

Вот, например, слово «колбаса», – говорил он. – Откуда оно взялось? По-тюркски «кол» – «рука», «басан» – «набитый»... То есть набитый рукой. Ведь раньше колбасу делали вручную, брали кишку и набивали мясом. Кол-басан! Кол-басан! Стало колбаса».

Салман-киши покачал головой:

– Ты смотри!.. Ну и дела на свете!..

– Да, вот так. Или, например, ты кто? Ну, отвечай, кто ты?

Салман растерянно пожал плечами:

– Я?.. Не знаю... Охранник.

– Верно. Ты охранник, караульный. И у русских есть такое \_ слово – «караул». Это тоже наше слово – «каракул». То есть черный раб. Или, например, что значит лошадь?

Салман заморгал глазами:

– Не знаю.

– Лошадь, то есть «леш ат», дохлая кляча. Понял?

Салман снова покачал головой:

– Ты смотри!..

Кябирлинский перебил их лингвистическую беседу:

– Хорошо, друзья, начнем работать. Извините, я немного запоздал. Срочно вызвали на телестудию.

– В тот раз видела вас по телевизору, – сказала Роза. Кябир­линский смутился немного:

– Честное слово, просто не дают покоя, ежедневно вызы­вают... В телестудию, на радио, в кино. Я почти всем отказываю. Говорю: нехорошо, ведь есть и другие.

Ему вдруг захотелось рассказать, что он сегодня ехал в ма­шине вместе с Джавадом. Он знал: Джавад нравится Бехидже. Кябирлинский немного симпатизировал ей. Но как скажешь? Какой придумать повод? Мухтар обернулся к Салману-киши.

Женщины носят каракулевые шубы. Каракуль! Что это значит? Кара-гюль?.. То есть черная роза.

Салман-киши многозначительно покачал головой:

– Ну и дела на свете...

Фейзулла спросил:

– Ну, вы приготовили мне ту сцену? Когда она будет полностью готова, я приглашу к нам Джавада Джаббарова. Пусть придет и посмотрит, как надо играть «Октая». Сегодня он долго возил меня на своей машине, сказал: «Фейзулла-муаллим, я слышал, ты создал замечательный драмкружок. Но почему скрываешь его от нас?» Я ответил: «Не спеши, дорогой, мы еще не готовы, наберись терпения и посмотришь».

Бехиджа замахала рукой:

– Нет, нет, я стесняюсь! Я не смогу играть при Джаваде Джаббарове.

– Почему это не сможешь? Отлично сыграешь. Вспомни Френгиз из пьесы! Она даже в то время не испугалась выйти на сцену!

Мухтар сказал Салману-киши:

– В Москве есть улица Арбат. Знаешь, что это значит? Арба – телега, ат – лошадь.

– Хорошо, начали, начали! – оборвал его Кябирлинский.

Они репетировали место в пьесе, где Френгиз выбегает на сцену со словами: «Я родная дочь этой сцены!»

Образ юной, нежной Френгиз в трактовке Бехиджи, женщи­ны довольно неповоротливой, толстоногой, с грубоватым лицом, всегда всклокоченной головой и в неизменно перекрученных чулках, получался более чем странным, однако Кябирлинский остался доволен ее исполнением.

– Браво, дочь моя! – похвалил ее. – Отлично! – Затем, обра­щаясь ко всем, добавил: – Искусство – значит гореть, кипеть, создавать! Тут требуется творчество, талант. И еще температура. Жар!.. При температуре тридцать шесть и шесть искусства не создашь. Ты должен пылать, кипеть, созидать. Художник должен принести себя в жертву сцене, он должен сгореть, превратиться в пепел, чтобы зритель поверил в образ, который он создает. Известно ли вам, что сказал Константин Сергеевич Станиславс­кий?

Сторож Салман-киши посмотрел вопросительно на Мухтара. Роза опередила всех:

– Моя жизнь в искусстве!

Кябирлинский согласно кивнул:

– Правильно! Этим самым он хотел сказать, уважаемый Салман-киши, что если не будет искусства, театра, го ему и жиз­нь не нужна. Ты понял, дорогой Салман-киши?

Салман-киши часто закивал головой.

Кябирлинский продолжал:

– Искусство, сцена, актер!.. Великие слова. Жизнь проходит, искусство остается! Ты слышишь меня, Бехиджа, доченька?.. Когда ты произносишь фразу: «Я родная дочь этой сцены!» – весь зал должен содрогнуться.

Кябирлинский умолк, задумался, снова заговорил:

– Я хорошо помню то время, вы его не знаете. Покойный Джафар Джабарлы написал все точно как было. Сейчас, слава Аллаху, на каждую роль набрасываются десять артисток, а тогда мы не могли найти даже одну. Нам самим приходилось играть женские роли. Лично я сам столько раз играл Френгиз, Гюльтекин, Хумар...

Роза прыснула:

– Вы – Френгиз?!

Кябирлинский тоже улыбнулся:

– Да, да, случалось и такое. Помню, мой двоюродный брат был бандитом, скрывался в горах, так он пригрозил: «Передайте этому своднику, если он еще раз наденет юбку и выйдет женщиной кривляться на сцену, я прикончу и его, и всех его артистов...» Нам пришлось бежать из деревни ночью, тайком, в фаэтоне. Да, были денечки!

– А вы не боялись, Фейзулла Худавердиевич? – спросила Роза.

– Ах, милая, до страха ли нам было? Мы тогда не думали ни о деньгах, ни о славе, ни о всяких там званиях. Ездили из селе­ния в селение, играли различные пьесы: «Шамдан-бек», «Лекарь поневоле», «Из-под дождя – да под ливень», «Наш постоялец покончил с собой». Мы хотели пробудить народ, открыть людям глаза... – Он вздохнул, – Да, верно говорят; что было, то прошло.

Послышался храп. Сторож Салман-кнши сидя задремал.

Мухтар подтолкнул его локтем, разбудил.

Фейзулла кашлянул, прочищая горло:

– Хорошо, продолжаем репетицию.

Он поднялся со стула, напрягся, побагровел, жилы на его лбу вздулись, глаза налились кровью. Обернулся к Бехидже, воскликнул:

– О, Френгиз, это ты?! Или мне снится сон?.. Ох, змея!.. Скорпион!.. О!.. Однако... Кто привел ее ко мне?!

Бехиджа растерялась, вздрогнула. По телу ее побежали мурашки. Втянула голову в плечи, затем неожиданно распла­калась.

\* \* \*

Домой Фейзулла добрался только в полночь. Двор был погружен во тьму. Все уже спали. Он осторожно поднялся по железной лестнице, открыл ключом дверь, прошел в комнату.

Хаджар не спала. Спросила:

– Чего крадешься? Порхаешь, будто птица ночная.

Фейзулла удивился:

– А в чем дело?

– В чем дело, в чем дело... Нечего дурачком прикидываться! Думаешь, не знаю, почему так осторожно ходишь? Боишься, лестница греметь будет.

– Ну да. Ведь соседи спят.

– О соседях беспокоишься?! Кто тебе поверит? Ты забо­тишься, как бы от шума не проснулась твоя краля. Не хочешь тревожить сладкий сон своей Ягут-ханым?

Ягут-ханым была их соседка, молодая красивая женщина, жила на третьем этаже. Она совсем недавно переехала в их дом. Кябирлинский видел ее всего несколько раз. На днях она подни­малась по лестнице с ведром воды и повстречалась с Фейзуллой. Он взял у нее ведро и донес до третьего этажа. Хаджар, видев­шая все это, до сих пор не могла простить мужу его галантность.

– О жене, о сыне не беспокоится, – ворчала она, – а сон этой вертихвостки бережет!..

– Не болтай глупости. Ты знаешь, я всегда так поднимаюсь, когда прихожу поздно. Зачем тревожить соседей?

– Когда прихожу поздно! – передразнила Хаджар. – Инте­ресно знать, почему ты являешься поздно? Где шляешься?

– Я работал. Не кутил, не развлекался...

Хаджар еще долго ворчала, Фейзулла лег, натянул на голову одеяло. Он сразу же заснул и почему-то увидел во сне Константина Сергеевича Станиславского.

Рано утром Фейзулла ушел в театр, на этот день был назначен общественный просмотр их нового спектакля. Эльдар тоже отправился на работу. Хаджар осталась дома одна.

Вскоре к ней заглянула Ана-ханым.

– Доброе утро, баджи, ты, я вижу, стираешь? Я тоже хотела взяться за стирку, да воду прозевала, опять не идет из крана, проклятая! Что у тебя хорошего? Как дела?

– Да так, понемножку.

Ана-ханым села на стул, начала обмахиваться.

– Ох, жарко... Вчера видела твоего по телевизору, опять он, бедняжка, не произнес ни слова, даже рта не раскрыл. Объясни мне, Хаджар-баджи, почему он все время молчит?

– Не знаю, дорогая Ана-ханым. Такая уж у них профессия, им не обязательно говорить. В том-то и весь секрет, чтобы создать роль ничего не говоря – глазами лицом, жестами. Неопыт­ный, какой-нибудь там мальчишка, не сыграет тебе такую роль. Тут нужен опыт, умение. Всегда, когда бывают подобные роли, приглашают моего мужа. Уверены, уж он-то справится. Знают, у него большой опыт...

– Ах, вот как?.. А то я думаю, почему он, бедняжка, всегда стоит и молчит. Ни словечком не обмолвится.

Хаджар вынула из корыта простыню, начала выжимать. Обернулась к соседке:

– Хочу я тебя затруднить, Ана-ханым. Помоги мне, берись за тот конец.

Женщины принялись крутить в разные стороны свернутую жгутом простыню.

Хаджар сказала:

– Его часто вызывают на телевизор. И в кино вызывают. Только он не всегда соглашается. Ведь человек должен иметь совесть. Если бы Фейзулла был таким же пройдохой, как другие, он бы уже давно получил и звание и квартиру.

– Вот и я так думаю. Сегодня утром забегала дочь, сказала: на днях в театре дяди Фейзуллы пойдет новый спектакль; гово­рят, потрясающая вещь; люди из-за билетов головы пробивают друг другу. «Попроси, – говорит, – дядю Фейзуллу, пусть и нам достанет билет». Я сказала ей то же, что и ты сейчас мне. Гово­рю: «Дядя Фейзулла очень скромный человек, не из тех, кто бу­дет руганью добывать билеты, если бы он мог достать – прежде всего достал бы для Хаджар-ханым, она, бедненькая, днями сидит дома, никуда не выходит».

Хаджар почувствовала, что краснеет. Нагнулась к полу, делая вид, будто ищет что-то.

– Я не очень-то люблю театр. В молодости смотрела столько спектаклей, что теперь мне хватит на всю жизнь. А захотелось бы – пошла. Он мне всегда достанет билет. Каждый вечер могла бы ходить... Дай мне тот таз, если нетрудно. Вот спасибо... Нет, я люблю телевизор. Сидишь себе и смотришь в свое удо­вольствие!

– Нет, не говори, театр – тоже неплохо. В телевизор ты сама смотришь, а в театре... и ты смотришь, – она подмигнула Хаджар, улыбнулась, – и на тебя смотрят... Разве не так, Хаджар-баджи? Ты наряжаешься в какое-нибудь красивое платье, надеваешь серьги, кольца и другое, что у тебя есть, и появляешься на людях. Только не подумай ничего такого, Хаджар-баджи, я не прошу билеты. Если мне будет надо, скажу племяннику, он из-под земли достанет. Я просто так сказала, к слову пришлось... Иду на базар. Если что нужно – куплю. Вчера были отличные лущеные орехи. Взяла пять кило. А то потом, перед праздником, не найдешь. Так говори, может, что надо?

– Нет, нет, спасибо. Я ходила утром на базар.

\* \* \*

Обсуждение спектакля проходило оживленно. Почти все выступающие хвалили постановку, давали высокую оценку, отмечали мелкие недостатки.

Кябирлинский и другие актеры, разгримированные, пере­одетые, сидели группой в партере.

Под конец слово взял молодой человек в очках. Фейзулла впервые видел его. Аликрам шепнул ему, что это театральный критик, учился в Москве, недавно приехал, к тому же сын известного человека.

Кябирлинский отозвался также шепотом:

– Молодчина какой!.. Честное слово, когда вижу таких ребят, мое сердце наполняется гордостью. Смотри, как говорит! Соловей!.. Такие юноши – надежда народа.

Молодой критик говорил:

– ...Я хотел бы коснуться еще одного вопроса – вопроса о пнях.

Он сделал в этом месте паузу.

Сидящие в зале задвигались, зашептались: «Что?.. Что он сказал?.. Кого он имеет в виду? Что такое?.. Пни?..

Молодой критик не без некоторого самодовольства ждал, когда все успокоятся, нарочно затянул паузу, дабы предельно заинтриговать присутствующих. Продолжал:

– Да, да, мне хотелось бы сказать несколько слов о пнях. Я имею в виду те самые пни, которые стоят на пути нашего развития, нашего прогресса, мешая нам продвигаться вперед. Извините, я говорю немного резко, остро, но ведь нам рано или поздно надо покончить с этой проблемой. – Он налил в стакан воды из графина, сделал несколько глотков, продолжал спокойно: – Мы жалеем отдельных людей, но не жалеем нашего искусства. Мы проявляем заботу об отдельных лицах, но не заботимся о нашей сцене. Мы уважаем наших отдельных ветеранов, – слово «ветеранов» он произнес с явной иронией, – да, да, мы уважаем отдельных наших ветеранов, но не относимся с уважением к нашей работе, к нашей профессии.

Он опять сделал паузу, интригуя слушающих.

У некоторых задрожали поджилки: «На кого он намекает?.. Интересно, будет ли называть конкретные имена?.. Или обойдется общими фразами?» Если он говорит вообще – отвлеченно, абстрактно, то все согласятся с его разумными мыслями, все присоединятся к его точке зрения, все будут громко аплодиро­вать.

Молодой критик снова заговорил:

– Вот, к примеру, возьмем сегодняшний спектакль. Совре­менная, со вкусом сделанная постановка. Чувствуется благо­творное влияние театра Брехта. Работа режиссера и художника достойна всяческих похвал. Джавад Джаббаров создает запоми­нающийся образ. Но вот какой-то один актер своей грубой, несуразной игрой портит весь ансамбль, портит все впечат­ление... Я имею в виду... Э-э-э... – он заглянул в листок, который держал в руке,- Я имею в виду Кябирлинского. Мне помнится, Сиявуш-муаллим, он произносит в пьесе всего три фразы... Э-э- э... «Вот старик, вот ночь, вот огонь...» Кажется, так?

Сиявуш устало поднял голову:

– Да.

– Так вот... Он произносит эти слова так, в такой манере, таким голосом, что зритель недоумевает; как, каким образом, откуда этот человек попал на сцену? И второй вопрос, товарищи: как и когда он и подобные ему покинут нашу сцену?

Да, да, товарищи, я спрашиваю, когда они покинут сцену и уйдут на законный и давно ими заслуженный отдых?

Последние слова – «заслуженный отдых» – вызвали в зале смех.

Критик, в свою очередь, чуть улыбнувшись, продолжал:

– Это не пустяковый вопрос. Сегодня я разговаривал об этом с товарищем Сиявушем. Он говорит: «Жалко. Как я выброшу человека на улицу?» Товарищ Сиявуш, вам жалко одного чело­века, а театр, искусство, наконец, зрителя вам не жалко?.. Вы знаете, как это называется?.. Название этому – мелкий гуманизм.

Сиявуш бросил с места:

– А какой крупный?

– Да, да, мелкий гуманизм, – сказал критик. – Я бы еще добавил – буржуазный гуманизм.

– Вот станешь директором – и выгонишь сам, – снова подал реплику Сиявуш.

Кто-то в зале засмеялся.

Молодой критик немного смутился, однако тотчас взял себя в руки, сказал твердо:

– Нет, либерализм нам не нужен! – и сел на свое место. Председательствующий подвел итоги:

– Итак, мы принимаем спектакль. Что же касается указанных недостатков, товарищи поработают и исправят их.

Все в зале начали аплодировать, поднялись с мест.

Каждый считал своим долгом подойти и поздравить Сиявуша, Джавада, художника.

Аликрам сказал Фейзулле:

– Ну, видал?.. Вот тебе и надежда народа!

Кябирлинский попросил:

– Дай папироску.

– Ты ведь не куришь.

– Курю... иногда.

Они вышли из зала и расстались.

В фойе молодой критик, Сиявуш и художник горячо спо­рили о чем-то. Кябирлинский прислонился к колонне и смотрел. Он не слышал их слов, но чувствовал, разговор у них нешуточ­ный. Он смотрел на них и невольно испытывал удовольствие: все трое были пригожи, молоды, красивы, по моде одеты, они были талантливы, умны, образованны, у каждого впереди была целая жизнь, каждого из них ждала слава.

Вдруг художник сказал что-то, и все трое громко захохо­тали. У всех разом исправилось настроение. Критик дружески хлопнул Сиявуша по плечу и отошел, поздоровался с кем-то на ходу, кому-то помахал рукой, кому-то улыбнулся и упругими шагами начал быстро спускаться по лестнице.

Неожиданно для себя Кябирлинский последовал за моло­дым человеком, подошел к нему в нижнем фойе, сказал:

– Здравствуйте. Извините, мы не знакомы, но ваше выступление очень понравилось мне. Поздравляю...

Молодой критик кивнул:

– Большое спасибо, – повернулся, чтобы уйти, Фейзулла остановил его:

– Но мне хотелось бы сказать вам кое-что.

– Что именно?

– Вы считаете, Кябирлинского нужно прогнать из театра...

– Да. Или я не прав?

– Но что тогда будет?..

– Как что будет? Вам понравилась игра Кябирлинского?

– Кябирлинский – это я.

Молодой критик опешил:

– Вы?.. Кябирлинский?.. – Быстро взяв себя в руки, сказал сухо: – Странно, я не узнал вас без грима. Рад нашему знакомст­ву. Однако я остаюсь при своем мнении.

– Я сорок лет работаю актером.

– Это не ответ. Стаж и талант – разные вещи. Я люблю гово­рить откровенно. По-моему, вы не актер.

Кябирлинский смотрел, как загипнотизированный, на уголок голубого, в полоску платочка, который выглядывал из нагрудного кармана молодого человека.

– Сынок, – сказал он, – ты молод, талантлив, умен, образо­ван. У тебя впереди большая жизнь. И рядом с тобой, слава Аллаху, твой отец – как гора.

Щеки критика порозовели, Фейзулла продолжал спокойно:

– А мне уже шестьдесят, у меня семья, и у меня нет никакой другой профессии. Была бы – ушел. Работал бы сапожником, или лудильщиком, или парикмахером. Но что мне делать теперь? Говорят, кто в шестьдесят учится играть на сазе, заиграет лишь в могиле. Плохой ли, хороший ли, но я актер. Если меня уволят, умру с голоду.

Чувствовалось, этот разговор тяготит критика.

– Нет, я так не ставил вопрос... Может быть, вы справитесь с другими ролями... Но эта роль, по-моему, ваша неудача. Я высказал свое личное мнение.

– Большое спасибо, сынок, да пошлет тебе Аллах счастья! Мне нравится твоя смелость, твоя откровенность. Но, честное слово, ведь я тоже ни в чем не виноват. Третьего дня...

Молодой критик перебил его:

– Извините, на улице меня ждут товарищи. До свидания. – Он удалился.

Кябирлинский подошел к большому зеркалу в фойе и долго себя разглядывал.

Эльдар, поднимаясь по лестнице в радиокомитете, встретил Айдына.

– Слышал новость? – спросил тот. – Рена выходит замуж.

Эльдар изменился в лице:

– Врешь.

– Не знаю. Мне так сказали. Будто бы сегодня придут сватать ее.

Эльдар промолчал. Расставшись с Айдыном, поднялся на второй этаж, вошел в одну из пустых комнат, запер дверь на ключ. Прежде всего достал сигарету, дрожащими пальцами зажег спичку, закурил, сделал несколько жадных затяжек, затем поднял телефонную трубку, набрал номер. Услышав частые гудки, положил трубку. Тут же снова поднял ее, снова позвонил. Опять положил, опять поднял, опять набрал номер. После четвертого или пятого раза ему ответили:

– Алло!

– Здравствуй, это я, – сказал он.

– Узнаю.

– Рена, я кое-что слышал...

Она ответила спокойно, даже равнодушно:

– То, что ты слышал, верно. Вечером к нам придут сваты.

Эльдар будто впервые увидел перекосившийся шпингалет оконной рамы, эту трещину в стекле, панораму города за окном: дома, дым, корабли...

Во дворе шофер никак не мог завести «Москвич», мотор выл, словно бормашина, затем умолкал.

Телефонная трубка молчала. В руке Эльдара был карандаш, он писал на листе бумаги, которая лежала на столе: «Эльдар, Эльдар, Эльдар Алескеров. Алескеров. Эльдар, Эльдар, Эльдар».

Рена сказала:

– Почему ты обижаешься на меня, Эльдар? Ты должен помнить наш разговор. Ты же сам заявил, что не собираешься жениться в течение пяти-шести лет. У тебя свои планы – поехать в Москву, учиться, снимать кино. Кто знает, что тебе еще захочется после этого? За это время ты, конечно, забудешь меня. Кто может сказать, что произойдет за шесть долгих лет? А меня сватают из хорошего дома. Парня я знаю. Неплохой человек. И мать говорит; не будь дурой. Вчера я...

Эльдар не стал слушать дальше, положил трубку, вышел из комнаты.

**\* \* \***

Сиявуша и Джавада пригласили на радио для участия в передаче о новом спектакле.

Записывать их на пленку должен был Эльдар. Он находился в аппаратной, отделенной от студии, в которой уже сидели Джавад и Сиявуш, толстой стеной с большим звуконепроницае­мым окном.

Сквозь это окно было хорошо видно все, что происходит в аппаратной, но если бы там выстрелили из пушки, в студию не проникло бы ни звука.

Сиявуш и Джавад тихо разговаривали. Они часто бывали в этой комнате, однако сейчас забыли про один ее секрет. Дело в том, что, если студийный микрофон был включен, каждое слово, произнесенное здесь даже шепотом, передавалось в аппаратную через мощный динамик. Человек в студии думает, что говорит тихо, он не может знать, что в соседней комнате его голос превращается в подобие грома.

Сиявуш и Джавад говорили о театре, постановке, предстоящей премьере. Эльдар, не обращая внимания на их болтовню, занимался своими лентами, бобинами, аппаратом – словом, готовился к записи. Но вот он невольно стал прислушиваться к разговору, происходящему в студии.

Сиявуш сказал:

– Не может быть! Ты правду говоришь? Неужели он сын Кябирлинского?

– Ах, ты не знал? – ответил Джавад.

– Нет, откуда?.. Ведь это мой студент – Алескеров.

– Теперь будешь знать. Недавно ты в его присутствии обругал Кябирлинского. Старик сильно обиделся на тебя.

Они рассмеялись. Сиявуш заметил:

– Кябирлинский – это уникум.

– На днях он поймал меня и начал просить: «Скажи, – говорит, – Сиявушу, пусть не обижает меня». Да, хорошо, что я запомнил... Я ведь собирался поговорить с тобой. Все забываю, Кябирлинский мечтает о звании. В тот день он поймал меня и говорит: «Скоро мне исполняется шестьдесят лет, скажи Сиявушу, пусть похлопочет о звании для меня».

– А ты бы сказал ему: знал бы лысый средство от плеши – он прежде испытал его на себе.

Они расхохотались.

– Я так и сказал. Говорю, послушай; «У нас есть такие киты, такие титаны, и те ничего не имеют, а ты о звании мечтаешь!..» Однако шутки в сторону, Сиявуш, жалко его. Пожилой человек, старик... Может, мы так сделаем: соберемся узким кругом и отметим его дату? Вручим грамоту, соберем деньги, купим ему какую-нибудь вазу, вот и все.

– Что ж, это можно, – согласился Сиявуш. – Но ведь ты зна­ешь, аппетит приходит во время еды. Дашь ему грамоту – придет, будет просить: прибавьте зарплату. Прибавишь зарплату – потребует: дайте мне главную роль.

– Нет, он не из таких, – сказал Джавад, – безобидный стари­кан, не задается, знает свое место. Но ты понял, о чем он гре­зит?.. Хочет, чтобы мы устроили для него в театре небольшой юбилей. Мечтает созвать родичей и упиться славой.

– Неплохо! Предлагаю образец афиши: «Юбилейный вечер Фейзуллы Кябирлинского! Отрывки из «Гамлета», «Отелло», «Невесты огня». Третий солдат Фортинбраса – Кябирлинский! Четвертый стражник Отелло – Кябирлинский! Второй скелет – Кябирлинский!»

– Вот ты смеешься, Сиявуш, шутишь, а, честное слово, если повесить такую афишу, народ соберется. Кто знает Кябирлинс­кого? Но у негодника громкое имя – Фейзулла Кябирлинский! Люди подумают, приехал какой-нибудь знаменитый артист.

– Да, ты прав, Джавад. Кябирлинский, Араблинский... Зву­чит. – Он обернулся к окну. – Однако почему этот сын Кябирлинс­кого так тянет? Пусть поскорее записывает нас! Ведь нам надо торопиться в театр.

Эльдар стоял, прислонившись к стене, бледный как полотно. Увидев, что Джавад за окном делает ему знаки рукой, резко повернулся и вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с Меджидом. Тот, увидев его, ухмыльнулся: вздернулась верхняя губа, сверкнули золотые зубы. Из большой родинки на подбородке Меджида торчали рыжие волоски.

– Привет, Кябирлинский! – сказал он. – Привет сыну второго скелета.

В тот же момент Эльдар залепил ему пощечину. Айдын бросился к ним из другого конца коридора, оттащил друга в сторону.

Вечером Эльдар и Айдын сидели за маленьким столиком в ресторане «Дружба». Ели осетрину, жаренную на вертеле, зелень. Перед ними стояла бутылка из-под водки и графинчик; они дополнительно заказали триста граммов, которые пока еще находились в нем.

Музыканты играли ритмические танцы. Были и танцую­щие. Особенно выделялась одна пара – парень с девушкой. Они не знали усталости. Танцевали по-современному, не в обнимку, а раздельно, каждый двигался самостоятельно. Они были связаны только взглядом.

Эльдар, выпив, повеселел. Казалось, это совсем другой человек. Куда делся угрюмый, замкнутый юноша?.. Он говорил и говорил:

– Айдын, думаешь, я не мог бы отделать как следует этого подлеца Меджида? Честное слово, я могу переломать ему ноги и ребра, превратить его в котлету. Но... Это невозможно. Почему? Потому что он побежит жаловаться, и меня уволят. А я не могу уходить с этой работы. Понимаешь, Айдын? Я должен работать еще два года. А через два года...

Айдын поинтересовался:

– Что же будет через два года?

Эльдар поднял голову, задумался, устремив глаза куда-то вдаль, на лице его появилось мечтательное выражение; он затянулся сигаретой, выпустил вереницу колец.

– О-о, через два года я получу диплом и уеду в Москву – на высшие режиссерские курсы.

– Поступишь ли?

– Почему не поступлю? В кармане у меня будет диплом...

Понял? Диплом! А кроме диплома – деньги... Понял? Деньги!

– Там деньги не помогут. Это у нас поступают в институт за деньги.

– Спокойно, не надо спешить с прогнозами. Я спрашивал и все узнал. Деньги отлично помогают и там. Короче говоря, у нас нужны наличные, там – подарки и прочее. Там ты должен угостить нужных людей. Там в приемной комиссии работают молоденькие девушки, женщины, заморочу голову одной, другой, и дело мое пойдет как по маслу.

Айдын расхохотался:

– Ай, хитрец!.. Так и скажи: мол, еду котовать.

– Нет!

Эльдар крикнул это так громко, что сидящие за соседними столиками обернулись в их сторону.

Юноша продолжал твердить с пьяным упорством:

– Нет, клянусь тебе, нет! Клянусь тобой, Айдын, нет! Клянусь матерью, нет! Вот только для того, чтобы поступить на курсы. А поступлю – конец!.. Тогда уже не будет ни девушек, ни ресторанов, ни ухаживаний, ничего постороннего!.. Буду день и ночь заниматься, Айдын! Не буду спать, не буду есть, не буду пить! Буду только учиться! Все постигну! А потом приеду сюда... – Он налил в стакан водки из графина, сделал большой глоток. – Ух, отрава! – Сморщился, закусил кусочком рыбы. – Да, приеду сюда... И тогда мы посмотрим... Вот тогда будет отличный спектакль! – Он пристально посмотрел в глаза другу. – Если бы ты знал, Айдын, что я сделаю с Сиявушем!..

Айдын усмехнулся:

– Сделаю его своим заместителем.

– То есть ты станешь министром?

– Еще не знаю... Но, во всяком случае, займу какую-нибудь большую должность. А Сиявуша возьму к себе заместителем.

– А вдруг он не захочет стать твоим заместителем?

Эльдар на мгновение задумался. Кажется, этот вариант не был предусмотрен в его воображении.

– Почему это не захочет? Я дам ему такой оклад, какой он пожелает. Даже больше моего. Но только он обязательно будет моим заместителем. Непременно! Я нажму кнопку звонка и вызову его к себе. Он войдет в мой кабинет, улыбнется. Но я не улыбнусь. Спрошу: «Что здесь смешного, товарищ Сиявуш? Может, и нам прикажете улыбаться?» Он скажет: «Нет, Эльдар, это я так...» Я обрежу его: «Не Эльдар, а товарищ Алескеров!.. Когда к вам домой придет гость, будете называть его Эльдаром, а здесь учреждение, здесь я для вас товарищ Алескеров. Кроме того, потрудитесь приходить на работу вовремя. Сегодня вы опоздали на пятнадцать минут...»

– Ты фонтан! – воскликнул Айдын. – Сиявуш лопнет от злости.

Эльдар радостно засмеялся:

– А ты как думал! С Джавадом знаешь, что сделаю?

– И его – в заместители?

– Не-ет. Джавад пусть останется на сцене, пусть играет.

Но во время каждого просмотра я буду вставать и говорить: «Джавад Джаббаров опять создал примитивный образ, опять не справился со своей ролью». А Меджида...

– Да, да, Эльдар, скажи, прошу тебя! – Айдын от удовольст­вия потер руки. – Что ты сделаешь с Меджидом?

– Уволю с редакторской должности и сделаю актером, но таким, чтобы он исполнял одну-единственную роль – шакала!

Снова заиграла музыка. Опять на площадку вышли те са­мые парень и девушка. Однако на этот раз танец был медленный, они танцевали обнявшись. Она прильнула к нему, положив голову на его плечо. Он рукой гладил ее волосы.

Айдын с нескрываемой завистью смотрел на них.

Эльдар предложил:

– Давай выпьем за тебя!

Выпили.

– Увидишь, что я еще сделаю! – похвастался Эльдар. Айдын спросил:

– А кем ты сам будешь?

– Сам я, Айдын, буду большим художником. Мастером! Все эти должности, ответственные посты – временное явление. В сущности, я отдам всего себя режиссуре и актерству. Буду и режиссером, и актером. У меня будет свой театр... Вот говорят: театр Товстоногова. Или там театр Охлопкова. Понимаешь? Я создам такой же театр. Свой!

– Само собой, машина?

– Конечно, будет и машина. Я сам буду водить ее, но и шофер будет. Всякий раз в день премьеры моя «Волга» будет подкатывать к дому Рены. Всякий раз от меня – десять билетов: ей самой, ее мужу. Пусть берет в театр кого хочет – мать, отца, подруг.

Айдын предложил:

– Выпьем за тебя.

– Выпьем. Знаю, Айдын, ты думаешь, я пьян. Клянусь тебе, я ни капельки не пьян. Смотри, сколько пью – не берет меня. Знаю, ты в душе не веришь мне. Возможно, смеешься... Но, клянусь, все это будет, все будет! Имя, машина, деньги!..

– Знаю, Эльдар, верю: все это будет. Только не скоро... Нам тогда будет уже много лет. Ты понимаешь, если бы все это было сейчас, сегодня, когда мы молоды!

Музыканты не спеша укладывали свои инструменты. Зал почти опустел. Часть светильников погасла.

Ветер с моря развевал шторы на окнах.

\* \* \*

– Он пришел пьяный в дым, – сказала Хаджар.

– Где он пил, с кем?

– Откуда я знаю? – Помолчав, добавила: – Бедняга пьет с горя. Молодой, хочет развлечься, погулять. Что он видел в жизни – твою физиономию?

В комнате было темно, Фейзулла повернулся на кровати в сторону жены:

– Знаешь, Хаджар, я все время думаю... Ты верно говоришь... Почему он должен страдать из-за меня? Почему должен стыдиться меня? Почему мы не откроем ему правду? Почему не скажем: «Детка, ты тоже сын большого человека! Твой отец был одним из самых избранных...»

Он не мог видеть в темноте лицо Хаджар. Но в тот же миг ощутил на своих губах ее ладонь. Она зажала ему рот. Шептала:

– Молчи, молчи... Слышишь?

Фейзулла и сам знал, что никогда не осмелится сказать Эльдару правду.

Это было давно. Искендер Мурадалиев ехал на «Победе» с женой и семимесячным сыном в Шушу на отдых. Опасаясь зноя, в дорогу двинулись под вечер. Июль выдался на редкость жарким. Смеркалось, когда в районе Хурдалана они подъехали к железнодорожному переезду. Шофер Искандера не заметил приближающегося поезда. Халатный стрелочник не удосужился опустить шлагбаум. На переезде водитель хотел переключить скорость – с третьей на вторую. Неожиданно заглох мотор, машина остановилась на пути поезда, который надвигался на них с неотвратимостью рока. Гамар, увидев набегающие огни паровоза, закричала, лишилась чувств. В последний миг Искендер, подчиняясь инстинктивному импульсу, выхватил ребенка из рук жены и выбросил из окна машины за полотно железной дороги.

Младенец остался жив. У него лишь была повреждена левая нога. Все остальные погибли. Когда тело Гамар омывали в мечети, из груди ее сочилось молоко.

У Хаджар и Фейзуллы детей не было. Они забрали ребенка, усыновили, вырастили, воспитали. Скрыли от него судьбу родителей.

\* \* \*

Наутро Эльдар сидел за столом и пил кефир. Голова его раскалывалась от боли.

Фейзулла побрился, оделся и хотел уходить.

– Фейзулла, – сказала Хаджар, – завтра у вас премьера, достань и нам билеты. Два – для нас: Эльдару и мне, два – для Ана-ханым, они просили.

– Я не пойду, – бросил Эльдар. Фейзулла развел руками:

– Трудно, Хаджар. Из-за билетов смертоубийство!

– Хорошенькое дело!.. – сердито передернула плечами жена, – он не может достать билеты в театр, где работает! Каким никчемным сотворил тебя Аллах! Удивительно!

– Ну, будет, будет, опять начала. Соседке ничего не обещай. Эльдар не хочет идти, а тебе я достану.

Спускаясь по лестнице, услышал сзади голос Хаджар:

– Смотри, без билета домой не приходи! Понял?!

Кассир замотал головой:

– Нет, нету, нету! Не осталось ни одного.

– Но ведь я работаю в этом театре.

– В театре работает двести семьдесят человек.

Он отравился к администратору.

– Клянусь тебе, Фейзулла, на завтра и послезавтра не могу ничего сделать, – заверил тот. – На один из ближайших дней – пожалуйста, сколько угодно билетов.

Он приуныл. Обращаться к Сиявушу ему не хотелось, одна­ко иного выхода не было.

В кабинет Сиявуша то и дело входили люди. Входили, выходили.

– Как это он не может прийти?! – кричал Сиявуш. – Придет, если даже околеет после этого! Завтра спектакль, а он номера откалывает!

Кто-то сказал:

– Сегодня утром умерла его теща.

– Пусть окочурится вся его родня, но завтра вечером он должен быть здесь. Кем я заменю его в этом бедламе?!

Зазвонил телефон, Сиявуш поднял трубку.

– Нет, – ответил он, – завтра вечером, послезавтра днем и вечером. Затем другой спектакль. Да.

Повесил трубку. Обернулся к стоящему у двери парню.

– Аслан, укажи в программе: вместо Салимова – Гаджиев. Сабир, а ты скажи, пусть завтра в спектакле на стол поставят не черный телефон, а белый. Тот, вчерашний.

Опять раздался звонок. Сиявуш взял трубку.

– Да... Да, это я, пожалуйста... Добрый день... Извините, сейчас нет возможности. Позвоните в понедельник.

Едва он положил трубку, телефон снова зазвонил.

– Да, да... Нет, на завтра ничего не могу сделать. Не осталось ни одного билета. Знаю, очень хорошо. Я весьма уважаю вашу газету, но завтра это невозможно. Я распоряжусь на послезавтра.

Положил трубку.

– Аслан, попроси Шарифу-ханым, пусть зайдет ко мне! – Он заметил стоящего в углу Фейзуллу. – Кябирлинский, а тебе что?

Фейзулла сделал шаг вперед.

– Сиявуш-муаллим, у меня к вам просьба... Поверьте, мне очень неудобно...

– Кябирлинский, не тяни. Говори, что надо?

– Может, вы мне... один билетик... на завтра...

Сиявуш решительно прервал его:

– Нет.

– Что?

– Я говорю – нет. Я не раздаю билеты. Напрасно ты пришел ко мне за этим. – Опять зазвонил телефон. – Да... Это я... буду... Извините, пожалуйста, сейчас буду. – Положил трубку. – У меня, Кябирлинский, и без тебя голова кругом идет. – И выбежал из комнаты.

Фейзулла медленно спустился вниз, вышел из театра, пое­хал в радиостудию.

Тяжело поднимался по лестнице. Что он скажет жене? С каким лицом вернется домой?

– Что с тобой, Кябирлинский? Отчего такой мрачный? Что-нибудь случилось?

Фейзуллу узнал голос Меджида. Поднял голову.

– Нет, ничего, Меджид... Просто думаю...

– О чем? К добру ли?

– Думаю, какой смысл жить на земле такому человеку, как я?

– Вот это да!

– Я прожил на свете шестьдесят лет, и выходит – зря. Чего я стою? Кто уважает меня? Завтра умру – никто не заметит, никто не вспомнит. Через месяц все забудут, как меня звали.

– Что это ты ударился в самокритику?

– Понимаешь, Меджид, иногда человек кладет перед собой папаху и начинает думать о прошлом. Вся моя жизнь проходит у меня перед глазами, как кинолента. Вижу, я в самом начале не шел по правильному пути. И вся моя жизнь полетела насмарку, а сейчас уже поздно.

– Что случилось, Кябирлинский? Это что за упадническая философия? Может, тебе что сказали? Оскорбили? Скажи, кто? Клянусь, я разделаюсь с мерзавцем. Не дам тебя в обиду!

– Эх, Меджид, Меджид!.. Сорок лет я работаю в театре, а к гардеробщику и то больше уважения. Меня за человека не считают. Никакого внимания. Даже билет на спектакль пожалели!

Они шли по коридору. Им встретился Эльдар. Увидев Фейзуллу и Меджида, отвернулся в сторону.

Это не укрылось от Меджида. В глазах его зажегся бесовский огонек, губы искривились ухмылкой.

– Не унывай, Кябирлинский, – сказал он и свернул в боковой коридор.

Фейзулла записал свою роль, перекусил в буфете булкой с кефиром. Вышел из здания. Кто-то окликнул его. Он обернулся. Меджид, высунувшись из окна второго этажа, махал ему рукой:

– Кябирлинский, вернись, пожалуйста!

Фейзулла пошел назад. Меджид встретил его на лестнице.

– Ты огорчил меня своим настроением, Кябирлинский, я был в месткоме, поговорил там. Вот тебе пригласительный билет на два лица. Но не в ваш театр, а в академию. И не на завтра – на сегодня. Завтра, я знаю, у тебя спектакль, ты занят. Хватай под мышку жену и ступай в академию, сегодня там грандиозное торжество. Вот, смотри, здесь написано: юбилей Данте – Данте великий итальянский поэт, жил семьсот лет тому назад. И еще смотри: я распорядился, чтобы тут написали твое имя и фамилию.

Фейзулла взял в руки пригласительный билет. Действитель­но, сверху было помечено: «На два лица». Дальше следовало:

«Уважаемый товарищ Фейзулла Кябирлинский!

Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный 700-летию со дня рождения великого итальянского поэта Данте Алигьери.

Первое отделение: доклад о жизни и творчестве Данте.

Второе отделение: большой концерт.

Начало в 20 часов».

Внизу дата – 11 мая. Как раз сегодня.

Меджид наставлял:

– Оденься получше, Фейзулла. Только непременно. Учти, там будет правительство.

У Фейзуллы задрожали губы:

– Большое спасибо, сынок, большое спасибо.

В горле его встал комок.

Фейзулла птицей взлетел по лестнице своего дома. Однако, войдя в комнату, постарался взять себя в руки, сказал степенно:

– Жена, собирайся. Сегодня мы идем на юбилей Данте.

– Куда?

– На юбилей Данте. Неужели ты не знаешь, кто такой Данте? Великий итальянский поэт!

Хаджар пожала плечами:

– Что мне там делать?!

– Разве ты сама не просила: поведи меня в театр, на кон­церт? Что театр и концерт в сравнении с этим? Ты знаешь, что такое юбилей? Торжество, праздник!.. Будет и доклад, и концерт. Пригласительные билеты дают не каждому.

– Тебе-то как дали? Что это сегодня случилось?

– Пришел и на нашу улицу праздник. Как-никак я сорок лет тружусь, поседел на сцене. Вот, даже имя мое указали. Приглашен персонально! Словом, жена, собирайся. Во-первых, погладь мой черный костюм...

Фейзулла разговаривал с женой в необычном для него тоне, с новой интонацией в голосе – повелительно, властно. И что самое удивительное, Хаджар принимала этот тон без возражений, подчинялась словам мужа. Достала из сундука его черный костюм, встряхнула, почистила, сбрызнула водой, аккуратно отутю­жила, сделала стрелки на брюках. Влажной тряпкой протерла его туфли, щеткой навела глянец.

К семи они были готовы.

Хаджар, улучив минутку, заглянула к Ана-ханым, оповести­ла ее о событии:

– Из Италии приехал знаменитый поэт, мы идем на его вечер. Приглашены только избранные люди Баку. Фейзулле дали персональный билет.

В этот сиреневый майский вечер на улицах было много гуляющих. Юноши и девушки шли под ручку. Фейзулла тоже взял жену под руку.

На Хаджар было черное панбархатное платье, плечи ее укрывала белая шелковая шаль; на ногах – черные лакированные туфли на высоких каблуках.

Впервые за много лет они шли по улице вот так, под ручку, впервые за много лет не пререкались, не ссорились и Хаджар не ворчала, а улыбалась.

– По всей вероятности, – говорил Фейзулла, – из нашего театра лишь мне одному прислали билет. Никто из ребят ничего не сказал. Если бы кто получил, тотчас бы начал хвастаться.

Было без пяти минут восемь, когда они подошли к зданию академии. Открыли тяжелую, массивную дверь, вошли.

Странно! В вестибюле было сумрачно и безлюдно. Они направились к широкой мраморной лестнице. Вдруг остановились, услышав чей-то голос. Кто-то негромко напевал. Звук резонировал в помещении, как в пустой бане:

Фаэтонщик-армянин.

Прокати разок один!

Фейзулла обернулся и увидел того, кто пел. Это был старик сторож. Он тоже заметил их. Перестал петь, шагнул в их сторону:

– Эй, вам кого?

Фейзулла важно протянул сторожу пригласительный билет, который заранее приготовил и держал в руке. Старик даже не взглянул. Только спросил:

– Что это?

Фейзулла объяснил:

– Мы на юбилей! – Видя, что сторож недоуменно хлопает глазами, добавил: – Разве юбилей не здесь? Юбилей Данте.

Сторож взорвался как граната:

– Вот, вот, каждый день чей-нибудь юбилей!.. Сегодня – Давыдова, завтра – Мамедова, потому в магазинах и спичек нет!.. Вчера с рук купил. Пять коробок... по пятнадцать копеек... Это что?!

Фейзулла и Хаджар растерянно смотрели на старика армянина, который изливал им свою душу. Наконец тот сказал:

– Нет, братец, сегодня здесь нет никакого юбилея. Вы ошиблись. Наверное, завтра будет. Завтра приходите.

– Но ведь здесь написано: одиннадцатое мая.

Сторож вышел из себя:

– Слушай, что тебе надо от меня?! Какой странный человек! Сказал тебе – нет, и все! Здесь никого нет, все разошлись по домам, работа закончилась. И вы идите домой.

На мраморной лестнице послышались шаги. Сверху спускался молодой человек в очках.

– В чем дело дядя Арестакес?

Сторож, нагнувшись, принялся наливать в банку чай из алюминиевого чайника. Он уже снова напевал что-то. Вскинул голову:

– Откуда я знаю? Говорит, пришли на юбилей... Я ему твер­жу: сегодня нет никакого юбилея. А он спорит со мной.

Молодой человек, подойдя к ним, поздоровался, взял из рук Фейзуллы пригласительный билет, пробежал глазами, улыбнулся:

– Кто-то подшутил над вами, отец. Юбилей Данте отмечали неделю тому назад.

– То есть как! Но ведь здесь указано – одиннадцатое мая.

– Это кто-то написал рукой. Говорю, подшутили. Ну, всего

доброго! – И он ушел.

Сторож опять затянул:

– Фаэтонтощик-армянин. Прокати разок один!

Они вышли на улицу. Фейзулла не смел взглянуть на Хаджар. Знал: сейчас она разразится бранью, станет поносить его: «Бездарный человек! Глаза бы мои не видели тебя! Я всегда говорила: никто не считает тебя за человека!» Однако жена молчала. Так, молча, они дошли до станции метро.

– Метро, – сказала Хаджар.

– Да, – глухо отозвался Фейзулла.

Он был мрачнее тучи. Неожиданно Хаджар сказала ласково, мягко:

– Может, покатаемся, а, Фейзулла!

Он уже забыл, когда она разговаривала с ним так. По­смотрел на нее.

– Если хочешь... Ты еще не была в метро?

После секундной паузы Хаджар ответила:

– Нет, ни разу.

На губах Фейзуллы появилось подобие улыбки.

– О, тогда ты получишь удовольствие! Это сказка.

Они вошли в метро. Он бросил в автомат пятачок.

– Иди!

Опустив еще монетку, последовал за женой. Пояснил:

– Если бы я не бросил пятак, ты бы не прошла. Тебя бы стукнуло по ноге.

– Да что ты?!

– Да, да, смотри, Хаджар, а это движущаяся лестница.

Она засмеялась:

– Ой, Фейзулла, как интересно!

Восторг жены все больше вдохновлял его. Он, как опытный экскурсовод, показывал ей все в метро, объяснял.

А Хаджар всему удивлялась, все ей нравилось, она охала, ахала.

Завтра, наверное, Хаджар снова будет браниться, ворчать, превращая жизнь Фейзуллы в пытку, но сегодня ей не хотелось обижать его, не хотелось, чтобы он знал, что вот уже два месяца, с тех пор как в Баку открылось метро, она каждое утро ездит на базар этой подземной дорогой.

*Июль, август 1968г. Загульба*

*Перевод Игоря Печенева*

## ЦЕЙТНОТ

## Роман

***Ни дел, ни времени.***

*Азербайджанская поговорка*

Глава первая

Было уже поздно. За полночь. Шел второй час. А завтра им рано вставать. Столько дел! Не будет ни минуты, ни секунды свободной. Закрутятся, завертятся – столько всего на них навалится! Сплошной цейтнот. Вечером – свадьба. После свадьбы – сразу же в аэропорт. Ночным рейсом, в половине третьего по бакинскому времени, улетят. Утром, в шесть по московскому времени, будут в Москве. Значит, завтра ночью им спать не придется – их первой брачной ночью. Поэтому сегодня ночью, этой переходящей в «завтра» ночью, их последней «холостой» ночью, которую они проводят врозь, им надо хорошо выспаться. Отдохнуть хотя бы до семи-восьми утра.

Фуад встанет в семь. Румийя может поспать до восьми – половины девятого. Значит, если они сейчас расстанутся – пока Фуад доберется до дома, пока ляжет, заснет, будет уже два, – он поспит хотя бы пять часов. Румийя после его ухода быстренько ляжет и может спать как минимум семь часов. И тогда завтра на ее лице не будет ни тени усталости. Как говорится, невеста с лицом ясным – как молодая луна, чистым – как родниковая струя ... яснее луны, чище струи...

Поэтому надо расставаться. Стрелки приближаются к половине второго. Надо, надо. Поздно уже.

Но они все никак не могут. Сейчас вот прощаются на лестничной площадке. Минут десять стоят здесь. Фуад курит, прислонясь спиной к перилам лестницы. Румийя почему-то держит в руках две чайные ложечки, ударяя их друг о друга. Плечом она прижалась к косяку полураскрытой двери.

Фуад пришел к ним ровно в девять. Уже более четырех часов они, по выражению Бильгейс-ханым, занимаются «трепо­логией». Но наговориться не могут.

Вначале Шовкю и Бильгейс-ханым были с ними. Когда Фуад пришел, они пили чай. На столе три сорта варенья, мелко наколо­тый сахар-рафинад, тонко-тонко нарезанный лимон и три ста­канчика армуду. Рядом с Шовкю лежали сегодняшние газеты. Телевизор работал, но они не смотрели. Шла спортивная передача, а спортом в этом доме никто не интересовался. Кроме Фуада. Однако Фуад еще не был обитателем этого дома. Он сел спиной к телевизору. Изредка оборачивался, смотрел на экран. И всякий раз взгляд его невольно скользил по огромному ковру справа на стене. Фуад, как и сам Шовкю, относился к этому ковру немного иронически. Профессиональный вкус обоих не мог приемлить столь банальную вещь. В центре ковра был выткан большой портрет хозяина дома, под ним – золотистыми петельками цифра «50». Ковер подарили Шовкю пять лет назад в день его юбилея.

Когда Фуад поздоровался и сел, Бильгейс-ханым поднялась, прошла на кухню и вскоре вернулась, поставила на стол еще одну хрустальную вазочку – с кизиловым вареньем. Фуад больше всего любил кизиловое, Бильгейс-ханым знала это.

Говорили о том, о сем, в том числе и о свадьбе.

Около одиннадцати Бильгейс-ханым, пожелав всем «спокой­ной ночи», удалилась в свою комнату. Шовкю остался.

В половине двенадцатого Фуад собрался уходить, но Румийя нарочно завела разговор на какую-то новую тему, и он снова опустился в мягкое кресло, достал сигареты, закурил, не предложив Шовкю. Его будущий тесть был некурящий. Разговор опять коснулся их сентябрьских планов. В сентябре Фуад должен перейти на новую работу – в систему Баксовета. Шовкю говорил о преимуществах, перспективах предстоящей работы. В сущности, это была его инициатива, его план, который и осуществлялся с его помощью.

В начале первого Шовкю тоже поднялся, ушел к себе. Не попрощался, но было ясно, что он идет спать. В том, что он не попрощался, не было «неучтивости», напротив – определенный такт: если бы он попрощался, Фуад мог бы понять это как намек: мол, поздний час, пора и тебе домой.

Их, его и Румийю, можно сказать, никогда не оставляли на­едине. Если даже родители были где-нибудь на своей половине или в кухне, они время от времени заглядывали под тем или иным предлогом сюда, в комнату с телевизором, где проходили встречи Фуада и Румийи.

В половине первого Фуад встал:

– Поздно уже.

Румийя сказала вроде бы немного обиженно, мешая русские и азербайджанские слова:

– Ну, раз кечдир, гет[[28]](#footnote-28).

Он опять сел.

Когда в соседней комнате часы пробили час, снова поднялся – быстро и решительно. В дверях обернулся:

– Думаешь, я забыл? Ты не показала мне свадебное платье, Рима.

– Завтра увидишь.

– Завтра увидят все. Я хочу быть первым. Как-никак...

– Мое платье ты увидишь только завтра, – твердо повторила Румийя. – Только! В первый и последний раз.

– Почему же в последний?

– У наших соседей дочь – Лалэ. Через неделю у нее тоже свадьба. Я продам ей платье.

– Да ты что?! – Он изумился. – В чем дело? Почему прода­ешь? Деньги нужны?

Румийя презрительно фыркнула:

– На днях примеряла при ней, Лалэ очень понравилось.

И я подумала: зачем оно мне после свадьбы? Длинное, белое, путается в ногах. Вот мы и договорились.

– Ого! Практичная девушка!

– А что? – Она улыбнулась, видя его удивление. – Или думаешь, это платье понадобится мне еще раз?

Долгое время Фуад не мог привыкнуть к шуткам Румийи. Точнее, не понимал, когда она говорит всерьез, а когда просто гак – болтает. Даже когда она бессовестным образом хохмила, лицо ее оставалось совершенно серьезным. Лишь на дне зрачков мерцали бесовские искорки. Постепенно Фуад научился их видеть, понимать. Научился, увидел и полюбил. Они стали ему столь же дороги, как и глаза Румийи, ее взгляд, ее голос. Как она вся! Как все, что имело к ней отношение.

Вот и сейчас глаза Румийи горели по-шайтански. Фуад поцеловал ее. Поцеловал в глаза. Девушка отпрянула. В переводе на слова это означало: «Стыд какой! Неудобно перед папой и мамой! И соседи могут увидеть». Разумеется, это не было сказано.

Родители, как и соседи, давно спали. Фуад опять взял Румийю за плечи, привлек к себе, хотел поцеловать в губы. Она вырвалась, зашептала:

– Потерпи. – На миг ее взгляд словно отрешился. – После­завтра мы в Москве. Даже завтра. Представляешь, Фуад? В «Рос­сии» нас ждет номер – три комнаты. Сегодня туда специально звонили. Папа распорядился. Будем вдвоем. Только ты и я. Днем и ночью. Представляешь?

– Представляю. – Его руки опять потянулись к ней.

– Ладно, хватит, иди.

Фуад резко отшатнулся от Румийи, сделал несколько шагов вниз по лестнице – торопливых, нервных. Остановился.

– Фуад!

Он вернулся к ней.

– Ради бога, Фуад, скажи музыкантам, пусть не играют, как чушки. Так грохочут – барабанные перепонки лопаются.

Он рассмеялся:

– Хорошо, скажу, не беспокойся.

Была середина мая – пора противостояния лихих весенних нордов и мощного дыхания накатывающегося лета. Прохладные дни чередовались с жаркими. Случалось, погода резко менялась несколько раз в течение суток.

Вечером, когда Фуад шел в дом своей невесты, с моря дул ласковый бриз. Он надел серый костюм и голубой галстук в белую полоску. Сейчас же, ночью, было безветренно и немного душно. Фуад почувствовал, что вспотел. Пиджак и галстук стесняли его. Он потянул вниз узел галстука, расстегнул ворот. Пройдя еще несколько шагов, снял пиджак, закатал рукава рубахи. Так и шел – пиджак на согнутой в локте левой руке.

Улицы были пустынны – ни людей, ни машин. Давно погас­ли огни реклам. Окна домов – слепые, темные. Горели только уличные фонари да неоновые светильники в витринах магазинов.

Он замурлыкал: «Свадьба – слышали?! Ах, ну и ну! Наш Мешдибад получит жену! Но когда же, когда он получит жену?!»[[29]](#footnote-29)

Не сон ли все это, Господи?! Он ли это – Фуад Мехтиев? Фуад Курбан оглу Мехтиев, сын Курбана-киши и Черкез-арвад, 1938 года рождения, место рождения – город Баку, образование высшее, архитектор, место работы – проектное бюро? Он ли это?!

«Я ли это? В два часа ночи, напевая, насвистывая, шагаю по бакинским улицам? Да, это я, именно я, никто другой! Я – Фуад Мехтиев, Фуад Курбан оглу Мехтиев, архитектор. Мне двадцать пять лет. И иду я... из дома самого Шовкю Шафизаде! Шовкю Шафизаде сидел за столом в голубой пижамной курточке из бумазеи, в мягких шлепанцах. Да, да, тот самый Шовкю Шафизаде! «Знаю, Фуад, ты любишь кизиловое варенье». Так говорит Бильгейс-ханым. Та самая Бильгейс-ханым! Черт возьми! Верно говорят: человек предполагает, а судьба располагает. Действительно, пути судьбы неисповедимы! Кто мог подумать пять лет назад, что я, бедный, рядовой студент Фуад Мехтиев, породнюсь с Шовкю Шафизаде?! С самим Шовкю Джамаловичем Шафизаде! «Фуад? Какой Фуад? Ах, вы говорите про зятя Шовкю Джамаловича?! Вчера были в загсе. Какой там испытательный срок! Ждать не пришлось даже полчаса. Один звонок Шовкю – и асс! Пришли – расписались».

Отец Бильгейс, восьмидесятидвухлетний Мухтар-киши, старый мясник, известный на всем Апшероне по кличке «Мухтар из Бузовнов», потребовал показать ему брачное свидетельство, хотел увидеть бумагу лично своими глазами. Вчера днем Фуаду пришлось вместе с Бильгейс-ханым поехать в Бузовны на машине Шовкю. Румийя увильнула от поездки под каким-то предлогом. Мухтар-киши уже несколько лет не покидал поселка, точнее, своего дома в Бузовнах, почти не выходил за пределы двора. Редко, может раз в год, появлялся в чайхане, что возле мечети. В Баку же в последний раз был – дай Бог памяти! – двадцать пять лет назад, когда поженились Шовкю и Бильгейс. Бильгейс была дочерью от его первого брака. От второй жены у него был сын, который не вернулся с фронта. Последняя жена Мухтара-киши – Хейранса (сейчас ей было сорок три года) родила ему двух девочек и мальчика. Одной тетушке Румийи было 17, второй – 15, а дяде – 12 лет. Мухтар-киши долго смотрел в брачное свидетельство тусклым, угасшим взором. Он словно не поверил Фуаду и Бильгейс, попросил позвать сына Малика. Тот прочел ему содержание документа. Отец попросил прочесть еще раз. Лишь после этого сказал: «Да поможет Аллах!»

Сейчас свидетельство о браке лежало в кармане пиджака Фуада, в его паспорте.

Но... Откуда опять это странное чувство? Знакомое еще с детства. Смутный страх, непонятная тревога.

Когда у Фуада все было хорошо, когда дела шли так, как надо, когда ему, как говорится, везло, в нем вдруг исподволь, на самом дне его души, возникало ощущение безотчетного страха, беспокойства, тревоги. Возникало и начинало потихоньку гло­дать его изнутри. Страх, что вот-вот что-то случится, произойдет какая-то неприятность. Вот и сейчас. Да что это с ним? Ведь он только что был на седьмом небе от счастья. А вдруг это против­ное чувство. Почему, отчего? Откуда в нем этот страх? Что в основе дурного предчувствия? Что-то неожиданно случится? Но что? Что может случиться? Завтра свадьба, их свадьба. Нет силы на свете, способной помешать этой свадьбе, расстроить этот брак. Невозможно! Смешно даже думать! Затем... они летят самолетом в Москву. Ага, может, его беспокойство связано с предстоящим полетом? Скажем, катастрофа в воздухе? Нет, это уж слишком, прямо мелодрама какая-то! А жизнь – не мело­драма. Вообразить такое! Ты празднуешь свадьбу, приглашаешь сто человек гостей, ресторан, оркестр, то-се, и в конце концов – глупейшая смерть?! Но, с другой стороны, в нашей жизни слу­чаются и такие нелепые, нелогичные вещи, как авария рейсового самолета. У почтенной безносой дамы бывают весьма странные, бессмысленные причуды и капризы! Говорят же: от смерти никто не застрахован. Порой человек глазом не успеет моргнуть, как уже отдыхает от земной суеты (а может, напротив, тоскует по ней) на том свете.

Представляешь, Фуад?!

Свадьба, дым коромыслом, веселье, торжество, от кларнета глохнут уши, тосты, подарки, пожелания, поздравления: «Будьте счастливы! Вместе векуйте! Красивых вам деток! «

И вдруг – катастрофа?

«Ах, они просто созданы друг для друга! Невеста – тьфу, тьфу, не сглазить бы, машаллах! – как молодая луна. И жених гоже – машаллах! – способный парень, говорят! Да пошлет им Аллах долгой жизни!»

И вдруг – катастрофа?!

«А где молодые будут жить?»

«Как где? Наверное, у жениха, в доме его родителей».

«Не-ет, говорят, у них квартира не ахти. Разве Шовкю позволит, чтобы его любимица, свет его очей, нуждалась в чем-нибудь? К тому же – единственная дочь у родителей. Не отдадут в чужой дом, возьмут парня к себе. Машаллах, в таком дворце живут! Кому все останется? Две из пяти комнат отдадут молодым».

«Да нет нее, разве вы не слышали? Шовкю купил дочери кооперативную квартиру, в том самом доме, что строится на набережной. Через две-три недели будет готов. Туда и переедут молодые».

И вдруг – катастрофа?!

«Господи, несчастье-то какое! Бедняжки! Проклятье тому, кто сглазил их! Погибнуть в ночь своей свадьбы! Ужас, кошмар!»

Интересно, спасся ли кто-нибудь?»

«Откуда?! Самолет грохается на землю с седьмого неба – разве кто уцелеет?»

«Тот случай, когда действительно надо сказать: костей не собрали».

«Говорят, Шовкю... того, заговариваться начал, не узнает никого».

«А что удивительного? Единственная дочь. Дышать на нее не смел, птичьего молока только не было у нее, воспитал, вырас­тил – и вдруг в свадебную ночь такое несчастье. Как снег на голову!»

«Да, друзья, для смерти законы не писаны. Учтите это. Слышали про несчастье Шафизаде? Ах да, вы ведь тоже были на свадьбе, мы сидели с вами друг против друга. Бедняжки! Гово­рят, со свадьбы, прямо из ресторана, помчались в аэропорт, едва не опоздали на самолет. Говорят, так гнали машину, так гнали – боялись не успеть. Оказывается, спешили к своей погибели».

«Несчастные! Даже не познали долгожданного блаженства, сладостного мига...»

«Бедная мать! Волосы рвала на себе. Так убивалась, так причитала: «Ах, доченька, ушла от нас чистой невестой, не­порочной девушкой!»

«Парень, говорят, был архитектором. Не случись этой беды, Шовкю продвинул бы его до небес! Сына у Шовкю не было. Кто может быть ближе зятя?»

«Тьфу, чертовщина какая-то! – Фуад достал сигарету, заку­рил. – Ну и чепуха лезет в голову! Фуад Мехтиев, не сходи с ума от счастья! И свадьба у тебя будет как надо, по всем правилам, и самолет твой благополучно приземлится в Москве, и три комна­ты в «России», и сладостный, долгожданный миг... Словом, пол­ное исполнение желаний. Счастливчик! Везун! Плутишка!»

Фуад улыбнулся и опять замурлыкал: «Свадьба – слышали?! Ах, ну и ну! Наш Мешдибад получит жену! Но когда же, когда он получит жену?! Но когда же?..»

Внезапно тишина и покой ночной улицы были нарушены. Слух Фуада уловил неясные звуки человеческого присутствия. Он сделал еще шагов двадцать – тридцать, остановился на углу сквера, замер. И услышал, как кто-то негромко воскликнул:

– Ради бога, Наджаф, пожалей мою мать! – В голосе мольба и слезы. Мужской голос. Голос молодого человека, немного картавый. – Прошу тебя! Ради твоего брата, который в тюрьме! Я единственный сын у матери. У нас никого больше нет!

Люди находились где-то очень близко. Отчетливо слыша­лось каждое слово, каждый звук. Похоже, дрались. Сколько же их? Тяжело дышат. Опять тот же картавый голос, с мольбой и отчаянием:

– Ради бога, Наджаф, заклинаю тебя Меккой, не убивайте меня! Клянусь могилой отца, я сделал глупость! Я – глупец, дурак! Зачем я это сделал?! Ах, зачем я это сделал?!

Другой, тоже молодой голос, сказал:

– Сука! Акпер загремел из-за тебя! Думаешь, ему хорошо там сейчас?!

Наконец Фуад увидел их, вернее, их силуэты. Они находи­лись за сквером, ближе к перекрестку. Деревья сквера, шпалера кустов мешали ему разглядеть их. Он сделал еще несколько осторожных шагов и увидел «Москвич», стоящий у тротуара. Задняя дверца была распахнута. Двое тащили к машине треть­его, того самого, который умолял. Его волокли, схватив под руки, тело бедняги было полусогнуто. Он упирался изо всех сил, пытался вырваться, но его крепко держали. У раскрытой двери стоял четвертый. К нему-то и были обращены мольбы картавого.

Фуад разглядел; все четверо были молоды.

– Прошу тебя, Наджаф, пощади! – причитал картавый. – Клянусь Богом, я не знал... Умоляю!

«Трус, – подумал Фуад. – Раз трус, значит, продажный. Видно, предал кого-то. Сейчас они с ним рассчитаются».

Картавого подтащили почти к самой машине.

– Умоляю тебя, Наджаф, умоляю! – просил он приглушен­ным голосом. Явно боялся поднимать шум. Да и кто бы пришел ему на помощь в этот час ночи? А если бы даже кто и попытался помочь, все равно ничего не вышло бы: они мгновенно прикончили бы его. Картавый понимал это и потому не кричал, не попил, лишь взывал к милосердию человека по имени Наджаф, который стоял у распахнутой дверцы машины. Очевидно, этот Наджаф был здесь главный.

Наджаф сказал брезгливо:

– Ты, сука, гнида! Ты подохнешь... но хоть подохни как муж­чина!

– Наджаф, пожалей мою мать!

– ...я и мать твою, и сестру! – выругался Наджаф.

«Теперь смерть неизбежна, – подумал Фуад. – Или оскорб­ленный должен умереть, или оскорбитель. При свидетелях заде­та честь матери и сестры. Отныне этим двоим будет тесно на огромном земном шаре: один должен обязательно умереть, дру­гой будет жить. Если оскорбленный останется в живых, он найдет случай и убьет оскорбителя. Непременно. Только вряд ли ему быть в живых: он у них в руках. Их трое, он один. Затолкают в машину, увезут куда-нибудь, прикончат, затем – камень на шею и в море со скал. Даже трупа никогда не обнаружат...»

Воображение мгновенно с безжалостной натуралистич­ностью выдало ему несколько сцен – «стоп-кадров» из финала трагедии, невольным свидетелем которой он стал. Кошмар! Фуад содрогнулся. Только сейчас до его сознания отчетливо дошло, что речь идет о живом существе. Пусть трус, продажный, без достоинства, но все-таки человек! Человек! Еще живущий, дышащий, умоляющий, вспоминающий мать! А через полчаса, час его не будет на свете! Не будет этого прерывистого дыхания, слов мольбы, упоминаний матери... Допустим даже, потом милиция нападет на след, допустим, убийц задержат и накажут, но покойнику будет уже все равно. Все решается сейчас, в эти вот секунды, пока человека еще не затолкали в машину! Если сейчас к нему не придут на помощь... Кто придет? Улица пустынна. Единственный свидетель происходящего – он, Фуад.

Как только он подумал об этом, новые сцены – «стоп-кадры» быстро-быстро замелькали в его воображении. Он должен вмешаться. Должен помочь. Пусть их трое, все равно! Он должен что-то сделать. Должен! Должен!! Надо закричать, поднять шум. Может, кто услышит? Очевидно, они вооружены. Ножи? Писто­леты? Возможно, и то и другое. Можно взять в руки камень.

«Подойду поближе, закричу диким голосом. Затем начну выкрикивать наобум имена, звать, будто рядом мои товарищи. Может, испугаются? А если нет? Тогда...»

Фуад неоднократно видел во сне свою смерть. Впрочем, не совсем так: не самою смерть. Последних, самых роковых секунд он не видел. За несколько мгновений до кончины просыпался. Но все, что происходило и говорилось до этого финального момента, он видел и слышал во сне не раз, со всеми деталями, во всех подробностях – четко, ясно, как наяву: место, лица, мотивы, угрозы и, наконец, орудие преступления. Во сне его почему-то всегда убивали ножом. Может, эти сны были своего рода пред­вестниками того, что должно было произойти впоследствии, а именно – этой ночью, являлись символами трагического собы­тия, таинственным образом предопределенного и спланирован­ного где-то заранее? Вещие, пророческие сны? Сны-предчувствия?

Значит, все?! Его, Фуада, песенка спета? Конец? Катастро­фа? Вот она – катастрофа! Что еще может помешать его завтраш­ней свадьбе? Вот она – катастрофа! Мелодрама. Но не после свадьбы, а до – накануне ночью. И не оба, только жених... Румийя становится вдовой: ведь официально она уже его жена; вот оно, свидетельство о браке, – в кармане его пиджака, и печать загса у каждого в паспорте. Немного поплачет Румийя. Потом утешится. Как в тот раз. Как в истории с Охотником. Охотника заменил он, Фуад. Теперь кто-нибудь заменит его. Найдется... Разумеется, родители не оставят Румийю в беде, позаботятся. Успокоят, уте­шат, развлекут, увезут куда-нибудь путешествовать. Затем выда­дут замуж. Через три месяца, через шесть, через год. Интересно, в том ли ресторане будет свадьба? И в «России» три комнаты? И... «пусть музыканты не играют, как чушки»? А свадебное платье? Будет продано соседке (самой не пришлось надеть – не судьба!), или Румийя оставит платье себе – для будущей свадь­бы?

Господи, какие странные мысли лезут иногда человеку в голову!

Голова и туловище приговоренного к смерти были уже засунуты в машину, только ноги оставались снаружи, он все еще сопротивлялся. Ноги словно приросли к тротуару, который был сейчас для человека как бы последней пядью его жизни. Трое парней никак не могли оторвать от земли эти упорствующие ноги, не могли захлопнуть дверцу машины.

«– Стойте! – закричал Фуад что было силы. – На помощь! Эй-эй, на помощь! Человека убивают! Шовкю, Ахмед, Мамед! Сюда! Скорей! Скорей!

Бегом пересекая сквер, заметил камень, схватил его, подбежал к машине. Размахнулся, ударил камнем одного из парней сзади по голове. Тот отпустил руку приговоренного и, привалясь боком к заднему крылу «Москвича», рухнул на колени. Фуад вцепился в освободившуюся руку несчастного, рванул на себя, стремясь вытащить туловище из проема дверцы... и в этот момент ощутил под лопаткой жуткий холод, затем чудовищную боль, его спина будто окаменела. Что-то произошло и с головой: мозг в черепной коробке словно мгновенно высох, сжался до размеров теннисного мяча и в следующую секунду взорвался, брызнул, потек через глаза, нос, уши. Фуад почувствовал, что ослеп, затем почувствовал, что он умирает, и после этого уже ничего не чувствовал...»

«Бильгейс-ханым утирала слезы кончиком черного голов­ного платка и скорбно говорила Румийе, припавшей лицом к лицу покойника:

– Детка моя... несчастная... доченька... Кто же это проклял твою судьбу?.. Пусть и его дети обольются горькими слезами!.. Пусть захаркают кровью!.. Опять тебе не повезло... Опять счастье отвернулось от тебя... Родненькая моя...

Шовкю давал указание кому-то из родственников:

– Нужен лед. Жарко. Тело начнет разлагаться. – Затем, по­дозвав другого родственника, распорядился: – У меня в кабинете на столе лежит список приглашенных на свадьбу. Принеси. Может, кто еще не слышал о нашей беде, вечером придет в ресторан. Нехорошо, опозоримся. Позвони каждому. Ясно? Каждому! Объясни: мол, так и так, свадьба обернулась бедой. И в ресторан позвони, скажи, заплатим все, как положено, пусть не беспокоятся...»

«Фуада похоронили рядом с могилой его бабушки. Когда прибивали крышку гроба, перед тем как опустить гроб в могилу, Румийе сделалось плохо. Ей дали понюхать нашатырь, лицо окропили водой. Две женщины под руки повели ее к машине. Лицо Румийи опухло от слез. Она едва передвигала ноги, припа­дая телом к плечу то одной женщины, то другой.

Шовкю тоже взял в руки лопату, бросил в могилу немного земли...»

«Отец Фуада Курбан-киши умер от инфаркта. Мать Черкез-арвад не перенесла двойного горя и тоже вскоре скончалась...»

«Ровно через год и месяц, в июне, Румийя вышла замуж. За архитектора. Кооперативный дом к тому времени был построен. Молодые прямо со свадьбы поехали в свою новую квартиру. Спустя неделю отправились в свадебное путешествие. В конце августа, к виноградному сезону, вернулись в Баку, две недели жили на даче Шовкю, вдоволь поели винограда, инжира, накупались в море, позагорали на песке. В сентябре Шовкю устроил мужа Румийи на работу в систему Баксовета, на то самое место, на место Фуада.

Мужа Румийи звали...

Фуад не знал его имени...»

Глава вторая

– Первиз, ты взял завтрак?

– Да, мама, взял.

– Сколько у тебя сегодня уроков, пять?

– Да, пять.

– Джейхун, а у тебя сколько? Три?

– Четыре, мама.

– Подождешь Первиза. В половине первого за вами заедет Касум, отвезет вас к Курбану.

– Это еще зачем? – спросил Первиз.

– Звонила Черкез. У него опять давление поднялось.

Разговор шел по-русски.

«Черкез? Курбан?»

Он не знал, что жена, разговаривая с детьми, называет свек­ровь и свекра по именам. Не «дедушка», не «бабушка», просто «Черкез», «Курбан». А как же она называет его родителей, когда обращается к кому-нибудь из них лично? Этого он не мог вспом­нить, как ни старался. Кажется, Румийя вообще избегала назы­вать их как-либо в личном общении. Разговаривая с мужем, когда речь заходила о его родителях, говорила; «твой отец», «твоя мать».

Утром, как обычно, Фуад проснулся, разбуженный голоса­ми и шумом детей. Они и Румийя вставали на час раньше, чем он, – в семь. Румийя кормила сыновей, клала им в портфели: завтраки; без пятнадцати восемь Касум отвозил ребят в школу и возвращался за Фуадом. Фуад вставал в восемь, брился, завтракал и без пятнадцати девять спускался вниз. Ровно за двенадцать минут Касум довозил его до работы.

Фуаду не нравилось, что сыновья ездят в школу на машине. Но так уж повелось. Когда семь лет назад Первиз пошел в первый класс, они побоялись отпускать его одного. Но тогда было удобно: Первиз учился во второй смене; Фуад ездил в перерыв домой (тогда шофером был не Касум – Хачик), обедал и, возвращаясь на работу, по дороге завозил Первиза в школу. С третьего класса мальчик начал ходить в школу самостоятельно. Но два года назад пришла школьная пора Джейхуна. Ему тоже повезло, он тоже занимался во вторую смену, и Фуад, возвра­щаясь на работу с обеденного перерыва (он работал уже на новом месте, шофером был уже Касум), подбрасывал младшего сына в школу, а заодно и старшего, как прежде. В этом году и Джейхуна и Первиза перевели в первую смену. Теперь Касуму приходится приезжать на час раньше.

Касум был своим человеком в доме. Когда-то он работал шофером у Шовкю. Румийя выросла у него на глазах. Когда Фу­ад перешел на работу в управление, именно Шовкю посоветовал ему взять шофером Касума. Потому-то Касум и не роптал, начиная свой рабочий день на час раньше. Надо сказать, Фуад относился к нему с должным уважением (опять же по совету Шовкю), отпускал с работы пораньше, не замечал несообразно растущих цифр на спидометре. Он знал, что Касум не хапуга, не рвач, хорошо смотрит за машиной, не похож на жуликоватых шоферов, растаскивающих машины по частям, заменяющих новые, неизношенные детали старыми.

«Если даже халтурит немного – пусть, на здоровье: у него большая семья», – рассуждал Фуад.

Касум был предельно обязательный и исполнительный: «Понял, слушаюсь, Фуад-гардаш[[30]](#footnote-30), ровно в половине восьмого буду у подъезда», «Румийя, доченька, твое слово – закон, ровно в половине второго буду в твоем распоряжении».

Однако, как бы там ни было, Фуаду не нравилось, что дети ездят в школу на его служебной машине. Прежде всего, на такие вещи плохо смотрят. Особенно в последнее время к этому стали слишком серьезно подходить, говорят: использование государст­венной машины в личных целях, и так далее. Шила в мешке не утаишь. Обязательно кто-нибудь куда-нибудь напишет, некраси­во получится. А что делать? Отводить детей самим? Кто будет отводить? Румийя? Исключено. Он, Фуад? У него в течение дня ни минуты, ни секунды свободной: от дел голова кругом идет. Сплошной цейтнот!

Мысленно сказал себе: «Потрудись вставать на час пораньше – отводи». И сам же себе возразил: «Невозможно. Ведь раньше двух, трех ночи не ложусь, и так – ежедневно! Имею я, бедняга, право поспать в сутки хотя бы пять-шесть часов? Легко ли выдержать напряженный день после бессонной ночи?»

«Пусть жена отводит, – вмешался воображаемый оппонент. – Она не работает. А что? Подумаешь...»

На этот довод Фуад не нашел верного, исчерпывающего ответа. Как он мог объяснить гипотетическому собеседнику, что Румийя никогда не станет провожать Первиза и Джейхуна в школу и из школы? «Я и без того недосыпаю, встаю в семь, готовлю завтрак для твоих детей, кормлю их, пою, одеваю, собираю... Этого, видите ли, мало – я должна еще отводить их в школу?! Хорошенькое дело! А для чего тогда машина? Только для того, чтобы возить туда-сюда ваше величество? Имей в виду, Фуад, если тебя что-то смущает в данном вопросе, есть какие-то сложности, я скажу папе, и он каждое утро будет присылать свою машину», – так бы ответила Румийя. То же самое сказал бы и Шовкю, и Бильгейс-ханым. Будь Бильгейс-ханым жива, она сказала бы именно так.

Существовала и другая причина его недовольства поезд­ками детей в школу на служебной машине, но эту причину Фуад никогда никому не мог бы сказать. Поездки Первиза и Джейхуна в школу на машине напоминали ему кое-что из его детства. Большая часть человечества, как известно, вспоминает детство с чувством эдакой легкой, приятной грусти. Фуад же ненавидел свое детство. Всякий фрагмент из той поры его жизни, когда таковой вдруг возникал в его памяти, пробуждал в нем лишь горечь, досаду, раздражение.

В те времена было не так уж много родителей, имевших персональные машины. А владельцев личных автомашин вообще, можно сказать, не было; во всяком случае, в школе, где учился Фуад, таковые отсутствовали. Родители же, имеющие служебные машины, хоть изредка, но встречались. Сын одного из таких людей оказался в одном классе с Фуадом. Больше того, они сидели за одной партой. Только что закончилась война. Отец этого мальчика занимал высокий пост в каком-то министерстве. У него была машина марки «БМВ». Память Фуада не сохранила ни имени мальчика (Рамиз? Рашид? Расим?), ни черты его лица. Одно лишь он помнил; у Рамиза-Рашида-Расима были кудрявые волосы. Мелкие такие кудряшки, как у баранчика. Рамиз-Рашид-Расим пришел к ним в первый класс с опозданием на две недели. Была середина сентября, занятия в школе давно начались. Первоклассники прошли уже несколько букв. Правда, Фуад еще за полгода до школы знал весь алфавит и даже мог читать по складам. Считал до ста. Опоздавший новичок тоже, оказалось, знает все буквы. И считать умел. Правда, вместо «шесть» говорил «шест», но счет знал и после ста. Опоздал на две недели, однако ничего не потерял. Не отстал от других.

Почему-то его посадили за парту рядом с Фуадом. Сейчас-то Фуад понимает, почему мальчика посадили именно с ним, точнее, почему это место две недели сохраняли для Рамиза-Рашида-Расима. Отец Фуада – Курбан-муаллим – работал учителем в этой же школе. Тогда он еще не был директором. Директором Курбан-муаллим стал через год, когда Фуад учился во втором классе. Курбан-муаллим вернулся с фронта за месяц до окончания войны. Грудь в медалях, и даже два ордена было на ней. Но одну ногу он оставил там, на чужбине, – в последние недели войны. В то время учителя в школе не только побаи­вались строгого, сурового Курбан-муаллима, но и уважали. Да еще как! Он был для всех авторитетом. Заслуженный фронтовик! Случалось, его именем даже клялись. В то время было еще так, – отношение к нему изменилось потом.

С первых же дней в школе и к Фуаду отнеслись по-особен­ному – из-за отца. Их учительница Мина-муаллима посадила его за первую парту перед своим столом. Одного. Пока одного. Второе место рядом с ним оставалось свободным. Очевидно, в школе – директор, учителя – знали, что Рамиз-Рашид-Расим задерживается. Короче, в середине сентября он пожаловал и сел рядом с Фуадом. Они были сверстниками, но Фуад был ниже его на целую голову.

В первый же день выяснилось, что он, Фуад, не испытывает особых симпатий к своему соседу по парте. На то было несколь­ко причин, а точнее – три. Первая: Рамиз-Рашид-Расим оказался самым рослым в классе. Вторая: на руке у него красовались золотые часы. И, наконец, третья...

Третье обстоятельство, из-за которого Фуад не мог принять новичка, обнаружилось после окончания уроков. Ребята вышли на улицу вместе. Перед школой стояла машина марки «БМВ». Рамиз-Рашид-Расим подошел к машине, сел рядом с шофером и укатил. Ни с кем даже не попрощался. Может, потому, что ни с кем еще не был хорошо знаком?

На следующий день Фуад пришел в школу пораньше.

Встал в вестибюле за высокими стеклянными дверями, на­чал наблюдать за улицей. Минут за пять до звонка перед школой остановилась машина марки «БМВ», из которой вышел Рамиз-Рашид-Расим.

Когда они учились в третьем классе, Рамиз-Рашид-Расим вдруг перестал посещать их школу. Фуад до сих пор не знает: то ли родители перевели его в другую школу, то ли семья вообще уехала из Баку? С того дня он, ни разу нигде не встречал своего соседа по парте. Правда, кто знает, может, потом, взрослыми, они и встречались где-нибудь, даже вновь познакомились – так, шапочно, мимоходом? Сколько подобных знакомств было у него за эти годы! Не узнали друг друга. Вполне возможно. Впрочем, Фуад не мог бы точно поручиться, что такая встреча имела место. Хотя и отрицать подобную вероятность не мог. Фамилию Рамиза-Рашида-Расима он не помнил. Может, Курбан-киши помнит? Вряд ли. Сотни учеников прошли через жизнь Курбан-муаллима более чем за три десятка лет. Может, он помнит его отца? Много ли было в те годы в их школе родителей с «БМВ»?

Может быть, этот Рамиз-Рашид-Расим сейчас известный человек? Фуад усмехнулся про себя: «Во всяком случае, это не Рамиз Миришли. Не Расим Балаев. И не Рашид Бейбутов»...

А может, его звали совсем не так? Допустим, Касум? Нет, только не Касум. Он точно помнит: имя начиналось с буквы «р».

Рустам? Рагим? Рафик? Или же «р» была в середине, или в конце? Ариф, Башир, Джафар?

В памяти Фуада осталось: его сосед как-то особенно приятно произнес эту букву «р» в своем имени в первый день появления в классе – и девочки зашушукались.

Господи, сколько страданий доставил ему проклятый «БМВ»! Как он мечтал прокатиться на этой машине! Хотя бы разок. Странно, но отголоски этого кажущегося на первый взгляд смешным, пустячным желания даже сейчас продолжали жить в его душе – однако не в виде забавного воспоминания; это ощущение в нем было сродни зависти, ревности, терзаниям из- за попранного достоинства, сродни горечи и боли из-за несбывшейся мечты, обладающей необоримой, притягательной силой. Когда время от времени навязчивые, нестираемые картинки далекого прошлого оживали в памяти Фуада и, мель­кая, мельтеша, беспорядочно проносились перед его мысленным взором, он понимал, что его двойственное, противоречивое – и тяга, и ненависть! – отношение к кудрявому мальчику, ездившему на «БМВ», не было случайным. Мальчик был посланцем другого мира, представителем иного образа жизни. Жизни, где носят золотые часы, ездят на «БМВ», где летние развлечения стоят того, чтобы занятия в школе откладывались на две недели. Таинственный отблеск этой жизни и манил, притягивал к себе Фуада, и в то же время, представляясь недосягаемым, порождал в нем скрытую зависть, неприязнь, злобу. Да и сам мальчик давал повод для зарождения в сердце его семилетнего сверстника всех этих сложных чувств, которые вступали в схватку между собой, гибли и вновь воскресали. Мальчик очень быстро сошелся со всеми ребятами в классе. Фуаду же выказывал особое располо­жение. Следствием этого расположения явилось то, что неделю спустя Фуад получил привилегию сесть в «БМВ».

Несколько дней подряд после уроков Фуад и Рашид-Расим-Башир-Ариф, словом, тот самый кудрявый мальчик, уезжали вместе на машине марки «БМВ»,

Фуад жил в противоположной стороне. Несмотря на это, он ехал с мальчиком до самого его дома, здесь они оба выходили из машины, шофер уводил мальчика по лестнице на третий этаж, а Фуад шел назад два квартала, затем садился в трамвай.

Так продолжалось, может быть, с неделю. В один из дней, во время первого урока, кудрявый мальчик вдруг придвинулся к Фуаду и шепнул ему на ухо:

– Сегодня ты не поедешь на машине.

Заявление было столь неожиданным, что смысл его вначале не дошел до Фуада, ему показалось, он что-то не так понял, не расслышал хорошо. Обернулся к соседу:

– Что?

Фуад помнит отчетливо, как сейчас: мальчик улыбался. Он улыбался ласково, добродушно. И так улыбаясь, он тихонько повторил, не оборачиваясь, не глядя на Фуада:

– Сегодня я не возьму тебя в машину.

Самым страшным, как считал впоследствии Фуад, было то, что он не дал повода для столь внезапного сурового отношения к себе. Ни малейшего. Ни словом, ни поступком – нигде, ни в чем, ни даже вот столечко! – он не обидел, не задел товарища. Накануне они дружески расстались. В тот день утром так же дружески поздоровались. И вдруг неожиданное наказание! За что? Причина? Может, мальчику дома велели так сказать? Впрочем, в ту минуту, тогда, на уроке, мысль о родителях мальчика как источнике-первопричине вынесенного приговора не пришла ему в голову. О возможном вмешательстве их Фуад подумал гораздо позже, спустя много лет, – да, порой он вспоминал этот эпизод, врезавшийся в его сознание. Однако, подумав об этом, он отверг такую вероятность. Проанализировав факты, Фуад понял наконец, в чем суть дела, и был уверен, что понял все правильно и точно. Причина этого неожиданного заявления заключалась в прихоти избалованного человека, чувствующего свою силу, получающего удовольствие, унижая ближнего, давая этому ближнему щелчок по носу. Жестокость к слабому – вот где был исток. Разумеется, кудрявый мальчик не действовал по заранее намеченному плану, не ставил перед собой конкретной задачи – во что бы то ни стало оскорбить Фуада. Он это сделал, как теперь часто говорят, спонтанно, то есть самопроизвольно, в приступе внезапного каприза. И неизвестно, сохранилось ли в нем с годами, гораздо позже, уже в зрелом возрасте, это отрицательное свойство, или же оно умерло, изжило себя на уровне детской жестокости?

Как бы там ни было, тогда, на уроке, это категорическое заявление-приговор – «Сегодня я не возьму тебя в машину» – было сделано Фуаду предельно хладнокровно. Но самое ужасное оказалось впереди.

Фуад, вместо того чтобы встретить «приговор» так же хладнокровно, не придать ему значения, проявить предельное, пусть даже наигранное, равнодушие, – словом, выдержать, как говорится, марку, – стал на неверный путь: он начал просить и унижаться. Это не была явная мольба, но по сути выглядело именно так.

– Но почему, почему? – спрашивал он шепотом.

– Просто так.

– Но почему просто так?

– Потому, что я не хочу.

– Но почему ты не хочешь?

– Не хочу – и все.

– Но почему, почему?

Он только спрашивал, задавал вопросы. Но так как в ответ на «не хочу – и все» не было сказано: «Не хочешь – и плевать, катись к черту!» – то все эти «но почему, почему?» были в сущности мольбой, попрошайничеством. Мальчик знал, что отец Фуада работает учителем в школе, и, действуя столь вызывающе по отношению к Фуаду, не только демонстрировал, что не считается с ним, Фуадом, но также и с его отцом, этим жестким, суровым человеком, которого побаивались даже его коллеги, с авторитетом отца в рамках школы, с его возможностями.

– Говорю тебе, не хочу.

– Но почему, а?

– Не хочу – и все. Не хочу!

Мальчик, не оборачиваясь к Фуаду, внимательно смотрел на классную доску, на которой учительница писала задание. Улыбка не сходила с его лица. А Фуаду было совсем не до задания. Он был потрясен. Он никогда больше не сядет в «БМВ»?! Ужас! Его осудили на это, хотя он ни в чем не виноват, ведь ни в чем же, абсолютно!

– Но почему, почему?

– Не хочу – и все.

Касуму было строго-настрого наказано: машину останав­ливать за полквартала до школы. Первизу и Джейхуну он тоже внушил: товарищи по классу ни в коем случае не должны знать, что они ездят в школу на отцовской служебной машине.

– Ма, Джейхун говорит, что он не поедет к Курбану. – Это тоже было сказано по-русски.

«Здравствуйте! Оказывается, эти щенки, как и мать, зовут своего деда по имени!»

– Как это не поедет?! – И это тоже по-русски, – Джейхун, как тебе не стыдно! Говорю вам, звонила Черкез, просила, чтобы вы навестили дедушку.

– Какого дедушку?

«Конечно, «дедушкой» может быть только Шовкю, отец их матери!»

– Как какого? Раз я говорю: звонила Черкез, – значит, речь идет о дедушке Курбане. Он болен.

Вчера у Курбана-киши поднялось давление. Он, Фуад, тоже должен сегодня выкроить время и заглянуть к родителям.

– Мам, я не хочу туда.

– Почему, Джейхун?

– У них плохо пахнет.

Первиз прыснул. Румийя тоже рассмеялась от слов Джейхуна и перешла на азербайджанский:

– Нельзя так говорить, стыдно...

Фактически, у него уже не было оснований вставать и выговаривать жене: «Вот оно – твое воспитание! Смотри, как дети относятся к родному дедушке!» Румийя осудила, поругала младшего. Фактически. Однако бесспорным фактом было и то, что подобное отношение ребят к дедушке и бабушке со стороны отца проистекало от отношения самой Румийи к свекру и свекрови, являлось отражением в простеньком зеркальце детского восприятия сложных взаимоотношений взрослых.

«В простеньком ли? Таких ли уж сложных?»

Его родители Курбан-киши и Черкез-арвад жили в старом, обшарпанном коммунальном доме, в котором двадцать пять лет, до женитьбы, прожил и он, Фуад. Небольшой дворик. Общая уборная. Сырая комната на втором этаже, как раз над уборной, – оттого-то там стоял вечно дурной запах. Тоже факт, от которого никуда не денешься.

Румийя и дети вышли в коридор. Так Фуад и не узнал, чем закончился их спор. Поедут ли Первиз и Джейхун к дедушке? Наверное, поедут. Обычно Румийя умеет заставить сделать так, как она хочет, ребята слушаются мать. Разумеется, если она действительно этого хочет, а не для виду.

Хлопнула входная дверь. Фуад сел на кровати. Что ему снилось этой ночью? Снилось ли? Спал он хорошо, спокойно, но отчего эта смутная тревога на сердце? В чем дело? Словно предчувствие чего-то дурного. Может, связано с болезнью отца? У старика поднялось давление, Фуад, естественно, обеспокоен. Или здесь что-то другое? Что? Одно Фуад мог сказать точно: через час от всех этих неопределенных тревожных ощущений не останется и следа. Как только он приедет к себе в управление. Едва войдет в свой кабинет, сядет за свой стол, он станет совер­шенно другим человеком. Подобные приступы безотчетной тревоги иногда посещали его. Это случалось или утром, когда он просыпался раньше обычного и минут десять – пятнадцать праздно лежал в постели, или в тех редких случаях по ночам, когда на него вдруг нападала бессонница. Обычно он не жаловался на сон. Ложился, как правило, в час – половине второго, листал с пятое на десятое какой-нибудь журнал, затем откладывал его и выключал торшер. И тотчас погружался в сон. Случалось, крайне редко, раз или два в год, он не мог сразу уснуть, полчаса – час лежал без сна, и тогда в голову лезла всякая навязчивая чепуха. Мозг его, по выражению Шовкю, «размагни­чивался, терял контроль над собой». К счастью, Фуад был лишен способности к четкому психологическому самоанализу, не мог распутывать клубок смутных, хаотических мыслей и ощущений, докапываться до сути, первопричины своего тревожного состояния. На помощь неизменно приходил сон – бдительный страж, защитник его покоя. А проснувшись утром, он уже не помнил, о чем были мысли ночью. Вернее, не испытывал желания вспоминать. Не чувствовал, как говорится, в этом крайней необходимос­ти.

...Фуад встал, оделся, прошел в ванную комнату, отделанную чешским кафелем – белое с голубым, где царили блеск, чистота, идеальный порядок. Ослепительной белизны ванна могла бы посоперничать в стерильности с сосудами и инструментарием первоклассной операционной (разумеется, до начала «работы» в ней «хирурга»). На широкой стеклянной полочке под большим овальным, начищенным до блеска зеркалом лежали, стояли, находились – сами по себе, а также в коробочках, футлярчиках, баночках, мыльницах, специальных стаканчиках – различные туалетные принадлежности: несколько сортов мыла элегантной формы, разного цвета; шампуни, зубные щетки, пасты, кремы, лосьоны, в том числе мужские (до бритья и после бритья), одеколоны (мужской также), ножнички, пилочки для ногтей, несколько аэрозолей (на одном было написано по-русски, но с иностранным «акцентом»: «Идеальный дезодоратор для всей семьи. Устраняет запах пота в течение 24 часов. Сохраняет вам свежесть и уверенность в себе»; а внизу латинскими буквами: «New York-London-Paris»); неизменный «бадузан» и прочее и прочее. Каждая вещь здесь имела строго свое место, нельзя было ничего переставлять. Бывали моменты, когда этот «музейный» порядок, неукоснительно поддерживае­мый не только Румийей, но и им, Фуадом, а также детьми, вышколенными матерью, начинал вдруг раздражать его своей, как ему казалось, бессмысленной, бездушной статической красивостью. Но в общем-то он, этот порядок, ему нравился, радовал глаз. Над каждой из четырех пластмассовых вешалок Румийя приклеила полоски бумаги с их именами: «Фуад», «Румийя», «Первиз», «Джейхун». У каждого – свое полотенце (определенного цвета), своя банная простыня. Никто не должен брать чужое! Никакой путаницы!

Фуад вошел в свой кабинет, достал из ящика электробритву марки «Филиппе». Началась каждодневная процедура бритья.

Трюмо стояло в простенке между широким окном и дверью на просторный, прямо-таки шахский, балкон, с которого откры­вался волшебный вид на волшебный залив волшебного города, – так, по крайней мере, кажется почти каждому бакинцу. Каспий, вечно строптивый там, на своих ветреных просторах, здесь, в пределах гигантской дуги Бакинской бухты, которая голубым ковром раскинулась от Баиловской косы до Зыхского мыса, был тихий, ласковый, покорный. Вчера вечером город лежал в тумане, поднявшемся от воды, а сегодня небо – чистое, бирюзо­вое, воздух – прозрачный и словно бы чуть золотистый. Остров Нарген виден как на ладони. Море, набережная, дома, и те, что рядом, и те, что подальше, там, в районе «Интуриста», казались выписанными уверенной рукой художника-графика. В бухте стояло несколько кораблей, в сторону одного из них, задрав нос, мчался расторопный катер.

Бреясь, Фуад искоса поглядывал на панораму утреннего Баку. Не только любовался – смотрел, как всегда, по-хозяйски, заинтересованно. Действительно, многоэтажные здания, по­строенные здесь и гам за последнее десятилетие, сильно изме­нили силуэт города. Конечно, их можно было бы «расставить» на территории Баку более удачно, эстетичнее. «Организация пространства – вещь тонкая», – любит говорить Шовкю. Да, есть что еще сделать в этом городе!

Этот город был его, Фуада, городом. Здесь он родился, вы­рос, учился, женился. Сначала был сыном, затем мужем, потом стал отцом. Когда-нибудь станет дедушкой. Когда-нибудь и ум­рет здесь, ляжет в землю этого города. Интересно, где его похо­ронят? Во всяком случае, ясно, что определенные привилегии и по этой части он заслужил. Если бы он – конечно, не дай Бог! – вдруг умер сегодня, его непременно похоронили бы во второй почетной аллее»; а если – тоже не дай Бог! – он умрет через полгода, ту вполне вероятно, он сможет попасть уже в первую, – к тому есть все основания.

В дверь позвонили. Румийя прошла из кухни, открыла.

– Ага, привезли?.. Сколько мы должны вам?..

Она ушла в комнату за деньгами. Фуад понял: привезли продукты из спецмагазина (да, да, кое-каких вершин в обществе он, Фуад, уже достиг!). Два дня назад просил Румийю заказать крабы и зеленый горошек! Интересно, не забыла ли? Прошел в переднюю, ответил на вежливое приветствие смуглолицего симпатичного парня. На полу стояла большая плетеная корзина. Он бросил взгляд: масло, мясо, яйца, четыре бутылки боржоми, курица, сметана, две банки зеленого горошка. Крабов не было. Забыла, наверное. Или не заказала? Сама она крабов не любит, дети тоже.

Румийя принесла деньги, расписалась в накладной, перело­жила содержимое корзины в картонную коробку. Парень ушел. Румийя унесла продукты в кухню, начала укладывать их в холодильник.

Вскоре в кухню пришел и Фуад. Румийя уже жарила яич­ницу. На столе, покрытом скатертью в голубую клетку, с бахромой, стояла тарелка с гренками из черного хлеба, красная пластмассовая масленка с маслом, блюдце с голландским сыром.

Фуад сел завтракать.

– Звонил Октай, – сказала Румийя, – спрашивал тебя.

– Октай? Какой Октай?

– Myрадов.

– И что?

– Не знаю. Я сказала, ты еще спишь. Сказала, чтобы позво­нил через полчаса. Сейчас, наверное, будет звонить. Интересно, что ему надо от тебя?

– Почему обязательно «надо»?

– Раз человек звонит ни свет ни заря, значит, ему что-то нуж­но.

Такова Румийя, в поступках, словах людей, даже в элемен­тарных знаках внимания ближнего видит всегда какую-нибудь корысть, интерес. В этом она – копия отца. У Шовкю твердое убеждение: человеческие отношения строятся исключительно на основе выгоды, зависимости, рангов.

Раздался телефонный звонок.

– Вот, пожалуйста, – сказала Румийя, – легок на помине.

Он подошел к телефону.

– Да, слушаю.

– Фуад?

– Да, я.

– Здравствуй, это Октай.

– Привет, Октай.

– У меня к тебе небольшое дело. Мы можем встретиться?

– Я очень занят все эти дни. Давай созвонимся через недельку.

– Дело срочное, Фуад. Надо увидеться сегодня.

– А что такое? Что за спешка?

– Имеет отношение к Фуаду Салахлы. – Фуад почесал заты­лок.

– Хорошо. Сделаем так: позвони мне на работу через час. Телефон ты знаешь. Постараюсь что-нибудь придумать. Может, выкрою время. Клянусь, я в цейтноте!

– Понимаю, Фуад, но тут такое дело... Ты ведь сам знаешь, Салахлы...

– Хорошо, звони. Что-нибудь придумаем. Ну, пока.

Он положил трубку. Кажется, Октай обиделся. Если обидел­ся – напрасно. Октай думает, что он задирает нос...

Как-то при встрече Октай пошутил. «Конечно, – сказал он, – кто мы такие? А ты у нас вращаешься в высших кругах, мы с тобой принадлежим к разным классам».

Чушь! Не такой он, Фуад, дурак, чтобы зазнаться. «Принад­лежим к разным классам...» Пустые слова. Все дело в том, что они живут в разных ритмах. Несоответствие их жизненных ритмов – вот в чем секрет. Эта штука – несоответствие ритмов – более чем что-либо в жизни, порождает непонимание между людьми. И в семьях, между прочим, неурядицы происходят глав­ным образом из-за этого. Причина супружеских ссор в большинстве случаев – не материальные затруднения, не родст­венники, не разные уровни культуры и интеллекта, но исключительно несоответствие жизненных ритмов: муж живет в одном ритме, в одном темпе, с одной скоростью, жена – в другом ритме, в другом темпе, с другой скоростью. У нее, смотришь, есть и время, и склонность к долгим, пространным разговорам, тихому общению, сдержанным, серьезным чувствам и мыслям, к спокойному обдумыванию тех или иных жизненных ситуаций. И от мужа она требует того же. Сесть колено к колену и не спеша оговорить, дружной парой выйти степенно на прогулку, обстоятельно обсудить все проблемы, планы на будущее – это ее – жизненный ритм. У него же голова кругом идет от дел, у него хроническая нехватка времени, у него – вечный цейтнот! И надо успеть все сделать. Для этого он должен быстро думать, мгновенно принимать решения, действовать ответственно и оперативно. У него нет возможности долго размышлять, продолжительно общаться, всесторонне обсуждать. У него нет времени уделять достаточно внимания жене и детям, проявлять о них заботу! Увы!

Вот и Октай... Октай живет совсем в другом ритме. У него есть время не спеша осматривать выставки, спокойно читать книги, прогуливаться по городу, разглядывая прохожих. Он ведет с друзьями задушевные разговоры, жарко спорит, подробно расспрашивает встретившихся знакомых о самочувствии, про­странно беседует по телефону. Октай принадлежит самому себе, он привык обстоятельно обсуждать все вопросы. Дай бог Октаю всяческих благ, у него есть время. А у него, Фуада, времени нет. Нет! Ни на что! Ни на что, кроме ежедневной практической работы, кроме решения десятков конкретных задач, множества конкретных вопросов, встающих перед ним ежечасно, порожденных особенностью его служебного положения. «С этим вопросом – так, с этим – вот так! Точка! Переходим к следую­щему». Таков жизненный ритм Фуада. Как они не могут этого понять?! Все они: и Октай, и Румийя, и дети, и отец с матерью. Разные ритмы! Несоответствие ритмов! Он здесь ни при чем! Он ни в чем не виноват! Тогда зачем на него обижаться?

Уходя, Фуад сказал:

– Рима, после работы я заеду к старикам. Вечером у нас мероприятие. Вернусь поздно.

Румийя ничего не ответила. У подъезда его ждала машина – голубой «Москвич».

– Салам, Касум. Отвез ребят?

– Салам, Фуад-гардаш. Отвез, отвез.

Он сел на заднее сиденье – теперь так принято. Раньше сидели рядом с водителем. Не знали еще, как надо.

– В управление.

Что-то он должен был спросить у Касума. Но что? Никак не мог вспомнить. Наверное, что-нибудь не очень существенное. Если бы существенное, он бы не забыл, в крайнем случае – записал бы где-нибудь, для памяти. Да, что-то он должен был спросить. Это он помнил точно. Что? Может, Касум сам напом­нит ему ненароком?

– Что хорошего, Касум? Как дела?

– Спасибо, Фуад-гардаш. Вашими молитвами... – И Касум замолчал.

Машина свернула с проспекта Нариманова на проспект Строителей, помчалась вниз – под уклон.

Странно, что сегодня Касум помалкивает. Просто удиви­тельно. Обычно его не остановишь.

О чем только Касум не разглагольствует! Об американской внешней политике; о конфликте омейядских халифов с первым шиитским халифом Али; об индийских кинофильмах; о продел­ках бессовестного начальника ЖЭКа; о сапожнике Араме, вы­игравшем мотоцикл по лотерейному билету; о внезапной реви­зии продовольственного магазина на их улице; о шансах «Нефтчи» выиграть в этом году кубок; о благородстве Шовкю; о шафранном плове, который готовила покойная Бильгейс-ханым; о завистниках Фуада, которые рано или поздно будут наказаны; о просьбе Румийи – поручить знаменитой мастерице Кызтамам-арвад простегать одеяло, о том, что просьба на днях будет выполнена: сестра Касума съездит в Бюльбюли, разыщет и привезет эту женщину; о Первизе и Джейхуне, которые – машал­лах, тьфу, тьфу, не сглазить бы, да хранит их Аллах! – растут умными и толковыми ребятами; о своих детях; о двоюродных братьях – сыновьях брата отца; о внуках тетки – сестры матери; двоюродных сестрах – дочерях брата матери... и еще Бог знает о ком и о чем. Но больше и чаще всего, конечно, говорилось о Гамбаре. Гамбар – старший бат Касума, единственный среди его многочисленных родственников, кто учился и получил высшее образование. Больше того, Гамбар заведовал лабораторией в Бакинском университете. Когда-то где-то Фуада знакомили с Гамбаром. Касум вспоминал брата на каждом шагу. Часто ставил их имена рядом: «Клянусь здоровьем Фуад-гардаша и Гамбара!», «Клянусь жизнью Фуад-гардаша и Гамбара!», «Да не идет мне впрок этот кусок хлеба, да не увидят мои глаза Гамбара и Фуад-гардаша, если я лгу!» Гамбар был для Касума неиссякаемым источником гордости. Стоило Фуаду приобрести себе что-нибудь из одежды, допустим, костюм или, скажем, новые туфли, или купить в дом какую-нибудь вещь, Касум непременно говорил: «Поздравляю с обновкой, Фуад-гардаш, Гамбар купил себе точно такой же. Ну, точь-в-точь...» И так далее. Случалось, Касум пребывал в мрачном расположении духа, и тогда он сетовал на судьбу: «Я говорю Первизу; не ленись в школе, хорошо учи уроки – станешь большим челове­ком, как твой отец, как Гамбар. От таких, как я, малограмот­ных, проку мало». Или: «Гамбар говорит: брось ты свою работу, плюнь на нее, переезжай ко мне на дачу, живи там – и за дачей, за виноградником немного посмотришь; говорит: одежда, еда, питье – за мной. Деньги-то он не может мне платить, то есть жалованье... Брат – брату... Разве можно? Опозоримся перед людьми. Но, говорит, я для тебя на даче построю отдельный дом, переезжай вместе с семьей, живите круглый год. Говорит, с одной стороны, и за дачей будет глаз, а с другой, говорит, сам знаешь, какой там воздух – бальзам... Я знаю, Фуад-гардаш, и Гамбар, и вы, будь у вас такая возможность, вы бы дня одного не остались в этом городе. Дача – это рай. Но ведь вы люди при должностях. Я – что? Я – не Фуад-гардаш, не Гамбар, чтобы каж­дая моя минута ценилась на вес золота. Государственные дела без меня не остановятся. Вот шайтан и подбивает меня, нашеп­тывает: переезжай, говорит, живи на даче Гамбара. У него там прекрасный двухэтажный дом. Вы же видели, Фуад-гардаш... Не видели?.. Не может быть! Знаменитая дача! Все о ней знают. Дворец, валлахи! Есть один академик, так, говорят, его дача – первая на Апшероне, а гамбаровская – вторая после его... Конечно, и у Шовкю Джамаловича хорошая дача. Помню, в гот год, когда Шовкю Джамалович закончил ее строить и впервые переехал туда на лето, Румийя-баджи была еще грудная...»

Касум двадцать лет проработал шофером у Шовкю. Когда умерла Бильгейс-ханым, он, далеко уже не молодой человек, плакал навзрыд, как ребенок. Фуад никогда не обижал Касума, но нередко болтовня водителя выводила его из себя, особенно когда тот пытался острить. Иногда Фуад даже думал, что одна из самых жестоких душевных пыток на свете – это пытка терпеть плоские шутки, глупые остроты. К примеру, Касум говорил:

– Вы слышали, Фуад-гардаш?.. Шапка Мамедова заболела воспалением легких.

Фуад невольно отвлекался от своих мыслей, переспраши­вал:

– Шапка? Воспалением легких?

Касум продолжал, довольный собой, неторопливо, с чувст­вом и толком выговаривая слова:

– А почему бы нет? Он же ветреный человек. У него в голове постоянно ветер, вот бедняжка шапка и простудилась, подхва­тила воспаление легких.

Что остается делать Фуаду? Смеяться из вежливости либо тупо смотреть на Касума?

Или такой диалог:

– Касум, опять твои часы стоят?

– Стоят, Фуад-гардаш, опять заснули... Не знаю, отчего это их постоянно тянет в сон, никак не могут выспаться. Заведу их, они потикают немного, потом смотрю – господи, опять голова на подушке! – храпят...

В последнее время Фуад нашел средство противостоять этим глупым побасенкам: слушал Касума, но не слышал, что он говорит. Если это почему-либо не удавалось, он начинал утешать себя мыслью, что скоро им, ему и Касуму, предстоит расстаться. «Скажи спасибо Шовкю, – мысленно говорил он Касуму, – если бы не он, я бы уже давно турнул тебя. Ничего, немного оста­лось».

Фуад твердо решил: получив новую должность, он не возь­мет Касума к себе водителем. И Шовкю не сможет обидеться на него. Начальнику управления, а этот пост он, Фуад, вскоре займет, положен свой штатный водитель, и он есть, к тому же неплохой парень – Али-Гусейн. Конечно, можно Али-Гусейна перевести на касумовский голубой «Москвич». Но ведь нехорошо получится. Как на это посмотрят? Скажут: окружает себя любимчиками, своими людьми, и так далее... Шовкю тоже должен понять. К тому же Касум ничего не теряет, остается на прежнем месте, или, в конце концов, поедет сторожить дачу брата Гамбара, будет у него садовником. А не поедет, так будет возить того, кто придет на место Фуада, то есть его, Фуада, преемника.

Его преемник! Кто же им будет? В последние дни Фуад часто думал об этом, однако к твердому решению не пришел. После долгих размышлений остановился на трех кандидатурах, но который из них станет его заместителем – решить пока не мог. Да и не было у него возможности, не было времени продумать этот вопрос досконально, всесторонне. Цейтнот! Вечный цейт­нот! Впрочем, время еще есть, успеется, пусть сначала решится его, Фуада, вопрос. В сущности, конечно, его вопрос уже решен. Не сегодня-завтра об этом объявят официально. Но... ведь пока еще не объявили.

– Фуад-гардаш, школа уже готова, через месяц-другой сда­дут. С осени начнутся занятия.

Фуад повернул голову, посмотрел из окна машины. Дейст­вительно, строительство трехэтажного здания за дощатым забором было почти завершено. Оставались лишь наружные отделочные работы.

Касум глубоко вздохнул, и Фуад понял: сейчас он опять заведет все тот же разговор. Сколько можно, господи! В конце концов, какое ему, Касуму, дело до всего этого?! У Фуада не было ни малейшего желания говорить на неприятную ему тему, уже сто, тысячу раз переговоренную, можно сказать изжеванную и пережеванную. Однако, кажется, Касум не был настроен словоохотливо. Странно, что это с ним сегодня? Мрачный какой- то.

«Что же все-таки я должен был спросить у него? Хоть убей, не помню».

Касум, решив, что первый его вздох не дошел до Фуада, вздохнул еще раз – более скорбно и, в конце концов не выдержав, сказал:

– Да накажет его Аллах... – Помолчав немного, добавил: – Если у человека нога больше головы, что от него ждать? – Видя что Фуад не понимает, объяснил: – Клянусь вами, Фуад-гардаш, клянусь жизнью Гамбара, у этого типа размер шапки – сорок два, а обуви – сорок три.

Фуад рассмеялся. Все-таки иногда Касум говорил забавные вещи. Шутка удалась. Чтобы понять это, достаточно было представить себе Гафура Ахмедли – с его несоразмерно маленькой головкой (прямо-таки с кулачок) при тучном теле и высоком росте.

После того как Касум расстался с Шовкю, перед тем как попасть к Фуаду, он некоторое время работал водителем у Гафура Ахмедли, не поладил с ним, подал заявление и ушел. Всякий раз, когда разговор заходил об этом случае, он, как бы в подтверждение правильности своих действий, приводил слова брата Гамбара. якобы им перед этим сказанные: «Гамбар сказал мне: Касум, для нашего имени и фамилии, для нашего рода недостойно, чтобы ты был шофером у этого иуды, у этого подлеца...»

Когда Касум ушел от Ахмедли, Шовкю объяснил Фуаду сложившуюся ситуацию и посоветовал: «Возьми Касума к себе». Касум считал Гафура Ахмедли своим кровным врагом. И теперь, после того как ему стало известно, что Ахмедли плохо обошелся с отцом Фуада – Курбаном-киши, он стал, благодаря своей вражде с Гафуром Ахмедли, как бы еще роднее, ближе к их семье, на этот раз уже по линии отца Фуада. В глубине души Касум даже испытывал своего рода моральное удовлетворение, нечто похожее на чувство гордости: «Вот он каков – человек, обидевший меня! Смотрите, на кого он теперь поднял руку – на отца Фуад-гардаша, на свата Шовкю Джамаловича!»

Гафур Ахмедли возглавлял районный отдел народного образования. Месяц назад, благодаря его активным стараниям, Курбан-киши был уволен с поста директора школы, который он занимал тридцать лет. Курбан-киши в прямом и переносном смысле заложил фундамент здания этой новой школы, мимо которой они сейчас проехали. Новая школа! Тридцать лет мечтал отец перевести возглавляемую им школу из тесного, допотоп­ного здания в новое, современное, построенное по образцовому проекту. Сколько сил, сколько нервов ушло на реализацию этой мечты! Наконец Курбан-киши добился положительного решения вопроса – строительство началось. И вот новая школа – его школа! – почти готова. Осенью в ней начнутся занятия. Первого сентября новый директор, месяц назад назначенный вместо него, разрежет ножницами красную ленту...

Говорят, что новый директор – человек Гафура Ахмедли. Кто говорит – земляк, кто – родственник, а кто – будто бы не то и не другое, просто, мол, они дружки-приятели, вместе проводят время, вместе кутят и так далее. И еще говорят, будто этот новый хорошо «подмазал» Гафура Ахмедли, чтобы получить директорс­кое место. Говорят, с этого, собственно, и началась их дружба. Теперь их часто видят вместе: тот организует компанию – этот у него на почетном месте, этот собирает приятелей – тот у него во главе стола. Касум говорил:

– Гафур Ахмедли – фрукт, каких мало. Я сказал тогда ему: твоя голова у тебя в желудке, ты отца родного продашь за тарелку жирного плова. Клянусь вашей жизнью, Фуад-гардаш, клянусь жизнью Гамбара, я сказал ему это прямо в глаза. Чтобы мне не видеть живым своего ребенка, если я вру!

И тут Фуад вспомнил: ведь у Касума заболел сын, вчера температура подскочила под сорок. Касум попросил Фуада отпустить его пораньше: надо было ехать за врачом, за лекарст­вами. Об этом он и должен был спросить Касума: как ребенок? Да все никак не мог вспомнить. А теперь, когда вспомнил, Касум не давал ему возможности спросить – вошел в раж, понося Ахмедли:

– Клянусь Аллахом, я сказал ему прямо в лицо! Однажды он попросил меня, говорит: голова болит, раскалывается, съезди, говорит, в аптеку, купи мне пирамидону. Я уже был сыт им по горло, не выдержал, говорю: съезжу, почему не съездить? Только я, говорю, привезу тебе не пирамидон, а пурген. Он говорит; зачем мне пурген? А затем, говорю, что, когда у тебя болит голова, ты должен принимать слабительное – от живота, так как и голова твоя, и сердце твое, и душа твоя – все в желудке... Ты, говорю, лечи живот, голова твоя ни при чем. Когда я рассказал об этом Гамбару, он так хохотал, так хохотал... Потому-то Гафур Ахмедли и взъелся на меня,- Касум помолчал немного, затем хмыкнул: – Пурген, а?!

Он был очень доволен собой, своим остроумием. Но память подводила его: об этом случае он уже рассказывал Фуаду по меньшей мере раз двадцать.

Наверное, и Гафур Ахмедли порядком страдал от тупых, бессмысленных шуток Касума. В сердце Фуада шевельнулось даже нечто похожее на сострадание к заведующему района: все-таки, бедняга, целый год терпел топорный юмор своего водителя.

Гафур Ахмедли, Гафур Ахмедли... Разумеется, Фуад испытывал неприязнь к этому человеку за его неблагородный поступок по отношению к его отцу, за то, что он сделал все это, зная, что Курбан-киши – отец Фуада, сват Шовкю, сделал, не посчитавшись ни с одним из них. Ничего, сколько бы индюк ни хорохорился, а котла не минует! Придет час – Гафур Ахмедли получит урок. Не только урок – удар, неожиданный и ощутимый. Но он и ведать не будет, в жизни не догадается, кто нанес ему этот удар, откуда, чья рука отвесила ему такую сногсшибатель­ную оплеуху. Погоди, погоди, Гафур Ахмедли! Дай время! Настанет и твой черед! Займемся и тобой! Проклятый цейтнот!

Касум опять хохотнул:

– Пурген, а?! Здорово я ему, а, Фуад-гардаш?!

Глава третья

– Сегодня вы директор, завтра – никто, обыкновенный учи­тель! – В голосе женщины была угроза. Ярко накрашенные губы кривились и вздрагивали. Она была вне себя от гнева. – Не забывайтесь! Мой муж – Ахмедли! Сегодня вы есть – завтра вас нету, а Ахмедли – всегда Ахмедли!

Предположим, Ахмедли. Женщина не говорила именно «Ахмедли». Была другая фамилия. Она забылась. Фуад не мог вспомнить настоящей фамилии мужа той женщины. Как-никак двадцать девять лет прошло с тех пор. Разве упомнишь? В памяти не осталось ни имени, ни фамилии, но все остальное запомнилось отчетливо – и габардиновое, цвета кофе с молоком, пальто высокой, статной шатенки, и выражение надменного холеного лица, и черная шляпа с модной тогда вуалью, букваль­но все-все, вплоть до малейших оттенков, интонаций ее не­годующего голоса.

Отец стоял спиной к двери, не видел его. Он зашел к нему в кабинет случайно – попросить денег, чтобы купить в буфете пончик. Фуад учился тогда в шестом классе. Войдя в кабинет отца и, увидев искаженное злобой лицо Бильгейс-ханым (допус­тим, Бильгейс-ханым), услышав ее надменный, презрительный голос, он растерянно застыл на пороге. Он не видел выражения отцовского лица, но, даже глядя ему в спину, на его плечи, затылок, чувствовал, что отец бледен как мел. Бильгейс-ханым пришла защищать своего сына. Кажется, Курбан-киши выгнал ее сына из класса, не допустил к занятиям, заявив: «В таком виде в школу больше не являйся, Меджнун двадцатого века! Придешь тогда, когда срежешь свои локоны...» Бильгейс-ханым без конца повторяла эти фразы. Возмущению ее не было предела.

– Разве наш сын плохо учится? Или натворил что-нибудь? Подумаешь – длинные волосы! Хорошо, допустим, вам захоте­лось сделать ему замечание по этому поводу, – так неужели нель­зя было сказать наедине, с глазу на глаз, объяснить ребенку? Он ведь уже большой, в восьмом классе. А вы прямо при его товарищах! Там ведь и мальчики, и девочки... У ребенка есть самолюбие... Может, вас кто-нибудь не так проинформировал?.. Может, вы думаете, его некому защитить? Что за самоуправст­во?! Или мы, его родители, умерли, что вы так обращаетесь с ним? Учитель называется! Мальчик со вчерашнего дня не ест, не пьет. Вы травмировали его! Ясно вам – травмировали!

Словом, Бильгейс-ханым метала громы и молнии. Курбан- киши угрюмо молчал. И это беспокоило Фуада. Он хорошо знал характер отца: подобное молчание было признаком его крайнего душевного напряжения, означало, что нервы отца натянуты как струны, готовы вот-вот лопнуть.

«Что-то сейчас случится, что-то случится», – подумал тогда Фуад. И тут он заметил сына Бильгейс-ханым, того самого восьмиклассника, он стоял впереди матери, небольшого роста, щупленький, смуглолицый; волосы, как у девчонки, до плеч – тогда это еще не вошло в моду, только начиналось.

Как же его звали? Имя, имя?.. Вот черт! Тоже забылось. Бильгейс-ханым говорила:

– Имейте в виду, если муж узнает...

Курбан-киши резко обернулся, и Фуад увидел его лицо.

– Вон... немедленно... – еле слышно, одними губами, сказал

отец.

Бильгейс-ханым... Эту женщину, разумеется, звали иначе, не Бильгейс, Бильгейс – имя покойной тещи Фуада, у которой не было сына, была одна-единственная ненаглядная дочь – Румийя, ставшая женой Фуада. Румийя, Рима, Римочка! И она – эта Рима, Римочка, Румийя – училась совсем в другой школе. Но...

В сознании, в памяти Фуада эта женщина почему-то отождествлялась с Бильгейс-ханым. С Бильгейс-ханым, с которой Фуад познакомился много лет позже, а затем породнился. Почему отождествлялась? Кто знает. Может, из-за внешнего сходства. Может, потому, что Бильгейс-ханым тоже ярко красила губы. Может и у нее было габардиновое пальто того же цвета или черная шляпа с вуалью. Впрочем, нет, Фуад не припоминает, чтобы Бильгейс-ханым пользовалась когда-нибудь яркой губной помадой. Габардиновое пальто, возможно, было... Было ли?.. Может, и было когда-то, в те времена, когда габардин был в моде, когда Фуад еще не знал ее, Бильгейс-ханым. И черная шляпа с вуалью, возможно, у нее когда-то была. А может, все дело в спеси, надменности, высокомерии Бильгейс-ханым?.. Или в ее грубости?.. В грубости по отношению к его отцу Курбану?.. Нет, с тех пор, как их семьи породнились, Бильгейс-ханым ни разу не сказала ничего грубого, неприятного ни Курбану-киши, ни Черкез-арвад, ни самому Фуаду. Тогда откуда же, почему, отчего эта ассоциация, эта причуда памяти, это отождествление? Почему, когда ему вспоминалась давняя сцена в кабинете отца, он мысленно называл эту женщину – Бильгейс? Может, потому, что и настоящая Бильгейс-ханым, и та, которую он условно называл этим именем, обе были высокие, крупнотелые, а Курбан-киши – маленький, низкорослый (кстати, Фуад ростом в отца), и поэтому они, разговаривая с ним, смотрели на него сверху вниз?

Разумеется, выражение «сверху вниз» применительно к теще Фуад мысленно употреблял не в переносном, а в букваль­ном, физическом смысле.

– Фуад-гардаш, мы едем куда-нибудь в перерыв?

– С половины двенадцатого будь в гараже, Касум, жди звонка: поедем в аэропорт.

Фуад привычным взглядом скользнул по одной из двух табличек на двери, где были указаны его фамилия, имя, отчество, дни и часы приема посетителей. Он вошел в приемную, где сидела их общая – с начальником управления Ахмедом Назаро­вым – секретарша Нелли. Нелли тотчас встала и поздоровалась с ним. Обе двери, справа и слева, начальника и заместителя, были открыты настежь. Настенные часы показывали ровно девять. Так у них было заведено: Нелли приходила на работу чуть пораньше, минут за пять, за десять до девяти. Фуад – ровно в девять, а начальник – десять – пятнадцать минут десятого. Фуад твердо решил про себя: когда он переселится в кабинет Ахмеда Назарова, он не изменит своему правилу – будет приходить на работу ровно в девять и такой же точности потребует от своего заместителя. В том, что такое переселение – вопрос ближайших недель, а может, даже дней, он не сомневался.

На Нелли было новое зеленое платье с короткими рукавами, делавшее девушку еще эффектнее, еще привлекательнее. Нелли было девятнадцать лет. Проходя мимо, Фуад нахмурился: у стола ее стоял парень-молокосос в джинсах, худенький, стройный, спортивного типа, как теперь говорят. Фуад знал парня в лицо, он работал в отделе Мир-Исмаила, но, кажется, большую часть времени околачивался здесь, в приемной, возле Нелли.

«Интересно, о чем они без конца шепчутся? Шепчутся, пересмеиваются. Надо как-нибудь сказать Мир-Исмаилу, пусть надерет «ковбою» уши. Надо, надо... Но сколько их – этих все­возможных «надо»?! И то надо, и другое, и третье. Откуда на все и на всех взять время? Проклятый цейтнот!»

Следует сказать, к Нелли не были равнодушны и остальные сотрудники управления, точнее, вся его мужская половина. Каждый старался под каким-нибудь предлогом заглянуть к ней в приемную, а заглянув, считал своим долгом сказать ей компли­мент. В праздники же, особенно накануне Восьмого марта, Нелли делали подарки: плитку шоколада, букетик цветов, флакон дефицитных духов – кто что. Разумеется, красота и молодость были не единственной причиной доброго отношения сотрудников к Нелли. Большинством руководили земные, прозаические мотивы. С помощью Нелли можно было быстрее донести до руководства свою просьбу, быстрее получить подпись на нужном документе. Да, в таких делах многое зависело от того, как Нелли относится к вам лично. Она могла посоветовать, стоит или нет идти сегодня на прием к начальству. Знала, в каком настроении сейчас Назаров, в каком – он, Фуад, его зам. Нелли могла сказать, например: «Сегодня будет очень кстати поднять этот вопрос, а вот об этом лучше не заикаться». И наконец, Нелли лучше всех была в курсе взаимоотношений между начальником и заместителем в данный конкретный момент; знала, как в их глазах котируется тот или иной сотрудник, в каких тонах поприветствовали начальника и его заместителя «великие мира сего» – Ахмедов-Мамедов-Султанов, как прошла встреча начальника с секретарем парткома, о чем разговаривал заместитель с председателем месткома, и так далее. Подобного рода сведения можно было получить только и только от Нелли!

Фуад и сам был слегка неравнодушен к Нелли. Что-то в ней было такое!.. Длинные, стройные ноги. Легкая походка. Прямые волосы до плеч – черные, блестящие, высшего качества, будто дорогой парик. Строгий, даже чуточку надменный взгляд. Смотрит на собеседника несколько исподлобья, хочет казаться непроницаемой – и вдруг лицо озарится такой обаятельной улыб­кой! Чистюля, каких редко встретишь, можно сказать – эталон стерильности. Руки, пальцы – ухоженные, прямо-таки произведе­ние искусства.

Словом, Фуад втайне симпатизировал Нелли. Что в этом особенного? Просто симпатизировал – и все. У него, в отличие от некоторых, было твердое правило: «не класть глаз» на женщин там, где работаешь, особенно на тех, кто у тебя в непосредствен­ном подчинении. В данном случае, в случае с Нелли, это выра­жение – «не класть глаз» – было не совсем точным, не очень подходило, так как все-таки он на Нелли заглядывался, и, значит, глаз его на ней задерживался. Да еще как! Воображение Фуада, грешным делом, иногда откалывало такие номера, рисовало такие легкомысленные картинки!.. Однако он всегда был в состоянии мгновенно подавить в себе эти всплески чувственной фантазии, осадить расшалившиеся желания.

А ведь неплохо было бы завести небольшой романчик с Нелли. В этом году ему исполняется сорок два. Когда-то ему нравились женщины старше его. Теперь он больше симпатизи­ровал молоденьким, считая это признаком если не старости, то, во всяком случае, вполне завершившейся зрелости.

...Однажды, давным-давно, более двадцати лет назад, он и Октай сидели на скамейке в Приморском парке. Было начало июня – разгар их первой весенней сессии. В городе царил пряный, душноватый запах цветущего кавказского ясеня. Друзья запланировали позаниматься на свежем воздухе. Мимо, оживленно разговаривая, прошли две девушки, их сверстницы. Одна прямо-таки поразила их. В Баку красивое девичье лицо не редкость, но в этой было нечто необыкновенное. Разумеется, на них девушки не обратили никакого внимания.

Октай сказал:

– Смотри, Фуад, прямо марсианка! – А когда девушки скрылись, спросил: – Как ты считаешь, в чем секрет – нравиться? Есть ли здесь какая-нибудь закономерность? В чем она? Согла­сись, одни мужчины больше нравятся женщинам, другие – мень­ше. Отчего так? Внешность? Но внешняя привлекательность – кратковременный фактор. А что главное?

– Я думаю, – ответил Фуад, – для того чтобы нравиться жен­щинам, надо быть или очень знаменитым, или очень талант­ливым, или очень умным, словом, каким-нибудь выдающимся человеком.

Октай начал возражать:

– Представь себе, ты стремишься нравиться женщинам. Не так это просто – выделяться среди других. Чтобы преуспеть в этом, ты должен потратить годы. Борьба – есть борьба. Вот и выходит, что на любовь, на женщин у тебя уже не остается ни времени, ни сил. К тому же любовь расслабляет, усыпляет бойца, отвлекает его от каждодневной схватки. У тебя нет возможности по-настоящему любить и быть любимым. Стремление выделить­ся во имя женщин, красоты, любовных радостей неизбежно превращается из средства в самоцель. И еще вопрос к тебе, Фуад: в чем, собственно, ты видишь смысл жизни? По большому счету... Или ты ставишь знак равенства между гражданской целью в жизни и личным счастьем, то есть счастьем, построен­ным на любви, сердечных радостях, женщинах и тому подоб­ном?..

Да, совсем мальчишками были они – он и Октай. Смешные разговоры вели, решали глобальные проблемы.

«Гражданская цель в жизни...» Не очень точно, вернее, не очень привычно выразился тогда Октай, но... Фуад хорошо понимал, что он имеет в виду. Он запомнил этот их разговор на скамейке в аллее Приморского парка. Запомнил потому, что потом, в течение последующих двух десятилетий, не раз «иссле­довал» эту извечную тему (смешную и ненужную, безумно важную, наипервейшую) – о смысле жизни, о личном счастье, о гражданской цели», о соотношении этих последних. Размышлял по-разному и всерьез – осторожно, не очень умело опираясь на такты, выводы, формулы, почерпнутые из «умных» книг, сверяя, сопоставляя, примеряя их, эти факты и выводы, с собственным жизненным опытом, с собственными частными выводами и все- таки затрудняясь прийти к какому-то окончательному, послед­нему, всеобъемлющему выводу; а иногда и не всерьез – так, по-обывательски, по-житейски, – как получалось, как в голову приходило, черт те как! Был даже случай на днях... У него шло совещание, говорили об освоении фондов. Был представитель министерства – Джавадов. Критиковал их немного, мямлил что-то маловразумительное. Неделю назад этот самый Джавадов звонил Фуаду, зондировал почву относительно однокомнатной квартиры для сына, выпускника юрфака. Так вот, Джавадов тянул свою резину, присутствующие «почтительно внимали» его косноязычным толкованиям, кое-кто даже делал пометки. И в этот момент вошла Нелли, положила Фуаду на стол нужные ему документы, повернулась и пошла назад к двери – как всегда строгая, непроницаемая до надменности, прелестная задавака. Безукоризненная спина, ладные – аж дух захватывает! – бедра, длинные ноги, да еще на высоких – сантиметров десять – каблуках. И вдруг он подумал: «Эх, закрутить бы с Нелли роман! Втюриться в нее по уши, потерять голову! – Сам же сделал попытку поддеть себя: – С Нелли?! Это мне-то, сорокалетнему?! – И сам же начал оправдывать себя: – А что?.. Нелли такая... Ка­кая?.. Строгая, серьезная, чистая, положительная, неизвестная, недоступная! Марсианка! Как та... тогда в Приморском парке...» Может, любовь к Нелли (неизвестной марсианке!) и ее – к нему (сорокалетнему начальнику, рост – метр шестьдесят четыре) и станет для него наивысшим счастьем в жизни?! Что рядом с нею всякие там распределители, спецзаказы, крабы, зеленые горошки, новая должность и прочие его привилегии?!

Да, лезли порой в голову мысли о романчике с Нелли. Однако Фуад понимал и другое: нереально все это, несбыточно, пустые мечтания. У него есть семья, два сына, есть Шовкю – долговременные, так сказать, непреходящие ценности. А даже самая безумная, самая страстная любовь протянется месяц, ну три, максимум год, – а дальше что? Все, что пылает, должно сгореть, улетучиться в атмосферу. После горения остается только пепел, ничего больше.

Но, с другой стороны, человек есть человек, и в сердце у каждого, верно, существует уголок тайных, сокровенных желаний. Замуровать их навеки – тоже несправедливо. Словом, небольшой романчик с Нелли скрасил бы его жизнь. Конечно, не здесь, не в Баку. Например, осенью, во время отпуска, махнуть с ней куда-нибудь на курорт – в Крым, Сочи, Прибалтику. Забраться в какую-нибудь глушь, где наверняка не встретишь ни одного бакинца. Страна большая: есть Байкал, есть Иссык-Куль, есть, наконец, Камчатка. И там есть курорты, черт побери! Может, когда-нибудь? Кто знает... Возможны и другие варианты. Например, после того как Фуад станет начальником, в один из дней – деловая поездка. Он скажет серьезно, веско: «Нелли! «Меня вызывают в Москву, важное совещание! Будет много дел, уйма писанины. Понадобится стенографистка. Скажите в отделе кадров, пусть подготовят приказ на вас...»

Да, знала бы Нелли, о чем он думает! Почему, как назло, ему всегда нравятся высокие? Румийя – исключение: они с ней одного роста, разумеется если Румийя не на высоких каблуках. А как часто в юности его маленький рост вставал непреодолимой преградой между ним и девушками, которые ему нравились! Сейчас он иронически посмеивается, вспоминая свои двадцатилетней давности переживания из-за роста, но тогда ему было не до смеха. Это была драма! И какая! Да, сейчас все это кажется ему смешным, но в ту пору, когда он влюблялся в каждую мало-мальски хорошенькую девушку и, влюбившись, мечтал о женитьбе, семейном счастье, тогда все эти девушки были для него недоступны. Из-за его маленького роста. Увы! Кроме шуток, это была драма. Например, как он страдал, когда влюбился в Эсмер! Эсмер и Октай учились в одном классе. Фуад – в десятом, они – в восьмом. Эсмер жила в Ичери Шахаре вдвоем с матерью. Потом она стала женой Джамала. Джамал преподавал в их школе английский. Курбан-киши не любил его. Говорил: «Терпеть не могу мужчин-кокеток! Что ждать от человека, который носит в кармане маникюрные ножницы?» Джамал и правду был воплощением аккуратности, стильно одевался. Все думали, Эсмер встречалась с Октаем, и Фуад безумно ревновал Эсмер к Октаю. Окончив школу, Эсмер неожиданно для всех вышла замуж за Джамала, вскоре они уехали из Баку. Фуад постепенно забыл Эсмер, затянулась его сердечная рана. Но тогда, в школе, и потом, в армии (он не попал сразу в институт, был призван, служил два года под Ленинградом), ах как он страдал по Эсмер! Чего он только не делал, чтобы подрасти! Еще когда учился в школе, записался в баскетбольную секцию, занимался лечебной гимнастикой. Он сходил с ума по Эсмер, но сердца ей своего не открыл, боялся, что она посмеется над ним, расскажет Октаю и другим ребятам, опозорит его...

...Сев за стол, он первым делом открыл рабочий блокнот, где было записано, что он должен сегодня сделать, с кем встретить­ся, кому позвонить и так далее. Все планировалось заранее, накануне. Пробежал глазами страницу: «10.00 – планерка у А. Н. 11.00 – летучка у меня. 12.10 – аэропорт. Делегация из ГДР. Обед с ними. 16.00 – похороны. 19.00 – открытие!!!»

После слова «открытие» стояло три восклицательных знака, их смысл был ведом одному лишь Фуаду. Ниже шли памятки: кому звонить, по какому вопросу, и, наконец, самая последняя строка гласила: «Встреча с самим собой!» Фуад улыбнулся.

Нелли принесла свежие газеты и стакан чаю. Он подумал: «Давно я не покупал ей заварку. Начальник пьет, я пью, она сама пьет. Те десять пачек индийского, которые я привез ей из Москвы, наверное, давно кончились». Записал в блокноте, на «завтрашней» странице: «Чай». Просмотрел газеты. Ежедневно ему приносили десять – двенадцать газет. Из них он внимательно читал только две – «Правду» и «Бакинский рабочий».

В двадцать минут десятого к нему пришел юрисконсульт Михаил Моисеевич. Поздоровался. Положил перед ним на стол папку с бумагами. Фуад пробегал глазами каждый документ, Михаил Моисеевич давал пояснения, затем Фуад накладывал резолюцию.

Михаил Моисеевич бросил взгляд на очередной документ:

– Фуад Курбанович, четвертая проектная просит погасить задолжность по первому кварталу.

– Четвертая мастерская? – Фуад помолчал, что-то прики­дывая. – Хорошо, не возражаю. – Черкнул вверху наискось: «Не возражаю. Мехтиев».

За два года работы с Ахмедом Назаровым... Сотрудники управления называли его между собой – Ахмед Назар; сочинили про него стишки: «Ахмед Назар, Назар Ахмед! Бью одного – вопит весь свет!» Да, так вот, за два года работы с Ахмедом Назаром Фуад научился у него очень многому. Большая часть усвоенного – уроки негативного характера. Фуад наблюдал за поступками, действиями, методом работы начальника, за тем, как он держит себя с людьми в том или ином случае, как строит отношения с сотрудниками, как разговаривает с теми, кто ниже его по рангу, кто выше, и, наблюдая, делал вывод: «Плохо. Так нельзя!» Меньшая часть из того, что он усвоил, общаясь с Ахмедом Назаром, были вещи позитивного характера. Как-никак Ахмед Назар считался «опытным кадровым работником», Формулировку «Не возражаю» Фуад позаимствовал как раз у него. Тут был один очень тонкий нюанс. Можно, например, написать – «Согласен», «Хорошая инициатива», «Одобряю» и тому подобное, а можно – «Не возражаю». Когда ты пишешь – «Согласен», «Одобряю», ты как бы ратуешь за выдвинутое предложение, ты – соучастник тех, кто его выдвинул, и, значит, в какой-то степени делишь с ними ответственность. А в «Не возражаю» есть вроде бы элемент твоего пассивного отношения к инициативе. Ты не выдвигал данного предложения, ты не соавтор идеи, ты всего лишь... не возражал. И в будущем, в случае неблагоприятного исхода дела, твоя ответственность в том только и будет заключаться, что ты «не возражал». Значит, и вины твоей в этом деле всего лишь чуть-чуть, ну, двадцать пять процентов, максимум – пятьдесят. Очень удобная, выгодная формулировка. Пользу от нее Фуад познал на практике, в конкретных делах неоднократно.

Следующий документ Фуад читал очень долго.

Михаил Моисеевич пояснил:

– Этот вопрос оговорен с Ахмедом Назаровичем. «Нет, я тоже не дурак, – подумал Фуад. – Сложное, кляузное дело». Поднял глаза на Михаила Моисеевича:

– Раз оговорено с Ахмедом Назаровичем, пусть он и подпишет.

Юрисконсульт улыбнулся. Вопрос был ясен обоим. Несомненно, Михаил Моисеевич знал, что Ахмед Назар в ближайшее – время уходит. И кто придет на его место, наверняка слышал. Ясно, что накануне ожидаемых перемен Фуаду не было смысла связываться с запутанным делом. Естественно, и Ахмед Назар, сидя, как говорится, на чемоданах, не хотел взваливать на свои плечи груз возможной ответственности. Поэтому уже два месяца документ «отфутболивался», по выражению Михаила Моисееви­ча, от начальника к заму, от зама к начальнику.

Раздался телефонный звонок. Фуад взглянул на часы: поло­вина десятого. «Началось», – подумал он и взял трубку одного из четырех телефонов, стоящих на столе, – голубого.

– Мехтиев слушает... А, Джабир! Привет, привет. – Прикрыл ладонью трубку, спросил Михаила Моисеевича: – У вас ко мне все?

Михаил Моисеевич кашлянул:

– Есть еще один вопрос, Фуад Курбанович, личный. Но я зайду попозже. – Сложил документы в папку и вышел.

– Чем могу, Джабир? Всегда рад служить... – Зазвонил второй телефон, Фуад сказал в голубую трубку: – Извини, Джабир, минутку... – Взял белую трубку, – Мехтиев слушает... Так... Понял вас. Есть. – Положил белую трубку на аппарат. Нажал кнопку звонка на столе, вызывая Нелли. Сказал в голубую трубку: – Джабир, я слушаю... – Начал слушать. Вошла Нелли. Он, прикрыв ладонью трубку, сказал ей: – Закажите Сумгаит, Новрузова. – Нелли вышла. Сказал в трубку: – Не беспокойся, Джабир, я поручу, этим займутся. Позвоню тебе, счастливо. – Положил трубку.

Захрипел селектор, послышался голос Ахмеда Назара:

– Товарищ Мехтиев.

Слишком официально. Очевидно, начальник не один или разговаривает с кем-нибудь по телефону. Обычно он говорил ему; «Фуад» или «Фуад-муаллим», а если разговор шел по-русски – «Фуад Курбанович».

– Да, слушаю вас.

– Доброе утро. Есть ответ от Воробьева?

– Доброе утро, Ахмед-муаллим. Я заказал Сумгаит. Новрузова. Жду.

Селектор выдал добродушный смешок:

– Значит, оба ждем.

– Понял вас, Ахмед-муаллим.

Селектор выключился. Фуад снял телефонную трубку, набрал номер:

– Григорян, барев ара, вонцес?[[31]](#footnote-31) Ну что ж ты, друг? Ты же давал слово: будет, будет... Когда? Меня вот уже с утра теребят. Прошу, займись лично! Действуй от моего имени. Так и передай Захиду... Ну, есть, пока... «Арарат» проиграл, а, кум?! Ха-ха-ха!.. – Положил трубку.

Вошла Нелли.

– Новрузова нет на месте, Фуад Курбанович. Я сказала, чтобы он позвонил вам, когда придет.

– Хорошо. – «Чертовски ей идет это зеленое платье! Инте­ресно, встречается с кем-нибудь?.. Разумеется. Лицо какое! Фигура! В городе небось проходу не дают». – Вызовите ко мне начальника отдела кадров.

– Хорошо, сейчас. Еще, может быть, чаю?

– Нет, спасибо.

Сделал пометки в блокноте: «Сумгаит. Новрузов. Джабир. Племянник – Гаджиев Ага. Григорян. Пенсия». Вошел начальник отдела кадров.

– Вызывали, товарищ Мехтиев?

– Да, товарищ Гусейнов. – В голосе стальные нотки. – Офор­мите приказ! – Заглянул в блокнот. – Гаджиев Ага. Сегодняшним числом. Сколько раз я могу повторять это вам?

– На испытательный срок?

– Да.

– Будет сделано.

Фуад снял трубку с зеленого аппарата (их внутреннего телефона), холодно бросил Гусейнову:

– Вы свободны. – Набрал трехзначный номер. – Сабир, браток, ну что там твои расчеты?.. Дорогой мой, завтра я не смогу... Не будет ни минуты свободной... Нет, нет, исключено! Я хотел смотреть сегодня вечером дома... Не знаю, что ты думал, – я свое слово сказал, потом не обижайся на меня!.. Да, обязательно. Сегодня до пяти расчеты должны быть у меня на столе. И не надо шутить... – Жестко добавил: – Если так пойдет и дальше, нам будет трудно работать вместе. – И сразу же положил трубку.

Взглянул на часы: без десяти десять. Итак, в десять – пла­нерка у Ахмеда Назара, в одиннадцать – летучка у него, затем – аэропорт, в четыре он должен быть на похоронах и сказать над­гробное слово, вечером – открытие выставки. Михаилу Моисее­вичу было поручено подготовить текст его вечернего выступления.

«Может, и надгробное слово тоже поручить ему, пусть на­бросает? Нет, нельзя. Нехорошо. Бедный Фуад Салахлы! Называл меня всегда «тезка» или «Маленький Фуад». Точнее, не всегда, а лишь до тех событий... Эх, жизнь, жизнь! Ничего, что-нибудь да скажу. Ведь у гроба не надо читать пространных лекций. А вот вечернее выступление – вещь серьезная. Михаил Моисеевич набросает черновик – отдам его Сабиру, пусть тоже почитает, подработает немного. Сабир не очень расторопный, но грамотный парень, ничего не скажешь – владеет пером...»

Фуад улыбнулся. Вспомнился забавный случай. Был сумасшедший день. Тысяча дел свалилась ему на голову, и все – срочные, неотложные. Он вызвал к себе тех, на кого мог поло­житься. Аврал. Так уж получилось, что он не смог даже сделать пометки у себя в блокноте, держал все дела в голове. Словом, вечный проклятый цейтнот!.. В этот момент Нелли принесла ему стакан чаю, на блюдце положила шоколадную конфету, в красивой обертке, московского производства. Чай был горячий, и шоколад растаял. Фуад испачкал пальцы, они стали липкими. Выйти бы помыть руки! Не было возможности. Кабинет его был полон вызванными Нелли людьми. Каждый получал задание и выходил. Когда все дела были распределены, выяснилось, что два сотрудника не «загружены». Они стояли перед столом Фуада, ждали.

– Все, – сказал Фуад, – вы свободны.

– А мы? А нам? – недоуменно спросил один. – Фуад-муаллим, может, что-нибудь?..

И тут вдруг Фуад позволил себе разрядиться шуткой:

– А вам поручаю: пойдете к себе в отдел – по дороге помойте за меня руки.

Голос Нелли прервал мысли Фуада:

– Фуад Курбанович, вас просят к телефону. Я сказала, вы заняты, но он говорит, вы ждете его звонка.

– Кто такой?

– Октай Мурадов.

– А, Октай... – Фуад вспомнил. – Хорошо, соедините. – Нелли вышла. Он взял трубку с черного аппарата. – Октай?.. Еще раз здравствуй! Клянусь тебе, через пять минут у Ахмеда Назарови­ча начинается совещание. Продлится не меньше часа. В один­надцать – летучка у меня... Да, да, прозаседавшиеся... Это – про нас, про нас... И не говори... А в чем дело?.. Да, бедный Фуад Салахлы... Хорошо, подожди, дай подумать... – Умолк, заглянул в блокнот: «11.00 – летучка у меня. 12.10 – аэропорт». Продолжил: – Сделаем так, Октай: я закончу летучку на пять минут раньше, а в аэропорт выеду на пять минут позже. Касум наверстает в дороге... Мой шофер – Касум... Короче, мы можем встретиться только на десять минут. Приходи ровно без пяти двенадцать. Только прошу быть пунктуальным. Смотри! Мы, несчастные, живем по часам, по минутам. Итак, жду тебя... – Положил трубку.

Октай был у Фуада всего лишь раз. В этом самом кабинете. Тогда он тоже пришел по какому-то делу Фуада Салахлы. Фуад уже не помнит – по какому. Разумеется, сам Фуад Салахлы не мог прийти по своему делу, не снизошел бы. А узнал бы, что Октай хлопочет за него, запротестовал бы, был бы очень недоволен. Короче, Октай пришел втайне от Салахлы. Фуад, конечно, сделал все, что требовалось. Между тем, он уже много лет не поддерживал никаких отношений с Фуадом Салахлы. С тех самых пор... С Октаем гоже виделся крайне редко, встречались в -официальных местах – на конференциях, выставках, обсужде­ниях. Боже, как он ревновал Эсмер к этому Октаю! А между ними, оказывается, ничего и не было. Оказывается, за Эсмер приударял другой. Судя по всему, Октай, как и он, лишь вздыхал то Эсмер. Джамал натянул им носы обоим. Ай да Джамал! Давно уже выяснилась необоснованность его, Фуада, ревности к Октаю, но там, в глубине души, что-то осталось, похожее на неприязнь. Октай тоже был с ним холоден уже много лет, однако на это были свои причины.

«Встреча с самим собой!» Фуад усмехнулся. Эта запись у -его в блокноте была своего рода памятным подарком от Октая.

...В тот день он тоже был занят, закручен, замотан, как всегда. Навалилась уйма дел, требующих немедленного реше­ния. Собрания, совещания, заседания теснились, наслаивались друг на друга, рвали его на части. Все-таки он изловчился, нашел лазейку, принял Октая. Он непременно должен был исполнить его просьбу, обязан был принять его. За все эти годы, за два десятка лет, Октай ни разу не выразил желания встретиться с ним. И вдруг... Они учились в одной школе. Правда, Октай на два года был младше Фуада. Затем они учились в одном институте, и теперь уже на одном курсе, на одном факультете, так как Фуад два года прослужил в армии. Год не дослужил, был демобили­зован по болезни: гепатит. В институте они сдружились. Эсмер к этому времени вышла замуж за Джамала. Ревность, соперни­чество остались в прошлом. Как-никак они были выпускниками одной школы, им было что вспомнить. Это и сблизило их. До тех самых событий... Фуад Салахлы... Бедный Фуад-муаллим...

Словом, Октай попросил принять его. Фуад почему-то ду­мал, что Октай немного смутится, увидев его кабинет, телефоны, секретаршу, будет разговаривать с ним, испытывая некоторую неловкость. Но он ошибся. Октай держал себя совершенно рас­кованно и независимо, словно всю жизнь провел в таких вот кабинетах, А может, его непринужденность была показной? Своего рода панцирь, защита для самолюбия?

Тогда они тоже заговорили о нехватке времени. Фуад где-то прочел, что у каждой эпохи есть свои дефицитные вещи.

– Например, – сказал он, – в одну эпоху самым ценным было золото, в другую – пряности, в третью – нефть, Или, скажем, хлеб, земля, территория, вода... А мы с тобой, Октай, живем в период острой нехватки времени. Время – самая дефицитная вещь в наши дни! Веришь ли, Октай, иногда я неделями не общаюсь с детьми, не вижу их лиц. Встаю утром – дети уже в школе, прихожу вечером – они спят. А случается, и по воскресным дням приходится работать. Естественно, почти ничего не читаю. Когда? Нет возможности, нет времени!

Заговорили о книгах. Октай сказал, что недавно прочел интересную монографию, посвященную дзен-буддизму, и некоторые положения этой философии объяснили ему в какой-то степени его самого. Посоветовал и Фуаду прочесть книгу, даже пообещал прислать свою. Действительно, через неделю прислал. В один из дней Фуад лег сравнительно рано, открыл хваленную Октаем книгу, полистал, почитал с пятое на десятое; по правде говоря, ничего не понял, почувствовал, в сон тянет; закрыл книгу, потушил свет, мысленно сказал Октаю: «Эх, бедняга! Не женился в свое время – теперь чокаешься понемногу. Будь у тебя жена, дети, не стал бы тратить время на всякую белиберду – не до того было бы. Серьезным делом надо заниматься, дорогой! Ведь ты неплохой архитектор. А что толку? Что ты сделал по большому счету в жизни? И возраст у тебя уже не тот, чтобы предаваться пустым надеждам и мечтам: «Я то сделаю, это сделаю – дайте срок! Всем утру нос!» Бесплодное прожектерство это, Октай. Бесплодное и смешное! В жизни нельзя ничего откладывать на потом. «Когда-нибудь что-нибудь сделаю... Когда-нибудь что-нибудь изменится... Когда-нибудь... Что-нибудь...» Чепуха все это! Самообман! Признак слабости! Что есть, чего нету – все только сейчас, сегодня, в данный момент, в данной точке потока – бесконечно текущего времени! На завтра не надейся, дорогой! Наши мудрые деды хорошо сказали: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».

Странно, почему всегда, вспомнив Октая, подумав об Октае, он непременно начинал мысленно спорить с ним? И этот спор неизменно кончался в его, Фуада, пользу. Гипотетические возражения Октая, его ошибочные выводы, умозаключения, контраргументы порождали в нем еще большее упорство в защите собственных взглядов, точек зрения, убеждений. Фуад всегда хотел что-то доказать Октаю. Бедный Октай! Занят проектированием сельских бань и очень гордится своей деятельностью. Однако он столь энергично демонстрирует эту свою гордость, так часто бравирует ею, что возникает сомнение: насколько все это искренне? Архитектор с высшим образованием, диплом с отличием, но если в свои сорок он способен строить лишь районные бани, у него есть все основания посетовать на судьбу. Значит, на большее у него не хватает ни воли, ни сил, ни умения. Затем... пристрастие к бутылке. По правде говоря, и оно в какой-то степени повредило Октаю в его карьере.

Бедный Фуад Салахлы тоже много пил. Сам Фуад не станет утверждать, как некоторые считают, что и дружили-то они, Октай Мурадов и Фуад Салахлы, на почве выпивки. Так-то... Но Фуад Салахлы – это все-таки Фуад Салахлы, Человек с именем, заслугами. Уважаемая личность! Умер – в газете некролог, и хоронят во «второй почетной аллее». А если, конечно, не дай бог, завтра умрет Октай Мурадов, что он оставит после себя? Районные бани? Чистота – залог здоровья?! А может, он, Октай, на большее и не способен? Институтские успехи ни о чем еще не говорят. К тому же, в те годы Фуад Салахлы взял Октая под свое крылышко. Фуад хорошо помнит защиту Октаем диплома: тот день превратили чуть ли не в праздник, триумф какой-то. Все в один голос кричали о великой будущности Октая. Новый Корбюзье! Райт! Братья Веснины! Все пятеро – в одном лице! Дадашев и Гусейнов – в одном лице! А что потом? Районные бани. С легким паром! Выходит, пороху-то у Октая было всего лишь на один выстрел. Бедняга Октай не понимает, что жизнь – не вереница триумфов, но каждодневная, каждочасная, каждоминутная борьба. Серьезная, тяжелая борьба, в которой побеждают только сильные, только упорные. Октай никак не хочет этого уразуметь. И даже сам Фуад, то есть Большой Фуад, Фуад Салахлы, тоже не понимает этого, вернее – не понимал, царство ему небесное! Так и ушел, не постигнув до конца главной истины: если хочешь победить, хочешь достичь поставленной цели, ты должен показать всем свою мощь, свою силу; пусть люди почувствуют твою энергию, узнают о твоих возможностях. Тогда, во время той их первой встречи, Фуад пытался внушить эти мысли Октаю, но Октай слушать ничего не хотел. Больше того, из его слов выходило, будто он во всех отношениях удачливее и счастливее Фуада, доволен и своей судьбой, и работой, словом, все у него в жизни замечательно.

Фуад извинился перед Октаем за то, что не может уделить ему больше времени, показал свой блокнот:

– Вот мой рабочий день. Сейчас час дня, так?.. В два – встреча в райкоме. В три – надо быть на приеме у министра. В четыре – с главным архитектором едем на объект. В половине пятого ко мне придут работники конструкторского бюро. В пять – встреча с Новрузовым.

– Ты там пометь еще одну встречу – с самим собой, – сказал шутливо Октай. Фуад улыбнулся:

– Ты прав, действительно не остается времени для встречи с самим собой. – Взял ручку, написал у себя в блокноте: «Встреча с самим собой!» Показал Октаю. Оба посмеялись.

Но удивительно было другое. Обычно в конце дня, подводя итоги сделанному, Фуад вычеркивал из блокнота то, что было выполнено, а невыполненные дела, несостоявшиеся встречи переносил на завтра или на какой-нибудь другой день. Так вот, после той встречи с Октаем среди «невыполненного», «несостоявшегося» неизменно оказывалась и... «встреча с самим собой!». Он автоматически вписывал фразу в дела следующего дня. Это стало привычкой.

Захрипел селектор.

– Да, Ахмед-муаллим...

– Фуад, мы начинаем. Ждем тебя.

– Иду.

Он встал из-за стола, направился к двери. В кабинет вошла Нелли. Сказала как-то многозначительно (правда, это едва улавливалось):

– Фуад Курбанович, возьмите трубку.

– Кто?.. Я иду на совещание.

Нелли произнесла все с той же едва уловимой многозначительностью:

– Рейхан-ханым.

«Совсем некстати!»

Они познакомились два года назад. Рейхан работала в газете, пришла брать у него интервью. Симпатичная молодая женщина. Она сразу же приглянулась Фуаду. И хотя, как всегда, времени у него было в обрез, они проговорили больше часа. Собственно, для интервью вполне хватило бы и двадцати минут. Однако Фуад отвечал на вопросы корреспондентки слишком обстоятельно. Несомненно, ему хотелось показать себя. К концу разговора выяснилось, что миловидная журналиста не случайно пришла к нему брать интервью. Была у нее и личная просьба. Несколько месяцев назад Рейхан развелась с мужем и теперь хочет произвести обмен жилплощади, вернее – получить отдельную квартиру. Не может ли Фуад оказать содействие? Фуад оказал: устроил ей однокомнатную квартиру в Восьмом микрорайоне. В день получения ордера Рейхан с сияющими глазами пришла в кабинет Фуада. Она была счастлива, взволнована. Благодарила Фуада, не выдержала – расплакалась. Фуад начал успокаивать ее, сказал:

– Еще рано благодарить. Сначала поставим вам телефон. А то журналист – и без телефона!

Действительно, вскоре Рейхан оказалась с телефоном. Как-то вечером Фуад позвонил ей:

– Хочу завтра прийти посмотреть вашу квартиру. Купил шесть серебряных подстаканников и шесть хрустальных стака­нов. Стаканы – мои, чай – ваш.

Приятно беседуя, засиделись допоздна. Фуад рассказывал о своих поездках по зарубежным странам, где он побывал в составе делегаций. Как-никак объездил полмира! Рейхан слушала с большим вниманием и даже умилением. Через неделю снова увиделись. На этот раз Фуад принес ей букет гвоздик и дорогую хрустальную вазу для цветов. Рейхан была смущена:

– Ой, ну зачем? Честное слово, даже неудобно.

– Не оказалось целлофана, чтобы завернуть цветы, – пришлось купить вазу.

Посмеялись.

Уже потом, ночью, в минуту доверительной откровенности, Рейхан призналась ему, что он завоевал ее своим бескорыстием. Ведь ни тогда, когда Фуад устраивал ей квартиру, ни после, когда ей по его протекции установили телефон, он не дал ей понять (ни взглядом, ни намеком, ничем буквально), что она ему нравится. Это благородство, деликатность покорили ее сердце. Как Фуад мог сказать Рейхан, что уже в первую их встречу, во время того интервью у него в кабинете, он наметил себе четкую цель и точно знал, чем все должно кончиться? Эта связь была приятна им обоим и во всех отношениях устраивала Фуада. Восьмой микрорайон находится далеко от центра города, здесь его никто не знает, – почти полная гарантия того, что все будет шито-крыто. Не дай бог, узнает Румийя! Или Шовкю. Главное, конечно, чтобы не дошло до ушей Шовкю. Однажды Рейхан пришла к нему на работу. Фуад сказал ей: «Не надо!» Ее телефонные звонки тоже не нравились ему. Пожалуйста, вот уже и Нелли что-то почувствовала. Поистине, женская интуиция в подобных делах – непостижимая вещь. Как, каким образом они обо всем догады­ваются? По телефону он всегда разговаривал с Рейхан сухо, официально. Вот и сейчас... Вернулся к столу, взял трубку:

– Да.

– Привет. Что случилось? Исчез, не звонишь...

– Клянусь, ни минуты свободной. Вздохнуть некогда. Как ты?

– Без тебя – плохо.

– Хорошо, не обижайся. На днях обязательно увидимся.

– На днях? – В голосе Рейхан обида и немного иронии.

– Непременно позвоню. Извини, у нас совещание. – И добавил, соврав: – Здесь, у меня.

– Буду ждать. Позвони.

Фуад положил трубку. Быстро, ловко, несколькими штрихами, нарисовал в блокноте, пониже списка дел, подобие цветка. И в записной книжке у него на страничке с буквой «р», против номера телефона Рейхан, был нарисован такой же цветок. Что это было – осторожность, конспирация, или дань поэзии? Он и сам не знал. Разумеется, Фуад помнил номер телефона Рейхан, но так, без записной книжки, уже не полагался а на память. К тому же, когда долго не звонишь, существует опасность забыть номер телефона. Точно так же он боялся запамятовать дату ее рождения. Если он не поздравит в этот день Рейхан, она сильно обидится. Вот поэтому и в календарике, который имелся у него в записной книжке, рядом с датой «9 сентября» он нарисовал крошечный иероглиф – цветок, который как бы символизировал Рейхан, был ее эмблемой.

Однако вся эта история слишком затянулась. Их связь продолжалась уже полтора года. Отходя от стола, Фуад подумал: «Бесперспективная связь. Все прогорело. Пора кончать». Кажется, Рейхан раньше, чем он, почувствовала приближение кризиса, потому и встревожена. Бедная Рейхан! Привязалась к нему всем сердцем. Да, привыкла, присохла, для нее расставание не пройдет безболезненно. Но если они не расстанутся сейчас, потом боль будет еще мучительнее, она еще больше привяжется к нему. Разве иногда привязанность не бывает такой же великой силой, как любовь, даже сильнее любви? Фуад знал это.

«Сейчас самый подходящий момент. Расстаться надо по-хорошему, щадя нервы друг друга. Вот и Нелли сказала о звонке Рейхан как-то непросто, многозначительно. Не хватает только, чтобы о наших отношениях узнали! Словом, потом будет поздно. Да, пора положить конец этой истории – осторожно, деликатно, вежливо, благородно. Надо найти время, сосредоточиться и обмозговать: как это должно произойти?

Он миновал приемную, где сидела Нелли. Входя в кабинет Ахмеда Назара, подумал: «Обязательно спросит про заключение санитарных врачей».

Глава четвертая

Действительно, Ахмед Назар начал планерку вопросом: почему до сих пор не получено заключение санэпидслужбы?

В свое время Баксовет принял решение о перспективном планировании нового крупного жилого массива. В управлении к разработке проекта не приступали, так как городская санэпид­станция тянула с представлением необходимых документов, отражающих точку зрения их службы на состояние земельного участка – пригоден для застройки или нет?

Итак, Ахмед Назар спросил:

– Почему до сих пор не получено заключение санэпид­станции?

За большим столом (специально для совещаний) кроме Ахмеда Назара сидело еще восемь – десять человек: начальники отделов, главный инженер, секретарь парткома. Фуад сел на свое обычное место – справа от Ахмеда Назара. Все молчали.

– Я занимался этим вопросом, – сказал Фуад. – У санитарной комиссии сложилось двойственное мнение об этом земельном участке. Некоторые считают, что там есть заболоченные места, опасные для системы водоснабжения.

– Хорошо. Пусть обстоятельно напишут об этом в своем заключении. Нам нужен официальный документ, чтобы мы могли действовать. Почему они тянут?

– У членов комиссии, повторяю, нет единой точки зрения, они еще спорят между собой.

Ахмед Назар, недовольно хмурясь, достал из мельхиорового портсигара сигарету, продул мундштук, вставил в него сигарету, закурил.

«Нет единой точки зрения...» – не без иронии повторил он слова Фуада. – Что же надо сделать, чтобы их споры наконец завершились чем-нибудь конкретным?

Снова воцарилось молчание.

«Ты сам должен знать, что надо сделать для этого, не спрашивать нас», – подумал Фуад. Вслух же сказал:

– Надо поговорить с министром. Если он даст указание, они поторопятся с заключением.

– Почему же не поговорили?

Фуад подумал, что, если бы Ахмед Назар задал вопрос иначе, скажем, в такой форме: «Почему ты до сих пор не поговорил с министром?», адресуясь только к нему, Фуаду, тогда бы еще можно было считать, что он, Ахмед Назар, более или менее достоин занимать эту должность, во всяком случае, может еще какое-то время поработать на своем месте. Но Ахмед Назар не мог задать свой вопрос конкретно человеку, несущему за это ответственность, – ему, Фуаду. Не хватило смелости. Фуад отлично все понимал.

– А кто должен был поговорить с министром? – спросил он нахально.

У Ахмеда Назара оставались еще шансы. Он мог сказать: «То есть как это кто должен был поговорить? Ты, разумеется». Или же официально: «Вы, товарищ Мехтиев, должны были поговорить с министром». Однако Ахмед Назар только пожал плечами и проворчал:

– Не знаю. Надо было поговорить.

«Не знаю». Раз не знаешь, значит, у тебя нет права занимать эту должность. Сидящий на твоем месте человек должен уметь стукнуть кулаком по столу. Ты не тянешь даже на заместителя, ты – слабак и всегда был слабаком, поэтому пусть уж твой вопрос поскорее решается там, где это надо!»

Естественно, Ахмед Назар знал о Фуаде все – кто он, что, чей зять. Самого Шовкю Шафизаде! Несомненно, был и в курсе того, что судьба его, Ахмеда Назара, уже решена, что не сегодня- завтра придется покинуть этот кабинет. Слышал, наверное, и о том, кто будет его преемником. Да, знал, конечно, Ахмед Назар, что он доживает последние дни своей «генеральской» синекуры, настало время – на шестьдесят седьмом году жизни – навсегда распрощаться с кабинетами, столами, правительственными теле­фонами, персональными машинами, секретаршами и прочим, и прочим. Что ждет его впереди? Персональная пенсия, жидень­кие, мало затененные аллеи домов отдыха в Мардакянах, Загульбе, Бильгях; домино, нарды с такими же, как он, престарелыми пенсионерами; бесконечные разговоры о ревматизме, склерозе, радикулите и прочих старческих недугах; воспоминания о былых временах: «Помните Султана Султановича?» – «Какого Султана Султановича? Ах, этого самого? Свояка Аслана Аслановича? Как же, как же! Он сначала работал там-то, а после был назначен туда-то...» И так каждый день: Султан Султанович. Аслан Асланович; и снова коллективное обсуждение (узнали из газет) новых назначений – новых, уже сплошь и рядом незнакомых людей на новые должности; и снова – домино, снова – нарды; и снова – врачи, обследования, анализы, инъекции, лекарства; и снова – Султан Султанович, Аслан Асланович, и так далее и тому подобное.

Ахмед Назар был родным братом Ашрафа Назарова и, несомненно, считал, что страдает из-за брата. Полгода назад Ашрафа Назарова с шумом и треском сняли с занимаемого им места. Ахмед Назар был твердо убежден, что именно падение брата решило его судьбу. Фуад знал, что это совсем не так. Вер­ее, не совсем так. Были в этом деле свои нюансы. В настоящий момент Ахмеда Назара освобождали от должности не из-за брата, хотя в свое время он только благодаря брату был выдвинут исключительно благодаря брату его держали до сих пор на посту главы управления. Все понимали, возможно, даже сам Ахмед Назар понимал, что это не его место. Но пока Ашраф занимал свой пост, потревожить Ахмеда Назара было трудно. Короче говоря, вскоре после снятия Ашрафа все будто бы вдруг очнулись: да ведь не вытягивает Ахмед Назар на столь ответственную должность!

Ахмед Назар был участником войны, имел боевые награды, говорят, на фронте проявил подлинное мужество. Но, очевидно, героизм имеет свои разновидности, варианты, жанры, видимо, помимо военно-фронтового героизма существует еще героизм повседневно-бытовой, а также административно-организационный. Показавший себя храбрецом в окопах, Ахмед Назар был абсолютно бессилен здесь, на их фронте, – как организатор, как стратег-полководец, как просто специалист своего дела, наконец. И на жизненно-бытовом фронте он не стяжал себе славы отважного героя: прошедший, как говорится, сквозь огонь и дым суровой войны, этот грузный, некрасивый, смуглолицый мужчина пуще огня боялся своей жены Фатьмы-ханым. Например, на Нелли Ахмед Назар не смел взглянуть даже краем глаза. Год назад взбалмошная Фатьма-ханым без всяких на то оснований приревновала мужа к юной секретарше и едва не добилась от мужа увольнения ее с работы. Только решительное вмешательство Фуада спасло Нелли от несправедливой кары. В моральном смысле Ахмед Назар был кристально чист. Все знали это. О том же говорило и его лицо, с темными мешками под глазами, лицо страдальца-хроника, почечного больного. И честен был Ахмед Назар тоже кристальной честностью; положи перед ним бесценные сокровища – не позарится. Но был безволен, безынициативен, инертен, не мог потребовать от подчиненных; был склонен всем во всем уступать, нажмут на него – он пятится назад, не имел железного слова, не мог разговаривать ни с подчиненными, ни с теми, кто был выше его по рангу, а потому не пользовался уважением ни среди своих в управлении, ни там, в верхах. Да и знаний не хватало Ахмеду Назару. Ох как не хватало! Создавать, творить современный город, строить и перестраивать столицу республики, планиро­вать это строительство, заглядывая в будущее на десятки лет, – дело весьма и весьма серьезное. Возглавлять такой сложный участок должен человек не только беспредельно энергичный и современно образованный, но и талантливый, а главное – влюбленный в свое дело, энтузиаст.

– Я, конечно, мог бы поговорить с министром, – сказал Фуад, – но решил, что получится не очень хорошо. С министром надо говорить на соответствующем уровне. Есть начальник – и вдруг звонит ему его заместитель. Не тот уровень. Как на это посмотрит министр?

– Хорошо, надо было сказать мне, я бы переговорил. Все очень просто. Ахмед Назар взял красную книжечку с номерами правительственных телефонов, открыл, полистал. Повторил: – Все очень просто.

Он нашел нужный номер, поднял трубку.

Фуад отметил про себя еще одну отрицательную черту в характере Ахмеда Назара: неоправданную легкомысленную поспешность при решении серьезных вопросов, требующих обстоятельного анализа. «Вот-вот, это твой стиль! Кинулся к телефону – звонишь министру. Партизан! Ты сначала хорошенько изучи вопрос, выясни досконально, что тебе требуется, затем – излагай суть дела».

Между тем Ахмед Назар уже заливался соловьем, разговаривая с министром.

«Очередной прокол, – подумал Фуад. – Никогда не следует вести официальные разговоры в таком фамильярно-панибратс­ком тоне».

– Ах ты, мой дорогой!.. Душа моя!.. Клянусь твоей жизнью!.. Иди ты!.. Эй, иди ты!.. А что нам сделается?.. Работаем, дa... Ай, негодник, кейфовать захотел?.. Ха-ха-ха! Подумаешь!.. Ему тоже под семьдесят. Клянусь твоей жизнью. Иди ты...

Разумеется, Ахмед Назар хотел немного порисоваться перед присутствующими, пускал пыль в глаза: мол, смотрите, на какой t короткой ноге с министром! Вот я каких людей хлопаю по плечу! Ну, у кого хватит сил утопить меня? А вы думаете – снимут Ахмеда Назара. Пустая болтовня, враки! Не верьте сплетням! Я крепко сижу за этим столом!

«Примитивные финты, – думал Фуад. – Только дурак может попасться на твою удочку, я не из их числа. Все эти «душа моя», «клянусь своей жизнью» практически не стоят ломаного гроша. Министр не принимает всерьез ни одного твоего слова. Ничего у тебя не выйдет!»

Так и получилось. После шуточек и хохмочек Ахмед Назар заговорил наконец о деле, и тут выражение его лица изменилось. Было ясно, что министр культурненько, по-деловому отклонил его просьбу, приведя какие-то веские доводы.

– Ах, вот как... – бормотал Ахмед Назар. – Вот оно что... Иди ты... Неужели?..

«Иди ты» – любимое выражение Ахмеда Назара. Эти два слова из пяти букв употреблялись им на каждом шагу. С их мощью он комментировал сложнейшие проблемы вселенной, выражал сокровенные мысли и чаяния человечества. Эта емкая фраза – «иди ты» – была у него способна передать и удивление, и недовольство, и радость, и страх, равно как и многие другие чувства. Когда он бывал в хорошем настроении, пять букв принимали в себя еще одну – шестую. «Ид-ди ты!» – произносил в таких случаях Ахмед Назар. Крайней смятенности чувств, а иногда и наоборот – небывалому душевному подъему, ответствовал вариант – «Иди ты, брось!».

Ахмед Назар слушал, министр говорил. Фуад, хоть и не слышал его слов, доподлинно знал, что он говорит. Разумеется, сейчас министр ссылается на инструкцию.

Да, министр ссылался на новую инструкцию, но он не учитывал ее четырнадцатого пункта. Само собой, Ахмед Назар тоже не знал этого пункта. А если даже и знал, то сейчас, конечно, забыл про него. Фуад же не хотел напоминать ему. «Сам виноват – сам и выкручивайся. Сначала все продумай, изучи вопрос, потом хватайся за телефон! Не ребенок, не мне учить тебя азам!»

Ахмед Назар закончил разговор. Фуад достал из папки новую инструкцию, положил ее на стол перед начальником.

– Министр говорит, что согласно новой инструкции... – начал Ахмед Назар. Фуад перебил его:

– Очевидно, министр забыл четырнадцатый пункт новой инструкции.

Инструкция лежала перед Ахмедом Назаром. Он снял очки «для дали», надел другие – «для чтения», полистал, полистал страницы, нашел четырнадцатый пункт, отмеченный Фуадом красной галочкой, прочел его про себя, шевеля губами, снова схватил телефонную трубку. Тут выяснилось, что он забыл номер, по которому только что звонил. Опять открыл красную книжку, нашел номер, начал крутить диск.

«Еще одна ошибка, – подумал Фуад. – Представительный мужчина, руководитель такой организации – и так несолидно держит себя в присутствии подчиненных. Сколько суеты! Без всякого понятия о достоинстве. А ведь для ответственного работника солидные манеры – вещь первостепенной важности!»

– Это опять я! – кричал в трубку Ахмед Назар. – Да, я. Ахмед... Эй, слушай, что ты нас водишь за нос? Вот смотри – новая инструкция, страница – семь, пункт – четырнадцать... Смо­три, что тут написано. В случае, если... – И замолчал. Очевидно, министр перебил его. Затем изумленно: – Что?!.. Знаешь?.. Иди ты!.. А если знаешь, тогда зачем... – Опять умолк, слушая.

«Вот ты и решил вопрос, – подумал Фуад. – Поздравляю молодец!»

– Ясно, хорошо, подождем... Всего доброго. – Ахмед Назар положил трубку, сказал: – Кажется, этот вопрос не созрел еще окончательно. Но видите – поговорил с министром. Мы приняли решение вернуться к этому вопросу позже. Подождем немного.

«Немного. Увидишь, сколько месяцев протянется это «нем­ного»! Увидишь, конечно, если тебе раньше не дадут коленкой под зад. И ведь вопрос-то не стоит выеденного яйца, за пять минут можно было уладить!»

– Перейдем ко второму вопросу...

Второй вопрос не имел к Фуаду прямого отношения. Взгляд его скользнул по лицам присутствующих. Кого-то из них ему придется рекомендовать на свое место – заместителем. Кого? Сабира? Мюрсала? Мир-Исмаила?

Мир-Исмаил – неплохой работник, но... бабник. Женился, однако все не уймется. Горбатого, говорят, могила исправит.

Сабир. Толковый, знающий, ничего не скажешь. Но упря­мый. Из Сабира заместитель не получится. Вдвоем они могли бы горы свернуть, если бы... если бы не ершистый характер Сабира: любит спорить, противоречить, брать все под сомнение. Теоретически, согласно мудрейшей науке, это – вроде бы самый идеальный (для их работы, для их дела) случай. Но это – теоретически. В практике же, как показывает и доказывает жизнь, подобную роскошь – подвергать все сомнению во имя торжества истины, справедливости и наибыстрейшего про­движения вперед, к великой цели – может позволить себе лишь бессмертное человечество, у которого, как известно, в запасе вечность, а смертный человек пребывает не в теории, а в конкретной, реальной и весьма короткой жизни, каковую ему, во- первых, есть смысл прожить, во-вторых, – прожить не хуже других, и, наконец, в-третьих, – прожить так, чтобы потом не было, как однажды сказали, мучительно стыдно за бесцельно прожитые в борьбе с ветряными мельницами годы, за инфантильную неспособность разобраться – что к чему. Нет, не будет у них с Сабиром единства, не найдут они общего языка. Сабир не пожелает во всем поддерживать его. Обязательно начнутся трения, ссоры. Зачем ему все это? Не станет он создавать сам себе проблемную жизнь. А жаль, как специалисту Сабиру нет цены.

Мюрсал. Этот, напротив, ни в чем не будет противоречить. Как работник – тоже неплохой. Конечно, до Сабира ему далеко, и даже до Мир-Исмаила далеко, тем не менее, работать может. Но... Было одно серьезное «но», которого он не мог не учитывать. Мюрсал – приветливый, добродушный сангвиник, внешне со всеми в хороших отношениях, со всеми вежливый, обходитель­ный; однако не было ни одного сотрудника в управлении, включая и Фуада, про которого Мюрсал не знал бы чего-нибудь более или менее компрометирующего, такого, что хотя бы чуть- чуть не бросало на человека тень, такого, что человеку хотелось бы раз и навсегда забыть. Жизнь есть жизнь: кто не оступался? Правда, свою осведомленность Мюрсал никогда нигде не афишировал, на собраниях никого не обличал, ни у кого за спиной не сплетничал. Но стоило лишь кому-нибудь хоть легонько наступить Мюрсалу на мозоль, как он, извернувшись змеей, мгновенно жалил незадачливого обидчика, да так, что тот надолго оказывался в шоке.

Однажды Фуад распек Мюрсала за что-то, накричал. Мюрсал, оправдываясь, ухитрился тонко, мастерски напомнить Фуаду та-ко-е! Выяснилось, что он в курсе и того неудачливого протеста его отца Курбана-киши, и некоторых деталей биогра­фии Шовкю, в том числе злополучного «дорожного происшест­вия». Туманным намеком Мюрсал дал Фуаду понять, что знает и про историю с Фуадом Салахлы, и даже про Асю, то есть осведомлен о событиях двадцатилетней давности. Фуад прямо- таки опешил, хотя виду, разумеется, не подал. Выходит, этот всегда вежливо улыбающийся, участливо спрашивающий о самочувствии человек солидно вооружен против всех, и против него, Фуада, тоже – так, на всякий случай. Впрочем, Мюрсал отнюдь не бравировал своей осведомленностью, на рожон не лез. Он деликатно дал понять Фуаду, что если к нему, Мюрсалу. не будут приставать, то и он никогда никому не сделает никаких пакостей. Фуад тоже был не лыком шит: осторожно, исподволь, используя свои источники и каналы, собрал компрометирующие Мюрсала сведения и сделал так, чтобы Мюрсалу это стало известно. «Пусть, по крайней мере, знает, – рассуждал Фуад, – что соотношение сил не дает ему преимущества. Как говорится, достигнуто равновесие – баш на баш».

Так кого же он будет рекомендовать? Кого ему выбрать? Сабира? Мир-Исмаила? Мюрсала? Вопрос серьезный.

«Надо найти свободную минутку, обстоятельно все продумать, все взвесить и решить!»

Ахмед Назар сказал:

– Хорошо, закончили. Через полчаса я должен быть в Совете Министров. Фуад, ты у себя?

– Сейчас у меня будет летучка. Затем я еду в аэропорт. Поручение райкома: встретить делегацию из ГДР, В четыре – похороны.

– Да, да... – Ахмед Назар вздохнул, покачал головой. – Бедный Салахлы! Редко мы с ним виделись, но... действительно был благородный, честный человек.

– Вы тоже будете на похоронах, Ахмед-муаллим?

– Постараюсь. В четыре, говоришь? Мда, эх-хе-хе... А вече­ром открытие? Ты выступишь?

– Да.

Они внимательно посмотрели в глаза друг другу. Первым отвел взгляд Ахмед Назар. Кроме них, никто из присутствующих не понял тайного смысла этого диалога: «Ты выступишь?» – «Да».

Вечером должно было состояться открытие выставки архитектурных проектов. Выставка называлась: «Баку сегодня и завтра». На торжественном собрании, естественно, должен был выступить начальник, но три дня назад им позвонили (и Ахмеду Назару, и Фуаду) и сказали, что желательно, чтобы выступил Мехтиев. Оба догадались, что это значит. Судьба Ахмеда Назара была решена. Выставка, посвященная перспективному плани­рованию городского строительства, – весьма ответственное мероприятие, поэтому посчитали целесообразным, чтобы слово на открытии сказал не «почти бывший», а будущий глава управления.

Шовкю, узнав об этом, вызвал Фуада к себе.

– Ты понимаешь, что это значит? Все там будут. Все! – Он многозначительно помолчал. – Это твое последнее испытание перед назначением на должность. Вопрос, разумеется, решен, но ты ведь знаешь: одно неудачное слово, одно неудачное выраже­ние могут все изменить. Не думай, что Ахмед Назар – так, про­стачок. Старый волк. Лезет вон из кожи, нажал на все кнопки, не брезгует никакими средствами, чтобы удержаться. Само собой, ничего у него не выйдет, мы тоже не сидим сложа руки, тем не менее и от твоего выступления многое зависит. Ты должен так выступить, чтобы ни у кого в душе не осталось ни малейшего сомнения, чтобы каждый понял: место – твое!

Фуад ничего не сказал Шовкю, только улыбнулся. Он сам хорошо понимал значение этого выступления на мероприятии, проводимом на столь высоком уровне.

Все разошлись. В кабинете остались Ахмед Назар и Фуад.

«Самый подходящий момент, – подумал Фуад. – Удобнее случая не будет. С этим делом нельзя больше тянуть».

Словом, была у него просьба к Ахмеду Назару. Личная. Точнее говоря, он хотел, чтобы Ахмед Назарович до своего ухода помог ему в одном деле. Именно он, только он – Ахмед Назаро­вич! – должен был приложить руку к этому делу. Фуад хотел построить гараж по соседству с домом. Было место. Было разре­шение на застройку. Нужны были строительные материалы. Фуад хотел приобрести их на складе одного СМУ до того, как его назначат на новую должность. Сейчас Ахмед Назар мог помочь ему в два счета – тихо, без шума, без огласки.

«С поганой овцы хоть шерсти клок».

Фуад знал, как улаживать подобные личные дела с на­чальством. Помогали мудрые советы Шовкю. В свое время тесть объяснил ему: «Представь себе такую ситуацию: есть начальник, есть подчиненный; подчиненному надо решить какой-то личный вопрос, и все зависит от начальника. Подчиненный идет к нему на прием. Но кроме личного вопроса у подчиненного есть еще и служебный вопрос, который тоже требует решения. Как посту­пит человек неискушенный, неумелый? Он начнет со служеб­ного вопроса. Будет говорить с жаром, страстно, заливаться соловьем: мол, смотрите, какой я общественник, какой я хоро­ший, и так далее, затем, под конец разговора, смущаясь и заика­ясь, обратится с личной просьбой. И просьба-то – тьфу, чепуха какая-нибудь. Так сделает человек неопытный. Так делать нель­зя. Почему? Да потому что, как только он изложит начальнику свою пустяковую просьбу, начальник подумает: «Ага, друг, ты вот зачем пришел ко мне. Общественное дело для тебя только повод, предлог, – ты о себе печешься». А теперь смотри, как поступит человек мудрый. Он смело, мужественно начнет с лич­ного вопроса. Чего стесняться? Зачем лицемерить? Это – жизнь. У всех есть свои проблемы, то нужно, это нужно: одному – жилье, другому – машина, третьему – дача, четвертому – телефон, или пианино, или мебель, и так далее. Так вот, умный человек сначала обратится с личной просьбой, а затем скажет: «Впрочем, •то не главное, это все мелочь. Получится – получится, не получится – Бог с ним, я к вам пришел, в сущности, не за этим», И тут он переходит к серьезным общественным делам, говорит страстно, с жаром. Ты понимаешь? Совсем другое впечатление. Начальник думает: «Человек есть человек, жизнь есть жизнь. Он пришел ко мне по личному делу, – вполне понятно, но ведь заботит-то его не столько личное, сколько общественное, наше, общее, об интересах народа думает...»

Возможно, рецепты Шовкю не были универсальными, на все случаи жизни, тем не менее, многими из них Фуад неодно­кратно и успешно пользовался.

На этот раз ему не удалось вновь испытать мудрость тестя. Ахмед Назар неожиданно сказал:

– Фуад, сынок, у меня к тебе небольшое дело, просьба одна.

«Вот я и решил проблему кирпича для гаража, черт побери! Как в басне Крылова: мужик и охнуть не успел, как на него медведь насел».

– Пожалуйста, Ахмед-муаллим.

– Говорят, нет худа без добра, Фуад, – начал Ахмед Назар. – Тыведь знаешь, у меня почки... замучился прямо. Да еще эта гипертония. К тому же – возраст. Словом, все одно к одному. Короче, я давно хотел поговорить с тобой. Устал я, Фуад, хочу уходить на отдых. Пора вам, молодым, засучить рукава. Настало ваше время. Мы свое сделали. Не так давно я заикнулся об уходе, сам понимаешь – где. Меня начали уговаривать: зачем, то-се, кто тебя сможет заменить? Я назвал тебя, Фуад. Сказал: вот вам готовый кадр, вырос у меня на глазах, вполне созрел. Молод, но мы и дальше поможем ему, где надо – подскажем, посоветуем. Короче, хвалил тебя, как мог. Хочу, чтобы ты знал это...

«Рассказывай сказки! Так я тебе и поверил!»

Фуад кивнул:

– Спасибо, Ахмед-муаллим. Очень признателен.

Получилось немного сухо, но он не мог заставить себя лицемерить больше этого. Слова Ахмеда Назара были сплош­ным враньем. Больше того, он делал все возможное, чтобы удер­жаться на своем месте, даже копал под Фуада в последнее время.

«Я тебя вижу насквозь, – думал Фуад. – Сейчас наконец ты понял, что песенка твоя спета, и начал пудрить мне мозги. Дурака нашел! Нет, дудки! Я тебе не простак, не ребенок, чтобы верить твоим словам. Ладно, все это чепуха, говори наконец, что тебе надо?»

– И теперь, Фуад, сынок, – продолжал Ахмед Назар, – есть у меня к тебе большая просьба. Единственная! Иншаллах, сядешь за этот стол, так и должно быть. Приходит время – старики уступают место молодым. Это закон жизни. Да... словом, сядешь за мой стол. Прошу тебя, возьми под свое крыло Ниджата...

Фуад почувствовал, как к горлу подступил ком. Да, были и у него слабые стороны, уязвимые места. Человеку, стоящему во главе большого, трудного дела, руководящему сотнями людей, не годится быть сентиментальным. А в нем, Фуаде, эта сентимен­тальность осталась. Вот и сейчас слова Ахмеда Назара задели какую-то чувствительную струнку в его сердце. Ему стало грустно. Неожиданно этот некрасивый, нескладный мужчина, к которому он всегда относился если не с чувством неприязни, то, по крайней мере, неуважительно, небрежно, стал ему ближе, роднее. «Ближе», «роднее», возможно, не те слова. Но, во всяком случае, Ахмед Назар представился ему, как говорится, в ином свете. Словно Фуад вдруг увидел в обличье пустотелого манекена живого человека – со своими заботами, бедами, боляч­ками и, главное, благородного. На какой-то миг ему показалось, что перед ним сидит его отец Курбан, хотя внешне Курбан-киши и Ахмед Назар нисколько не походили друг на друга.

До Фуада заместителем у Ахмеда Назара был некто Гараш Гусейнов, Проработав в управлении семь-восемь месяцев, Гараш начал цапаться с Ахмедом Назаром. Тот написал на этого, этот – на того. Фуад не знал всех перипетий интриги, однако слышал, что в последний раз Гараш накатал на Ахмеда Назара жалобу на тридцати двух страницах и отправил ее в пять-шесть вышестоящих инстанций, а также в добрый десяток газет и жур­налов. Ахмеда Назара можно было обвинить в безграмотности, некомпетентности, «несоответствии» и тому подобном, но и Гараш недалеко ушел от него: в своей пространной жалобе, говорят, сделал около семидесяти грамматических ошибок. Да, Ахмед Назар отнюдь не мог считаться образцовым руководите­лем, но всем была известна его кристальная честность, моральная чистоплотность и крайняя щепетильность в вопросах кумовства, местничества, семейственности. Именно в послед­нем – в семейственности – Гараш обвинил его, приведя единст­венный достоверный факт: Ахмед Назар устроил на работу в одно из проектных бюро системы управления своего сына. Разумеется, из кляузы Гараша ничего не вышло. Вмешался Шовкю, защитил Ахмеда. Да и брат его Ашраф еще прочно сидел на своем месте. Гараша с позором изгнали из управления: поборник истины» (именно так он именовал себя в своей знаменитой жалобе) оказался взяточником и хапугой. Как только Гараша уволили, Шовкю начал проталкивать Фуада на его место. Ахмед Назар оказывал содействие, так как Шовкю только что помог ему. Фуад не очень рвался в заместители Ахмеда Назара, но Шовкю объяснил ему: «Самое большее через два года Ахмед идет на пенсию, и ты займешь его место».

Шовкю слабовато играл в шахматы, но в жизни рассчиты­вал на несколько ходов вперед. Так Фуад оказался в управлении. Спустя месяц после этого назначения Шовкю отмечал день своего рождения. Дома у него собралось самое избранное общество. Был приглашен и Ахмед Назаров. Ахмед был немного растерян, чувствовал себя неловко. Даже выпил лишнего для храбрости. На балконе обнял Фуада, сказал: «Фуад, клянусь тво­ей жизнью, мое уважение к Шовкю Джамаловичу безгранично! Очень рад, счастлив, что к нам прислали именно тебя. Уверен, мы сработаемся, Иншаллах! Что я сделал плохого этому сукину сыну Гарашу? Был бы он человеком, я бы молился на него. Нет, начал откалывать номера, интриговать. И знаешь, что меня больше всего задело? Много он там написал всякой ерунды, – все прощаю, одно мне обидно – то, что он написал про Ниджата...»

Так как Ахмед Назар был немножечко пьян в тот вечер, он открыл Фуаду большую семейную тайну: Ниджат не был его родным сыном. Оказывается, жена Ахмеда Назара была бездетна. После войны супруги решили взять из детдома ребенка. Взяли совсем крошку, а через два месяца выяснилось, что мальчик от рождения калека: не окостеневает скелет, всю жизнь он должен носить специальные корсеты, лубки, бандажи, и в любой день может погибнуть. Словом, пока ребенок будет жить, он не принесет им ни капли радости, напротив, одни лишь заботы и душевные муки. Они не вернули ребенка в детдом. Во-первых, потому, что за эти два месяца успели привязаться к нему, во-вторых, их угнетала мысль: «Допустим, мы вернем мальчика, но кто его, беднягу, заберет после нас? Кому он нужен? Что с ним станет?» Впервые в жизни Ахмед Назар проявил «семействен­ность»- устроил своего приемного сына-калеку на легкую работу в подведомственное их управлению проектное бюро, поручил подчиненным ему людям опекать Ниджата... И теперь он просил позаботиться о нем будущего начальника управления – его, Фуада. Сейчас, когда потеря должности стала для Ахмеда Назара очевидной, он тревожился только о судьбе Ниджата.

«Ахмед Назаров злоупотребил служебным положением и оформил на работу в одно из подведомственных ему проектных бюро своего бездарного сына...» – так было написано в заявление Гараша.

Фуад сказал:

– О Ниджате не беспокойтесь, Ахмед-муаллим. – И подумал, что этим обещанием он как бы подтверждает достоверность слухов о скором назначении его на должность начальника.

– Спасибо, – кивнул Ахмед Назар и неожиданно заговорил о другом. Спросил: – Значит, ты скажешь слово на похоронах Салахлы?

Фуад немного смутился:

– Да... звонили из Союза архитекторов, просили...

Неви­данная вещь: он словно оправдывался в чем-то. Чувствуя, что говорит не то, еще больше растерялся и допустил новый промах, что опять же никак не походило на него, спросил виновато: – А что?

Это был абсолютно бессмысленный, ненужный вопрос, и ему показалось, что глаза Ахмеда Назара за толстыми стеклами очков блеснули ехидством. Ахмед Назар стал для Фуада прежним Ахмедом Назаром – чужим, далеким, неприятным существом, к которому он не испытывал ни малейшей симпатии.

– Да нет, ничего, я так, – ответил Ахмед Назар. В интонации голоса явно чувствовалась насмешка, ирония, укол.

Выйдя от начальника и пересекая приемную, Фуад бросил украдкой взгляд на Нелли. У двери его кабинета стояли сотрудники. Они ждали его, последовали за ним. Фуад вошел к себе, сел за стол.

– Каждому – пять минут...

Летучка началась.

Начальники отделов вкратце отчитывались в текущих селах. Фуад слушал их, но не слышал. Мысли его были далеко этой комнаты, этих людей, этих дней.

Фуад Салахлы, Фуад Салахлы...

Глава пятая

Большинство преподавателей в институте походили друг на друга. Фуад Салахлы не походил ни на кого. Пышная черная шевелюра, выпуклый лоб, худое нервное лицо, тонкие подвиж­ные губы, длинный острый нос и длинные же, в постоянном движении пальцы. Курил он только «Казбек». Всегда как-то очень сложно, замысловато сминал мундштук папиросы. Всегда был обсыпан пеплом. Всегда носил в нагрудном карманчике пиджака красную расческу с частыми зубцами. Он поминутно доставал ее и зачесывал назад свои волосы. Даже во время лекций не забывал про расческу. Был случай: в институте проводилось какое-то общее важное собрание; Фуад Салахлы поднялся на трибуну, в одной руке – текст доклада, в другой – неизменная красная расческа; выступая, то и дело пользовался ею, хотя толку было мало – непокорные пряди тотчас снова падали ему на лоб, закрывая правый глаз. И весь он всегда был словно комок нервов. Манера говорить – страстная, нервная. А как говорил! Какая логика! Какая ясность мысли! Как все четко видел! Как живо чувствовал! Как все умел объяснить, донести до слушателей, до них – студентов!

Была середина пятидесятых годов. Смелые идеи Фуадовой теории и практики, его точка зрения на эстетическое и функцио­нальное единство архитектурных сооружений, его беспощад­ность и непримиримость по отношению к бессмысленному украшательству, эклектике, лжетрадиционности и лженоваторст­ву, к так называемому «чистому искусству», к излишнему, сродни пусканию пыли в глаза, внешнему «великолепию» и другим тому подобным отрицательным явлениям и тенденциям в архитектуре тех лет, его суждения о новых возможностях «организации про­странства» в связи с появлением новых строительных мате­риалов, его выступления в защиту того, что было положи­тельным в конструктивизме, того полезного, что мы можем взять у современной мировой архитектурной мысли, – все это делало Фуада Салахлы кумиром студентов. Он как бы открывал им абсолютно новый, удивительный мир и указывал путь в него.

Среди своих студентов Салахлы почему-то больше всего симпатизировал ему, Фуаду, и Октаю. Его он называл «Малень­ким Фуадом» или «тезкой». Прозвище «Маленький Фуад» нем­ного задевало и в самом деле невысокого Фуада, однако он чувствовал, что Салахлы действительно любит его.

«Сейчас пусть не любит», – машинально повторил Фуад в уме мусульманское заклинание суеверных людей, вспомнивших покойника.

Он и Октай часто бывали в доме Фуада Салахлы. «У супругов Салахлы детей не было, они жили вдвоем. Солмаз-ханым была скульптором. Тогда еще у нее не было мастерской. Одна из комнат их двухкомнатной квартиры была забита, завалена до потолка чертежами, книгами, рисунками, эскизами Фуада Салахлы, в другой находились работы Солмаз-ханым: готовые и незаконченные статуи, бюсты, макеты различных композиций – из гипса, глины, дерева. На лестничной площадке рядом с их дверью всегда можно было увидеть два-три больших чурбака и носилки с глиной, – в квартиру это, увы, не поме­щалось. Разумеется, соседи протестовали.

Когда Маленький Фуад и Октай приходили к ним в гости, Солмаз-ханым вытирала испачканные гипсом и глиной руки о передник, но и после этого руки им не подавала, говорила: «Извините, могу испачкать». И было непонятно, зачем тогда она всякий раз вытирает руки?

Большой Фуад показывал им различные альбомы, давал читать домой редкие книги. Разумеется, и альбомы и книги имели отношение к архитектуре. Давал с условием: «Непремен­но вернуть!» А случалось, он доставал откуда-то из верхнего ящика шифоньера бутылку коньяка, и они выпивали по рюмке- другой.

В доме Салахлы всегда звучала музыка. Патефон ставили на стул в проеме двери из одной комнаты в другую, так, чтобы обоим, и мужу и жене, было хорошо слышно. Супруги любили Баха, Моцарта. Любили старых певцов – Джаббара Гаръягды, Сеида Шушинского, Зюльфи, – эти пластинки достались им от отца Солмаз-ханым шушинца Садыкбека.

Фуад Салахлы «домашний» сильно отличался от Фуада Салахлы «институтского», от того блестящего оратора и полемиста, каким он представал перед студентами на лекциях. В домашней обстановке это был, как правило, молчаливый, немногословный, грустновато-ласковый человек. Правда, иногда (не очень часто) под действием музыки и коньяка Большой Фуад возбуждался, становился говорливым и артистичным. И тогда (опять же откуда-то из шифоньера) извлекались рулоны «александрийской» бумаги – его проекты, чертежи зданий, сделанные еще до войны и навеки похороненные во тьме этого домашнего склепа. Как не похожи были дома на этих листах на здания, которые строились в те годы! Даже сейчас, спустя столько лет, он, Фуад, Маленький Фуад, часто вспоминает те проекты Фуада Большого, особенно его проект «Музея- аквариума Каспия»; вспоминает его так никогда и не построен­ные здания, комплексы, иногда даже видит их во сне; и думает, убежден, что многие из них даже сейчас могли бы стать украшением любого города; разумеется, надо заново сделать инженерные расчеты, учесть новые строительные материалы, новые методы строительства... Но кто будет этим заниматься? Особенно теперь, когда Фуада Салахлы нет. Сам он при жизни не «снисходил» до «устройства», «проталкивания» своих проектов. Случалось, разговор заходил о Шовкю, так как Шовкю и в тот период (впрочем, как и во все другие) был одним из самых знаменитых архитекторов, чьи проекты неизменно имели «зеленую улицу». Большой Фуад и Шовкю дружили в юности. Вместе учились в Ленинграде, жили в одной комнате в обще­житии, делили, как говорится, по-братски и радости, и лишения студенческой жизни. Потом их пути разошлись, а в тот период, то есть в пятидесятые годы, они стали непримиримыми врагами. Так, по крайней мере, говорили в институте. Говорили: «Терпеть не могут друг друга». На лекциях Фуад Салахлы никогда не упоминал имени Шовкю. Но у себя дома, в разговорах с Октаем и Маленьким Фуадом, иногда облегчал свое сердце. Однажды сказал им: «Шовкю – талантливый человек, это несомненно Самое ужасное то, что он все хорошо понимает, отлично видит, что у нас в архитектуре плохо, что хорошо, как надо и как не надо, и, видя это, тем не менее изменяет хорошему, потворствует плохому и сам творит это плохое. Шовкю – конъюнктурщик Мухлевщик! Передергиватель карт!»

«Мухлевщик Шовкю». Никогда до этого Фуад Салахлы не был столь резок, говоря с ними о Шовкю. Потом вдруг прошел слух, будто Фуад Салахлы завидует Шовкю и потому, мол, везде нападает на него заглазно. В институте болтали всякий вздор. Однако тот свой злополучный доклад, прочитанный на заседании НСО, он, Маленький Фуад, написал отнюдь не по наущению Большого Фуада. Никоим образом! Конечно, у каж­дого молодого человека есть свой кумир, свой бог. Влияние дружбы с Салахлы, его альбомов, книг, их разговоров на нормирование Маленького Фуада как архитектора, на формиро­вание его вкуса было велико; и этот сложившийся в определен- -ой атмосфере вкус не мог примириться со стилем строившихся в те годы в Баку зданий, похожих на причудливые, затейливые торты. Именно об этом Маленький Фуад сказал в своем докладе на заседании НСО, покритиковав некоторые архитектурные работы Шовкю Шафизаде под гром рукоплесканий собравшихся студентов. Фуад Салахлы впервые услышал доклад Маленького Фуада там, на заседании НСО, во время его выступления. До •того он ничего не знал, но дело так повернули и раздули!..

Декан Зюльфугаров был земляком Курбана-киши, оба были из одного села. Испокон веку их отцы и деды жили по соседству. Несколько раз он был у них в гостях, пил чай, заваренный Черкез-арвад, нахваливая: «Ах, какой цвет! Ах, аромат! Пах- ах!» Встречая Маленького Фуада, декан Зюльфугаров говорил: А, землячок!», справлялся об отце: «Как там мой друг Курбан? Здоров? – и непременно добавлял: – Смотри, Фуад, детка, береги отца, редкой души человек». Как бы он ни был занят, при встрече с Фуадом всегда улыбнется. У Зюльфугарова были изъеденные кариесом зубы и больные десны, которые постоянно кровоточащие. Не очень-то приятное зрелище: желтые зубы в розовато-алых пузырьках слюны. Да, с Фуадом Зюльфугаров был неизменно приветлив: «А, молодой человек! Землячок! В чем дело? Что случилось? Почему мы такие хмурые? Сын такого человека должен ходить с высоко поднятой головой. А-а, ясно, ясно... перезанимался, бедняга! Говорят, прекрасную курсовую работу написал? Вот что, земляк, давай пошлем тебя в Тбилиси – на студенческую конференцию, а? Поедешь?

Спустя два дня после доклада в НСО Фуада вызвали в деканат. Прямо с лекции. Пришла секретарша декана, извини­лась перед лектором, сказала:

– Мехтиева просят срочно зайти к товарищу Зюльфугарову! Он ждет его.

Фуад не узнал декана. Всегда приветливое, улыбчивое лицо Зюльфугарова сейчас походило на свирепую морду бульдога. Он долго, молча и зло, даже с ненавистью какой-то, смотрел на Фуада, наконец выдавил из себя:

– Мехтиев!.. – Не «Фуад, детка», не «землячок», не «молодой человек», именно – «Мехтиев». – Что это за доклад вы сделали?! – «Сделали», «вы». На миг Фуаду показалось, что Зюльфугаров обращается не к нему. Он никогда ему не говорил «вы». – Соображаете, что вы натворили, Мехтиев?

В комнате были еще люди, – может, Зюльфугаров поэтому так разговаривал с ним? Как бы там ни было, Фуад впервые в жизни видел, что лицо человека может неузнаваемо измениться. Действительно, когда посторонние ушли и они остались вдвоем, словарный состав языка декана стал несколько иным, чего нельзя было однако сказать о выражении его лица.

– Эй ты, пигмей несчастный! Ты что натворил?! Что ты сделал, дурак? На кого поднял руку? На Шовкю Шафизаде?! Осел безмозглый! Он что – ровня тебе?! Товарищ твой?! Ах ты, воробей недоделанный! Тебе, коротышке, только и нападать на таких великанов, как Шовкю Шафизаде! Соображаешь хоть что-нибудь?! Да ты знаешь, кто такой Шовкю Шафизаде?! Знаешь ли ты, какие люди пользуются его услугами? – Эту фразу Зюльфугаров произнес, понизив голос. – Вот ты... пыжишься, пыхтишь, тоже хочешь стать архитектором. Ну, допустим, стал. Допустим. Но и тогда ты все равно только маленькая мошка рядом с Шовкю Шафизаде! Он – птица Рух! Никто никогда даже не заметит тебя в его тени! Ты знаешь, кто он есть в нашей области? И Аллах, и пророк Мухаммед, и все двенадцать священных имамов – в одном лице! Заруби это себе на носу! Шовкю Шафизаде может скрутить в бараний рог каждого из нас и сунуть себе в карман! Захочет – поднимет до небес, захочет – с грязью смешает. Понял?!

В этот момент в комнату вошел секретарь парткома, и Зюльфугаров опять заговорил другим тоном;

– Нет, мы этого дела так не оставим. Нельзя его так оставлять! Вы должны понести должное наказание, Мехтиев! А то что это будет, если каждый начнет нести всякую ересь о наших почтенных, уважаемых мастерах?!

Фуад был ошеломлен. Еще никто никогда в жизни не оскорблял его подобным образом. Это был предел унижения.

Дело Фуада обсуждалось на внеочередном заседании НСО (с участием Зюльфугарова), затем на комсомольском собрании. Его исключили из комсомола, был поднят вопрос об исключении его из института. Окончательное решение вопроса отложили до возвращения из командировки ректора.

Фуад навсегда запомнил: некоторые товарищи-студенты, которые громче всех аплодировали его докладу, теперь при встрече делали вид, будто не замечают его. Избегали его и многие преподаватели. Пожалуй, это было для него самым серьезным испытанием в жизни, – потом он часто думал об этом, ни до, ни после этого с ним не случалось ничего подобного. Рушились, казалось бы, незыблемые идеалы – вера в друзей. В правду! Как он не спятил с ума в те дни!

Спасибо Асе – как могла, морально поддерживала его. Была с ним рядом в самые тяжелые минуты, не давала окончательно пасть духом. Он как казни ждал приезда ректора, и его единственным утешением было сочувствие Аси, ее бесхитростный, искренний лепет:

– Я ходила в мечеть, Фуадик, раздала нищим деньги... Увидишь, все будет хорошо. Я дала обет...

На следующий день после возвращения ректора из командировки его опять вызвали с лекции. На этот раз повели к ректору.

В светлом просторном кабинете кроме ректора находились двое – декан Зюльфугаров и незнакомый Фуаду мужчина, – седоватые волосы и седоватые усы, умные, проницательные глаза.

И на этот раз Фуад подивился способности Зюльфугарова перевоплощаться. Важный, самоуверенный индюк, каким его знали на факультете, сейчас превратился в робкого замухрышку цыпленка: на губах – дурашливая, бессмысленная улыбка, глаза бегают – с ректора на седоусого, с седоусого на ректора, туда- сюда, туда-сюда; он то и дело потирал руки, словно ему было холодно.

Ректор смерил Фуада взглядом:

– Так вот он каков – герой! Дракон прямо-таки, черт возьми!

Все трое засмеялись. Громче всех – Зюльфугаров.

Фуад покраснел как рак, смутился. Подумал: «Издеваются над моим маленьким ростом». Идя сюда, он твердо решил: «Уми­рать – так с музыкой!» Решил, что будет вести себя смело и неза­висимо, скажет то, что думает. «Выгнать решили – пусть выго­няют! Плевать!»

«Дракон... Я – дракон?» Он должен достойно ответить на это. Но не успел. Седоусый сказал:

– Детка, ты отзанимался уже? Все? Конец?

Фуад подумал: незнакомец дает ему понять, что вообще пришел конец его учебе в этом институте. Значит, исключили? Напрасно, выходит, Ася ходила в мечеть, тратила деньги, давала обет. Не помогло. Почувствовал, как лоб его покрылся холодной испариной. И вдруг, забыв, что он собирался держать себя с достоинством, смело резать правду-матку в глаза, выдавил из себя дрожащим голосом, почти с мольбой:

– Нет, нет... я хочу заниматься и дальше... Я хочу учиться в институте...

Незнакомец спокойно разъяснил;

– Детка, я имею в виду сегодня. Ты освободился уже?

– У них еще одна двухчасовка, – быстро вставил Зюльфу­гаров.

Седоусый тяжело посмотрел на него. Снова перевел взгляд на Фуада.

– Я думаю, декан позволит тебе... Хочу, чтобы ты поехал со мной.

– Конечно, конечно, – подобострастно заулыбался Зюльфу­гаров. – О чем может быть речь?

Седоусый пожал ректору руку. Зюльфугарову едва кивнул и, сделав Фуаду знак следовать за ним, вышел из кабинета.

На улице перед институтом седоусого ждала черного цвета машина марки «ЗИМ». Он сел впереди, рядом с шофером, жес­том предложил Фуаду сесть на заднее сиденье. Машина трону­лась. Седоусый упорно молчал. Лишь когда водитель притормо­зил у высокого, очень несуразного, по мнению Фуада, дома (Фуад знал, что этот дом строился по проекту Шовкю Шафи­заде), сказал негромко;

– Вот мы и приехали. Пошли.

– Куда? – спросил Фуад, когда они вышли из машины.

– Ко мне домой. Приглашаю тебя к себе в гости. Или ты не узнал меня? Я – Шовкю Шафизаде. – И, весело, озорно сверкнув умными глазами, добавил: – Тот самый, которому так досталось от тебя!

В тот день Фуад впервые перешагнул порог их дома, впервые отведал кизилового варенья Бильгейс-ханым, впервые увидел Румийю. Но главное – в тот день он узнал Шовкю.

Когда Бильгейс-ханым подала чай, Шовкю спросил:

– Может, ты голоден? Сейчас мы попросим хозяйку, и она нам...

– Спасибо, я недавно обедал, – соврал Фуад.

Бильгейс-ханым вышла из гостиной. Они остались вдвоем.

Шовкю не спеша, явно наслаждаясь хорошо заваренным чаем, делал глоток за глотком.

– Об этой истории я услышал только сегодня. Совершенно случайно. То есть узнал, что тебя немного обидели. Я тотчас сел в машину и поехал в институт. Думаю, что этот парень там натворил? Из-за чего весь сыр-бор? Попросил – мне принесли твой доклад. Я прочел его и сказал ректору: таких студентов не наказывать надо, а поощрять, награждать. Сказал: это написано талантливым, умным, грамотным молодым человеком с современным вкусом. Говорю: что, или у нас много таких? С какой стати, говорю, мы нашу молодежь будем бить дубинкой по голове? Нет, говорю, у этого Фуада Мехтиева светлая голова. Ваш ректор – умный парень, все понял. Будь он в Баку, не допустил бы ничего подобного. Ну а пешки, сам понимаешь, рады стараться. Этот ваш декан... как его?.. На физиономии написано – подхалим. Опасные люди, учти, детка! На будущее учти. Такие утопят кого угодно в стакане воды. Я знаю их как облупленных. Пей чай, остывает.

Фуад слушал и не верил своим ушам. Он был словно во сне. Сидел как истукан, не мог слова сказать от смущения.

Шовкю продолжал:

– Фуад, детка, я двумя руками подписываюсь под каждой мыслью, под каждой фразой твоего доклада. Ты немного пощипал, покритиковал меня – правильно сделал. Молодец! Весьма уместно и своевременно. Наша партия осуждает культ личности. Биз дэ бурада, понимаешь ли, маленький культ в области архитектуры ярадырыг! – Эту фразу он произнес, мешая азербайджанские и русские слова. – Да, да, это тоже культ: нельзя, видите ли, критиковать Шовкю Шафизаде! Почему, спрашивается? Что – Шовкю Шафизаде упал с неба в золотой корзине? Или он – Аллах, пророк? Полностью застрахован от ошибок? Фуад, детка, у меня нет сыновей, есть одна- единственная дочь... Так вот, клянусь тебе ею, я еще никому не говорил того, что скажу сейчас тебе: мне стыдно за девяносто процентов того, что построено по моим проектам.

– Ну, зачем вы так говорите? – вставил Фуад. – А ваша фабрика в Арменикенде?..

Шовкю перебил его:

– Да, от нее я не отрекаюсь. Я построил эту фабрику в тридцатые годы. Был тогда период конструктивизма. И еще – школа в Баилове. Помнишь? И все! Остальное – так, ерунда. Возьми хотя бы этот дом, вот этот, где мы живем. Клянусь тебе, милый, будь у меня возможность, я бы заложил под него динамит и – парт! – взорвал бы к чертовой матери! А что сделаешь?.. Таковы были требования, установки, таков был вкус у некоторых. Мы были вынуждены. Нам говорили: вокзал своим великолепием должен оставить в тени султанские дворцы! И мы строили. Ты думаешь, мы не понимали? Думаешь, мы не знали, что людям нужны не нарядные, кричащие фасады, не декоративные колонны, не величественные своды и коридоры, где можно заблудиться, а простые, компактные, удобные дома, как можно больше домов, максимум простой добротной жилплощади?!.. Еще гениальный Корбюзье сказал, что дом – это машина для производства жизни, так примерно... Максимум служить людям – вот что главное в доме! Мы должны стараться, чтобы эта машина была исправной и отлаженной, чтобы каждая ее деталь была на своем месте! Ничего лишнего! Никаких внешних украшений! Эстетическая форма – да! Но... не ослепи­тельное бессмысленное великолепие ради великолепия! Иначе когда же мы решим жилищную проблему?! – Шовкю помолчал, затем продолжал: – Ничего, сейчас многое должно измениться. Я только что вернулся из Москвы. Ожидаются большие перемены. Подготавливаются серьезные мероприятия. Кое-кому будет дан хороший урок, в том числе и некоторым знаменитым архитек­торам. Пока это строго между нами, но кое у кого отберут даже Сталинские премии, это я точно знаю. Ничего, пусть... Это пойдет только на пользу нашей архитектуре. И ты увидишь, сынок, что у старого Шовкю остался еще порох в пороховницах! Наверное, у тебя есть единомышленники среди твоих товарищей-студентов, прошу тебя, передай им: пусть оценивают деятельность Шовкю Шафизаде не по прошлым работам, а по тому, что он сделает в будущем. Считайте, я ничего еще не сделал!

Фуад многому научился у Шовкю, многое усвоил и перенял от него более чем за двадцать лет общения, но самое главное, пожалуй, среди усвоенного было умение жить без «вчера», жить так, будто вчерашнего дня вовсе не было и ты начинаешь все только сегодня – с утра.

В памяти Фуада от той их первой встречи осталась еще одна деталь – лауреатская медаль на груди Шовкю висела неправиль­но (очевидно, простая случайность): обратной стороной – наружу, лицевой – внутрь, к пиджаку; в те времена на стене гостиной уже красовался ковер с портретом хозяина дома и цифрой «50»; так вот, на ковре Шовкю был изображен тоже с лауреатской медалью, однако там все было в порядке; профиль Сталина на медали был виден четко.

Затем они перешли в кабинет Шовкю, огромный, залитым солнечным светом, на полу – ковры. Все четыре стены до самого потолка – в полках с книгами. Библиотека Фуада Салахлы, образ­но говоря, бледнела в сравнении с этим царством редчайших книг, толстых фолиантов, альбомов репродукций, представляв­ших творчество Корбюзье, Райта, Мис Ван дер Рое, Гропиуса, Жолтовского и других великих зодчих и теоретиков зодчества. Здесь Фуад увидел фотопортреты, книги, альбомы виднейших русских, армянских, грузинских, эстонских и прочих архитек­торов – с их почтительными дарственными надписями хозяину дома. Шовкю, не меньше чем Фуад Салахлы, был в курсе проблем современной мировой архитектуры, знал ее течения, хорошо представлял себе ее возможности и говорил обо всем этом не хуже Большого Фуада.

– Фуад, детка, – сказал он, – повторяю, в архитектурной жизни ожидаются большие перемены. А у меня есть обширные планы на будущее. Мне нужны помощники. Одного я обрел сегодня, это – ты. Кого можно привлечь еще? Кого ты мог бы порекомендовать из своих товарищей-студентов, близких нам по духу, думающих так же, как ты и я? Кто мог бы работать с нами?

Фуад назвал Октая и еще нескольких ребят.

– А из институтских педагогов, преподавателей? Я плохо знаю их, но думаю, и среди них тоже есть близкие нам с тобой по духу, по мировоззрению – люди нашего с тобой вкуса. Навер­ное, когда ты готовил свой доклад для НСО, ты с кем-то совето­вался, кто-то воодушевлял тебя, направлял твою мысль, ведь так?

– Из институтских преподавателей самый близкий нам – Фуад Салахлы, – ответил Фуад.

Шовкю задумчиво улыбнулся, словно вспомнил нечто приятное и далекое:

– Фуад – грамотный архитектор, но... – Он сделал неболь­шую паузу, докончил: – Как говорят русские, он – неудачник. Фуад Салахлы никогда не чувствовал пульса времени.

Бильгейс-ханым опять принесла им чай.

Шовкю продолжал:

– И еще, Фуад, детка, хочу сказать тебе одну вещь. Это – очень серьезно, не забывай этого никогда. Конечно, все – между нами. Этот ваш декан!.. Как его?.. Ну, фамилия?.. – Он прищелкнул пальцами.

– Зюльфугаров, – подсказал Фуад.

– Да, да, Зюльфугаров. Есть такая порода людей! Так вот, с одним таким Зюльфугаровым не справятся сто таких, как Фуад Салахлы, но один Шовкю Шафизаде превратит в лепешку, раздавит сотни Зюльфугаровых! – Эти слова Шовкю произнес энергично, в них прозвучала откровенная гордость за себя, однако тут же понял: получается, вроде бы он хвастает; сменил интонацию, добавил, понизив голос, доверительно, мягко: – Все это я говорю тебе как сыну, Фуад, Надо быть сильным, детка, сильным! Мой покойный отец любил говорить: хочешь быть горой – опирайся на гору.

Когда Фуад уходил от Шовкю, был уже вечер, часов шесть.

На другой день в институте Зюльфугаров подошел к нему. Лицо его сияло.

– А, землячок! Поздравляю, поздравляю! Вышел сухим из воды! Рад, очень рад за тебя, клянусь твоей жизнью! Но запомни, земляк: осторожность украшает джигита. Как там отец, брат мой Курбан?

Фуад на всю жизнь запомнил все, что Зюльфугаров говорил ему в тот день.

Год назад Зюльфугаров, уже пенсионер, пришел к нему на прием с какой-то чепуховой просьбой. Фуад встретил его предельно обходительно, однако упорно говорил старику «ты», то и дело вставляя «земляк», «землячок», раз даже бросил: «Ай, безбожник!» Фуаду было так же просто исполнить то, о чем просил его Зюльфугаров, как, скажем, выпить стакан воды, но он сказал:

– Клянусь твоей жизнью, земляк, ты задал мне трудную задачу. Буду стараться, приложу все усилия, исключительно ради тебя, землячок, однако шансов у тебя маловато, вряд ли что получится.

Он проводил сконфуженного, стушевавшегося, исходящего потом, красного как рак Зюльфугарова до двери кабинета. Когда тот был уже за порогом, не удержался, сказал:

– Запомни, земляк: осторожность украшает джигита!

А тогда в институте все и вправду закончилось благополуч­но. Ася говорила:

– Аллах услышал мои молитвы, проявил милость.

Ася сдержала свой обет: раздала нищим возле мечети пол­зарплаты. А что она получала-то, Господи!.. Дурочка Ася!.. Его восстановили в комсомоле. Те, кто сторонился его, снова стали приветливыми и ласковыми.

Но у Большого Фуада, у Фуада Салахлы, случилась не­приятность: спустя месяц его уволили из института, «за пропа­ганду среди студентов вредных идей, пренебрежительное, нигилистическое отношение к современной национальной архитектуре и преклонение перед конструктивизмом и архитек­турой Запада».

Глава шестая

Фуад посмотрел на часы и прервал Мир-Исмаила:

– Так, мне надо в аэропорт. Закругляйся, Мир-Исмаил. Мир-Исмаил понимающе кивнул:

– В сущности, я уже...

– Хорошо, товарищи, тогда все. Можете идти. – Все вышли. Фуад вызвал Нелли: – Позвоните, пожалуйста, в гараж, вызовите машину.

– Хорошо, Фуад Курбанович, сейчас, – пропела Нелли сочн­ым, прекрасным и в то же время безнадежно холодным голосом – Но там вас ждут, – кивок в сторону приемной. – Товарищ гово­рит, вы сами назначили ему время.

– Кто такой? У меня же нет ни минуты, я спешу.

– Это Октай Мурадов.

– Ах, Октай! – Фуад думал несколько секунд, затем мах­нул рукой: – Хорошо, пусть войдет. – В кабинет вошел Октай.

– Я вижу, у тебя все по-прежнему – собрания, совещания, заседания. Вереницы, караваны заседаний!

– И не говори, Октай. Действительно, вереницы заседаний – одно за другим. Здравствуй! – Фуад встал, протянул ему руку. – Присаживайся. Эх, давно хочу повидать тебя, но не так, а чтобы обстоятельно – сесть, поговорить по душам, посоветоваться. Нет времени. Но о встрече мечтаю. Проклятый цейтнот!

– Раз мечтаешь, значит, когда-нибудь увидимся – сядем, поговорим. – Октай усмехнулся: – С самим собой хоть встреча­ешься? Помнишь разговор?

– Вот смотри, – Фуад показал блокнот. – Ежедневно делаю пометку: встреча с самим собой. Наверно, и я немного чокнулся.

– Пока не откажешься от бесконечных заседаний, встреча с самим собой не состоится. Одно исключает другое.

– Не скажи, Октай. Я вот, например, провожу заседание, люди говорят, а я не слышу их. У меня ежедневно бывает сто заседаний с самим собой, там, в душе. Внутренний голос не смолкает. А вот сосредоточиться, подытожить, сделать выводы, принять решение – не удается. Разумеется, не о работе говорю, в делах у меня полный порядок. Понимаешь, о чем я?

Октай кивнул.

Зазвонил телефон. Фуад поднял трубку.

– Да, слушаю... Нет, в два часа... Да... Похороны в четыре. Хорошо. – Положил трубку. В этот момент зазвонил другой телефон. Он сказал Октаю: – Ты видишь? И так – весь день. – Взял трубку: – Да, слушаю, товарищ Садыков... Хорошо, пришлем. – Положил трубку, сам набрал номер: – Мюрсал, пошлите справку в трест. На имя Садыкова... Не завтра – сегодня! Сколько раз можно говорить?! – И, не слушая ответа, дал отбой.

Октай сказал:

– Знаешь, Фуад, я много думал о природе активности такого типа людей, как ты. И я понял ее. Просто вы хотите убежать от самих себя.

Фуад нахмурился:

– Ты шел сюда, чтобы сообщить мне эту глубокую мысль? – И тотчас взял себя в руки. Нет, он не должен так разговаривать: раздражительность, обидчивость, злоречивость – признаки слабости, невезения в жизни; язвить может Октай, у него же, у Фуада, нет на это права; человек, руководящий людьми, должен уметь терпеть их недовольства, зависть, гнев, злобу, должен уметь почувствовать себя в их шкуре, дабы понять, что их гнетет и волнует, разгадать их самые сокровенные мысли и чувства, понять, разгадать и... нейтрализовать, найти выход из любого положения. Сказал: – Извини, Октай, я не хотел тебя обидеть.

Октай улыбнулся:

– И ты на меня не обижайся, Фуад. Конечно, это долгий раз­говор. Как-нибудь, иншаллах, выберешь время, и мы поговорим с тобой на эту тему.

Фуад смотрел на Октая: виски совсем поседели. «Бедняга, сильно сдал. Или это смерть Фуада Салахлы так подействовала на него?

– Япришел к тебе по другому делу, – продолжал Октай. – Ты же знаешь, сегодня мы хороним Фуада...

– Знаю. – «Мы хороним». Не стал говорить, что должен выступить с прощальным словом на траурном митинге. Октай тоже там будет, сам увидит. Печально вздохнул: – Бедный Фуад, жаль его...

Октай не поддержал эту тему, перебил:

– Мы хотели опубликовать в газете соболезнование – я, Асаф, Султан и еще несколько человек, его бывшие студенты, товарищи по работе. В редакции не взяли, говорят, места нет. Ты не мог бы помочь?

– Помогу.

Фуад снял телефонную трубку, набрал номер, с кем-то связался, переговорил, поблагодарил. Сказал Октаю:

– Все улажено. В редакции ждут текст. Идите, давайте соболезнование. Что еще? Чем еще могу?..

– Большое спасибо. Я даже не думал, что это так просто. Мы вчера весь день бились, и сегодня – с утра, ничего не получилось. Ты сделал для нас большое дело! – Он встал.

Фуад жестом руки удержал его:

– Погоди, сядь. У меня есть еще несколько минут, успею встретить немецких братьев. Значит, даете соболезнование?.. Ты мне скажи, кто там еще? Ты, Султан, Асаф?..

– Джахангир и еще два товарища, ты их не знаешь.

– Впишите и меня.

Октай как-то растерялся.

– Но ведь ты... – Он умолк, подыскивая слова. Продолжал: – Ты же официальное лицо.

– Что с того? Да и вы ведь не будете писать полностью титу­лы, имена, фамилии. Октай, Султан, Асаф, Джахангир, Фуад... Кто знает, какой Фуад?

– Хорошо, пожалуйста... мы напишем... – без энтузиазма ска­зал Октай. – Только зачем это тебе? Да... – Он словно вспомнил что-то: – К тому же твоя фамилия уже стоит под официальным некрологом.

– Ну и что ж? Официальный некролог – это официальный некролог, а соболезнование семье дают близкие люди.

– Вот именно – близкие. – Октай был явно огорчен. Повто­рил: – Хорошо, пожалуйста, впишем твое имя, только не пони­маю, для чего это тебе?

– То есть как это для чего? А вам для чего – тебе, Асафу, Султану? Конечно, бедному Фуаду Салахлы сейчас все равно... Но ведь и я тоже был его студентом.

– Верно, был.

Октай произнес эту фразу многозначительно, сделав ударе­ние на слове «был».

Фуад почувствовал, как кровь запульсировала у него в вис­ках. Тема, которой они неожиданно коснулись, была неприятна ему, но он решил; «Поставлю все точки над «и» – раз и навсегда. Сейчас!»

– А в чем дело, Октай? – сказал он. – Кажется, тебе не по ду­ше моя кандидатура? Кажется, вы не считаете меня достойным вашего дружного коллектива, а? Сейчас, наверное, думаешь: «Вот не повезло! Зачем, – думаешь, – обратились за помощью к этому Фуаду Мехтиеву? Зачем связались? Кто бы мог знать, что он начнет навязывать нам свое имя, свое соседство в этом собо­лезновании?» И теперь получается так: отказать мне вроде бы неудобно, но и видеть мое имя среди своих – вас не устраивает. Допустим, другие знать не будут, но ведь вы-то знаете, что за Фуад. Я это!

– Что с тобой, Фуад? Чепуху какую-то несешь.

– Нет, почему же? Иногда я люблю говорить откровенно. Часто мне просто недосуг объясниться по душам, нет возмож­ности, нет времени. В сущности, и сейчас тоже... Но... как гово­рят русские, ради спортивного интереса... Мне любопытно: значит, когда надо помочь с публикацией соболезнования, Фуад Мехтиев хорош, а когда речь заходит о его имени рядом с вашими – здесь он недостоин?

– Ну вот, сделал доброе дело – и теперь начались попреки,

да?

– Вовсе не попреки. Просто я вижу, чувствую... Так полу­чается...

– Хорошо. – В голосе Октая прозвучала решимость. – Раз ты хочешь говорить откровенно, то и я буду откровенен с тобой. Дело не в том, что ты достоин или недостоин нашего списка. Сам понимаешь, это ерунда. Дело в том, что твое имя под соболезнованием жене Фуада Салахлы будет... как бы это сказать... словом, оно будет неуместно.

– Почему?

– Сам знаешь, почему. Ты ведь не забыл ту историю?

– Ага, вот в чем дело?! Это-то я и хотел знать. Но с тех пор прошло более двадцати лет. Даже самое тяжкое преступление прощается за давностью лет. А вы, ты и твои друзья, до сих пор носите в своих сердцах неприязнь ко мне, злобу! Между тем, я не совершил никакого преступления. Да, покойный Фуад Салахлы до конца своих дней не помирился со мной, так и унес с собой недоброе чувство ко мне. Но я всегда уважал его, чту и буду чтить память о нем. Ты – мой школьный товарищ, Октай, скажи: неужели ты и в самом деле веришь, будто Салахлы уволили из института из-за меня?

– Не знаю, Фуад... Но как бы там ни было, тогда все думали, что это ты продал его Шовкю.

– Тогда мне даже во сне не снилось, что я породнюсь с Шовкю. Верно, он восстановил меня в комсомоле, не дал исключить из института. Кстати, а где был ты, когда меня исключали из комсомола? Что-то ты не попадался мне тогда на глаза, как и Фуад Салахлы...

– Неправду говоришь! Фуад Салахлы в те дни из кожи лез, с ног сбился, чтобы помочь тебе. К кому он только не обращался – и в министерство, и выше! Что поделаешь, если у него не хватило сил. Это дело было под силу лишь Шовкю и таким, как ­он. Что же касается меня, то здесь память изменяет тебе. Я ведь в те годы не был членом комсомола: мой отец тогда еще не был реабилитирован.

– Ладно, Октай, что было – то прошло. Только давай раз и навсегда проясним этот вопрос. Запомни: я никогда никого никому не продавал! Да, тогда Шовкю пригласил меня к себе домой, он расспрашивал меня, и, кажется, я сказал ему, что Фуаду Салахлы в общих чертах была известна суть моего доклада на НСО. Но разве это была тайна? Разве Фуад Салахлы тогда или после того скрывал от кого-нибудь свое отношение к Шовкю? Все знали, что он терпеть его не может.

– Дело, не в этом, Фуад. Дело совсем в другом. Ты ведь знаешь, как Салахлы относился к нам с тобой. Детей у него не было. Может, поэтому, а может, по другой причине, но он был для нас как родной отец, считал нас своими последователями. Тебя он любил даже больше, чем меня. Он был твердо уверен, что нам удастся сделать то, чего не смог сделать он, что мы с тобой реализуем его планы и проекты. Мы! И в первую очередь – ты, именно – ты! Так он думал. А ты... После того, как его уволили из института... Кто приложил к этому руку, как, каким образом это случилось, не знаю. Но после того, как его выгнали из института, ты ни разу не навестил его, не пришел к нему домой. Ты тогда сдружился с Шовкю. После того, как ты начал захаживать к Шовкю, Фуад Салахлы был забыт тобой. Словно, ты никогда и не знал такого! Бедняга переживал, страдал из-за этого. Не мог понять, как человек может вдруг так измениться, все забыть – те наши разговоры, мечты, планы. Все забыть и так все растоптать! Помнишь, однажды мы засиделись у него чуть ли не до рассвета и Солмаз-ханым поджарила нам картошку?.. Как мы на нее набросились! А помнишь, как мы праздновали день рождения Фуада Салахлы? На столе только чай с лимоном – и ничего больше. Денег – ни у них, ни у нас. Начали вывора­чивать карманы, наскребли – что у кого было, скинулись, как говорится. Едва хватило на бутылку. Пили водку, закусывали лимонными корками, извлекая их из чайных стаканов. Помнишь? – Октай говорил, перескакивая с одного на другое, но это не были бессвязные воспоминания, в его словах имелась своя железная логика, понятная Фуаду. – И вот в один прекрасный день ты все это зачеркнул, попрал. Сдружился с Шовкю! Ты стал его... – Октай запнулся, наступила напряженная пауза; если бы он сказал сейчас «стал его зятем», Фуад выгнал бы его из кабинета. Октай закончил: – ...стал его человеком. – Опять умолк, задумался, затем продолжил: – У Большого Фуада были трудные дни. Трудные – не то слово. Когда его уволили из института...

– Уволили из института! Уволили из института! – повторил Фуад, копируя интонацию Октая. – Фуада Салахлы уволили из института! Не понимаю, что вы сделали из этого знамя?! Да, Фуада Салахлы уволили из института, а через восемь месяцев восстановили. И даже, если я не ошибаюсь, выплатили зарплату за то время, что он не работал.

Октай угрюмо кивнул:

– Нет, ты не ошибаешься. Но восемь месяцев – это двести сорок дней, и значит – двести сорок ночей, Фуад, Двести сорок дней, двести сорок долгих, нескончаемых ночей, когда каждый час, каждая минута превращается в пытку.

Фуад усмехнулся:

– Браво, ты точно подсчитал. Месяцы быстренько превратил в дни. Не знаю, сколько тысяч часов, сколько миллионов минут составляют двести сорок дней, но ведь это время, в конце концов, прошло и Фуад Салахлы снова вернулся в институт – на свое прежнее место.

– Потому что он не сдался, боролся за правду и доказал свою правоту. Победил!

– Нет, извини, ошибаешься. Причины другие... Просто ему повезло. Вышло постановление партии о недостатках в области архитектуры, о нелепом украшательстве в зодческой практике. И Салахлы заявил, что он всю жизнь выступал против этого порочного стиля. Вот видишь, значит, истина все-таки торжествует.

– Торжествует. Именно поэтому ты должен знать, что совесть моя чиста перед памятью покойного Фуада Салахлы. Если хочешь знать, и совесть Шовкю тоже...

Октай перебил:

– Не надо, не говори этого, Фуад. Про тебя утверждать не могу, но вот Шовкю всю жизнь вредил Фуаду Салахлы. Он не дал ему стать архитектором-творцом, созидателем, практиком. Когда Фуад Салахлы занялся научной работой, Шовкю и здесь хотел помешать ему. Пытался опорочить, перечеркнуть его докторскую диссертацию, только не смог.

– Все это сплетни, Октай. Извини, тебе никак не подходит повторять их.

– Не обижайся, Фуад. Понимаю, Шовкю – твой тесть, отец Римы, однако я отвечаю за свои слова.

Фуад на мгновение испугался. Испугался, что Октай вдруг в самом деле приведет достоверные факты, неопровержимые доказательства, и это создаст для него новую моральную проблему. Есть ли у него время, возможность заниматься этими старыми дрязгами? Особенно сейчас, когда Фуада Салахлы нет уже в живых. Кому это нужно? Для чего?

– Ну хорошо, Октай, не будем препираться. Если не хотите – не пишите мое имя под соболезнованием. Может, так будет лучше. Вдруг Солмаз-ханым не понравится, ведь она, наверное, Шовкю и меня считает врагами своего мужа.

На это Октай ничего не сказал, встал, молча попрощался и вышел.

В памяти Фуада ожила сцена, которая давно не вспомина­юсь ему, которую он забыл, вернее, хотел бы забыть, однако не смог забыть окончательно. Это было в тот день, когда Фуада Салахлы восстановили на работе. Он пришел в институт, стоял в коридоре, улыбался, к нему подходили студенты, преподаватели, поздравляли с победой, а он, Маленький Фуад, не мог осме­литься и подойти к Большому Фуаду. Восемь месяцев они не общались, не разговаривали. Почему, ну почему он не подошел к нему тогда? Почему не смог подойти? В чем он, Маленький Фуад, был виноват перед Большим Фуадом? Почему, ну почему он боялся, что Большой Фуад не подаст ему руки и его, Маленького Фуада, рука повиснет в воздухе?..

Глава седьмая

– В аэропорт, Фуад-гардаш?

– Да, Касум, и как можно быстрее. Опаздываем. Через двадцать минут мы должны быть там.

– Будем.

Почему Октай так настроен против него? Не дает этого понять явно, но в каждом его слове, каждом жесте чувствуется: он терпеть не может Фуада. И он, и Султан, и Асаф... Румийя сказала бы сейчас: «Иначе и не может быть, – завидуют». Суждение Румийи отдает максимализмом. Что касается его, Фуада, он не хотел думать о друзьях студенческих лет столь категорично, гнал подобные мысли из головы.

Очевидно, все-таки Румийя права. Ведь сказано: «Избави нас, боже, от друзей, а с врагами мы справимся сами». В самом деле, с врагами все ясно: враг – это враг. Он не предаст, не изменит, не подведет. Врагу ты не доверяешь, поэтому его вероломство тебя не потрясет. Предавать, изменять, подводить, разочаровывать – привилегия друзей. Да и когда это Султан, Асаф, Джахангир были его друзьями? «Привет!» – «Привет!» Вот и все, что их связывало, связывает. И вообще – есть ли у него друзья? Октая в некотором роде еще можно назвать таковым, хотя и эта дружба принадлежит прошлому двадцатилетней давности. Столько воды утекло с тех пор! Столько событий произошло! Они – Октай, Султан, Асаф, Джахангир – хотят быть вместе, без него, под соболезнованием жене Фуада Салахлы, – пожалуйста, но зачем эти неприятные намеки, выпады, уколы? Разве он заслужил их, дал повод? В чем он виноват перед ними? Может, только в том, что ни один из них – по той или иной причине – не сделал карьеры? Они вместе начинали, жили одной студенческой жизнью, вместе делали свои первые шаги. Как говорится, на старте у всех были равные шансы. Разве он виноват, что он преуспел, а Октай и ему подобные так и остались позади – вместе со своими принципами, ухватившись за них обеими руками, с ними и только с ними?! Да и неизвестно еще, как бы они поступили, представься им возможность отказаться от этих принципов во имя солидного оклада, должности? Кто знает, остались бы они им верны или нет? «Мы не продаемся!» Может, потому, что нет покупателей, а, друзья? Принцип! Что такое принцип? Это работа, дело. Построенное здание – вот принцип. Заложенный жилой массив – принцип. Новая простор­ная, радующая глаз площадь там, где недавно стояли ветхие домишки, – принцип. Разумеется, они не могут простить Фуаду того, что след его навеки останется в этом городе: ведь он построил столько домов, проспектов, жилых районов! Каждый из них, наверное, думает в душе, что мог бы сделать все это гораздо лучше Фуада – спланировать кварталы, разбить улицы, построить дома. Однако же не сделал. И потому неудовлетворен, завидует. Наверняка они сплетничают, шушукаются у него за спиной: «Фуаду повезло, он породнился с Шовкю!» Пусть думают, плевать!..

Странно, почему он всегда мысленно спорит с Октаем, с Октаями, даже раздражается, сердится на них? Почему они так занимают его мысли? Почему ему кажется, что и Октай и его друзья относятся к нему с превосходством, свысока, не считают его достойным их доверия? Между тем, по логике вещей, все должно быть наоборот.

Как-то Октай сказал ему: «Фуад, ты думаешь, мы завидуем тебе?.. Поверь, нисколько не завидуем, клянусь!»

«Как говорится, на воре шапка горит, – размышлял Фуад. – Вот и прекрасно, что не завидуете. Еще лучше! Молодцы! А почему не завидуете? Очень напрасно, что не завидуете. Надо бы завидовать! Шовкю говорит, что в искусстве, в творчестве нельзя жить и работать без некоторой зависти и ничто человеческое не должно быть чуждо художнику. В каждом мужчине, в каждой женщине должна жить эта способность – немного завидовать другому, другим. Разумеется, это чувство не должно брать верх над прочими, не должно отравлять мозг человека своей чрезмер­ностью. В характере человека, как соль в еде, в меру должна присутствовать и зависть. Да и не только зависть – чувство соперничества также, ревность к чужой славе, удачливости ближнего и так далее. Впрочем, дело не в словах, а в сущности, характере вопроса. «Мы не завидуем!» Что вы так гордитесь этим? Значит, в вас нет стремления к первенству, нет воли к победе, нет творческого азарта, упорства, порыва! Ваше утеше­ние – утешение бессильных. Именно поэтому вы всегда будете оставаться в тени сильных мира сего... Ну ладно, успокойся, пожалей свои нервы, – эти воображаемые споры всегда очень дорого обходятся тебе! В чем дело, что случилось, почему ты принимаешь все это к сердцу? Делать тебе, что ли, больше нечего? Есть у тебя пятнадцать-двадцать минут свободного времени в дороге, думай о чем-нибудь приятном, а ты забиваешь голову всякой чепухой. Развейся, посмотри по сторонам!»

– Как думаешь, Касум, успеем? Самолет прибывает через пятнадцать минут.

– Неужели сомневаетесь, Фуад-гардаш? А кого мы едем встречать?

– Иностранцев.

– Да, ребята в гараже говорили... Сказали, приезжают американские архитекторы из пятнадцати стран. Верно? Фуад рассмеялся:

– Ах, Касум, Касум! Ну ты и скажешь иногда! Как это можно – американские архитекторы из пятнадцати стран?! Американс­кий архитектор может прилететь только из Америки. А это архитекторы прилетают из демократической Германии.

– Извините меня, Фуад-гардаш, мы – народ неграмотный.

...А в ту их встречу Октай сказал ему... Как же это он выразился?..

Они проехали мимо дома, в котором жил Фуад. Дом был построен по проекту Шовкю. Шовкю тоже жил в этом доме, в том же подъезде, двумя этажами выше. Они – на пятом, Шовкю – на седьмом. Раньше Фуад и Румийя жили на седьмом этаже, в четырехкомнатной квартире, а Шовкю с Бильгейс-ханым – на пятом, в пятикомнатной. После того как Бильгейс-ханым умерла, Шовкю сказал:

– Зачем мне одному пять комнат? Да и вообще... как вхожу в пустую квартиру, сердце сжимается, все здесь напоминает Бильгейс.

В то время как раз родился Джейхун, семья увеличилась. Короче говоря, они перебрались в пятикомнатную квартиру Шовкю, а он – в их, четырехкомнатную. Дом и в самом деле был прекрасный. Кто бы мог сказать, что эту коробку из стекла и бетона, строгой конструкции спроектировал архитектор, строивший в недалеком прошлом те самые безобразные дома- торты? Профессионализм Шовкю был выше всяких похвал.

Сколько же лет прошло с тех пор, как они поменялись квартирами? Это случилось в год, когда умерла Бильгеис-ханым и родился Джейхун. Какой кошмарный был год!.. Начался он с большой неприятности. Она и сыграла роковую роль в жизни Бильгейс-ханым. Бедная женщина так испугалась!.. В те годы Шовкю сам водил машину. После того случая ни разу не сел за руль.

В один из дней он и Бильгеис-ханым возвращались на машине с дачи. У поселка Бинагады Шовкю наехал на молодого человека. Бедняга сразу же умер. Бильгеис-ханым едва не сошла с ума. Шовкю действовал спокойно, хладнокровно. Он привез Бильгейс-ханым домой, позвонил Фуаду, сказал:

– Ничего не говори Румийе, она в положении, ты понимаешь, ей нельзя волноваться. Сам приезжай, побудешь два-три часа с Бильгейс. По возможности успокой ее... Постарайся, пожалуйста. У меня срочное дело, я должен уехать из дома.

Те два часа, которые Фуад провел возле Бильгейс-ханым, были самыми кошмарными в его жизни. Теща без конца кричала, теряла сознание. А он не мог вызвать «скорую помощь» – Шовкю распорядился: «Никто ничего не должен знать!» Он пытался заменить врача, капал валерьянку на кусочек сахара, совал его в рот Бильгейс-ханым, окроплял водой ее лицо, просил:

– Пожалуйста, успокойтесь, ну, успокойтесь же! Все – обой­дется. Что могут сделать Шовкю Джамаловичу?

Когда сознание возвращалось к Бильгейс-ханым, она, как безумная, твердила только одно слово: «Часы, часы, часы...» Затем опять начиналась истерика, и опять – обморок. Потом Фуад узнал, что у парня, попавшего под машину, на руке были часы, от удара их сорвало с запястья, и они каким-то образом оказа­лись вдавленными в левую щеку парня. Бильгейс-ханым видела все это: окровавленное смятое лицо, застывший взгляд и... часы на щеке мертвеца.

Через два часа Шовкю вернулся домой. Глаза его ввалились, щетина на подбородке неестественным образом отросла и словно бы стала совсем седой. Или это только показалось Фуаду?

Шовкю сказал жене:

– Ну, успокойся, Бильгейс, успокойся, все будет хорошо. Виноват пострадавший. Оказывается, он был сильно пьян, едва передвигал ноги, оступился и попал под нашу машину.

Шовкю оказал семье погибшего большую материальную помощь... Короче говоря, дело замяли. Не было никаких сплетен, никаких разговоров. Многие из знакомых Шовкю до сих пор ни­чего не знают об этом происшествии. Но месяц спустя Бильгейс-ханым умерла от инсульта. Боже, какие это были ужасные дни! Румийя ходила на последних месяцах беременности. Она рыдала, обхватив руками гроб с телом матери. Живот мешал ей. Черкез-арвад, мать Фуада, подошла к ней, хотела успокоить, оторвать от гроба, обняла ее. Эта сцена до сих пор перед глазами Фуада... Было много народу. Румийя резко сбросила со своих плеч руки Черкез-арвад, грубо сказала: «Отстаньте от меня, пожалуйста!» Ясно, она не владела собой, и все-таки...

Черкез-арвад молча проглотила обиду, отошла в сторонку. С кладбища близкие знакомые и родственники поехали к Шовкю – помянуть усопшую. Черкез-арвад прошла на кухню, хотела по­мочь: гостей следовало напоить чаем. Улучив момент, приблизи­лась к невестке, стала утешать:

– Доченька, не убивайся, пожалей себя, пожилые уходят, молодые должны жить. У тебя в животе ребенок...

Румийя, не дав ей закончить фразу, демонстративно отвер­нулась и громко заговорила с кем-то из гостей. Ночью сказала Фуаду:

– Передай своей матери, мне не нужны ее утешения! Без того тошно... – В глазах Румийи было столько скорби, что Фуад не смог ничего возразить. – И в хозяйские дела пусть не лезет. Есть помощницы, без нее заварят чай, подадут гостям.

Уже потом, спустя некоторое время, Фуад заговорил об этом с Шовкю. Тесть так объяснил:

– Наверное, Румийе было тяжело видеть в руках другого человека стаканы и блюдца, которые совсем недавно ставила на стол ее мать. Соседки, посторонние женщины – другое дело... Но когда посуду Бильгейс трогала близкая родственница, твоя мать Черкез-баджи, ей делалось не по себе.

Фуад, конечно, ничего не сказал матери в тот день. Черкез-арвад сама все хорошо понимала. Повела себя как посторонний человек, не стала ни во что вмешиваться. Когда собрались на третий день, пришла. И на седьмой – пришла. А на сороковой день – приболела, не смогла прийти. В годовщину кончины Бильгейс-ханым тоже пришла. И все! С тех пор она ни разу не была у них в доме. Вначале Фуад как-то не обращал на это внимания. Его родители и при жизни Бильгейс-ханым редко приходили к ним, разве что на семейные торжества. Румийя же вообще за все годы их совместной жизни была в доме его родителей три-четыре раза. Шовкю и Бильгейс были у них, кажется, всего лишь один раз – в день свадьбы Фуада и Румийи.

Спустя месяц после того, как отметили годовщину смерти Бильгейс-ханым, праздновали день рождения Первиза. Курбан- киши и Черкез-арвад не пришли. Днем Черкез ходила в школу, где учился внук, поздравила его там, вручила ему подарок. В день, когда отмечали год со дня рождения Джейхуна, Курбан-киши пришел один, без Черкез, посидел с полчаса и ушел. И так было в течение многих лет: в дни рождения ребят никто из них не приходил, или приходил Курбан-киши, приходил и вскоре уходил. Черкез же со дня годовщины смерти Бильгейс-ханым ни разу не переступила порог их дома.

Однажды случайно об этом зашла речь. Фуад навестил родителей. Отца дома не было. Слово за слово, Фуад упрекнул мать:

– Нехорошо, мама, ты совсем у нас не бываешь.

Просто так сказал, без всякого умысла. По правде говоря, ему совсем было не до того, другим была занята голова- работой, делами.

Мать ответила:

– Ах, детка, лишь бы ты был счастлив, лишь бы твое сердце было спокойно. Что изменится, приду я к вам или не приду? Не будем об этом...

– Нет, почему же? – настаивал Фуад. – Мне кажется, ты что- то не договариваешь, мама. Скажи, что у тебя на душе? Ведь ты для меня самый родной человек на свете.

На глаза Черкез-арвад набежали слезы.

– Сынок, конечно, горько мне... Люди любят посплетничать, и все-таки обидно... Дошло до меня, что твоя Румийя не раз жаловалась людям на несправедливость Аллаха. Говорит: «Забрал у меня мою благородную, красивую мамочку, а вот Черкез-арвад жива и здорова, ничего с ней не делается...» – Мать всплакнула, утерла краем платка глаза, продолжала: – Все мы умрем, детка. Когда-нибудь смерть постучится и в нашу дверь. Но разве я виновата, что она раньше пришла к ним, а не к нам?

Поплакав немного, мать успокоилась, пошла на кухню, умыла лицо, вернулась в комнату, улыбнулась:

– Извини, детка, ради Аллаха, не удержалась я, сказала это тебе, расстроила. Даже отец твой ничего не знает. – Помолчав немного, продолжала: – Потому-то и не прихожу к вам, сынок. Думаю, увидит меня Румийя – опять заноет ее рана... Зачем?.. По внукам скучаю, постоянно хочу видеть их. На дни рождения не прихожу, а очень хочется... Почему бы не прийти? Я бы и приготовила все для вас с удовольствием, и на стол бы подала, и за гостями бы поухаживала, но думаю: зачем мне лезть в вашу жизнь, зачем омрачать вашу радость?..

Фуад начал разубеждать мать:

– Клянусь тебе, мама, это все сплетни. Румийя никогда не скажет такого. Яобязательно узнаю, кто распускает подобную ложь.

На следующий день Фуад уехал в командировку, а когда вернулся, ему пришлось срочно готовить доклад, – он завертелся, закрутился. Короче говоря, не поговорил с Румийей. Разумеется, время на разговор с женой он бы выкроил, однако боялся, что она поднимет скандал и обвинит во всем его мать...

Касум спросил:

– А вон то здание тоже строил Шовкю Джамалович?

– Да, Касум, – подтвердил Фуад.

– Ну и голова он, машаллах! А, Фуад-гардаш?.. Ведь верно говорю – голова?

Фуад кивнул, подтверждая, что да, мол, тесть его и в самом деле «голова».

– Таких людей, как Шовкю Джамалович, – продолжал Ка­сум, – на земле больше нет. С большими он – большой, с малень­кими – маленький. Вот у меня пять детей, так, клянусь Аллахом, иногда я сам путаю их имена. А Шовкю Джамалович – нет. Клянусь вашей жизнью, Фуад-гардаш, клянусь жизнью Гамбара, Шовкю Джамалович никогда не собьется, знает каждого по имени. Всегда, когда встречает меня, спрашивает сначала про жену: «Как себя чувствует Гызханым-баджи?» Затем начинает по одному спрашивать про ребят; «Как Мамедали, как Закир, как Зафар, как Сайда, как Исмихан?» Просто поразительно, клянусь Аллахом! В таком возрасте – и такая память! Тьфу, тьфу, не сглазить бы! Да пошлет ему Аллах долгой жизни! Помню, когда я работал у него, возил его, он знал всех своих сотрудников по имени. С каждым здоровался за руку, спрашивал: «Как дела, как здоровье?»

Машина выехала из города и мчалась уже по Балаханскому шоссе.

– Фуад-гардаш, говорят, будто Шовкю Джамаловичу предложили в Москве большую должность – быть самым главным над всеми архитекторами. А он будто бы не согласился, сказал: «Пока не закончу строить весь Баку, никуда не поеду». Это правда? И еще говорят, будто Шовкю Джамалович поклялся сделать Баку таким, как Париж. «Превращу, говорит, Баку в Париж – потом умру!» А что, Фуад-гардаш, Париж и в самом деле красивый город? Вы ведь были там...

– Красивый, Касум, красивый.

– Неужели красивее Баку?

– Каждый город красив по-своему, Касум.

– Это верно, вы правильно говорите... Но Шовкю Джама­лович все-таки молодец, мужчина! От такой должности в Моск­ве отказался! Он – как наш Гамбар... Гамбара тоже приглашали в Ленинград, в тамошний университет, – не поехал. Что, разве у нас своего нет?!

Фуад усмехнулся в душе: «Устное народное творчество!» Этот образец фольклора, очевидно, был отголоском факта, имев­шего место в прошлом и сильно искаженного. Действительно, когда Бильгейс-ханым была еще жива, встал вопрос о переезде Шовкю в Москву. Разумеется, не на должность «самого главного над всеми архитекторами». Ему предложили заведовать кафед­рой в Архитектурном институте. Бильгейс-ханым категорически была против, заявила, что никуда не уедет из Баку. «У нас един­ственная дочь, свет наших очей, а мы бросим ее и на старости лет потащимся в чужой город».

Шовкю после долгих размышлений отказался от этого предложения. Конечно, он мог бы уломать Бильгейс-ханым, склонить к переезду. Дело было не в этом. Просто он понял, что в результате больше потеряет, чем выиграет. В Москве он будет всего лишь обыкновенным заведующим кафедрой: ни здешних привилегий, ни здешних возможностей.

И вот вам, пожалуйста, как люди все переиначили, как все приукрасили! «Превращу Баку в Париж... Пока не закончу стро­ить весь Баку...» Ну и ну! Да, действительно Шовкю – голова! А прозвище какое ему дали – «Мухлевщик Шовкю»!

«Мухлевщик Шовкю»! Маленький Фуад услышал эти слова однажды от Большого Фуада. Всего лишь однажды. А от Октая он слышал их очень часто, разумеется, в те времена, в те годы, когда Фуад не был еще женат на Румийе. Сейчас-то Октай не посмеет назвать при нем его тестя «мухлевщиком». Однажды, в тот период, когда Фуад начал захаживать в дом к Шовкю, но когда у него с Румийей ничего еще не было, он поспорил с Октаем из-за Шовкю. Октай поносил Шовкю, Фуад защищал. Октай говорил, что у Шовкю нет никакого архитектурного принципа, что он всегда на виду, в почете, так как держит нос по ветру, приспосабливается к тому стилю, к той форме, каких требует эпоха. Фуад, возражая ему, спрашивал: «Разве это плохо? Разве это уже сам по себе не принцип, не мировоззрение – отвечать требованиям эпохи?» На это Октай ему сказал (его слова почему-то запомнились Фуаду), что мировоззрения бы­вают разные: есть верные, есть ошибочные. Если человек, гово­рил он, ради своего мировоззрения идет на муки, на страдания- это одно; если же, благодаря своему мировоззрению, человек получает различные привилегии, процветает, благоденствует- совсем другое. По словам Октая выходило, будто мировоззрение, дающее привилегии, – неверное мировоззрение. Абсурдная мысль! Например, известно, что первые христиане во имя своей веры шли на тяжкие муки. И приверженцы ислама тоже шли на смерть за свою веру. Но разве это означает, что концепции тех и других были верными? Тот их спор Октай закончил словами:

– Что бы там ни было, а Шовкю – мухлевщик. Да, да, мухлевщик, вот и все! Он ведет игру не по правилам.

Видимо, Октай был не в состоянии дать обстоятельного ответа на доводы Фуада.

Удивительно то, что Фуад впоследствии очень часто вспоминал эти слова и считал их справедливыми, однако несколько в ином плане. Шовкю и в самом деле был мухлевщиком, но не в том смысле, в каком имел в виду Октай, не в переносном, а в буквальном. Шовкю мухлевал, когда играл с ним в шахматы. Он очень любил эту игру. Играл сносно, не хорошо, а именно сносно, средненько. В период, когда их дружба только начиналась, шахматы были своего рода мостиком, средством, способствующим их сближению.

После того первого визита Фуад начал частенько захаживать в дом Шовкю. Вначале Шовкю сам проявлял инициа­тиву – находил его в институте, приглашал в гости, позволял брать домой книги, альбомы из своей библиотеки. Иногда давал кое-какие мелкие поручения, имеющие отношение к архитекту­ре, интересовался его курсовыми работами, делал исключитель­но профессиональные замечания, давал ценные советы. Вскоре Фуад стал своим человеком в доме Шовкю. Во время этих визитов они непременно играли в шахматы – партию, другую. Перед началом договаривались: играть по всем правилам.

Шовкю говорил:

– Никаких уступок, ясно?! Перехаживать нельзя! Тронул фигуру – ходи ею! Договорились?

Фуад строго придерживался уговора. Если вдруг ошибался, делал неверный ход и сразу же замечал это, не просил вернуть ход назад, не восстанавливал прежнюю позицию. Что же каса­ется Шовкю, то он в аналогичных случаях вел себя совсем иначе.

– Нет, нет, так не пойдет! – восклицал он. – Я зевнул, а ты воспользовался. Это нечестно, я перехожу, – и он делал другой, более выгодный ход.

В результате такой игры Фуад всегда проигрывал, хотя играл намного лучше. У Шовкю просто невозможно было выиграть, так как, оказавшись в затруднительном положении, он неизменно восклицал: «Нет, нет, так не пойдет!» – и на доске восстанавливалась позиция, где он был в лучшем положении, если даже для этого приходилось «возвращаться» назад на два- три хода. Само собой, Фуаду было неприятно, но он держал себя в руках, не подавал виду, лишь улыбался в ответ на махинации Шовкю. Самым обидным было то, что, выиграв подобным образом, Шовкю хвастливо восклицал:

– Ну, дружок, видишь, как я играю! Так-то! Куда тебе тягаться со мной! Молод еще, молод! Или ты думаешь, старого волка Шовкю можно проглотить в два счета?! Как бы не так! Меня голыми руками не возьмешь! Меня победить нельзя! Учти!

И в самом деле, Шовкю было трудно победить, точнее – не­возможно, так как для него правил игры словно не существовало. «Мухлевщик Шовкю»! Странное прозвище. Интересно, кому первому пришло оно в голову? Кто его автор?

И Румийя тоже унаследовала от отца эту черту – мухлевать. Само собой, ни в шахматы, ни в какие другие игры Румийя не играет, тем не менее Фуад неоднократно наблюдал, как она в повседневной жизни пользуется подобного рода приемами. Главным для нее было всегда достичь цели. Любой ценой. Средства значения не имели.

Его сближение с Румией также началось благодаря шахма­там.

– Научите и меня играть в эти ваши шахматы, – сказала она ему однажды. – А то папа все только обещает.

До этого молодые люди почти не разговаривали друг с другом. «Здравствуйте», «до свидания» – вот и все.

В тот день Шовкю и Фуад, как обычно, сели играть в шахматы. Хозяин дома попал в затруднительное положение и долго размышлял над очередным ходом. Бильгейс-ханым не было дома, поэтому чай им принесла Румийя. Поставила на стол поднос, на котором были два стакана чая, лимон, варенье, сахар, сама села рядом в кресло (невиданный случай!), уставилась на шахматную доску, хотя в игре ничего не понимала. Фуад не мог не заметить, что она украдкой поглядывает на него. И вдруг Румийя обратилась к нему с просьбой научить ее играть в шахматы. Сказала просто так. Ни тогда, ни после он не учил ее играть в шахматы. Не было у Румийи такого желания. Но с того дня они начали иногда разговаривать.

В то время Румийя встречалась с одним парнем. Спустя много лет (у них уже родился Первиз), однажды ночью, в минуту откровенности, Румийя призналась ему, что очень любила того парня. Любила, хотя никогда не собиралась выходить за него замуж.

– Из него бы не получился муж, – объяснила Румийя, – в нем не было семейной жилки.

Она встречалась с тем парнем уже около года. Отец, кажет­ся, ничего не знал. Фуад видел их несколько раз вместе- на улице, в кино. Ему запомнилось: они не ходили под руку, шли всегда чуть поодаль друг от друга. Парень был на целую голову выше Румийи. У него было худощавое лицо, сросшиеся на переносице темные брови, большие серые глаза. Имя его было Чингиз, хотя все почему-то, в том числе и Румийя, звали его Охотником. Фуад не знал истории прозвища, не интересовался этим никогда. Может, парень и в самом деле увлекался охотой, а может, его так прозвали совсем по другой причине. Кроме той ночи, Фуад ни разу не говорил с Румийей о Чингизе-Охотнике; оба делали вид, будто такового никогда и не было на свете.

В памяти Фуада запечатлелся эпизод, который, как это ни странно, до сих пор причиняет ему боль. Однажды он допоздна засиделся у Шовкю. Они вместе работали. Когда Фуад уходил, часы показывали половину первого. Румийи дома не было. Тогда они жили еще в старом доме, похожем на торт. Фуад вышел из подъезда и направился в сторону Баилова. На улице было безлюдно. Он завернул за угол и увидел парочку. Это были Охотник и Румийя. В тот полуночный час они показались ему удивительно красивыми, как бы созданными друг для друга! На Румийе было белое платье, юбка – колоколом (крик тогдашней моды!). Талия схвачена широким красным поясом. На плече – красная сумка на длинном ремне. Ах, как он завидовал в ту минуту Охотнику! Как ему хотелось быть на его месте! И чтобы он был такой же красивый, такой же стройный, высокий! И чтобы одет был так же, как Охотник, – модно, элегантно! И что­бы у него были такие же густые волосы, такие же большие серые глаза, длинные ресницы, такие же сросшиеся на переносице брови! И чтобы рядом с ним шла Румийя! И чтобы она была безумно влюблена в него! Но... чтобы это был он, именно он, только он – Фуад! Фуад, а не Охотник!

Румийя, увидев Фуада, сдержанно улыбнулась. Он тоже улыбнулся ей: «Добрый вечер». Она почти безразлично бросила: «Добрый вечер!» И прошла мимо, не остановилась. Он тоже не остановился. Охотник ничего не ответил на его приветствие. И тут он вдруг сказал себе: «Фуад, Румийя должна стать твоей! Она должна стать твоей женой. Да, Румийя станет твоей женой, не­смотря на то что она и Охотник будто бы созданы друг для друга, несмотря на то что они столь счастливы сейчас! Ты отберешь Румийю у Охотника! Отберешь! Отберешь! Отберешь!»

Как? Когда? Каким образом? Фуад не представлял себе этого. Тем не менее, в ту минуту он твердо знал, что Румийя ста­нет его женой. Он даже пожалел немного Охотника, посочувст­вовал ему...

Касум молча вел машину, сосредоточив внимание на доро­ге. Стрелка спидометра замерла на цифре «100»... Фуад размыш­лял: «Время показало, что даже самые, казалось бы, неосущест­вимые, несбыточные желания могут стать реальностью. Время... Время... А что это, собственно, такое – время? Вот иногда гово­рят; время – это вечно текущая река. Считают: прошлое – то, что безвозвратно прошло, будущее – то, что, возможно, будет. Воз­можно! Нет, время – это нечто стойкое, недвижимое, застывшее. Время не изменяется, изменяемся мы, люди, шагающие из Прошлого в Настоящее, из Настоящего в Будущее. Прошлое существует всегда, неизменно находится на одном и том же месте. Точно так же, как и Будущее. Будущее тоже существует всегда, со всеми своими событиями, происшествиями, перипе­тиями. Оно, это Будущее, существует в неизменном виде и ждет нас, ждет, когда мы придем к нему. И в тот момент, когда я встретил Охотника и Румийю на улице, уже существовала и их разлука, и мое обручение с Румийей, и смерть Бильгейс, и рождение Первиза и Джейхуна. Все это уже ждало нас. Уже тогда события были точно, неизменно предопределены. И вот, возможно, в ту ночь Будущее на мгновение открылось мне. Ни­кто не ведал об этом Будущем – ни Бильгейс-ханым, ни Охотник, ни Румийя... Никто... Только я один и еще... быть может, Шовкю...»

Глава восьмая

Он знал, когда у Румийи день рождения. В кабинете Шовкю на стене висел большой календарь. Три даты на нем были обведены красными кружочками: дни рождения Шовкю, Бильгейс-ханым и Румийи.

И вот настал этот день. Он знал расписание ее занятий в институте. Первая лекция начиналась в одиннадцать тридцать. Значит, в одиннадцать Румийя должна была выйти из дома.

Фуад купил на базаре большой букет красных гладиолусов. Деньги взял у Аси. Сейчас, когда Фуад вспоминает это, ему делается нестерпимо стыдно. Разумеется, деньги он взял у Аси под другим предлогом, наврал ей что-то. В половине десятого подошел к дому Шовкю, позвонил из телефонной будки. Трубку взяла Румийя. Он сказал:

– Румийя-ханым, от всего сердца поздравляю вас с днем вашего рождения!

– Спасибо, кто это?

– Фуад.

– А-а, Фуад...

Вышла пауза, затем он сказал:

– Прошу вас, Румийя-ханым, подойдите через две минуты к лифту.

– К лифту? – удивилась она. – А зачем? При чем здесь лифт?

– Очень прошу вас, – повторил Фуад. – Ровно через две минуты.

Он повесил трубку, пересек улицу, вошел в их подъезд. На­чал внимательно прислушиваться. Когда с третьего этажа донес­ся звук открываемой двери (двери их квартиры), он поставил корзинку с цветами в лифт (корзинку он купил в цветочном магазине), сам вышел и, протянув снаружи руку, нажал кнопку третьего этажа. Дверцы лифта автоматически закрылись, лифт пошел вверх. Фуад знал: на третьем этаже лифт остановится, дверцы сами собой распахнутся, и Румийя увидит в пустом лифте корзинку с гладиолусами, ей предназначенными.

Конечно, он мог бы и сам подняться в лифте, лично вручить цветы Румийе, но ему хотелось в этот день действовать как-нибудь оригинально, необычно и этой необычностью произвес­ти впечатление на Румийю, поразить ее воображение.

С третьего этажа донесся голос новорожденной:

– Фуад, Фуад!

Он не откликнулся, вышел из подъезда и отправился в институт на занятия. Полдня прошло в томительном ожидании. Но он не обманулся. Случилось так, как он и предполагал. Шовкю прислал в институт своего секретаря, который разыскал Фуада и сказал ему, что вечером он непременно должен быть в доме Шовкю.

Какой это был несчастливый для него день! Каким униженным, ничтожным чувствовал он себя в тот вечер! Опять пришлось взять деньги у Аси. Он купил Румийе подарок – набор серебряных ложек.

Румийя вежливо улыбнулась ему:

– Ну, зачем еще и это?! – Глаза ее оставались равнодушными, модными. – Вы ведь уже сделали мне подарок утром – присла­ла цветы в лифте.

Это была первая и последняя оценка необычного поступка Фуада. А он-то воображал, что Румийя весь вечер будет рассказывать гостям о его оригинальном способе делать приятные сюрпризы. Увы, про цветы в лифте она больше не вспоминала. Все ее внимание было сосредоточено на Охотнике, на других гостях, на всех, кроме Фуада. Пришло много молодых людей. Все смеялись, болтали, танцевали. Все!

Кроме Фуада. Фуад чувствовал себя стесненным. Молчал. Ему казалось, все думают, глядя на него: «Откуда взялся этот угрюмый тип?»

«Думают, наверное, – размышлял он, – я молчу потому, что не владею хорошо русским языком». Нет, русский язык Фуад знал не хуже всех этих самозабвенно хохочущих, без умолку болтающих, веселящихся молодых людей – юношей и девушек. В глубине души он молил судьбу, чтобы, никто к нему не обращался, чтобы никто с ним не заговаривал. Он боялся, что, отвечая, скажет от растерянности что-нибудь не так, опозорится, однако напрасно боялся: никто к нему не обращался, больше того – никто не обращал на него внимания. Один раз, набравшись смелости, он сам хотел было встрять в общий разговор, но так тихо произнес фразу, что его никто не услышал. Никто, кроме Охотника.

– Что, что? Как вы сказали? – переспросил Охотник и, не дожидаясь ответа, выскочил из-за стола, присоединился к тем, кто танцевал.

После этого, естественно, Фуад уже не делал попыток демонстрировать присутствующим свое красноречие. Как назло, и танцевать он не умел. В то время как все лихо, непринужденно плясали под современную музыку, он сидел за столом расте­рянный, подавленный, никому не нужный. Что бы он делал, если бы не сигареты?! Курил одну за другой. (После того вечера Фуад записался в танцевальный кружок в институте, три месяца ре­гулярно посещал занятия, научился средненько танцевать.) Ему казалось, что и одет он хуже других, хотя его костюм, рубашка, пестрый галстук были как у всех. В конце концов дело дошло до того, что ему стало мерещиться, будто присутствующие украд­кой насмехаются над ним, кивают на него, делают друг другу знаки: мол, посмотрите на этого недотепу, откуда он взялся сре­ди нас? Разумеется, это было не так. Никто не замечал его, никто не обращал на него внимания, – пришедшие к Румийе молодые люди хорошо знали друг друга и всецело были заняты собой. В перерыве между танцами они возвращались к столу и поднимали тосты за присутствующих, соблюдая свою, одним им ведомую, субординацию. Самолюбие Фуада страдало. Ему вдруг захоте­лось, чтобы и на него обратили внимание, подняли тост и за него.

Много прекрасных, торжественных, искренних, сладчай­ших тостов было поднято в честь Фуада во многих домах, во многих компаниях за эти двадцать лет. Сотни тостов! Десятки сотен! Но и они не способны даже чуть-чуть подсластить горечь воспоминаний о тех минутах в ту ночь на дне рождения Румийи. когда он ждал, надеялся: ну, может, сейчас, вот сейчас скажут и о нем, обратят на него внимание!.. Как хочется иногда крикнуть собственной памяти: «Да уймись же ты, усни, умри! Подохни!»

Наверное, если бы там, с ними в комнате, сидел Шовкю, он бы непременно вспомнил Фуада, поднял бы тост за него, сказа бы несколько теплых слов. Шовкю и Бильгейс-ханым не мешали молодым людям, находились на своей половине. Им не было никакого дела до душевных переживаний Фуада.

Румийя танцевала со всеми, но чаще всего с Охотником. Охотник рассказывал забавные истории, шутил, веселил компанию. Он был в центре внимания.

Фуад мог встать и сказать: «Извините, я должен идти, завтра мне рано вставать». И никто бы не задержал его, никто даже не заметил бы его ухода. Но он не уходил. Мучился, страдал, терзался, тем не менее сидел, как прикованный, на своем месте за столом. Выдержал эту пытку до конца, ушел лишь под утро вместе со всеми.

В эту ночь он опять сказал себе: «Румийя будет моей! Будет моей! Только моей!»

Спустя несколько дней Фуад снова сидел у Шовкю. Румийя была дома. Когда Шовкю вышел из комнаты, Фуад сказал ей:

– В тот вечер, у вас на дне рождения, была одна девушка... в таком розовом платье... Играла на рояле...

– Эля?

– Да, да, Эля.

– И что?

– Да так, ничего...

Они помолчали. Немного погодя Румийя сама вернулась к тому разговору:

– Брат Эли из нашей компании, друг Охотника. Вообще-то я не приглашала ее. Даже не знаю, почему она пришла.

Фуад почувствовал, что Румийя недолюбливает Элю. Значит, маневр его удался. Эля была самой симпатичной, самой привлекательной среди девушек на дне рождения, даже лучше Румийи. Итак, стрела его попала в цель. Он видел: Румийя хочет что-то сказать ему, но колеблется. Все-таки она спросила насмешливо:

– Может, вы хотите познакомиться с Элей?

– Да нет, не в этом дело... Мы с ней уже познакомились. – Фуад врал, он не обмолвился с Элей ни словом, но кто мог знать об этом! – Она даже дала мне свой телефон. – Это тоже была ложь, однако кто мог вывести его на чистую воду? – Я записал его, да потерял бумажку.

Румийя деланно усмехнулась. Явно, ей было неприятно слышать об этом. Но она взяла себя в руки, сказала еще более едко:

– Если хотите, я дам вам ее телефон.

– Да, пожалуйста, если это вас не затруднит.

Румийя не дала ему Элин телефон. А он не стал просить его, напоминать. Он достиг своей цели – заинтриговал Румийю, про­будил в ней интерес к себе. Оказывается, человек, проявляющий интерес к другой девушке там, где находится Румийя, сам досто­ин внимания.

Фуад воспользовался одним из уроков Аси. «Если хочешь вызвать у женщины интерес к себе, проявляй интерес к ее подру­ге. Больше внимания подруге, меньше ей самой, – объяснила ему Ася в минуту глупой откровенности. – Женщина видит, что ты равнодушен к ней, и ей непременно захочется во что бы то ни стало отбить тебя у подруги, которой ты якобы симпатизируешь. Такое удовольствие! Запомни».

Очевидно, Ася вычитала этот рецепт в каком-нибудь романе или услышала от подруги. Быть может, ее собственный жизнен­ный опыт подтверждал эту «глубокую мысль», и теперь она выдавала ее как свою.

С Асей он познакомился вскоре после поступления в институт, где Ася работала лаборанткой-машинисткой. Это была рыжеволосая женщина, пышногрудая, крепко сбитая, с довольно приятным лицом. Ася была старше Фуада на целых десять лет. Была замужем, родила ребенка, развелась. Девочку воспитывала ее мать. Ася жила одна в Баилове, на первом этаже старого двух­этажного дома, в маленькой комнатке с выходом во двор, где в тени развесистой ивы стоял небольшой деревянный столик, а вокруг него несколько табуреток. Дом находился на возвышен­ности, и со двора, окруженного ажурной железной оградой, была видна большая часть города и море.

Ася носила узкие платья, из которых выпирали ее пышные формы и оттого еще больше бросались в глаза. Студенты загля­дывались на нее, добивались ее благосклонности, но никто из них, даже самые хвастливые и циничные, не мог похвастаться победой.

Почему же повезло Фуаду? Чем он покорил Асю? Кто зна­ет? Кто поймет женское сердце, кто разберется в его странностях и капризах? Как и многие студенты, Фуад отдавал Асе печатать свои курсовые работы. Случалось, когда нужны были деньги, брал у нее в долг – до стипендии. Иногда, в свободное время, они встречались в коридоре института и болтали о том, о сем, перемывали косточки общим знакомым. Потом...

Но почему все-таки Ася отдала предпочтение именно Фуаду? Может, причина была не в нем, в ней самой? Цветущая, полная жизненных сил молодая женщина не так давно развелась с мужем. Одиночество угнетало ее. Ей были противны наглые домогательства мужчин. Фуад же был юн, чист, скромен.

Ни одна из женщин, с которыми Фуад был близок за эти двадцать лет, не дала ему столько по части «любовного» и жиз­ненного опыта, сколько Ася. Они скрывали от всех свои отноше­ния. Но мало-мальски проницательный человек мог бы все понять по глазам Аси; при виде Фуада они как бы загорались.

Ни одна из женщин Фуада не смотрела на него с такой неж­ностью, с такой страстью. Он, Фуад, зажег этот огонь в глазах Аси и он же его погасил.

Дважды Фуад встречал Охотника в городе вдрызг пьяным. В последний раз Охотник был в таком состоянии, что едва держался на ногах. Ничего не соображал. Фуад взял Охотника под руку, посадил в такси, достал у него из кармана паспорт, сказал таксисту адрес, даже рассчитался с ним. Несомненно, если бы не Фуад, Охотник провел бы эту ночь где-нибудь под кустом или же в милиции. Охотник не узнал Фуада – ни тогда, в пьяном виде, ни после, когда они опять встретились на улице.

«Румийя не может, не должна выходить замуж за такого пья­ницу!» – думал Фуад. Решил; Бильгейс-ханым и Шовкю должны обязательно узнать, какая опасность подстерегает их дочь.

Вмешательства родителей не потребовалось. В один из дней Фуад услышал страшную новость: Охотник сгорел, умер от ожогов. Вначале он не поверил. Пошел к Шовкю. Румийя рыда­ла. Увидев Фуада, скрылась в своей комнате. Шовкю дома не было. Бильгейс-ханым сказала Фуаду:

– Бедняжка, как убивается! – Увела Фуада в кухню, начала рассказывать шепотом: – Ты ведь знаешь, Румийя встречалась с одним парнем. Я говорю – встречалась, но между ними ничего такого не было, товарищами были, дружили. Иногда ходили вместе в кино, еще куда-нибудь, ходили вдвоем, втроем... – Фуад отметил про себя, что теперь, когда Охотника нет в живых, надо представлять их отношения именно так, как это делает Бильгейс- ханым, чтобы на Румийю не падала тень. – Да, но я не об этом. Вчера этот несчастный шел по улице, рядом с ним остановился горящий автобус. В автобусе находились дети. И дверь, говорят, заклинило, не открывалась. Ну, он схватил камень, разбил окно, спас нескольких детей, а сам... Говорят, волосы у него на голове вспыхнули, одежда запылала. Все тело обгорело. Когда подоспели пожарники и потушили огонь, было уже поздно. Парень скончался по дороге в больницу. Да ты, Фуад, должен был видеть его у нас. Охотником все его звали, не знаю почему. А настоящее его имя – Чингиз.

Фуад до сих пор не может понять, как Охотник мог совер­шить этот героический поступок. С виду он никак не походил на человека, способного пожертвовать собой. Любил кутить, гу­лять, жить на широкую ногу, модно одеваться, танцевать стиль­ные танцы, говорить комплименты симпатичным девушкам. Кто бы мог подумать, что этот избалованный тип принесет в жертву свою жизнь ради чужих, незнакомых ему детей? Скорее всего Охотник был пьян, сам не понимал, что делает, вот и полез в огонь.

Фуад по сей день так думает.

Господи, на какие только безумства он не шел ради Румийи! Каждый день приходил к институту встречать ее. Случалось, всю ночь до утра бродил под ее окнами. Его не смущало, что Шовкю знает об этом. Напротив, ему даже хотелось, чтобы Шовкю был в курсе его «безумной» любви.

Фуад нисколько не сомневался: рано или поздно Румийя станет его женой. Он знал, что Шовкю тепло относится к нему. Но если бы даже Шовкю запротестовал и начал мешать ему, он не отказался бы от задуманного. Теперь, после смерти Охотника, на свете не было силы, способной отнять у него Румийю.

Силы не было, однако имелась помеха. Ею была Ася. Правда, Фуад не считал ее столь уж серьезным препятствием. Их связь продолжалась четыре года и вот-вот должна была завер­шиться. К сожалению, Ася еще не понимала этого. Женщина, дающая ему уроки жизненного опыта, не могла уразуметь самой элементарной истины, того, что он, Фуад, никогда не женится на ней, что слова «подожди, вот закончу институт» – всего лишь отговорка. Часто Фуаду казалось, что Ася сама понимает ситуа­цию и так, все прекрасно понимая, живет с ним. «А что, если не понимает? – спрашивал он себя иногда. – Что, если она предается бесплодным мечтаниям? – И отвечал себе: – Но я здесь при чем?» Как она всерьез может верить в то, что он, Фуад, женится на женщине, которая на десять лет старше его, которая была замужем и развелась, у которой есть шестилетняя дочь и которая вот уже четыре года сожительствует с ним? Жить четыре года с женщиной, а затем жениться на ней официально?!

Ася подрабатывала, печатая на машинке. Работала в инсти­туте, когда было свободное время, и дома – по вечерам. Зарабо­танные деньги тратила на старенькую мать, на дочь, на Фуада. За модой не гналась, одевалась скромненько, но Фуада баловала: то рубашку ему купит, то модный галстук, то импортные туфли. Однажды подарила ему очень дорогие замшевые перчатки, кото­рые до сих пор хранятся у него. Мечтала купить ему золотые часы.

Всякий раз, принимая подарок, Фуад ругал Асю:

– Ну зачем, зачем ты это делаешь? Пойми, ничего мне не надо! Кроме того, ты ставишь меня в очень неловкое положение. Ведь ты знаешь: я не могу ответить тебе тем же, у меня нет возможности делать тебе подарки. Предупреждаю тебя, Ася, если ты еще купишь мне что-нибудь, я не возьму!

Тем не менее, брал. Всегда журил Асю и всегда брал. И вся­кий раз на глаза Аси навертывались слезы, она шмыгала носом, тихонечко плакала, прижимала Фуада к своей пышной груди, целовала его то в одну щеку, то в другую, шептала:

– Миленький мой, родной, Фуадик! Да буду я твоей жерт­вой! Ты ведь тоже – мой ребенок! Я – дура, сумасшедшая, но, кля­нусь Аллахом, я люблю тебя! Люблю, люблю...

Вначале, на заре их отношений, пылкая любовь Аси вскружила Фуаду голову, неодолимая сила влекла его к ней. Но шли месяцы, годы, их встречи в ее комнатушке в Баилове становились все более спокойными, теряли первозданную прелесть, праздничность, превращались для Фуада в скучную необходимость; а после того, как в его жизни появилась Румийя, они, эти встречи, сделались для него своего рода душевной пыткой. Несмотря на это, Фуад почему-то не спешил рвать с Асей. Он считал: ей не следует ничего говорить до тех пор, пока Румийя не станет официально его невестой. Думал он и о том, что Ася может наделать много глупостей, узнав, что причина их разрыва – юная, красивая дочь Шовкю Шафизаде. Боялся, что Ася в гневе может потерять контроль над собой, начнет мстить ему. К счастью, он никогда не писал Асе ни писем, ни записок. Об их связи могли только догадываться. Но ведь догадки, предположения – не доказательства. Ася в припадке ревности могла, обратиться в деканат. Фуад предусмотрел и этот вариант. В этом случае он пришел бы в кабинет своего «земляка» Зюльфугарова и поговорил бы с ним «как мужчина с мужчиной». Он сказал бы ему: «Зарубите у себя на носу: я женюсь на дочери Шовкю Шафизаде, если даже сегодня произойдет светопрестав­ление! А когда я женюсь на ней, я руками моего тестя сведу счеты с каждым, кто делал мне неприятности, вставлял мне палки в колеса, портил мне кровь!» «Такие, как Зюльфугаров, – думал Фуад, – иного языка не понимают. Ясно, что Зюльфугаров испугается идти против меня», Он помнил слова Шовкю: «...но один Шовкю Шафизаде превратит в лепешку, раздавит сотню Зюльфугаровых!»

И все-таки Фуаду совсем не хотелось скандала. «Не дай бог, не дай бог! – размышлял он. – Зачем мне скандал?! Я должен расстаться с Асей по-хорошему. Ведь она показала себя верным другом, преданной женщиной. Ася была мне опорой в трудные дни моей жизни. И кроме того... у нее все еще впереди. Встретит хорошего человека, снова создаст семью, будет счастлива. Тридцать четыре года – не так уж много!»

Да, очень ему не хотелось огорчать Асю, причинять ей боль. Их связывали четыре года! Шутка ли?! Столько воспоминаний! Но и приносить в жертву приятным воспоминаниям свое будущее он не собирался. Что было – то прошло! Настало время расставаться. Их дороги разошлись.

После продолжительного упорства, долгих кривляний, порядком потрепав Фуаду нервы, Румийя наконец дала согласие выйти за него замуж. Шовкю, узнав об этом, не стал возражать. Бильгейс-ханым была настроена решительно против.

– Нет, нет и нет! Фуад нам не пара! – твердила она. – Кто он такой?! Кто его родители?!

В конце концов, и она смягчилась.

Четвертого января Курбан-киши и еще несколько человек, Близких их семье, отправились сватами в дом Шовкю. В эту «де­легацию», можно сказать, нахально пролез, затесался Зюльфуга­ров. Ему представился случай в первый (а может, и в последний) раз в жизни побывать в доме Шовкю Шафизаде, – мог ли он упустить такую возможность?

Шовкю встретил сватов крайне сдержанно, держал себя важно. Выслушал. Ответил:

– Хорошо, раз вы пришли, надо подумать. Мы здесь посоветуемся, потом дадим вам ответ. Приходите через неделю.

Короче говоря, Шовкю выпроводил сватов ни с чем.

Трудная это была неделя для Фуада: пожелтел, высох. Через неделю сваты опять явились в дом Шовкю. Он сказал:

– Ну что ж, я – ничего... Пусть будут счастливы.

Бильгейс-ханым подала всем по стакану сладкого чая.

Зюльфугаров, обалдев от радости, начал греметь ложкой в ста­кане: мол, таков обычай, так положено.

Шовкю нахмурился, попросил:

– Ради бога, нельзя ли потише?.. Голова раскалывается...

Было десятое января. Фуад опять ничего не сказал Асе. В ту

ночь он остался ночевать у нее. Думал: «До четырнадцатого – всего четыре дня. Четырнадцатого я все расскажу ей...» Фуад надеялся, что до четырнадцатого Ася ничего не узнает. Дело в том, что тринадцатого, в день Нового года по старому кален­дарю, у Аси был день рождения, который они всегда отмечали особо. И Фуаду не хотелось, чтобы их последний праздник был омрачен неприятным известием.

Однако Ася узнала обо всем на следующий день, после того как Шовкю дал положительный ответ. Что тут началось! Слезы, угрозы, истерика, мольба... Она припомнила Фуаду все, даже то, что без денег печатала ему курсовые работы. Были случаи, когда Ася просила некоторых институтских преподавателей поставить Фуаду хорошие оценки на экзаменах, – вспомнила и это.

– Значит, пока ты учился в институте, тебе нужна была я! – кричала она. – А теперь, когда ты занят дипломной работой и будешь распределяться, тебе понадобился Шовкю Шафизаде, да?!

Удивительно, почему и тогда, и потом, всегда и везде, когда речь заходила о его женитьбе, непременно произносилось имя Шовкю Шафизаде, будто он, Фуад, женился не на его дочери, а на нем самом?!

– Пойми, я люблю Румийю, – пытался он втолковать Асе. – Я безумно люблю ее. Будь она дочерью не Шовкю Шафизаде, кого-нибудь другого, будь она дочерью слесаря, дворника, будь она круглой сиротой, я бы и тогда любил ее... Повторяю, я люблю ее безумно.

Ася продолжала бушевать:

– Что ты мне голову морочишь?! «Люблю безумно»! Какая там безумная любовь?! Ты же приходил ночевать ко мне! Обнимал меня! В ту ночь, когда твои сваты ходили к Шовкю, ты остался у меня! Забыл?!

Как он мог объяснить Асе, не обидев, не задев самолюбия, что дело вовсе не в Румийе? Как ему хотелось сказать, что их отношения не могут длиться бесконечно, что он не собирался на ней жениться. Ему – двадцать четыре, ей – тридцать четыре. Через десять лет ему будет тридцать четыре, ей – сорок четыре. Когда ему стукнет сорок, ей пойдет шестой десяток. Мужчина в сорок лет – в самом расцвете, а женщина в пятьдесят – это уже., все позади! Мог ли он сказать подобное Асе? Ясно, нет.

Потому он предложил:

– Если хочешь, давай иногда встречаться, как прежде. У нас с тобой была общая тайна, никто не знал ее, кроме нас, и дальше никто ничего не будет знать.

Он сказал это Асе, желая утешить ее. Хорошенькое утешение! Под рукой у Аси оказался ночник на бронзовой подставке, она схватила его и запустила ему в голову. Его счастье, что он успел пригнуться. Внезапно Ася перестала плакать. Поднялась с тахты, ушла в кухню. Фуад слышал, как она наливает воду в кувшин из ведра, ополаскивает лицо. Затем Ася вернулась в комнату. Он обратил внимание: лицо ее мгновенно сделалось старым, некрасивым. Она спокойно сказала ему:

– Уходи.

– Ася, пойми... – начал было он, но она перебила его, повто­рила так же спокойно:

– Прошу тебя, уйди.

Фуад встал. Даже не верилось, что они расстаются подоб­ным образом, расстаются навеки – после только что происшед­шей сцены, после стольких лет близости. И, выйдя во двор, Фуад еще не верил, что они расстаются навсегда. Со двора вышел на улицу, продолжая не верить, что разлука свершилась. Ждал, что Ася закричит ему вслед, позовет. Даже был обеспокоен немного: сейчас, когда Ася выскочит из дома, посторонние люди станут свидетелями их безобразной ссоры. Однако никто не окликнул его, никто не бросился вслед за ним. Он вернулся к калитке, посмотрел на окно. В окне никого не было. Он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, был рад, что серьезная проблема, стоявшая перед ним в последнее время, наконец решена. Была боль, были слезы, скандал, шум, крик, упреки, тем не менее узел был развязан, самое трудное осталось позади. Он ждал худшего, ждал более безобразной сцены, более бурных слез. Все произошло относительно спокойно, прилично. И он радовался этому. С другой же стороны – ему было немного грустно оттого, что Ася смогла так быстро вырвать его из сердца, вырвать, не совершив при этом никакого безумного поступка; пошумела, покричала, поплакала, потом спокойно сказала ему: «Уходи».

А вдруг она?.. От этой мысли он вздрогнул. Вспомнил рассказ Аси про некую женщину: узнав, что она обманута, облила платье керосином и подожгла себя, сгорела. Ведь и Ася может... Не дай бог! Не дай бог! Ему сделалось жутко, когда он подумал об этом. Захотелось вернуться назад. Но он не вернулся. Через час позвонил Асе по телефону-автомату. Услышав ее голос, успокоился, не стал ничего говорить, повесил трубку. Еще раз позвонил ночью. Услышал ее голос – окончательно успокоил­ся, лег, уснул.

Тринадцатого числа тоже позвонил, хотел поздравить с днем рождения, была даже мысль купить Асе какой-нибудь подарок и прийти к ней домой. В этот день он звонил ей неоднократно. Никто не подходил к телефону. И четырнадцатого января телефон молчал. Пятнадцатого Ася вышла на работу. Они столкнулись на лестнице в институте. Ася сделала вид, будто не замечает его. Фуад не остановил ее.

Через несколько дней он получил от Аси письмо. Прочитал его, порвал. «Еще попадет кому-нибудь в руки». В письме Ася писала примерно то же, что высказала ему в тот день, когда они «навсегда расстались». Правда, на бумаге мысли ее были выражены более литературно. Письмо было отпечатано на пишущей машинке «Континенталь», на которой Ася работала дома. Фуад хорошо знал «почерк» этой машинки: буква «к» не ложилась в строчку, оказывалась чуть ниже.

«...Я не сожалею о днях, проведенных с тобой! – писала Ася. – Обидно другое. Обидно, что я до сих пор еще не встречала хороших людей. Несчастный, ты не способен любить! Ты не любишь никого, кроме самого себя. Ради корысти, ради своих личных дел ты можешь попрать самое святое, ты готов переступить даже через труп своего родного отца и матери. Сегодня ты бросил меня, но когда-нибудь ты точно так же бросишь и свою новую невесту. («Новая невеста! Будто бывает еще и старая?») Да, ты бросишь эту несчастную, как только дела ее отца пойдут вкривь и вкось...»

Не письмо – обвинительный акт. Оно заканчивалось следующим смешным четверостишием:

*Ты – неверный, черствый! Слезы – мой удел.*

*В сердце моем раны от жестоких стрел.*

*Всех моих достоинств ты не разглядел.*

*Что ж, с другой будь счастлив, слезы – мой удел!*

Чуть ниже Ася написала: «P.S. Будь счастлив, Фуад! Но вряд ли ты будешь счастлив со своим характером! А.»

Ясно, письмо было криком раненой женской души. Ни одно из обвинений Аси не имело под собой серьезной основы. Тем не менее, Фуад часто вспоминал это письмо. Вспоминал и думал: «Неужели слова Аси оказались пророческими? Или она сглазила меня? Ведь, похоже, я и в самом деле несчастлив. Во всяком случае, до сих пор был несчастлив. И неужели я никогда не буду счастлив? А если так, что же тогда – счастье? Что значит – быть счастливым? Все думают, в том числе и я сам, что у меня есть все для того, чтобы быть счастливым: семья, жена, которую я люблю, два сына, прекрасная квартира, профессия, которую я сам же избрал, должность, деньги, почет, будущее...»

...Касум сделал левый поворот. Вдали показалось здание аэропорта.

Фуад подумал: «А может, счастье – это совсем не то, когда ты чувствуешь сам себя счастливым, а когда другие считают тебя таковым, то есть это всего лишь точка зрения тех, кто говорит о тебе: «Он -счастлив!»? Словом, если другие завидуют тебе, значит, ты счастлив? Но если это так, значит, пророчество Аси не сбылось: завистников у меня – хоть отбавляй...»

В середине мая он и Румийя поженились. Свадьба была грандиозная. Весь город говорил об их свадьбе. В ту же ночь улетели в Москву. Месяц жили в гостинице «Россия». Затем вернулись в Баку, две недели провели на даче Шовкю. В сентябре Фуад перешел на работу в систему Баксовета и быстро пошел вверх по служебной лестнице.

С той поры он ни разу не видел Асю. А вот недавно случайно столкнулся с ней лицом к лицу – в театре. Ася была не од­на. Рядом с ней шла молодая миловидная девушка, очевидно ее дочь. Некогда огненно-рыжие волосы Аси теперь были совсем седые.

Фуад навсегда запомнил четверостишие – смешное, малограмотное, с корявыми рифмами. «Что ж, с другой будь счастлив, слезы – мой удел!»

Глава девятая

Самолет, на котором летела делегация из ГДР, опаздывал на пятнадцать минут.

Фуад подумал: «Похоже, не успею к выносу тела покойного. Ничего – главное успеть на похороны».

Гражданская панихида, где и ему предстояло сказать слово прощания, должна была состояться на кладбище. В последнее время Фуаду довольно часто приходилось принимать участие в подобных траурных мероприятиях. Шовкю шутливо называл его «Молла-Фуад».

– Чаю выпьете, Фуад-гардаш?

Фуад достал из кармана рубль, протянул Касуму:

– Принеси, пожалуйста.

– Как вам не стыдно, Фуад-гардаш! – Касум деньги не взял, ушел и скоро вернулся с двумя стаканами чая. Поставил их на низенький столик, у кресла в котором сидел Фуад, сказал: – Пойду куплю себе сигареты.

Фуад вынул из кармана пачку «Аполлон – Союз», протянул Касуму:

– Кури.

– Нет, спасибо, – Касум замотал головой. – Эти я не курю. Не могу. От них у меня кашель. Я курю «Аврору». Гамбар привез мне этих из Москвы целый блок – я не смог курить, все раздал ребятам в гараже. Глупец я! Надо было вам отдать. Вы ведь их любите...

Фуад улыбнулся:

– Спасибо, у меня есть. – Касум продолжал:

– Когда Гамбар возвращается из Москвы, он привозит таких сигарет тридцать – сорок блоков. Странный он человек... Я ему говорю: «Разве можно тратить столько денег на дым?» А он мне: «Так ведь и ты «Аврору» покупаешь, «Аврора»- ведь тоже дым». Дурная это привычка – курить...

Верно, Фуад-гардаш? Да поможет Аллах каждому из нас избавиться от этой страсти! Но сам Гамбар курит только эти – «Аполлон – Союз», и еще другие есть... Как их?.. Американские, в красной упаковке... Их тоже курит. Всякий раз привозит из Москвы двадцать – двадцать пять блоков... «Будь ты неладен со своим братом Гамбаром!» – выругался Фуад в душе. Сказал спокойно:

– Не теряй времени, Касум. Иди купи себе сигареты, само­лет вот-вот должен приземлиться.

Касум направился в сторону буфета. Фуад снял темные очки, глянул по сторонам. Люди сидели в мягких креслах. Некоторые, вытянув ноги, развалились – как в кроватях. Кое-кто даже сладко спал. Радио громко извещало о прибывающих и отлетающих самолетах.

– Я извиняюсь...

Фуад поднял голову, посмотрел на человека, который остановился перед ним. Отвислая нижняя губа, мутноватые глазки, лицо в густой щетине. Видно, с неделю не брился. Одет очень неряшливо. Черкез-арвад называла такого типа людей «ошарашками». На груди у него висел железный жетон с цифрой «12», из чего Фуад заключил, что перед ним носильщик аэропорта.

– Яизвиняюсь, – повторил «двенадцатый номер», – вы не сын Курбан-муаллима?

Лицо Фуада выразило удивление:

– Да, – кивнул он. – Курбан-муаллим – мой отец. – Уже давно никто не знал его как сына Курбан-муаллима. Напротив, Курбан-муаллима знали как отца Фуада, как свата Шовкю.

«Двенадцатый номер» как-то странно захихикал, получи­лось это у него очень несолидно.

– Ты смотри, а... Я ведь сразу узнал... Смотри, сколько лет не видел тебя – и сразу узнал! Нет, извиняюсь... однажды я видел тебя по телевизору... Ты выступал*...* Я сразу узнал, что это ты...

Фуад пожал плечами, пробормотал не очень-то впопад.

– Бывает, бывает... Все в нашей жизни бывает...

– А ты меня не узнаешь?

– Нет.

– Учились с тобой в одной школе.

Фуад напряг память, пытаясь вспомнить, однако ничего не вспомнил. Черты лица этого типа были ему решительно незнако­мы.

– А потом Курбан-муаллим выгнал меня из школы, исклю­чил... Теперь вспомнил?

И этот факт ничего не прояснил Фуаду.

Вернулся Касум, сердито посмотрел на носильщика, начал гнать его:

– Эй, жми отсюда! Чего здесь стал? Давай, давай, катись!

Фуад вмешался:

– Погоди, Касум, мы, оказывается, знакомы.

«Двенадцатый номер» осмелел от этих слов, опустился рядом в кресло.

– До Курбан-муаллима директором у нас был Заки-муаллим, – сказал он. – Заки-муаллим всегда посылал меня в лавку за керосином. Ты помнишь, на углу, рядом со школой, была кероси­новая лавка?..

Это Фуад помнил. Вспомнил, как сам часами стоял в очереди за керосином. Ведь в те годы готовили исключительно на керосинках, керосинками же обогревались.

– И не только керосин... Я и дрова таскал домой Заки-муаллиму, – продолжал «двенадцатый номер». – Мировой был мужик! Отличный!

– А почему мой отец исключил тебя из школы? – Носильщик опять захихикал:

– У меня голова была немного того... Дырявая была башка. Что бы я ни учил, что бы ни зубрил – ничего в ней не могло удержаться. Пока Заки-муаллим был у нас директором, все шло хорошо. Он мне сказал: «Ты ходи в лавку за керосином, таскай дрова, помогай моей жене по дому, по хозяйству, остальное тебя не касается, я сделаю так, что тебе будут ставить отметки». И мне ставили отметки, я ни о чем не думал. Так я добрался до четвертого класса. В четвертом классе к нам учителем пришел Курбан-муаллим, а потом он стал и директором школы. Он меня невзлюбил. Сказал мне однажды: «Ты – тупой парень, к тому же – лентяй! Короче говоря, сказал он, ты – двойной дурак: и лентяй, и тупица». – Носильщик снова залился дурашливым смехом. – Конечно, Курбан-муаллим говорил правду, учеба не шла мне в голову. Когда я смотрел на книги и тетради, мне делалось жутко. Словом, твой отец выгнал меня из школы. После этого я, можно сказать, почти нигде не учился: походил в одну школу, в другую, в третью, а затем махнул на все рукой...

Что мог сказать на это Фуад? Отец его, наверное, поступил правильно. Хотя, с одной стороны, и Заки-муаллим, возможно, был по-своему прав. Как бы там ни было, смена директора в их школе сыграла роковую роль в жизни этого носильщика. Останься Заки-муаллим директором, он, глядишь, вот так – бегая для него в лавку за керосином, таская ему в дом дрова, закончил бы с горем пополам десятилетку и получил бы аттестат зрелости. А там, может, и в институт пролез бы, на худой конец – в техникум (благо, Заки-муаллимы и всевозможные их разновидности есть везде), в конце концов получил бы диплом и стал бы чело­веком.

«Да, подпортил отец ему жизнь, – подумал Фуад не без иронии. – Но я здесь ни при чем».

Впрочем, носильщик не походил на человека, желающего сводить с ним счеты. В глазах у него не было ни обиды, ни гнева, ни неприязни к нему. Напротив, он был очень рад, что встретил . старого школьного товарища и узнал его. Разумеется, он не мог быть в курсе его, Фуада, биографии, карьеры, не мог знать, каких вершин в жизни он достиг. Фуад продолжал оставаться для него все тем же маленьким мальчиком, учеником средней школы, ребенком, которому лишь стало больше на тридцать лет, сыном Курбан-муаллима...

Фуад в общем-то с удовольствием вспоминал свою институтскую пору. Был, правда, трудный период – это когда он сделал тот свой доклад на заседании НСО. Но поскольку все закончилось благополучно, и об этом вспоминать было приятно. А вот школьные годы остались в его памяти как долгий кошмарный сон. И все из-за отца. Фуад был для ребят в школе «сынком директора», сыном сурового, желчного, мрачного человека, требующего от всех неукоснительного соблюдения дисциплины. Строжайшей дисциплины! И учителя относились к Фуаду не так, как к остальным ученикам. Ибо учителя тоже, как и ученики, боялись Курбан-муаллима. Много лет спустя, когда Фуад работал в системе Баксовета, Курбан-муаллим начал хлопотать о строительстве нового здания школы. Фуад помогал ему в этом и добился претворения планов отца в жизнь. Все думали, он старается, желая угодить родному человеку. Наивные люди! Им владела страстная мечта увидеть, как бульдозеры крушат, ровняют с землей маленькое, невзрачное двухэтажное кирпичное здание, с которым у него было связано столько неприятных воспоминаний! Сейчас, тридцать лет спустя, Фуад уже не страдает так, как в детстве, сталкиваясь с проявлениями жесткого, сурового отцовского характера, Сейчас-то он пони­мает вещи гораздо глубже. Понимает: суровость отца была в некотором роде «детищем» трудного времени, была порождена его честным, безупречным отношением к «порученному делу», «доверенному посту», гипертрофированным чувством гражданс­кой долга, стремлением быть по-настоящему справедливым к людям. Это была суровость солдата-окопника, смотревшего смерти в глаза, исполнившего свой долг, искалеченного войной и навсегда, навеки – до кончины своей – оставшегося... солдатом.

Да, будь она... неладна – эта пора его жизни! Почти ежед­невно читал он надписи на стенах – в школьном туалете, коридоре, других местах: «Курбан – кабан», уборщицы стирали мокрыми тряпками эти надписи, ворчали, а на другой день надписи снова появлялись на тех же самых местах. Фуад видел их не только в школе, но и на тротуаре перед школой, на заборе сквера, который находился в двух кварталах от школы.

Самое обидное, самое неприятное было то, что прозвище «Курбан – кабан» попадало, как говорится, не в бровь, а в глаз: в облике отца, равно как и в его, Фуада, внешности, и в самом деле есть что-то (разумеется, чуть-чуть) от дикого кабана (есть такой тип лица). Его же, Фуада, школьной кличкой было – Кабаненок.

Прозвище, данное директору школы учениками, было, надо полагать, известно и учителям. Некоторые, само собой, зло­радствовали. Короче говоря, Фуад в течение почти десяти лет жил в этой отравленной недоброжелательством, злобой, неприязнью школьной атмосфере.

С годами характер Курбан-киши нисколько не изменился.

Фуад всегда – и будучи ребенком, и затем подростком, юношей, молодым человеком – весьма критически воспринимал характер, поступки отца, манеру его общаться, разговаривать с людьми, отношение к делу. Можно сказать, что самым серьезным жизненным уроком, полученным им от отца, было то, что он упорно – всю жизнь! – старался не походить на него, не повторять его ни в чем.

В последние годы, случалось, он говорил отцу о его ошибках, промахах. Однажды (Курбан-киши был еще директором) между ними произошел такой разговор:

– Послушай, отец, – говорил Фуад, – вот ты возглавляешь коллектив, работаешь с людьми, а как звать каждого – не знаешь, не помнишь. Это нехорошо!

– Что же делать, если у меня такая память на имена? Не могу всех упомнить, – отвечал Курбан-киши.

– Запиши где-нибудь в блокноте имя человека – так и залом­ишь. Как ты не понимаешь таких элементарных вещей! Ты можешь сделать сто раз добро человеку, но если ты этого человека, которого, к примеру, зовут Гасан, будешь то и дело при посторонних называть Гусейном, это ему будет очень неприятно, он будет конфузиться, смущаться, посчитает себя незаслуженно оскорбленным, и все то добро, которое ты делал этому человеку, идет насмарку. Больше того, он возненавидит тебя. Самое большое добро, которое ты можешь сделать ближнему, – это не попирать его чести, достоинства, не задевать его самолюбия, его гордости. Ведь каждый из нас в душе считает себя чем-то особенным. Так уж мы, люди, устроены. Бери пример с Шовкю. Он знает имя, отчество, фамилию каждого своего сотрудника. Больше того, помнит, как звать их отцов и дедов. И добра-то он, в сущности, никому не делает. Однако к каждому у него есть осо­бый подход. И все его любят, все уважают! Да, да, бери пример с Шовкю!

На это Курбан-киши мрачно сказал:

– Сам бери пример с Шовкю, мне уже поздно. Не в том я возрасте, чтобы менять характер.

Характер-то и подвел Курбана-киши. Из-за своей ершисто­сти ему и пришлось расстаться с директорским постом. Поругался с Гафуром Ахмедли. Подумаешь, Гафур Ахмедли ска­зал ему при посторонних «ты»! Ну сказал, и что здесь такого? Пропустил бы мимо ушей, не придал бы значения. Зачем делать из мухи слона? Как-никак Гафур Ахмедли – «вышестоящая инстанция», он – твой начальник, ты зависишь от него. Гафур сказал тебе «ты» – и ты оскорбился?! Чепуха, подумаешь! Про­молчи, проглоти! А настанет день – ты, улучив момент, так ударишь по этому Гафуру Ахмедли, что от него только мокрое место останется! Надо уметь мстить! Месть – тоже искусство. Для этого нельзя терять голову.

А что сделал отец? Когда Гафур Ахмедли сказал ему на собрании в присутствии многих людей «ты», старик вскочил и начал отчитывать Гафура Ахмедли:

– Мальчишка! Я гожусь тебе в отцы! Я воспитал сотни учеников! Вывел в люди сотни таких, как ты! Какое ты имеешь право говорить мне «ты», мне, педагогу с сорокалетним стажем? Не очень-то зазнавайся, не очень гордись своим креслом, своим постом! Мы видели многих на твоем месте!

Как же повел себя в ответ Гафур Ахмедли? Он ведь тоже человек, тоже мог вспылить, выйти из себя, возмутиться, мог бы сказать отцу какую-нибудь грубость (все-таки начальник завроно, кругом люди – и вдруг его так отчитывают). Нет! Ничего подобного! Упаси боже! Гафур Ахмедли, посмеиваясь, встал, начал извиняться:

– Прошу прощения, Курбан-муаллим! Ради бога, извините меня! Вы у нас – заслуженный педагог, мы вас все так уважаем.

А после собрания, говорят, взял Курбана-киши под руку, почтительно проводил до двери – все честь честью.

Хорошо, случилось – случилось. Жизнь: все бывает. Но коль скоро ты испортил отношения с руководством, будь же теперь, по крайней мере, осторожен! А отец в ус себе не дул. Спустя неделю после ссоры с Ахмедли встал и сказал на собрании директоров школ района:

– Качество преподавания в школах района оставляет желать много лучшего! Малограмотные, некомпетентные люди получают назначения на преподавательскую работу. Все делает­ся по знакомству, по блату. Именно поэтому многие интеллигент­ные родители нашего района, не желая, чтобы их дети были малограмотными, направляют их учиться в русские школы... – и так далее, в том же духе.

Гафур Ахмедли, воспользовавшись моментом, пошел в наступление, обвинил Курбан-муаллима в клевете на нашу действительность, в национализме и так далее. Комментируя его речь в райкоме партии, он постарался придать ей политический оттенок. В течение трех дней вопрос был решен: Курбан-муаллима отстранили от директорства, «ушли» на пенсию...

– Касум, пойди, узнай, как там наш самолет? Пятнадцать минут уже прошло.

Касум ушел. Носильщик спросил:

– Ты встречаешь московский самолет? Я тоже жду его. – Он умолк, тупо уставился на Фуада. Забормотал: – Ты смотри, а?.. Ну и ну... Я-то часто вспоминаю тебя... После того случая... Дураками были... Столько лет прошло. Дурацкий случай... Детьми были, дураками были... Ты уж не обижайся на меня за тот случай... Дурак я был...

Фуад пожал плечами, безразлично спросил:

– Что ты имеешь в виду? О каком случае говоришь? – И почувствовал, как по спине его поползли мурашки. Он вдруг узнал этого человека, точнее, угадал в чертах стоящего перед ним неприятного, опустившегося типа одного из учеников школы, где он учился.

– Зейдулла? – тихо спросил он.

Носильщик кивнул и опять глупо ухмыльнулся:

– Точно, Зейдулла... Узнал.

Более тридцати лет минуло с того дня, но Фуад вспомнил его так отчетливо, будто все произошло только вчера. Воспоминания об этом дне, можно сказать, преследовали его постоянно, причиняя нестерпимую душевную боль.

Действительно, этот Зейдулла был исключен из их школы. За что, почему – Фуад не знал; вообще не знал и не ведал, что его исключили, так как Зейдулла был старше его, учился в четвертом классе, а он, Фуад, во втором.

Был ненастный, неуютный, сумрачный декабрьский день. В городе хозяйничал норд: опрокидывал мусорные урны, гнал по улицам сухие листья, обрывки бумаги, песок. Дни стояли корот­кие. Фуад учился во вторую смену. Когда он вышел из школы, уже смеркалось. Дошел до угла, и здесь дорогу ему преградили три подростка. Один из них был Зейдулла. Двух других Фуад не знал.

– Эй, ты, иди за мной! – негромко приказал Зейдулла.

– Куда – за тобой?

– Вон туда! – Зейдулла показал рукой на полуразвалившийся кирпичный забор, примыкающий к зданию школы.

– Шагай, шагай!

Улица была безлюдна.

– Зачем? Что вам надо от меня? Что я вам сделал?

– Меньше болтай! Иди!

Те двое, что были с Зейдуллой, схватили Фуада с двух сторон под руки. Он сделал попытку вырваться. Не получилось; его крепко держали. Потащили к забору. Зейдулла шел сзади, смот­рел по сторонам. Подошли к забору. Зейдулла протянул ему кусок мела:

– Пиши.

Фуад ничего не понимал.

– Что писать?

– Возьми мел!

Он взял.

– Что вам надо от меня? Отпустите...

– Пиши здесь: Курбан – кабан.

Фуад снова рванулся, но и на этот раз ему не удалось освободиться.

– Пиши! – повторил с угрозой Зейдулла. – Большими буква­ми пиши!

– Нет, нет! – воскликнул Фуад.

– Напишешь, – развязно сказал один из парней.

– Нет, нет... – твердил Фуад.

– Ты знаешь, что мы с тобой сделаем? – Зейдулла противно засмеялся. – До конца своей жизни будешь инвалидом. Как твой отец...

Пригрози они убить его, он, возможно, не испугался бы так. Эта угроза – «будешь инвалидом» – повергла его в ужас. Она по­действовала на него своей конкретностью. Он еще ни разу в жизни не видел убитого человека, а инвалида- видел. Инвалидом был его отец, Каждый вечер, ложась спать, Курбан-киши отстегивал свой деревянный протез, ставил его у двери. Ночью отец обычно вставал. Тяжело дыша, надевал протез, спускался со второго этажа во двор – в уборную. Вернувшись, опять снимал протез и, прыгая на одной ноге, добирался до кровати.

– Ну, говорят тебе, пиши!

И Фуад написал. Написал большими буквами:

КУРБАН-КАБАН

Конечно, не надо было ему это писать. Уж лучше бы он согласился стать инвалидом. Но ему было всего девять лет, он учился во втором классе! И он подумал: «Что особенного? Подумаешь – два слова! Подумаешь – надпись! Неужели из-за каких-то двух слов я должен стать инвалидом и всю жизнь надевать протез?!» Мог ли он знать, что эти два слова, которые он написал тогда на заборе мелом, станут причиной его душевных терзаний на многие годы?! Часто (очень часто, .лишком даже часто!), вспоминая этот случай, он задавал себе вопрос: «Может ли человек, с которым в детстве произошло подобное, быть счастливым?» И сам же отвечал себе: «Нет, не может. Человек, пусть это даже девятилетний ребенок, униженный насилием, спасовавший перед тупыми, бездушными насиль­никами, поступившийся гордостью, достоинством, самолюбием, обречен на вечные душевные муки!»

Когда Фуад написал на заборе то, что от него требовали, Зейдулла распорядился:

– Поставь точку. – Затем, подумав, сказал: – Нет, не точку, поставь восклицательный знак.

Фуад поставил восклицательный знак:

КУРБАН – КАБАН!

Зейдулла и его дружки двинулись прочь. Пройдя немного, остановились. Зейдулла сунул в рот два пальца, лихо свистнул, затем сплюнул на землю сквозь зубы и показал Фуаду шиш. После этого троица скрылась за углом школы. Фуад еще долго слышал, как они хохочут, обмениваются шуточками, издеваются над ним.

Как громко они хохотали!

Раздавленный, униженный, Фуад поплелся домой. Вошел во двор, поднялся по лестнице на второй этаж. Долго стоял перед дверью своей квартиры, думал о чем-то. В квартиру так и не во­шел. Не смог. Вернулся назад, к школе. Подобрал где-то тряпку, намочил ее в луже, стер надпись, сделанную им на заборе, чтобы завтра никто ничего не увидел. Ведь и отец мог... Увидел бы – узнал его почерк.

В тот вечер ему хотелось убить себя, но он не знал, как это сделать. В конце концов решил: нет, он не будет убивать себя, он станет сильным, всемогущим человеком и отомстит этим троим. О, это будет страшная месть!

Ни отцу, ни матери он никогда не рассказывал об этом слу­чае. Вообще никому не рассказывал.

Несколько дней после этого прятал свои глаза от отца, не мог смотреть ему в лицо.

Словом, Фуад дал клятву себе в тот вечер – отомстить оскор­бителям. Но за тридцать лет они ни разу не встретились ему. Иногда Фуаду даже казалось, что эти трое были не реальными, конкретными людьми, а символами, олицетворяющими Зло, Насилие, Жестокость.

И вот сейчас один из этих символов находился перед ним – «носильщик № 12». Вот оно – олицетворенное Зло, Насилие. Жестокость! Носильщик с отвислой нижней губой и мутными глазками! Сидит перед ним, и, кажется – о господи! – он, Фуад, готов амнистировать его, готов простить ему ту его жестокую выходку! Больше того, простил уже, кажется. И это прощение – тоже своего рода жестокая пытка, ибо выясняется, что, несмотря на прошедшие тридцать лет, об этом акте насилия помнит не только один Фуад, но и Зейдулла. Ведь так? Значит, и для Зейдуллы, как и для Фуада, тот случай не был каким-то обыч­ным, пустяковым эпизодом в жизни, но серьезным, важным, незабываемым событием. Настолько важным, что и сам Зейдулла носил в себе память о нем как тяжкий груз, терзался, хотел получить прощение, и вот наконец достиг желаемого, сбылась его мечта: просит простить его.

А он-то думал, что кроме него никто больше не помнит эпизода у школьного забора, что нет в мире второго человека- свидетеля его унижения и что, возможно, сам эпизод (а вдруг!) существует лишь в его воображении. Как же это он мог забыть свою «концепцию», согласно которой и Прошлое, и Настоящее, и Будущее человека существуют всегда! Они как бы предопределе­ны заранее; они – постоянные, неизменные категории. Человек лишь как бы покидает один пункт – Прошлое, идет к другому – Настоящему, затем к третьему – Будущему.

«Ты знаешь, что мы с тобой сделаем?» – сказал ему тогда Зейдулла. А может, именно сегодня, именно сейчас настала пора отмщения? Сейчас, тридцать лет спустя, Фуад может сказать те же самые слова сидящему перед ним человеку: «Ты знаешь, что мы с тобой сделаем?» Не «сделаю», а именно – «сделаем», ибо его должность, достигнутое положение в жизни позволяют ему так говорить: он – не один, он олицетворяет собой многое и многих. В самом деле, только пожелай – он мог бы сильно попортить кровь этому «носильщику № 12». Мог бы добиться увольнения его с работы. Мог бы найти людей, которые изобьют его как собаку. Да и посадить мог бы. Хоть сейчас. Подзовет милиционера, представится ему, скажет: «Заберите этого пьяного хулигана, составьте протокол. Он оскорбил меня». От Зейдуллы и в самом деле несло спиртным.

Еще одна странная мысль пришла Фуаду в голову: узнать имя отца Зейдуллы и заставить его, «носильщика № 12», написать мелом это имя большими буквами где-нибудь на стене аэропорта. И чтобы он непременно поставил в конце восклицательный знак. Возможно, Зейдуллу не придется даже запугивать? Может, он готов продать родного отца за бутылку портвейна «Агдам»? А может, нет? Может, он не сделает этого даже за мешок золота, даже под угрозой смерти?! Не продаст отца! Кто знает?..

В чем же тогда должна заключаться его, Фуада, месть? Ведь он еще тогда, в далеком детстве, твердо решил, поклялся непре­менно отомстить Зейдулле. Думал: как только месть свершится, горькие воспоминания перестанут причинять ему боль, отрав­лять его жизнь. Потом, с возрастом, он стал сомневаться... Чувст­вовал, что никакая месть не сотрет в его душе пятна бесчестья. Говорят же: сердце – что стеклянный сосуд, разобьют – не скле­ишь. Если это так, можно ли помочь разбитому сердцу, разбив другое?

Фуад понял, что не сделает ничего плохого этому носиль­щику. Перед ним сидел совсем другой человек. Тот Зейдулла остался там, в тридцатилетней давности прошлом, – олицетворе­ние Зла, Насилия, Жестокости, а этот Зейдулла...

«Внимание, внимание!..»

Репродуктор громким женским голосом объявил, что самолет из Москвы совершил посадку.

Фуад встал, кивнул Зейдулле:

– Извини, мне надо идти к самолету. – Зейдулла тоже под­нялся:

– И я – к самолету.

Он встречал тот же самолет: багаж прибывших на нем пассажиров.

Глава десятая

Гостей интересовали дела градостроительные – Баку и апшеронской агломерации. Задавались вопросы, касающиеся проблем... первого города-амфибии – Нефтяных Камней, создания городского ландшафта, строительства многоэтажных зданий в городах-спутниках. Немецкие товарищи расспрашива­ли о принципах решения дорожных развязок, направлениях в проектировании жилых массивов с учетом климатических особенностей и местных условий, перспективном планировании и прогнозах в связи с ростом населения. Некоторые из гостей говорили немного по-русски, но это, естественно, не решило в корне проблему общения и понимания сторонами друг друга. Основная тяжесть все-таки легла на переводчицу, миловидную хрупкую девушку в модных черных вельветовых брючках фирмы «Вранглер». Звали ее Галя.

Фуад обстоятельно отвечал на вопросы, опирался на цифры, постановления, утвержденные проекты, а перед глазами его... полуразвалившийся забор... восклицательный знак – мелом... отвислые губы Зейдуллы... «До конца своей жизни будешь инвалидом. Как твой отец...»

Среди встречающих были представители горкома партии, министерства, «Интуриста». По программе через час гости должны были лететь в Мингечаур, поэтому здесь, в ресторане аэропорта, в их честь организовали небольшой банкет. Фуада выбрали тамадой.

– Дорогие гости! – сказал Фуад. – Сегодня у нас очень радостный день. Мы счастливы, что вы приехали к нам. Мы под­нимаем эти бокалы за ваше здоровье, за ваше благополучие, за ваше успешное пребывание на гостеприимной земле Азербайджана.

\* \* \*

Фуад сказал:

– Сегодня у нас очень печальный день. Наша архитектура понесла тяжкую утрату. Мы навеки прощаемся с одним из наших выдающихся мастеров зодчества, с нашим уважаемым учителем, нашим талантливым коллегой – Фуадом Салахлы...

Забарахлил, захрипел микрофон.

Они стояли на деревянном помосте, построенном этим утром. На похороны пришло много народу. Гроб утопал в цветах. На крышку гроба кто-то поставил фотографию, с которой ныне покойный Фуад Салахлы смотрел на присутствующих и весело улыбался. Рядом с гробом стояла седоволосая женщина в черном.

Микрофон налаживали на скорую руку, и он барахлил.

– ...Фуад Салахлы щедро делился своими глубокими знаниями, богатым профессиональным опытом с бесчисленным множеством своих учеников-студентов, – говорил Фуад.

«Неужели эта седоволосая грузная некрасивая женщина в черном – Солмаз?! – мелькнуло в голове Фуада. – Эта убитая горем старуха – Солмаз?! Некогда изящная, приветливая, улыбчивая, милая дама... Да, конечно, она. Кто же еще? Господи, что делает время с нами, с нашими лицами! Та Солмаз и эта – один ли это человек? Или есть две Солмаз? Одна осталась там, в Прошлом, другая – здесь, в Настоящем, – вот она!»

На помост поднялся лохматый парень в рубашке с корот­кими рукавами, повертел в руках микрофон, потряс его, посту­чал по нему пальцем – звук стал чище.

Фуад говорил о научных работах покойного, о его интерес­ных, содержательных лекциях.

– ...Память о Фуаде Салахлы вечно будет жить в наших сердцах!..

Вдруг Фуад увидел в толпе Шовкю. Очевидно, тесть опоздал, так как стоял не здесь, на помосте, где ему следовало стоять, а внизу, к тому же в задних рядах. Фуад подумал, что Шовкю сделал правильно, придя на похороны Фуада Салахлы. Много лет они не общались, враждовали, но смерть велит забывать былые обиды. Еще одна мысль мелькнула в голове Фуада: интересно, как Шовкю относится к тому, что он, его зять, так превозносит заслуги его кровного врага и соперника? Не сочтет ли его похвалы в адрес Большого Фуада чрезмерными? Как бы там ни было, он не собирался «редактировать» свою речь, принижая высокие оценки покойному. В конце концов, сегодня Фуад Салахлы имел право услышать правдивые, искренние слова о себе.

Услышать?! Если бы он мог!

Фуад заключил:

– Мы никогда не забудем нашего дорогого учителя Фуада Салахлы! – И отошел от микрофона.

Духовой оркестр сыграл несколько тактов похоронного марша и смолк. К микрофону подошел ректор института, председательствующий на траурном митинге, объявил:

– Слово предоставляется одному из друзей и соратников покойного, нашему выдающемуся мастеру Шовкю Шафизаде!

Воцарилась гробовая тишина. Шовкю медленно продвигался в сторону помоста. Он шел, не замечая устремленных на него лаз, опустив голову, задумчивый, весь погруженный в себя. Так же медленно поднялся на помост, приблизился к микрофону, долго молчал. Наконец заговорил:

– Товарищи, уважаемый председатель нашего траурного митинга назвал меня другом Фуада Салахлы. Да, я горжусь этой более чем сорокалетней дружбой. Посвященные знают, у нас бывали разногласия с покойным, бывали споры... Мы ссорились, мирились... Но я всегда считал Фуада Салахлы образцом для на­шей молодежи, образцом для всех нас. Я непрестанно восхищался его мужеством, его стойкостью, его профессиональной честностью, преданностью партии и народу. Здесь уже была дана высокая оценка деятельности Фуада Салахлы*.* Я хочу лишь добавить, товарищи: как бы мы высоко ни оценивали этого человека – все мало. Фуад Салахлы достоин еще более возвышенных слов, еще большей похвалы, еще большего восхищения...

Послышался женский плач. Рыдала Солмаз-ханым. Шовкю посмотрел в ее сторону:

– Наша дорогая сестра, верная подруга Фуада Салахлы... Солмаз-ханым... Поверьте, мы скорбим, как и вы... – Солмаз зарыдала еще громче. Голос Шовкю задрожал: – Мы никогда... никогда... не забудем нашего друга и брата... Фуада Салахлы. Спи спокойно, браг мой, пусть родная земля будет тебе пухом...

Солмаз отвели в сторону, отпаивали водой с валерьянкой.

Фуад вспомнил... Говорили: когда Фуада Салахлы уволили из института, они жили на деньги Солмаз; было продано все, что ей досталось от родителей.

Шовкю умолк, вынул из кармана платок, утер глаза. Продолжал:

– Наш Фуад Салахлы... – В этот момент микрофон начал неприятно гудеть. Гудение делалось все пронзительнее. Опять на помосте появился лохматый парень, подскочил к микрофону, постучал по нему, потряс его. Гудение прекратилось. Шовкю снова заговорил, но микрофон продолжал барахлить, и теперь каждое слово повторялось по несколько раз: – Товарищи... арищи... арищи... память... амять... амять... о Фуаде... аде... аде... Салахлы... ахлы... ахлы... будет... удет... удет... вечно... ечно... ечно.., жить... ить... ить... в наших... аших... аших... сердцах... цах... цах...

Шовкю так же важно, степенно отошел от микрофона. Стал на помосте в сторонке. Духовой оркестр опять сыграл несколько тактов траурного марша.

Лохматый парень снова повозился с микрофоном и, кажется, устранил неисправность; когда ректор давал слово очередному оратору, микрофон уже не хрипел, не гудел, не повторял фраз как эхо.

Фуад слушал говорившего и думал: «Господи, какой кошмар! Какой отвратительный балаган! Гнусный спектакль! Как мы докатились до подобного?! Когда?! А может, это лишь снится мне? Может, Фуад Салахлы вовсе не умирал?!»

Снова духовой оркестр проиграл такты печального марша. Ректор подошел к микрофону объявить об окончании траурного митинга. Выступили уже все, кто был в его списке. В этот момент кто-то снизу сделал ему знак рукой. Фуад увидел: сквозь толпу пробирается Октай. Поднялся на помост, подошел к ректору.

– Я тоже хотел бы... Позвольте и мне...

Ректор, пожав плечами, шагнул в сторону, уступил ему место перед микрофоном.

Фуад подумал: «Октай возбужден, может сказать что-нибудь не так». Непроизвольно бросил взгляд на тестя. Тот стоял, погруженный в глубокую задумчивость. Казалось, ничего не слышит, ничего не замечает вокруг себя. Ветер шевелил пряди его длинных седых волос.

Октай заговорил:

– Жил когда-то знаменитый певец Алескер Абдуллаев... – Сказав эту фразу, Октай умолк, тяжело перевел дыхание. Можно было подумать, ему не хватает воздуха.

Бежали секунды. Многие недоумевали: откуда взялся этот незапланированный» оратор? При чем здесь певец Алескер Абдуллаев? Что значит эта долгая пауза? Видимо, Октай не мог побороть в себе волнение. Стушевался, оказавшись один на один с огромной толпой. Бедняге никогда не приходилось выступать перед столь многочисленной «аудиторией». Наконец, кажется, ему удалось справиться с собой. Он продолжал срывающимся голосом:

– Извините, я – не оратор... Плохо говорю... Но я не мог... Я должен был... Так вот, певец Алескер прекрасно исполнял «Рахаб»... Никто не мог петь «Рахаб» так, как он. Когда он умер... когда Алескера хоронили... Извините... я очень волнуюсь... На его похоронах другой знаменитый певец Джаббар Гаръягды сказал: «Сегодня мы хороним не Алескера, сегодня мы хороним... «Рахаб»...

Октай снова умолк. Наступила еще более продолжительная пауза. Фуад стоял сзади, в двух шагах от него. Заметил: правую ногу Октая бьет мелкая дрожь, в лице – ни кровинки.

– Успокойся, возьми себя в руки, – шепнул он ему.

– И вот... мы гоже... сегодня... – продолжал, сильно волнуясь, Октай, – ...мы хороним не Фуада Салахлы... Мы хороним честь нашей архитектуры... Мы хороним нашу профессиональную совесть... Мы хороним множество несбывшихся надежд и желаний... Множество непостроенных зданий... Множество неосуществленных проектов... Да, Фуад Салахлы был педагогом, был профессором... Он – автор многих книг... И он, конечно, любил свою работу... Но ведь мы все знаем... Мы все хорошо знаем, что Фуад Салахлы был рожден совсем не для этого... Его большой талант был предназначен для другого... для иной цели... он был прирожденным проектировщиком... Он должен был строить дома, здания... Он должен был возводить города... Должен был, но не смог... – Фуад подумал: «Ну вот, понес околесицу». – И вы знаете, почему он не строил... Вы всё знаете, товарищи... Знаете, кто не дал ему строить, кто всю жизнь мешал ему в делах, кто на каждом шагу вставлял ему палки в колеса...

Фуад снова бросил взгляд на тестя. Шовкю стоял все такой же отрешенный. Казалось, он не слышал только что сказанного

Октай говорил:

– Если мы не скажем эту правду сегодня... когда же мы ее скажем?..

Ректор многозначительно посмотрел на часы, шепнул Фуаду:

– Слишком уж мы затянули. В пять у меня собрание. – Фуад ответил тоже шепотом:

– Я сам очень спешу.

Октай продолжал:

– Вы ведь знаете... однажды его даже уволили из института... Он нигде не работал... Фуад шепнул ректору:

– Всего восемь месяцев.

Октай услышал и словно бы взорвался:

– Да, восемь месяцев! Восемь месяцев талант Фуад Салахлы не служил своей стране, своему народу! Я не хочу ворошить прошлое... Одно только хочу сказать... Восемь месяцев Фуад Салахлы сражался, добивался правды... И добился. Справедливость восторжествовала... на основе принципов… нашей партии... Фуад-муаллим вернулся в институт. Я xopoшо помню его первую лекцию после возвращения... Он вошел в аудиторию, поднялся на кафедру... Все ждали, что он заговорит о своей победе, торжестве истины, поражении соперников и тому подобном... Но хотите знать, какая была его первая фраза. – Вновь наступила пауза. Октай молчал. Музыканты, решив, что очередной оратор кончил говорить, заиграли было, но кто-то сделал им знак, и они умолкли. Октай продолжал: – Фуад Салахлы вошел в аудиторию, поднялся на кафедру, посмотрел на нас, улыбнулся и сказал: «В прошлый раз мы говорили о модуле. Продолжим нашу лекцию. Итак, модуль...» Вы понимаете? – Октай опять умолк, вглядываясь в лица стоявших внизу. Затем обернулся к тем, кто стоял на помосте. – В прошлый раз... то есть восемь месяцев тому назад... Словно ничего не произошло... Словно его не увольняли... Можно подумать, он десять минут тому назад вышел из аудитории на перерыв и вернулся... В этом – весь Фуад Салахлы, вся его сущность... Время для него не делилось на отдельные периоды, отрезки, куски... Время для Фуада Салахлы было единой, неделимой, непрерывной, вечно движущейся этической категорией... Время для него было, как и мораль, как истина... единым... единым... – Октай запнулся, отыскивая слово. Фуад тихо подсказал:

– ...понятием. – Октай повторил:

– ...единым понятием. Фуад Салахлы не сделал того, что мог .сделать, не построил того, что мог построить...

Фуад подумал: «Октай говорит о покойном, но впечатление такое, что он больше скорбит по поводу своей собственной неудачливости – и в настоящем и в будущем».

Траурный митинг закончился.

Фуад направлялся к своей машине и вдруг почувствовал, как кто-то взял его под руку. Обернулся. Это был Шовкю.

– Дети у нас, – сказал он и тотчас поправился: – У меня... Пришли после школы ко мне. Я наладил им проектор. Первиз – за киномеханика, Джейхун – зритель. Смотрят кино.

«Значит, они не пошли к моим, – подумал Фуад. – Не захотели, сбежали к своему другому дедушке, укрылись у него».

Они молча шли. Молчание нарушил Шовкю:

– Октай хорошо сказал – душевно, проникновенно. Мне понравилось. Правда, выступление его вышло немного аполитичным... Что это значит, – «мы хороним честь нашей архитектуры»? Впрочем, ничего, молодой еще, не может держать в узде свои чувства. Говорят, Фуад Салахлы, бедняга, много помогал ему – при защите диплома, на работу устраивал. Кажется, они были в дальнем родстве – по линии жены Фуада... Но очень искренне говорил… Печальная утрата! Ах, какая печальная!

«Многому мне еще надо учиться у Шовкю, – подумал Фуад. – Ох многому!» Он знал: Октай для Шовкю – слишком ничтожная мишень. Не станет никогда Шовкю связываться с Октаем всерьез. Но если бы вдруг захотел свести счеты – раздавил бы как букашку. Тактическая схема, в сущности, была уже готова: Фуад Салахлы и Октай – родственники, Салахлы покровительствовал Октаю, поэтому Октай превозносит его заслуги до небес, величает совестью, честью архитектуры и так далее.

Ни больше, ни меньше. Все понятно, все логично, все сразу становится на свое место. Если не с юридической, то с этической точки зрения схема вполне приемлема. Основа всякого чрезмерного эмоционального всплеска – определенные личные отношения. Фуад вспомнил Гафура Ахмедли.

Шовкю вздохнул:

– Эх, жизнь, жизнь, – и добавил пессимистично, что было так несвойственно для него: – Имей в виду, Фуад, когда будете меня хоронить, никаких речей, пожалуйста! Ясно? Это мое завещание тебе.

Фуад, как положено, хотел было запротестовать: «О чем вы говорите?! Вам еще жить и жить, мужчина в самом расцвете!» Не успел. Шовкю продолжал:

– Бедный Садык Дадашев[[32]](#footnote-32) – умер в Москве в больнице. Говорят, перед смертью попросил воды. Принесли. Он сделал глоток, сказал: «Нет, нашей – шолларской...» Повернулся к стене и умер.

Они подошли к стоянке автомашин. Шовкю открыл дверцу черной «Волги», обернулся к Фуаду:

– Значит, вечером ты выступаешь?

Он имел в виду речь Фуада на открытии выставки.

Фуад кивнул. Шовкю продолжал – деловито, бодро, от недавней горестной, пессимистической интонации в голосе не осталось и следа:

– Соберись! Ты должен хорошо выступить! Сам все понимаешь, Непременно отметь, подчеркни наши успехи за последние годы. Сделай на этом особый акцент.

Сел в машину, хлопнул дверцей.

Фуад сел в свой голубой «Москвич». Шовкю приветственно помахал Касуму рукой. Тот обрадовался, расцвел, заулыбался во весь рот:

– Да пошлет Аллах доброго здоровья и всех благ Шовкю Джамаловичу!

Глава одиннадцатая

О влиянии на человека положительных эмоций Фуаду рассказал один врач. Познакомились в дороге. Была зима. Несколько дней над Апшероном шел снег. Пришлось купить билет на поезд – в «международный» вагон. Уютное двухместное купе. Его попутчиком оказался довольно известный бакинский врач. Тоже ехал в Москву. После Баладжар они надели темно- синие спортивные костюмы. Врач извлек из чемодана бутылку армянского коньяка. Выпили. Сыграли в нарды. Поболтали о том о сем. Нашлись общие знакомые. Незаметно разговор зашел на медицинские темы.

– Если собираетесь долго жить, избегайте отрицательных эмоций, – посоветовал врач. – Это способен сделать каждый. Захочет человек – он может так построить свою жизнь, так организовать свой день, что будет получать минимум отрицательных эмоций Разумеется, полностью от них не избавишься. Увы, невозможно. Хотим мы того или не хотим, мы ежедневно слышим какие-то огорчительные слова, получаем неприятные известия, становимся свидетелями поступков и дел, которые нас удручают. Но и это все тоже можно до известной степени предотвратить, смягчить, самортизировать, нейтрализовать, упорядочить. Например, вы знаете, что общество таких-то людей, такая-то встреча, такой-то разговор произведут на вас неприятное впечатление – не ходите туда. У вас есть основания думать, что при встрече, скажем, с Мамедовым он начнет передавать вам сплетни о вас же, от которых вам сделается тошно, – не встречайтесь с Мамедовым. Сплетничают о каждом, вы это знаете. Умный человек не захочет слушать сплетни о себе. Пусть болтают у вас за спиной. Такая, скажем, ситуация... Ты встречаешь Ахмедова, и он, желая якобы сделать тебе добро, пытается проинформировать тебя: мол, Мамедов сказал о тебе следующее... В этом случае ты должен немедленно заткнуть Ахмедову рот: «Не желаю знать, что сказал обо мне Мамедов!» Поверьте мне, Фуад Курбанович, ничто так не укорачивает человеку жизнь, как отрицательные эмоции. Они – причина буквально всех наших недугов. Рак, гипертония, диабет, сердечнососудистые, нервные заболевания – все от них!

Наверное, прав был этот врач. Наверное, есть смысл следовать его советам. Но как? Разве возможно? Взять, к примеру, сегодняшний день. Вечером у него важное, ответственное мероприятие, а сколько отрицательных эмоций получил он в течение дня! Как неблагородно, неблагодарно поступил Октай! Что это он говорил?! В списке выступающих не значился, тем не менее ему дали слово. Зачем? С какой стати? Захотел – взял полез к микрофону, заикаясь, запинаясь понес ахинею, использовал траурную трибуну, чтобы излить на достойных людей ненависть, накопившуюся в душе. Господи, сколько еще низменного, недостойного гнездится в человеческом сердце!

«Меня не постеснялся! Стыда у него нет! Ведь только утром приходил ко мне с просьбой – я моментально помог ему. Думал, человек!.. И вот вам плата за мое добро! «Не дали... Мешали... Не позволили...» Ведь все понимают, в чей огород ты бросаешь ка­мень. Понимают, что ты нападаешь на Шовкю, а следовательно, и на меня...»

Фуаду были ведомы причины, истоки, корни недоброго отношения к ним – к Шовкю и к нему – Октая, Октаев, в том числе и покойного Фуада Салахлы. Он понимал природу этой неприязни, знал, что ее питает. Такие, как Октай, как Фуад Салахлы, никогда не найдут общего языка с Шовкю, с ним, Маленьким Фуадом, – людьми, поставившими перед собой чет­кие цели в жизни и достигшими этих целей. Никогда, никогда! Он понимал это.

Разумом понимал. Ра-зу-мом! Но ведь кроме разума у человека есть еще и душа, сердце, незащищенное, уязвимое. Холодный рассудок говорит тебе: «Остерегайся людей, особенно тех, которым ты сделал, делаешь добро! Держи их на расстоя­нии! Не размякай, не расслабляйся! Не теряй бдительности»! Ты понимаешь разумность этих соображений, ты облачаешь свое сердце в кольчугу, укрепляешь ее и думаешь, что ни одно горькое, обидное слово, ни одна колючка, коварная стрела не смогут поразить его, причинить ему боль. Но как оказываются бессильны эти построенные холодным рассудком крепости перед лавиной твоих же чувств! Все построения разума рушатся в мгновение ока. Увы! Едва ты сталкиваешься не с вообще недоброжелательством, а с таковым конкретным, едва ты ощу­щаешь укол вонзающейся в твое тело иглы, твои «абстрактные» оборонительные сооружения тотчас превращаются в руины.

«Ну вот, кажется, я опять полемизирую с Октаем, – спох­ватился Фуад. – Впрочем, как всегда... Ежедневно... Уже двадцать лет... Но как странно мы живем! Как странно я живу! Столько лет мечтал подняться на заветную вершину. Упорно шел – все выше, выше. Вверх, вверх! Только вверх! Наконец, вот она – цель! – рукой подать. Вот она, вот! Мне – именно мне, лично мне, только •не! – поручили, доверили выступить на открытии выставки, где будут... все. Именно мне! Событие? Еще какое! Последнее испытание? Да. Испытание, которое я бесспорно выдержу с блеском. В присутствии... всех! Это будет мой триумф! Мне бы сейчас радоваться... А столько всего было за день огорчитель­ного, грустного, печального, горького, включая и воспоминания, омрачившего это событие из событий! Я сейчас – словно пуля на взлете, размышлял Фуад. – Пуля, точно – без ошибки! – наведенная в цель, пуля, которой выстрелили, но... которая теряет силу в полете, обессилевшая пуля!»

Касум ловко вел «Москвич» по крутым, с частыми поворотами, горбатым улицам, мощенным булыжником.

«Да, есть еще что построить в нашем Баку...» – думал Фуад, глядя отсюда, сверху, на спускающиеся амфитеатром к морю кварталы города.

Итак, очень скоро, возможно даже, через несколько дней, он станет одним из немногих в республике, кто будет вершить здесь в ее столице, градостроительные дела. На девяносто девять процентов вопрос решен. И если сегодня вечером он толково выступит... А он уж постарается! Это он может...

Разумеется, благоприятное решение вопроса не явится следствием лишь этого его выступления. Таков логический итог всего его трудового пути. Он шел к вершине в течение многих лет – упорно, по ступеням, шаг за шагом, преодолевая один рубеж за другим. Новое назначение – оценка, которую дают его делам, знаниям, энергии, организаторским способностям.

Еще в юности, будучи студентом, Фуад мечтал преобразить родной Баку. Часто, шагая под утро через весь город к себе домой после ночи, проведенной у Аси в Баилове, он строил фантастические планы, мысленно разрушал целые кварталы и на их месте возводил новые дома – современные, светлые, уникаль­ные, с широкими проспектами, радующими глаз площадями, зелеными скверами. Верил: он сделает Баку самым – вы понимаете, самым-самым! – красивым из всех городов мира! Не одним из... а единственным красивейшим на земном шаре. Разве по идее такое невозможно?

И вот, наконец, кажется, он получает возможность, право воплотить свои мечты, претворить планы в действительность, разумеется с определенными коррективами и поправками, вытекающими из обстоятельств, от него не зависящих.

«Моя самая большая победа в жизни, – думал Фуад. – Но как странно... Я не испытываю никакой радости. Удовлетворение – да, но радости не чувствую. Не чувствую себя счастливым! Почему так? Ведь сбылась мечта моей жизни! Почему? Поче­му?!»

Нелли встретила его любезной и безнадежно холодной улыбкой:

– Ахмед Назарович просил, чтобы вы, как придете, заглянули к нему, Фуад Курбанович.

«Очень ей идет это зеленое платье», – еще раз отметил про себя Фуад, входя в кабинет Ахмеда Назара.

Тот уныло поведал ему о результатах своего визита в Совет Министров. Разумеется, ни одного вопроса он там не решил. Не смог. Фуаду показалось, что Ахмед Назар уже и сам понимает где зарыта собака, чувствует свою некомпетентность, бессилие, бездарность и мало-помалу начинает догадываться: дело не в том, что его брат Ашраф отстранен от должности, просто время его, Ахмеда Назара, и вообще ахмедов назаров, прошло. Не то нынче время! Другое! Других!

Когда Фуад выходил из кабинета, Ахмед Назар спросил:

– Был на похоронах? А я не успел. Бедный Фуад Салахлы... Хотя... все там будем.

Фуад прошел к себе. Расчеты, сделанные Сабиром, уже лежали у него на столе. Он просмотрел их, подписал.

Михаил Моисеевич принес отпечатанный на машинке текст его вечернего выступления. Фуад начал читать:

«Дорогие товарищи, сегодня у нас очень радостный день!..»

Вспомнил, что эти слова он говорил уже сегодня – на бан­кете, обращаясь к членам немецкой делегации. Вспомнил также, что на похоронах сказал совсем противоположное; «Сегодня у нас очень печальный день». Взял ручку, вычеркнул первую фразу.

Текст был написан хорошо, со знанием дела. Михаил Моисеевич, как всегда, оказался на высоте. За сорок лет работы в управлении он прекрасно усвоил – кто, где, что и как должен сказать. Те, кому приходилось слушать выступления Ахмеда Назара, написанные Михаилом Моисеевичем, удивлялись уму оратора.

Фуад заглянул в свой рабочий блокнот, сделал несколько телефонных звонков, решил кое-какие вопросы. Нерешенные дела перенес на завтра, на другие дни. Вычеркнул то, что было – сделано сегодня.

В блокноте остались не вычеркнутыми три пункта: встреча . самим собой, родители, Рейхан.

Сев в машину, Фуад сказал:

– Едем к моим, Касум. Отец приболел. – Когда машина тронулась, спросил: – Как сын? Как чувствует себя? Температура спала?

Пусть Касум не думает, что он забыл.

Касум обрадовался:

– Спасибо большое, Фуад-гардаш. Сегодня мальчику – тьфу, тьфу, не сглазить бы! – получше. Вчера я врача привез, он посмотрел, послушал, выписал лекарство. Спасибо. И вам желаю быть всегда здоровым.

Машина остановилась у ворот дома, где жили его родители, где некогда жил он сам.

– Ты свободен, Касум. Можешь ехать домой. Не жди меня. Может, ребенку что надо... Я отсюда пешком дойду, по Пролетарской, здесь близко.

– Большое спасибо, Фуад-гардаш.

Фуад, выйдя из машины, взглянул на часы: было четверть седьмого. Итак, полчаса он может посидеть у родителей.

Это был весьма характерный для старого, дореволюцион­ного Баку дом. Каждая из его четырех, обращенных внутрь, во двор, сторон представляла собой два этажа застекленных галерей. Двор – маленький, тесный, темный – походил на коло­дец. В годы войны жители дома покрывали, как бы красили, стекла галерей меловым – с добавлением синьки – раствором, который, высохнув, выполнял функцию занавесок. Маленький Фуад любил рисовать пальцем на этих намеленных, отливающих светло-голубым стеклах пикирующие самолеты, танки, «фрицев», пронзенных штыками. Каждая галерея в доме, как правило, принадлежала двум-трем семьям. Их соседями были актер Кябирлинский и Анаханым-баджи. Семья Кябирлинских – это он сам, Фейзулла Кябирлинекий, его жена Хаджар и сын Эльдар. Семья Анаханым-баджи была многочисленной: она сама, ее муж, две дочери, три сына; с ними жил еще племянник мужа, приехавший из деревни, студент университета.

Семья Анаханым-баджи имела три комнаты, Кябирлинские – одну, и они – тоже одну, небольшую.

Летними вечерами женщины поливали двор водой, мужчины рассаживались на табуретках, на стульях, пили чай, играли в нарды, вели разговоры. Курбан-киши тоже частенько спускался во двор. А иногда выносил скамеечку за ворота, на улицу, сидел там, попивал чай из стаканчика армуду, перебирал четки разглядывал прохожих. Если было очень жарко, он снимал свой парусиновый пиджак и оставался в одной сетке. Отстегивая протез, просил Фуада: «Отнеси-ка мою ногу домой». Проходив­шие мимо люди сразу замечали: правая штанина пустая – чело­век без ноги, инвалид.

Двор на уровнях первого и второго этажей был замысловато перекрещен веревками, на которых сушилось белье.

Водопроводный кран находился во дворе. Уборная – тоже. Дверь уборной запиралась на висячий замок. У каждой семьи имелся свой ключ. К воротам снаружи был прибит кусок серого картона, на нем надпись большими буквами: «Во дворе уборной нет». Объявление предназначалось для проезжих. Уборную ежедневно чистили, мыли, выплескивая на ее цементный пол воду из ведра. И тем не менее, оттуда постоянно шел неприятный запах. (Его-то и имел в виду этим утром негодник Джейхун.) Уборная находилась как раз под комнатой, где жили его родители. Поэтому у них пахло особенно нестерпимо.

Фуад поднялся по железной лестнице на второй этаж. Вошел в галерею, увидел: мать сидит на полу, треплет шерсть, разложенную на паласе; на табуретке лежит полосатый матрасник.

– Добрый вечер, мама.

Черкез-арвад вскочила на ноги. Обрадовалась:

– Добро пожаловать, сынок! Не ждали тебя... Так давно не был у нас...

– Как отец?

– Сейчас, слава богу, ничего. Утром врач приходил, померил давление. Уже поменьше – сто пятьдесят. А вчера прямо испугались – двести десять...

– А как сегодня нижнее?

– Нижнее – неплохое: восемьдесят. Но доктор говорит, если разница между верхним и нижним очень большая – тоже нехорошо. Это правда?.. Сейчас он спит.

Они прошли в комнату.

Едва переступив порог, Фуад тотчас ощутил родной, милый сердцу запах выглаженного белья. Все детство Фуада было овеяно этим запахом. Когда отец был на фронте, Черкез-арвад зарабатывала на жизнь стиркой. У нее были постоянные заказчики. В их комнате на кроватях всегда лежали груды высушенного белоснежного белья – простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца, носовые платки и прочее. Мать гладила на столе большим чугунным допотопным утюгом.

Фуад помогал матери: относил белье заказчикам, получал с них деньги.

Кроме этой комнаты, он за всю свою жизнь нигде никогда не встречал такого запаха.

Подумал: «А почему у нас дома я никогда не ощущаю та­кого?.. Очевидно, все дело в утюге... Румийя стирает только небольшие вещи и гладит их электрическим утюгом».

Курбан-киши не спал. Лежал на кровати с открытыми глазами, натянув одеяло до подбородка. В изголовье на табуретке – газеты, лекарства, очки, четки, стакан чая. Лысая голова отца отливала желтизной.

Фуад подумал с некоторым сожалением: «Да, гены – вещь упорная. Я – весь в отца: тоже уже лысею».

Взгляд Курбана-киши был устремлен на аквариум с рыбками, стоявший на тумбочке у окна и подсвеченный специальной лампой. Более тридцати лет, с тех пор как закончи­лась война, отец держал рыбок. Это была его страсть, его хобби, как теперь говорят.

Аквариум был большой, комната – маленькая. Несмотря на это, отец ни за что не соглашался переселить рыбок в галерею. «Там скверный воздух, – отвергал он советы матери. – Во всяком случае, хуже, чем здесь, в комнате...»

– Добрый вечер, папа.

Курбан-киши перевел взгляд на Фуада. Глаза – усталые, печальные.

– Добрый, добрый. Сколько лет, сколько зим! Каким это ветром?..

Действительно, он уже больше месяца не был у родителей. Изредка звонил, справлялся, как живут. Раньше хоть раз в неделю наведывался, а в последнее время... Проклятый цейтнот Вечный проклятый цейтнот!

– Да вот заглянул, папа... Как себя чувствуешь? Как это случилось?

– Откуда я знаю? Так, ни с того ни с сего... Вчера сидел, читал газету – вдруг голова закружилась, затылок будто свинцом налился... А Черкез на базар ушла.

Вмешалась мать.

– Прихожу, вижу: он лежит, бледный как мертвец. Я – к Анаханым, она прибежала, измерила давление... – Анаханым работала в районной поликлинике медсестрой. – Было немного повышенное. – «Очевидно, скрыли от отца, сколько у него было в действительности», – догадался Фуад. – Мы позвонили в «Скорую помощь», вызвали врача...

– А почему мне не позвонили?

– Звонили – тебя не было дома.

– Да, вчера я ездил в Сумгаит – на собрание. Вернулся около двенадцати. Мать вздохнула:

– Приехала врач из «Скорой помощи», молоденькая совсем...

Курбан-киши перебил:

– Ерунду какую-то наговорила и уехала. Видно, ничему их там, в институте, не учат...

Теперь мать перебила отца:

– Нет, зачем так говорить? Она укол тебе сделала, лекарство дала, сбила давление...

– Врачиха мне сказала: сердце у вас хорошее. Наверное, говорит, просто понервничали...

Мать опять перебила:

– С чего это тебе нервничать? Ничего ведь такого не было... – Повернулась к сыну: – Накануне днем он спустился во двор, поболтал с Фейзуллой-киши... Вечером мы телевизор смотрели,

спектакль телевизионный – «Тещу». Понравилось – и ему, и мне. – Настроение у него было хорошее. Рано лег спать. Чего ему нервничать?

В груди у Фуада защемило. Подумал с сожалением, что за последние десять лет ни разу не провел вечер с родителями, днем, случалось, заскакивал. А что старики делают по вечерам, как коротают их – не представлял. Из слов, только что сказанных матерью, выходило, что телевизор был их единственной радостью, их единственным другом, единственным источником положительных эмоций в эти однообразные долгие вечерние часы.

Действительно, с чего бы это у отца могло подняться давле­ние?

– Короче говоря, – сказал Курбан-киши, – все прошло. Сей­час чувствую себя нормально. Что у тебя? Как дома? Как на работе?

– Все хорошо, – пожал плечами Фуад.

Что он еще мог сказать отцу? В сущности, у них и раньше, когда Фуад был маленьким, учился в школе, затем – в институте, никогда не получалось «разговора по душам». К ним не располагал угрюмый, замкнутый характер отца. Мать была в некотором роде посредником, связующим звеном между ними. В ее отсутствие отец и сын могли часами молчать, не находя темы для разговора. Когда же появлялась мать, в комнате будто делалось светлее. Она старалась взбодрить, расшевелить их – шуткой, смешком, ласковым словом. «Ну что вы сидите как истуканы? – говорила она. – Не надоело молчать? Радио хоть включите! – Телевизора тогда у них еще не было. – В нарды сыграйте!» Доставала нарды, клала их на стол перед ними. Они с удовольствием играли. Оба любили эту игру. Однако не было случая, чтобы отец и сын сели играть по собственной инициа­тиве.

Со временем их отношения несколько изменились. После того, как Фуад закончил институт, женился, стал отцом, словом отделился от родителей не только, так сказать, физически, материально, но и духовно, они, отец и сын, несмотря на редкие встречи, стали чаще разговаривать. Правда, инициатором бесе., всегда бывал Фуад. Характер отца не изменился: не заговори с ним – он будет сутками молчать. В последние же годы они опять отдалились друг от друга. Но теперь причина была иной занятость Фуада. Сколько он мог уделить старикам времени? Полчаса, сорок минут в неделю. «Как дела, как живете?!» – «Ничего, спасибо. Как ты?» – «Я – ничего. Что у вас еще хорошего?» – «Да так, все по-старому. Как дети?» – «Спасибо, здоро­вы. Что у вас еще новенького?» В таком вот духе.

Как только отец и сын касались какой-нибудь серьезной темы, тотчас возникал спор. Оба нервничали. Курбан-киши- явно, не таясь, Фуад – в душе, сдерживая себя.

На следующий день после того, как, Курбана-киши уволили с работы, Фуад, выкроив время, пришел к родителям. На этот раз он пробыл у них около двух часов. Пришел, чтобы утешить отца, поддержать его в трудную минуту. Но их разговор мгновенно обострился. Слово за слово, Фуад, не желая того, разбередил рану отца. Сказал ему:

– Сам виноват, что тебя отстранили. У тебя трудный, крутой характер. Когда ты заупрямишься, никого не хочешь признавать. Не можешь найти общего языка с людьми. Ты резкий, строгий человек. Максималист.

Вначале Курбан-киши спокойно слушал сына. Молчание отца раздражало Фуада, и он разошелся не на шутку. Приводил факты, примеры, вспоминал судьбы разных людей. Когда он наконец сделал паузу, Курбан-киши горько усмехнулся и сказал:

– Смотри, как изменилась жизнь. Раньше отцы наставляли сыновей, говорили: будь сдержанным, покладистым, не горячись. Теперь наоборот – сын учит отца: помалкивай, держи язык за зубами, если даже считаешь нужным что-то сказать.

Фуад объяснил:

– Это потому, что я старше тебя, папа. – Курбан-киши недоуменно пожал плечами:

– Я что-то не понял... Как это сын может быть старше отца?

– Да, старше. Возраст человека следует исчислять не количеством прожитых лет. У времени тоже есть свой возраст. Я старше тебя на одно поколение. Понимаешь? Я старше тебя, ибо в мой жизненный опыт входит и твой. Мне известен итог твоей жизни.

– Какая чушь! – засмеялся Курбан-киши. Долго молчал. Снова заговорил: – Я знаю одно: лицемеры, подхалимы, приспособленцы, двурушники существовали всегда и, видимо, долго еще будут существовать на земле, потому что и они плодятся, размножаются... Но кроме них на свете есть еще и наследники тех, кто не может лицемерить, приспосабливаться, хитрить. Во всяком случае, должны быть! – Курбан-киши пристально посмотрел в глаза Фуаду, добавил: – Я говорю о духовных наследниках.

Фуад не выдержал отцовского взгляда, отвел глаза. Тем не менее, выждав немного, возразил:

– Яговорю не о лицемерии. Речь не о приспособленцах и двурушниках. При чем здесь это? Но ведь, согласись, и упрям­ство, спесь, заносчивость тоже не помогают делу. Возьмем, к примеру, тебя... Новое здание школы было мечтой твоей жизни. Сколько сил приложил! Сколько здоровья потратил ради него! Другие не знают, но я-то знаю, как ты сражался за это новое здание. И вот первого сентября... кто-то другой... а ты...

– Видно, не судьба.

– Каждый из нас – хозяин своей судьбы. Тебе следовало быть немного благоразумнее, вот и все. Подумаешь, Гафур Ахмедли сказал тебе «ты»! Гафур Ахмедли – невежда, дурак, осел! Как можно было принести в жертву его невежеству свою судьбу, дело всей своей жизни?! Пропустил бы мимо ушей! Сделал бы вид, будто не слышишь...

– Но ведь слышал.

– Я сказал: будто! Будто ты ничего не слышишь. Будто ничего не произошло. Ты ведь понимаешь, о чем я. Словом, не придал бы значения. Но если уж его грубость задела тебя, ты бы тогда на собрании промолчал, а потом при случае нанес бы такой сокрушительный удар, что он до конца своих дней помнил бы тебя!

Фуад говорил, а Курбан-киши как-то странно и очень внимательно смотрел на сына, словно впервые видел его. Когда Фуад умолк, сказал с неожиданной для него кротостью:

– Не смог я, сынок... Проглотить не смог. – Помолчал, повторил: – Не смог.

– Зато, – сказал Фуад, – Гафур Ахмедли свел с тобой счеты. Как говорится, у медведя в запасе всегда есть хитрый номер...

Курбан-киши резко перебил сына:

– Зато, – это слово он произнес, повторив интонацию Фуада. – Зато Гафур Ахмедли до конца своих дней никогда не скажет мне «ты».

На этом их разговор закончился, и они никогда больше не возвращались к этой теме.

И вот сегодня Курбан-киши вдруг спросил:

– Когда сдают здание? – Пояснил: – Яговорю про школу.

– До пятнадцатого августа комиссия должна принять.

– Ты пригляди там... чтобы не было тяп-ляп. Школьное оборудование я заказывал в Риге. С ним надо поосторожнее. Глаз нужен, а то знаешь, как у нас испортят, сломают что-нибудь...

Отец все еще жил мыслями о школе. Ничто не послужило ему уроком.

– Не беспокойся, – сказал Фуад.

Помолчали. Фуад взглянул на часы. Десять минут он еще мог посидеть.

– На днях звонил Гафур Ахмедли, – снова заговорил отец. Увидев, что Фуад удивлен, усмехнулся. – Интересовался моим самочувствием. Никак, тебя повышают, а? Спросил меня: «Курбан-муаллим, чем могу служить вам? Что надо?»

– И что ты ответил?

– Что я мог ответить?.. Сказал ему: с подлецами не разговариваю. И повесил трубку.

– Почему?

– Что значит – почему? Так мне захотелось, вот и все.

– Разве человек всегда делает то, что ему хочется?

– А разве человек всегда делает то, что от него хотят?

Фуад почувствовал, что отец раздражается. Замолчал, не

стал спорить.

В комнату вошла мать со сковородкой в руке, поставила ее на стол.

– Извини, сынок... Знаю, ты спешишь... Что можно приготовить за десять минут? Съешь хоть яичницу. Замори червячка, подкрепись. Наверно, с утра ничего не ел. И мне будет спокойнее за тебя...

– Исключено, мама. Есть не буду, я сыт. Поел на банкете в аэропорту.

– Так ведь яичница... Ну хоть попробуй.

– Честное слово, не хочу.

Мать, огорченная, унесла сковородку из комнаты.

Фуад встал. И вдруг увидел на стене над кроватью отца большой фотопортрет Джейхуна и Первиза.

«Когда это они повесили?.. Или я просто раньше не замечал?»

К горлу его подступил ком, на глаза навернулись слезы. Неожиданно он почувствовал себя таким виноватым... Но перед кем? Перед отцом? Перед матерью? Перед детьми? Но в чем?

В чем он виноват перед ними?

«Странный, непонятный, запутанный мир человеческих отношений... – думал Фуад. И тут же мысленно возразил себе: – Разве странный? Разве непонятный? Столь уж запутанный? Извечная проблема – отцы и дети? А может, другая извечная проблема? Жизнь и мы? Мы, ее дети, делающие что-то чуть-чуть не так, наперекор ее – Жизни! – Порядку, ее Законам, ее Истине».

– Я должен идти, в семь у меня важное мероприятие, – сказал Фуад. – Завтра привезу к тебе врача из лечкомиссии.

– Зачем? Я уже хорошо себя чувствую.

Мать засуетилась:

– Я провожу Фуада и вернусь.

Курбан-киши желчно усмехнулся:

– Конечно, сам он дорогу не найдет.

Мать и сын вышли в галерею. Черкез-арвад зашептала:

– Он очень скучает по Джейхуну. Обожает его. Первиза тоже любит, но по Джейхуну прямо-таки с ума сходит. Только он строго-настрого наказал ничего не говорить вам... Пусть, говорит, внуки сами приходят, когда захотят. Я вчера позвонила вам от Ана-ханым, Рима обещала, что сегодня пришлет ребят. Да вот не пришли. Наверно, уроков много задают, поэтому... Не смогли...

Фуад кивнул:

– Да, мама, уроков много задают.

Они вышли на лестницу, спустились во двор. Фуад чувствовал: мать хочет еще что-то сказать ему, не решается. Все-таки Черкез-арвад пересилила себя:

– Фуад, детка, да буду я твоей жертвой, не обижайся, пожалуйста, спросить хочу... Как там наш квартирный вопрос? Не слышно ничего?

Мать уже не раз заводила разговор об этом, просила сына помочь. И Фуад обещал: «Получите новую квартиру». На днях советовался с Шовкю. Тот сказал: «Поступай как знаешь, но если хочешь знать мое мнение, то я считаю: надо немного подождать. В данной ситуации это будет не очень хорошо. Недоброжелатели начнут писать во все инстанции: мол, Фуад Мехтиев злоупотребляет служебным положением, устроил квартиру своим родителям...»

Фуад сказал:

– Ты знаешь, мама, потерпите еще немного. Столько лет терпели... Что-нибудь придумаем!

– Хорошо, детка, хорошо. Как скажешь... Тебе виднее...

Они подошли к воротам. Мать снова заговорила: – Понимаешь, сынок, я-то ничего, могу терпеть... но вот... этот туалет... вечная вонь... прямо ужас какой-то! Отец твой – старый человек, инвалид войны... несколько раз за ночь встает... ковыляет вниз на своем протезе...

Фуад кивнул: дескать, все понимаю. Попрощался с мате­рью, вышел на улицу. Обратил внимание: на углу их дома, на тротуаре, стоит большой чугунный котел для варки кира[[33]](#footnote-33).

Не успел сделать и двух шагов, как услышал сзади голос матери:

– Фуад, детка!

Обернулся:

– Да, мама.

– Ради аллаха, извини! Память у меня дырявая стала. Когда ты пришел, все думала... что-то я должна была сказать тебе... Сейчас вот вспомнила. Помоги мне, пожалуйста... Надо поменять воду в аквариуме. Одна я не смогу... А Курбан, сам видишь, слег... Давай это сделаем вместе. Извини, что утруждаю тебя...

Фуад посмотрел на часы.

– Клянусь, мама, спешу. Очень важное мероприятие. Завтра пришлю Касума, он поможет тебе.

– Да?.. Ну, хорошо... Иди, сынок. Смотри не опоздай. Да буду я твоей жертвой... А то я боюсь – подохнут рыбки... Ты ведь знаешь, для отца они – все. Поцелуй за нас Джейхуна и Первиза.

Глава двенадцатая

Дом культуры железнодорожников, где открывалась выставка «Баку сегодня и завтра», находился в пяти минутах ходьбы от дома родителей.

Текст выступления, написанный Михаилом Моисеевичем по его, Фуада, тезисам, лежал в кармане. Но он решил: «Буду говорить без бумажки. Так эффектнее».

Вначале маленький экскурс в прошлое, в историю города, затем... Почувствовал, что не может сосредоточиться. Другие мысли лезли в голову. Но он не беспокоился. У него был солидный опыт в подобного рода выступлениях. Фуад знал: как только начнется церемония открытия, он превратится в натянутую и настроенную! – струну. Мысль начнет работать четко, ясно.

Вот и Дом культуры. На часах – без шести минут семь. Но как странно! Ни толпы, ни гостей, ни машин, ни работников милиции.

Человек с красной повязкой на руке, стоявший у входа, узнал Фуада:

– Салам, товарищ Мехтиев! Добро пожаловать! Вы – первый. Только рановато. Или вам не сказали? Маленькое изменение. В восемь открытие. Перенесли на час.

Фуад немного смутился, улыбнулся дежурному:

– Да, да, сейчас вспомнил. И секретарша вчера говорила, начальник предупреждал. А я-то... Да, заработались мы. Но ничего, погуляю часок, подышу воздухом.

Он направился по улице в сторону центра.

Проходя мимо закусочной, ощутил запах горячих кутабов[[34]](#footnote-34). Напрасно я отказался от маминой яичницы», – с сожалением подумал Фуад.

Что он, в сущности, ел на банкете? Так, перекусил чуть- чуть. Воробей и тот не насытился бы! Поехать домой поужинать? Далеко. Не успеет вернуться к восьми. К родителям опять пойти? Но он отверг этот вариант. Как-то несолидно получится: раз в месяц бывает у стариков, и вдруг спустя полчаса после ого, как ушел, снова появляется... В чем дело?.. Да вот, пришел есть яичницу. Ах, ах!..

Подумал: а не заглянуть ли в эту закусочную? Кто его здесь знает – в этом районе? Зайдет, заморит червячка. Когда-то тут подавали вкуснейшие кутабы. Лет пятнадцать назад...

Фуад вошел в закусочную. Маленькая, тесная. Полно народу. Накурено. Вряд ли здесь он встретит кого-либо из своих знакомых. Люди его круга, как и он сам, не ходят в подобные забегаловки.

В углу освободился столик. Он сел за него. Стол являл со­бой живописный беспорядок: скомканные бумажные салфетки, тарелки с остатками еды, куски хлеба, пустая водочная бутылка, пепельница, полная окурков.

Подошел официант, убрал стол, перевернул обратной стороной скатерть. Вопросительно посмотрел на Фуада:

– Так, слушаю.

– Что у вас есть?

– Кутабы с мясом, с зеленью...

– По пять тех и других. Закуску какую-нибудь.

– Ясно. Пить что будете? Водка, коньяк, вино?

– Бутылочку боржоми.

– Боржоми нет. «Бадамлы».

– Давай. Только побыстрее, я спешу.

–Хорошо.

Официант принес сыр, кресс-салат, редиску, огурец, бутыл­ку «Бадамлы», а немного погодя – две тарелки с кутабами.

Неплохие были кутабы.

За соседними столиками громко разговаривали, смеялись, произносили тосты:

– ...Сказать, почему я пью за тебя?.. Слушай сюда... Я пью за тебя потому, что ты – мужчина! Ты – человек! Железный парень, во!.. Агабала тоже мужчина... Разве нет?.. Но я пью лично за тебя, потому что ты – мировой парень, ты – мужчина...

– ...Когда брат Тофика вернулся из армии, он все рассказал мне... Он клялся, что видел своими глазами...

– ...Нет, ты слышишь?.. Я пью за тебя потому, что ты – муж­чина. Муж-чи-на! А мужчина должен быть человеком... Агабала тоже мужчина, но ты, кроме того, еще и мировой парень... Поэтому я пью лично за твое здоровье... Или ты думаешь, Надир пьян?.. Клянусь вот этим хлебом, нет. Я и Агабале сказал: Талят – мужчина...

– ...Нет, ты скажи мне... Погоди, погоди, ты мне сначала скажи... После каждого гласного звука должен идти согласный звук или нет?.. У каждой розы должен быть свой соловей или нет?.. У каждой чашки должно быть блюдце или нет?.. Ты понял меня?.. Я тебя спрашиваю... После гласного звука идет соглас­ный звук или нет?..

– Говорят, Кеннеди не умер... Жив, только сбежал в Израиль и живет там тайком. Жена с детьми тоже недавно перебрались к нему...

– Как же так?.. Ведь жена Кеннеди вышла замуж за армянина...

– Не за армянина, за грека... Грек окочурился... Ты понял? Нет, ты сечешь, какие делишки там у них творятся?.. У них там ничего просто так не делается...

– ...Да не пойдет мне впрок этот кусок хлеба, если я лгу!.. Я ломаного гроша не дам за машину, которую взял Фазиль. Фазиля обдурили...

– ...Он говорит, что видел все своими глазами... Надир тоже там был... Он поклялся в присутствии нескольких человек...

–... Я почему пью за тебя, Талят, знаешь?.. Потом, может, ты скажешь, что ты был нужен мне, что у меня было дело к тебе... Да?.. Слушай сюда, клянусь могилой двенадцати имамов, никакого дела у меня к тебе нет! Я пью за тебя потому, что ты мужчина, ты – человек... Клянусь Кораном, я говорю правду!

Это был в полном смысле слова хаос фраз, мыслей, звуков.

Фуад ощутил на себе чей-то взгляд. Обернулся. В самом деле: сидевший за столиком у двери пожилой мужчина в папахе пристально смотрел на него. Их взгляды встретились. Фуад опять склонился над тарелкой. «Вот черт, неужели знакомый?! А может, просто пьяный?.. Еще привяжется. Впрочем, вид у него степенный. На пьяного не похож. Значит, знакомый... Вот некстати...»

Ему захотелось поскорее уйти отсюда. Нехотя доедая кутабы, он снова обернулся: человек в папахе продолжал смотреть на него. Кажется, даже улыбался. Да, он улыбался, глядя на Фуада. Больше того, кивнул головой, приветствуя. Фуаду пришлось ответить на приветствие. Мужчина в папахе встал, подошел к его столику.

– Ты, кажется, не узнаешь меня, сосед? – Он уселся напротив Фуада.

Фуад скис: «Что меня сюда занесло?»

– Я говорю, ты, кажется, не узнаешь меня, сынок? Алиаббас кирщик[[35]](#footnote-35)1 Алиаббас.

Фуад напряг память. Да, действительно, жил на их улице такой человек – кирщик Алиаббас.

– Не сын ли ты Курбан-муаллима, племянник?

– Да.

– Я живу через два дома от вашего. Ваш-то дом хорошо знаю, столько раз покрывал его.

И тут Фуад окончательно вспомнил этого человека. Часто он с мальчишками, забравшись на крышу дома, наблюдал за работой Алиаббаса-киши. Даже ощутил запах кипящего кира. Вспомнил брата его, Ага-Рзу. Ага-Рза был сверстником Фуада. Играли на улице в чижа, лапту, кости, чехарду, прятки.

– Как поживаешь, дядя Алиаббас?

– Спасибо, понемножку. Конечно, в руках уже нет прежней силы, и глаза хуже видят, но ведь узнал тебя, а? Смотрю – зна­комое лицо. Думаю, нет, с этим человеком я где-то встречался. А ты, оказывается... вон... сосед, сын Курбан-муаллима.

– И я тебя сразу же узнал, как только ты подошел, дядя Алиаббас. Ты по-прежнему... крыши покрываешь? – Фуад вспом­нил о чугунном котле возле дома родителей. Спросил: – Тот котел, что там, на улице, твой?

– А чей же еще? Мой, сосед, мой. – Очевидно, он забыл имя Фуада. – Ты что-то редко бываешь в наших краях...

– Да так уж получается.

– Дети у тебя есть, племянник?

– Два сына.

– Да хранит их Аллах!

– Да хранит Аллах и твоих детей! Как поживает Ага-Рза?

Алиаббас как-то сразу сник, помрачнел. Долго молчал, наконец сказал:

– Сосед, разве ты не знаешь, что Ага-Рза уже пять лет как умер. И ты тоже был на его похоронах, вместе с Курбан- муаллимом. И на поминках вы были... в Ясамале[[36]](#footnote-36). Там Ага-Рзе за год до этого квартиру дали.

Фуад смутился, покраснел. Вспомнил: действительно, ходил с отцом на похороны и на поминки Ага-Рзы. Вспомнил даже, как говорил слова соболезнования Алиаббасу: «Пусть это будет вашим последним горем...» Ясно, его сбило то, что помин­ки были в Ясамале. В том Прошлом, что хранила память Фуада. Ага-Рза продолжал жить как друг его детства, сверстник, мальчишка с их улицы. Жена Алиаббаса – Гюльсюм-хала варила дома сахар и делала из него «красные петушки» на палочках, которые Ага-Рза продавал на углу. Как правило, он предвари­тельно облизывал эти «красные петушки», отчего они становились блестящими, аппетитными, приобретали «товарный вид». Иногда он предлагал полизать «петушки» и Фуаду. Черкез-арвад, узнав об этом, отругала сына: «Не смей никогда этого делать! Красные петушки – отрава, в них краска. Тот, кто ест эту дрянь, обязательно заболеет». На деньги, вырученные за эти «петушки»,они с Ага-Рзой ходили в кино. Посмотрели столько замечатель­ных кинофильмов – «Индийская гробница», «Багдадский вор», Тарзан»...

Да, сверстник Фуада, друг детства Ага-Рза остался навеки живым в его Прошлом. Потом они много лет не виделись. А тот Ага-Рза, что умер в Ясамале, на чьи похороны и поминки он с отцом ходил, – то был совсем другой человек. Его тоже звали Ага-Рзой, но он, Фуад, не знал его, никогда до этого не видел. Отец настоял, и он пошел. «Нехорошо, неудобно, – объяснил Курбан-киши. – Как-никак Алиаббас наш сосед, живем на одной улице, здороваемся. Да и ты с Ага-Рзой дружил в детстве. Прошу тебя, выкрой время – сходим».

Дома в Ясамале так похожи один на другой. Дворы этих домов тоже похожи один на другой. В одном из таких дворов был сооружен вместительный шатер из брезента, столь похожий на все прочие поминальные шатры, в каких приходилось сидеть и пить чай Фуаду... Одни и те же слова соболезнования...

– Извини, дядя Алиаббас, я хотел спросить, как поживает семья покойного?

– Спасибо, сынок, ничего.

Может, он опять не то сказал? Может, у Ага-Рзы вовсе не было семьи, бедняга умер холостяком? Надо потом узнать у родителей.

Алиаббас встал, начал прощаться. В голосе его было столько тепла. Затем он подошел к буфетчику, рассчитался и вышел из закусочной.

Фуад подозвал официанта, спросил:

– Сколько с меня?

– Ничего, за вас заплатили, – официант кивнул в сторону буфетчика.

Выйдя на улицу, Фуад подумал, что получилось не очень хорошо: кирщик Алиаббас рассчитался за него; выходит, он, Фуад, как бы оказался гостем этого трудяги-старика. Потом... как это он забыл про смерть Ага-Рзы? Да, очень нехорошо получилось!

Однако все это надо немедленно забыть, выбросить из голо­вы. Он должен думать только об одном – о предстоящем выступ­лении на открытии выставки. Было без пятнадцати восемь.

Итак, с чего же он начнет?.. Ага, небольшой экскурс в исто­рию... Затем...

Фуад повернул направо, за угол. Пройдя немного, остано­вился. Увидел: не в ту сторону свернул. Ничего, и здесь можно выйти к Дому культуры железнодорожников. Он шел мимо сквера. И вдруг... Фуад узнал этот сквер. В ночь накануне своей свадьбы он шел этой же улицей. Было за полночь, это он хорошо помнил. Шел от Румийи. Проходя мимо сквера, услышал шум борьбы, затем увидел трех или четырех парней, которые затаскивали в машину кого-то. Это был «Москвич». Несчастный сопротивлялся, молил о пощаде.

В памяти Фуада всплыло:

«– Ради бога, Наджаф, заклинаю тебя Меккой, не убивайте меня! Клянусь могилой отца, я сделал глупость! Я – глупец, дурак! Зачем я это сделал?! Ах, зачем я это сделал?!

– Сука! Акпер загремел из-за тебя! Думаешь, ему хорошо там сейчас?!»

Помнится, он хотел броситься на помощь. Кажется, даже сделал уже шаг, другой в сторону «Москвича», но... испугался, попятился назад, в тень, прижался к двери какого-то подъезда с аркой. Господи, как он боялся, что его увидят! Ведь он был свидетелем происходящего. Единственным свидетелем преступления! Единственным, кто видел... Единственным, кто мог бы... Нет! Нет! Нет! Ничего он не мог бы! Не мог! Ни-че-го. Попробуй он тогда вмешаться – в ход пошли бы ножи. Вместо одного трупа было бы два! Их обоих затолкали бы в машину, а там... Каспий хранит много нераскрытых тайн. Потому-то он и не кинулся на помощь! Это было бессмысленно. Потому испугался. Это же естественно. Каждый бы испугался на его месте. Никто не кинулся бы!

Вот и подъезд – да, да, тот самый! – к двери которого он тогда прижимался спиной, хотел слиться с ней, врасти в нее. Стоя здесь, он так отчетливо, так достоверно – так жутко отчетливо, так кошмарно достоверно! – увидел свое Будущее, свою смерть, похороны, кончину родителей, свадьбу Румийи (не с ним, с другим!), их медовый месяц в «России» (не с ним!) и многое другое... Так реально все это увидел, что ему захотелось – ах как захотелось! – обмануть, перехитрить, изменить свою судьбу, это свое печальное Будущее!

И ведь удалось! В самый последний момент он свернул с пути, которым шел, которым должен был идти. Свернул на тропу, которая вывела его к другому Будущему, к тому, в котором он живет сейчас...

Странно... Очень странная мысль... Выходит, наше Будущее имеет несколько различных вариантов?! И от нас зависит, какой из них избрать?! Так?.. Но... как же тогда.

Нет, сейчас у него нет времени, нет возможности доско­нально разбираться в этом вопросе! Потом, после!

В ту ночь, в ту далекую ночь, как только машина тронулась, вернее, сорвалась с места, обреченный человек все-таки закричал. Громко закричал. Этот истошный крик до сих пор стоит в ушах Фуада.

А что было потом?..

«Москвич» умчался.

Он вышел из укрытия, глянул по сторонам и быстро пошел в сторону дома. Почти побежал. Их двор-колодец был погружен во тьму. Он поднялся по лестнице, вошел в галерею, затем в комнату. Отец и мать спали. Он не стал зажигать свет, чтобы не беспокоить их. В темноте задел ногой высокую деревянную подставку, на которой стоял аквариум. Аквариум грохнулся на пол и разбился. Большинство рыбок погибло. В зарплату отец купил себе новый аквариум. И рыбок подкупил, взамен погибших...

«Напрасно я пошел в закусочную, – подумал Фуад. – Целый час был в моем распоряжении. Надо было вернуться к старикам, помочь матери сменить воду в аквариуме...»

Он опять свернул за угол. До Дома культуры железнодорож­ников оставалось метров сто. Теперь здесь все было честь честью: перед входом толпились люди, на тротуаре – работники милиции, на проезжей части улицы – два офицера ГАИ, здесь, на перекрестке, – еще один. Подъезжали, отъезжали машины – бе­лые, оранжевые, голубые, зеленые, вишневые, черные.

«Да, надо было вернуться... – билась в сознании Фуада мысль. – Что сейчас у отца осталось в жизни, кроме этого аквариума? Надо было...»

Он вдруг остановился. Другая мысль пришла ему в голову. Совсем другая! Неожиданно другая!

«Действительно, а что будет, если я...» – Но он тотчас отверг эту странную мысль.

Опять пошел. И опять остановился.

«А может, все-таки?..»

Времени на раздумье у Фуада почти не было. До открытия выставки оставались считанные минуты.

\* \* \*

– Фуад? – удивился Черкез.

– Пришел поменять воду в аквариуме.

– А ты разве не пошел на собрание?

– Не пошел, – скал Фуад.

*1977г.*

*Юрмала, Дубулты*

*Перевод Игоря Печенева*

# БЕЛЫЙ ОВЕН, ЧЕРНЫЙ ОВЕН

(Утопические и антиутопические сказки)

СКАЗКА ПЕРВАЯ

*...И тогда появятся два схлестнувшихся овна – белый овен и черный. Белый овен обратит черного в бегство. Ты вскочи на белого овна, как только сядешь на него верхом, выберешься на белый свет. А сядешь на черного – окажешься в царстве тьмы…*

Сказка о Мелик-Мамемде

Мелик Мамедли проснулся на звуки государственного гимна, вернее, проснулся не совсем, а слышал эти звуки еще спросонок. Каждый раз, ложась спать, он устанав­ливал таймер компьютера на утренний час, когда передавали гимн и ежеутренне вставал под торжественные аккорды, но сегодня, удивительное дело, еще пребывая в полусне, он был охвачен особым чувством радости. Отчего же звуки мелодии, которые он слушал ежедневно, вызывали сейчас столь благост­ное настроение? И еще не стряхнув с себя дрему, он догадался о причине: ведь сегодня день праздника Новруз, и ему предстояло пережить этот день, как все по всей стране – с чувством боль­шого воодушевления, радости, гордой уверенности и умиротворения. И так же, еще пребывая в полусне, он подумал – не будь неблагодарным, разве ты, как и все, эти последние годы, дни и ночи не живешь с тем же чувством безмятежной эйфории?..

Короче, пора было вставать, рывком поднялся с постели. И дослушал гимн до конца стоя – это вошло у него в привычку.

Мелик знал, что в эти минуты с таким же чувством патриотического воодушевления и гордости этот гимн, звучащий по всем двенадцати телерадиоканалам, слушают миллионы людей – от Дербента до Хамадана, от Казаха до Казвина.

Он, конечно, настроил компьютерный приемник на волну телерадиоканала «Чагдаш»[[37]](#footnote-37), где работал вот уже тринадцать лет комментатором и автором-режиссером. Канал уделял преимущественное внимание вопросам культуры. Другие каналы, при всем стремлении к универсализму, все же тяготели к опреде­ленной тематике. Единственный государственный канал +АЗРТ, разумеется, старался отображать возможно полнее жизнь рес­публики и международную панораму. Однако у других, частных каналов были свои направления и, стало быть, своя публика.

«Туран» вещал, главным образом, о тюркском мире, «Хазар» и «Апшерон» – о Баку и близлежащей области; «Араз» посвящал свои основные передачи Южному Азербайджану; «Улдуз», излюбленный канал молодежи, занимал юную смену музыкой, спортивными передачами и развлекательными шоу. «Хилал» посвящал эфир преимущественно религиозным беседам – истории ислама, трактовке священного Корана, жизнеописанию пророков, имамов и ученых богословов... Этнографические, фольклорные темы, культурное наследие, старинные обычаи и традиции были в центре внимания «Новруза»; «Единство» ориентировалось на зарубежную аудиторию и национальные меньшинства в республике; «Савалан» говорил и показывал из Тебриза, «Кяпаз» – из Гянджи...

Мелика Мамедли, признанного в стране тележурналиста и телережиссера, настойчиво зазывали все каналы, но он пред­почел «Чагдаш» – приобщение публики к отечественной и зару­бежной культуре, к сокровищам мировой литературы и искусст­ва стало его жизненным кредо.

Хотя Мелик неоднократно получал приглашения от политических партий, действовавших в стране, он ни на одно из них не отвечал положительно и, вообще, не лез в политику. Он был твердо убежден, что отныне, с восстановлением исторической территориальной целостности Азербайджана, разрешением поч­ти всех социальных, экономических и идеологических проблем, занятие политикой, в известном смысле, приятное хобби, вроде аэробики, коллекционирования почтовых марок или бабочек.

И действительно, – после перетягивания канатов правыми и левыми, когда сперва, при осаживании предпринимательства и бюрократическом невнимании к национальным ценностям, доминировал электорат правых, а затем, при разгуле коррупции, баснословном обогащении одних и обнищании других, тон зада­вала «левая» пропаганда, – все эти проблемы были раз и навсегда сняты; большинство избирателей голосовали за правые или левые партии как бы по традиционной привычке, по инерции унаследованных от родителей симпатий и предпочтений.

В Милли Меджлисе было представлено пять партий – две правого толка, две – левого и одна центристская. Правые выд­вигали на первый план национальные ценности, идеи тюркства, последовательно отстаивали рыночную экономику; левые – ратовали за социальное равенство, опираясь в основном, на ра­бочий класс; и – центристы, принимавшие определенные цен­ности тех и других, занимавшие, можно сказать примиритель­ную позицию. И у власти ныне находилось коалиционное прави­тельство центристов и независимых, беспартийных депутатов.

Но стоит ли в этот праздничный, щедрый солнечный день вспоминать о политических вопросах!

Мелик самокритично покачал головой.

Политические события очень мало интересовали граждан процветающей республики – после освоения новых морских нефтяных и газовых месторождений, ввода в строй еще двух нефтепроводов помимо линии Баку – Джейхан, приносящих стабильные дивиденды, позволивших довести средний заработок на душу благоденствующего населения аж до тысячи баксов!

Теперь Азербайджан по уровню жизни населения оставил позади арабские эмираты, по степени развития экономики и культуры поравнялся с самыми передовыми европейскими странами. За последние два года медицинское обслуживание, среднее и высшее образование, коммунальные услуги стали бесплатными, общественный транспорт (за исключением такси) – тоже; и за хлеб платить не надо.

Кровавые карабахские события, экономическая разруха ушли в далекое прошлое, в воспоминания. К слову, вчера Мелику позвонил сын из Шуши, он занимается сооружением фуникулерной линии от Джидыр-дюзю до лесного массива Топхана. В Новруз принято собираться всей семьей. Жаль, что на сей раз не удастся. Бейрек – в Шуше, жена Айпери оформляет спектакль в Тебризе, а дочь Бурла читает лекции в Керкуке...

Во вчерашнем телефонном разговоре Бейрек порадовал отца: участки трассы от горы Кирс до «Гырх-пиллекан»[[38]](#footnote-38) и в районе массива Топхана и дома известного как «Пристанище Ибрагим-хана», уже пройден. Остается состыковать оба отрезка, за месяц управятся. Спасибо мингечаурцам, сработали отменные вагонетки, любо-дорого смотреть. И теперь, по словам сына, направляясь летом в живописные кущи к Иса-булагы[[39]](#footnote-39), пас­сажиры фуникулера будут «пролетать» через реку Гаргар. Бейрек был фантазер. Несколько лет назад, когда ему пришла в голову идея о фуникулере, никто не принял это всерьез, но вот, поди ж ты, сбывается мечта... А теперь он загорелся мыслью о канатной дороге к эйлагу «Гырх гыз». А почему бы и нет? За последние годы Шуша действительно стала Меккой интуристов. Горный воздух, целебные ключи, зимой – раздолье горнолыжникам, охота, альпинизм. Исторические памятники... Со всех стран мира тянутся сюда туристы. Пятизвездочные и поскромнее отели, выросшие на Джыдыр-дюзю у «Эрим-гяльди»[[40]](#footnote-40), в Топхане. в лесах вокруг Иса-булагы, с трудом справляются с потоком гостей, приходится бронировать номера задолго до прибытия Особый бум наступает во время ежегодных музыкальных фестивалей имени великого Узеира Гаджибекова, – участники и гости размещаются не только в Шуше, но и в окрестных городах – Лачине, Агдаме, Ходжалы, Агдере, Ханкенди, Гарабулаге...

Бейрек рассказывал по телефону не столько о фуникулере, сколько о том, как в Шуше праздновали последнюю среду – «Ахыр чершенбе» – накануне Новруза. Сын впервые встречал «Ахыр чершенбе» в Шуше, и с жаром описывал бега на карабахских скакунах, старинную игру човкан на Джидыр-дюзю, говорил о ритуальных кострах, пылавших до утра, через которые ребятки перепрыгивали, изгоняя хворобу, а чтоб благополучие было еще вернее, бросали в огонь пучки руты; о роскошном фейерверке, озарявшем всю округу, о звонких голосах певцов-ханенде, разносившихся эхом в горах, о юных певцах – «Карабахских соловьях», перепевших искушенных ханенде и удостоившихся премии «Хары-бюльбюль»...[[41]](#footnote-41) Да, сын живописал все эти подробности с таким жаром, что Мелику как въяве предстали картины Новруза, который ему дважды довелось праздновать в Шуше.

«Знаешь, – говорил Бейрек, – профессора консерватории имени Навваба[[42]](#footnote-42) нарадоваться не могли...».

Умывшись и сделав зарядку, Мелик «зашел» в свою электронную почту на компьютере.

Масса поздравительных месажей от коллег – из Турции, Ирана, России, Грузии, западных стран... Пробежав глазами эти тексты, он стал читать письмо из Керкука – от дочери. Вот уже два года, как Бурла вела курс азербайджанского языка и литературы в университете имени Физули в далеком Ираке.

«Дорогие мои папа, мама, Бейрек! Всех вас поздравляю с праздником Новруза. Всем вам в этот светлый день желаю крепкого здоровья. Я обещала, что в этом году проведу Новруз с вами в Баку, но жаль, не удалось. Завтра улетаю в Урумчи, пригласили коллеги из Университета имени Махмуда Гашкарлы, а оттуда мой путь лежит в Москву, из Москвы полечу в Бахчисарай – там предстоит читать лекции в университете Исмаила Гаспринского...»

Ишь, разлеталась, чертовка!» – улыбнулся Мелик.

...Очень переживала, что не смогла воспользоваться нынешними «новрузовскими» каникулами и махнуть в Баку. Ужасно соскучилась по вам. Сколько же можно общаться виртуально, переписываться по интернету! Знайте: вы всегда в моем сердце. Всех вас крепко целую. Бурла».

Мелик с сожалением подумал, что ни двадцатисемилетняя Бурла, ни двадцатипятилетний Бейрек пока не обзавелись семья­ми, не сподобили родителей радостями дедушки и бабушки.

Мельком просмотрел сегодняшние газетные сайты, – может, попадутся новости культуры, которые пригодятся в телепрограм­ме. Газета «Ени гюн» сообщала о предстоящем майском между­народном кинофестивале прикаспийских и причерноморских стран в Набрани...

Ну и ну, целый калейдоскоп, фейерверк мероприятий, фестивали, декады, конкурсы, выставки, музыка, литература, культура, театр, попробуй успеть осветить, откликнуться, а тут еще один сабантуй, сколько же, право, может быть мероприятий, праздников... в Гобустане через каждые три года празднества в память праотца Горгуда, на Мугани через каждые два – спортив­ные игры «Кероглу»[[43]](#footnote-43), в Гяндже – дни Низами, в Нахичевани, в религиозном центре «Азхаби-Кяф» – международный научный форум «Ислам на Кавказе», в театре под открытым небом, в Нарын-кала[[44]](#footnote-44) исторические действа, в Шемахе – дни поэзии Сабира, в Казахе – дни поэзии Вагифа и Самеда Вургуна, в Шуше – поэтические и музыкальные меджлисы – Молла Панаха Вагифа, Натеван, Джаббара Гаръягды-оглу, в Габале – мемориал Юниса Эмре[[45]](#footnote-45), в Шеки – народные юморины; в Ленкорани – конкурс песни и пляски, в Мардакянах – Есенинские чтения, в Тебризе – неделя, посвященная устаду Шахрияру, в Ардебиле – симпозиум по творчеству Хатаи, в Мараге – вечера мугамной музыки, в Товузе, Сальянах, Туфаргане – ашугские турниры... Хоть на куски разрывайся, в лепешку разбейся, но дай в эфир материал, как бы другие каналы не обскакали...

Газета «Огуз»... в Казани театр имени Рудольфа Нуриева готовит балет на основе Третьей симфонии и скрипичного концерта Кара Караева, приглашен из Парижа Роже Дюпон, слывущий самым авангардным хореографом... В Небитдаге открыт музей, посвященный азербайджанским нефтяникам-первопроходцам туркменской нефти. В Москве начала работу международная научная конференция: «Евразийское духовное пространство и исторические связи русско-славянского и тюркско-татарского мира»... Стамбул: неделя грузинского фильма. Газета сетует: почему бы и не азербайджанского? «Ишчи чирагы» требует: пусть правительство объяснит причины «долгостроя» с рабочей здравницей в Кельбаджаре, подкрепляя критику заявлением профсоюзов. «Азад Азербайджан» возве­щает о предстоящем футбольном матче между командами «Боз Гурд» и «Рабочий», защищающими спортивную честь правых и левых партий. «Ну, теперь чья сторона проиграет, та и будет валить вину на судью».

Журнал «Чинар»: репортаж о подготовке к бьеннале кавказских художников на Гёй-Гёле (в июле). Фото: мемориальный родник «Ахмед Джавад» на дороге к Гей-Гёлю[[46]](#footnote-46)...

Журнал «Тюрк ели»: на обложке – снимок памятника Назыму Хикмету в Стамбуле. Цветные фотографии, запечатлевшие дни талышской культуры в Шеки и выставку лезгинского и аварского народного творчества в Нахичевани...

«Одлар юрду»: корреспонденция с киногородка «Карадаг», – о съемках на крупнейших студиях «Азерфильм», «Туранфильм», «Хазарфильм», «Гобустанфильм»...

Еженедельник «Шейтан-базар»: жареные факты и сплетни о кинозвездах – обитателях приморских вилл.

Мелик не поленился заглянуть и в сайт еженедельника «Пери-джаду», – гороскопы, заклинания, чудодейства, магии, прогнозы и пророчества всевозможных экстрасенсов.

«Надо же, – подумал Мелик, – и в двадцать первом веке нахо­дятся любители такого чтива и даже верящие во всю эту ахинею».

А вот и свежевыпущенный весенний альманах «Девять» – ну да, последние крики и вопли моды. Почему же «девять»? Вспомнил присловье, – девиз альманаха: «Гезеллик – ондур, доггузу дондур»[[47]](#footnote-47).

Мелик задержал взгляд на сайте «Азербайджан оджагы»: в Ханкенди армянский театр имени Ширванзаде готовит к поста­новке пьесу «Кеманча» Джалила Мамедкулизаде. Вот это дело! Хорошо, что выбрали именно это произведение, проникнутое духом высокого человеколюбия, призывающее к примирению и взаимопониманию. Верно, минувшие тяжкие события еще не изгладились из памяти людей, еще долго будут бередить души, но теперь права азербайджанцев, вернувшихся к исконным очагам в Армении и права карабахских армян обеспечены в равной мере, не осталось повода хвататься за оружие и идти стенка на стенку... теперь, слава Богу, с обеспечением тех же прав «грузинским» азербайджанцам и восстановлением террито­риальной целостности Грузии, с удовлетворением культурных и экономических нужд всех национальных меньшинств, – на Южном Кавказе, как и на северном, настали долгожданный мир и стабильность. Плоды мирного сотрудничества не замедлили сказаться, полностью ликвидирована безработица, набрала обороты промышленность, ожила земля, развернулся туризм. Весь Кавказ превратился в Мекку туристов. Компания «Шелковый путь» организовала грандиозный туристский маршрут «От Байкала до Балкан», в иных случаях перехлесты­вающий заявленные координаты и берущий начало от Орхонских памятников в Монголии или Якутии-Саха и дотягивающий­ся до Республики Северный Кипр. Не забыли и про детские туристические маршруты. Туристы чаще всего предпочитали путешествовать в автобусах или поездом; экспресс «Три стрелы» доставлял их от восточного Туркестана, Алтая, Казахстана, Средней Азии до каспийских берегов, отсюда мощные паромы Азербайджан» и «Туркменистан» брали на себя поезда, автобу­сы и переправляли в Тюрканский порт близ Баку. Дальше маршрут пролегал до Турции – по автостраде Баку – Тбилиси – Батуми или по трассе Баку – Худаферин – Садарак – Измир, а оттуда – рукой подать до Европы. Другая суперкомпания – «Кавказтур» – предлагала туристам полюбоваться на черноморское и каспийс­кое взморье, побывать на Нефтяных Камнях, вдохнуть высокогорный воздух Бакуриани, насладиться красотой альпийских лугов Теберды, Домбая, живописного озера Гёйча[[48]](#footnote-48), Дилижанской долины...

В сувенирах не было недостатка, – чеканка кубачинских мастеров, кубинские ковры, изделия лачинских медников, пекинские шелка, баскальские келагаи [[49]](#footnote-49).

Он заглянул в бюллетень «Вестник». В госдрамтеатре имени Мирзы Фатали Ахундзаде с аншлагом шли пьесы Гусейна Джавида. В государственном театре оперы и балета имени Узеира Гаджибейли предстояли гастроли солистов прославленной «Ла Скала». Театр мугамов имени Гусейнгулу Сарабского в концерт­ам цикле «Семь мугамов» представит публике мугамы «Чаргях», «Сейгях», «Раст», «Шур», «Баяты-Шираз», «Хумаюн», «Шуштер»... Театр Гусейна Араблинского покажет шекспировский «Кориолан» в исполнении грузинских мастеров сцены...

Синема-клуб порадует любителей кино ретроспективным показом шедевров Чаплина и Феллини...

Триумф, апофеоз музыки – концерты в музыкальном центре «Кара Караев», в концертном зале «Ниязи», в Доме камерной музыки «Фикрет Амиров», в эстрадном театре «Тофик Кулиев», Театре песни имени Рашида Бейбутова, джаз-клубе имени Вагифа Мустафазаде; народные зрелища-игрища «Гаравелли», «Килимарасы», «Зорхана», «Шабих»[[50]](#footnote-50)...

Праздничные выставки открывались в Историческом музее имени Шаха Исмаила Хатаи, в Музее литературы имени Низами, в национальной художественной галерее имени Султана Мохаммеда[[51]](#footnote-51), в Музее мировой культуры имени Гаджи Зейналабдина Тагиева, в Музее современного искусства имени Саттара Бахлулзаде, в музее прикладного искусства, в Музее Армии име­ни Зии Бунятова, в библиотеках «Гасанбек Зардаби» и «Микаил Мушфиг»...

Мелик устал нажимать клавиши электронного блокнота- памятки; конечно, успеть на все концерты, выставки – дело немыслимое; он наметил кому из сотрудников куда сходить, где побывать, а сам выкроит время, чтобы непременно посетить музей первобытного искусства, расположенный под открытым небом на склонах горы Горгуд. Говорят, экспозицию музея пополнили найденные в Лерике каменные изваяния лошади, овна, – это особый мир. Обязательно надо сходить поглядеть. Все недосуг. Он все еще не удосужился посетить музей народного искусства в Ичери-шехер, – там представлены изделия злато- кузнецов, медников, резчиков по дереву, гончарное дело, старинная каллиграфия... Эх, сколько упущенного! Вчера, ска­жем, в Пушкинском доме культуры прошла презентация нового издания «Братьев Карамазовых». Хорошо бы прочесть новый перевод романа. Жаль, что не смог послушать недавнюю лекцию Абрама Губермана «Традиции религиозной толерантности в Азербайджане» – в Еврейском центре имени академика Ландау.

Пригласили на вечер поэзии Хафиза Ширази в Доме иранской культуры имени Бехзада – какое удовольствие – послушать стихи великого персиянина в исполнении иранских артистов... Увы, увы, не удалось.

Зазвонил видеотелефон. Он поднял трубку и увидел на крохотном экране лицо жены. От его внимания не ускользнуло, что она чем-то расстроена. После обычных приветствий, праздничных поздравлений Мелик спросил:

– Ты, похоже, не в духе. Что невеселая такая?

– А от чего веселиться? – отозвалась Айпери. – В Баку задержали декорации. К Новрузу не успели с постановкой...

Она уже несколько недель находилась в Тебризе, – готовили постановку оперы «Кёроглу» в театре имени Абдулкадыра Марагаи. Декорации сцены в Ченлибеле не пришли к сроку, и премьера безнадежно опоздала. Мелик переменил тему, чтобы отвлечь жену от тягостных мыслей.

– Ну, а как с ролью Нигяр? Нашли исполнительницу? – Он-то знал, что нашли.

– Я же тебе говорила, нашли. Студентка консерватории име­ни Урмави... Сценического опыта – мало. Но голос – неплохой, яркий. – Она опять не сдержала своей досады. – Надо же... Все было так гладко... хорошо... и вдруг, на тебе, так подвели. Я ведь просила их: отправьте декорации маршрутными автобусами фирмы «Гыр-ат». А они решили сэкономить, отправили через Дюр-ат»[[52]](#footnote-52) . И вот результат. – Она никак не могла успокоиться

– Да не бери ты в голову! Нет худа без добра. Эта заминка позволит мне успеть на премьеру. Через недельку примчусь в Тебриз...

– Тогда обязательно «Гыр-ат»ом!

– Да нет, на колесах некогда. На крыльях прилечу! Утром вылечу, ночным рейсом вернусь. Звонил Бейрек из Шуши, трудится там. Бурла тоже аукнулась, собирается вылететь в Урумчи...

– Я в курсе. Они и мне звонили. Бейрек взахлеб расписывал шушинские торжества. И здесь праздник Новруз встретили на славу. Ночные костры на горе Эйнал-Зейнал – феерическое зрелище... Я набросала пару эскизов. А завтра запылает факел на башне крепости Эрк...

– Знаю. Помнишь, в прошлом году я оттуда телепередачу подготовил?

– Как же не помнить! Ну, ладно. Будь здоров. Еще раз с праздником. Целую. – Лицо Айпери на дисплее засветилось улыбкой.

Мелик спустился на лифте, вышел во двор и, достав пульт дистанционного управления из кармана пальто, направил в сторону дверей гаража и нажал кнопку. Двери открылись. Другая кнопка распахнула дверцу автомобиля марки «Джейран», детище сумгаитского автозавода в сотворчестве с «Фиатом». Бейрек и Айпери усердно агитировали его купить «Марал» – творение гянджинского автозавода, сотрудничающего с «Фордом», но он остался верен «Джейрану», более скромному, но юркому и прыткому, – в самый раз при его телевизионной горячке.

Завел мотор, выехал, с помощью пульта запер двери гаража; вырулил со двора на проспект Шейха Мохаммеда Хиябани [[53]](#footnote-53). Мелик жил в доме, расположенном в жилом массиве «Баят», некогда называвшемся (он где-то читал) поселком «8-й километр», странное название, – почему восьмой километр, с какой точки отсчета восьмой километр? Вообще, в былые времена любили пришпандоривать номера микрорайонам (тоже словечко из коммунальных «изобретений») – первый, второй, третий микрорайоны... по порядку рассчитайсь! И домишки, сработанные здесь на скорую руку, тяп-ляп, имели такой вид, что Аллах упаси. (Видел их Мелик в киноархивных хрониках).

Он вспомнил, для сравнения, нынешние названия городс­ких районов и массивов – «Афшар», «Гаджар», «Шахсеван», «Баяндур», «Борчалы», «Зангезур», «Игдир»... Но, что ни говори, в глазах Мелика его махалла «Баят» была самой живописной и благолепной из всех. За тридцатиэтажной высоткой, где он жил, зеленел парк «Гараязы», где среди роскошных кущ звенел водопад «Учан су» – «Летящая вода».

Ведя машину на умеренной скорости, он переговорил по мобильнику с давними знакомцами-коллегами в Анкаре, Нью-Йорке, Москве, Тегеране. Он заранее условился с ними, что видеохронику о праздновании Новруза в Азербайджане SNN. TRT, Московская «Евразия» и тегеранский «Иран-нёв» возьмут именно у «Чагдаша», что сулило хорошую рекламу и приличный доход каналу. «Другие каналы лопнут от зависти». Мелик усмехнулся и попенял себе за столь тщеславное злорадство. Впрочем, они тоже, должно быть, не сидят сложа руки. Ведь не лыком шиты...». Большинство работающих на других каналах являлись также классными профессионалами. Со многими он был на дружеской ноге.

С площади Хиябани он выехал на площадь «Чанаг-гала», где возвышалась величественная статуя Мустафы Кемаля Ататюрка, затем его путь лежал через бульвар «Гарагоюнлулар»[[54]](#footnote-54) один из семи знаменитых бакинских бульваров. После передислокации черногородских заводов за черту Баку, в район Уч-тепе, Приморский парк простерся от Баилово до Зыха, опоя­сав всю «подкову» бухты и попав в книгу рекордов Гинесса как самый протяженный бульвар в мире. Самым шикарным и феше­небельным бульваром столицы был бульвар Физули, тянувшийся от площади Джафара Джаббарлы до проспекта Нариманова. В той зоне находились элитные здания и отели; здесь красовались Дворец Физули, некогда носивший имя вождя мирового пролетариата, Драмтеатр, театр Оперы (новое здание); кинозалы Айнур», «Далга», городской театр имени Джаббарлы, несмет­ные выставочные салоны; на пересечении бульвара с улицами Алибека Гусейнзаде и Ахмедбека Агаоглу эти два мыслителя-сподвижника встали рядышком, воплощенные в изваяния.

И бульвар Физули, и бульвар Хазар, то бишь бывший При­морский, по вечерам расцвечивались столь яркой лампионией, что этот световой потоп, наверно, было видать и на седьмом небе, с космических кораблей...

Карабахский бульвар, напротив, отличался строгой торжественностью и печальной тональностью, – здесь, на всем протяжении взору представали памятники; у могилы Неизвест­ного шехида – знака памяти о павших в боях за Карабах – горел вечный огонь, выполненный в форме древних очагов. Монумент трагедии Ходжалы – скорбные руины, груды обугленных камней, головешек, сквозь которые постоянно взвивалась вверх струйка дыма – стон испепеленной земли. Ежечасно звучавшая музыка – фрагмент симфонического мугама «Шур» Фикрета Амирова, – придавал особую впечатляющую силу мемориалу. Памятник, посвященный трагедии с вертолетом, расстрелянным в карабахском небе, выглядел необычно и разительно: сквозь обломки покореженного металла, винтов и лопастей проступали лики погибших. И, наконец, как бы в утешительное завершение всех этих горьких воспоминаний перед Карабахским железно­дорожным вокзалом возвышалась триумфальная арка победы.

Среди различных памятников и мемориальных ансамблей последних лет, возведенных в Баку, Мелику больше всего импонировали те, что выросли на Карабахском бульваре, и еще – памятник сопротивления на площади Нации, где некогда громоздился монумент 11-й Красной Армии. Въезжающим в город по проспекту Двадцатого января представал с тыльной стороны танк, вставший на дыбы, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что этот бронированный монстр осадила горстка отчаянных смельчаков, упершихся в него голыми руками... И это трагическое противоборство, и красные накрапы мозаичных гвоздик, усеявших точки, где некогда погибли безоружные люди, на всем протяжении проспекта напоминали о все еще незаживших ранах памяти народа.

От кинотеатра «Азербайджан» до театра кукол вел бульвар «Семь красавиц»[[55]](#footnote-55), самый короткий по протяженности, но один из самых излюбленных и притягательных для гостей города. Дорогие супермаркеты, театр мод «Семь красавиц», выставоч­ные галереи, рестораны как бы стремились перещеголять друг друга. Но больше всего туристов завораживал здесь фонтан «Семь красавиц». Грациозные фигуры семи красавиц из семи стран земли по вечерам оживали магией светоэффекта и как бы плыли в танце под балетную музыку Кара Караева. Туристы, по всесветно известному обычаю, бросали в бассейн монеты в надежде вновь посетить Баку. Другая экзотическая достоприме­чательность, приковывавшая их внимание, – башня на площади Джаббара Джафарлы. После упразднения бывшего Сабунчинского вокзала в здании «Сабунчинки» открылся Центр торговли и культуры «Аршин мал алан», – ежедневно в полдень из окон баш­ни выглядывали колоритные фаянсовые фигурки персонажей знаменитой оперетты под музыку Узеира и отвешивали поклоны собравшимся на площади туристам.

Бульвар «Араз» брал начало с площади Единого Азербайд­жана. Новый штрих в ауре столицы – основательно реконструи­рованный и расширенный стадион «Сельджук», перед которым вознеслись скульптуры трех великих сельджукских правителей – Султана Тогрула, Алп-Арслана и Мелик-шаха, восседавших на боевых конях. У входа на стадион, в музее спорта имени Тофика Бахрамова экспонировались несметные призы, кубки, десятки золотых олимпийских и прочих чемпионских медалей отечест­венных спортсменов. По обе стороны площади, замыкавшейся отелями «Савалан» и «Шахдаг»[[56]](#footnote-56), возвышались монументы две­надцати достославных государственных деятелей национальной истории; по одну сторону – Араншаха Джеваншира, Кызыл-Арслана, Ширваншаха Ибрагима, Джаханшаха, Узун-Гасана, Шаха Исмаила из династии Сефеви; по правую сторону представали Надир-шах Афшар, карабахские правители Панах-хан, Ибрагим-хан Джеваншир, шекинский Челеби-хан, владетель Кубинского ханства Фатали-хан, Гянджинского – Джавад-хан...

Вот между этими символическими рядами начинался Бульвар «Араз». Увенчанный шестью обелисками в память о борьбе за независимость Северного и Южного Азербайджана – обелиск «Машруте»[[57]](#footnote-57) напоминал о движении Саттархана в 1905-1906 годах; обелиск 28 мая – о первой Азербайджанской Республике; обелиск «Азадистан» – о движении под предводительством Хиябани; обелиск «21 Азера» – о создании национального прави­тельства в Южном Азербайджане в 1945 году; обелиск 1991 года – о возрождении независимости Северного Азербайджана и, наконец, обелиск Воссоединения – «Худаферин» [[58]](#footnote-58).

Пока мы перечисляли эти достопримечательности, наш герой приближался в своем «Джейране» к бульвару «Ашугов», седьмому из знаменитых бульваров столицы. Каждое утро, отправляясь на ТВ, он здесь останавливался и, припарковав машину полчаса прогуливался пешком по бульвару, некогда называвшегося Арменикендским. У входа в бульвар – скульптур­ная сцена, оживляющая мотивы популярного лирического стихотворения Ашуга Алескера:

*В четверг у ручья ее повстречал,*

*Мне в сердце глаза чаровницы попали.*

*Лукавая бровь изогнулась, как лук,*

*И в грудь мою стрелы-ресницы попали[[59]](#footnote-59).*

Ашуг, застывший у родника, завороженный красотой ясно­глазой ханым, набирающей воду в кувшин; на камне запечатлены строки знаменитой гошмы.

Прохаживаясь по бульвару, Мелик вновь и вновь читал на каменных скрижалях у импровизированных родников любимые и памятные строки мастеров саза и сказа.

Ашуг Курбани отзывался из средневековой мглы:

*Ты не казни разлукой Курбани,*

*Он, безутешный горбится. Взгляни,*

*Не от разлуки гнутся и они –*

*Прямой не встретить ни одной фиалки!*

Караджаоглан доносил свою печаль из восемнадцатого столетия:

*Вдосталь плакал, не смеялся на веку,*

*Исцеленья обыскался на веку,*

*Снисхожденья не дождался на веку,*

*Смилуйся, в печаль не повергай меня...*

*...Та, чья грудь белее снежных гор,*

*В чьих объятьях смерть бы мне принять...*

\* \* \*

*...Туман, рассейся с этих гор*

*Пускай земля плоды дарует.*

*Пускай тебя не видит взор,*

*И пусть душа впредь не горюет...*

\* \* \*

*Родинка черным-черна.*

*(А вокруг белым-бело).*

*Ни проехать, ни пройти.*

*Все дороги замело...*

*На боку у нас кирманские мечи.*

*Рассекут и камни, руки горячи.*

*Власть дает указы, как их не строчи,*

*Власть за падишахом, горы же за нас...*

*Стан ее, как у ангела, речь ее сладка.*

*Искони чарует этот бренный мир.*

*Манит, да обманет тебя, простака,*

*Красотой младою неизменный мир...*

*...Смерть от Бога и не деться никуда,*

*Сеть шелкова, не распутать никогда,*

*Дни пройдут, и годы канут навсегда,*

*Мы спешим все, сколько ждать еще весны?..*

*Как умру – все скажут: жаль беднягу.*

*Лишь один иль два слезами изойдут...*

*...В саду любимой расцвели цветы.*

*Сорву – убьют. А не сорву – умру я...*

Слепой Вейсал пел о бренности земного бытия и нетлен­ности памяти:

*...Минует день. Закат настанет,*

*Гляди, какой расклад настанет,*

*Вейсал уйдет, его не станет,*

*Кто из друзей меня вспомянет...*

У каждого своя «чешма»[[60]](#footnote-60) – свои скрижали-»письмена», где оживали имена: Ашуг Курбани, ашуг Аббас Диварганлы, Пир Султан Абдал, Ашуг Сары, Гараджаоглан, Дадалоглы, Амрах, Алы, Ашуг Басди, Молла Джума, Ашуг Вейсал...

Мелик подумал: благо, что эта очистительная, свежая грусть-печаль, эта боль и тоска остались навеки, озвученные в ашугских «гошма» и «герайлы», в народных «баяты», в газелях Физули, в горестных исповедях многих и многих других поэтов, в скорбных напевах сейгяха, шуштера, хумаюна[[61]](#footnote-61). Ибо сколь ни безбедна и безоблачна твоя жизнь, как бы ни благоденствовал народ, человек не может все время пребывать в блаженно-радужной эйфории, в беспамятном веселье, и душе порою хочет­ся тишины, грусти, томления, тоски на счастливом пиршестве жизни... Не потому ли теперь, когда наши национальные го­рести и беды канули в прошлое, никак не может родиться лите­ратура, потрясающая сердца, волнующая умы?.. Изданий, книг, одна другой краше, изящных, блестящих, шикарных – хоть от­бавляй. Но, увы, в этом море чтива не встретишь произведения, повергающего душу в трепет пронзительным откровением, ослепительным озарением истины... Быть может, это возмездие, плата за сытое благополучие? Кто знает...

Испив по глотку воды из каждого родника (привычка), он вернулся к припаркованной машине. С бульвара Ашугов выехал на улицу Фиридуна Ибрагими. Миновав памятник Джалила Мамедкулизаде, Дворец спорта имени Гачага Наби, сквера Шейха Шамиля, достиг площади Гянджи, одушевленной монументом, посвященном Гянджинскому восстанию 1920 года.

Напротив сада имени Самеда Вургуна, в сквере выросла фигура Бюльбюля, и два великих устада – поэт и певец, казалось, приветствовали друг друга.

Дальше предстали скульптуры славных военачальников: Алиаги Шихлинского и Самедбека Мехмандарова[[62]](#footnote-62) напротив Военной Академии; на бульваре Физули, воспользовавшись заминкой на перекрестке, задержал взгляд на новом здании театра оперы и балета с цветными витражами на фасаде по мотивам опер «Лейли и Меджнун», «Шах Исмаил», «Ашуг Гариб», «Кёроглу», балетов «Девичья башня», «Семь красавиц», «Тысяча и одна ночь», которые в вечерние часы выглядели особенно впечатляюще; эффект усиливался воздушно-зыбким повторением витражных картин на зеркальной глади бассейна перед зданием театра.

Проехав по проспекту Абульфаза Эльчибея, он миновал парк Журавлей, где стоявшие рядом два друга-устада Вагиф и Видади, всматриваясь вдаль, словно провожали взором печаль­ный караван пернатых странников, воспетых в незабываемых строках.

Оставив позади проспект Сефевидов, площадь Гызылбашей, он направился в сторону Горы Шехидов, где расположился музей Шехидов, посвященный памяти павших 20 января, шехидов карабахской войны и жертв мартовской бойни 1918 года; экспонаты отражали трагическую хронику пережитых народом мытарств и душегубств – в 1905 году, в марте 1918 года[[63]](#footnote-63), в апреле 1920 года, подавление движения Хиябани в 1921 году; репрессии 1937 года, разгром народно-демократического правительства в Южном Азербайджане 21 азера 1936 года, Черный январь 1990 года, геноцид над азербайджанским населением в Гукарке, в Баганис-Айрыме, в Ходжалы...

По обе стороны лестницы, ведущей от улицы Конституции к этому музею, под открытым небом демонстрировались злове­щие свидетельства этих расправ и преступлений – обломки вагона метро, взорванного террористами, что стоило жизни мно­гим согражданам и в их числе прекрасному музыканту Рафику Бабаеву; раздавленный корпус «жигули», на который созна­тельно наехали озверевшие каратели в БТР на сумгаитской авто­страде в январе 1990 года, загубив пассажиров – азербайджанс­ких ученых; тогда же изрешеченную пулями карету «скорой помощи», вывозившую раненных на январской бойне, железный костяк автобуса, подорванного на евлахской дороге...

Он въехал в территорию телецентра через верхние ворота, передал ключи от машины служащему гаража.

До начала рабочего дня еще оставалось изрядно времени.

Он поднялся на скоростном лифте телебашни – самой высокой на всем Ближнем Востоке – в ресторан «Булуд»[[64]](#footnote-64) , расположенный на самом верхнем ярусе и совершавший медлен­ный оборот – за полчаса можно было обозреть всю панораму Баку и окрестностей. Выше ресторана располагалось еще откры­тое кафе, но в эти мартовские дни там не посидеть.

Сел завтракать, пил астаринский чай, любуясь головокру­жительным простором, родным городом и голубой гладью бухты, сливающейся с небом на горизонте.

Сперва профессионально наметанным взглядом окинул площадь Азадлыг, где было установлено несколько телекамер. Возвышавшееся там здание, прежде известное как «Дом правительства», теперь именовалось Дворцом Огней; на всех четырех башнях здания горело шестнадцать факелов, символи­зировавших шестнадцать исторических областей Северного и Южного Азербайджана, в давние времена являвшихся ханства­ми; на правом фланге – Баку, Гянджа, Карабах, Ширван, Шеки, Нахичевань, Ленкорань и Куба, на левом – Тебриз, Ардебиль, Зенджан, Марага, Урмия, Карадаг, Маку и Хой.

На Горе Шехидов (здесь, говорят, встарь красовался памят­ник большевику, по партийной кличке Киров) пылали три фа­кела – символ Баку.

По мере вращения ресторана на телебашне, Мелик мог рассмотреть трехязыкие факелы в пяти точках окрестного пространства – на пересечении Балаханского и Сураханского шоссе, на Сулу-тепе, у Хурдаланской трассы, в Карадаге – на Ленкоранской автостраде, в Туркяне – на Приморской дороге и еще – в море, на возвышенности между островами Большая и Малая Зиря, некогда называвшейся банкой Макарова.

После некоторого понижения уровня Каспия это подводное возвышение вышло на поверхность, как остатки древнего городища Сабаил, и один из Трехфакельных огней зажгли здесь – у морских ворот города.

«Булуд», вращаясь достиг точки обзора, откуда остров Наргиз был виден как на ладони. Мелик вспомнил, что когда-то вокруг названия этого острова шли горячие споры. Предложения заменить старое название – «Наргин» – на «Большая Зыря» – встретило возражения, под тем доводом, что на Каспии имелось несколько островов с названием «Зыря» и нововведение внесло бы путаницу. Потом кто-то вспомнил, что в рассказе давно позабытого писателя по имени Анар этот остров был назван Наргиз». (Этот самый Анар, по рассказам старожилов, возглав­лял существовавший тогда Союз писателей, а впоследствии до конца дней проработал кондуктором маршрутного автобуса , Сураханы-Азизбеков).

Короче, остановили выбор на этом названии, близком по звучанию старому еще и потому, что здесь ежегодно проводится праздник цветов. Теперь остров Наргиз стал одним из излюбленных мест отдыха и развлечений на Каспии. Против такой метаморфозы в свое время также звучали возражения, связанные с недоброй репутацией острова в советскую эпоху, когда здесь, по достоверным свидетельствам, совершались расстрелы безвинных людей, а трупы бросали в море... Именно потому на том острове воздвигли памятник жертвам репрессий. Оппоненты приводили противоположный довод: эти люди пали жертвами советской инквизиции именно потому, что мечтали видеть свой народ свободным и счастливым. И если их потомки, взрослые и дети будут приезжать сюда отдыхать и развлекаться, это явится воплощением их заветной мечты и возрадует души убиенных и загубленных... Словом, предложение было принято, и на преобразившийся остров хлынули потоки людей, особенно, в весенние и летние месяцы, катера, теплоходы привозили сюда тысячи людей, детей и взрослых. Гигантское «Чертово колесо», сооруженное здесь, было видно на всю бухту, с Приморского бульвара и, конечно, с ресторана «Булуд» на телебашне. Строи­тели раскрасили «колесо» в семь цветов радуги. И полколеса при взгляде с берега оставалось за рельефом острова; видимая дуга казалась радугой, повисшей над ним; а с кабин «колеса», взмы­вавших ввысь, взору катающихся представала карта Азербайд­жана, воссозданная пестрядью несметных цветов на разровнен­ной поверхности. Здесь до утра действовали развлекательные центры «Тысяча и одна ночь», «Омар Хайям», «Бахлул Даненде», предлагавшие посетителям интересные шоу, концерты; в подводном ресторане можно было вкусить не только дары Каспия и Куры, но и с разных уголков мирового океана.

В траурные дни, разумеется, все развлекательные центры на острове закрывались; прибывающие на остров различные делегации посещали монумент Жертвам репрессий, возлагали венки, хранили минуту молчания; бросали в море цветы – в поминовение погибших.

Между берегом и островом сновали морские трамваи с «аппетитными» названиями, «Гызыл-балыг», «Белуга», «Шамайка» и т.п., шустрые такси-катера, моторные и гребные лодки, парусники, сдаваемые в аренду. Конечно, попадались и личные яхты, базировавшиеся на Баиловском мысе, при яхт-клубе, впечатлявшие фантазией своих создателей и дизайнеров. Но самым красивым и грандиозным плавсредством на этом маршруте была бригантина «Хазар», с кафе на палубе и рестора­ном в салоне.

Тем временем «Булуд» продвинулся по дуге еще на несколько градусов, и взору посетителей предстало Баиловсксе нагорье, на высшей точке которого вырос отель, решенный е форме старинной твердыни – «Ченлибель». На верхней площадке этой крепости возвышалась фигура легендарного Кёроглу на своем боевом коне Гыр-ате.

Ожили и другие острова апшеронского архипелага: выросли здравницы, появились ухоженные пляжи, дома отдыха; туда пролегли новые судоходные маршруты; более того, на судах можно было добраться от Баку до Сальян, а оттуда по Куре до Евлаха; от Сабирабада туристы могли продолжить круиз и но реке Араз[[65]](#footnote-65). Каботажное плавание охватило Астрахань. Энзели, Махачкалу, казахстанские и туркменские порты – на этих маршрутах курсировали лайнеры «Деде Горгуд», «Низами». Работы хватало и морвокзалу, и Баиловской пристани, и причалу на Приморском бульваре у каспийского музея-аквариума. Музей расположился на ярусах гигантской плавучей буровой установ­ки, отслужившей свой срок и пришвартованной к пирсу; он наглядно повествовал об истории моря, о мореходстве, рыбном промысле, морской нефтедобыче; экспонаты дополнялись сферическим аквариумом из высокопрочного стекла.

«Булуд» позволял рассмотреть бывшую бухту Ильича, где давно дожили свой век допотопные буровые, выкачавшие всю нефть. Лес ржавых вышек сменился «Диснейстаном», – как догадывается читатель, здесь не обошлось без американского опыта и технических ухищрений; что касается названия, то азербайджанской стороне пришлось вести долгие прения с заокеанскими партнерами. Чтобы отстоять национальную окраску названия, а главное, пополнить ряды диснеевских персо­нажей местными сказочными «кадрами» – Джиртданом, Дивами-чудищами, пери, волшебниками-дервишами, Старушонкой-кувшиноглазкой, Ха-ха-ханым, источающей цветы из хохочущих уст, Охотником Пиримом, Армуданбеем и прочими забавными электронными диковинками, выкидывающими всякие смешные штучки и строящими гримасы на потеху и радость детворе.

Отсюда тянулась канатная дорога на гору «Горгуд», зеленый склон которой украсил ресторан «Золотой шатер», а окрест раскинулись стилизованные алачиги, шалаши, юрты одноименного отеля со всеми удобствами цивилизации. На склоне со стороны Шиховского пляжа, в «Белом шатре» расположился Театр дастана, также окруженный атрибутами древнего становья. Здесь же детвору забавлял мифический персонаж дастана – Тепегёз[[66]](#footnote-66), оби­тающий в пещере, в отличие от прототипа, управляемый электроникой. Хотя появление чудища поначалу повергало маленьких зрителей в замешательство и страх, но его дальней­шие ужимки и выходки вызывали веселый смех.

По мере вращения «Булуда» все лучше можно было рассмотреть вершину горы «Горгуд», где проступали силуэты гигантского мемориального комплекса «Деде Горгуд», состояще­го из пяти сюжетных композиций, – это был сам вещий Праотец Горгуд с копузом в руках; доблестный Салур Казан на боевом коне преследующий врагов; гордая Бурла-хатун в окружении сорока тонкостанных девушек, могучий Гараджа-чобан, вырывающий с корнем вековое дерево, к которому был привязан врагами и, наконец, Бамсы Бейрек с Бану-чичек.

«Булуд» медленно описывал круг, и в воображении Мелика оживали места, которые отсюда, с телебашни, не видать, но которые он обошел пядь за пядью; морские трамваи, отчалив от Сангачал, пройдя через причалы Карадага, Шихово, Биби-Эйбата, Баилово, сделав остановку на центральной городской пристани, миновали Ахмедлы, Гюнешли, Зых, Говсаны, Туркяны и завершали маршрут у 100-й буровой на Шаховой косе. Эта сотая буровая, уже давно законсервированная, стала тоже достопримечательностью; туристы, поднимаясь в лифте или по трапам на верхотуру вышки, могли созерцать всю бухту и Апшерон, вооружившись биноклями. Вскоре морские трамваи, говорят, продлят свой путь до северных поселков полуострова, а оттуда – до Сумгаита и Джората...

Мелик мысленно представил вулканические сопки Локбатана, Чеил-дага, перенесся к живописному приволью заповедника «Джейран-батан», – он знал, что в этот празднично день там в специально отведенных местах устраиваются пикники; задымят мангалы с шампурами, источая дразнящий запах шашлыков, в тендирах – земляных печах зарумянится хлеб-лаваш; музыка, песни, веселье...

«Размечтался о шашлыках... – усмехнулся он про себя. – Обойдись пока хлебом с сыром и поторапливайся...».

«Булуд» продолжал вращение. Перед глазами проплыли городские кварталы, высотки, а вот и его небоскреб, тридцатиэтажка; и новые великаны в массиве Гюнешли. А вот зеленая маслиновая роща на Зыхе; вдалеке – гора Гачаглар, где темной точечкой виднеется пещера Разина...

«Булуд» совершил полный круг. Мелик вновь задержал взгляд на площади Азадлыг, замкнутой громадой Дворца Огней.

Вся площадь была выложена цветными мозаичными плитами, воссоздающими в тысячекратном увеличении орнамент знаменитого ковра «Шейх Сафи». Напротив площади виднелся многовековой патриарх – Хан-чинары, привезенный из колыбели независимости современного Азербайджана – Гянджи.

По обе стороны – две чинары – саженцы. С легкой руки публицистов эту молодую чету чинар назвали символами Свободы и Ответственности, – два чувства, обозначающие непременные условия прочности, вечного существования Независимости.

Пройдут годы, и молодые чинары пойдут в рост и сравняются с Хан-чинары, символической точкой отсчета истории независимости.

Не случайно здесь, под Хан-чинары, – вспомнил Мелик, – остолбили дорожный указатель, показывающий расстояния до самых отдаленных пунктов, шесть стрелок указывали протяженность пути – в километрах и морских милях – на восток – до Шахдениз, на север – до Дербента, на северо-запад – до Сыныг кёрпю[[67]](#footnote-67) , на запад – до Садарака, на юго-запад – до Урмии, на юг – до Зенджана.

На фасаде Дворца Огней, там, где когда-то возвышалась статуя Ленина, выросла фигура смельчака, который в девяностых годах, когда площадь бушевала митингами, вскарабкался по отвесной стене и водрузил трехцветное знамя на фасаде, – изваяние было выполнено по известной фотографии из хроники тех дней. Смельчак «окаменел», а стяг был живой, настоящий.

Здесь же были начертаны знаменитые пророческие слова Мамед Эмина Расулзаде: «Сгяг, однажды подъятый, уже не падет».

После основательной реконструкции Дворца Огней национальный парламент – Милли Меджлис – размещался здесь; в зале заседаний, наряду с государственным флагом и гербом, были запечатлены основные положения Конституции:

Объединенная Азербайджанская Республика – единое, свободное, демократическое, светское государство азерийско- тюркской нации. Все граждане Азербайджанской Республики, независимо от расы, национальности, языка, вероисповедания, социального положения, сословной принадлежности и пола, равноправны. Азербайджан – неотъемлемая часть великого тюркского мира. Азербайджанский народ – собрат всех тюркс­ких народов и всех национальных меньшинств, проживающих в стране. Азербайджан привержен принципам мирного сосу­ществования, дружбы со всеми народами и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами мира.

Конечно, эти тезисы стали причиной определенных дис­куссий и дебатов, но были приняты в результате консенсуса всех партий и независимых депутатов, представленных в Милли Меджлисе. Левые и правые партии смогли прийти к соглашению еще в одном важном вопросе и внесли совместное предложение в правительство. Правительство поддержало обращение депута­тов, и теперь в Пантеоне, сооруженном в центре столицы, сим­воле национального примирения, – покоились останки четыре-великих государственных деятелей – Мамед-Эмина Расулзаде, Алимардан-бека Топчибашева, Фатали-хана Хойского и Наримана Нариманова, привезенные на родину из Анкары, Парижа, Тбилиси и Москвы по договоренности с властями соответствующих стран. А прах Сеид Джафара Пишевари[[68]](#footnote-68) был перевезен из Баку в Тебриз и похоронен в благолепной усыпальнице.

А как Физули, обретший упокой в мечети имама Гусейна в Кербеле? Насими, казненный средневековыми фанатиками в сирийском городе Алеппо?.. Возвращение их останков на историческую родину натолкнулось на ряд трудностей, но все же их удалось преодолеть; на бакинской, азербайджанской земле обрел упокой и Мирза Фатали, чьи останки были привезены из Тбилиси.

Усыпальницы-тюрбе Насими и Физули решенные в тради­циях восточного зодчества, вознеслись в нагорной части города, рядом с ними был сооружен в стиле западного модерна мавзолей Мирзы Фатали, хотя такое архитектурное решение и вызвало продолжительные дебаты. Но со временем три соседствующие усыпальницы стали привычными для горожан символами народ­ной памяти о великих сынах отечества.

Мелик перевел взгляд с нагорья на центр столицы, где виднелся универмаг «Дейирман», разместившийся в здании бывшей мельницы. Перед ним стояли импровизированные ветряки с разноцветными лопастями, – воспоминание о старом Апшероне. «Дейирман», один из крупнейших универмагов в столице, конкурировал с супермаркетом «Караван». Над «Карава­ем» по ночам голографическим эффектом воссоздавался образ мерно движущегося каравана; очевидно, экзотические ветряки «Дейирмана» были ответом на «голографический» вызов конкурента.

Поближе от «Дейирмана» – сад памяти о 18 марта 1918 года, – некогда именовавшийся садом 26-ти. Дата напоминала о жертвах побоища, учиненного здесь дашнакскими головорезами над мирным азербайджанским населением. Монумент скорби и ежечасно звучавший «Реквием» Кара Караева отныне обрели свой истинный исторический адрес. Статуи нескольких личностей, считавшихся революционерами и отличавшихся особой жестокостью, чудом уцелели в постсоветское время и позднее избегли уничтожения, вопреки желанию многих. Эти увековеченные в мраморе реликты собрали во дворе здания бывшего КГБ – ныне музея жертв репрессий. Здесь, куда эти увековеченные персоны посылали людей на верную погибель, они сами, пусть и в облике изваяний, отбывали вечное тюремное заключение...

Мелик взглянул на часы. Полпервого. Оставался один час двенадцать минут до смены зимнего календаря весенним – начала нового года по древнему летоисчислению.

Официант отметил его кредитную карточку; попрощав­шись, он вошел в кабину лифта, спустился в партер, сел в ваго­нетку подземки и, доехав до шахты «Чагдаша», другим лифтом поднялся на седьмой этаж.

Его постоянный помреж Эрхан был на месте. Поздоро­вавшись, поздравили друг друга с праздником. Он сел за стол и занялся рассматриванием мониторов, на экранах которых оживали различные виды на протяжении всей дороги от Янар-дага[[69]](#footnote-69) до Девичьей башни.

– А где Янар-даг? – он повернулся к помощнику.

– Во-от, на первом мониторе.

– Это же мотель «Янар-даг». На что мне мотель! Ты забыл, что главный образ – огни, вырывающиеся из-под земли.

– Есть и огни, – отозвался Эрхан. – На резервном мониторе. Я-то думал, начнем с мотеля, – смущенно добавил помреж.

Мелик постарался смягчить замечание шуткой:

– Наверно, твое воображение влекут цыганские пляски в мотеле.

– В мотеле цыганских танцев не увидишь. Там ритуальные танцы Огня. А цыгане выступают в каравансарае «Гарачи»[[70]](#footnote-70).

– А где этот «Гарачи»?

– В Гобустане. Чуть выше заповедника древних-захоронений «Софи Гамид». Вы не бывали там?

– Нет. Такие изыски – про вас, молодых, – ответил Мелик и подумал: «Надо бы побывать». – В Гобустане, говоришь?

– Да.

В последний раз он ездил в Гобустан минувшим летом – на представление свето-звуко-музыки под отрытом небом, народу масса, иголке негде упасть, экзотика, феерия, люди прибывали на морских трамваях, в автобусах, легковушках, даже вертолетах; а интуристы тешились ездой по древней караванной дороге на фаэтонах, в паланкинах, которые тащили верблюды.

– А вот и огни, – сказал помреж.

На экране первого монитора заплясали голубоватые язычки пламени, вырывавшиеся из-под земли.

– Пусть чуть укрупнят план.

Через десять, нет, уже через восемь минут юноша в белой чохе, в белой папахе на белом коне, обязательно по имени Новруз (в этом году сподобились выискать на эту роль гонца даже и с фамилией как нельзя подходящей – Байрамлы![[71]](#footnote-71)) должен был зажечь факел от огней Янар-дага и, мчась во весь опор, повезти огонь до Баку, до самой Девичьей башни, спешиться, подняться на верхотуру и возжечь Большой Огонь. Причем точь- в-точь в миг «смены года».

Мелик взглянул на хронометраж в электронном блокноте.

– Приготовиться! Начали!

– Готовы, – отозвался помреж. – Мелик-бек, вы в эфире.

Мелик:

– Здравствуйте, дорогие телезрители! С праздником вас! Пусть этот прекрасный праздник принесет вам радость, и пусть все дни, все годы вашей жизни будут светлы и благословенны. Пусть наступающий год, как и год уходящий, будет счастливым для всех нас, нашего народа, нашего государства. Вы сможете с помощью канала «Чагдаш» пережить все волнующие и радостные мгновения этого светлого праздника. Сейчас наши камеры показывают кадры с Янар-дага. Эти природные негасимые огни, восходящиеиз лона нашей земли, предопределили имя нашего Отечества – Страна Огней. И сейчас огонь, перенятый у самой земли, будет доставлен в Баку, к Девичьей башне – гордости нашей истории... – «Похоже, получается несколько высокопарно», подумал Мелик и сбавил тон: – Зажженный здесь факел доставит в столицу молодой гонец по имени Новруз Байрамлы...

Он нажал на кнопку, и диктор за кадром озвучил короткие сведения о всаднике-факельщике, одновременно появившегося на экране: родился тогда-то, в таком-то городе, образование, семейное положение и т.д. Отметили: имярек мастер спорта по верховой езде.

Хотя Мелик накануне на компьютере просмотрел различ­ные снимки Новруза, но сейчас, на мониторе вестник Весны выглядел еще пригожее и колоритнее – осанка, стать, брови вра­злет, молодецкие усы и белая одежда были очень к лицу этому двадцатитрехлетнему удальцу. И конь-огонь, карабахских кровей! Точно в назначенное время вестник Весны подъехал к огням, исторгавшимися из-под земли, поднес факел, который тут же вспыхнул и понесся во весь опор...

Камеры вдоль дороги прослеживали стремительную скачку – приближение Новруза Байрамлы. Мелик комментировал это захватывающее зрелище, расцвечивая свой рассказ экскурсами в старину.

Вестник на белом коне, проскакав по склону горы Шубаны, проследовал по древней Караванной дороге и устремился к Волчьим воротам. На экране монитора возникло изваяние Боз-гурда;[[72]](#footnote-72) посвятив несведущую часть публики в смысл и значение древнетюркского тотема, режиссер поручил направить камеры на мемориал «15 эйлюля».

– Дорогие телезрители! Эти места, конечно, вам хорошо «знакомы. Мы неоднократно вели передачи с этого мемориала. Наверное, вам приходилось бывать здесь и на экскурсиях. 15 сентября 1918 года, – вы знаете, что по-турецки «сентябрь» назы­вают «эйлюль» – Исламская Кавказская Армия именно отсюда вошла в Баку и, сражаясь плечом к плечу с бойцами Азербайд­жанской Армии, освободила город от врагов. Сейчас на этом ме­мориале, как вам известно, сооружена диорама, воссоздающая эпизоды сражений за Баку. В диораме запечатлены образы ини­циатора этого победного похода Энвер-паши и командующих-победителей – Нури-паши и Мурсал-паши...

Проспекты, начинающиеся отсюда, названы именами этих славных военачальников. Именно по этим проспектам пройдет путь Новруза. Вот он, на белом коне, скачет к Волчьим воротам. Уже миновал их... Направился по проспекту Мурсал-паши к площади «15 эйлюля»...

Мелик знал, что в народе эту площадь называют площадью Трех пашей или площадью Мехметчика[[73]](#footnote-73), – во избежание пута­ницы, возникающей из-за созвучия слов «июль» и «эйлюль» (сентябрь).

Мелик поочередно нажимал кнопки пульта дистанционного управления: «Поглядим, что показывают другие каналы» АЗРТ – официальные поздравления; «Туран»: праздничные видеорепор­тажи из Ташкента, Казани, Ашхабада; «Араз» – из Тебриза; «Хилал»: о религиозных корнях празднества; «Улдуз»: репортаж о вестнике Весны, перемежающийся с рекламой и клипами.

Вестник уже спускался к площади Азнефти.

– Возьми крупным планом вышку на площади! – скоман­довал режиссер. – Потом, отдельно: станок-качалку!

И сам – в эфир:

– ...Сейчас вы видите символическую вышку на площади Азнефти. Непрекращающаяся работа качалки говорит о неистощимости подземных и морских кладовых черного золота, доблестном труде наших славных нефтяников. Сейчас Вестник-Новруз достигнет площади и, совершив круг, устремится к Девичьей башне по проспекту Хазар. Вы видите: сейчас движение транспорта по всему проспекту приостановлено. Тысячи людей на Приморском бульваре и с противоположной стороны стоят в нетерпеливом ожидании Вестника на белом гоне... – Уйдя из эфира, повернулся к помрежу: – Девичью башню – общим планом. Потом – панораму внизу. – Снова – в эфир: – Сколь щедра наша природа, столь же богато наше духовное и культурное наследие... Перед вами реликвия седой старины – древняя Девичья башня. Вот сорок стройных нарядных девушек с «сэмэни»[[74]](#footnote-74), цветными свечками, праздничными «хонча»[[75]](#footnote-75)в руках, придающими особое очарование торжеству... А вот из стайки красавиц выходит в зеленом платье сама Бахар-хатун, Весна-красавица. Новруз спешился у Девичьей башни... Пьет шербет из преподнесенного Бахар-хатун кувшина... И, воздев пылающий факел, входит вовнутрь твердыни...

– Показать восхождение по лестнице? Там тоже установ­лены камеры, – спросил помреж.

– Нет, – отозвался Мелик. – Кадры из полумрака не будут смотреться... Людей покажите, народ. А после – верхнюю пло­щадку. Будет эффектно: вдруг – раз! – и взметнулся факел. И Вестник на верхотуре. А после – наш сюрприз, – многозначи­тельно добавил он.

Сюрприз заключался в нехитром трюке, придуманном Меликом. Годом раньше он разослал операторов заснять момент возжигания огня на празднике на древних твердынях Апшерона – в Нардаране, Рамана, Мардакянах и, разумеется, на Девичьей башне; запаслись видеозаписями этого же ритуала в дербентской крепости Нарын-кала, крепости Шамиля в Илису, башне «Гяларсан-гёрярсан»[[76]](#footnote-76) в Шеки, на Чираг-кала в Дивичи, в кара­бахском Аскеране, нахичеванской Алындже, шемахинском ГюЛистане, лахичском Нияле, в крепостях Базз и Эрк в Южном Азербайджане. Задумка Мелика: в один и тот же миг взору телезрителей предстанут зажигающиеся праздничные огни во всем этом огромном пространстве, на древних твердынях исторической родины.

Хотя в таком монтаже была толика хроникального фор­мального несоответствия показываемых кадров, по существу же никто не мог упрекнуть их в отступлении от правды, – все это происходило и происходит сейчас: «То-то будет «фитиль» другим каналам», – усмехнулся Мелик.

Большой факел запылал.

Год сдал свои полномочия. И год вступил в свои права.

И грянул праздник. Мелик решил не «разбрасываться» по разным уголкам и районам города, а сосредоточить экран на происходящем в древней цитадели – Ичери-шехер.

За Девичьей башней, на Базарной площади являют свое искусство и сноровку канатоходцы. В восстановленной резиден­ции бакинских ханов – музее старого Баку, – восковые фигуры дервиша, амбала, гочи[[77]](#footnote-77), а также реликты старых времен – конка, фаэтон, «газалах» (одноконная повозка), рисунки и гравюры средневековых европейских путешественников, художников, запечатлевших Баку, первые фотографии города, карикатуры Азима Азимзаде... На площади перед музеем потешали бакин­цев Кечал и Коса – фольклорные персонажи. Через крепостные ворота народ валом валил, спеша лицезреть веселое действо и игрища.

Во Дворце Ширваншахов, в старых банных строениях, застеленных коврами, состязаются силачи, борются на поясах, кипят поединки на мечах...

У туристов глаза разбегаются: что предпочесть? Заглянуть ли в кондитерскую с восточными сладостями, – у входа поро­лоновый муляж Мешади Ибада, – или в сувенирную лавку, где видится фигура Гаджи Гара[[78]](#footnote-78)? Или податься в мейхану «Дервиш»?

– Дальше веди программу сам, – обратился Мелик к помощнику. – Я должен мчаться в Туркян. Еще раз с праздником. Удачи!

Завел мотор, выехал на проспект «Хазар», где уже возоб­новилось движение транспорта, но заторы, давка, пробился к площади Азадлыг – в Черный город, перевел дух, здесь поток машин чуть поредел... Извлек кассету из бардачка, вставил в магнитофон, включил: «Чакона» Баха, божественная музыка, Мелик обожал ее.

Остался позади университетский городок – Говсаны, справа простерлась голубая гладь бухты; теперь на магнитофоне зазву­чало торжественно-раздумчивое, окрашенное печалью «Ада­жио» Альбиньони.

В чем тайна сокровенной, покоряющей силы этих гениев? Что делает их такими близкими, родными? – думал он. Их разде­ляют от нас дистанция столетий, все было тогда другим. Совершенно другим. Эпоха, среда, нравы, обычаи и традиции, этикет, манера поведения... Но поразительно, как эти далекие чудодеи в камзолах, панталонах, с жабо и напудренными пари­ками – Бах, Альбиньони, Вивальди, Корелли, Моцарт... пред­видели, предугадали лад его, Мелика, души, как ярко, вырази­тельно озвучили его переживания, настроение, порывы и чаянья!.. Эти старинные волшебники словно прочли его сердце, самые сокровенные движения души человека XXI века, азербайджанца по имени Мелик Мамедли, и облекли их в чарую­щие, дивные звуки! Разве это не чудо?! Чудо далеких веков.

Ему пришло на ум: но ведь и то, что он может внимать этой музыке здесь, в своей машине, тоже чудо, чудо XXI века. Тонень­кая коричневая магнитная лента, свернутая в кассету; включил магнитофон, и рождаются звуки, льются мелодии, завораживаю­щие тебя... Современникам Баха и Моцарта, наверно, такое и не снилось.

Тихое дуновение моря струилось сквозь приоткрытое стекло дверцы, ласково гладя его волосы. Справа на обочине выросла надпись: «ТЮРКЯН». Город Тюркян, выросший на территории бывшего поселка, стал своего рода Ассамблеей тюркского мира – здесь размещались многие общетюркскне экономические, культурные, финансовые структуры, СМИ, посольства и постпредства суверенных тюркских государств...

У въезда в город магистраль раздваивалась. Верхняя трасса вела к площади Религий, – здесь возвышалась грандиозная мечеть Ахмеда Ясеви, построенная Турцией, рядом – маленькая церковь, возведенная для христиан-гагаузов, напротив – синагога для прихожан-караимов, буддийский храм – дар Тувы и якутское шаманское капище.

Поодаль от площади находился спорткомплекс «Манас» с открытыми и крытыми площадками для игр, плавательным бассейном. Отсюда начиналась зеленая полоса лесопарка Отюкян, опоясывавшего шоссе на тюрканский аэропорт, а другим концом окаймлявшая ярмарку Великого Шелкового пути близ аэропорта Бина. Лесопарк украшали всевозможные породы деревьев, привезенных со всех уголков тюркского мира и поса­женных на Апшероне, благо, что эти переселенцы прижились.

На ярмарке демонстрировались и продавались товары не только тюркских стран, но и со всех континентов планеты. Чего только здесь не было! От казахско-киргизской домбры до дагестанской бурки, от узбекских узорных халатов до туркменского ахалтекинского скакуна, от китайского фарфора до кашанских ковров... арабские пряности, японские татами, благоухающие сандаловые прутья из Индии, даже африканские ритуальные маски. Новейшие технологии Запада, Японии, Кореи поражали воображение. Ресторанов, кафе не счесть – «Арал», «Иссык-куль», «Алтай», «Мермере», «Агры-даг»; здесь можно было отведать и казахский бешбармак и узбекский плов, и турецкий «имамбайылды»... и еще много гастрономических изысков, испить и кумыс и, кажется, живую воду с райского родника. Все эти блага «прилетали», «приплывали», «приезжали» всеми видами транспорта. С международного аэропорта Бина лайнеры совершали рейсы во все концы света, а с тюрканского самолеты «Байконур» летали в столицы и крупные города «тюркского мира.

Мелик свернул от развилки направо и по улице Салавата Юлаева доехал до площади Орхон, представляющую собой огромный круг. Ровно в центре – десятикратно увеличенные копии древних Орхонских письмен – Большого и Малого «Гюльтекина» и «Тонугуг»; площадь обступали четыре здания – университет, театр, научный центр и библиотека; в Университете Кемаля Ататюрка готовили специалистов по этнографии, краеведению, истории, языку, литературы, географии и экономике всех тюркоязычных стран. На сцене театра имени Назыма Хикмета шли пьесы в исполнении гастролирующих коллективов разных стран. Сегодня вечером, как оповещали афиши, шел спектакль курдского театра – «Мохаммед Гази».

Научно-исследовательский центр, носящий имя Махмуда Гашгарлы, вел изыскания по совместной истории и совместным, общим литературным памятникам тюркских народов, готовил сводные и двусторонние словари, общетюркскую энциклопе­дию; здесь же работала комиссия по алфавитной, языковой и терминологической адаптации.

Библиотека имени Фараби стала сокровищницей тюрколо­гической литературы и рукописных источников, представляю­щих в микрофильмах, в компьютерных копиях с книг и текстов, хранящихся в крупнейших библиотеках Баку и Стамбула, Ташкента и Тегерана, Багдада и Каира, Москвы и Петербурга, Вашингтона и Нью-Йорка, Лондона и Парижа, Рима, Берлина, Вены, «Матенадарана»...

Мелик выехал с площади Орхон на бульвар Гуннов, где по одну сторону размещались дипломатические миссии двух десятков суверенных и автономных тюркских республик, а по другую – центры уйгурской, турецкой, чагатайской, туркменс­кой, казахско-киргизской, итиль-уральской и крымско-татарской культуры, носившие имена Юсифа Баласагунлу, Юниса Эмре, Алишера Навои, Махтумкули, Абая, Габдуллы Тукая и Исмаила Гаспринского. В двух соседствующих зданиях – очаге Зия Гёй-Алпа и клубе Султана Галиева собирались политики правого и левого направления, которые скрещивали копья в жарких спорах по различным вопросам.

А вот и площадь Огузов. В отличие от Орхонской площади, она была решена в форме квадрата, в духе Самаргандского ансамбля Эль-Регистан; стиль зодчества, орнамент фасадов, глазурь, геометрия – все напоминало Самарганд, Бухару, Хиву; площадь венчали два здания-близнеца – отель «Туран» и дворец «Эрконокон», третий угол занимал Тюркский музей, четвертая сторона, открытая, выходила к морю. Перед «Тураном» пестрели санджаги-знамена и вымпелы древнетюркских держав и государств; «Эрконокон», украшенный флагами современных тюркских государств, являлся своего рода «ЮНЕСКО» тюркского мира, сосредоточив в себе комиссии по экономике, культуре, науке, образованию, информации, здравоохранению, спорту... Здесь же разместились турбюро, авиагентства, спра­вочные службы, офисы СМИ.

Мелик подъехал к музею, вышел из машины и передал ключи служащему паркинга. Мельком глянув на афишу – «Выставка: сокровища тюркского мира 22 марта – 22 апреля», – предъявил журналистское удостоверение и вошел в музей. Народу – пруд пруди. Особенно густо в фойе, где экспонировался знаменитый ковер «Шейх Сафи». Мелик некогда лицезрел этот уникум в лондонском королевском музее Виктории и Альберта. Но, в отличие от британской экспозиции, с тусклым освещением, здесь ковер заиграл всеми красками и оттенками, залитый светом. «А может, это оттого, что вернулся на родину...» – подумал и тут же приструнил себя: – «Ну-ну, не впадай в пафос, господин Мамедли.... К тому же, для особого ликования нет причин, через месяц наш чудо-ковер опять улетит в заморский край...».

Шедевр вернулся на родину всего лишь на месяц после долгих переговоров с великобританской стороной, причем с солидной охраной. Строго охранялся и ковер «Пазыраг», считаю­щийся древнейшим в мире обветшалый, поблекший от времени, тоже под пуленепробиваемым стеклом. Так же, как экспонат из Казахстана – «Гызыл дойушчу» («Золотой воин»), как ватиканс­кие и дрезденские списки «Книги Праотца Горгуда». Целая толпа интуристов окружила древнюю карту «Пири-Раис», внимая объяснениям гидов на разных языках. Диву давались и заморские гости, и школьники: оказывается, этот Пири Раис задолго до открытия Колумба обозначил на карте континент, впоследствии названный Америкой!

«Можно сработать шикарную программу, – подумал Мелик, внося заметки в электронный блокнот. – Выкроить бы время».

Возвращался в Баку не по Южной приморской трассе, а по окружной дороге.

Наступали сумерки 22 марта – Дня весеннего равно­денствия. Только сейчас вспомнил: с утра ничего не ел. Придо­рожных закусочных, ресторанов – хоть отбавляй. Но его выбор был предопределен – ресторан «Бакинские ночи», что на Зыхе. Конечно, были рестораны покруче, с кухней посмачнее, были и экзотичные места. Но в парке «Лунные ночи», в ресторане «Бакинские ночи» привлекало не меню, а открывавшийся с веранды пейзаж. Любимый город представал ему обычно с большой высоты или с прибрежной «подковы», со стороны левого мыса. А отсюда – вид справа. Нечасто выпадала такая возможность. Он мог часами любоваться чарующими видами Баку, бухты, открывавшимися с этой точки.

Заказал еду, подкрепился, потягивая вино «кипчак». Уходить не хотелось. Погрузился в созерцание вечерней лампионии города. Светящийся поток машин, текущий по бульварам Хазар и Физули, разноцветные огни кораблей, стоящих на рейде, парусников, снующих по бухте, мерцающее ожерелье Чертова колеса на острове Наргиз... По другую сторону «подковы», словно из легендарных снов, восходили над морской гладью белокаменный Сабаильский замок, освещенный лучами прожекторов с верхотуры отеля-крепости «Ченлибель». Замок казался фантастическим видением. «Скоро там начнется вечер поэзии... Не слабо ли нашим служителям муз передать это очарование?..».

Любопытно: на иных катерах, снующих по бухте, стали вдруг зажигаться факелы. «Это что-то новое, – подумал Мелик. – раньше такого не было. Может, начитались кавказских впечатлений Дюма-отца и решили воссоздать давнюю картину бухты?.. Во всяком случае, находка удачная. Молодцы!».

Артиллерийский залп заставил его вздрогнуть, хотя он и ждал салюта. Из сторожевиков «Бабек» и «Саттархан» в небе взвились ракеты, рассыпавшие радужные ореолы, искрометные букеты, которые озаряли темень, очерчивая причудливые узоры

Но странное дело, среди всей этой феерии, пестрых празд­ничных картин, веселой, бравурной музыки его вдруг охватила безотчетная грусть. Что было тому причиной? Некое внушение голоса свыше, что ли, предостережение о преходящести земного бытия, о конечности отпущенного срока? В последние годы благодаря неслыханным достижениям медицины, в Азербайджане, как и во всех передовых странах мира, средняя продолжительность жизни колебалась в пределах 70-80 лет. Мелик имел основания полагать, что впереди еще лет двадцать – двад­цать пять лет жизни. Но ведь этот предположительный отрезок времени имел свои пределы, это тоже была определенная пограничная черта.

Сызмала проникшись верой в Бога-Аллаха, он верил и в существование потусторонней жизни. Рассуждал: может, тот, запредельный мир краше, благополучнее этого, земного мира? Пусть так. Но, во всяком случае, человек, даже вынужденный переживать тяжкие дни, лихолетья на этом свете, даже обреченный на страдания на этой юдоли скорбей, не хочет распрощаться с жизнью. А что говорить о человеке, который беззаботно живет в благополучной стране?..

«Беззаботно...». Но так ли уж беззаботна, безмятежна его жизнь, как у других сограждан? Конечно же, нет. Избавиться от социальных бед, жилищно-бытовых проблем, материальных, финансовых тягот, – это еще не значит – жить беззаботно. Ника­кой общественный строй, самое справедливое общество, самые распрекрасные условия не могут оградить и застраховать чело­века от тоски одиночества, безответной любви, мук ревности, горечи несбывшихся мечтаний и надежд, боли утрат близких...

Да, боли утрат... Эта боль угнездилась в его душе, точит исподволь, через многие годы, когда не стало отца, мамы, спустя год, после того, как похоронили двоюродную сестру...

Конечно, и он сам, и весь народ могли подвергнуться великим бедствиям, когда давнишние политические противо­стояния, обернувшиеся смертными «разборками», привели страну на грань гражданской войны, – осуществись угрозы внутрен­них сепаратистских сил и агрессии извне, события могли принять совершенно другой оборот. Наверное, он, Мелик, сейчас не находился бы здесь, в парке «Лунные ночи», в Баку, в Азербайджане, а может, его и вовсе не было бы на свете... К великому счастью, все опасности были отражены, предотвращены, извеч­ный инстинкт самосохранения нации победил властолюбивые страсти и амбиции, и начавшееся с той поры, сперва медленное, постепенно наращивающее темпы развитие, возрождение при­шло в конечном итоге к сегодняшнему надежному положению.

Ныне в Азербайджане нет безработных, бедных граждан, злосчастных изгоев. Нет несчастных, но все ли они счастливы? В том-то и дело. Когда несчастен народ, несчастливы и все сыны и дочери этого народа, но когда народ достигает счастья и процветания, не все и не каждый из сограждан может сказать: «Я – счастливый» Хотя, естественно, он спокоен за судьбу своей страны, государства. Он рад этому, он даже социально счастлив, но в личном измерении каждый сам по себе когда-нибудь не­избежно оказывается лицом к лицу с Одиночеством, с Предназ­наченным Расставанием, в конце концов, со Смертью. Разве не так?

Что за мрачные мысли лезут в голову – в такой праздничный день? Нашел время философствовать. Посмотри на город, какая красотища, какое очарование!

Гигантские фигуры Вещего Горгуда, легендарного Кёроглу, видение Сабаила, восставшего из-под вод Каспия – в фосфори­ческом свете прожекторов, Девичья башня с пылающим светиль­ником Новруза, расцвеченные корабли, катера, яхты в бухте, Чертово колесо на острове Наргиз, виртуальный верблюжий караван, мерно плывущий в пространстве над универмагом, факелы над Дворцом Огней... – ради того, чтобы увидеть весь этот праздник жизни, право же, стоило явиться в мир, стоило жить...

И если уж настанет пора ухода, то стоит ли делать из этого трагедию, стоит ли страшиться, если ты жил, как человек, трудился праведно и уходишь, как человек?..

Все мы уйдем, но останется Девичья башня, останутся скалы Гобустана с древними рисунками, останутся каменные узкие улочки Ичери-шехера, останутся Шекспир и Физули, Бах и мугам «Сегях»...

Но как же интересно знать, что будет, что станется, как станется после нас? Вспомнились давно читанные стихи:

*Знать бы, кто над Хазаром*

*Затеплит новые огни?*

*Знать бы, кто споет*

*Новые песни,*

*На языке каком,*

*Когда мы уйдем?..*

Тревоги поэта о будущем родины оказались напрасны. Огни ад Хазаром вновь зажигаются нами. И песни новые поем на своем языке.

Быть может, Мелику вера в Аллаха передалась по наитию детского сердца, через бабушкины моления и благословения. Он, по сути, не был истовым богомольцем, никогда не отправлял религиозные обряды, не совершал намаз, не соблюдал мусуль­манский пост – орудж, и совершить паломничество в святые места не сподобился. При всем том, ежевечерне, перед сном грядущим он нашептывал придуманную им самим и порой даже озвучиваемую в телевизионных передачах молитву.

И сейчас, здесь, на веранде «Бакинских ночей» в таинст­венных кущах парка «Лунные ночи», в теплом вечернем свечении неповторимого, но ежегодно повторяющегося праздника он про себя нашептывал свою молитву: «О, Господи, благодарствую за этот наш день. Не обдели и впредь этим счастьем – народ мой, друзей моих и очаг мой. Пусть худший из дней наших будет таким. Пусть никто из нас никогда не воззовет в отчаяньи: Как быть мне! Что поделать мне! Вдосталь лиха хлебнули мы на веку, пережили вдосталь невзгод, много раз оказывались на краю смерти-погибели. Но выстояли, выдюжили, выжили, и трудами праведными вырвались к светлым дням, добились благоденствия. Пусть оно продлится на веки вечные, Боже великий. Аминь».

СКАЗКА ВТОРАЯ [[79]](#footnote-79)

*И вдруг он увидел: надвигаются, дерясь и сшибаясь друг с другом черный и белый овен. И тотчас изловчился и сел верхом на белого овна. Но белый овен скинул его на спину черного овна. И понес его черный овен в царство мрака…*

**Сказка о Мелик-Мамеде**

I

Мелика Мамедли разбудили звуки азана. Он медленно раск­рыл отяжелевшие веки, глянул в окно: еще темно. Раздался стук в дверь.

– Кто там?

Голос из-за двери:

– Вставайте, ага[[80]](#footnote-80). Пора утреннего намаза.

В воображении ожил номер отеля, где он остановился минувшей ночью и сразу забылся сном, – кровать, шкаф, стол, стульев не было, старая истоптанная циновка на полу и две подушечки-мутакки.

Голос из-за двери:

– Ага, место совершения намаза – на первом этаже, в гости­ничной молельне.

Протянув руку, он включил ночник. В углу номера – указатель направления Киблэ и молитвенный коврик.

– Я совершу намаз в номере, – сказал Мелик.

– Хорошо, – отозвался голос за дверью.

Он поднялся и подошел к окну. Еще не рассвело. Заглянул в карманный календарь: 22 марта, день весеннего равноденствия. Вспомнил, что некогда, в стародавние времена этот день отмечался как праздник Новруз. Вздохнул глубоко. Умылся у рукомойника, устроенного прямо в комнате, глянул в тусклое зеркало. Показалось, борода за день заметно отросла. «Там вам лучше фигурировать с бородой», – вспомнил он напутствие Эрхана.

Выйти из номера не спешил: пусть думают, что занят совер­шением намаза. С момента, как он вступил в отель, каждый его шаг был под наблюдением. Он это знал. Но, наверно, техни­ческий уровень у хозяев был не настолько высок, чтобы уста­новить приборы слежения и внутри номера.

Звуки азана разносились по всей зоне.

Зона! Он почувствовал, как кольнуло в сердце. Город, где он родился и вырос, учился, трудился, любил и был любимым, построил семью, стал отцом, – теперь стал Зоной. Вернее, зона­ми, еще точнее, тремя. Баку был расчленен на зоны. Каждая со своим политическим строем. В мире их именовали попросту зонами, СМИ употребляли скупые обозначения – Первая, Вторая, Третья Зона; но были и официальные названия – Первая она значилась как Бехишти[[81]](#footnote-81) – Бади-Кубе, Вторая – Бакинская коммуна, Третья – BAKU-S1TI. Несколько лет назад, командиро­ванный в Стамбул в качестве тележурналиста, Мелик Мамедли и вообразить не мог, что командировка затянется так долго, на многие годы, и ему, как и миллионам сонародников, оставшихся на чужбине, путь на родину будет заказан; здесь произойдут столь ужасные события, что омрачат жизнь Мелику, как и любому истинному азербайджанцу.

Теперь, вернувшись по прошествии многих лет, представляя, сколь тягостным будет это возвращение, пережитое вчера превзошло самые худшие его предположения.

Покинув Баку, он был вынужден обретаться в Турции. И там поначалу пришлось намыкаться. Материальные трудности сами по себе, – горше всего неведение об оставшейся в Азербайджане семье, невозможность получить хоть какую весточку о ней, пути-дороги были перекрыты, прерваны даже почтовое, телеграфное сообщение; после тех ужасных дней он не знал, живы ли, нет ли жена Айпери, сын Бейрек, дочь Бурла... Единственная радость последних лет – добрая весть, которую узнал от Эрхана – единственного знакомца, сумевшего выбраться из Азербайджана и прибыть в Турцию. Какими путями он добрался – Мелик не знал, да, по правде говоря, и не допыты­вался. Можно было предположить, что он связан с секретными службами какой-то из Зон. Иначе как было добраться Оттуда Сюда? У кого на службе состоял Эрхан – у исламистов ли, коммунистов ли, демократов ли, – какое это имело значение в соотнесении с доброй вестью, которую он принес?

Оказалось, что и жена, и дети смогли уцелеть, выжить в те роковые, страшные дни. Какой еще большей радости было ждать в такую злосчастную пору?

Эрхан передал ему адреса, номера телефонов всех троих. Мелика озадачило то, что семья его жила по разным адресам, врозь. Эрхан грустно улыбнулся:

– Не только по разным адресам – по разным зонам...

В старые добрые времена он работал при Мелике, под его началом. Наверняка, Мелик сделал своему бывшему подо­печному немало хорошего и благого, следуя завету: «Отпусти пойманную рыбу в море, рыба не поймет, Бог поймет». Он не обременял память перечнем своих благодеяний. Но сейчас, столкнувшись с редким человеческим качеством – благодарной памятливостью, он был приятно удивлен. Вполне вероятно, что Эрхан прибыл в Стамбул с определенным заданием, но Мелика, по его словам разыскал по собственной инициативе, чтоб сообщить добрую весть. «Узнают, что я встретился с вами, – шкуру с меня сдерут», – сказал он. Кого он имел в виду? Клерикалов? Коммунистов? Демократов? Мелик не спрашивал. Во-первых, Эрхан не стал бы отчитываться. Во-вторых, Мелик потерял всякий интерес к таким материям. После всех потрясений и катаклизмов не осталось ничего, что бы связывал его с суетным миром. Он знал о своем недуге. Знал и о том что ему осталось жить считанные дни. Одно только желание, одна мечта была у него – хоть на закате дней свидеться с семьей.

Эрхан словно прочел его мысли.

– Хотели бы встретиться с женой, детьми?

«Уж не волшебник ли он?» – Мелик ушам своим не поверил. Возможно ли это? Эрхан сказал, как бы отвечая на его сомнения:

– Нет ничего невозможного на свете. Я договорился: вас коман­дируют от одной из турецких газет, якобы для подготовки кор­респонденции обо всех трех зонах.

– Но ведь ни одного турецкого журналиста туда не впустили.

Он сказал: «туда». Язык не повернулся произнести: «Баку», «Зона». Теперь родина для него была «там».

– Верно. И не только турецкого. Вы будете первым жур­налистом в мире, которому удастся увидеть все три зоны. До сих пор в любую из них редко кому удавалось заглянуть из пишущей братии. Причины – политические цензы, страна проживания, личные убеждения. Но вы будете первым, преодолевшим эти барьеры. Первым и единственным.

Мелик не сдержал любопытства:

– Но как тебе удалось этого добиться?

– Если кому-нибудь скажете, что это устроил я, то впредь ни вы, ни кто другой меня больше не увидит.

– Я буду хранить молчание. Но мне-то ты можешь сказать.

– Не обессудьте. Не могу. Надеюсь, придет время, когда смогу открыть эту тайну. А пока вам нужно только получить пробивные визы, заполнить анкеты. Вам выдадут документ, позволяющий посетить все три Зоны.

– Зачем мне три Зоны, – наконец, ему пришлось произнести это ненавистное слово. – Мне бы только свидеться с семьей.

Эрхан вновь горько усмехнулся:

– Дело в том, что члены вашей семьи живут в разных Зонах, а им переезд из одной в другую заказан.

Он выполнил все формальности, получил нужные доку­менты, где значилось, по отдельности, что имярек команди­руется в Бехишти – Бади-Кубе, в Бакинскую Коммуну и в Baku- Siti.

Мелик понимал, что этим шансом обязан конспиративным хлопотам бывшего коллеги. Но не знал, что потребует Эрхан взамен за эту услугу. Он уже давно утратил веру в бескорыстное добро и в человеческую благодарность.

Как бы то ни было, он получил весточку о семье и был готов отправиться в эту поездку, пусть даже сопряженную со смер­тельным риском.

Из-за блокадных условий из Турции за границу разреша­лось уезжать лишь одним-единственным авиарейсом в Женеву, оттуда – продолжить странствие на самолетах «Панамерикэн».

Эрхан уведомил его, что на все три Зоны имеется один аэропорт – Vekode.

– А что это означает?

– Аббревиатура от трех слов – Вера, Коммуна, Демократия.

Мелик улыбнулся, впервые за последние годы. Эрхан про­должал:

– Вам придется пройти через три контрольно-пропускных пункта и три таможни. Постарайтесь взять поменьше вещей. И с учетом особенностей каждой Зоны, чтобы на таможне не изъяли. Да, вот еще что... – Эрхан извлек из кармана пачку долларов. – Возьмите. Вам на каждом шагу понадобятся.

– У меня есть деньги, – замялся Мелик.

– На те деньги вы даже из аэропорта не выберетесь. Как знаете. Но если не возьмете – и ехать не стоит.

Мелик сдался:

– Я не знаю, как отблагодарить тебя.

– Это я на всю жизнь обязан вам, – возразил Эрхан. – Вы спасли моего ребенка...

Только сейчас Мелик вспомнил, что еще в той жизни, на той родине у Эрхана родилась двойня и оба мальчика через месяц погибли из-за сердечной недостаточности. Родился третий – с тем же пороком сердца. И Мелик, пользуясь своей профессио­нальной популярностью, поднял на ноги лучших кардиологов. Мальчик был спасен. Не зная о дальнейшей участи сына Эрхана, осторожно спросил:

– Как твой сын?

– Как огурчик! Благодаря вам...

Мелик еще раз поблагодарил и, кладя деньги в карман, добавил:

– За мной должок. Верну при первой возможности.

– Нет, это я в долгу перед вами. Помните, я тогда еще работал в типографии помощником метранпажа, а вы были еще незнаменитым корреспондентом. Задерживали – в который раз – зарплату, а у меня в кармане ни копейки, даже хлеба не на что было купить. Вы, узнав об этом, достали из кармана пару рублей: «Вот все, что имею». И протянули мне рубль – половину ваших средств.

– Ну, знаешь ли, это – мелочь... по сравнению...

– Дело не в сумме... – перебил Эрхан. – Вы поделились последним.

На прощание Эрхан напутствовал:

– Что бы там ни увидели, не отчаивайтесь. Вы столкнетесь со многими странностями...

Действительно, нелепицы начались еще в пути, спустя три часа после вылета из Женевы в Баку стюардесса объявила на трех языках – английском, русском и фарси, – мол, самолет идет на посадку, просьба пристегнуть предохранительные ремни.

Мелик созерцал сквозь иллюминатор землю. С заоблачной высоты ему предстал родной город, который вот уже столько лет ему только снился. Большая часть города была погружена во тьму или ж виднелись редкие сиротливые огни; другая часть рассверкалась многоцветной иллюминацией. Стюардесса, обходя ряды, раздавала пассажиркам чадры. Дамы, сидевшие с открытыми лицами, иные даже в мини-юбках и декольтирован­ных платьях, принялись укутываться в черную чадру. Стюардес­сы придирчиво следили, чтобы ни один волос не выбивался из-под покрывала. Мелик предвидел такое, зная, что первый пограничный пункт на пути – Бехишти – Бади-Кубе, потому и требовалось соблюдать закон о «хиджабе». Но когда бородатый стюард, подойдя к нему, предложил снять галстук, он не смог скрыть недоумения:

– Кому какой вред от моего галстука?

– Ага изволит говорить верно, но таков порядок, – сокру­шенно покачал головой бородатый бортпроводник.

Мелик заметил, что и другие пассажиры тихо-смирно развязывают свои галстуки и сдают стюарду, а тот прикалывает к ним булавкой номера билетов, заверяя, что на обратном пути этот галантерейный атрибут будет возвращен.

Сойдя с самолета, он подошел к пограничному пункту под вывеской с арабской вязью: «Бехишти Бади-Кубе» и развеваю­щимся зеленым флагом с полумесяцем.

На проверку документов ушло битых полчаса. Погранич­ники долго сверяли соответствие паспортных снимков с лицами предъявителей, иногда отлучаясь куда-то с целью консультаций, вновь возвращаясь и впиваясь глазами в документы. Кое-каких пассажиров отозвали в сторону и куда-то увели.

У Мелика заколотилось сердце, сейчас вот выищут какую-то закавыку, обнаружится какая-то хреновина, и все пойдет прахом, рухнет мечта, которой жил и дышал столь долгие годы.

– Ага, предъявите ваши документы! – Голос пограничника прервал его мысли. Он протянул паспорт и выданную ему бума­гу. Пограничник, после долгого разглядывания, переворачива­ния, перелопачивания, проставил печать и вернул.

«Слава Аллаху», – вздохнул с облегчением Мелик и перешел через границу. Досмотр на таможне занял еще больше времени. Ему пришлось ждать своей очереди целых два часа. Бородатый таможенник велел открыть сумку, переворошил, перебрал содержимое – три сорочки, нижнее белье, домашнюю одежду мыло, зубную щетку и пасту, электробритву, блок сигарет, пару кассет... наконец выудил галстук:

– А разве в самолете не отобрали у тебя галстук?

– Отобрали.

– Тогда что же это такое? – таможенник крутанул галстук в воздухе.

– А это... это второй... – замялся Мелик. – Прозапас... Похоже, его деморализовала спесь пограничных служак, и он ощущал себя виноватым, не имея никакой вины.

Таможенник не унимался:

– Разве тебе мало одного ошейника шайтана? Хочешь пода­рить кому-то? Или продать?

– Астахфуруллах[[82]](#footnote-82)! – выдавил из себя Мелик. – Я не спе­кулянт. Да и кому я могу продать этот старенький галстук.

Таможенник, не слушая его, бросил галстук в ящик с конфискованными вещами. С этим галстуком были связаны определенные воспоминания, и Мелик не хотел его терять. Вспомнил «рекомендации» Эрхана. Конечно, это был рискован­ный шаг, который мог все испортить, но в нем взыграло упрямст­во; оглянувшись, он тихонько извлек из кармана пятидесяти­долларовую купюру и протянул служаке.

– Этот галстук – память о моем покойном брате.

Таможенник проворно сгреб купюру в лапу.

– Тогда другое дело. Если память о покойном брате, то какие тут могут быть разговоры. – Извлек конфискованный галстук из ящика и вернул Мелику. – Все эти быстрые манипуляции с изъятием и возвращением галстука, сгребанием купюры говорили о сноровке в этом деле.

Мелик, пройдя эти погранично-таможенные барьеры, достиг второго пункта с серпастым-молоткастым красным флагом и надписью кириллицей на азербайджанском и русском языках: «БАКЫ КОММУНАСЫ». «БАКИНСКАЯ КОММУ­НА». На стене большущий портрет персоны внушительного вида в темных очках, закрывавших изрядную часть лица. Над портретом было начертано изречение:

«ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА, ИБО НЕСОМНЕННА»

МАРАТ

А надпись под портретом призывала:

ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ТОВАРИЩА МАРАТА ВПЕРЕД, К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ!

Стоя в очереди у КПП на границе, Мелик вспомнил слова Эрхана о том, что никто не видел глаз товарища Марата Гарагёзова; по слухам, глаза у него косые, потому и не снимает темных очков.

Наконец, дошла очередь Мелика.

– Заполните анкету нашим алфавитом, – сказал погранич­ник, мельком бросив взгляд на его документы.

Он вышел из очереди, приблизился к пологой полке. Переписал все кириллицей. Пришлось снова занять очередь. Наконец, прошел КПП, но вновь застрял при таможенном досмотре.

Таможенник, повертев в руках кассеты, спросил:

– Что это?

– Музыка. Песни азербайджанских композиторов. В Турции они выпущены под названием: «Азери шаргилери» без указания авторов.

– В Турции? – насторожился таможенник. – Сюда ввозить пантюркистские кассеты запрещается.

«Была-не была», – подумал Мелик и протянул чинуше полусотенную купюру. – Это же песни советских композиторов, живших в прошлом веке.

Таможенник знакомым проворным движением сгреб купюры.

– Ах, советских? Тогда можно. – Затем он взялся за магнито­фон. – А это что такое?

– Магнитофон.

Таможенник нажал на клавиши. Зазвучало радио.

– Это же радио!

– Аппарат комбинирован. И проигрыватель, и радиоприемник.

– У нас запрещено слушать чужое радио.

Мелику пришлось разориться еще на полсотни долларов. Теперь он совершал это дело более уверенно.

Третий погранпункт. Здесь реял голубой флаг.

«Три границы – три флага, – с горечью подумал он. – Зеленый, красный, голубой. Будь эти три цвета вместе – составили бы триколор бывшего Азербайджана...»

Пограничник, пробежав глазами документы, велел ему тиснуть большим пальцем в дискетку. Затем вставил дискетку с отпечатком пальца в компьютер, нажал на какие-то клавиши, взглянул на дисплей. – Можете пройти.

И здесь таможенник осмотрел все вещи.

– Наркотики?

– Нет, голубчик, не балуюсь.

Таможенник взял в руку блок турецких сигарет.

– Что это?

– Сигареты. Турецкие.

– К нам ввоз любых сигарет, кроме американских, запрещен. Подлежит изъятию. – Потом почему-то добавил: – А я, между прочим, никогда не пробовал турецких сигарет.

– Я заядлый курильщик. К этим привык. Можем поделиться: половину тебе, половину – мне.

– Окэй, – согласился контролер и, распечатав блок, взял себе шесть пачек, вернув владельцу четыре.

Едва пройдя таможенный контроль, он увидел броские рекламы. Стюардесса, с картинной улыбкой раздающая кока-колу, пассажирам отвечающим столь же картинной улыбкой. Надпись латиницей:

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ-ДОРОГУ, КОКА-КОЛУ ПЕЙ ПОМНОГУ!

Выходя из здания аэропорта, Мелик глянул на часы: полтретьего ночи. А самолет совершил посадку в полчетвертого – пополудни. Одиннадцать часов их мурыжили здесь! Три часа полета от Женевы и – столько времени на пограничную волокиту!

Подошел к первой машине на стоянке такси, потянул ручку дверцы – заперта. Тут к нему подкатило такси из задних рядов; таксистраспахнул дверцу, приглашая его садиться. Он сел на заднее сиденье; тут кто-то открыл переднюю дверцу: бородатый молодой человек обратился к нему: «Ага, ваш покорный слуга тоже следует в город, если вы не против, будем попутчиками». «Пожалуйста», – отозвался Мелик. Такси покатило по автостраде, обнесенной колючей проволокой, освещенной яркими фонарями с одной стороны; с другой стороны дорогу обступала темень. Мелик обратил внимание на туши дохлых собак, валявшихся вдоль ограды на обочине.

– Откуда столько собачьих трупов?

– Глупые твари, – отозвался шофер. – Нарываются на прово­локу, а по ней ток пропущен.

– Зачем же ток понадобился?

– Кяфиры надумали, – объяснил бородатый попутчик. – Боятся, что люди с той стороны к нам перебегут...

– Псы эти бродячие были, голодные. Всех сгребут и сожгут, – сказал таксист.

Мелик осматривал окрестность, но не находил никаких зна­комых примет. За колючей проволокой – вспаханная нейтральная полоса. Дальше, о правую сторону – светящиеся разноцветные рекламы латиницей, – очевидно, это была территория BAKU-SITI. Слева – тьма-тьмущая.

– Это Бади-Кубе?

– Нет, ага, – отозвался бородатый парень. – И по эту сторон – логово кяфиров. По-иному – Бакинская коммуна. Наш Бехишти Бади-Кубе – дальше, впереди.

Мелик вдруг узнал Сураханскую дорогу.

– Сураханская дорога, не так ли?

– Да, ага. Это район «Сура-хане».

– Здесь прошло мое детство, – вздохнул Мелик. – Наш дом стоял недалеко от Атешгяха.

– Где-где? – переспросил шофер.

– Был такой храм огнепоклонников, – пояснил бородач.

– Был? – удивился Мелик. – А теперь?

– Снесли. Какая нужда в капище нечестивых в мусульманс­ком государстве?

Такси затормозило перед закрытым шлагбаумом. Подошел полицейский и, просмотрев документы всех троих, откозырял «Хейри шеб»[[83]](#footnote-83). И поднял шлагбаум.

– Ага, добро пожаловать в Бехишти Бади-Кубе, – сказал бородатый парень.

Они настигли и стали объезжать большой обоз; за громы­хавшими арбами тянулись толпы людей.

– Кто эти люди, куда они тащатся на ночь глядя?

– К Янар-дагу, – ответил шофер.

Мелик заметил по отражению в переднем зеркальце, как бородач укоризненно покосился на шофера.

– Нет, ага, наш братец шофер изволит ошибаться. Эти люди идут на Нардаранский пир[[84]](#footnote-84) . Они двинулись в путь ночью, чтобы успеть туда к утреннему намазу.

Мелик помнил: отсюда до Нардарана изрядное расстояние. – Столько пути – пешком?

– Ага знает, что пешее паломничество более богоугодно. Свет фар выхватывал из тьмы это ночное шествие; Мелик обратил внимание на большие казаны, погруженные в арбы.

– Подъезжай к гостинице «Иршад», – сказал бородач шоферу. Мелик был человеком, умудренным опытом. С первых минут он почувствовал, что этот бородатый парень подсел в такси неспроста, наверное, подослали для слежки. Но, видно, соглядатай был явно неискушенный, так скоро выдал себя; иначе он не стал бы и заикаться об отеле «Иршад».

– Как вы догадались, что мне надо именно в отель «Иршад»?

– У нас же всего один отель, – шофер опередил ответ бородача.

Тот вновь смерил таксиста укоризненным взглядом.

– Нет, есть и другие места. Но я подумал, что столь благородному господину пристало останавливаться именно в «Иршаде». Или я ошибаюсь?

– Нет, вы правы. Мне там забронирован номер. Я забыл представиться – Мелик Мамедли, журналист, – добавил он. «Пусть считает, что я не догадываюсь, какого поля он ягода. А то ведь оконфузится. Хотя, наверняка все обо мне знает».

– Очень рад, – отозвался бородатый попутчик, – познако­миться с таким интеллигентным и именитым гостем. Меня зовут Имамгулу. Имамгулу Бехбехани.

Такси уже катило по полутемным улицам города. Лучи фар выхватили из сумрака полуобгоревшее, полуразрушенное здание. Мелик похолодел, узнав это здание: «Исмаилийе», здесь находилась Академия Наук... Торчали одни стены. Пустые глазницы окон с обуглившимися рамами напоминали скелет.

– Кто погубил это здание?

– Кяфиры учинили... во время известных смут... – ответил бородач.

– Постой, постой... Здесь же рядом было еще одно здание... Хранилище рукописей...

– К великому сожалению, и оно, многие дома на этой улице сгорели и были порушены...

– Сгорели? И рукописи тоже?

– Увы, ага. Если горит дом, разве могут уцелеть рукописи?! Мелик схватился за голову.

– О, Аллах... Ведь в этих письменах была вся наша память, история...

– Ага, вы, вижу, очень просвещенный человек, понимаю ваше смятение. Но что поделаешь? Таков был роковой жребий. А нынче... уже издано множество новых книг. На днях вышло собрание сочинений агайи[[85]](#footnote-85) Кесреви. – Бородач, словно вспом­нив о чем-то, спросил: – Кстати... вы знаете этот проспект?

– Полагаю, да. Некогда Николаевская улица, позднее – Коммунистическая, а затем – «Истиглалият»[[86]](#footnote-86).

Имамгулу удовлетворенно ухмыльнулся:

– А теперь это улица Ахмеда Кесреви[[87]](#footnote-87). В честь ученого мужа, выявившего наше истинное происхождение.

Такси ехало по многажды переименованной многострадаль­ной улице, окруженной разрушенными, обгорелыми домами. Мелик вспоминал, что сюда выходил прекрасный сад, теперь на месте вековых деревьев чернел пустырь; только по уцелевшей Филармонии он узнал этот некогда заветный живописный уголок. Здание Филармонии сохранилось. Но соответствует ли теперь своему назначению?

– Что здесь находится? – спросил он.

– Пятничная мечеть, – в один голос ответили таксист с бородачем. Имамгулу добавил: – Самая большая мечеть в городе. По утрам вы сможете услышать азан с ее минаретов. И до гостиницы «Иршад» отсюда рукой подать.

Доехали до отеля. Шофер взял сумку Мелика, сошел с машины и Имамгулу: – Агайи Мелик, позвольте услужить вам.

Когда Мелик, достав доллары хотел расплатиться с таксистом, Имамгулу воспротивился: – Ага, он не возьмет у вас этих шайтановых денег. Не беспокойтесь. Я уже уплатил.

Администратор гостиницы седобородый сонный мужчина, протирая глаза, взял у гостя паспорт, протянул бланк с графами на арабском алфавите. Мелик принялся было заполнять, но его остановил голос Имамгулу:

– Ага, писать на алфавите нечестивых – грех.

– Надо на арабском?

– На исламском.

– Я умею читать на араб...исламском, а вот писать, жаль, не горазд...

– Вы ничуть не беспокойтесь. Я заполню.

Мелик, диктуя незваному помощнику данные о себе, чувствовал, что Имамгулу все эти сведения известны не меньше, чем ему самому.

Наконец, с формальностями было покончено. Администра­тор протянул ему ключ.

– Двенадцатый номер.

Имамгулу проводил его на второй этаж, до дверей, зашел в номер, окинул взглядом.

– Шам хейир, – сказал он. – Милостью Аллаха вновь увидимся.

Было четверть четвертого. По-местному, четверть шестого. «Местное время, – с горечью подумал он. – Время родного города называю «местным временем. Конечно, в такую рань звонить жене негоже. – Ого! – Он окинул взглядами номер. – Да тут и телефона нет!»

Решил позвонить утром снизу. Лег в постель и, после всех впечатлений дня, кажущихся галлюцинацией и кошмаром, провалился в глубокий сон.

Имамгулу знал, что говорит: наутро они вновь встретились. Спускаясь на первый этаж, он увидел вчерашнего знакомца, си­дящим на диване, сложившего ноги под себя. При виде Мелика поднялся.

– Доброе утро! Я, знаете ли, подумал, что вы, как бы то ни было, странник. Может, помощь какая понадобится. Так что я к вашим услугам.

– Спасибо. Разве что не мешало бы выпить чаю...

– Конечно, конечно.

Прошли в маленькую чайхану. Бородатый официант подал на стол завтрак с чаем. Имамгулу протянул газету: – «Сиратуль-мюстагим»[[88]](#footnote-88) – Потом, – отозвался Мелик. Показав на большой портрет на первой полосе, спросил:

– Это Агайи Муштехид[[89]](#footnote-89)?

– Да. Наш верховный муштехид Агайи Бади-Кубейи. Здесь опубликована его проповедь. Сегодня по телеканалу «Иман» так­же передадут. Это действительно просвещенный человек, уче­ный муж. Ему нет равных и в светских, и в религиозных науках.

Мелик, слушая речь Имамгулу, обильно оснащенную арабскими и фарсидскими словами, знакомыми из классической литературы, но полузабытыми, думал про себя: «Бедный наш язык! В каком же он состоянии оказался, если сей молодой сын отечества не может сказать пару фраз на беспримесном родном языке...»

Он уже ясно осознавал, что впредь, все время его пребыва­ния в этом Бехиште Имамгулу от него не отвяжется и будет сле­довать за ним по пятам. От Имамгулу не скроется и его намере­ние свидеться с женой, может, он уже и знает, конечно же, знает:

– Я должен позвонить...

– Извольте, ага, сообщить номер.

Мелик назвал четыре цифры телефонного номера жены, затем, чуть помедлив, последней заведомо назвал другую цифру. Хотел «прощупать» своего «опекуна»; знает ли он и этот номер?

– Позвоните. Хочу переговорить с Айпери-ханым.

– С кем? – заметно удивился Имамгулу.

– С Айпери-ханым. Это моя жена.

Слово «арвад» – «жена» не сразу дошло до Имамгулу, при­выкшего говорить на архаичном языке, напичканном арабизма­ми и фарсизмами. Мелик пояснил:

– То есть, «Оврет». «Зовдже», значит.

– А-а, конечно, разумеется.

Имамгулу отошел к администратору и долго о чем-то с ним толковал. Тот позвонил куда-то, потом передал трубку Имамгулу, который набрал записанный на бумажке номер. И вдруг насупил брови. «Наверно, последняя цифра сбила его с толку. Выдаст ли он себя?» – подумал Мелик.

Имамгулу устремился было к нему, но раздумал, помедлил, набрал последнюю цифру. Вопрос – какую? Названную Меликом – ложную, или истинную, которую знали они оба? В таком случае, он раскрыл бы свои карты.

Выждав паузу, начал говорить. Что именно – Мелик не слы­шал. Отставив трубку, жестом поманил: «Извольте, ага». Мелик подошел. «Махрух-ханым», – сказал «опекун», передавая ему трубку.

– Махрух-ханым? Кто она?

– Вы же сказали: ваша супруга.

Может быть, Мелик ошибается в своих подозрениях, Имамгулу, набрав именно записанный номер, просто из-за технической осечки попал к другому абоненту? Мелик хотел было уже повиниться, мол, последнюю цифру перепутал, но какое-то чувство побудило его взять трубку.

– Алло!

– Я слушаю вас.

Это была она, его Айпери! Годы состарили ее голос. Ведь столько воды утекло! Глухой, поблекший, печальный голос. Но ее голос. Мелик не смог бы перепутать этот голос ни с каким другим на свете.

– Здравствуй, Айпери. Это я.

– Простите, ага. Вы ошиблись номером.

– Как это «ошиблись»? Да это же я, Мелик! Только три дня тому назад я узнал, что ты жива-здорова, мне передали твой адрес, телефон. Сейчас я здесь, в отеле «Иршад». Куда мне прийти? Как нам увидеться?

В трубке – полная тишина. Мелику почудились сдавленные звуки, похожие на всхлипывание. Может, только почудились? После паузы донесся голос:

– Через час я буду в холле «Иршада». – И сразу отбой.

Мелик засек время и подошел к Имамгулу.

– Спасибо, что помогли. Но почему вы назвали ее «Махрух»?

– Сама так представилась: Махрух-ханым.

Имамгулу не обмолвился о последней цифре, Мелик тоже держался как ни в чем не бывало. И без того все было ясно.

Он сел в вестибюле лицом к входу и, беспрерывно дымя сигаретами, стал ждать. «Опекун» примостился поодаль и делал вид, что занят чтением «Сиратуль-мюстегим», а изредка, уставясь на телеэкран, внимал проповедям канала «Иман».

– А что, здесь телевидение только проповеди передает? – поинтересовался Мелик.

– Нет, почему же. И новости сообщает, молитвы, передачи по истории религии... Транслирует из мечети намаз...

– А, скажем, представления, стихи, музыку?

– В день Ашура передают «шахсей-вахсей», поют «марсия», «новхе»[[90]](#footnote-90)...

– Танцы, светские песни, мугам?

– Астахфуруллах, ага! Все это – деяния шайтана.

«И мугам?» – хотел было спросить Мелик, когда увидел входящую в вестибюль женщину, закутавшуюся в черную чадру с головы до пят. Одни глаза были видны. Когда-то лучистые, жаркие, яркие глаза, – теперь они выглядели потухшими, усталы­ми и печальными. Но это были ее глаза!

Вскочил с места, кинулся навстречу жене, о которой столько лет не знал ничего ровным счетом. Женщина отпрянула, будто ей привиделся призрак, остановилась на расстоянии. Осекся и Ме­лик. Замедлив шаги, он продолжал приближаться к ней с широко распростертыми руками. Но, видя, что она вновь, съежившись, попятилась на шаг, застыл на расстоянии вытянутой руки. Рука его повисла в воздухе.

Он чувствовал, что «опекун», навострив уши, следит за каждым их жестом.

Она:

– Простите, но я не могу подать руки чужому мужчине.

– Чужому? Да это же я, Айпери, я – Мелик, твой муж!

– Меня зовут Махрух.

– ...Ну... пусть Махрух. Во всяком случае, ты моя законная жена.

– Нет, – сказала женщина, – в том-то и дело. Мы не заклю­чили брак по шариату...

Мелик был ошарашен.

– Ну тогда как быть с нашими детьми? У нас ведь сын, дочь. Разве ты – не мать их?

Она потупилась:

– Это был мой грех. Я тысячу раз каялась, чтобы всемилосердный Аллах простил грехи мои.

Имамгулу, не выдержав, вмешался в разговор:

– Аллах милосерден! И простит вас.

– О каком грехе вы говорите? – обомлел Мелик. – Разве это грех – стать матерью?

– Без заключения брака по шариату – да... Это прелюбодеяние, да простит мне Аллах.

– Считается незаконным, – подтвердил Имамгулу.

– -Ладно... присаживайся... э-э... присаживайтесь.

Женщина села в кресло напротив, поодаль от мужчин.

Мелик не находил слов, о чем говорить.

И она хранила молчание. Воцарилась тягостная тишина.

– Скажи-ка, – нарушил молчание Мелик, – у тебя нет связей и с родными детьми? С Бурлой, с Бейреком?

– Они мне не родные дети. Они отступники, которые на услужении у кяфиров...

– Вот оно как, – только и выдавил из себя Мелик.

Снова воцарилось молчание.

Махрух (теперь она действительно была Махрух, вовек незнаемой-не ведомой, – не Айпери, с которой он долгие годы клал голову на общую подушку):

– Если у господина нет ко мне больше вопросов, позвольте мне покинуть вас.

Мелика обожгла мысль: вот сейчас, сию минуту он вновь потеряет свою жену, на этот раз навсегда.

– Погоди, повремени... не спеши уходить... Расскажите хоть, как ты, как вы... как житье-бытье у вас?

– Спасибо, живем – не жалуемся, милостью Аллаха и щедротами ни в чем не нуждаемся.

– А где ты... вы работаете?

– Преподаю в медресе. Веду уроки каллиграфии.

– Но ведь ты... вы были художником.

– То была ошибка молодости. Изображать человека возбраняется. Иншаллах, Всевышний простит мне и этот грех.

– Значит, преподаешь каллиграфию? – бессмысленно повторил он, не зная, о чем говорить.

– Да, ага. Учу переписывать Коран по графике «насх», «насталих», «куфи».

– А на каком языке?

– Конечно, на азербайджанском, – опередил ее ответом Имамгулу.

– И на зебани-фарс [[91]](#footnote-91). В школе тоже занятия ведутся на двух языках. Есть у нас и Данешгях[[92]](#footnote-92).

– Почему бы тебе не преподавать в унив... в данешгяхе?

– Там преподавание ведется на фарси, – сказала Махрух.

– Но студенты знают и свой родной язык, – поспешил вставить реплику «опекун». – Чем больше языков знаешь – тем больше пользы. Не так ли, ага?

– Разумеется.

– Да, кстати, поздравляю с праздником Новруз, – сказал он.

– Новруз? – смешалась она.

– День восшествия на престол Святого Али, – вмешался в разговор Имамгулу.

– Спасибо, – бесстрастным тоном сказала Махрух.

Сквозь стекла вестибюля Мелик увидел толпу паломников, вроде тех, которых они обогнали ночью.

– На Нардаранский пир держат путь?

– Да. А может, в Бузовны, к Али-аягы1.

Махрух вновь попыталась окончить тягостную встречу. Мелик решился:

– Агайи Бехбехани! – сказал он. – Эта женщина... тридцать лет была моей законной женой, как бы вы не считали. Мы официально сочетались браком по законам тех времен. Так что, позвольте нам минут пять поговорить с глазу на глаз. Может быть, у нас есть что сказать друг другу. Не возражаете?

– Нет, разумеется.

«Опекун» встал, отошел и сел на почтительном расстоянии, однако, не спускал глаз с них.

Потоку людей, бредущих перед окном, не было конца.

– Зачем им таскать с собой столько посуды, скарба? – спро­сил Мелик.

Махрух проследила за его взглядом.

– Ни на какой пир не идут они. На Янар-даг идут.

– На Янар-даг?

– Да, – отозвалась она, не глядя на него. – В домах нет ни газа, ни дров, и деревья все перерубили. Тащатся на Янар-даг, чтоб там, на природных огнях сварганить себе еду, – быстро и тихо проговорила она и, повысив голос, произнесла уже другим тоном: – Да, ага, они направляются на святилище. Наши люди очень набожны.

Мелик понял, что к чему. Он сидел спиной к Имамгулу, а тот не сводил взгляда с Махрух-Айпери. Наверное, научился «читать» речь по артикуляции губ.

Махрух, повернув лицо к улице и делая вид, что наблюдает за движущейся толпой, прошептала:

– Что бы ты ни слышал здесь – не верь. И моим словам – тоже. – И снова вошла в роль: – Мои питомцы занимаются с таким рвением, что до окончания медресе успевают по семь раз переписать Коран.

Мелик тихо сказал:

– Я вызволю тебя отсюда.

– Это невозможно, – безнадежно отозвалась она, повернув лицо к нему. И, спохватившись, продолжала: – Да, да, это совершенно невозможно! Мы не можем общаться со слугами шайтана. Будь это даже собственный сын или дочь!

Говорить было больше не о чем. Она поднялась.

– Ага, весьма признательна вам. – И, прикрыв пол-лица платком-яшмаком, чтобы скрыть движенья губ, тихо произнесла: – Я считала тебя умершим. И ты впредь считай меня покойницей...

Глаза ее налились слезами.

Имамгулу, увидев, что она встала, подошел. Наверно, от его внимания не ускользнула слезинка, скатившаяся из глаз. Он отвел взор. Быть может, в отчете, который ему предстояло напи­сать, он не станет отмечать эту слезинку. Ведь и он когда-то был человеком.

– Оставайтесь с миром, ага. – К Имамгулу: – И вам всего доброго, ага.

Повернулась. Побрела к выходу. Мелику показалось, что плечи ее вздрагивают.

Вот она вышла из отеля, ускорила шаги, уходя все дальше и дальше. Мелик провожал ее долгим взглядом, пока она не превратилась в черную тень.

Он поднялся.

– Агайи Бехбехани, я сегодня должен уехать. Поручите подготовить мне счет.

– Что за спешка, ага? Побыли бы еще пару дней нам на радость. Поглядели бы достопримечательности...

– Что увидел – то и увидел, – сказал он и, опасаясь быть превратно истолкованным, добавил: – благодарение Аллаху.

– Пожалуйста, ага. Как вам угодно.

Он поднялся в номер; собирая вещи, не нашел кассеты... Кто мог их взять? Имамгулу все это время находился с ним. Магнитофон был на месте. Кому же понадобились кассеты? Обслуге? На что они ему? Вдруг на ум пришла странная догадка. Он предположил, что кассеты взял служитель отеля, чтобы слушать их тайком. Кто знает, может, и так.

Спустился в фойе, взял счет, оплатил долларами. Сдачу администратор вернул в туменах.

– Зачем мне они?

– Понадобятся, – сказал Имамгулу. – Мелочь, можете подать нищему.

– Разве здесь водятся нищие? – спросил он не без мститель­ной иронии.

– Конечно же, нет, – всполошился Имамгулу. – Понадобятся, когда вы перейдете в Зону красных. Говорят, там нищих пруд пруди.

– Разве там «ходят» ваши деньги?

Имамгулу попал впросак. Слово не воробей...

Мелику стало его жаль. Ведь в чем провинился этот служака, чтоб загонять его в угол.

– Ну, ладно. Оставайтесь с миром.

Имамгулу сказал с предельной учтивостью:

– Ага, я сам выпровожу вас.

Сперва фраза резанула слух, задела за живое. Но тут Мелик вспомнил, что в наречии, которым теперь здесь пользуются, знакомые слова обретают подчас совершенно другой смысловой оттенок, и «выпровожу» означает просто «провожу через границу»[[93]](#footnote-93) .

Выйдя из отеля, они прошагали по улицам бывшей цита­дели – Ичери-шехер, которую сравняли с землей. Остались одни крепостные ворота, представлявшие странное зрелище без зубчатых стен с бойницами.

– Везде ли снесли крепостные стены?

– Да, ага. Из этих камней возведена новая стена – между Бади-Кубе и кяфирами.

– А Девичья башня? – опасливо спросил Мелик. – Ее... тоже?..

– Башня осталась на стороне кяфиров. Говорят, там сейчас склад лесоматериалов.

Новая пограничная стена прошла чуть поодаль от крепост­ных ворот. Пограничный пропускной пункт представлял собой узкую дверь в стене.

По одну сторону реял зеленый флаг с полумесяцем, о другую – серпастый-молоткастый кумач.

– Да откроются перед вами пути милостью Аллаха, – напут­ствовал его на прощанье Имамгулу.

Пройдя границу, Мелик оглянулся. Имамгулу все еще смот­рел ему вслед. Мелику показалось, что сейчас в глазах «опекуна» сквозила печаль.

**II**

Первое здание, представшее ему, показалось знакомым. Ну, конечно же, это было здание музея имени Низами. Но оно совершенно преобразилось. Сводчатые, в восточном стиле, двери и окна были переделаны в прямоугольные и забраны решетками; исчез орнамент из глазури.

Осмотрел фасад: лоджии, когда-то украшенные цветное глазурью, превратились в квадратные обесцвеченные ниши. А главное, статуи классиков поэтов и писателей сменил; скульптуры Энгельса, Ленина, Сталина... остальных троих из новой компании он не смог узнать.

– А где же памятник Низами?

(Он возвышался в сквере напротив). Оглянулся. Там вознесся монумент, вымахавший выше гянджинского мудреца. Белый мрамор. Очки – из черного Лабрадора. Марат! Конечно, это он. По обе стороны монумента застыл караул. Надпись кириллицей над парапетом:

«ПЛОЩАДЬ МАРАТА»

На торце бывшего музея дощечка:

«УЛИЦА МАРАТА ГАРАГЁЗОВА».

Учреждение, адрес которого сообщил ему Эрхан, находи­лось на этой улице, в этом же здании. Это был

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАРИАТ БАКИНСКОЙ КОММУНЫ

Здесь-то ему предстояло разыскать Бейрека. Он не успел сделать несколько шагов, как перед ним выросла девочка-подросток в отрепьях с малышом лет четырех-пяти на руках и, угадав в нем приезжего, но, не зная, на каком языке обратиться, показала пальцем на ротик чумазого малыша, мол голоден. Мелик полез рукой себе в карман. Нашарил тумены и подал попрошайке. Девочка взяла их, уставилась и... плюнув на них, отшвырнула. Мелик смекнул: здесь эти деньги ничего не стоят. Он извлек из кармана долларовую бумажку. У нищенки глаза загорелись. Хватанула и... тут же, как из-под земли выросла и обступила его целая орава юных нищих. Значит, Имамгулу говорил правду...

Странное дело – большинство нищенок были такие же девочки в драных, рваных обносках, с сопливыми карапузами на руках, видимо братишками. И все точно так же тыкали пальцем им в рот: мол, есть хотят, голодны.

Он снова полез в карман, достал две пятидолларовые, одну десятку, – деньги схватили на лету, те, которым не досталось, сцепились с другими. Мелких купюр у него не осталось, нищая орава никак не хотела выпустить его из кольца. Наконец, раздался свисток милиционера, и при виде блюстителя порядка всех как ветром сдуло. Отстала лишь одна хромоножка, которую достиг милиционер; он полез рукой ей за пазуху, вынул десятидолларовую бумажку, положил себе в карман и, дав пинка под зад попрошайке, прогнал ее.

Мелик вошел в парадную дверь комиссариата, увенчанную большим портретом Главного комиссара. У двери – милиционе­ры.

– Мне нужен Бейрек Мамедли. Он служит здесь.

Милиционер указал на окошко сбоку:

– Туда.

За окошком, «проиллюстрированным» портретом Вождя в сером кителе, восседал мужчина в таком же сером кителе с красным круглым значком на груди и в темных очках.

– Я бы хотел увидеться с Бейреком Мамедли, – сказал Мелик. ***–*** Я его отец.

– Здесь такой человек нет, – отозвался очкарик на ломаном русском.

– Не может быть, – возразил Мелик. – Мамедли Бейрек. Инженер-электрик. Проверьте, пожалуйста.

Мужчина в сером кителе поднял телефонную трубку, куда-то позвонил, переговорил полушепотом, затем протянул анкету. – Заполняйте. На азербайджанском и на русском.

Мелик заполнил и отдал.

– Документы!

Мелик предъявил. Мужчина в сером кителе долго изучал документы и сверял их с анкетными данными. Вернул анкету:

– Неправильно.

– Что именно?

– Дата.

Под анкетой Мелик проставил дату: 22 марта.

– Разве сегодня не двадцать второе марта?

– Не марта, а Марата.

– Марата?!

– Уже два года так называется этот месяц, а ты не знаешь?

– Нет.

Он заново заполнил анкету с учетом календарного новшества.

– Второй этаж, пятая комната. К товарищу Тельману Гараханову.

Мелик стал подниматься по лестнице, обставленной различными портретами Вождя – Марат верхом на коне, Марат за фортепиано...

Дойдя до пятой комнаты, открыл дверь, обшитую дермати­ном, вошел.

Секретарша в сером кителе с красным значком на груди выкатила строгие глаза.

– Вы к кому?

– К товарищу Гараханову.

Он протянул ей документы и анкету.

– Минутку, – она исчезла за кожаной дверью.

Мелик окинул взглядом приемную. Все четыре стены были увешаны портретом Марата в сером кителе и испещрены надписями:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНАЯ БАКИНСКАЯ КОММУНА – ПРЕЕМНИЦА СЛАВНОЙ БАКИНСКОЙ КОММУНЫ!

ПОБЕДА КОММУНИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ НЕИЗБЕЖНА!

МАРАТ

На маленьком столике – толстый фолиант, красная бро­шюра, величиной с записную, и газета «Бакинская искра». На обложке фолианта, с портретом Вождя, вытиснено: «Славный жизненный путь товарища Марата». Такой же портрет – на бро­шюре. Он взял брошюру, полистал. Это был цитатник изречений Марата.

МЕЧТЫ НАРОДА – МЕЧТЫ ПАРТИИ

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ИБО ПРАВДА ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НЕ ОТДЕЛЬНЫМ НАЦИЯМ, А ПРОЛЕТАРИАТУ

Мелик взялся за газету от 22 марата. Стало быть, свежий но­мер. Тексты на азербайджанском и на русском. Над заголовками тот же призыв к пролетариям всех стран соединяться – и пророчество Марата о полной победе коммунизма во всем мире. На первой полосе, под изображением вождя в сером кителе и темных очках: «Верховный комиссар Марат Гарагёзов – стойкий и мудрый Коммунист, которого человечество чаяло на протяжении тысячелетий».

Секретарша вышла из недр кабинета.

– Входите.

Он переступил порог. Гараханов восседал за просторным столом. При виде Мелика поднялся. Но, удивительно, в стоячей позе он казался ниже, чем в сидячей. Поднявшись, он будто уменьшился. Вообще, был коротышка. Тот же серый китель, те же темные очки.

Подал руку, вялую и холодную, как мясной фарш.

Несмотря на то, что перед ним лежали документы и анкеты посетителя, он счел нужным осведомиться:

– Кто вы? Откуда сюда прибыли, каким образом и по какому поводу?

Услышав ответ, он многозначительно произнес:

– А-а... Турция-я-я... Понятно...

Узнав о цели приезда, товарищ Гараханов реагировал скеп­тически:

– Я не верю в объективность буржуазной прессы. – Но, в моем понимании, ваша цель – увидеться с сыном.

– Да, не скрою. По моим данным, он служит здесь. Бейрек Мамедли.

Гараханов усмехнулся:

– Вы, очевидно, имеете в виду Бориса Мамедова? Да, у нас есть сведения, что он на самом деле доводится вам сыном.

– Позвольте... но как это... «Борис»? Его зовут... Звали Бейреком...

– Он давно сменил имя. Кстати, а что означает «Бейрек»?

– Это один из героев дастана «Деде Горгуд».

Гараханов напряг память.

– Деде-Горгуд... Горгуд Деде... А-а, вспомнил. Это, кажется, запрещенная антинародная пантюркистская сказка.

Спорить было бессмысленно. Не то время и не то место.

– Могу ли я увидеть сына – спросил Мелик.

– Конечно, – Гараханов поднял трубку. – Боря, зайди ко мне. Тут твой папа объявился. Да нет, не с того света... Из Турции... Впрочем, это одно и то же...

У Мелика часто забилось сердце. Сейчас он увидит сына. Бейрека... ставшего «Борей». Но все равно, это его сын.

Взгляд его рассеянно блуждал по кабинету, увешанному диаграммами, таблицами, возвещающими крутой подъем ин­дустрии, образования, просвещения, каноническими портретами Вождя, и вдруг зацепился за четвертого в традиционной череде Энгельс-Ленин-Сталин... Козлобородая персона напоминала мраморный монумент на фасаде бывшего музея Низами.

– Кто это?

– Товарищ Шаумян, – торжественно возгласил Гараханов. – руководитель первой Бакинской коммуны.

– Но ведь это армянский... – начал было Мелик, но Гара­ханов резко перебил:

– Причем тут армянский – не армянский! Товарищ Шаумян – не армянин, а коммунист!

Мелик, чувствуя, что рискует очень многим, не мог сдержаться:

– Сколько азербайджанцев загубил этот коммунист-дашнак в восемнадцатом году... в марте... то бишь в месяце марат!

Гараханов придал себе свирепый вид:

– Он карал не азербайджанцев, а мусаватистов. Заклятых врагов азербайджанского, русского, армянского пролетариата! – У него выступила аж пена у рта. Выпив стакан воды, он чуть убавил тон. – Оно конечно. Вы – из Турции, ваше сознание отравлено буржуазной пропагандой. Да и наши отечественные националис­ты в свое время понавешали собак на Баккоммуну, на Шаумяна. Позор! Теперь мы восстановили историческую справедливость. Мы, коммунисты Бакинской коммуны, возглавляемой верхов­ным комиссаром товарищем Маратом! Да, мы гордимся тем, что знамя диктатуры пролетариата в Закавказье вновь поднял бакинский рабочий класс! Баку всегда являлся... этим самым...

– Колыбелью, – машинально подсказал Мелик.

– Да, да. Колыбелью революции. Теперь, когда и в России к власти пришли коммунисты, весь мир узнал, что первыми на этот правый путь вступили мы.

– В России коммунисты пришли к власти путем демократи­ческих выборов, но сразу же разогнали Думу.

– И правильно сделали! Это сборище болтунов и горлопанов пролетариату не нужно. Скоро мы восстановим СССР, и пионером этого дела явится Бакинская Коммуна...

У Мелика защемило сердце.

– А кого изображают эти статуи перед музеем?

– Музеем?

– Извините, я забыл, что теперь... раньше здесь помещался музей имени Низами.

– Низами? Низами... Ах да. Вы о поэте феодальной эпохи.

– И он тоже у вас под запретом?

– Нет. Почему же. Мы просто не печатаем такие книги. Про­летариату не нужны поэты феодализма. Кстати, вот, – он показал на фолиант с золотым тиснением, – вышла в свет новая биог­рафия товарища Марата. Советую прочесть. Очень ценный труд.

– А кто автор?

– Такие книги не пишутся отдельными людьми. Коллектив авторов. Группа пролетарских писателей, выражающих искрен­ние чувства всего рабочего класса, не сочли нужным указать свои имена. – После паузы: – Да, вы спрашиваете о скульптурах перед зданием Комиссариата? Это памятники величайшим коммунистам – Энгельсу, Ленину, Сталину, Шаумяну, Кирову. Орджоникидзе...

– Немец, русские, грузин, армянин... А разве не было коммунистов-азербайджанцев?

– О, несчастный человек, оболваненный буржуазно- националистическими предрассудками! – воскликнул товарищ Гараханов. – Причем тут национальность? У коммунистов нет национальности. Их национальность... пролетариат! Вот послушайте, что говорит товарищ Марат. – Он встал, взял красный цитатник, зачитал вслух: – «будущее принадлежит не отдельным нациям, а пролетариату». – Понятно? Если уж вы обращаете внимание на национальность, то почему вы не заметили колоссальный монумент товарища Марата? Ведь он, в вашем понимании азербайджанец.

– Да, конечно, – сказал Мелик.

«Когда же появится сын?». Он не мог отделаться от ощу­щения, что в этой галерее портретов, увековеченных, канонизи­рованных лиц кого-то не хватает, вдруг вспомнил: Маркса. Конечно же, Карла Маркса.

– Почему же среди этих великих нет товарища Маркса?

– Да, это сложный вопрос. Дело в том, что мы ценим Маркса как основоположника научного коммунизма. Но... он был евреем... А наш главный враг – мировой империализм и сионизм. Если мы воздвигнем памятник Марксу, развесим его портреты, нас могут понять превратно...

В этот момент открылась дверь, и вошел молодой человек в сером кителе с красным значком на груди и в темных очках, мельком взглянув на посетителя. Мелик уставился на него.

– Что, не узнали сына? – криво усмехнулся Гараханов. – Боря, сними очки.

Вошедший снял очки. Бейрек! Но какой у него холодный, чужой взгляд! Мелик хотел было, повинуясь безотчетному порыву, кинуться, обнять, но сдержался: может, и эти коммунисты возбраняют такие проявления отцовских чувств? И потом... этот холодный взгляд. Протянул руку, Бейрек подал свою. Тут зазвонил черный телефон, Гараханов моментально снял трубку и вскочил с места.

– Слушаю, товарищ Марат. – Выпрямившись в струнку, он вновь показался ниже ростом. – Сию минуту. – Меня вызывает товарищ Марат. Боря, вы перейдите с гостем в твой кабинет.

Выходя из кабинета, Гараханов бросил на ходу:

– Просвети отца. Он очень заблуждается насчет исторических заслуг товарища Шаумяна. Похоже, подпал под влияние националистов и пантюркистов.

Вышли в коридор. Бейрек подозвал одного из серокительно-темноочковых значконосцев и, достав из кармана ассигнации, сказал ему: – Вот сто рублей. Купи в буфете водку, селедку, пирожков или что найдется.

Мелик не знал, с чего начать разговор.

– Сто рублей – это сколько долларов?

– Столько же и долларов, – ответил Бейрек.

– Водку – за сто долларов? Не дешево...

– Это по официальному курсу рубль сравнялся с долларом, – он ехидно усмехнулся, – а так – доллар тянет на наш стольник.

– А в таком раскладе что получается? – за доллар и водку тебе, и закуску...

– Да это только в нашем здании, в буфете комиссариата. А в городе все в десять раз дороже.

По коридору, увешанному и обклеенному тем же изобразительно-мобилизующим антуражем, дошли до лифта.

– Работа здесь имеет свои преимущества, – сказал Бейрек.

Вошли в кабину лифта. В кабине Мелик снова увидел портреты Вождя в сером кителе и темных очках, только без крас­ного значка. Таковой был и у Бейрека. Он всмотрелся: на значке изображение товарища Марата.

Поднявшись в лифте, подошли к двери, оббитой кожей, Бей­рек отпер ее ключом, вошли. Тот же антураж, те же девизы. Но в этой комнате было множество приборов и несколько телевизо­ров. Среди официальных портретов и диаграмм Мелик с удивлением обратил внимание на изображение спящей девчурки пяти-шести лет. «Неужели дочь Бейрека и, следовательно, моя внучка», – подумал он.

– Это кто?

– Шедевр одного художника – сказал Бейрек. – А ты прочти название картины.

Мелик одел очки и прочел: «Видит во сне товарища Марата».

Бейрек поинтересовался:

– А что ты сказал товарищу Гараханову насчет Шаумяна?

– Да ничего такого. Сказал, что он был дашнак.

– Нашел о чем говорить. И кому? У Гараханова мать – армян­ка.

Помолчали. Чтобы нарушить это тягостное молчание и как-то растопить лёд отчуждения, Мелик начал говорить о том, как, откуда, с какой целью приехал, но, похоже, все это совершенно не интересовало Бейрека, то бишь Бориса.

– Я встретился в той зоне с твоей матерью. Ты поддер­живаешь с ней связь?..

– Нет, – равнодушно отозвался Бейрек. – Слышал, что в религию ударилась, святошей стала... – Пауза. – К тому, до чего мы дошли, и моллы руку приложили.

– Молла или не молла, но она твоя мать.

На лице у Бейрека появилась ироническая ухмылка.

– Мать, отец... Пустые сантименты минувших веков... В этом мире у человека нет никого, кроме него самого.

Мелика охватил ужас.

– Да разве можно так жить?!

– Как видишь. Живу.

– А как с Бурлой? Она тоже для тебя – сантименты минув­ших веков?

– Никаких связей. Пошла в танцовщицы. В BAKU-SITI развлекает буржуев танцем живота.

– Танцем живота? – обомлел Мелик. – Кажется, я приехал сюда только затем, чтобы испытывать потрясения...

Бейрек оставил его слова без ответа. Вновь воцарилось молчание.

– А как у тебя житье-бытье, достаток?

– У меня неплохо. Как и у большинства работающих в этом здании.

– А вне этого здания? Каково им?

– Разве ты сам не видел? Нищенки тебя не облепили?

– Видел. А много ли их?

– Больше половины населения, – сказал Бейрек. И добавил с иронией: – Пролетарские дети.

– Эти ребята нигде не учатся, не работают?

– Ха, ха... Разве сыщется работа? А учиться... всего-навсего две школы. И там учатся дети работников комиссариата.

Мелик достал сигарету и закурил.

– Куришь?

– Нет. Это турецкие?

– Да.

– Дай-ка попробую.

Бейрек, сделав затяжку, сказал:

– Знаешь, с чего начинаются уроки во всех классах?

– Откуда мне знать.

– Сперва провозглашают лозунги во славу товарища Марата. Потом начинают насылать проклятья.

– Проклятья?

– Да. Пусть, говорят, ослепнут враги товарища Марата, пролетариата, Бакинской коммуны, пусть отсохнут их руки, пусть их хватит кондрашка, сразит чума, холера, СПИД!

– Помнится, была у нас в селе старушка. Вот так же проклинала.

– И о СПИДе она знала?

– Нет. Но кляла в этом же духе: пусть отсохнут руки, пусть язык отнимется, пусть нутро сгорит, пусть кровью изойдет, пусть заразиться чесоткой, но ногтей не будет.

Бейрек неожиданно ухватился:

– Вот это что-то новое. Впечатляюще. Надо бы взять на заметку и рекомендовать наркомпросу.

Он вновь затянулся табачным дымом.

– Почему ты носишь темные очки? С глазами плохо, что ли? Я обратил внимание: все сплошь в темных очках. И все в серых кителях. Что за мания такая?

– Ходить в другой одежде не положено.

– Темные очки – тоже обязательно-принудительны?

– Нет. Это своего рода знак солидарности с товарищем Маратом. Выбор добровольный. Но все в этом здании решили, что так надо.

– Говорят, что товарищ Марат косоглаз, потому и носит темные очки. Но тебе-то зачем? Слава Аллаху, глаза у тебя как у джейрана... – он нарочно сказал приятность, чтобы как-то сбить с него налет холодной невозмутимости. Но Бейрек никак не реагировал.

И вдруг, после паузы, выпалил с неожиданной злостью:

– Никакого косоглазия у товарища Марата нет! Он просто столько людей угробил, что никому не может смотреть в глаза!

Мелик так и обмер. Обвел взглядом приборы:

– А ты не боишься так откровенничать? Могут ведь подслушивать.

– Чего мне бояться? Что они могут сделать? Здесь я единст­венный специалист. Они нуждаются во мне. Все сплошь недоуч­ки, дорвались до руководящих постов. Кто – бывший кулинар, кто – дворник, кто – амбал. Самый грамотный Гараханов, да и тот лет тридцать сапожничал.

– А Марат?

– В былые времена слыл в городе известным парикмахером.

– А какой он национальности?

– Аллах его знает. Вроде как азербайджанец. Говорит на азербайджанском в кои веки, но лучше бы и не говорил.

Мелик обратил внимание, что у Бейрека с родным языком все в порядке. В отличие от Гараханова, то и дело вставлявшего в речь русские слова.

– Говорят, что у него есть и еврейская кровь, потому он такой ярый антисемит. Немногим, оставшимся здесь евреям, житья не дает. – А вот этот фолиант видишь? – Он показал на уже знакомый том с золотым тиснением. – Это уже, чтоб не соврать, пятидесятое жизнеописание вождя. И каждый раз его биография обрастает новыми героическими фактами. Если учесть хронологию событий, можно подумать, что он прожил по меньшей мере сто лет. То пишут, что он был военным советником у Мао, Ким Ир Сена, то он, видишь ли, посвящал Фиделя Кастро в теорию коммунизма. То он поднимал негров в Африке на борьбу против колониализма... Но на самом деле он все эти годы цирюльничал в Баку.

– И никто об этом не знает-не ведает?

– Были знавшие. Всех сжили со свету, стерли в порошок... Всех своих старых клиентов велел разыскать и отправил в тартарары. Если и остались случайно уцелевшие, так они теперь делятся воспоминаниями о подпольной революционной деятельности товарища Марата. Да, некогда он стриг головы – теперь он их сносит.

– Ты бы придержал язык, Бейрек. Будь поосторожнее. Мало ли «ушей». Как бы потом тебе не пришлось расплачиваться.

– Не тревожься. Моя работа здесь, знаешь, в чем заклю­чается? Забивать зарубежные радиостанции и телевидение. Чтоб никто ничего не видел и не слушал. А вот в этой комнате я установил такую технику, что никто никаких разговоров не может подслушивать, потому могу говорить, что хочу. Конечно, если ты не вздумаешь настучать на меня...

– Как тебе не стыдно? – взвился Мелик. – Такое говорить мне! Я же твой отец!

– А знаешь, сколько сынов на отцов накапали, сколько па­паш на отпрысков своих настучали в ПэПэ? – горько усмехнулся Бейрек.

– Что это за ПэПэ?

– Пролетарский Патруль. Тайный сыск Коммуны.

Дверь открылась, и вошел служащий в уже известной «уни­форме» с бутылкой водки и парой пирожков. На бутылке красо­вался товарищ Марат.

– Ты не голоден? – Это была первая за всю встречу человечная фраза, сказанная сыном отцу.

– Нет, – Мелик наконец решился. – Почему ты разгова­риваешь так... холодно, Бейрек? Сколько лет ведь не виделись. Я так тосковал по семье, так рвался увидеться... Знал бы, каких трудов мне стоило добраться сюда...

– Ну, добрался, увидел и – пришел в восторг?

– Не говори со мной таким тоном. Ну, чем я провинился перед вами? Чем?

Бейрек, не ответив, достал из шкафа рюмку, стакан, откупорил бутылку, налил отцу в рюмку, а себе наполнил стакан всклень. И... ни слова не говоря, осушил залпом. Даже не закусил, только тыльную сторону ладони понюхал. Мелику случалось видеть такое в далеких северных краях, так порой пили русские. Наконец Бейрек-Борис нарушил молчание.

– Спрашиваешь: в чем провинился? А где ты был все эти годы? Что ты знал о тех, кого называешь семьей? Отвалил в Турцию, жил себе преспокойненько, а теперь объявился, семью проведать решил... взываешь к чувствам, мол, отец, мол, мать, прочее. Это ли, по-твоему, отцовство?

– Ты несправедлив, Бейрек. Ты сам знаешь, все пути-дороги закрыты, всякое сообщение прервано. Как я мог связаться с вами, если даже не мог узнать, живы ли вы?

– А когда умотал в Турцию, бросив нас на произвол судьбы?

– Опять ты передергиваешь. Я не бросал вас. Я уехал в командировку на десять дней.

– И на сколько лет затянулась твоя командировка?

– Где было знать, что разразятся такие события! Где было знать!

– Нет уж, извини. Эти события начались еще при твоей бытности здесь. Ты был известным на всю страну журналистом. И что – не видел, по какому руслу идут события? Не читал газет, не смотрел телевидение, не слушал радио? Тебе было невдомек, что все эти источающие злобу, ненависть, ксенофобию писания и речи, все эти алчущие крови златоусты создают в обществе такой разрушительный потенциал, который сулит неизбежный взрыв, и все перевернется вверх дном? И взрыв произошел...

– Спустя неделю-две после моего отъезда, – уточнил Мелик.

– Но ты мог предотвратить его, находясь здесь.

– Как же я мог?

– Ты был на виду, к тебе прислушивались как к автори­тетному интеллигенту. Ты мог бы призвать людей одуматься, студить страсти, сказать: братья мои, сограждане мои, раздрай ведет к трагедии, не ополчайтесь друг против друга, не доводите тело до братоубийства...

– Наверно, ты забыл, Бейрек. Я взывал, вразумлял, заклинал, не раз, не два, – не вняли. Мы писали – не стали читать. Говорили – нас не услышали. Злоба ослепила людей. От криков и воплей глохли. Никого не слышали и слышать не хотели, кроме самих себя.

– Эх... – Бейрек осушил еще один стакан, закусив пирожком. – Ты знаешь, что творилось после твоего отъезда?

– Знаю. Столкновения в Баку, в районах, кровь, гражданская война... Подрыв нефтепровода Баку-Джейхан... Там писали: это дело рук АСАЛА или ПКК[[94]](#footnote-94).

– ACAЛА или ПКК, какая разница. Три дня спустя грянул взрыв на армянской АЭС... Теперь и территория Армении, и Карабах превратились в мертвую зону... по крайней мере лет на сто... – Бейрек горько рассмеялся. – Так-то развязали карабахский узел.

– И этот теракт приписали Турции, – сказал Мелик. – Армянская диаспора подняла вой на весь мир: дескать, в двад­цатом веке был первый геноцид, и вот вам второй. Турцию отстранили от всех международных организаций, стиснули экономической блокадой, прервали сообщение. Между тем, ни­кто до сих пор не смог доказать ее причастность к этому теракту.

– И не смогут доказать, – сказал Бейрек. – Но какое это имеет значение? Миром правит ложь! Ложь и сила! Кто сильнее – тот и прав, – не слышал?

Мелик обратил внимание: хотя Бейрек и выпил изрядно, а не терял нить логики, и речь у него оставалась вполне внятной. Будто и не выпил. Разве что глаза чуть отуманились.

– А потом грянул Мингечаур...

Он с трудом произнес это слово, то ли сказывалось выпи­тое, то ли потому, что название города на Куре отныне для всех азербайджанцев стало знаком самой тяжелой трагедии, самой великой боли.

– Кто подорвал мингечаурскую плотину? Доморощенные геростраты, сепаратисты, внешние враги? Или ракеты, сбив­шиеся с пути из-за компьютерной ошибки? Вот тайна, которая никогда не раскроется.

Мелик знал, что и взрыв на Армянской АЭС, и разрушение Мингечаурской плотины, – величайшие трагедии, глобальные экологические и гуманитарные катастрофы не только двадцать первого века, а, быть может, вех времен. Все равнинные районы Азербайджана оказались затопленными водой. Часть населения сбежала в горы.

– Как теперь с теми, кто успел спастись и перебраться в горы? – спросил Мелик.

– Хуже некуда. Полный беспредел. В каждом углу – свое атаман, свой башибузук, свой удельный князь, кого хочет – затопчет в грязь... Первобытнообщинный бардак...

– Ведь именно в ту пору Баку раскроили на три части.

– Да. ООН приняла резолюцию. «Дабы пресечь анархию», сколотили три государства, раздали трем зарубежным странам по мандату. Ведь тут нефть. Разве упустят супердержавы такой лакомый кусок. Теперь вот в этих трех зонах якобы созданы три суверенных государства. Какой тут суверенитет – можешь представить себе. Товарищ Марат, даже когда по нужде сходить, испрашивает разрешения у зарубежных патронов.

Мелик чувствовал, сколько накипело, наболело на сердце у сына. Но что он мог поделать, что было в его силах перед вели­кой бедой, которой подвергся и его сын, и он сам, и его народ?

– Сын мой, – сказал он. – Ты бы хоть попытался вырваться отсюда.

– Это невозможно, – Бейрек точь-в-точь повторил слова своей матери, сам того не ведая. – Отсюда и птице не вылететь. Ты не видел, какую стену возвели? В прошлом году один бедолага пытался взобраться, перемахнуть... пристрелили тут же. Никто даже имени его не узнал. Это не город, а концлагерь, окруженный стеной. Отсюда один путь – на кладбище, на тот свет... Вот такие дела, отец... – он впервые произнес это слово: «отец».

И вдруг машинальным движением выхватил так и нетронутую Меликом рюмку, опрокинул, выпил.

– Пока не поздно, – уезжай. Ты счастливец, что у тебя пока есть такая возможность. Другого счастья и не ищи. А мы тут как-нибудь доживем свой век, поглядим, когда карга с косой смилуется над нами, заберет...

– Бейрек... слышать от тебя такое для меня пуще смерти.

– Громкие слова.

– Нет, это не громкие слова! Надо что-то предпринять. Действовать. Неужели не осталось здесь людей, желающих изменить это все, покончить с этим маразмом? Неужели все здесь смирились, опустили руки, отчаялись?

– Нет... почему же... Есть и те, кто не терял надежды.

– Где же они?

– На дне морском. А кому повезло – на острове Наргин.

– На Наргине?

– Да. Остров включили в состав территории Бакинской коммуны. Теперь там соорудили мощный концлагерь. Не будь у меня этой специальности, не будь у них нужды во мне, – кормил бы сейчас рыбок или, в лучшем случае, сидел бы в лагере. Почему бы и не сидеть? Отец – в Турции, мать и сестра – во враждебной зоне... Впрочем нет столь уж большой разницы. Там концлагерь окружен морем, здесь – стеной.

Мелик закрыл лицо ладонями. Бейрек почти сочувственно произнес:

– Не бери в голову, отец. Что наши семейные невзгоды – перед великими бедствиями... сам я довольствуюсь тем, что имею. Обеспечен. Смотрю тайком зарубежные телеканалы. Смог сохранить кое-какие книги. Иногда перечитываю Джалила Мамедкулизаде, Сабира. Чаще Достоевского. Особенно «Бесы». Он, дьявол, как в воду глядел, словно все предвидел. Конечно, я не жирую, как Марат, даже пусть как Гараханов, но все же...

– То есть, они богачи? Что же тогда коммунисты разглаголь­ствуют о равенстве, пролетарские вожди...

– Равенство, братство! – Бейрек расхохотался. Это был полупьяный хохот. – Да кто верит в эти слова? У Гараханова виллы во Франции, у Марата – на всех континентах. Куда до него всяким Ротшильдам и шейхам.

– Скажи-ка мне, – Мелик вспомнил один их фотопортретов вождя, – Марат играет на фортепиано?

Бейрек протер осоловелые глаза.

– Это еще что за новости?

– Я видел портрет у лестницы...

– А-а... – Бейрек расхохотался. – Ну, взбрело в голову, вот и снялся. А так, он и «Чижик-пыжик» не сможет сыграть. Ты видел и другой снимок, – на коне?

– Да.

– Так вот, он отроду не ездил не то что на лошади, даже на ишаке. И статую его ты лицезрел?

– Видел.

– Какая махина, а? Исполин! А на самом деле он на голову ниже коротышки Гараханова.

Зазвонил телефон. Бейрек взял трубку.

– Да, хорошо. Я – сейчас, – повернулся к Мелику. – Извини, Гараханов вызывает. Пойдем вместе, он завизирует твой пропуск. А то не выпустят.

Мелик с удивлением увидел на столе Гараханова маленькую тарелку с семени.

Гараханов при виде их встал и снова показался уменьшив­шимся.

– Вот, полюбуйся, – показал на семени. – Меня вызывал това­рищ Марат. Оказывается, сегодня какой-то байрам. «Новруз», что ли. Так вот, ПэПэ сообщил, что на базаре некто продавал вот эту зелень, «сэмэни», что ли. Гараханов откусил кусок семени, нем­ного пожевал и выплюнул. – Фу, какая гадость, и такое можно есть? Зарубежное радио оповестило о времени наступления ве­сеннего равноденствия – смены года, и это сообщение было услышано в нашей зоне. Товарищ Марат рассержен, куда, гово­рит, смотрит Борис? Немедленно, говорит, примите меры, позор! Причем в канун дня рождения товарища Марата – вождя миро­вого пролетариата! Так что, Борис, разберись! – Он повернулся к Мелику: – Дайте вашу бумажку. – Взял, подписал и снова обра­тился к Борису: – Ну как, просветил его насчет Шаумяна?

– Разумеется, – ответил Борис. – Он дал слово перевести труды товарища Шаумяна на турецкий и издать там.

– Это хорошо, – расплылся в улыбке Гараханов. – Что с того, что Турция – враждебное государство. Мы и там должны разбудить пролетариат, вовлечь в мировое коммунистическое движение. Пусть будут готовы к борьбе до полной победы. – К Мелику: – Папаша, вы там не забывайте, самые большие враги наши – империализм и пантюркизм.

– А сионизм? – не удержался Мелик.

– И сионизм.

– А панисламизм, буддизм, протестантизм, парламентаризм?

– Конечно, конечно...

На Мелика нашло какое-то дурашливое озорство, и он сыпал «измами», памятными с советских времен:

– А сюрреализм, импрессионизм, модернизм?..

Физиономия Гараханова выражала напряженные мысли­тельные потуги; эти слова он, быть может, слышал впервые, не понимал их смысла и терялся в догадках, – представляют ли они опасность для пролетариата?

– Фрейдизм, филателизм, феминизм, фетишизм?... – продол­жал Мелик.

Гараханов наконец облегченно вздохнул, приняв «фети­шизм» за «фашизм».

– Конечно, и фашизм – наш непримиримый враг. – И перевел взгляд на Бейрека: – Я вижу, ты основательно поработал с папашей. Ну хорошо. Не буду вас задерживать. До свидания.

Бейрек проводил отца до дверей.

– Иди вот по этой улице Гарагезова, с площади сверни на улицу Верховного комиссара. Там – погранпункт и переход в Третью зону.

– Сынок, – сказал Мелик, – не пей много.

– Ладно, – устало ответил Бейрек.

Мелик не знал, что еще сказать. Перехватил взгляд сына, покосившегося на часы.

– Сними-ка на секунду очки. Хочу увидеть твои глаза. Может, видимся в последний раз...

– Боже, какие сантименты, – поморщился сын, но очки все-таки снял. – Пустой, отсутствующий, ничего не выражающий взгляд. Подал руку:

– Прощай. – И вдруг спросил: – Как живут люди в Турции?

– Как люди, – ответил Мелик.

**III**

Пройдя через узкую дверь в стене, Мелик очутился в другой зоне и сразу спросил, откуда можно позвонить. Показали телефон-автомат. Купил жетон, вошел в будку и набрал номер Бурлы. Погодя донеслось бодрое, даже кокетливое: «Хелло!». Это была она, Бурла. Но голос звучал как-то иначе, заученно, что-ли. Дальше последовала английская фраза. «Автоответчик», – догадался Мелик. Он немножко знал английский. «Меня нет ­дома, – говорил голос. – После сигнала оставьте месаж».

– Здравствуйте, Бурла-хатун! – он только в детстве окликал дочь так, полным именем. – Это я, Мелик, твой отец. Я нахожусь здесь... Хочу увидеться с тобой... Погодя позвоню еще...

Хотел было повесить трубку, как донесся голос Бурлы – уже не машинальный, а живой и – дрогнувший:

– Отец...

– -Доченька... Бурла...

– Отец... Боже мой, ты жив!.. Как ты добрался сюда?

– Это долгий разговор. Расскажу при встрече. Мы можем увидеться?

– Конечно! Где ты находишься?

– У погранпункта. Я прибыл из Коммуны.

– Там два пункта. Ты возле которого? На какой улице?

Он прочел название улицы сквозь застекленную дверцу.

– На 42-й Параллельной. Из будки телефона-автомата говорю.

– Тогда не отходи никуда. Я пошлю за тобой мою машину. Черный «мерседес». Шофера зовут Фил.

– Жду.

Через десять минут к будке подкатил черный «мерседес». Из нее тут же вышел водитель в темно-синем костюме с фуражкой с околышем, с черным бантом на воротнике. Сняв белую перчат­ку, подал руку Мелику и учтиво открыл заднюю дверцу:

– Плиз!

Салон «мерседеса» благоухал кондиционированным возду­хом. Радио передавало новости на английском языке. Ехали ши­роким проспектом, блиставшим витринами шикарных магази­нов и пестревшим рекламами.

Машина затормозила на перекрестке у светофора. Откуда ни возьмись подбежал мальчуган с щеткой и давай драить ветровое стекло. Ребята из его компании занялись другими машинами. Шофер, приспустив стекло, дал мальчику несколько пенсов. Тот сразу ринулся к другой подкатившей машине.

Зажегся зеленый свет. «Мерседес» устремился к нагорной части города и выехал в опрятный двор, обнесенный фигурной оградой. Садовник в желтом комбинезоне поливал газон из шланга. Этот уголок Мелику показался знакомым, но разительно преображенным.

Подъехали к трехэтажному особняку. Водитель, быстро выйдя из машины, открыл заднюю дверцу.

– Плиз, – сказал Фил и направил гостя к дверям подъезда. Тут же перед Меликом вырос молодой человек атлетического телосложения и собрался было обшарить его, но Фил остановил его:

– Это отец мисс Бурла. – Атлет отстал.

– Сори, – сказал Фил – водитель мисс Бурла. – По акценту Мелик догадался: – Вы азербайджанец?

– Ов коуз. Еlbatta. Adim Fizuli[[95]](#footnote-95).

Вошли в кабину, тоже источавшую аромат. Фил-Физули нажал на кнопку второго этажа. Поднялись.

Дверь из дубовой древесины. Фил позвонил. И... вот она, Бурла, его крошечка Бурла-хатун! Теперь она выглядела настоя­щей ханым, очаровательно прекрасной. Кинулась к нему.

– Ата! Ата-джан![[96]](#footnote-96) Если б ты знал, как я рада тебя видеть!

– Я – еще больше... – У него перехватило горло.

– Снимай пальто. Дай-ка сама повешу. – Что-то сказала Филу по-английски. Тот, откозыряв, ушел.

– Почему он разговаривает на английском? – поинтересовал­ся Мелик.

– Окончил английскую школу.

– А по-азербайджански не умеет?

– Умеет. Как же.

– Тогда скажи ему, пусть говорит со мной на нашем языке.

– Непременно скажу.

Снимая пальто в прихожей, он обратил внимание на боль­шую афишу и обомлел, увидев на ней фотографию полуобна­женной дочери.

– Это ты? – вырвалось у него.

– Нет, – рассмеялась она. – Одна моя знакомая. Об этом – после поговорим. Проходи.

Едва войдя в комнату, Мелик увидел сквозь стекло на всю стену панораму моря с песчаным пляжем, но, всмотревшись, понял, что это огромное застекленное фото, выполненное столь искусно, что возникает полная иллюзия реальности. На стене справа возвышалась гряда заснеженных гор. Слева – густой лес с вековыми деревьями, и под их зеленым шатром тянулась про­сека. Мелик обернулся – и перед ним запенилась, заклокотала горная река, низвергавшаяся с уступа роскошным водопадом. Когда Бурла закрыла дверь, водопад удлинил свой искрящийся шлейф.

– А... окон в этой комнате нет вовсе?

– А зачем мне окна? – с досадой отозвалась дочь. – Чтоб гла­зеть на этот поганый город?

Она подошла к бару в углу комнаты.

– Что будешь пить: виски, шерри-бренди, джин с тоником, текилу, водку, коньяк?

– Погоди, погоди, не дави. Обойдусь чаем. – Она взяла трубку внутреннего телефона.

– Лера, tee[[97]](#footnote-97)! – Окатила ласковой улыбкой: – Я забыла, ты же истый мусульманский мужчина. Тебе бы только чаи гонять. Как этот... Мешади... Был такой мюзикл...

– Был, – невесело усмехнулся Мелик.

– Дай-ка я хорошенько рассмотрю тебя. Да. Чуть постарел.

– Не чуть, а очень. Особенно – за последние два дня.

– А что произошло за эти два дня?

Он рассказал о своих «зональных» впечатлениях, о послед­них годах вдали от родины.

– Бедная мамочка! – вздохнула Бурла. – Разве можно так жить?

– Ты не пыталась связаться с ней?

– Как? Все дороги закрыты. Ни позвонить, ни написать.

– А с Бейреком?

– Узнала по интернету его имейл, послала месаж, сообщила о себе. Ни ответа, ни привета. Потом закрутилась, честно говоря, недосуг было. К тому же, как видно, он не хочет переписываться со мной. Тамошний режим ты сам увидел... Может, опасается.

Она перехватила его взгляд.

– Что оглядываешься?

– Темновато у тебя.

– Я люблю такое освещение.

– Мне все же кажется, что окно бы не помешало...

– Да на кой черт тебе! Хочешь полюбоваться на пейзаж? Из­воль, гляди, сколько хочешь. Эти не нравятся, подбери другой... – Она взяла пульт дистанционного управления, и с нажатием кнопки все четыре стены преобразились. – Песчаная пустыня, обледеневшее озеро, причудливые скалы, дорога, простершаяся до горизонта... – А если тебе нужен свет – пожалуйста. – Нажа­тием кнопки – и со светильников на потолке хлынул яркий сол­нечный свет. – Мелик не мог скрыть изумления. Дочь забавило его замешательство. – Ну, что еще? Воздух? Какой тебе воздух по душе – морской, горный, лесной, степной? – Переключение пуль­та меняло микроклимат – дохнуло свежестью горного приволья; повеяло терпким йодистым дыханием моря; ядреным, бодрящим морозом; запахом прелой листвы, умытой дождем...

– Какие еще чудеса водятся в твоей магической комнате?

– Только здесь я могу отдыхать, – отозвалась она. – А чудес еще много. – Нажала на кнопку. Послышались птичьи голоса, гул моря, шелест листвы, соловьиная трель...

– Действительно, чудо. Такого я еще не видывал.

– Это еще не все. – Взяла другой пульт. Комнату заполнило благоухание, запах розы сменил аромат горной фиалки, затем – цветущего пшата, свежескошенной травы...

– Каким образом ты сотворила это все? – Он не хотел спрашивать: «во сколько это тебе обошлось?»

– Это мой мир. Мир, в который ухожу, отрешаясь от всего света.

– Но мир иллюзорный...

– Иллюзорный? В тысячу раз лучше настоящего. Можешь ощущать желаемое, когда тебе угодно. Хочешь – день сменяется ночью, хочешь – наоборот. Вот, смотри. – Нажала на кнопку, и комната погрузилась во мрак. – Подними голову, взгляни на потолок.

Потолок замерцал звездным небом. Млечный путь... Созвездия…

Голос Бурлы, казалось, донесся из космических бездны:

– Смотри, сейчас взойдет луна, и звезды погаснут.

Откуда-то из-за стены выкатилась луна и поплыла к потол­ку.

– Ладно... – сказал Мелик. – Достаточно... выведи нас в днев­ной мир.

Комната вновь озарилась солнечным светом.

Постучали в дверь.

* Yes! – сказала Бурла.

Вошла горничная в белом фартуке. Учтиво поздоровалась с гостем, поставила перед ним поднос с чаем и конфетами и не­слышно исчезла.

– Как же так получилось, что вас раскидало по разным зонам?

Она вздохнула.

– Ох... Чтоб эти дни ушли навсегда и не повторились... Я была дома... ты обратил внимание: это же наш старый дом? Да, да, ты не удивляйся. Я построила этот особняк на месте нашей ветхой хибары.

– Все три этажа – твои?

– Ну да.

«Но... на какие средства?» – хотел было спросить Мелик, но испугался ответа и сказал:

– Значит, ты была в тот день дома?

– Да. Грипповала, слегка. Мама и Бейрек были у себя на работе. У них, ты помнишь, работа была в разных концах города. Началась стрельба... За считанные часы на улицах везде выросли баррикады. Ни проехать, ни пройти, потом... этот ужас, разруше­ния, пожары... На первых порах мы хоть могли переговариваться по телефону, через пару дней и телефонная связь прервалась. А потом город разделили на три зоны. Сперва понатыкали колючую проволоку, а после возвели эти чудовищные стены.

– Могилы бабушки, деда, кажется, оказались в этой зоне.

– Да? А где именно?

– Неужели ты забыла? Сколько раз я с тобой навещал... В нагорной части...

– Ах да, вспомнила. Сейчас там луна-парк.

– Луна-парк?!

– Ну да. Могилы, знаешь, все равно сровнялись с землей, надгробья, плиты разрушились. Так что вот так... И на террито­рии других кладбищ сейчас сооружены площадки для регби, бейсбола, гольфа...

– А где же хоронят умерших?

– Не хоронят, сжигают в крематории. Ладно, хватит гово­рить о покойниках. – Встала, порывисто обняла отца, обвила ру­ками шею, погладила голову. – Ведь мы и тебя считали в покой­никах, а ты, вот, живой. Целехонький, выбрался. Добрался... Словно солнышко взошло в жизни моей... настоящее солнышко, нет, уже не такое, – показала на потолочное светило, и, заметив, что он допил чай, предложила: – Еще стаканчик?

– Не откажусь.

– Сейчас скажу Лере, – потянулась к трубке, раздумала. – Нет, я сама подам тебе чай. Хочу поухаживать за тобой.

Вышла. Мелик заметил на столе журнал в броской обложке – «Монитор». Взял, полистал и... вновь ему предстала Бурла в пикантных позах, в полураздетом виде. Да, это была она.

Вошедшая дочь застала отца разглядывающим журнал с нахмуренным лицом.

– Пропади пропадом эти борзописцы! Врут напропалую! Пишут, что у меня восемь кошек, четыре собаки. А у меня всего три киски и один терьер.

– Да причем тут кошки, собаки?! Что это за снимки? Не стыдно тебе?

– Я знала, что тебе это не понравится. Ты же старый мусуль­манский мужчина. Но, знаешь, танец живота больше всех любят лицезреть эти самые мусульманские мужчины. Да, я танцовщи­ца. Ты не знал?

– То, что танцовщица, – дело твое. Но что значат эти снимки неглиже?

– По-твоему, танцевать нужно в шубе? Странные вы люди. На пляж, что ли, не ходили, не видели девушек в бикини? Выхо­дит, вживую ходить обнаженной можно, а сниматься – ни-ни? Если прекрасное женское тело доставляет людям удовольствие, – почему его нужно скрывать? Ты что, не бывал в музеях? Не видел Венеру, Маху, Олимпию?

– Я-то не думал, что дочь моя станет Венерой. Лучше бы я не дожил до этого дня...

– Брось, ради Аллаха. Стоит ли делать из этого трагедию, после того, что мы пережили. Вы думаете, если женщина танцу­ет обнаженной, значит, она проститутка. Но знай, все, что я на­жила, – она жестом обвела комнату, – заработала на сцене, а не в постели! Я здесь первая шоу-звезда.

– Не могла выбрать другую профессию?

– Какую? Учительствовать и подыхать с голоду? У меня нет ни мужа, ни богатого любовника, чтоб содержал меня. Все зара­ботала трудом своих рук. Ну, пусть пупком даже. Да, я исполняю танец живота. Причем лучше всех.

– И имя, кажется, переиначила: «Бура».

– Менеджер мой счел, что так звучнее.

Встала. Подошла. Обвила руками ему шею.

– Ата, ата-джан. Ну, не сердись на меня. Я тебе сообщу приятную новость. Ты обрадуешься: я меняю профессию.

– Да ну? Кем же ты станешь? Не стриптизершей ли?

– Нет уж. Мэром!

– Кем, кем?

– Мэром. Мэром BAKU-SITI.

– Какой ж из тебя, прости, мэр?

– Почему бы и нет? Чем я хуже других? Этих политических пустозвонов?.. Через три месяца – выборы. Мы живем, в демократическом обществе так? Десять человек выдвинули свои кандидатуры. Я популярнее их всех. У нас, знаешь, мастера поп- искусства – пользуются самым большим уважением в обществе. На концертах – аншлаг, билетов не достать. Радио, телевидение с утра до вечера говорят обо мне... Пресса пишет... Народ, словом, побит меня. Будь уверен на сто процентов – отдадут голоса за меня.

– Ну, ладно, допустим. Но зачем тебе идти в мэры?

– Мне двадцать пять лет. Положим, я протанцую еще два-три года. А потом? Как я буду жить? Я привыкла к такому образу в жизни. Как я смогу обеспечивать себя так, чтобы ни в чем себе не отказывать? Замуж выходить не собираюсь. И жить за чей-то счет не хочу. Судила-рядила и решила, что самый верный способ – идти в мэры. – Рассмеялась, показывая на свою голову: – У тво­ей дочери котелок варит.

Позвонили в дверь. Погодя в комнату вошел живописный детина.

– Good day, му darling[[98]](#footnote-98)! – сказал он. Они обнялись и смачно облобызались.

Его узкие брюки из черного атласа больше напоминали бриджи. Шелковая белая рубашка с кружевами. Длинные, сви­савшие ниже плеч патлы были перехвачены красным бантом, в ухе – серьга.

Бурла представила ему Мелика.

– Знакомься, Джан, мой папа.

– У тебя есть, оказывается, папа? – сказал Джан жеманно, за­тем с кокетливой галантностью подошел к Мелику, наклонился, поцеловал ему руку. Мелик при ближайшем рассмотрении обра­тил внимание, что лицо у Мелика напудрено, а глаза подведены сурьмой.

Напудренный детина выпрямился и представился:

– Джах-Джах Джан. Мелик не понял.

– Это его эстрадное имя. Джан у нас популярнейшая поп-звезда. Конечно, после меня.

Мелик заметил след губной помады на своей целованной руке.

– Вы тоже... вертите животом? – спросил он. Поп-звезда прикрыл ладонью рот, как платком, и долго смеялся.

– Джан – Бог брик-брака, – сказала Бурла. – Он и слова сочи­няет, и музыку, и сам же исполняет. Вечером у нас совместный концерт, придешь, послушаешь.

– Darling, only five minute[[99]](#footnote-99), – Джан отвел Бурлу в сторону и о чем-то пошептался с ней. И вновь они сплелись друг с другом

Мелик отвернулся.

– Good bay, baby,[[100]](#footnote-100) – Джан направился к дверям и помахал рукой Мелику: – Bay-bay, ата-джан.

Мелик почувствовал облегчение, – обошлось без напома­женного поцелуя. – Джан покинул комнату вихляющей походкой.

– Это твой... любовник? – спросил Мелик. Бурла своим вольным поведением вынуждала его к такой откровенности.

– Кто? Джах-Джах?

– Не знаю уж, как его, Джах-Джах или Бах-бах.

Бурла расхохоталась

– Да какой же из него любовник? Он же... ха-ха... настоя­щий гей.

– Что-что?

– Гей – не слышал? Ну, «голубой». Как тебе объяснить... Ну не интересуется женщинами... Предпочитает мужчин...

– Понятно.

– Он просто коллега по искусству. Мой приятель.

– Странные у тебя приятели.

– Да он отличный парень... э... человек. Настоящий друг. Написал брик-брак для моей предвыборной кампании.

– А что такое этот брик-брак?

– Неужели не знаешь? Это же популярнейший ритм в нынешней мировой поп-музыке. У нас пионером этого жанра стал Джан. Он король брик-брака. Молодежь от него без ума.

– Что ж он не хочет сделаться мэром?

Она пожала плечами:

– Не знаю. Может, в душе он и не прочь, но он обещал, что на этих выборах будет поддерживать меня. – Вдруг ее осенило: – Отец, а может, и ты останешься и примешь участие в моей кампании? Знаешь, какой будет эффект: танцовщица и ее солидный папа.

– Только этого не хватало.

– То есть, ты считаешь, что я ни капельки не подхожу? – Она надула губки.

Мелик промолчал.

– Потом останешься здесь... будешь моим советником.

Мелик снова отмолчался.

– Извини меня, отец. Я должна ехать на репетицию, Лера тебя накормит. Через час спускайся вниз. Фил привезет тебя на концерт. Ты сам убедишься, что ничего страшного нет. После концерта – коктейль. А потом мы с тобой наговоримся. Хоть до утра.

Она вышла из комнаты. Мелик оказался в тупиковом поло­жении. Не знал, как быть, как вести себя дальше. Она вернулась – в дорогой меховой шубе. Подошла, положила голову ему на плечо, – как в детстве. Он почувствовал на щеке мягкий ворс шубы. Его обдал пряный тонкий аромат духов.

– Ата-джан, – прошептала она. – Оставайся здесь. Если бы ты знал, как я одинока. – Вдруг отстранилась и вышла стремглав из комнаты.

Через час он спустился вниз, Фил подбежал и открыл дверцу «мерседеса».

– Куда едем?

– На концерт.

– А где он проводится?

– В кабаре «Шах-сарай».

– Это что за здание?

– Дворец каких-то шахов.

– Теперь – кабаре?

– Yes... sоrry... извините... Мисс Бура велела мне общаться с вами на нашем языке. Ай эм... Я... пэтриот. Свой «нейшн» люблю.

Они ехали по знакомому Мелику проспекту.

– Как эта улица называется?

– 42 параллель-авеню.

– Почему 42-я?

– И Нью-Йорк, и Баку находятся на 42-й параллели.

– Вот оно как.

«Мерседес» остановился у нижних ворот древнего дворца Ширваншахов – ворот Мурада.

От дворца остались одни стены. Весь облик преобразился до неузнаваемости. Повсюду световые рекламы, афиши...

На сцене переливались желтые, зеленые, красные неоновые буквы:

ШАХ-САРАИ КАБАРЕ

ЭРОТИК ШОУ: ДЕКАМЕРОН – КАМАСУТРА – ТЫСЯЧА

И ОДНА НОЧЬ EST-VEST SEX SINTEZ

РЕТРО: ТАНЕЦ ЖИВОТА – КАНКАН – СТРИПТИЗ

Эта реклама погасла, засветились, поплыли, более увесис­тыми буквами, имена:

КОРОЛЬ БРИК-БРАКА ДЖАХ-ДЖАХ ДЖАН SUPERSTAR BURA

Фил провел Мелика внутрь. Древние стены были сплошь облеплены рекламами напитков, алкогольных и без, стиральных порошков, памперсов, туалетной бумаги...

Эстрадная площадка – аккурат посредине зала и обставлена с обеих сторон столами. За ближайшими сидели пожилые господа, иные – с молодыми пассиями, задние столы облепила молодежь, кто примостился прямо на столе, кто под столом, а кто разлегся, – парни с длинными волосами, девушки с короткой стрижкой, не разберешь, кто есть кто.

Иные из девушек, устроившись на коленях у своих парней, слились с ними в страстных объятиях и лобызались. Но, опять же вопрос, кто у кого на коленях сидел, он или она. А может статься, что парочки были однополые. Дружно работающие челюсти, жующие жвачку.

Мелик уже ничему не удивлялся.

Прочел надписи на телекамерах, установленных в зале: FIST TV, FASE TV, WORLD TV, QRAND TV.

Между столами порхали девицы в бикини, разнося напитки, гамбургеры, сендвичи; пожилые мужчины без пассий успевали погладить порхающих девиц по соблазнительным формам и всучить долларовые купюры за бюстгальтеры. А те кокетливо благодарили.

Фил усадил Мелика за стол и откланялся. Погодя к столу подошло некое странное существо с зелеными, торчащими, как у дикобраза, волосами и двуцветным – голубым и розовым лицом. Существо безо всяких приветов село за стол и, достав сигарету, закурило. Мелик уловил запах, напоминающий опиум. Существо смерив его отуманенным взглядом, протянуло пачку сигарет. Мелик замотал головой. «Дикобраз» пожал плечами.

Свет погас. Воцарился полный мрак. Под оглушительную музыку, грянувшую из четырех динамиков, луч света выхватил середину сцены, на которую выскочил обнаженный по пояс эротически статуированный удалец и запрыгал, завертелся, выписывая кренделя.

«Дикобраз» вдруг обрел дар речи, указав перстом на плясуна:

– Наркоман.

«Кривой кривому не попеняет – лопнет», – подумал Мелик.

«Дикобраз» продолжал затягиваться.

– Анаша? – спросил Мелик.

– Марихуана.

Прыгун на сцене наконец поубавил прыть и поднес к губам микрофон.

– Ай эм диск-жокей Симург Сид. Гуд ивнинг, леди энд гамильтон.

В зале загоготали, захлопали, завыли. «Дикобраз» вскочил на стол, растоптал тарелки и, сунув два пальца в рот, засвистел.

Официантка припорхнула, убрала осколки разбитых таре­лок и подала новые. При этом наклонилась перед носом у Мели­ка так, что стали видны ее округлые сиськи. Мелик догадался: следует запихнуть туда баксы, но не стал этого делать. Раскра­шенный сосед выхватил со стола новые тарелки и яростно швырнул их оземь; тарелки разбились вдребезги. «Дикобраз» с тем же исступлением отогнал сервигерку.

Человек на подмостках что-то верещал. Как ни напрягал Мелик слух, не мог разобрать, на каком языке и о чем идет речь. Это была мешанина английских и азербайджанских слов, изрядно покалеченных.

Шум – хоть уши затыкай, то хлопки, то свист, то вой, то звон разбиваемых тарелок. Официантки приносили новые – их постигала та же участь. Мелик обратил внимание, что в разбивании тарелок особенно усердствовали пожилые господа, которые получали повод полезть за бюстгальтеры с долларами и как-то утешить свое вожделение.

Диск-жокей воззвал к публике:

– Сайленс, плиз. Sakit, sakit! [[101]](#footnote-101)Уан секонд! Bir saniya! [[102]](#footnote-102) Экран за сценой ожил. Мелик узнал человека на экране: это был Джан. Зал сразу затих. Диск-жокей объявил:

– Кумир нашего SITI, покоритель сердец, попа-звезда, пардон, поп-звезда Казанова XXI века! – Визг, овация, свист. – Диск-жокей выдержал паузу и повысил тон: – Король брик-брака! – Снова пауза и еще громче: – ДЖАХ-ДЖАХ – ДЖА-А-А-АН!

Джан вырос словно из-под земли. Дикий рев, рукоплеска­нья, свист. Кумир предстал в длинной юбке с кружевной обор­кой, в расшитой кофте, с гитарой на ремне. И стал с кокетливой ужимкой раздавать воздушные поцелуи публике.

– My dear, – сказал он. Дорогие мои! Оказывается, сегодня – праздник аборигенов... Новруз-байрам... Ноурус – ноу-рьюс... Почти как «новые русские». Я сочинил брик-брак по этому слу­чаю: «Нью-рус холидей».

Исторгнув аккорд из гитары, он начал петь под свой взвин­ченный ритм.

Новруз, Ноурус, нью-рьюс. Рьюс, рьюс, рьюс. Рус, рус, рус. Намотай на ус. Трик-трик-трак.

Брик-брик-брак. Кись, кись, кись, Кусь, кусь, кусь! Джаз-бас... Джыз-быз... Джыз-быз...

Публика стала скандировать:

Джыз-быз, джыз-быз!..[[103]](#footnote-103)

Вой, крики, свист. Джан продолжал шаманить:

Джаз, джаз, джаз! Газ, даз, наз, Саз, баз, яз. Ваз, таз, паз!

«Дикобраз», затягиваясь марихуанным дымом, тащился от кайфа и бормотал:

– Гений! Прикол! Во дает!

– А на каком языке он поет? – поинтересовался Мелик у раскрашенного «специалиста».

– Как на каком? Это брик-брак.

– Ну, что означают эти слова?

– Какие слова?

– Да вот эти все «даз, баз, таз»?

– Все на нашенском языке. Джан вызволяет слова из клетки. – «Дикобраз» с неожиданной ловкостью вскочил на стол и заорал: – Да здравствует свобода слова! Свободу словам!

Тотчас его призыв подхватили другие попрыгунчики:

– Long live freedom! Свободу словам!

Кто-то завопил:

– Свободу сексу! Джан послал крикуну воздушный поцелуй.

– Viva sex freedom!

Зеленоватый вновь сел на стул, затянулся сигаретой и заорал:

– Пой, про гея, пой!

Джан сквозь этот шум и гам услышал реплику, погрозил пальцем.

– Пой, про гея, пой! – закричали с мест.

Джан мгновенным движением разорвал на себе кофту, отшвырнул прочь, обнажив голый торс, перетянутый черным кружевным лифчиком. Взял аккорд на гитаре и вдруг с размахом швырнул ее оземь. Гитара разбилась, но этого показалось мало, – король брик-брака стал пинать ее, струны зацепились за ноги, он разорвал их. Публика впала в истерику.

– Гей, гей! Бей, бей! Не жалей!

Джан стал бросать обломки в зал. Возникло столпотворе­ние. Пол содрогался. Зрители выхватывали обломки гитары, отпихивая, толкая друг друга, сбивая с ног, таская за волосы.

«Дикобраз» сообщил:

– В прошлый раз мне удалось выхватить два обломка. Ты знаешь, сколько отваливают на аукционе за них? За платок, нос­ки Джана?

Кумиру подали другую гитару. Он запел:

Кто найдется голубей?

Гей, голубчики, я – гей!

Фанаты машинально вторили:

Гей, голубчики, я – гей!

Так повторялось несколько раз. Джан, поворачиваясь задом то в одну, то в другую сторону, выдавал:

Не слуга я, не лакей!

У меня дела окей!

Публика вторила ему. Текст был исчерпан. Последовали поклоны, рёверансы, воздушные поцелуи свистящей, ревущей, аплодирующей массе.

Кумир отер пот с лица и бросил носовой платок в зал, вызвав очередную свалку. Счастливой обладательницей трофея оказалась дама, сидевшая впереди, – она облобызала платок и прижала к груди.

Джан продолжал:

– Дорогие мои, любимые мои, друзья мои! Яоткрою вам один секрет. Наша примадонна, гениальная танцовщица мисс Бура собирается баллотироваться в мэры. (Свист, вой). Я посвятил этому событию брик-брак. (Хлопки), Не слышу аплодисментов! (Рукоплескания звучат громче).

Вступительный аккорд, и полилось:

Станет мэром мисс Бура! Мисс Буре гип-гип ура! Воплощение мечты – Королева красоты. Голосуем за нее! Кто там против, ё-моё! Покер, джокер, черт возьми! Ляжем за Буру костьми! Не порите мне муру. Голосуем за Буру!

Публика подхватила:

Голосуем за Буру!

Джан продолжал:

Будет избран новый мэр, Мэрам прочим всем пример! Маразматики – плебеи, Харизматики – плейбои,

Прочь с дороги, с глаз долой!

К власти мы придем с Бурой! Голосуем за Буру!

Или шкуру с вас сдеру!

С мест скандировали:

Будет избран новый мэр, Мэрам прочим всем пример!

Мелик поднялся: с него хватит. Больше у него не было сил выдержать.

Зеленоволосый заметил его движение:

– Куда ты, фатер? Еще Бура выступит. Закачаешься.

Но Мелик уже, лавируя между столами, продвигался к вы­ходу. Вдогонку заулюлюкали:

– Куда сматываешься, папаша?

– Стриптиз упустишь!

– Для тебя – в самый раз!

Кто-то подтолкнул, кто-то отпихнул.

– Не загораживай сцену!

Какой-то тип преградил дорогу; пьяный или накурившийся.

– Куда?

– Куда ему еще? К предкам. Пора.

Заржали, загоготали.

Мелик кое-как выбрался из зала. Пересек двор... бывшего чертога Ширваншахов. Вышел через главные ворота. Когда-то входил через них – на экскурсию.

Площадь была неузнаваема – вся в иллюминации. Неоновые буквы: «PLAS PIQAL». Над одноэтажными постройками – фри­вольные картинки, откровенные фото, все рекламы заведений определенного рода. Казино: «Лас-Вегас», «Монте-Карло», секс-шоп, эротическое шоу, кинотеатр порнофильмов... Мелик, ускорив шаги, свернул на боковую улочку, а тут еще хлеще: за прозрачными витринами при свете красных фонарей в вызываю­щих позах красовались голые девицы; они недвусмысленно под­мигивали ему, поманивали жестами. Стараясь смотреть под но­ги, он двигался все быстрее.

Там, где завершился ряд красных фонарей, появился фонарь с голубым светом. Навстречу ему вышел мужчина с закрученны­ми усами, похожий на крысиного падишаха из сказки. Оскалился:

– Похоже, наши девицы вам пришлись не по вкусу. Если вам хочется иных развлечений, то у нас есть и пригожие ребята...

Мелик отстранил усача и прошел мимо, он чуть ли не бежал и уже миновал несколько улиц, когда очутился на темном задворке. Похоже, заблудился. Он уловил запах горячей пищи. Это была тыльная сторона ресторана. Всмотревшись, он различил какие-то копошащиеся у стены тени, и свет выглянувшей из-за облаков луны выхватил из полумрака человеческие фигуры в убогих отрепьях, они рылись в мусорных контейнерах и, выудив из отбросов нечто подходящее, поспешно запихивали в торбы... В этой убогой толпе выделялся пожилой обросший мужчина в латаном пальто и в галошах, с изможденным лицом, в очках с одной разбитой линзой и отсутствующим заушником, который заменяла ниточка, продетая за ухо; он тоже рылся в отбросах, но делал это как бы через силу, стыдясь других.

Увидев приблизившегося незнакомца, он отошел от мусор­ки. Остальным ни до кого не было дела, они ворошили отбросы, засунув руки по локоть в ящики, и у всех вид – кожа да кости.

– Как я могу отсюда выбраться? – спросил Мелик у очкасто­го.

– А куда вы хотите выбраться?

Мелик и сам не знал, куда. Какой ориентир он мог назвать в этом городе, ставшем таким чужим. Мужчина в очках почувст­вовал его растерянность, подступил ближе.

– Может, вы хотите выйти к берегу?

– К берегу?

Очкастый наклонился к нему и доверительно прошептал:

– Эту дорогу знаю один я.

– Какую дорогу?

– Через два угла в стене есть пролом, образовался лаз. Оттуда можно пролезть и выйти к морю.

– А к какой Зоне относится море?

– Вы что, не здешний?

– Я давно не бывал здесь...

– А-а, вот как... Море, спрашиваете? Оно ни к какой Зоне не относится. Дно моря поделили, толщу воды, поверхность – тоже, а берега – замазученные, замызганные – кому они нужны? Вы помните бульвар? Так вот, уровень Каспия поднялся, вода затопила... И бульвар... и проспект Нефтяников. Помните, проспект? Так там теперь пески. Мазут, камыши и пески. Могу вывести вас туда. – Очкастый запнулся, похоже, стесняясь о чем- то сказать. Решился: – Но с одним условием.

– Каким?

Мужчина снял очки, потупился и выдавил из себя:

– Небольшое поощрение... Пять долларов... Всего только пять.

– Ладно.

Мелик и сам не знал, зачем согласился. В принципе, зачем ему было выходить к берегу, зачем ему сдалось море. Но он почувствовал, что этому бедолаге, судя по всему, интеллигенту, пять долларов куда нужнее, чем ему – море. И последовал за проводником в латаном пальто и в галошах.

Прошли по извилистым закоулкам. Это были не древние лабиринты Ичери-шехера, а хибары, наспех сколоченные из ящиков, ржавой жести, труб, фанеры. Наподобие ветхих время­нок Анкары, только куда более убогие, нищенские. И все погру­жены во тьму; только кое-где сквозь окна сочился тусклый свет свеч. Ни звука, ни голосов. Ни запаха готовки, еды – ниоткуда.

Наконец, перед ними проступила крутая каменная погра­ничная стена. По эту сторону никаких часовых, патрулей. Муж­чина в очках огляделся по сторонам, несколько раз оглянулся назад, наконец, показал пролом в стене.

– Можете выбраться вот отсюда.

Сперва провожатый протиснулся сам, Мелик – за ним. Вышли на песчаный берег. Здесь уже стал явственно слышен гул моря. В ноздри ударил смрадный запах. Мелик зажал себе нос.

– Да, вонища! – сказал очкастый. – Вся канализация города отсюда стекает в Каспий.

Мелик хотел поскорее выбраться из этой клоаки.

Ноги увязали в песке.

Зачем он туда приплелся? Куда он направляется? Он не мог сообразить. Очкастый тащился следом. Снял набитые песком галоши. Вытряхнул песок. Снова обулся. Кашлянул.

– Простите меня. Я выполнил свое слово. Вы...

Мелик понял, что он хочет сказать, и избавил его от трудно дававшегося завершения фразы.

– Да, конечно, – и протянул «проводнику» десять долларов.

Тот покосился на купюру.

– Нет, наш уговор был – пять. Зачем мне лишнее.

– У меня нет мельче. Берите, не стесняйтесь. Похоже, вы интеллигентный человек... Можно ли спросить, на каком поприще трудитесь... трудились?

Мужчина в очках потупил голову и грустно прошептал:

– Когда-то был писателем...

И резко повернувшись, не попрощавшись, побрел прочь. Поодаль остановился, вытряхнул галоши, обул обувь и, нагнув­шись, канул в проломе стены.

**IV**

Он шел вдоль кромки берега, стараясь избавиться от злово­ния. Шел, куда глаза глядят.

Все было кончено.

Ни кола, ни двора, ни очага, ни семьи... ни народа... ни родины... ничего не осталось у него.

Прошлое исчезло. Было загублено, порушено. Сожжено, растоптано.

Настоящее – вот оно, как есть.

Будущее? Будущего не было. Во всяком случае, для него. Не было у него, Мелика Мамедли, Мелика Мамед оглу, никакого будущего. Возвратиться в Турцию? Как после всего увиденного и услышанного, с такими воспоминаниями, с таким камнем на душе он сможет там жить? Вообще – жить?.. Покончить с собой? Вот тут вот, броситься в это загаженное море, утопиться?

Утонуть в канализационном дерьме?

Его затошнило, удушье сдавило горло.

Он тащился через вязкие пески. Оступился. Упал. И не стал делать никаких усилий, чтобы подняться.

Всмотрелся в даль бухты, где угрюмо чернели очертания острова Наргин, превращенного в острог.

Вскрыть вены? Пустить себе пулю в лоб? Повеситься? Отравиться? Какая смерть полегче, поудобнее?.. Во всяком случае, если уж придется, то надо это сделать в Турции, – чтобы хоть похоронили по-людски. Здесь просто сожгут труп в крематории и пустят прах по ветру. Впрочем, если вдуматься, – разве это само по себе не логическое завершение его жизни? Обратиться в прах и развеяться по ветру. Ничего у него не осталось. И ничего не останется.

– Я же говорил вам: не отчаивайтесь!

Мелик вздрогнул: кто это, на этом безлюдном берегу заговорил с ним? Поднял голову и обмер: Эрхан уселся рядом на песке. Что за наваждение? Каким ветром его занесло в эти края? И как он выискал Мелика, как умудрился подойти так, что Мелик даже не заметил его?!

– Эрхан?! Откуда ты взялся?

Эрхан улыбнулся:

– С неба.

– Самолетом, ясно? А как сюда добрался?

Эрхан снова улыбнулся, и снова показал в небо.

– С неба?!

– Ты что, птица, что ли?

Эрхан на сей раз улыбнулся еще загадочнее.

– Может быть, и птица...

Они молча уставились друг на друга.

– Ну как. Вы смогли увидеться со всеми вашими? – спросил Эрхан.

– Да... – вздохнул Мелик. – Не знаю, к добру ли, во зло ли ты дружил мне, устроив эту поездку...

– Об этом судить только вам.

– Лучше бы мне числить моих в покойниках, чем увидеть ТАКИМИ...

– Смерть – конец всему. Пока человек жив, он все еще может надеяться, что жизнь изменится к лучшему. Это в какой-то мере зависит от самого человека. А уж после смерти ничего от него не зависит.

– Говорят, только в смерти нет выхода. Но, как видно, смерть сама – выход из безвыходности.

Эрхан ничего не сказал. Возможно, он состоял в некой сверхсекретной организации и был обеспечен всевозможными полномочиями, обеспечивающими доступ куда угодно, вот и сюда он дотянулся, уследил, выследил, но что он, в конце концов хочет от Мелика?

– Ладно, но как ты узнал, вычислил, что я нахожусь вот здесь, на этом песчаном берегу?

– Наверно, вы сами того не ведая, поднесли мой волос к огню. И я прилетел, чтоб выручить вас [[104]](#footnote-104). Забыли сказку о Мелик-Мамеде? Может, я ваша птица-выручалка Зюмрюд?

– Брось, ради Аллаха. Какие тут сказки? Жизнь – не сказка. Увы, горькая явь.

– Жаль, что это так. Но сказка правдивее жизни.

– Ладно. Если уж так, и ты птица Зюмрюд, – вытащи меня в «светлое царство»! Гукнешь – мясца дам, гакнешь – водичкой напою...

Мелик удивился сам себе. В таком убитом настроении он еще способен шутить.

– Нет, – сказал Эрхан. – В светлое царство мы можем выбра­ться только сами...

– Кто это мы?

– Мы все.

– И что для этого требуется?

– Прежде всего, уметь отличать белого овна от черного. И потом, вскакивая на хребет белого овна, надо усесться на нем так крепко, чтобы он не смог перекинуть тебя на спину черного овна.

– Ах, Эрхан... Мы не в том возрасте, чтоб верить в сказки.

Эрхан опять не ответил. Погодя сказал:

– Взгляните вот туда.

Уже светало. Мелик устремил взгляд в направлении, куда показывал Эрхан.

– А что такое ты там увидел?

– Не видите? Всмотритесь.

Мелик напряг зрение.

– Похоже, две собаки сцепились. Да, так оно и есть.

– Не собаки. Это два овна бьются. Белый овен и черный овен.

– Откуда им взяться здесь?

– Пришли по вас. Чтобы завершить сказку о Мелик-Мамеде. Ведь с неба еще не упали три яблока.

– Давно уже упали. Причем каждое – в одну из Зон.

– Нет, – возразил Эрхан. – Те яблоки – червивые... А я говорю волшебных яблонях, которые день цветут, на второй – осыпают цветы, на третий – плодоносят. О тех яблоках, о которых мечтал падишах...

– ...И которые доставались чудищам-дивам, – Мелик гнул свое.

– Можно найти управу и на дивов. Не забывайте, что душа у дивов спрятана в склянке...

– Что ты хочешь сказать этими сказками? Говори уж напрямик, чтоб можно было что-то понять.

– Мелик-Мамед мог бы, оседлав белого овна, выбраться в светлое царство. И у вас пока есть этот шанс.

Эти слова словно загипнотизировали Мелика. Он с трудом оторвал свое разбитое тело от земли, поднялся, шатаясь, сделал шаг, другой. Теперь он ясно видел дерущихся овнов. Повернулся к Эрхану и... оторопел: Эрхан исчез. То ли сквозь землю про­длился, то ли в небо воспарил. Может, он и вправду был птицей? – сказочной птицей Зюмрюд?..

Мелик зашагал по зыбучим замазученным пескам к круторогим овнам.

Сейчас он видел отчетливо: Вдалеке остался лишь один овен – Белый.

Но по мере приближения, он удалялся все дальше и дальше. Мелик ускорил шаги, пустился бежать, увязая в песке и с трудом высвобождая ноги. Ему казалось, что расстояние понемногу сокращается. Вот-вот он настигнет Белого овна. Вот-вот...

Еще немного...

Еще самую малость...

*Август-сентябрь 2003г.. Загульба*

*Перевод Сиявуша Мамедзаде*

1. Муаллим – буквально: учитель. Здесь вежливое обращение к старшему, уважаемому человеку. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ханым – уважительное добавление к имени женщины. [↑](#footnote-ref-2)
3. Бакинская Крепость – исторчиеская часть города. [↑](#footnote-ref-3)
4. Новруп-байрим – традиционный праздник весны. Отмечается 22 марта. [↑](#footnote-ref-4)
5. «Дедушка Петух» («Хоруз-баба») – популярная воскресная радиопередача для маленьких. [↑](#footnote-ref-5)
6. Два – один – минимальное очко из возможных при игре в нарды. [↑](#footnote-ref-6)
7. Тас – партия в нардах. [↑](#footnote-ref-7)
8. Парапет – старое название сквера в центре Баку. [↑](#footnote-ref-8)
9. Мирза Джачил – выдающийся азербайджанский писатель начала XX века Мирза Джалил Мамедкулизаде. [↑](#footnote-ref-9)
10. Горное озеро, излюбленное место отдыха. [↑](#footnote-ref-10)
11. Армуду – грушевидный стаканчик для чая. [↑](#footnote-ref-11)
12. Саг ол – будь здоров. Употребляется как приветствие и изъявление благодар­ности. [↑](#footnote-ref-12)
13. Кёр-оглы – легендарный витязь, азербайджанский народный герой XVI века [↑](#footnote-ref-13)
14. Вольный пересказ популярных стихов азербайджанского поэта Сабира «Мальчик илед». [↑](#footnote-ref-14)
15. Сураханы – рабочий поселок недалеко от Баку. [↑](#footnote-ref-15)
16. Для Азербайджана обращение по имени-отчеству нехарактерно. [↑](#footnote-ref-16)
17. Самух – районный город в Азербайджане. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Гилабы – мылкая глина.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Пирожки с начинкой с орехами и сахарным песком и особый слоеный пирог. [↑](#footnote-ref-19)
20. Абрикосы доспели – тотчас гости подоспели. Абрикосы отошли – тотчас гости все ушли. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ханенде – исполнитель-импровизатор народных песен. [↑](#footnote-ref-21)
22. Дословно: «Я умру» (преувеличенная форма просьбы). [↑](#footnote-ref-22)
23. Большой жилой дом в центре Баку. [↑](#footnote-ref-23)
24. Дай Бог счастья. [↑](#footnote-ref-24)
25. Араблинский Гусейн – знаменитый азербайджанский трагик: погиб от руки подосланного убийцы в 1919 году [↑](#footnote-ref-25)
26. Агдамский и Сарабский – известные азербайджанские артисты. [↑](#footnote-ref-26)
27. Баджи (азерб.) – сестра. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ну, раз поздно, иди (Здесь и далее примечания переводчика.) [↑](#footnote-ref-28)
29. Куплеты из популярной оперетты Узеира Гаджибекова «Не та. Так эта». [↑](#footnote-ref-29)
30. Гардаш (азерб.) – почтительное обращение к старшему, близкому человеку. [↑](#footnote-ref-30)
31. Здравствуй, как поживаешь? (арм.). [↑](#footnote-ref-31)
32. Садык Дадашев – известный азербайджанский архитектор, академик. [↑](#footnote-ref-32)
33. Кир – особая смесь из минеральной смолы, которой покрывают плоские крыши бакинских домов. [↑](#footnote-ref-33)
34. Кутабы – пирожки из тонко раскатанного теста с начинкой. [↑](#footnote-ref-34)
35. Кирщик – человек, заливающий крыши киром. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ясамал – один из районов Баку. [↑](#footnote-ref-36)
37. Чагдаш – современник. [↑](#footnote-ref-37)
38. «Гырх пиллекан» (букв.) – «сорок лестниц» – скалистый склон ниже плат Джидыр-дюзю в Шуше. [↑](#footnote-ref-38)
39. Иса-булагы (букв.) – «Родник Исы» – излюбленное место отдыха неподалеку от Шуши. [↑](#footnote-ref-39)
40. «Эрим-гяльди» (букв.) – «мой муж вернулся», – скала на подступах к Шуше [↑](#footnote-ref-40)
41. «Хары-бюльбюль» – уникальный цветок, встречающийся только на высокогорных лугах близ Шуши; название переводится как «шип и соловей». [↑](#footnote-ref-41)
42. Мир Мохсин Навваб – знаменитый шушинский ученый, автор трактата о музыке и мугамах. [↑](#footnote-ref-42)
43. Кероглу – герой одноименного народного эпоса-дастана. [↑](#footnote-ref-43)
44. Нарын-кала – древняя цитадель в Дербенте. [↑](#footnote-ref-44)
45. 9 Юнис Эмре – выдающийся средневековый поэт, классик тюркоязычной литературы. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ахмед Джавад *–* известный поэт, репрессированный в 1937 году. Его перу принадлежит, в частности, стихотворение «Гёй-гёль», ставшее хрестоматийным. [↑](#footnote-ref-46)
47. *«Красота – десятка, девять же – нарядка (наряженье, одежда)».* [↑](#footnote-ref-47)
48. Гёйча – другое название озера Севан. [↑](#footnote-ref-48)
49. Баскал – горный поселок в Исмаиллинком районе Азербайджана. [↑](#footnote-ref-49)
50. Смысл этих понятий (соответственно) – импровизации – небылицы, состяза­ния силачей, потешное представление, мистерии – жанры азербайджанского народного площадного театра. [↑](#footnote-ref-50)
51. Знаменитый азербайджанский художник-миниатюрист. [↑](#footnote-ref-51)
52. Гыр-ат, Дюр-ат – клички боевых коней героя народного дастана Кёроглу. [↑](#footnote-ref-52)
53. Лидер национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. [↑](#footnote-ref-53)
54. «Гарагоюнлу – династия правителей средневекового Азербайджана, занимав­шегообширную территорию. [↑](#footnote-ref-54)
55. В названии бульвара и одноименных достопримечательностей угадывается аллюзия со знаменитой поэмой Низами Гянджеви (ред.). [↑](#footnote-ref-55)
56. Савалан и Шахдаг – названия гор в Южном и Северном Азербайджане. [↑](#footnote-ref-56)
57. «Машруте» – республика. [↑](#footnote-ref-57)
58. Худаферин – древний мост, соединявший Северный и Южный Азербайджан. [↑](#footnote-ref-58)
59. Перевод Владимира Кафарова. [↑](#footnote-ref-59)
60. Чешма –родник. [↑](#footnote-ref-60)
61. Названия мугамов. [↑](#footnote-ref-61)
62. Генералы царской армии, герои Порт-Артурской эпопеи 1904 года, позднее военные деятели Азербайджанской Демократической Республики. [↑](#footnote-ref-62)
63. Имеется в виду кровавая расправа над мирным жителями, учиненная дашнакскими бандами в Баку, Кубе и Шемахе (Ред.) [↑](#footnote-ref-63)
64. Булуд – туча. [↑](#footnote-ref-64)
65. Аракс. [↑](#footnote-ref-65)
66. Тепегёз – одноглазый исполин, наподобие циклопа из античных мифов. [↑](#footnote-ref-66)
67. Мост Сыныг-кёрпю находится на границе Азербайджана и Грузии. [↑](#footnote-ref-67)
68. Лидер национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. Погиб в 1946 году в автомобильной катастрофе, подстроенной советскими секретными службами. (Ред.). [↑](#footnote-ref-68)
69. Янар-даг – гора на Апшеронском полуострове, с вечно горящим природным огнями. [↑](#footnote-ref-69)
70. Гарачи – цыгане, сохранившийся под этим названием караван-сарай. [↑](#footnote-ref-70)
71. Байрам – праздник. [↑](#footnote-ref-71)
72. Боз-гурд (букв.) – «серый волк». [↑](#footnote-ref-72)
73. «Мехметчики» – так в Турции называют солдат-аскеров национальной армии. [↑](#footnote-ref-73)
74. Сэмэни – зеленые всходы пшеницы, которыми укаршают столы к празднику Новруз. [↑](#footnote-ref-74)
75. Хонча – праздничные подношения (сладости, орехи, пшат). [↑](#footnote-ref-75)
76. Смысл названия: «придешь – увидишь». [↑](#footnote-ref-76)
77. Гочи – сорви-голова. [↑](#footnote-ref-77)
78. Персонаж комедий У.Гаджибекова и М.Ф.Ахундова. [↑](#footnote-ref-78)
79. Примечание: События, происходящие во второй сказке, не являете хронологическим продолжением предшествующей; эти две череды событий представляются альтернативными в одном и том же отрезке времени. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ага – господин. [↑](#footnote-ref-80)
81. Бехишт – рай, Бади-Кубе – старинное название Баку («Город ветров») [↑](#footnote-ref-81)
82. Астахфуруллах (арабск.) – «Упаси Аллах». [↑](#footnote-ref-82)
83. Доброй ночи (фарс.). [↑](#footnote-ref-83)
84. Пир – святилище. [↑](#footnote-ref-84)
85. Агайи (ага) – господин. [↑](#footnote-ref-85)
86. Ахмед Кесреви – ученый – иранофил. [↑](#footnote-ref-86)
87. [↑](#footnote-ref-87)
88. В переводе с арабского "Правый путь". [↑](#footnote-ref-88)
89. Муштехид – духовный наставник у мусульман. [↑](#footnote-ref-89)
90. «Ашура» – день поминовения убиенных имамов: далее перечисляются траурные плачи, песнопения. [↑](#footnote-ref-90)
91. Зеван (фарс.) – язык. [↑](#footnote-ref-91)
92. Данешгях (фарс.) – университет.

    Место в прибрежных скалах, где запечатлен след человеческой ступни, по верью, оставленный святым Али. [↑](#footnote-ref-92)
93. В оригинале недоразумение построено на различной диалектной семантике глагола «рэд етмек» – (выгнать, выпроводить; и – проводить). [↑](#footnote-ref-93)
94. АСАЛА – армянская террористическая организация, ПКК – курдская рабочая партия. [↑](#footnote-ref-94)
95. Конечно. Меня зовут Физули. (азерб.). [↑](#footnote-ref-95)
96. Ата – отец. [↑](#footnote-ref-96)
97. Tee (англ.) – чай. [↑](#footnote-ref-97)
98. Добрый день, моя дорогая! (англ.). [↑](#footnote-ref-98)
99. Дорогая, только на пять минут (англ.). [↑](#footnote-ref-99)
100. До свидания, детка (англ.). [↑](#footnote-ref-100)
101. Тихо, тихо. (азрб.). [↑](#footnote-ref-101)
102. Секунду! [↑](#footnote-ref-102)
103. Джыз-быз – блюдо из жареных потрошков. [↑](#footnote-ref-103)
104. Мотив из чудес сказки о «Мелик Мамеде». [↑](#footnote-ref-104)